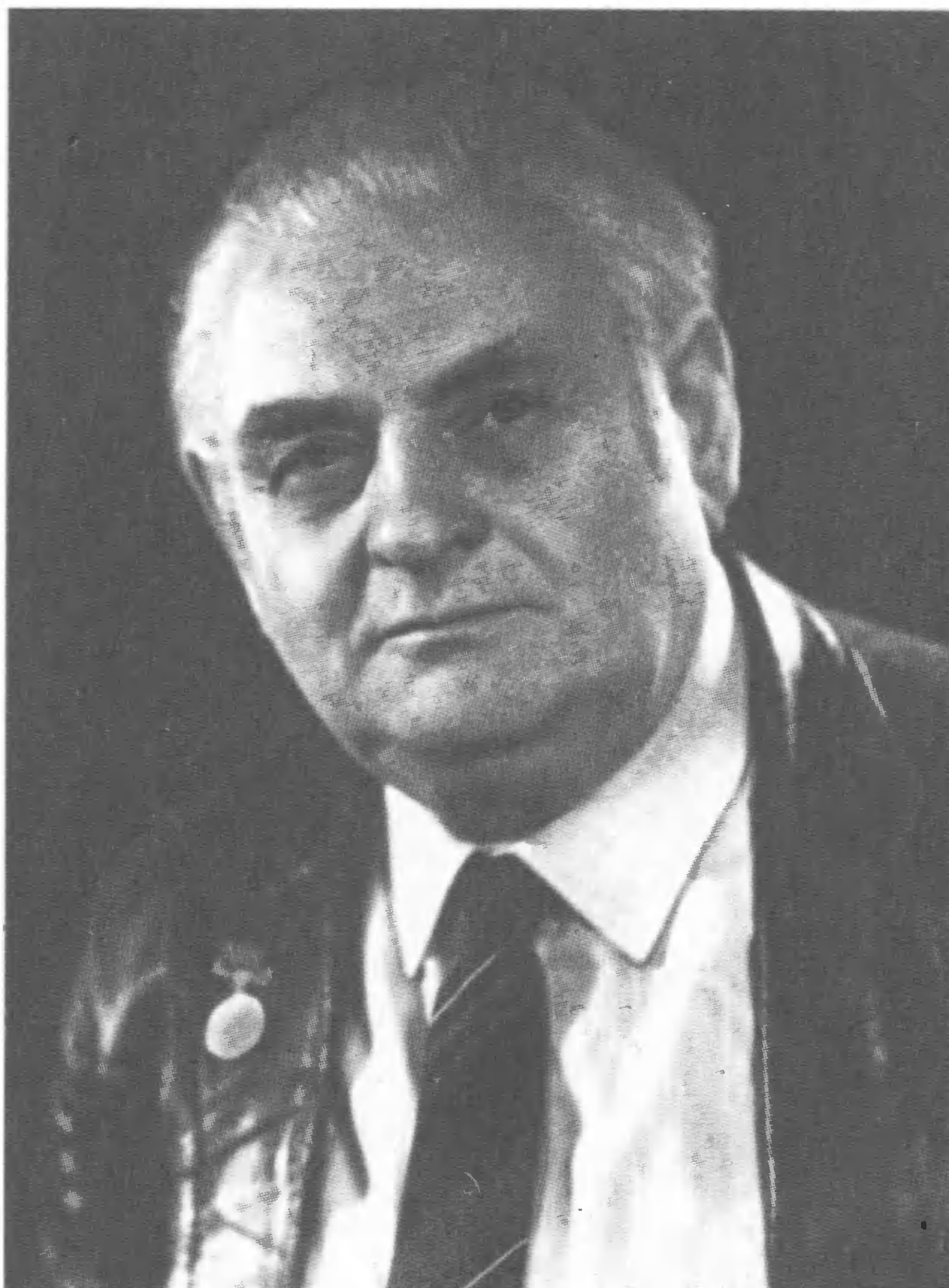


БЛАДМИР КАЛИН

БЛАДМИР
КАЛИН
СРПАНБЕДНМВОСТЬ.
СЕРПАНБЕДНМВОСТЬ.





ВЛАДИМИР КАШИН

СПРАВЕДЛИВОСТЬ- МОЕ РЕМЕСЛО

Книга третья

РОМАН, ПОВЕСТИ

Перевод с украинского автора

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991

ББК 84 Ук 7
К 31

Художник
ИГОРЬ БЛИОХ

К 4702640201 — 405 342 — 90
083 (02) — 91

ISBN 5 — 265 — 01404 — 7

© Состав и оформление.
Издательство «Советский писатель», 1991



...И НИКАКИХ ВЕРСИЙ

РОМАН



...неизменным, решающим фактором...
был и остается человек, его интеллек-
туальный, нравственный облик...

1

Труп уже увезли в морг. Следователь Спивак, судмедэксперт и эксперт-криминалист уехали из этого дома по бульвару Давыдова. А полковник Коваль все не уходил из квартиры погибшего. Чего-то ему не хватало, не давало полностью погрузиться в решение задачи, которая возникла перед ним. Не было нужных данных в условии, точки отсчета, какого-то толчка, чтобы напряженно заработал его мозг.

Вопрос пока был очень общим: что в этой квартире произошло? Несчастный случай, самоубийство или преступление?

Перед ним на широкой тахте, расчерченной мелом по контуру тела умершего, словно еще лежал задохнувшийся от газа молодой мужчина со светлыми кудрями и лубочно-красивым лицом, черты которого даже смерть не смогла исказить — казалось, уснул и вот-вот проснется и спросит: а что вы здесь делаете, граждане? Только глубоко запавшие глаза, тени под ними, побледневшая кожа да начавший заостряться нос свидетельствовали, что это — увы! — не сон.

Чем же вызвана трагедия?

В чем настоящая причина смерти этого красивого парня?

Почти опорожненная бутылка коньяка, разбросанные по столу конфеты, пирожки из «Кулинарии», один из которых был надкусан, тарелки с нарезанной подсохшей с жирными глазками колбасой и кружочками лимона, рюмки да две чистые чашечки из кофейного сервиза, стоявшие у тарелок, давали простор любым предположениям.

Дмитрию Ивановичу хотелось еще некоторое время побыть на месте события, чтобы взглядеться в обстановку, окружавшую погибшего. Опустившись в кресло, полковник внимательно осматривал комнату, в которой, как обычно после обыска, царил беспорядок: выдвинуты ящики серванта, сложены на двух стульях и подоконнике бумаги хозяина.

Однокомнатная квартира была довольно богато и со вкусом убрана; по обеим сторонам широкого окна и стеклянной балконной двери висели тяжелые портьеры, две картины в толстых рамах на стенах, изображавшие каких-то ночных химер, были явно оригиналами, у широкой низкой

тахты из чешского гарнитура стоял модный торшер-бар. И ковровое покрытие пола, и шторы на окнах, и картины, и торшер — все было выдержано в темных приглушенных тонах. Над круглым низким столиком, возле которого уселся в кресло-вертушку Коваль, свисал абажур-шар на регулируемом шнуре. Одна стена была занята лакированными стеллажами, заполненными книгами. И только белая гипсовая ножка в изящной туфельке на высокой деревянной резной подставке в углу да большая в простенке фотография обнаженной девицы были неожиданными и нарушали строгость убранства.

Коваль поднялся с кресла и, неслышно ступая по мягкому покрытию, подошел к окну, стекла которого были разрисованы подтаявшими узорами. Несмотря на то что окно долгое время держали открытым, из квартиры еще не выветрился тяжелый, кисловатый дух: смесь запахов спиртного, газа и еще чего-то удушливого.

Полковник снова открыл его. Теперь с высоты девятого этажа ему хорошо видны строгие одинаковые как близнецы здания, которые были возведены в шестидесятых — семидесятых годах, когда застраивался этот частично намытый днепровским песком микрорайон, имевший официальное название Русановка и неофициальное «Киевская Венеция», так как представлял собой остров, окруженный каналом. Взгляд Ковалья скользнул по верхушкам замерзших тополей, выстроившихся вдоль широкого, длиной с километр, круто поворачивающего вдали к Березнякам, чуть покрытого сейчас слежавшимся снегом бульвара Давыдова; ходили слухи, что и бульвар Давыдова по проекту должен был превратиться в канал, и тогда на Русановке главным видом сообщения, как в настоящей Венеции, стали бы гондолы с гондольерами. Но это стоило бы больших денег, городской бюджет не мог такого позволить, и по бульвару, так же как по улицам вдоль канала и Днепра, побежали по кольцу обычные светло-коричневые «Икарусы». И только прогулочные разрисованные лодочные пристани, которые в летний период пришвартовывались на канале по обе стороны Русановки, давали право на голубое название «Венеция», столь полюбившееся жителям микрорайона и экскурсоводам.

Некоторое время Дмитрий Иванович разглядывал одинокие людские фигурки, сновавшие по улице, небольшую группку людей у подъезда, очевидно жильцов, обсуждавших событие в их доме. Потом из-за поворота появился подъемный кран. Покачивая стрелой как хоботом, похожий на слона, он медленно катился по бульвару.

«Русановка сплошь застроена, — подумалось Ковалю, — куда же он движется?»

Однако это только казалось, что здесь уже негде строить. Прекрасная застройка микрорайона оставила много свободной площади между домами, много простора и воздуха. Со временем, когда города перестанут разрастаться вширь, здесь, в больших дворах-садах между домами, конечно, поставят еще дома, и Русановка потеряет свою прелесть. Быть может, одинокий кран, как отбившийся от стада слон, уже сейчас ищет себе пристанища, свою площадку, въехав на которую он подымет хобот и трубным гласом возвестит об эре мегаполисов...

Мысли эти были случайными, Коваль еще не полностью «погрузился»,

как он выражался, «в дело». Пока он продолжал существовать вне этого события. Каждодневные заботы отвлекали его. В голове чередовались вопросы, связанные с задачей установления причины смерти владельца этой маленькой квартиры, и рядовые мысли о всякой всячине, еще не оставившие его: о дочери Наташе, которой где-то надо купить зимние сапожки, о том, что Ружена снова надумала ехать весной в экспедицию, «в поле», как она говорила, и о том, что нужно поздравить молодого коллегу Струця с присвоением очередного звания старшего лейтенанта, и о многом, многом другом.

Откуда-то в комнату проникали звуки шлягеров, и над головой кто-то топал в танце. Это казалось нелепым в рабочее время, днем. И тоже мешало сосредоточиться на мыслях о случившемся.

Однако он уже давно привык к тому, что главное в его жизни — служба — состоит из неожиданностей, и научился приспособливаться к ним, привык к тому, что дела следовали одно за другим, как морские волны на берег — не успела откатиться одна, как его накрывала следующая. Отправляясь утром в министерство, тревожился: что его там ждет, какие события произошли в течение ночи. В особо сложных случаях, когда появлялась необходимость его присутствия, вызывали немедленно, даже поднимали с постели. С обычными же происшествиями оперативники райотделов вполне справлялись без него, и сегодняшняя трагедия на Русановке, о которой сразу трудно было составить определенное доказательное мнение, стала известна ему — консультанту Управления уголовного розыска, — когда группа во главе со следователем прокуратуры Спиваком уже отправилась на Русановку.

Мысли полковника постепенно возвратились к трагическому событию, и он снова принялся изучать квартиру покойного.

У него еще не определилась система осмотра, он еще не знал, на что обратить особое внимание, где прячется та ниточка, которая ему нужна. И нужна ли она вообще?.. Но так было в начале каждого розыска и дознания — неприятное ощущение пустоты вокруг, как и у новичка, не уверенного в своих силах. Но разумом он понимал, что раньше или позже ему помогут опыт и знания, а где и интуиция, когда, казалось, он все начинал чувствовать кожей, — и истина будет обнаружена.

Рассматривая приколотые над тахтой цветные фотографии стройного парня и на лыжах в горах, и в бассейне перед прыжком в воду, он как личное оскорбление воспринимал то, что эта молодая жизнь так нелепо оборвалась. Чем больше он знакомился с обстановкой, тем глубже входил в чужую жизнь и, как это бывало в каждом новом деле, волнения, радости и горести вчера еще незнакомых людей становились его собственными, а жизнь этих людей — частью его жизни.

В нем и сейчас постепенно рождалось чувство сопричастности, словно беда настигла не чужого, а близкого ему человека, сына или брата. Да, судьба не пощадила и его родного брата — десантника Северного флота, погибшего в первый год войны, в атаке на реке Лица. Но то была война, а в мирное время... И Дмитрий Иванович понял, что не успокоится до тех пор, пока не установит с абсолютной точностью, «что» или «кто» оборвал эту жизнь! Несчастный случай или чья-то злая воля...

По мере того как он все глубже будет вникать в дело и все больше незнакомых людей будет распределяться по противоположным полюсам, для одних он тоже сделается человеком своим, близким, даже дорогим, для других — страшным и ненавистным.

Так происходило всегда, и он знал, что так будет и на этот раз. Важно, чтобы новые персонажи новой человеческой трагедии, или, может быть, трагикомедии, побыстрее и без ошибки потянулись при его помощи к этим — каждый к своему — полюсам. В первое время придется, конечно, собрать их в своем представлении всех вместе и познакомиться поближе. Как и в искусстве, сперва для него недостаточно будет двух красок: черной и белой. Сначала люди предстанут перед ним в многогранном обличье, но в отличие от художника потом он расставит всех в зависимости от их поступков на точно определенные законом места — черные или светлые, чтобы каждый получил свое.

Расхаживая по комнате и размышляя над возможными вариантами трагического события, Дмитрий Иванович вдруг заметил тень, мелькнувшую за его спиной.

Он обернулся. Это было длинное узкое зеркало, искусно вделанное в простенок между окном и балконной дверью, на которое он сразу не обратил внимание. Из зеркала на него глядело серьезное неузнаваемое лицо. Лицо это пополнило, огрубело, волосы над лбом стали реже, намечая будущие залысины, под правым ухом появился какой-то бугорок — полковник ощупал его пальцами — кажется, небольшой жировичок, от глаз тянулись гусиные лапки. Только сосредоточенный взгляд, свидетельствующий о напряженной работе мысли, был, как всегда, его, Ковалья.

Время, время!.. Да ладно, он ведь не женщина, чтобы тревожиться о приближающейся осени жизни...

Полковник вздохнул и еще раз посмотрелся в зеркало.

Из своей многолетней практики Дмитрий Иванович вынес убеждение, что любое занятие никогда не мешает углубленной работе мысли, что подсознание не знает перерывов и постоянно напряженно трудится, что бы ни делали в это время руки, на что бы ни смотрели глаза, что бы ни воспринимал слух. Иногда, наоборот, даже помогает работе мысли, по невидимым каналам ассоциаций связывая внешние признаки предметов с их внутренними, еще не осознанными им отражениями, определяя, казалось бы, незаметное глазу подобие вещей и событий или подчеркивая их различие...

Подойдя к книжным полкам, Коваль пробежал взглядом по корешкам. Большинство книг были техническими справочниками и учебниками, трудами по машиностроению. Художественной литературы — всего несколько разрозненных книг да две-три многотомные подписки классиков, которые, учитывая трудности подписки, вряд ли определяли истинные вкусы хозяина.

Коваль наугад вытянул одну из книг. На титульной странице стоял экслибрис хозяина: «Журавель А. И.» Да, погибшего звали Антон Иванович Журавель. Штриховой рисунок экслибриса показался занимательным. Внизу были нарисованы какая-то машина, линейка и кронциркуль.

А вверху, в высоком, покрытом облаками небе, диссонируя с этими техническими аксессуарами, красовалась изящная женская туфелька, над которой, широко раскинув крылья, летел журавлик. Коваль полистал книгу и поставил ее назад на полку.

Среди других внесенных в протокол осмотра вещей погибшего была и пухленькая записная книжка. В красном, под кожу, переплете, оставленная следователем по просьбе Коваля, она кровавым пятном лежала сейчас на столе.

Закончив беглый осмотр комнаты, Дмитрий Иванович взял записную книжку и, возвратившись в удобное кресло, стал ее рассматривать. Страницы пестрели телефонными номерами, большей частью учрежденческими, непонятными формулами, маленькими, наспех набросанными чертёжками, в которых Коваль с трудом разбирался, и многочисленными рисунками женских ножек в изящных туфельках и сапожках. Были и стихи, и какие-то записи, которые в будущем еще следовало изучить.

Точные науки не были для Дмитрия Ивановича темным лесом, но взлет научно-технической революции был столь стремителен, что знаний, полученных в юности, уже не хватало. Поэтому, когда он сталкивался со сложной технической загадкой, обращался к специалистам-экспертам. Рассматривая сейчас записную книжку, Дмитрий Иванович подумал, что и на этот раз не обойдется без консультаций с опытными инженерами.

Недавно он был буквально ошарашен, прочитав в газете, что ученые сумели найти алгебраическое решение задач по распознаванию, сумели смоделировать при помощи математики такие функции мозга, как способность находить сходство, действовать на основе интуиции и тому подобное.

Коваль знал, что человеческий мозг ежечасно, ежеминутно, ежесекундно что-то сопоставляет, выбирает, отбрасывает из того, что человек видит, слышит, чувствует. И все это происходит подспудно.

В значительной мере, и всегда неосознанно, эта способность мозга и интуиция помогают и ему в его профессиональной деятельности: увидеть, сравнить, выстроить логическую линию и разоблачить преступника. Однако для полковника было обидным открытие, что интуицией, как проявлением особой способности человеческого мозга, стала обладать и машина, что создано целое направление в науке, развивающее эту способность машины при помощи эффективных математических алгоритмов.

Ему представлялось, что этим заканчивается эра чисто человеческого интеллекта, и его полностью заменит машина, и возможно, он будет последним из могикан, кто по старинке обходится без машины и использует только свой опыт и интуицию.

Нет, он еще не мог осознать это и передать свои человеческие функции, свой опыт, свою интуицию машине и принимать ее решение как неопровержимое доказательство. Да и математика, наверное, пока не готова принять от него эстафету классификации человеческих поступков, распознавания их и, отсюда, решения человеческой судьбы... Его мозг еще долго будет служить людям!..

Оторвавшись от этих мыслей, Коваль стал дальше изучать красную книжечку.

Напротив многих телефонных номеров стояли женские имена. Мужских было всего три. Дважды повторялось и было подчеркнуто «Келя». Повторялось и имя «Нина». Потом полковника заинтересовала странная запись «Кель-Потоцкий — 300». «Келя» и «Кель». Возможно, «Потоцкий» — это фамилия какого-то «Келя» или «Коли» — запись была неразборчивой — но Ковалю подумалось, что Потоцкий — печально известная на Украине фамилия бывшего польского магната. «Кель»? «Кель», «Кель»? Полковник напрягал память. Почему ему знакомо это слово? Да, так, кажется, называется Кельнская футбольная команда в ФРГ — «Khöln». Странная ассоциация! Не туда ли ведет ниточка?

Следующая запись еще больше удивила полковника. Ниже было написано: «Должок пана! Позвонить в Одессу. Напомнить и Келе, дружба дружбой, табачок врозь!» Значит, Келя — это женское имя?!

Дмитрий Иванович сделал для себя выписки телефонов наиболее часто повторяющихся фамилий, решив прежде всего встретиться и побеседовать с этими людьми.

Коваль сидел в шинели и не замечал, что в комнате очень холодно, и только когда замерзли пальцы, отложил записную книжку, потер руки и поднялся, чтобы закрыть окно. Из комнаты он прошел в кухню, чтобы и там закрыть такое же большое двойное окно, распахнутое настежь еще его коллегами из опергруппы.

Покончив с этим делом, Дмитрий Иванович облегченно вздохнул: шлагеры звучали теперь тихо, приглушенно, даже топот над головой вроде бы прекратился...

Полковник еще раз обвел взглядом небольшую, казалось, обычную кухоньку. Однако кухня была не совсем обычной.

Никакой занавеси в проеме для двери между ней и комнатой не было. Квартира была той давней постройки, когда по упрощенному сверхэкономичному проекту дверь в этом месте не предусматривалась. Некоторые хозяева находили «шабашников» и навешивали двери, другие закрывали проем цветными вьетнамскими занавесями из бамбуковых палочек. Хозяин этой квартиры почему-то оставил проем открытым, и из кухни просматривалась вся комната, а из комнаты — часть кухни с плитой и высоким голубым пеналом. К стенке пенала была приколотая большая цветная реклама какой-то заграничной фирмы: изящные модели женских туфель и сапожек, закрытые, открытые, лодочки с маленькими каблучками и на высоких «шпильках», сапожки со змейками и без них, отороченные мехом, зимние, и тоненькие — летние.

Большую часть кухни занимали низкий столик, похожий на табурет, сапожный стульчик, перетянутый ремнями на сиденье, полочка с баночками белого клея, цветным воском, шилами и ножиками, воткнутыми в ременные пазы. В углу возле небольшой старой швейной машинки «Зингер» стояли и лежали рашпили, металлические супинаторы, клещи, шпандер для снятия колодок и еще какие-то инструменты, назначений и названия которых Коваль не знал. Рядом валялось несколько кусков цветной кожи. Дмитрий Иванович открыл баночку с белым клеем, в нос ударил острый запах ацетона. Потом полковник взял в углу изящной формы незаконченный женский сапожок и, повертев в руках, снова по-

ставил на место. Было ясно, что хозяин приспособил свою кухню под сапожную мастерскую, и стоило Ковалю закрыть окно, как в ней резко запахло ацетоном и кожей.

Это удивляло, так как, кроме погибшего, никто в этой квартире не жил, а по специальности Журавель был вовсе не сапожник, а младший сотрудник научно-исследовательского института.

Рассматривая рекламу и по-прежнему удивляясь странному совмещению занятий хозяина, Дмитрий Иванович понял то чувство, которое у него появилось при осмотре квартиры и которое он не сразу распознал: какое-то несоответствие было в ней, то ли чего-то не хватало, то ли было лишним. В комнате это чувство вызывало соседство дорогого двухкассетного японского магнитофона «Шарп», импортного цветного телевизора с приставкой со старинным граммофоном, увенчанным огромной раскрашенной трубой, соседство мрачных ночных химер на картинах с белой гипсовой женской ножкой. А во всей комфортабельной квартире — изысканно обставленная комната и сапожная мастерская на кухне.

Тем временем за дверью, на лестничной площадке, слышалось какое-то движение. Кто-то поднялся на этаж и сбивал с обуви снег.

Коваль подошел к двери: возможно, человек хочет войти в квартиру Журавля!

Но нет — неизвестный ковырял ключом в замке другой квартиры. Поняв эту возню, полковник решил, что возвратился сосед Журавля. Ковалю нужно было установить причину гибели молодого ученого: несчастный случай, самоубийство или, может, преступление, убийство. Начинать розыск следовало прежде всего с соседей. Кто, как не они, лучше остальных могли знать погибшего. По вызову одного из них, старика-инвалида, приехали газовщики, а потом и милиция.

Впрочем, едва ли здесь имело место убийство. Предварительно осмотрев труп, судмедэксперт не обнаружил следов насилия. Открытая конфорка газовой плиты и почти полный чайник воды на ней, сильный запах газа, буквально ударивший в нос, как только аварийная бригада «Киевгаза» отворила дверь, давали основание предполагать, что произошло случайное отравление газом: на поддоне плиты стояла вода, выхлупнувшаяся из чайника и залившая огонь, погибший, очевидно, уснул в состоянии опьянения, забыв о чайнике и не закрыв кран.

Да и никаких следов убийцы! Какое же это преступление, когда нет признаков насилия и следов преступника? Непременно в таком случае должны быть характерные признаки преступного деяния — прямого, непосредственного, или непрямого, но создавшего условия для гибели человека, или, наконец, заведомо преступного бездействия, которое может привести к смерти.

Но ни первого, ни второго, ни третьего Коваль здесь не усматривал. И поэтому пока не мог построить никакой версии происшествия.

«Впрочем, — думал полковник, — впереди еще подробное заключение экспертизы, более детальное и точное, чем предварительное. Поживем — увидим...»

Возня у соседней двери прекратилась, и Коваль понял, что человек замешкался, перед тем как открыть свою дверь и войти в квартиру.

Прошло с полминуты. Неизвестный все еще стоял на площадке. Видимо, узнав у столпившихся у подъезда людей о трагическом происшествии и приезде милиции, он интересовался тем, что сейчас делается в квартире Журавля, но заглянуть не решался... Наконец, скрипнув дверью, сосед вошел в свое помещение...

2

Когда Коваль постучал в соседнюю дверь, на пороге появилась черная женщина выше среднего роста. Дмитрий Иванович одним взглядом окинул ее ладную крепкую фигуру в дешевом клетчатом, совсем не зимнем, пальто. Черные как смоль волосы ее были гладко зачесаны назад и тщательно затянуты тесемкой, оставляя на свободе недлинную косу. Четко очерченное лицо со сдвинутыми черными бровями и строгим ртом казалось одновременно и красивым и волевым, если бы не слезы, еще не высохшие на глазах. Коваль догадался, что у подъезда ей уже рассказали о трагедии, случившейся в доме.

Женщина растерянно посмотрела на незнакомого человека.

— Я вас слушаю.

— Полковник Коваль, — представился Дмитрий Иванович. Он понял, что шаги на лестничной площадке, которые он слышал, принадлежали этой женщине.

— Павленко Варвара Алексеевна, — в свою очередь назвалась она. Лицо женщины приняло отрешенное, жесткое выражение.

— Разрешите, — произнес Коваль и, следуя за хозяйкой, отступившей в глубь квартиры, вошел в комнату. Он обратил внимание, что женщина еще не успела раздеться с улицы. Следы ее растерянности — покупки: хлеб, пакеты молока, картофель в сеточке — она не отнесла на кухню, а бросила здесь же, в первой комнате, на единственно новую вещь — плюшевый диван — подтверждали догадку Дмитрия Ивановича о том, что люди на улице уже проинформировали ее о трагедии.

Состояние хозяйки заставило Ковалья повременить с расспросами. Женщина, не глядя на него, заявила, что мужа дома нет, что он в командировке, а она так потрясена случившимся, что не может прийти в себя. Потом вдруг расплакалась, да так сильно, что Коваль испугался истерики.

Однако Дмитрий Иванович не ушел. Извинившись за беспокойство, попросил женщину собраться с силами и ответить на несколько вопросов. С трудом сдерживая рыдания, от которых ее трясло как в лихорадке, Варвара Алексеевна наконец вытерла платочком лицо и подняла на полковника глаза, в расширенных зрачках их стоял ужас. Дмитрию Ивановичу подумалось, что так переживают смерть человека более близкого, а не просто соседа.

В конце концов женщина справилась с собой, сняла пальто и унесла покупки на кухню.

Коваль тем временем рассматривал ее жилище. Ему нужно было делать свое дело, и ничто в этом доме не должно пройти мимо его внимания. По привычке в глубине его сознания невольно фиксировалось все, что видел глаз.

Квартира Павленко выглядела не просто бедно, а как-то убого. Дмитрию Ивановичу даже пришлось порыться в своей памяти, пока не извлек оттуда это точное слово — «убого». Такое впечатление создавалось не потому, что мебели было мало — диван да невысокая старенькая стенка, которая несмело теснилась напротив окон, да явно не хватало обычного стола и стульев. Ощущение убогости придавали помещению прежде всего застиранные занавески, исшарканный паркет, только по углам комнаты сохранивший следы мастики, и небольшой устаревший черно-белый телевизор типа «Весна». Казалось, и застоявшийся воздух в непроветренной комнате пах бедностью. И первая комната, и вторая, видневшаяся через приоткрытую дверь, были чрезмерно вытянутыми и производили впечатление маленьких и неуютных.

Вскоре Варвара Алексеевна возвратилась в комнату. Коваль усадил ее на диван и сел рядом.

Женщина отвечала на его вопросы неохотно и односложно. Слова выговаривала медленно, запинаясь. Как будто, прежде чем произнести любое из них, она взвешивала его, решая, следует ли произносить, и только после этого выговаривала, словно прочитывала записанное. Так поступает человек, плохо знающий язык, на котором вынужден разговаривать, или почему-то неуверенный в себе. Варвара Алексеевна была явно несобранной, время от времени принималась плакать и всячески старалась побыстрее окончить неприятный разговор, отделаться от непрошеного гостя. Понимая ее состояние, Коваль стал расспрашивать сначала о вещах, далеких от трагического события в доме. Узнав, что Варвара Алексеевна работает бухгалтером в тресте зеленых насаждений, поинтересовался, чем занимается трест в зимнее время, удовлетворена ли она работой, и только потом постепенно перешел на вопросы о соседях по дому, о муже. Всем своим поведением Дмитрий Иванович старался подчеркнуть, что расспрашивает больше для проформы, по служебной обязанности — мол, дело уж у него такое сложное и гибель Антона Журавля, их соседа, одно из тех происшествий, которые, к сожалению, еще случаются в жизни и происходят в большинстве случаев не по злой воле людей, а из-за случайных, трагических совпадений.

И вот, мол, теперь ему приходится заниматься этим скучным делом и задавать Варваре Алексеевне вопросы, отнимая и у нее, и у себя время.

Коваль, казалось, был не очень-то и внимателен к ответам женщины, будто слушал ее вполуха, иногда переспрашивал, хотя кроме «да» или «нет» Варвара Алексеевна мало что произносила, и продолжал рассматривать комнату, словно старая стеночка да жухлые занавески его интересовали больше, чем эти ответы. Выяснилось, что муж Варвары Алексеевны — Вячеслав Адамович Павленко — был не только соседом, но и коллегой погибшего. Вместе работали в одном научно-исследовательском институте младшими научными сотрудниками.

Дмитрий Иванович еще многое не знал и не понимал в случившейся трагедии. Он не знал, что за люди сам погибший и его соседи, люди, которые внезапно вторглись в круг его обязанностей и судьбой которых он вынужден теперь интересоваться. Он пока еще не представлял себе того мира, в котором жил Антон Журавель, и должен был не просто предста-

вить мир этого белокурого парня, так внезапно расставшегося с жизнью, представить хотя бы в общих чертах, но и узнать о нем и его окружении все до мельчайших подробностей, ни в каких документах не регистрируемых.

Поэтому сейчас, волею случая начиная свой первый разговор о событии не с самым близким Журавлю, как оказалось, человеком — его сотрудником Павленко, который находился в командировке, а с его женой, полковник мог задавать вопросы только общего характера, еще сам не зная, что больше всего его заинтересует. Он словно блуждал во мраке, не имея чем осветить его и надеясь только на удачную случайность, на тот лучик, который вдруг ворвется в окружающий мрак.

Шлягеры и топанье ног проникали и в квартиру Павленко и раздражали Ковалю.

Он посмотрел на потолок и спросил Варвару Алексеевну:

— И часто так? Среди белого дня.

— Невозможные люди. Девчонка бездельница, ученица в парикмахерской, когда не на смене, сразу за магнитофон. И компанию собирает. Голова трещит от них...

Ненавязчивая манера беседы Ковалю, по-видимому, успокоила женщину, и она стала отвечать не так односложно и неприязненно, как вначале. Взгляд ее хотя и оставался настороженным, но был уже не таким недобрый.

Она бы уклонилась от всякого разговора с этим неприятным ей человеком с холодными, как она назвала про себя «рыбьими», глазами. Но этот человек словно между прочим сказал, что зашел сейчас потому, что не хотел приглашать ее в милицию ради нескольких деталей, которые его интересуют, и она согласилась, что так, конечно, лучше.

Помогая Варваре Алексеевне наводящими вопросами, Ковалю кое-что все-таки удалось узнать об этом кооперативном доме и о соседях Журавля.

Об одном из них, о старике-инвалиде Анатолии Трофимовиче Коляде, недавно похоронившем жену, Коваль, правда, уже немного знал со слов участкового инспектора и составленного им протокола.

Утром внимание Коляды привлекло необычное поведение собаки, когда-то подобранной на улице с перебитой лапой и прижившейся у него. Пес, прозванный им Лапой, тоже был не молод и теперь составлял все общество одинокого пенсионера. Лапа в эту ночь спал беспокойно, с рассветом разбудил Анатолия Трофимовича и, как показалось хозяину, просился во двор. Но тому очень не хотелось выходить спозаранку на мороз, тем более что перед сном он, как всегда, выводил Лапу и тот побегал достаточно. Когда совсем рассвело, Лапе стало неважно — он уже скулил под дверью и начал лаять на нее.

В конце концов Анатолий Трофимович, ворча, слез с кровати, оделся и отворил дверь. Собака выбежала в коридор, оглянулась на хозяина, словно приглашая его следовать за ней, а затем набросилась на дверь, ведущую в квартиру Журавля.

Анатолий Трофимович, подойдя к соседней двери, и сам почувствовал неприятный запах. Ему сразу вспомнилось, как в прошлом году Лапа

так же лаял, когда у них на кухне сочился газ из неисправной плиты.

Он постучал в дверь. Журавель не отозвался.

Пес не успокаивался. Коляда постучал сильнее.

Сосед не вышел.

Тогда старик, забрав собаку, возвратился к себе и позвонил в аварийную «Киевгаза». Газовщики, приехав, обнаружили, что из квартиры идет газ. Они и вызвали милицию...

Сейчас Варвара Алексеевна упомянула, что Коляда после смерти жены стал очень странным. Старик не принимал помощи ни от кого, дичился людей и разговаривал только со своим Лапой, как с человеком. С шофером и его женой, которые, отправив детей в деревню, завербовались на Север, Варвара Алексеевна по-соседски дружила, хотя дружба эта ограничивалась небольшими взаимными одолжениями. С новыми временными жильцами из трехкомнатной квартиры, офицером и его женой, они с мужем, Вячеславом Адамовичем, только раскланивались. Другое дело — Антон Журавель.

— Мой Слава, — все еще глотая слезы, говорила Павленко, — частенько сживал у него. Им института не хватало. И домой придут — никак не разойдутся...

— Так, так, — поддакивал полковник. — Значит, и дома вместе. И о чем же беседы или споры-разговоры?

— Журавель к нам почти никогда не заходил. Все больше Вячеслав к нему. Так что разговоры их не слышала. Да, конечно, о чем же?! О своих делах, о науке, об институте...

Женщина замолчала. Потом, отвечая на вопрос Коваля, сказала, что муж в командировку вроде бы и не собирался. Утром, как всегда, ушел в институт. Но вдруг позвонил ей на работу и сообщил, что срочно улетает в Армению. Не взял даже чемоданчика со сменой белья и другими необходимыми вещами.

— Он еще не знает, что Антона Ивановича нет в живых, — вздохнула Варвара Алексеевна, грустно покачав головой, — приедет, а тут... Удар-то какой! Как перенесет? — снова вздохнула она.

Холостяцкого образа жизни Журавля, к которому «вечно шлялись девки», Варвара Алексеевна не одобряла. Недовольна была и застольями, на которые сосед звал и ее мужа. Но терпела. Потому что расторопный Журавель помогал Вячеславу в научной работе. Утирая слезы, Варвара Алексеевна призналась, что теперь ее Славику труднее будет написать кандидатскую, и, по-видимому, от этой мысли ей становилось еще горше.

— Значит, вы поддерживали эту дружбу?

— Честно сказать, не до конца. Боялась, что и мой приучится пить... Но, бог миловал, не спился... Благо я тут рядом. А насчет женщин... — отвечая на немой вопрос полковника, пожала плечами собеседница, — я была спокойна. Он у меня однолюб... Другой раз выговаривала Антону Ивановичу, но не пускать Славу неудобно было. Мой, хоть и головастый, да, к сожалению, увалень, пробиться сам не может. Да и, кроме того, им нужно было общаться. Над одними и теми же темами работали... А покойный... — Варвара Алексеевна остановилась, словно снова вспомнив о том, что Журавель погиб, закашлялась и потянулась за носовым платком, —

пробивной человек был, земля ему пухом. В институте ценили и уважали... Что ж тут разводить их в разные стороны? Да и не удалось бы мне это.

Варвара Алексеевна не расспрашивала полковника о подробностях гибели соседа, как все это случилось, — казалось, ей было достаточно того, что узнала у подъезда. Это сначала удивляло Ковалю, потом он решил, что у Варвары Алексеевны, как и у любой другой женщины, боязнь страшных подробностей подавляла естественное любопытство.

— А Вячеслав Адамович как относился к своему коллеге?

— Прекрасно... Иногда, правда, жаловался, что вот придумает что-нибудь, скажет Антону, тот сначала высмеет, а потом, глядь, сам уцепится за идею и пошел-поехал по институту продавать ее. Извините, ну не продавать, пропагандировать. Да уже как свою. И все пироги и пышки Журавлю, — вздохнула женщина. — Обидно. Мой тютя переживает, да стесняется приятелю замечание сделать. Говорил, неудобно, я же так, в общем, высказался, а он все оформил, да и кое-что своего добавил, переделал.

Однажды из-за этого между ними черная кошка чуть не пробежала... Но потом все снова наладилось.

Научная среда для Ковалю была незнакомой, и он хотел поближе ее узнать. Конечно, Варвара Алексеевна не принадлежала к ней, не могла быть достаточным источником такого изучения. Но все-таки, думалось Ковалю, работа мужа, его интересы так или иначе обсуждались в семье, кое-чем Павленко, вероятно, делился с женой, о каких-то институтских событиях рассказывал.

— Над чем сейчас работает ваш муж? Я думаю, он делился с вами.

— Не особенно. В начале года, помнится, пришел вечером довольный, обнял меня и воскликнул: «Эврика!», что-то придумал, я не поняла, какой-то способ шлифовки металла.... Я в этом не очень разбираюсь. Да и Слава больше не вспоминал... Видно, нехватило его... А когда поинтересовалась, он сказал: «Отцепись!» Он потом еще что-то придумывал... А чем конкретно сейчас занят, не скажу, не знаю...

— А Журавель?

— Понятия не имею. Знаю только, что оба они машиностроители, специалисты по обработке металлов... То есть уже не оба, — спохватилась женщина. — Какой ужас, какой ужас! Подумать только! — она закрыла глаза и встряхнула головой, словно отгоняя видение.

Варваре Алексеевне было явно не по себе, ее тошнило, смыкались веки, будто она плыла на корабле по бурному морю, то падая в бездну, то взлетая на гребень волны. Во время беседы человек, сидевший рядом, то и дело расплывался в каком-то зыбком свете, и пока, как из морского тумана, он показывался снова, Павленко успевала увидеть своего мужа, услышать его робкий, с нотками детской обиды голос. Детей у них не было, и у нее к Славе кроме женской любви было еще и материнское чувство, как к малому беззащитному ребенку.

В этом году с мужем что-то произошло, ей показалось, что он потерпел в чем-то неудачу, переживает ее, сломался и замкнулся в себе. И душевной летней ночью, когда они лежали порознь на супружеской постели, и в эти зимние ночи, когда в спальне становилось холодно и Вячеслав во

сне прижимался к ней, он спал беспокойно, часто вздрагивая и бормоча, и щемящее чувство жалости к мужу не раз охватывало ее.

В последнее время все чаще Вячеслав поднимался среди ночи, сидел на кровати и подолгу вглядывался в темный квадрат окна. Она тоже просыпалась, словно связанная с ним ниточкой, спрашивала: «Что с тобой?» — и, не дождавшись ответа, целовала и снова засыпала.

Он был молчун по натуре. Но иногда и у него наступала минута откровенности. Тогда прорывались жалобы на судьбу, на то, что невезучий, что и в институте с ним не считаются, и перспектив у него будто бы нет. Она успокаивала, говорила, что он способный, даже талантливый, но следует быть смелее, порасторопней, как, к примеру, их сосед Антон Журавель.

Но муж только вздыхал в ответ и признавался, что до Антона ему далеко, тот может любую его мысль так украсить и расцветить, даже он, Вячеслав, не верит, что вначале это была его идея, а не Антона...

В конце концов выговорившись, облегчив душу, муж засыпал, а она еще долго лежала возле него с открытыми глазами, и горькая боль сжимала ее сердце. Она была готова вместе с ним драться за его судьбу, защитить от обидчиков, от превратностей жизни, любой ценой помочь, но как это сделать, не знала...

Как ни странно, но сейчас, во время беседы с полковником, она вдруг обнаружила, что обычное чувство жалости к мужу куда-то исчезло. Она вспомнила о нем с какой-то неприязнью и обидой. Его жалобы, его душевная слабость, непростительная для мужчины, заставлявшая брать на себя непосильную нагрузку, сейчас вдруг возмутили и ужаснули ее. Столько лет жить с ним, любить, верить в него, в его звезду, надеяться устроить с ним яркую достойную жизнь! Ей ведь, как всякой женщине, так хотелось иметь рядом мужское плечо, на которое можно опереться!.. А что получилось?! Вот и теперь он неожиданно уехал в командировку, оставив ее наедине с милиционером, вызывавшим у нее тяжкое чувство...

На образ мужа накладывались воспоминания о Журавле — то идущего ей навстречу где-то во дворе, то стоящего рядом с мужем, то лежащего на тахте в своей квартире...

— Журавель еще успевал и сапожничать, — словно издалека услышала она голос Ковалю. — Много к нему заказчиц ходило?

Она открывала глаза, и снова вырисовывался перед ней полковник милиции, сосредоточенно глядевший на нее.

— Да, он шил. По-моему, немного. Вячеслав говорил, что только своим подружкам. Как-то видела у него туфельки, просто очарование, обещал и мне, да не собрался, — добавила женщина. — Бог с ними, с туфельками...

— Вы знаете кого-нибудь из его заказчиц?

— Пожалуй, нет, — произнесла, подумав, Варвара Алексеевна. — Портниха одна к нему частенько навещалась, а больше так, прибежали-убегали. Мне не было дела их отслеживать... Но чаще всего Вячеслав говорил о машинистке из института, Нине. Вообще муж не одобрял такой калейдоскоп приятельниц, какой был у соседа. Придет, бывало, от него и возмущается, мол, черт знает что творит Антон! И бабенок этих, в общем, не жаловал. Разве что машинистку жалел. Очень, говорил, милая и очень несчастная. Ко всем бедам ей надо было еще и в Антона влюбиться...

А тот только голову морочит... Я ее тоже встречала здесь, довольно миленькая на вид...

На вопрос полковника, не знает ли она, кто был вчера у Журавля в гостях, Варвара Алексеевна молча взялась за голову. Ссылаясь на невыносимую головную боль, женщина поднялась с дивана и сказала, что не может больше разговаривать. Коваль видел, как на ее лице действительно все сильнее проступали красные пятна, понимал ее состояние и согласился продолжить беседу в другой раз. Кое-какую первоначальную информацию он все-таки сумел получить.

Если бы его спросили, какое впечатление произвела на него Варвара Алексеевна, он сказал бы, что женщина она впечатлительная, во время беседы была крайне угнетена, хотя старалась не показывать этого. Но когда ей это не удавалось, она вздрагивала, с ужасом оглядывалась на дверь, словно оттуда вот-вот должно было появиться нечто страшное.

Впрочем, и неудивительно: о смерти в суматохе будней обычно не думают, но если она входит пусть даже не в твою дверь, а к соседу, то все равно бросает черную тень на все вокруг, оглушает, и от чувства, что она незримо присутствует рядом с тобой, не сразу удастся освободиться.

3

Провожая полковника, Варвара Алексеевна выглянула на лестничную площадку. Коваль заметил, как вдруг загорелись ее глаза. «Вот одна,— пробормотала Павленко.— Эта самая Нина».

Дмитрий Иванович увидел худощавую женщину в пальто с дешевым, из искусственного меха, воротничком, вышедшую из лифта. Варвара Алексеевна, очевидно не желая встречаться с ней, буркнула полковнику: «До свидания»,— и прикрыла за ним дверь. Дмитрий Иванович был уверен, что она осталась стоять в прихожей, прислушиваясь к тому, что происходит на лестничной площадке.

Молодая женщина подняла взгляд на незнакомого мужчину и остановилась. Лифт тем временем, загудев, ушел.

Коваль, сделав вид, что не обращает на нее внимания, не стал вызывать лифт, а начал спускаться по ступенькам. Увидев, что незнакомец уходит, Нина приблизилась к квартире Журавля и нажала на кнопку звонка.

В этот момент Коваль, словно что-то вспомнив, пошел обратно.

Женщина обернулась, потом взгляд ее заметался по двери, которая не открывалась. И, вдруг заметив, что дверь опечатана, она замерла в испуге.

— Полковник милиции Коваль,— представился Дмитрий Иванович.— Вы к кому?

Столбняк, охвативший женщину, прошел не сразу. Наконец она нашлась.

— Это Антона Ивановича Журавля...— показала на папку, которую держала в руках, пытаясь раскрыть ее непослушными пальцами,— его работа... Я машинистка из института. А что случилось?

Все слова она произнесла как-то робко, не глядя на Ковалья, и легкая

краска тронула ее молодое приятное лицо. Да и спросила она так тихо, словно не была уверена, имеет ли она на это право.

— Ваш сотрудник Журавель этой ночью погиб,— сказал Коваль.

— Что-о-о? — казалось, не расслышала женщина.— Погиб? Вы сказали: «Умер»? Как это?! Что вы такое говорите?!

Побелев, как снег, принесенный на сапожках, закрыв глаза, не пытаясь удержать выскользнувшую из рук полиэтиленовую папку, она прислонилась к стене и простонала:

— Не может быть! Почему?! Как?

Испугавшись, что женщина грохнется на пол, Коваль приготовился было подхватить ее, но она собралась с силами и, тяжело дыша, открыла глаза. Ее светлые, миндалевидные глаза стали какими-то странными, совсем бесцветными. Она уставилась этими пустыми глазами в полковника, потом почему-то кивнула, словно смиряясь со страшной новостью, механически взяла из рук Коваля поднятую им папку и с каменным лицом отошла от двери, направляясь вниз.

— Подождите,— остановил ее Коваль.— Как ваша фамилия?

— Барвинок.

— Нина?

Она кивнула.

— Институт машиностроения?

— Да. НИИ. А...— Женщина испуганно обернулась на опечатанную дверь, будто оттуда могла выползти смерть, и вдруг залилась слезами.

— Боже мой, боже мой, Антон, Антон Иванович... Антон Иванович,— повторяла она, уцепившись руками за перила. Усилием воли стараясь сдержать слезы, которые непроизвольно катились из ее глаз, глотая эти слезы, спросила: — Где же он?

Коваль пожал плечами: уже в морге.

— Да, да,— согласилась женщина.— Я понимаю. Ах, боже мой! Как же это случилось? Когда? Почему? Кто его убил?

Она была вне себя, как в полубомороке. Топталась на первой ступеньке, словно не зная, на что решиться: идти дальше вниз или возвращаться назад.

Полковник внимательно наблюдал за ней.

— Хотите мне что-то сказать?

— Нет, нет, что вы?! — в глазах женщины появилось осмысленное выражение.— Я пойду?.. Да, да, я пойду,— сказала она, не ожидая ответа на свой вопрос.

— Хорошо,— согласился Коваль,— мы с вами побеседуем позже.

Машинистка, забыв о лифте, медленно спускалась по лестнице. Когда она скрылась на нижнем марше, Дмитрий Иванович, выждав минуту, посмотрел через застекленные рамы на лестнице вниз на бульвар, который начинал растворяться в лиловом зимнем свете. Ему еще раз захотелось увидеть Нину. Некоторое время она не появлялась в поле его зрения, а когда наконец полковник увидел сверху ее маленькую, будто согнутую от удара фигурку, с трудом признал в ней ту стройную, молодую женщину, с которой только что беседовал на лестнице.

Дмитрий Иванович обвел взглядом двери, выходящие на площадку,

решая, кем же следующим из соседей Журавля нужно будет заняться оперативной группе.

В этом кооперативном доме, построенном еще во времена, когда жилищная кооперация на песчаной Русановке только разворачивалась, на каждом этаже находилось четыре квартиры: однокомнатная, две двухкомнатные и трехкомнатная.

Лучше всех в проекте была одинарка, в ней и жил Журавель — двадцатиметровая комната с балконом, небольшая, но уютная кухонька. Двухкомнатные были не намного больше по площади и казались одной большой комнатой, почему-то разделенной тонкой перегородкой. И наконец, трехкомнатная представляла собой «распашонку», где большая комната, от которой в обе стороны отходили две крохотульки, выглядела просторным холлом перед спальнями...

Полковник знал со слов Варвары Алексеевны, что во второй двухкомнатной живет старик пенсионер, недавно потерявший жену. Он редко выходит из дома из-за болезни ног, и исполком уже много лет обещает ему предоставить квартиру на первом этаже. Хозяева трехкомнатной завербовались на Крайний Север и, заперев в боковушках свои вещи, сдали на три года большую комнату офицеру с супругой.

Коваль подумал, что прежде всего следует познакомиться поближе со стариком пенсионером. По его вызову приехала аварийная газа. Да, старики, как показывает практика, обычно наиболее наблюдательны и внимательны к жизни других людей.

Однако сам Коваль сейчас к Коляде не зашел. Решив поручить собрать нужные сведения в этом доме старшему лейтенанту Струцю, Дмитрий Иванович стал спускаться по лестнице, на бульваре его должна была ждать машина.

* * *

Тем временем Нина Барвинок, пошатываясь и останавливаясь, словно пьяная, брела по замерзшему бульвару. Мысли ее путались. Она еще не могла осознать до конца происшедшее. Ведь утром, как всегда опаздывая, прибежала запыхавшись в институт и только плюхнулась на свое рабочее место, за машинку в маленькой комнатке машбюро, — к ней подошел Павленко и попросил срочно отпечатать командировочное удостоверение. Пока она заполняла бланк, Вячеслав Адамович нетерпеливо переминался с ноги на ногу и вдруг спросил, здесь ли у нее второй экземпляр работы Журавля и допечатала ли она конец.

Нина сначала удивилась вопросу, так как Антон Иванович просил пока никому не показывать рукопись и не рассказывать о ней. Поведение Журавля в этот раз она нашла тоже странным, — в институте не было в обычае прятаться со своими открытиями. Наоборот, даже если открытие или изобретение было незначительным или не особо оригинальным, автор шумел на весь институт. Поступали так иногда и в начале работы, когда хотели застолбить заявку на открытие и спешили утвердить свой приоритет.

Впрочем, подумала потом она, Вячеслава Адамовича этот запрет Жу-

равля не касается. Ведь вчера вечером Антон уже рассказывал ему о своей разработке.

«Нет, конец еще не допечатала. Только пришла. Но осталось немного. К обеду, между делом, закончу,— ответила она.— А второй экземпляр есть».

«Дайте на секунду,— попросил Павленко.— Мне Антон показывал, но еще хочу взглянуть».

Когда Нина дала ему отпечатанные страницы, Павленко стал быстро рыться в них. Руки у него дрожали, папка выскользнула, и листки веером легли на пол. Нина бросилась их подбирать, а Павленко схватил со столика уже отпечатанное командировочное удостоверение и побежал к начальству подписывать. Больше в этот день она его не видела...

Но ведь что ей сказал этот полковник?! Что-то несуразное! Антон погиб?! Какая-то нелепость! Журавель, ее милый белокурый Антон, возник перед глазами живым, радостным, веселым, как всегда. Таким он был и вчера, когда она принесла ему часть перепечатанной работы. Почему же сегодня ей сказали, что его нет в живых? Этого не может быть!

Нелепость, нелепость, нелепость! И Павленко сегодня, уезжая в командировку, ничего не сказал.

Ведь он должен был бы знать, если не дай бог... Да, когда же это могло случиться?! Когда? Вчера вечером они все вместе сидели... В волнении Нина никак не могла понять, когда было «вчера» и что такое «сегодня». Нет, это неправда! — окончательно решила она... Но солидный человек, полковник милиции! Зачем ему врать? Почему?! Может, просто арестовали бедного Антона? За что же? За то, что шьет сапоги?

Павленко сегодня, конечно, был расстроен, суматошен, но он такой всегда. Нервничал, спешил. Наверное, ему влетело от руководства, что откладывает поездки на завод. Да и вообще этого Вячеслава Адамовича, этого «поймите меня правильно», никогда не поймешь! Но как он мог не сообщить ей об Антоне, если не дай бог... Пожалел ее?

Ей вспомнился разговор с Павленко несколько дней тому назад на этом же бульваре Давыдова.

...Они шли вдвоем по уже затихающему в опускавшихся сумерках бульвару. Нина сосредоточенно смотрела под ноги, словно боялась споткнуться о что-то невидимое на слегка запорошенном снегом асфальте. Она шагала размеренно, чуть покачиваясь, не глядя на своего спутника. Худенькая, высокая, в легоньком пальто, она казалась топольком, который убежал от высоких заиндеветших деревьев, застывших в шеренге вдоль бульвара, и двинулся рядом с человеком.

Павленко нервничал. Он шел подпрыгивающей походкой, то чуть отставал от спутницы, то вырывался вперед, пытаясь увидеть ее глаза, убедиться, что она его слышит, и заячий треух на его голове при этом жалко вздрагивал в такт неровному шагу.

«Поймите меня правильно, Ниночка,— спешил высказаться Вячеслав Адамович, зная, что время его ограничено: еще квартал — и покажутся Березняки, дом, в котором живет машинистка и возле которого ему придется раскланяться.— Поймите меня правильно, Ниночка. Я ваш друг».

Нина молчала, уткнувшись носиком в поднятый воротничок пальто.

«Я хочу вам добра. Я вам очень сочувствую. Знаю и о вашей нелегкой жизни. Все знаю... А человек вы чудесный, милый, добрый... достойны лучшей участи. Если бы вам хоть немножко в жизни повезло! И если бы от меня это зависело!.. Я готов себя убить за то, что не могу сделать вас счастливой».

«Что вы знаете о моей жизни? — высвободила рот из воротничка Нина. — Моя жизнь касается только меня, Вячеслав Адамович».

«Да, да, конечно, — спешил согласиться Павленко. — Поймите меня правильно, я лишь хотел как-то помочь вам, ну как бы сказать, оградить вас...»

«От чего?»

«Ну, — замялся Павленко, — скажем, от новых бед, которые могут свалиться на вашу голову...»

«Каких еще бед?» — женщина уставилась на собеседника.

«Ну, может, не совсем так... просто предупредить, чтобы вы не обманывались... Поймите меня правильно, я не в силах видеть, как вы преданы Антону и какой неблагодарностью он платит. Мне трудно это говорить, но я ваш друг, Ниночка, настоящий друг, я к вам всей душой. Вы мне даже напоминаете Неточку Незванову из Достоевского... Гляжу на вас и словно перечитываю роман. Впрочем, нет, не перечитываю... а вижу все наяву, вижу ваше нелегкое будущее...»

«Что же вы видите? Какое будущее?»

«Антон хороший парень, красив, умен, талантлив... Но ведь он ничего не сделает для вас, семью вашу разрушит, а сам не женится. Я его знаю. Он человек порыва, минуты, в порыве пообещал, а вы и поверили, понадеялись... И теперь на моих глазах повторяется вечная, как мир, история...»

Павленко, очевидно, все труднее было говорить, он начал заикаться и, пытаясь скрыть это, вынужден был делать паузы.

«Поймите меня правильно, — передохнув, продолжал он, — я ваш друг и не могу скрывать то, что знаю».

«А Антону Ивановичу вы тоже друг?»

«Видит бог — друг, — ответил Павленко, прижимая руку к груди, — и именно поэтому хочу вас предупредить, чтобы вы не лелеяли розовые мечты. Вы уже, кажется, готовы уйти из дома и подать на развод. Но куда вы денетесь? Да еще с ребенком... Вы пока удобны ему, как и многие другие до вас... Он, наверное, вообще никогда не женится... Мне вас обоих жаль...»

Нина, несмотря на холод, замедлила шаг и подняла голову. Страшная догадка змеей вползла ей в душу, но от нее замерзшую женщину бросило в жар. Небо, до сих пор розовато-серое, приобрело сиреневатый оттенок, фиолетовым стал и снег, вдруг и дома, и небо показались ей черными, словно она ослепла.

Женщина остановилась, закрыла лицо руками. Павленко поддержал ее за локоть.

Нина отвела его руку.

«Это Антон поручил вам поговорить со мной?»

«Упаси бог. Антон ничего не знает, и умоляю вас, не передавайте ему...

Он неплохой парень, это безусловно. Но серьезно к женщинам относиться не может, даже к вам, вы ведь и сами чувствуете... — говорил Павленко. — И я думаю, он будет доволен, когда узел развяжется».

«Что же вы предлагаете, Вячеслав Адамович?» — наконец нашлась Нина, когда чернота отступила от нее. Она подняла грустные глаза на собеседника...

Павленко внезапно закашлялся, да так, что не завязанный тесемками трех чуть не слетел с головы.

«Да ничего, Нина Васильевна, — тоже грустно ответил он. — Увы, пока ничего... Вы только поймите меня правильно. Я не нахожу слов, чтобы все выразить. Нет таких слов у меня. И в языке их нет. Во всем нашем великом языке! Не придумали их люди. Поймете ли вы меня, если скажу, что в юности больше всего запала в душу одна книга: «Неточка Незванова». Я по-детски плакал, читая ее, и дал себе слово, когда встречу похожую на нее юную душу, сделаю ее счастливой.

Но время сейчас другое, я понял, что Неточки уже нет и быть не может... Мечта, с которой я жил годы, понемногу потускнела, поблекла, растаяла...

И вдруг появились вы... Еще до того, как вы впервые пришли к Антону, еще на работе, в институте, я обратил на вас внимание... Дальше — больше. Интересуясь вами, все больше и больше узнавал в вас Неточку Незванову... Но... — Павленко развел руками, — вы появились в моей жизни слишком поздно. Видит бог...»

«Мне холодно, Вячеслав Адамович, — перебила его Нина. — До свидания, я побегу».

«Нет, нет, — схватил ее Павленко за рукав пальто, — так нельзя. Я слишком долго носил все это в себе, чтобы не высказаться до конца, коль уж начал... Я вас не отпущу. Потерпите. — Он взглянул на тоненькие нитяные перчатки женщины. — Давайте я согрею ваши руки, пальчики, наверное, замерзли».

«Не надо! Для этого вы пошли меня провожать! Чтобы наговорить на другого!» Нина пресекла попытки Павленко взять ее руки в свои и пошла быстрым шагом.

Павленко догнал ее.

«Не наговорить, а... Неужели вы так безжалостны ко мне, Нина?»

«Что же вы хотите от меня, Вячеслав Адамович?»

«Единственное. Чтобы вы не надеялись на Антона, вас ждет глубокое разочарование... Поймите меня правильно, я давно люблю вас, и видеть, что Антон обращается с вами как с игрушкой, невыносимо... Мало того что у вас дома и муж — не подарок... У меня сердце кровью обливается. Я, конечно, живу, так сказать, «под колпаком», вы же знаете мою Варвару, но сердце мое все чувствует, и ради вас я готов, Нина Васильевна, на...»

Он не успел закончить фразу.

«Я люблю Антона, а не вас! — почти выкрикнула женщина. — Не провожайте меня дальше! Не смейте!» И она почти бегом бросилась по мостику, ведущему через канал с Русановки к Березнякам.

Она не то чтобы была возмущена, — какая женщина будет возмущать-

ся, когда ей признаются в любви! — у нее появилось ощущение, будто взяла в руки что-то мокрое и скользкое...

Возвращаясь в мыслях к сегодняшней встрече с Павленко в институте, она все еще не понимала, почему Вячеслав Адамович не сказал ей о гибели Антона, если это действительно произошло. Не знал об этом? Конечно, если беда случилась утром, когда уже ушел из дому, мог и не знать. Но он ведь не только ей сказал бы. Он поднял бы на ноги весь институт. Все сотрудники так любили Антона! Но почему она думает об Антоне в прошедшем времени? Неужели поверила, что его нет?! Да когда же это могло случиться?!

Да если бы случилось, не дай бог, такое горе, ни в какие командировки Вячеслав Адамович не уехал бы! Не уехал бы, пока не проводил друга в последний путь.

Да нет! Все это неправда! Неправда, неправда, неправда!

Мысли в голове Нины смешались еще больше. Женщина остановилась. Сделала несколько шагов обратно, в направлении дома Журавля. Потом снова остановилась в растерянности: полковник, наверное, уже ушел.

Коваль был на улице и направлялся к поджидавшей его «Волге».

Да, да! Она должна еще раз спросить, не ошибся ли он, этот полковник, может, не Антон погиб, а кто-то другой из его дома.

Она пошла быстро, побежала, собралась закричать, чтобы привлечь внимание полковника. Она его спросит: кому же в таком случае отдать концовку работы?

Нина опоздала. Полковник уже сел в машину, которая сразу же рванулась с места.

Женщина остановилась и долго смотрела ей вслед. Выстроившиеся вдоль бульвара, замершие, голые, покрытые только белым инеем тополя вдруг показались ей человеческими скелетами, и она содрогнулась. Тем временем «Волга» подъехала к каналу и, мягко повернув на улицу Энтузиастов, исчезла из вида.

Нина лишь сейчас почувствовала, какой лютый мороз на дворе, как кусает ее нос, щеки, на которых замерзли слезы, как холод проникает под ее тоненькое пальто и сквозь старенькие перчатки колет в пальцы. Но, несмотря на холод, она побрела по бульвару медленно, не имея сил ускорить шаг. Слава богу, ее дом находится не так уж далеко...

4

Старое высокое здание в центре города, на улице Ленина, было хорошо знакомо Ковалю. Если идти к нему от Пушкинской, по пути будет зоомагазин, большие прозрачные витрины которого привлекали чучелами дикого кабана, лани, сидящих на жердочке птиц. По обе стороны дома были царства искусства и сладостей: салон художественных изделий, выставяющий красивые поделки народных мастеров, вышивки, картины, и кондитерский магазин, торговавший конфетами, шоколадом, собиравший во дворе каждый четверг очередь любителей фирменных тортов «Киевский».

Дмитрий Иванович в свое время изучал этот район. Чуть выше по

улице, не доходя до гостиницы «Интурист», стоял когда-то небольшой уютный домик с ювелирным магазином, в котором, как ему помнилось по делу об отравлении Залищука, покупала подарки сестре гостя из Англии Кетрин Томсон. Теперь на этом месте высилась многоэтажная громадина проектного института, полностью лишившая уголок очарования.

Полковник открыл тяжелую дверь парадного и по ступенькам направился в полуподвал, к лифту. Старый — наверное, с дореволюционных лет, — но еще крепкий, открытый лифт опускался глубоко вниз. С его нижней площадки лестничный марш вел еще дальше вниз, в какие-то запутанные подвалы, в анфиладу низкосводчатых нежилых, без окон, помещений, в которых валялись куски труб и всякий хлам.

Когда Дмитрий Иванович впервые попал в этот дом, он понял, что глубокий разветвленный подвал — удобное место для сборища выпивох и других личностей, не любящих появляться на улице в дневное время. Да и человека, ограбленного ночью у лифта, не стоило труда бросить вниз.

Сколько пришлось тогда повоевать с жилуправлением, чтобы вход в подвалы загородила запиравшаяся на ключ металлическая решетка!

Сейчас, спускаясь к лифту, полковник с удовлетворением отметил, что решетка сохранилась, заперта на замок и через нее видно, что в освещенном электролампочкой подвале наведен порядок.

Но не этим подвалом и решеткой помнился Дмитрию Ивановичу старый дом. Воспоминания, цепляясь одно за другое, вытягивали из глубин памяти давнишнюю историю, отправленное в архив дело, вызвавшее у него чувство неудовлетворения.

Несколько лет тому назад в этом доме, где жило много музыкантов и актеров, произошло трагическое происшествие. В ванной, в своей квартире, на седьмом этаже, захлебнулась молодая женщина. «Скорая помощь», вызванная по телефону испуганным мужем, вернуть ее к жизни не смогла.

Потом разбирательством занялись уголовный розыск и прокуратура. Судмедэксперт установил, что смерть произошла из-за кровоизлияния в легких. Следов насилия, внешних повреждений на теле не оказалось.

Из бесед с соседями Коваль узнал подробности жизни погибшей — актрисы по имени Адель, любимицы публики, которая прожила полтора десятка лет со своим мужем, профессором одного из киевских институтов. Несмотря на то что муж был значительно старше, супруги, как свидетельствовали соседи и знакомые, жили душа в душу. Дом был полная чаша, и счастьем этой семьи все окружающие по-доброму завидовали. Но вот случилась беда — профессор неожиданно скончался.

Через некоторое время после траура Адель, возвратившись в театр, гастролировала на юге. Там она познакомилась с горячим поклонником ее таланта, немного моложе ее, пригласила в гости в Киев и вскоре вышла за него замуж. С этим мужем Адель прожила несколько лет так же счастливо, как и с первым. Молодой супруг нежно ухаживал за ней, не забывая по вечерам встречать у театра с цветами, и соседи видели, как, провожая жену до парадного, он, не стесняясь людей, целовал ее.

И вдруг... Адель утонула в собственной ванне. Поскольку никаких других версий не было, прокуратура признала происшествие несчастным случаем и дело закрыла. Коваль вынужден был с этим согласиться, хотя сомнения по поводу такого заключения у него остались.

Теперь, направляясь в этот дом к некой Килине Христофоровой, телефон которой нашел в красной записной книжке, чтобы расспросить ее о Журавле, Дмитрий Иванович подумал, что не мешало бы поинтересоваться и дальнейшей судьбой бывшего мужа Адель.

Старый лифт, покряхтев, медленно поднял полковника на восьмой этаж.

Выбрав из нескольких оставшихся от многочисленных в прошлом соседей по квартире разной формы и расцветок кнопок у двери ту, ближе к которой была приклеена бумажка «Христофорова К. С.», Коваль позвонил.

После второго продолжительного звонка из глубины квартиры послышались шаги и женский голос за дверью спросил: «Кто там?»

Коваль ответил, но дверь не спешили открывать, и полковник с улыбкой подумал, как плохо жить без величайшего изобретения человеческого ума — дверного глазка, при помощи которого можно удостовериться, кто стоит с другой стороны.

Наконец массивная дверь скрипнула и в проеме показалась старуха, не выпуская, однако, из рук металлическую цепочку. Она взглянула на посетителя и уже не так строго сказала:

— Христофоровой дома нет. — И вдруг, узнав Ковалья, почему-то удивилась и, потеплев взглядом, произнесла: — Никак товарищ Коваль?

— Он самый, — улыбнулся полковник, в свою очередь вспомнив женщину, которая, по-видимому, знала все, что происходит в этом многонаселенном доме, и в свое время много рассказала ему о жизни Адель, хотя жила с ней на разных этажах. — Да и я вас узнал, — продолжал Коваль, не называя женщину по имени-отчеству, так как запомнил и не хотел в этом признаться.

— Милости просим, — старуха шире открыла дверь, поправляя на себе теплый вязаный платок. — Только у нас вроде никаких происшествий нет. Все спокойно. Люди живут хорошие. Все старые жильцы, отставники да пенсионеры. Некоторые получили квартиры и переехали, а новеньких почти нет.

— Никаких происшествий, — успокоил ее Коваль, проходя в длинный коридор, с одной стороны которого шли рядом четыре двери. — Мне нужна Христофорова.

— Да, да, — поспешила с ответом старуха. — Так вы к ней? Понятно. — Что «понятно» ни старуха, ни Коваль не могли бы объяснить. — А ее нет дома. Она частенько уезжает. Обычно в Одессу. Фигаро тут, Фигаро там. То тут, то в Одессе... Но сейчас, кажется, во Львов собиралась... Да заходите, пожалуйста, чего мы в коридоре застряли... Не смею спрашивать, какое дело к ней... Может, я чем помогу... Конечно, милиция без дела не ходит.

— Надолго она уехала?

— Если в Одессу, то на два-три дня исчезает, редко на недельку.

Дочка у нее там, в институте учится... А зачем во Львов и когда вернется — не знаю.

— Я ей повестку выпишу. Как приедет — тотчас передадите.

— Обязательно! Я ведь теперь на пенсии, все время дома. Когда вы у нас были в прошлый раз — сколько лет, а будто вчера! — я еще работала...

Коваль не забыл, как энергичная, словоохотливая женщина старалась помочь ему разобраться с трагическими событиями в их доме.

— Кажется, — вдруг продолжила она, — вас поздравить можно, вы тогда, помнится, подполковником были. Так, бог даст, и до генерала дослужитесь.

— Вряд ли, — улыбнулся Коваль. — Бог не даст. У меня с ним сложные отношения. Да и пора об отдыхе подумать.

— Да, время, время, — грустно покачала головой старуха, открывая перед Ковалем дверь в свою комнату. — Я ничего не спрашиваю про Келю, — повторила она, хотя любопытство ее распирало. — Садитесь, пожалуйста, — предложила полковнику стул. — Меня это не касается. Но женщина она, скажу вам, приличная, труженица. Я в людях разбираюсь... Не то что мой второй сосед, парень вроде образованный, а шалый какой-то. Сейчас уехал в отпуск, так тишина, одно удовольствие...

В этом старом доме когда-то большие четырехкомнатные квартиры с просторной кухней и черной лестницей были после войны разгорожены и каждая комната получила свою дверь в коридор и своего хозяина. Это давало возможность селить в одной квартире по несколько семей.

Как узнал Коваль, Христофорова сначала жила в одной комнате, но потом, когда выехала жилища, занимавшая комнатку рядом, сумела добиться разрешения присоединить и вторую. Теперь во всей этой большой квартире жили трое: портниха, молодой зубной врач и старуха, которая сидела сейчас напротив полковника и рассказывала новости их дома.

Коваль напрягал память, пытаясь вспомнить имя, отчество этой женщины. В уме он называл ее «старухой», хотя это не совсем справедливо, потому что она была еще не по возрасту бодра и энергична.

Склероз, склероз! В последнее время Дмитрий Иванович со все большей тревогой замечал у себя признаки надвигающейся старости. Появившаяся одышка при беге во время физических тренировок, усталость в когда-то железных мышцах не так пугали его, как случаи, когда не мог вспомнить нужную цифру, имя человека или еще что-нибудь. Он считал, что для сыщика цепкая память, помогавшая установить ассоциации, логически выстроить мысли, важнее, нежели крепкие бицепсы. Стал тайком от Ружены пить йодные препараты, укреплявшие память, брал толстенную телефонную книгу и, тренируя память, запоминал десятки номеров, как школьник пересказывал по памяти отрывки художественных произведений, хотя и не был уверен, даст ли все это результаты.

Непонятно, в связи с чем он подумал сейчас о Наташе, которая на школьных вечерах часто декламировала стихи, и как он гордился этим. Судьба дочери всегда волновала его. Конечно, Наталка еще не переросток, но если и дальше будет свысока относиться к молодым людям, то рискует

остаться старой девой. И вдруг Коваль испугался: «А может, я не все знаю о ее жизни, в последнее время она как-то отстранилась».

Вспоминая о своих домашних проблемах, Дмитрий Иванович, однако, не забывал о деле, приведшем его в этот старый дом. По профессиональной привычке он механически, опуская ненужные подробности, вылавливал из болтовни старухи сведения, которые его интересовали.

— А кроме заказчиц,— спрашивал Коваль,— кто к ней приходит? Молодые люди бывают?

— Редко. Как зовут — не знаю, слышала, как Келя называла «паном» одного. Очень удивилась: «Пан»! Но и такая фамилия может быть, верно?

Полковник теперь не жалел, что задержался у словоохотливой старухи. Имя или кличка «пан» записаны в книжке Антона Журавля.

— Верно, может быть,— согласился Коваль.— А что вы о нем еще знаете, об этом «пане»?

— Ничего,— покачала головой собеседница.— Да и видела его разок или два.

— Какой он собой? Блондин, высокий? — Дмитрий Иванович подумал, может, это сам Журавель был.

— Высокий, но не блондин. А наоборот, чернявый... Я его не очень разглядывала. В коридоре при нашей лампочке вряд ли что увидишь. Вот только когда дверь на площадку откроешь... Ему раз и открывала-то...

Коваль согласно кивнул. Он еще в прежние посещения обратил внимание, что на просторных площадках верхних этажей светлее, чем внизу. Сверху, через большую стеклянную часть крыши в этом не стандартной постройки доме лился дневной свет.

— Одним словом,— закончила старуха,— обычный молодой человек...

Женщина, очевидно, говорила правду, и Коваль удовлетворился ее ответом. Да, этот «пан», как и другие посетители Христофоровой, да и сама портниха, вряд ли могли стать «ниточкой» к происшествию в доме Журавля.

— Ну а тот жилец, у которого жена-актриса утонула в ванне? — поинтересовался он между прочим.— Как он? К Христофоровой не заходит?

— Да нет! — воскликнула женщина.— Исчез. Разве вы не знаете? Примерно через полгода собрал вещи — у бедняжки Адели добра много было — кое-что продал, квартиру сдал и куда-то уехал. Вроде бы на Север. Ох, товарищ полковник. Нечисто было дело. До сих пор душа болит, как вспомню. Адель очень жалко! — вздохнула рассказчица.— Какая красавица была, добрая!.. Он мне сразу не понравился, этот ее молодой муж, хотя мало сталкивалась, все-таки разные этажи... Уж слишком на людях любовь показывал. Так вился вокруг нее, как птичка у гнезда! А ваша милиция не разобралась, утонула ли Адельчка или он сам утопил.

Коваль подумал, что люди редко ошибаются в своих догадках, хотя объяснить их, а тем более доказать не в состоянии. И не только соседи, наблюдавшие жизнь этой пары, и он тогда не был свободен от подозрений в отношении мужа Адель. Но обвинять без доказательств — хуже, чем упустить виновного...

Дмитрию Ивановичу не удалось в этот день встретиться с Христофоровой, но в конечном счете он остался доволен посещением старого дома.

5

Женщина вошла в кабинет Ковалья стремительно. Громко, еще от двери, поздоровалась и, уверенными шагами подступив к столу, решительно положила на него повестку с паспортом.

Полковник, не поднимая головы, по звуку шагов определил, что посетительница — человек уверенный в себе, какими обычно бывают люди, считающие, что успех в жизни им предначертан и фортуна никогда не изменит своего доброго отношения к ним.

Коваль не ошибся. Перед ним стояла женщина лет тридцати пяти — тридцати шести в элегантном зимнем пальто с узеньким норковым воротничком и в такой же темной меховой шапочке, из-под которой выбивались пряди светлых, подкрашенных в легкий фиолет, волос. На скуластеньком, ухоженном лице посетительницы с неправильными, но тем не менее приятными чертами отражалось не волнение, которое обычно присуще людям, вызванным повесткой в милицию, а уверенность, что ее потревожили понапрасну. В зеленоватых глазах женщины гнездились возмущение: мол, что случилось, зачем я нужна?!

Дмитрий Иванович уважал энергичных, самостоятельных женщин, когда их уверенность рождалась из понимания своей полезности и необходимости обществу, когда женщина стояла на ногах благодаря самой себе: своему труду или исполняла святой, вечный долг женщины-матери, дающей жизнь роду человеческому.

Правда, излишняя самоуверенность осложняет отношения даже с близкими людьми, подумалось Ковалю. Куда уж больше самостоятельности, чем у его Ружены, которая хотя и любит, но держится как киплинговская кошка, что ходила сама по себе. Это его раздражает, вносит разлад в их семью. Особенно когда Ружена неожиданно уезжает в экспедицию, не считаясь с тем, что после длительных служебных командировок общество жены так необходимо ему и, как он надеялся, и ей. Да и Наталка, еще ничего не сделав в жизни, уже выработала в себе усиленную молодежным максимализмом уверенность в своем праве на независимость. Но что поделаешь! У Наталки все впереди, а что касается Ружены, то иного ему и не следовало ожидать. Человек многоопытный, он, женясь, должен был понимать, что женщина, которая привыкла быть самостоятельной, не сможет стать приложением к мужу. В их возрасте, когда каждый в течение жизни выработал свои привычки и взгляды, это исключено... Эй, эй, он, кажется, становится старым ворчуном! Кто знает, уважал бы он так Ружену, если бы она была лишь нежной хранительницей домашнего очага!

— Садитесь, пожалуйста, Христофорова, — мягко пригласил Дмитрий Иванович, заглянув в ее паспорт. — Полковник Коваль. Дмитрий Иванович, — представился он, внимательно разглядывая посетительницу. — Я вызвал вас повесткой, так как не застал дома.

— Да, я подолгу бываю в отъезде, — подтвердила женщина, все еще нахохлившись.

— Итак, Килина Сергеевна,— начал Коваль, когда женщина опустилась в кресло,— знакомо вам имя — Журавель Антон Иванович?

— Да. Это мой приятель. А почему это вас интересует?

— Разрешите мне не отвечать, Килина Сергеевна. Отвечать — ваша задача. Расскажите подробно об отношениях с Журавлем.

— Надеюсь, милицию не интересуют наши сердечные дела,— с вызовом заявила женщина, сузив глаза.— Кстати, меня обычно называют Келя Сергеевна.

Дмитрию Ивановичу показалось, что Христофорова сейчас выгнет спину, как раздраженная дикая кошка, и бросит ему в лицо — «фр... фр!».

Он про себя усмехнулся, вспомнив, как, рассматривая записную книжку Журавля, сначала не мог понять, кто такой «Кель», и подумал, что погибший молодой человек заядлый футбольный болельщик, а это записано по-русски и не совсем точно название команды из ФРГ «Khöln. Fortuna».

— Нет, конечно,— ответил Коваль,— дела сердечные милицию не интересуют, если они не связаны с правонарушением.— Он еще хотел добавить, что об отношениях свидетельницы с погибшим он и так догадывается и уточнений ему не нужно.— Ну, и какие же у вас с ним были дела, Килина Сергеевна?

То, что полковник не обратил внимание на ее замечание и продолжает называть ее по паспорту, не понравилось женщине, но она смирилась: милиция — это все-таки милиция!

— Почему «были»? Мы и сейчас поддерживаем дружеские отношения.

— Когда это «сейчас»?

Килина Сергеевна уставилась на Ковалю.

— Когда вы встречались последний раз? Вчера, позавчера?

— Может быть, месяц назад.

— Заказывали обувь?

Килина Сергеевна на миг задержала дыхание. Так вот оно что! В мягком сером свете, лившемся из окна, ее строгое лицо казалось изваянным.

— Я ношу импорт.— Женщина пошевелила под столом ногой и посмотрела вниз, словно предлагая и Ковалю посмотреть на ее сапожки.

— С кем вы встречались в его квартире?

— Его друзей я мало знаю. Впрочем, по именам могу кое-кого назвать. Например, Нина. Это машинистка из института. Она ему частным порядком печатает, иногда приходит помочь по дому...— Христофорова умолкла, потом добавила: — Хотя вас и не интересуют личные отношения, скажу — это его пассия. Она в Журавля по уши влюблена... Кто еще? Разные люди: встречала у него какую-то актрису, преподавательницу, Галей, кажется, звали... детский врач Оля. Вот и все, кого видела... Вернее, кого запомнила...

— Это все заказчицы? Туфельки или сапожки?

Женщина пожала плечами:

— Дверь у него всегда открыта... Заходят просто «на огонек»... А почему вы говорите «заказчицы»? — спохватилась Христофорова.—

Он ведь не сапожник, а ученый, молодой ученый...— Пристальный, чуть иронический взгляд полковника привел Килину Сергеевну в замешательство.— Ну конечно, он и шить умеет. Золотые руки. Может, и подарил кому-нибудь туфельки... не знаю. Его хобби меня мало интересует...

— Ладно,— с недовольным видом согласился Коваль.— К женщинам и туфелькам мы еще вернемся.— Килина Сергеевна чем-то неуловимым все больше напоминала ему жену, и он сердился, так как в настоящую минуту это мешало ему работать.— А мужчины? Бывали в этой компании мужчины?

— Вы знаете, нет. Один только вечно торчит. Ну, это, правда, сотрудник и сосед — Павленко. Человек неглупый, способный, тоже научный сотрудник... Немного странноватый. Женат, однако вечно к чужим юбкам цепляется...

Дмитрий Иванович вопросительно взглянул на Христофорову.

— Нет, не к моей,— поняв его взгляд, фыркнула женщина,— к той же самой Нинке, например, машинистке.

— А враги у Журавля были?

— Враги? Не думаю... Человек он доброжелательный, есть в нем что-то очень симпатичное, подкупающее... С ним приятно общаться... А впрочем, у кого врагов нет...— вздохнула портниха.— А почему все-таки Журавель вас интересует? И почему вы все время о нем в прошедшем времени говорите?

— Я уже сказал, что мне вопросы задавать не следует,— напомнил Коваль.— Однако на этот ответ: Журавель погиб.

— Как погиб? — наморщила лобик Килина Сергеевна.— Что значит «погиб»? Как понимать это? Умер? Убили? Когда? Кто?! — Она выпрямилась в кресле, будто собиралась подхватиться и бежать, искать преступника.

— Да,— подтвердил Коваль, наблюдая за реакцией женщины.— Умер.

— Не может быть! От чего?

— Отравился газом.

— Вот те на! — закусила губку собеседница Ковалья.— Нет, нет! — выкрикнула она через секунду.— Вы что-то путаете.— Она выдернула из модной сумочки носовой платочек и только тогда, словно поверив полковнику, разрешила себе заплакать.

Коваль не мешал ей, и она быстро взяла себя в руки.

— Расскажите, как вы познакомились с Журавлем? Что еще о нем знаете? Были ли обстоятельства, которые могли толкнуть его на самоубийство?

— Самоубийство? — Христофорова подумала немного, потом спрятала платочек в сумочку.— Исключено,— заявила решительно.— Уж очень он жизнь любил, и жуир был хороший. И когда же это случилось?

— Двенадцатого. Где вы были в тот день?

— Во Львове.

— Вы постоянно живете в Киеве?

— Да.

— Одна?

— Я — в разводе.

— А в Одессе? Дочь с отцом?

— Нет, без отца. Вита в этом году окончила школу, сейчас работает и вечером учится.

— Живет в общежитии?

— Нет, что вы! У нее своя квартира. Отец уехал в другой город, квартира осталась ей и бабушке, моей матери. Но мама летом умерла.

— Насколько мне известно, вы числитесь закройщицей в ателье фабрики «Индпошив». Однако больше в разъездах, чем на работе.

— Дело в том, — без тени смущения ответила женщина, — что я специалист высокого класса. Поэтому работаю без бригады. Сама крою и сама исполняю. У меня по-настоящему «Индпошив» и соответствующие заказчицы, жены известных ученых, художников, даже министров... впрочем, и сама я художница. Художник-модельер... Часть работ беру с собой в Одессу и там исполняю... Вы же понимаете, хотя девочка у меня вполне самостоятельная, но после смерти бабушки контроль и присмотр необходим... все теперь легло на мои плечи...

Коваль понимал это. Но он также понимал, что ателье «Индпошива» служило для Килены Сергеевны только ширмой. Фактически она была частной портнихой, ловко ускользавшей от финансовых органов. Он был почти уверен, что зарплату ее в ателье кто-то кладет себе в карман. Но Килене Сергеевне главное — где-то числиться, чтобы не терять трудовой стаж. То, что клиентки ее — жены влиятельных людей, стремившиеся поддерживать с ней добрые, а порой и дружеские отношения из-за нехватки талантливых мастериц и желания одеваться изысканнее и красивее других, рождало в портнихе некоторое чванство.

Однако сейчас взаимоотношения Христофоровой с ателье, заказчиками и финотделом полковника не интересовали, и он не стал углубляться в эту тему.

— Итак, недругов у Журавля не было, говорите, и самоубийство также исключается? — возвратился к своему Коваль.

— Я так думаю, — снова погрузнев и снова вынув из сумочки платочек, подтвердила женщина. — Ах, какая трагедия! Такой красивый душевный человек погиб! И какой талантливый! Он бы до академика дошел... Ему все завидовали... — Килина Сергеевна вдруг сама прервала свои lamentации, словно озаренная новой мыслью. — Да, да, ему везде и всегда завидовали, и еще как! В том же институте, например... Если бы вы сказали, что ему какую-то пакость сделали, например, подсыпали мышьяк в вино, я бы не удивилась... Но отравиться газом! Кстати, как это произошло?... Это не секрет?

Коваль промолчал, решив, что подробности гибели Журавля Христофоровой пока не следует знать.

Зеленоватые глаза женщины вспыхнули огнем. После некоторой паузы она заговорила снова.

— Если бы мышьяк, то могла бы подумать и на какую-нибудь подружку. Меня из этого списка, я надеюсь, вы исключите. — Полковник не прореагировал на эту реплику, и женщина продолжала: — Да, да. У Антона была уйма любовниц, и с ними он обращался не лучшим образом. Надоест — вышвыривал, как собачонку. А многие были от него просто

без ума... Например... Например... Да недалеко ходить, эта самая машинистка институтская, Нина. Я уже говорила, влюблена как кошка. Подзреваю, страшно хотела, чтобы он забрал к себе, женился. У нее в семье ад. Муж какой-то садист, старше ее, бьет, отец отдал за него в семнадцать лет. Она все это скрывает, но я знаю! Антон жалостливый, а может, и понравилась, она, в общем-то, ничего, ну и приманил. Правда, она как на чей вкус. Слишком уж смирная, терпеливая, услужливая, я бы сказала, безответная какая-то... Ты ее ногой, а она к тебе душой. Даже противно! Но мужикам такие нравятся. Особенно которым женщины трудно доставались или которые под колпаком у какой-нибудь мегеры сидят. А вот почему — Антону?.. — Вспомнив вдруг, что полковник тоже мужчина, Килина Сергеевна неловко улыбнулась и виновато взглянула на Ковалю. — Я не люблю таких. Они теряют достоинство женщины. Нинка ему служила верой и правдой, капризы молча сносила, это, видно, не шло в сравнение с домашним адом. Да у любимого, известно, и кулак сладкий... Нет, нет, это к Антону Ивановичу не относится... Так, пословица... Журавель одно время обещал ей жениться... Ну, обещал, обещал, обнадеживал. А в действительности за нос водил. Да это и понятно. Не ровня ему... Без образования, если надолго — то, в общем, неинтересная, однообразная, в одном платье может полгода ходить... Хотя аккуратная: в старом, застиранном, немодном, но чистом. Если мышьяк, я бы поверила... Знаете, от любви до ненависти один шаг... Не хочу напраслину на человека возводить, но могла, могла бы Ниночка! Допек, значит, ее! Прийти и газ ему открыть... Один раз эта тихоня такой взгляд на меня бросила — мороз по коже пошел... В тихом омуте, как известно, черти водятся...

Килина Сергеевна умолчала, что это произошло, когда Журавель при Нине обнял ее на диване.

Ковалю вспомнилась газетная статья, в которой ученый-психолог писал, что бывают минуты, когда человек ненавидит того, кого любит. Такое случается редко и продолжается, к счастью, недолго. И виноват в этом механизм человеческой психики: мгновенный эмоциональный всплеск обиды опережает все остальные чувства. Хорошо, что в конце концов осознанное чувство любви побеждает кратковременное раздражение...

Побеждает... Но что может произойти в течение минутного всплеска ненависти, когда человек плохо контролирует свои действия?!

— Вот теперь бедняжки Антона не стало, и она спокойно уживется с мужем, — продолжала женщина. — Да и зачем было Антону сейчас жениться? Связывать себя. Это только помешало бы ему. Он был человек науки, а не детских пеленок... Ему нужна была просто хорошая, умная подруга.

Ковалю подумалось, что именно себя Килина Сергеевна метила в такие подруги Журавлю — без всяких официальных обязательств, связывающих личную свободу.

— А уже к седым волосам, когда многое достигнуто, дело другое, — можно и жениться. Впрочем, что теперь говорить... бедный Антон, — горько закончила портниха. — Вот тебе и наука, вот тебе и карьера!..

Черт возьми, эта Христофорова, вероятно, взялась сегодня его под-

ковыривать! Ведь и он вторично женился, когда уже виски побелели.

Однако Дмитрий Иванович и вида не подал, что замечание задело его.

Умение терпеливо слушать всегда помогало ему. И в этот раз он был терпелив. Дождавшись, когда женщина умолкла, он спросил:

— Так где вы были, Килина Сергеевна, вечером в среду, двенадцатого декабря?

— Я же сказала: во Львове, — удивленно ответила женщина.

— А точнее?.. Припомните.

6

В институте были потрясены сообщением о смерти младшего научного сотрудника Журавля. При не очень строгом режиме дня ученые не просиживали здесь в кабинетах. Большей частью они работали на производстве, внедряя свои решения, особенно в последнее время, когда от института потребовали практических результатов исследований. Существовал еще так называемый «библиотечный день», и сотруднику раз в неделю разрешалось вовсе не являться в институт. Считалось, что в этот день он знакомится в академической библиотеке с необходимой по теме литературой, предоставить которую в полном объеме небольшая институтская библиотека не могла.

Поэтому никто не поинтересовался младшим научным сотрудником Журавлем, хотя он два дня не показывался. Тем более Антон Иванович отличался недисциплинированностью, за что даже при таком сравнительно свободном режиме успел получить за год два выговора от директора.

Поднявшись на третий этаж большого, с несколькими ответвлениями здания, в котором сосуществовало несколько институтов, Коваль попал в царство тишины и безлюдия. В длинном коридоре два сотрудника, покуривая сигареты, вели у окна тихий неспешный разговор.

Полковник направился к ним, но по пути на первой двери заметил скромную табличку с надписью «Приемная» и, открыв ее, очутился в небольшой комнате. За столом с пишущей машинкой сидела молодая женщина с густо накрашенными ресницами. Это была не Нина Барвинок, работавшая, как позже узнал Коваль, в отдельной комнатке машбюро.

— Иван Андреевич у себя? — спросил Коваль, заранее узнав имя и отчество директора и по телефону договорившись о встрече.

— Да.

— Доложите, пожалуйста: полковник Коваль.

Секретарь спросила имя, отчество посетителя, записала на квадратике бумаги и впорхнула с ним в кабинет. Через минуту она возвратилась и широко открыла дверь:

— Заходите!

Маленький щуплый человечек за огромным столом как-то не вязался с тем, каким представлял себе Коваль маститого академика. После известия о неожиданной смерти сотрудника директор с минуту не мог прийти в себя и таранился на полковника, словно тот сообщил о чем-то крайне нелепом и невозможном — во всяком случае, в их институте.

Но после обычных ахов да охов, отвечая на вопросы, он в общих словах

дал высокую оценку безвременно ушедшему из жизни Журавлю, как ученому, сказал, что молодого человека ждала блестящая карьера в науке.

На этом разговор оборвался. Больше ничего о Журавле директор сказать не мог, так как сталкивался с ним редко. Но поскольку его поразили сам факт неожиданной смерти сотрудника, Иван Андреевич постарался, характеризуя его, подобрать самые лестные слова. Узнав, что у Журавля нет никого в Киеве, а мать-инвалид — единственный родной человек — приезжает завтра из отдаленного волынского села, пообещал организовать похороны за счет института.

На вопросы о Павленко и о других сотрудниках, близко сталкивавшихся с погибшим, Иван Андреевич конкретно не ответил и попросил секретаря выяснить, где заведующий лабораторией, в которой работал Журавель.

Крупный, плечистый, уже немного обрюзгший, с рыжей бородой мужчина, появившийся через пару минут в кабинете, оказался руководителем этой лаборатории.

— Василий Ферапонтович Дейнека, — сказал директор, — познакомьтесь. Полковник милиции Коваль. У нас трагическое происшествие, Василий Ферапонтович. Погиб Журавель, из вашей лаборатории. Такое несчастье!!! — Директор сделал приличествующую паузу и со вздохом добавил: — Полковник побеседует с вами. Ответьте, пожалуйста, на все вопросы, касающиеся научной работы умершего... И расскажите обо всем, что будет интересоваться товарища Ковалья.

И, облегченно вздохнув, Иван Андреевич поднялся из-за стола и пожал на прощанье руку Ковалю, тот в его взгляде заметил вдруг появившееся недоумение: а зачем, собственно говоря, приходил в институт этот немолодой полковник? Неужели только для того, чтобы сообщить о гибели сотрудника? Ведь весь разговор, если разложить на элементы, состоял из общих фраз, из краткой информации сотрудника милиции о трагедии и такой же его, директора, краткой характеристики Журавля, характеристики, которую легко получить у кадровика. Не задевает ли неприятная история с Журавлем каким-то боком институт?

Недоумение в глазах ученого оставалось еще несколько секунд после того, как за Дмитрием Ивановичем и заведующим лабораторией закрылась дверь кабинета. Иван Андреевич пожал плечами и, снова опускаясь в кресло, пожевал губами, будто разговаривал сам с собой. Впрочем, какое отношение имеет институт к несчастному случаю с сотрудником, подумалось ему дальше. Прискорбное событие произошло не в стенах учреждения, не в лаборатории при каком-нибудь эксперименте, а дома, по признанию полковника, в состоянии опьянения. Упрекать их смогут разве только в том, что с покойным плохо проводилась воспитательная работа по поводу алкоголизма. Но научно-исследовательский институт не детский сад и не школа для переростков...

Эти соображения полностью успокоили директора, и он со спокойным сердцем, хотя и исполненный естественной человеческой грусти по поводу нелепой гибели молодого человека, углубился в бумаги, от которых его оторвал визит Ковалья.

Тем временем полковник зашел с Василием Ферапонтовичем в небольшую комнату, где в тесноте, впитык, стояло четыре одностумбовых стола, и только лавируя между двумя ближними, можно было пробраться к другим, занявшим место у единственного окна.

— Мое хозяйство,— развел руками ученый.— Теснота,— словно извиняясь, добавил он.— Да, впрочем, мы в основном работаем в библиотеке и на производстве.

Они уселись друг против друга за первые два стола и после того, как Дмитрий Иванович сообщил некоторые подробности смерти Журавля, немного помолчали.

Молчание было и грустным, и сочувственным.

— Есть ли какие-то конкретные задачи у каждого научного сотрудника? — прервал молчание Коваль.— И кто их определяет? Или он сам решает, над чем работать?

— А как же! — живо ответил Дейнека.— План. Плановое научное задание. По определенной теме. Сотрудник обязан вовремя сдать свою работу. Это может быть и самостоятельная тема, и часть групповой. По-всякому. У нас широкий и сравнительно свободный выбор исследовательских задач. Главное сейчас — результативность. Не общие теоретические разработки, а теоретическое обоснование новшества и практическое его внедрение в серию, в производство.

— А кто определяет тему работы того или иного сотрудника?

— Исходим из научного плана всего института, отдела, лаборатории.

— А если ученый имеет свою тему?

Василий Ферапонтович переспросил:

— Как это «свою»? Вы хотите сказать, внеплановую? У нас называют «инициативную».

— Хотя бы так.

— Ради бога! Пожалуйста! Но прежде всего план. Как и во всех звеньях социалистического хозяйства.

Эти слова Дейнека произнес таким менторским тоном, что полковник еле удержался, чтобы не взглянуть иронически на собеседника.

— Ну, правильно. План прежде всего. А если неожиданное открытие ученого никак не укладывается в рамки, внутри которых разрабатывает свои плановые идеи отдел, лаборатория?

— Наука — творчество,— тем же назидательным тоном с нотками удивления в голосе, что вот, мол, приходится объяснять элементарные вещи, продолжал заведующий лабораторией.— Поэтому творчество мы всячески приветствуем и поддерживаем. Но плановую работу ученый все-таки должен сдать. И вовремя. Инициативная работа так же может войти в план. Если представляет несомненный научный интерес и будет утверждена на ученом совете. Конечно, на этой почве возможны всяческие конфликты. Скажем, если инициатива не вписывается в планы института или ни один отдел не берет ее, она становится беспризорной.

— В вашей лаборатории бывали такие случаи?

— Какие?

— Инициативные разработки.

— Да. У нас два кандидата и два младших научных сотрудника,

еще не защищенных. Теперь уже один,— поправился, смутившись, Дейнека.— Антон Иванович, земля ему пухом, много мог дать науке. Как раз на днях он готовился сделать сообщение об изобретении, которое имеет большое практическое значение. Именно предложить инициативную разработку, почти готовую. А теперь... Вы не скажете, когда похороны? Мы ведь тоже хотим проводить товарища...

— Похороны послезавтра. Приезжает мать... Ваш директор даст указание, как все организовать... Ну а другие работники вашей лаборатории, кроме Журавля,— спросил после паузы Коваль,— как у них с творчеством, открытиями? Бывают?

Василий Ферапонтович вопросительно уставился на полковника.

— Например, Павленко,— уточнил Коваль.— Тоже младший и пока, как вы говорите, «не защищенный»... Так ведь?

— Вячеслав Павленко? Способный человек. Я бы сказал, даже талантливый. Иногда брякнет, думаешь — ересь, а потом глядишь — мысль. Но тут же гаснет, как искра. Очень медлительный, какой-то несобранный. Характер у него замкнутый, и вечно он чем-то недоволен. А чем — не понять! Все вроде складывается у него ладно. И дома нормально, и в институте к нему хорошо относятся... Сейчас Вячеславу Адамовичу будет трудновато. Пожалуй, он больше всех потерял с гибелью Журавля. Вместе, в паре, работали над плановой темой. Антон Иванович не давал угаснуть вспыхивавшему в нем огоньку, тормозил его. Журавель всегда стремился все сделать быстрее, довести дело до конца, внедрить, вечно торчал на заводе, ссорился, если работа затягивалась. Любимое выражение его было: «Пока вы, извините, в носу ковыряете, поезд уходит».

Ну и ему попадало, когда тащил в охалке вместе с интересной разработкой что-нибудь не то.

Вообще у меня сложилось впечатление, что для кипучей натуры Журавля не хватало простора... Одно время поговаривал, что уйдет на завод, хотя и у нас были для него все условия,— Василий Ферапонтович выделил последние слова, как будто боялся: вдруг появятся сомнения в добром отношении к погибшему.— В этом содружестве Павленко чаще всего был, так сказать, «головой», индуктором идей, Антон Иванович же, как у нас говорят, «ноги». «Ноги» везде ходят, пробивают дорогу идее, всеми правдами и неправдами прорываются через ведомственные преграды в Комитет по науке и технике или отраслевое министерство, которые могут заинтересоваться разработкой. Именно «ноги» дают наверх концепцию — проще сказать, объяснения и рекомендации тем или иным органам по поводу значения и использования открытия.

Всякое внедрение новшества, новой технологии требует немало усилий и нервов. И тут главную роль играют «ноги». Журавель — такие «ноги», которые были способны получить одобрение работы не только на земле, но и в космосе, если нужна была бы космическая виза. Он был лидером по натуре. Сам Павленко со всеми своими идеями никогда не пробился бы, ибо «голова», хотя и правильно мыслила, но действовала очень медленно и вяло. Мы всегда поддерживали это содружество, считая, что в наше время ускоренного развития и научная мысль не должна отставать. И надеялись на этих ребят, особенно на Журавля... Казалось, не ошибались...

И вот пожалуйста! Боюсь, что теперь и диссертация Вячеслава Адамовича задержится. Антон бы ему в два счета пробил.

— А что же Журавель сам не защищался?..

Василий Ферапонтович пожал плечами.

— Кто знает. Наверное, считал, что для него это не главное, еще успеет... Вот и «успел», — горько добавил он. — И свое изобретение до конца не довел. Путь от открытия до его практического внедрения самое сложное для нас, Дмитрий Иванович. Найти, сообразить, открыть — это даже не полдела, а четверть, или и того меньше, — объяснял Дейнека. — Сталкивается столько интересов, появляется столько проблем! Иной раз вопрос так запутывается, что вроде все «за», а дело с места не трогается... И не поймешь почему... В большинстве же случаев все объясняется просто: производству, имеющему свой стабильный план, отлаженному, неинтересно, с точки зрения сиюминутной выгоды, заниматься нововведением, внедряемым вначале в малой серии, перестраиваться для этого. Хотя позже нововведение и даст значительный эффект, но рисковать текущим планом никто не хочет, считая, что «пока солнце взойдет, роса очи выест» или: «лучше синица в руке, чем журавель в небе».

Василий Ферапонтович заметил, что вместо пословицы у него получился неудачный каламбур, смутился и умолк.

— Ах, Антон, Антон! — воскликнул он через несколько секунд. — Просто не верится, что его нет. Имелись и у него, конечно, грешки, как у всякого человека, тут и прогульки, и опоздания с работами, но все искупалось его жизненной активностью, его доброжелательностью, готовностью прийти на помощь коллективу! Да, нам его всегда будет не хватать!..

— А не было у него причин для самоубийства?

— Да что вы, товарищ полковник! Я же говорю, это был веселый, жизнерадостный человек, с доброй такой сумасшедчинкой.

— Какой-нибудь стресс?

— Нет, нет!.. А впрочем, — подумав, добавил Василий Ферапонтович, — чужая душа — потемки... Может, что-то личное? Но нет, не думаю... В институте, например, у него все было ол-райт!

— У вас дружная лаборатория?

— Конечно!

— А вот Журавель и Павленко... не спорили между собой?

— Мы все спорим! В споре, как известно, рождается истина. В науке — соревнование идей, столкновение мнений, споры — главный двигатель. Как же без споров?!

— Я имею в виду другое, — мягко уточнил Коваль. — Не замечали ли вы между ними столкновений, так сказать, характеров? Ну, например, самолюбий, амбиций. Не было ли обид?

— Нет, что вы! — возмутился Дейнека. — Павленко никогда не обижался на замечания Антона, даже когда тот подсмеивался над ним, шутя называя мыслящей улиткой. Мне кажется, Вячеслав Адамович просто стремится жить не напрягаясь. Наука для него, возможно, представляется таким оазисом: сначала мэнээс, потом кандидат или даже доктор, потихоньку, полегоньку, не спеша. Тем более что голова у него, как говорится,

«варит» и он надеется на себя. И наука стала для него так притягательна, как белый халат для некоторых молодых людей, рвущихся без всяких данных в медицинский! И все же — это было почти идеальное содружество. Да и соседями они были. Оба молодые... А несходство натур не мешало им, наоборот, притягивало друг к другу, как плюс и минус. А почему это вас интересует, Дмитрий Иванович? — вдруг спросил ученый. — Это, наверное, не столь существенно...

— Я хотел бы понять жизнь института, взаимоотношения людей, двигающих человеческую мысль, прогресс. Я ведь в науке, особенно технической, к сожалению, профан...

Полковник заметил, что его самоунижение польстило заведующему лабораторией.

— Хотите, покажу вам нашу опытную мастерскую, где работал и Журавель, — любезно предложил он.

— Конечно, — с готовностью согласился Коваль, — но сначала покажите стол Журавля.

— Вы за ним сидите, — сказал Дейнека.

Дмитрий Иванович открыл тумбу стола и стал выдвигать ящики, один за другим, просматривая находящиеся в них бумаги.

Заведующий лабораторией терпеливо ждал.

— Вы можете, Василий Ферапонтович, популярно объяснить суть технической проблемы, над которой работал Журавель? — спросил полковник, роясь в ящиках.

— Попробую, — почесал в затылке Дейнека. — Проблема номер один в машиностроении, — начал он, собираясь с мыслями, — долговечность, износостойкость машин. Износостойкость зависит от трущихся элементов, трущихся пар. Это понятно?

— Абсолютно, — подтвердил Коваль.

— А от чего зависит в свою очередь износостойкость самих трущихся пар? От многих факторов. Например, материала, из которого они сделаны, а также от заключительной, финишной, обработки при их изготовлении.

Заведующий лабораторией, видя, как внимательно слушает полковник, вошел в роль лектора и с удовольствием продолжал:

— И вот мы подошли к главному. При абразивной обработке поверхностей трущихся деталей во время их изготовления, скажем, наждаком, частички твердого абразива, то есть наждака, неизбежно внедряются в обрабатываемую поверхность. Предотвратить это невозможно. При машинном притирании поверхностей создается повышенное давление в каждой точке соприкасания, металл перегревается, «пригорает», и мельчайшие частицы абразива втираются в обрабатываемую поверхность, ставшую мягкой, как бы вдавливаются. И остаются в ней...

Коваль отложил бумаги и сосредоточенно слушал. То, что рассказывал заведующий лабораторией, было элементарно и, кто знает, могло ли относиться к делу, приведшему его в институт, но он заинтересовался на первый взгляд, казалось, простой технической проблемой, о которой шла речь.

— Эти вдавленные, незаметные глазу мельчайшие частицы абразива в процессе трения, при эксплуатации машины, — объяснял Дейнека, —

выпадают, и на трущейся поверхности образуются пустоты, через которые вытекает, скажем, масло. — Василий Ферапонтович схватил чистый лист бумаги, лежавший на столе, и быстрыми движениями начертил две прижатые друг к другу плоскости, в месте прилегания наставил точки, обозначающие мельчайшие вкрапления абразива. — Чтобы избежать течи, шлифовку трущихся элементов проводили не сразу, грубо, а многократно, постепенно уменьшая размер зерна, пасты, вплоть до финишной полировки, то есть старались создать идеально гладкую поверхность, которой можно добиться только при ручной обработке.

И все же, Дмитрий Иванович, течи, например, сальника в автомобиле избежать не удастся, и вы об этом, конечно, знаете. Но я хочу подчеркнуть, что это уже вопрос второй, вытекающий из общей проблемы. Этим особенно мучаются эксплуатационники... А дальше, — заведующий лабораторией сделал многозначительную паузу, — на сцену выходит младший научный сотрудник нашего института Антон Журавель, земля ему пухом, который вас интересует.

Все гениальное, как известно, просто. Никому в голову не пришло, а его вдруг осенило!.. Вот как бывает! — с нотками зависти в голосе проговорил Дейнека. — У нас все его называли «счастливчик Антон», или «Антей». Ах, да что я говорю, какой же он «счастливчик»! — вздохнул Василий Ферапонтович. — Я не полностью знаком с разработкой Антона Ивановича, — перешел снова на деловой тон завлаб, — так как он не успел представить свою работу, а только сообщил о принципе изобретения. А принцип, повторяю, прост до гениальности. В общих чертах дело обстоит так: Антон Иванович решил изменить движение абразивного инструмента при шлифовке — исключить повторное попадание алмазного зерна в одну и ту же борозду, в ту же ячейку. Скажем, как попадает иголка патефона в бороздку на пластинке, которую постепенно углубляет и крошит. Абразив, по замыслу Журавля, должен делать не однообразные, а сложные, разнообразные движения по поверхности, шлифуя ее не только круговыми, но и поперечными движениями, и по косым направлениям... — Дейнека закружил руками над столом, задвигал ими во все стороны. — Получается хаотическое движение и, таким образом, частица абразива, не попадая все время в одну точку, уже не внедряется, не забивается в обрабатываемый материал, и позже, при эксплуатации изделия, естественно, ничего не выпадает, так как выпадать-то нечему, пустот в поверхности трущихся деталей не образуется, и плоскости идеально прилегают друг к другу. Так можно устранить, скажем, течь сальника.

Этим изобретением Журавель уже заинтересовал предприятия Минавтопрома... Он как будто даже договорился о разработке и внедрении...

Лицо заведующего лабораторией, окаймленное рыжей бородой и показавшееся Ковалю сначала не очень симпатичным — ему почему-то не нравились бороды, особенно рыжие, — теперь приятно озарялось искренней увлеченностью.

— Так пойдемте, Дмитрий Иванович, в нашу макетную мастерскую? — напомнил он после паузы.

Когда они спускались по ступенькам в полуподвал, Коваль спросил: — Василий Ферапонтович, а в этой инициативной работе, о которой

вы рассказывали, «головой» тоже был Павленко? Или сам Журавель? Идея-то чья? Может, тоже Вячеслава Адамовича?

Дейнека на несколько секунд остановился.

— Павленко?.. Честное слово, не знаю... Кажется, это был случай, когда и «голова» и «ноги» соединились в одном лице... Павленко никогда не смог бы заменить Журавля, а у Антона Ивановича это иногда получалось. Не имея терпения дожидаться от Вячеслава нужного решения, он сам искал его. Однако утверждать не могу... Журавель собирался заключить хоздоговор с заводом. От своего ли имени или вместе с Павленко — мне неизвестно... Все это было еще в стадии оформления. Впрочем, должен знать Павленко, но он сейчас в командировке. Если вам нужно будет, мы его отзовем...

— И кто же теперь закончит работу и внедрит изобретение?

— Решит дирекция. Естественно, поручат нашей лаборатории... Возможно, и Павленко. Дело интересное, и тянуть с ним нельзя. Рукопись Журавель отдал печатать нашей машинистке, но ее сегодня нет.

В течение всего пребывания в институте, во время беседы с директором, объяснений Василия Ферапонтовича Ковалья не оставляла мысль: два дня, как умер сотрудник, а в институте никто об этом не знал. Почему?

Ну, допустим, соседка, Варвара Алексеевна, не позвонила в институт. В конце концов не ее это дело... Интересно, сообщила ли она об этом мужу? Павленко, безусловно, прервал бы командировку, чтобы проводить в последний путь своего друга. Значит, или он не знает о смерти Журавля, или по каким-то причинам не может приехать.

А вот Нина Барвинок, машинистка! Она ведь еще позавчера узнала от него о том, что Журавель погиб. Почему не сообщила никому?

Перед тем как проститься с заведующим лабораторией, полковник попросил показать комнату машбюро. По дороге спросил Дейнеку:

— А было какое-нибудь увлечение, хобби у Журавля?

Василий Ферапонтович в ответ развел руками:

— Не ведаю. Наверное, не одно. Он был разносторонне развитой человек.

— И еще вопрос, — интересовался полковник, — велико ли могло быть вознаграждение Журавлю, если бы изобретение пошло в производство?

— О! — воскликнул заведующий лабораторией слегка писклявым от волнения голосом. — Сколько получил бы? Много, очень много! Изобретение нашло бы широкое применение в машиностроении, в частности в станкостроении. Одним словом, везде, где есть трущиеся части и нужно идеальное прилегание... В деньгах? — Он развел руками. — Не подсчитать. Ни экономический эффект в масштабах страны, ни вознаграждения изобретателю... Это ведь из тех новшеств, которые сейчас поощряются в связи с ускорением технического прогресса...

Машбюро оказалось маленькой комнаткой, в которой стояло два столика с пишущими машинками. Одна из них была закрыта грубо сшитым дерматиновым чехлом неопределенного цвета. За вторым таким же столиком сосредоточенно стучала миловидная женщина, ее Коваль в мыслях сразу окрестил «каштановой». На ней было хорошо сшитое светло-коричневое платье, а голову венчала пышная корона каштановых волос.

Полковник поздоровался, женщина перестала стучать и подняла глаза. Они были блестящие и тоже каштановые.

— Мне нужна Нина Барвинок. Она здесь работает?

Машинистка с любопытством смотрела на Ковалья.

— Да, здесь,— женщина кивнула в сторону закрытой машинки.— Но ее сегодня нет.

— Почему? — спросил Коваль.

— Очевидно, заболела,— ответила машинистка.— Она часто болеет. То одно, то другое. Слабенькая.— И тут же глаза ее снова зажглись любопытством: — Вы принесли работу?

— Нет,— сказал Коваль.

— Что-то передать ей?

— Нет,— повторил полковник.— Передавать ничего не нужно.— Он открыл ящик столика Барвинок и, не обнаружив ничего, кроме копирок, понял, что допустил просчет, не забрав у Нины папку, в которой, очевидно, было окончание рукописи Журавля.

И он решил поручить Струцю съездить сегодня в Березняки, домой к машинистке, чтобы проверить, правду ли говорили о тяжелой обстановке в ее семье и, главное, забрать конец работы.

Он думал о том, что материалы Журавля должны быть приобщены к делу, и подыскивал доводы, чтобы, не нарушая закона, возвратить их институту, не задерживать внедрение в производство ценного изобретения.

7

Коваль заглянул в кабинет Струця, беседовавшего с Ниной Барвинок, когда старший лейтенант дошел до белого каления.

Худенькая миловидная женщина, сидевшая напротив него, в которой Дмитрий Иванович узнал машинистку, на вопросы отвечала грустно краткими «да», «нет» или «не знаю» и покорно соглашалась, когда старший лейтенант указывал ей на противоречия. Она была совсем убита свалившейся бедой, и вызов в милицию стал для нее тяжким испытанием.

— В конце концов, чем вы докажете, что ушли первой и сказали, что чайник скоро закипит и кофе пусть заваривают сами? — уже повышенным тоном спрашивал Струць, когда вошел полковник.

Машинистка пожала плечами, мол, чем я могу доказать?! Увидев Ковалья, она еще больше сжалась на стуле и ниже опустила голову.

Дмитрий Иванович уселся в углу, так как кабинетик Струця был тесноват для трех человек. Он укоризненно посмотрел на его хозяина. Кому-кому, а старшему лейтенанту хорошо известно, что бремя доказывания лежит на дознавателе и следователе и этого нельзя требовать от подозреваемой. Но он ничего не сказал, не желая ставить старшего лейтенанта в неловкое положение. Да и взглянув на Струця, полковник понял, что тот сам не рад своей промашке, но не решается ее исправить, чтобы не акцентировать на этом внимание.

— А Журавель или Павленко слышали ваши слова? — уже тише спросил Струць.

— Не знаю,— коротко ответила машинистка.

— Скажите, Нина Васильевна, в котором часу вы ушли в тот вечер из квартиры Журавля? — поинтересовался Коваль.— Имейте в виду, вам не нужно оправдываться и доказывать. Просто обрисуйте нам обстановку того вечера,— добавил он, покосившись на старшего лейтенанта.

Машинистка не скрывала, что в последний вечер Журавля у него в гостях были она и Павленко: кто ушел первым, а кто оставался с хозяином, стало ключевым вопросом дознания, и Коваль, видя, что Струцю это трудно выяснить, решил подойти к решению задачи с другой стороны.

Машинистка на секунду подняла голову и, не заметив во взгляде Ковалья сердитых искорок, которыми только что осыпал ее усатый старший лейтенант, приободрилась и расслабилась.

— До минуты не помню,— ответила женщина.— Домой пришла около девяти, но по дороге заходила в продуктовый магазин на левом берегу, потом в гастрономе стояла за яблоками. Диме моему нужны фрукты, а яблоки были недорогие. Стояла, наверное, с полчаса.

Струць с удивлением смотрел на женщину, которая до сих пор отвечала одним-двумя словами, а тут вдруг разговорилась.

— Значит,— рассуждал вслух Коваль,— если отбросить от времени прихода домой, так сказать, магазинное время?.. Кроме продуктовых магазинов, вы никуда не заходили?

Нина покачала головой.

— Магазины в общей сложности у вас сколько заняли?

— Около часа.

— Часть покупок делали на левом берегу? А яблоки?

— Яблоки недалеко от дома, в гастрономе «Славутич».

— А время на дорогу? — подсказал Струць.— Вы пешком шли?

Дмитрий Иванович знал, что путь от Русановки, где жил Журавель, до Березняков не должен занять много времени.

— Пешком, конечно,— отвечала машинистка.— Я ушла от Антона Ивановича около восьми. Точнее не знаю,— словно оправдываясь, женщина вытянула левую руку,— часов у меня нет. Мои испортились, никак не отремонтирую... А у Антона Ивановича я не посмотрела...

Вспомнив о Журавле, Нина Васильевна снова погрузилась, казалось, вот-вот заплакнет.

Старший лейтенант тем временем подсчитывал на листке бумаги минуты, затраченные женщиной на дорогу в магазины, на покупки и возвращение домой.

Видя, что Струць занялся арифметикой, полковник подумал, что, наверное, не цифры смогут дать ответ на главные вопросы. Плюс-минус несколько минут в этой истории не решали дела. Важно было установить, действительно ли Барвинок ушла первой, оставив Журавля и Павленко вдвоем. Не хватало свидетельств людей, видевших, когда вышли из квартиры Журавля в тот вечер Барвинок и Павленко. Вместе ли или по очереди? И кто первый? В котором часу? А где взять таких свидетелей? Ведь никто специально не наблюдал за квартирой Журавля. Только соседи по дому могли случайно это заметить. И задача розыска сейчас — опросить людей. А пока... поскольку необходимых сведений не было,

главным подспорьем являлась не арифметика, а психология. Нужно было вникнуть в отношения действующих лиц, понять их характеры. Другого пути, пока не установлены факты, нет, считал Коваль.

— Ну хорошо, скажите: почему вы вдруг ушли, собирались ужинать, хозяйничали, а потом, когда мужчинам захотелось кофе, вспомнили о доме, не дождались, пока закипит чайник? — спросил Коваль.

Машинистка послушно кивнула:

— Да, да, вспомнила и ушла.

— И ничего не произошло?

— Где?

— В комнате, где ужинали ваши друзья. Между вами и ими?

Нина Васильевна пожала плечами.

— Вы не поссорились с Антоном Ивановичем?

— Нет, что вы, — глаза женщины сразу наполнились слезами. — С Антоном Ивановичем? Нет, нет, — покачала она головой. — Разве с ним можно ссориться! — Она говорила гнусаво, ибо все время терзала платочком нос.

— И он вас ничем не обидел в тот вечер?

Женщина не ответила. Слезы начали душить ее. Она пыталась их сдержать и в конце концов сильно раскашлялась. Когда кашель прошел, подняла на Ковалья мокрые глаза и укоризненно произнесла:

— Такое говорите!

— Вы любили его?

— Да.

— Собирались уйти к нему?

— Да...

— Это решение было обоюдным?

— Да.

— Но оно никак не осуществлялось?

Женщина тяжело вздохнула.

— Почему, если не секрет? Антон Иванович передумал?

— Это благороднейший человек, человек слова, это, это... — Барвинок, не в силах произнести слово «был», вот-вот могла снова залиться слезами.

— Так по чьей же вине не состоялась ваша новая семейная жизнь? Муж? Отец? Вмешалось общественное мнение?

— По моей, — тихо произнесла Нина Васильевна. — Только по моей. И это я себе никогда не прощу! — От слез ее нос, все лицо, казалось, распухло, светлые миндалевидные глаза покраснели.

— Не плачьте, Нина Васильевна, — попросил полковник. — Увы, Антону Ивановичу уже не поможешь. — Дмитрию Ивановичу было неприятно видеть Барвинок в таком неприглядном виде.

Посматривая на Нину Васильевну, Коваль перебирал в памяти все, что узнал об этой женщине. Родилась она в селе, под Киевом, в счастливой семье, где была единственным ребенком. Росла тихой девочкой, унаследовав от матери не только миловидность, но и мягкий, покладистый характер. Отец — колхозный механик Василий Козак — и мать — счетовод сельпо Ганна Григорьевна — души в ней не чаяли. Ниночка помогала по хозяйству, не водила ни с кем знакомств, не убегала с подружками на луг, тянувшийся до самого Днепра, где в высокой траве можно было иг-

рать в прятки. Одним словом, не доставляла родителям никаких хлопот...

Но однажды летом, когда Ниночка перешла в седьмой класс, случилось несчастье. Пьяный тракторист в сумерках наехал на Ганну Григорьевну, возвращавшуюся с работы домой.

Отец Нины, не в силах перенести смерть жены, пытался повеситься в сарае, и его буквально вынули из петли.

С тех пор жизнь Нины пошла кувырком. Василий Козак запил и вскоре потерял должность механика. Он не мог больше оставаться в селе и подался в Киев... Там он устроился рабочим по ремонту мостовых. Нина еще два года ходила в школу, но, не видя перспектив после окончания десятилетки, из девятого класса ушла и поступила на курсы машинописи. Когда ей исполнилось восемнадцать, посватался приятель отца — бригадир каменщиков Гнат Барвинок. Старше Нины на десять лет, буйный во хмелю, он был несимпатичен ей. Но у отца, которого Барвинок постоянно поддерживал на работе и спаивал дома, было другое мнение, и Нина покорилась отцовской воле.

Первое время после скромной свадьбы в доме было спокойно. Но с тех пор как отцу совсем отказали руки и вся забота о семье легла на плечи Гната, тот распоясался. Нина старалась угождать обоим: и отцу, и мужу, но у нее плохо получалось. Потом родился сын, и женщина полностью замкнулась на ребенке...

— Мы просим вас, Нина Васильевна, — снова заговорил Коваль, — помочь разобраться в печальной истории гибели Антона Ивановича... Скажите, вы не ушли жить к Журавлю потому, что не хотели оставить мужа, лишит ребенка отца? Так? Если так, то я вас понимаю...

— Нет, не так, — решительно ответила женщина, отвернувшись от старшего лейтенанта, теперь ее лицо видно было только Ковалю. — Мужа я ненавижу... Ребенок? Митя? Разве ему такой отец нужен?

— Почему вы так говорите о своем муже?

— Для вас это не имеет никакого значения, — женщина снова мельком взглянула на Струця, и Дмитрий Иванович понял, что она стесняется старшего лейтенанта. Но не мог же Коваль попросить хозяина кабинета уйти. Тем более что прямо такое желание опрашиваемая не выразила.

— Кроме того, я боюсь мужа. Нетрезвый он очень опасен. Не раз угрожал мне ножом. Он способен на все... И я боялась подвергнуть опасности и себя, и, главным образом, Антона Ивановича.

— И отца?

— Ну и отца... — раздумчиво протянула женщина, — хотя его, может, и не тронул бы... Они ведь не разлей друзья по бутылочке... Впрочем, отца мне жалко: он столько пережил, очень несчастный, больной и по-своему любит меня. Вероятно, пьет еще и потому, что чувствует себя виноватым, хотя плохого он мне не хотел...

Жили мы очень бедно, а Гнат хорошо зарабатывал. Конечно, отец не думал, что моя жизнь так сложится. Сначала ругался с Гнатом, защищал меня, а потом еще больше выпивать стал. Если я ушла бы, совсем спился бы. И Гнат его из хаты вышвырнул бы. В общем, со мной было как в поговорке: горько есть и жалко бросить.

— И как относился Антон Иванович к такой вашей нерешительности?

Нина Васильевна задумалась, стянув брови над переносицей.

— Как? Сначала сердился, говорил, чтобы я не боялась, он защитит... Но потом махнул рукой: ну, смотри сама, я подожду, мой дом — твой дом, и Митьку заберем... Да только не раздумывай долго, а то, гляди, опоздаешь... — Нина Васильевна немного помолчала. — Скажу правду, — наконец произнесла она, — у меня иногда появлялось такое чувство, что он предлагал мне это не столько из любви, сколько, зная мою нелегкую жизнь, по доброте своей, из жалости. И когда видел, что я не решаюсь, это не то чтобы радовало его, но как-то устраивало, словно успокаивало. Мол, он свой долг выполнил, предложил, а что я тяну — баба с воза, коням легче... Он не настаивал категорически, не ругался, не стукнул, как говорят, кулаком по столу... А я все ждала: возьмет однажды да и не пустит домой... Увы!.. И такое спокойное его поведение тоже сдерживало меня от решительного шага...

Ковалю вспомнились слова Килины Сергеевны о том, что теперь, после смерти Журавля, Нина помирится с мужем и успокоится.

— А может, вы не решались на этот шаг еще и потому, что Антон Иванович был человек хотя и добрый, но импульсивный? — спросил полковник.

— Да, очень добрый, — кивнула Барвинок. — Но при чем тут «импульсивный»?

— Опора не твердая. И не однолюб по складу характера.

Нина Васильевна уже не теребила нос и разговаривала с Ковалем, казалось, совсем спокойно, но на это замечание не ответила, только возмущенно посмотрела.

— Вполне понятно, — продолжал свое полковник, — если вы боялись разрушить одно и не построить другое. Круг интересов у вас с ним разный. Да и не были уверены, состоится ли новая семья, как уживутся новый муж и ваш сын. А вы ведь, как и всякая женщина, в первую очередь — мать.

При этих словах покорно отвечавшая до сих пор на вопросы Коваля машинистка запротестовала:

— Я не могу продолжать разговор о наших чувствах и взаимоотношениях с Антоном Ивановичем. Мне тяжело.

— Что ж, — мягко произнес Коваль. — Перейдем к другому. Антон Иванович одновременно с научной работой сапожничал?

Машинистка инстинктивно спрятала ноги под стул. Дмитрий Иванович заметил это непроизвольное движение.

— Не нужно, Нина Васильевна, прятать, я уже обратил внимание на ваши красивые сапожки и знаю, что пошил их Журавель... Ничего в этом плохого нет. Скажите, у него много было заказчиц?

— Не было никаких заказчиц! — быстро заговорила женщина. — Он деньги не брал. И шил, может, одну-две пары в год друзьям. Он был художником, любил рисовать, у меня есть его пейзаж. Он говорил: «Когда я делаю что-нибудь красивое, то руки у меня заняты, а мысли свободны и легки, и мне лучше думается...» А еще сказал, что и Лев Тол-

стой в свободное время любил тачать сапоги... Какое же это преступление?!

— Я не сказал — преступление, Нина Васильевна! — с ударением на слове «преступление» заметил полковник. — Почему вы считаете, что мы здесь с Виктором Гавриловичем только о преступлениях говорим, все к преступлению сводим? Художник — это прекрасно. И я вам скажу, Нина Васильевна, — продолжал Коваль, наклонившись к женщине, словно сообщал ей это по секрету, — что талантливый модельер обуви не меньший художник, чем портретист или пейзажист. Но, впрочем, оставим Толстого и высокое искусство в покое и вернемся, как говорится в пословице, «к нашим баранам», то есть к прозе жизни. Значит, Антон Иванович денег не брал с друзей или подружек. Мужчинам он, кажется, не шил, только изящные женские туфельки или сапожки... Так откуда у него были деньги? На зарплату младшего научного сотрудника не разгуляешься. Вон по соседству такой же молодой ученый Павленко... И жена работает. Детей нет. Однако живет труднее. Или у Антона Ивановича богатые родители, родственники, ему кто-то помогал?

Лицо машинистки приняло удивленное выражение:

— Вы что! Никто. У него мама где-то на Ровенщине или Волыни, он сам ей посылал...

— И еще такой вопрос, Нина Васильевна. Вы сказали, что Журавель шил одну-две пары в год приятельницам... — Ковалю хотелось добавить: «Как вы относились к такому альтруизму, собираясь за него замуж?» — но воздержался. Женщина могла ответить, что еще не имела на Антона прав и что это ее личное дело, и вообще заявить, что больше она не собирается раскрывать тут душу. Но главным образом ему не позволял задать этот вопрос такт, хотя ответ его очень интересовал, так как высветил бы истинные отношения между нею и Журавлем. Правда, Коваль надеялся, что это ему удастся выяснить позже, не прямо «в лоб». — Однако в Киеве, — продолжал полковник, — сапожки такой оригинальной модели встречаются на улицах не у двух или трех модниц, а значительно чаще. И это в таком огромном городе, как наш! Я вам, конечно, верю! — поспешил добавить Коваль. — Но мне не все здесь понятно... Противоречие! Как объяснить? Убедиться в том, что таких сапожек намного больше, чем вы говорите, не трудно и без вычислительной техники.

Нина Васильевна ничего не смогла или не захотела объяснить, и Коваль решил пока оставить вопрос открытым.

Они еще долго разговаривали в кабинете Струця. Старший лейтенант интересовался времяпровождением Журавля, и машинистка рассказывала, что иногда к нему заходили знакомые, в основном женщины, и чаще всего портниха Христофорова. У Антона Журавля дом был открыт для друзей — Нина нашла нужное слово «дружелюбный» — в баре всегда стояло какое-нибудь хорошее вино, но больших застолий хозяин не любил. Если появлялся кто-нибудь, хлебосольный Журавель предлагал стакан вина, легкую закуску. Разговоры шли обычно об институтских делах, иногда о фильмах, артистах, летних отпусках, о всякой всячине, как бывает, когда нет постоянного общества и единых интересов. Бывало, собиралось сразу несколько человек, тогда могли и в карты сыграть. Сама

Нина, если не возилась на кухне — надо же было помочь Антону Ивановичу по хозяйству, — тоже принимала участие в беседе молодых людей.

Частенько ставили музыкальные записи. Случалось, Антон просил, чтобы она спела. С такой просьбой он обращался редко, и она не отказывалась, хотя голос у нее был слабенький, Антон говорил — «комнатный».

Приходила она в этот дом часто.

— У меня своей машинки нет, — объясняла женщина, — и почти каждый вечер я оставалась в институте, чтобы сделать кое-что для себя, в общем, частную работу. Соскучившись по Антону, я бросала все и бежала к нему. Это была для меня единственная отдушина, отрада, без которой не знаю как теперь жить буду...

Ковалю интересовало, как относится Нина Васильевна к Христофоровой и чете Павленко.

К удивлению Дмитрия Ивановича, о Христофоровой она ничего плохого не говорила.

— Что же, — отвечая на вопрос о портнихе, впервые за все время беседы улыбнулась Нина Барвинок, — женщина она энергичная, интересная, богатая, да Антону Ивановичу не так уж и нужная... Она всегда старалась показать, что я, мол, не пара Антону, не ко двору, но я на нее за это зла не держала, все равно он не на ней, а на мне хотел жениться. Да какая из нее жена — кукушка она! Дочку в Одессе бросила, своего дома не знает. Только и того что портниха модная да денег полные карманы. А Антону Ивановичу не деньги нужны были. У него своих хватало. Он мне так и сказал: люблю тебя, Нина, за мягкость, душевность, а в этой Келе ни того, ни другого...

— Вот я и думаю, Нина Васильевна, — продолжал допытываться Коваль. — Не от сапожного ли ремесла у Журавля появлялись деньги? Иначе откуда же?

Однако и на этот раз женщина только пожала плечами.

Рассказ машинистки постоянно прерывался грустными вздохами, и, если бы не умение Ковалю вовремя менять тему, вся их беседа была бы скомкана и залита слезами.

Расспрашивая Нину Васильевну о том, что она слышала о соседях Журавля, полковник с удивлением отметил, что больше всего она почему-то симпатизировала Варваре Алексеевне, говорила о ней лишь хорошее, хотя знала ее только со слов Павленко да Антона Ивановича и видела в квартире Журавля всего один или два раза.

— Она, наверное, добрая женщина. Вы подумайте, товарищ полковник, какая жена будет разрешать мужу целыми вечерами торчать у соседа-холостяка, к которому заглядывают женщины? Он, правда, жаловался, что «под колпаком» у нее. Но какой же это «колпак», если ему такие вольности разрешают?! Может, потому считал себя «под колпаком», что она его, мямлю, вечно толкала в спину. Да если бы не жена, этот Вячеслав ничего в жизни не достиг бы...

— Не любит, наверное, безразличен он ей, поэтому и не ревнует, — забросил удочку Коваль.

— Кто это знает, — ответила машинистка, — но, по-моему, любит, и

очень, несмотря ни на что. А он это не ценит и не понимает. Хотя лично я удивляюсь: любить Вячеслава? Он такой скучный, занудный, да еще ко всем юбкам цепляется.

Он и ко мне приставал! Но вы же понимаете, товарищ полковник, — стыдливо опустила глаза собеседница, — смешно говорить! Нынешней зимой дошел до такой наглости, что стал объясняться и наговаривать на Антона. Называется друг. Да и подходил к этому гаденько, хитренько. Сначала вокруг да около: «Поймите меня правильно» да «поймите меня правильно». Это у него любимые словечки. А потом прямо заявил: «Не верьте Антону, не женится на вас... А я вас люблю, Нина Васильевна, и готов на все». Нужен он мне! Я его как шуганула!

— Вы, конечно, не рассказали об этом Антону Ивановичу?

— Нет конечно. Мне было стыдно за Вячеслава и за себя тоже — Антон мог подумать, что я дала повод, если даже такой трус, как Вячеслав, решился на объяснение. А еще потому не рассказала, что заранее знала его ответ. Засмеялся бы, как это бывало и раньше, и сказал бы: «Не обращай внимания, Вячеслав — талантливый, а все талантливые люди чуть-чуть психи».

Я часто думала, почему это Антон, который кое-что все-таки и сам замечал, не перестает якшаться с Вячеславом, не гонит его. Мне было непонятно. Потом решила: потому, что работают в одной лаборатории.

Жаль, Антон не видел, что Вячеслав совсем не друг ему, всегда завидует. И не боялся этого.

— Ну почему же бояться? — не то возразил, не то удивился полковник. — Зависть очень нехорошее, даже мерзкое чувство. Но от него страдает не тот, кому завидуют, а тот, кто завидует. Оно точит душу завистника, как ржавчина железо. Вот зависть и ее родную дочь — клевету — больше всего ненавижу! — сердито произнес Коваль и вдруг неожиданно улыбнулся. — Сам было чуть не пострадал от них. А вы замечали проявления зависти у Павленко? — пытливо посмотрел на женщину полковник.

Перед глазами Нины Васильевны калейдоскопически пролетели знакомые картины: вот Вячеслав Адамович с мрачным видом смотрит, как они танцуют с Антоном. Комната небольшая, и они не столько танцуют, сколько обнимаются. Наконец Павленко не выдерживает. «Я пошел», — бросает он и поднимается. «Ты куда?» — спрашивает Антон. «Не буду вам мешать», — мрачно, скороговоркой произносит тот и скрывается за дверь.

А вот Вячеслав Адамович пытается потанцевать с ней, но, перехватив насмешливый взгляд Антона, отказывается от своего намерения и отходит! А недавнее объяснение в любви на лютom морозе... Но Нине не хотелось сейчас об этом рассказывать... Неприлично говорить чужому человеку, что Павленко завидовал любви Антона, да и полковник, очевидно, имеет в виду другую зависть.

Женщина промолчала.

— Да вам, наверное, все это показалось, — вызывая машинистку на откровенность, произнес Коваль. — Нечему завидовать-то: оба молодые ученые, способные, даже талантливые, перспективные. Ну допустим, у Журавля ковер на полу помягче, мебель подороже, для таких людей,

как они, все это не предметы зависти... Мне кажется, наоборот, покойный Журавель мог чуточку завидовать уму, оригинальным идеям, творческим задумкам и находкам Вячеслава Павленко. И, если хотите, даже его уравновешенной, семейной жизни.

Нина Васильевна была обескуражена таким поворотом разговора и не знала, что ответить. Слова Ковалья поколебали привычные представления женщины, и откровенного разговора не получилось.

— Вспомните еще раз, о чем беседовали друзья в тот вечер.

— Я уже говорила,— устало напонила Нина Васильевна,— о рукописи. Я ее печатала, но, как обычно, механически, не вдумываясь в текст. Если начнешь вчитываться, ничего не успеешь сделать. Там что-то о способе шлифовки, изобретение Антона Ивановича.

— Друзья не спорили между собой по этому поводу?

— Да нет же!

— А настроение?

Нина Васильевна немного подумала.

— Антон как всегда был весел, радовался, не знал, бедняжка, что его ждет... Выпил много, Павленко тоже выпил и затянул свое обычное, занудное, мол, «пойми меня правильно...», и с каждой рюмкой мрачнел все больше. А потом сказал: «Нина, свари кофе мне и нашему будущему миллионеру, черт его побери! Мы опьянели». И снова со своим вечным: «Антоша, милый, пойми меня правильно, не обижай», — полез целоваться.

У Ковалья в ушах пропищал вдруг восторженный возглас заведующего лабораторией: «Сколько получил бы? Много, очень много!.. В деньгах? Не подсчитать!»

Дмитрий Иванович на секунду отключился от всего, что окружало его. Глаза его в это мгновение ничего не видели, а в ушах звучал голос Василия Ферапонтовича, который от волнения сорвался и стал похожим на писк комара:

«Сколько получил бы? Много, очень много!.. В деньгах?.. Не подсчитать!»

И тут же Коваль подумал: «А кто теперь это вознаграждение получит? Изобретатель умер. Работа сделана, и внедрит ее уже институт, как изобретение всего коллектива. Во всяком случае, получит не один Павленко. Надо поинтересоваться, что пишет Журавель в этой рукописи, упоминает ли соучастие Павленко или нет. Естественно, нет,— ответил сам себе полковник.— Ведь в заглавии значится только один автор: Журавель А. И.».

— Значит, вы наполнили чайник, поставили на плиту,— продолжал интересоваться событиями трагического вечера Коваль,— включили газ... и зажгли его... Зажгли? — переспросил женщину.

Каждую фразу полковника Нина Барвинок сопровождала кивком.

— Зажгла.

— Чем?

— Спичкой. Есть электрозажигалка, но люблю спичкой.

— А потом возвратились в комнату и вдруг решили немедленно идти домой. Вы не любите кофе?

— Нет, почему? Люблю.

— Почему же на этот раз отказались? Дома у вас есть кофе?

— Не всегда.

— Так почему же вы неожиданно ушли?

Нина Васильевна с ответом замешкалась.

— Вы заранее взяли из серванта не три, а две чашечки и поставили на стол.— Не дождавшись ответа, Коваль продолжал: — А почему для двух маленьких чашечек чайник наполнили доверху?

— Я всегда наливаю полный... Как каждая хозяйка.

— Каждая?

— Я так привыкла. У нас на кухне колонка, и лишние стаканы кипятка никогда не помешают.

Ковалю стало казаться подозрительным, что женщина не спрашивает, как погиб Журавель, такой близкий ей человек. И Варвара Алексеевна не интересовалась, и эта не спрашивает. Может, старший лейтенант проговорился в его отсутствие и она уже все знает? Вряд ли... А возможно, на Русановку бегала. Но и на Русановке подробностей не знают. И держалась бы Барвинок, если бы знала, не так спокойно. И он решил поговорить в открытую.

— Вы не спрашиваете, как погиб ваш друг. Разве вас это не интересует?

— Какая разница...— печально вздохнула женщина.— Его не вернешь.

Но теперь на душе у Нины стало тревожно, и с каждой минутой эта пока неясная ей тревога росла. Она пристальней всматривалась в Ковалья, даже огляделась вокруг, стараясь разобраться, что же ее беспокоит.

— Я понимаю вас,— согласился полковник.— Но для нас все имеет значение... Антон Иванович Журавель отравился газом,— произнес он после небольшой паузы.— Вода из переполненного чайника, который вы поставили на плиту, при кипячении залила огонь. Газ, не сгорая, заполнил комнату. Никто не догадался перекрыть его... Что вы можете на это сказать?

Упади небо на ее голову, женщина не была бы так потрясена. Она побелела как бумага, закрыла глаза и, казалось, потеряла сознание. Коваль кивнул на графин, стоявший на столе, и старший лейтенант Струць бросился наливать воду в стакан.

Но машинистка уже пришла в себя.

— Господи, зачем я тогда спешила?! — пробормотала она.— Зачем! Ведь могла еще побыть! Напоила бы кофе. А с яблоками да магазинами успелось бы! Теперь всю жизнь буду казниться... Какой грех на душе! Это я виновата, я! Ах, боже мой, старая дура!

Если бы не трагичность события, было бы смешно, как молоденькая женщина клеймит себя «старой душой».

— Успокойтесь, Нина Васильевна,— остановил ее причитания Коваль.— Вас мы ни в чем не обвиняем.

При этих словах женщина бросила на полковника возмущенный взгляд. При чем здесь ваше «обвинение»?! Она сама обвиняет себя, сама казнится!..

— Нина Васильевна, вы знали, что и Павленко участвовал в изобре-

тении? — спросил Коваль. — В вашем институте сказали, что идею, в общем-то, возможно, подал Вячеслав Адамович. А Журавель только разработал. Вам ничего об этом не известно? Если так, то Павленко тоже стал бы если не миллионером, то полумиллионером, а может, и полным хозяином изобретения... Что вы на это скажете, Нина Васильевна?.. Он и тогда показался бы вам таким ничтожным, как сейчас?

В ушах Коваля продолжал звучать писклявый голос Василия Ферапонтовича.

Машинистка молчала. Говорить она была не в силах...

8

— Эксперты пока не дают нам никаких данных, Петр Яковлевич, — сказал Коваль следователю Спиваку, задумчиво поглаживая свою начинающую лысеть голову. — Я уже прикидывал и так и сяк. Никаких версий, кроме несчастного случая. Выходит, и состава преступления нет. А человека, конечно, жалко, многообещающий ученый, все говорят — талантливый, да и просто жить ему бы еще и жить.

Итак, скорее всего несчастный случай, от которого никто не застрахован, — повторил полковник после краткой паузы. — Журавель, безусловно, и сам виноват — так сказать, вызвал джинна из бутылки. В самом прямом смысле слова. — Коваль положил перед Спиваком листок с выводом экспертизы. — Вот читайте: «Находился в состоянии сильного опьянения». Не пил бы — не уснул, снял бы чайник с плиты и выключил газ... Так что обвинение вроде бы остается предъявить только бутылке.

Полковник говорил медленно, с паузами, словно еще раз проверял себя и одновременно давал возможность следователю возразить по ходу рассуждения.

— И просить суд приговорить ее к пожизненному заключению! — вздохнул Спивак. — Так что, Дмитрий Иванович, по-вашему, можно закрывать дело? — вопросительно посмотрел он на полковника, так же не спеша со своими выводами.

— И все-таки закрывать, думаю, рано, Петр Яковлевич. Смущают некоторые непонятные мне обстоятельства, — откровенно признался Коваль.

Излагая свои соображения следователю, Дмитрий Иванович сам себя спрашивал, почему он сомневается, что это несчастный случай. Ведь все говорит за это. Правда, случай очень неленый, но чего в жизни не бывает! Но полковник пока еще не понимал, почему произошел этот случай, какие обстоятельства его спровоцировали, и это его тяготило. Допрашивая соседей Журавля, пытаясь ощупью обнаружить путеводную нить к истине, сам себе казался слепым котенком. Этого он тоже не любил. В таких трагических событиях, как смерть человека, по его мнению, все должно быть предельно ясно.

Уже после первого знакомства с обстановкой квартиры погибшего, с окружением, соседями, институтом он почувствовал, что в этой печальной истории не обошлось без вспышки чьих-то страстей. Срабатывала развитая интуиция, хотя Коваль и умел сдерживать воображение и не

спешить с выводами, так как понимал, что в силу специфичности своей профессии в сомнительном случае он, не желая, все-таки может настроить себя на то, что это преступление.

Он не хотел искать преступление там, где его нет. Это было бы пустой тратой времени и сил и, самое главное, подрывало бы веру в то, что в жизни больше добра, чем зла. Поэтому сейчас, у следователя, словно проверяя себя, не настаивал на поисках в этом происшествии следов злого умысла.

Он также не признался Спиваку, что трагедия до сих пор неизвестного ему Журавля взволновала его и он не сможет забыть о ней, пока не отбросит полностью свои сомнения. В официальной обстановке было смешно ссылаться на личные эмоции, и он умолчал об этом.

Ему вдруг вспомнился темный лес, в котором заблудился ребенком. Сколько ему было лет? Пять? Шесть? Этого он не знал. Сейчас, словно сквозь пелену, отгораживающую от детства, он снова увидел размытую временем картину: огромные стволы старых осин и берез, толстыми скрюченными корнями уходящие в землю, высокие колючие кусты шиповника, оцетинившийся ветвями подлесок и темный шатер листвы, под него он входит и попадает в таинственный мир. Дело было в конце дня, не стесненный мелочной опекой матери, которая куда-то ушла со двора, заигравшись, он оказался на опушке старой Колесниковой рощи. Лес манил неизведанной глубиной, сказкой. Он шел и шел, сумерки в лесу быстро густели, его охватывало какое-то неясное беспокойство, но его тянуло дальше, и он не мог сопротивляться этой силе. И только когда из-за старого трухлявого пня выглянуло кряжистое чудовище с огненными глазами, он испугался, закричал и бросился назад.

Лес не сразу отпустил его, и только выбежав на берег Ворсклы, на простор, над которым еще играли последние розовые лучи света, он сообразил, как найти дорогу домой.

Через много лет понял, что наткнулся тогда в роще на целую семью светлячков-гнилушек, только и всего!

На всю жизнь у него сохранилась любовь к лесу, в глубине которого всегда пряталась тайна, сохранилась тяга к неизвестному и то легкое беспокойство, что охватывало его, когда входил под темный свод ветвей, где его далекий предок — охотник — настороженно ждал встречи с опасностью...

Человеческие отношения намного таинственней, чем Колесникова роща в далеком детстве, и, разгадывая их, Дмитрий Иванович стремился заглянуть в самые дальние уголки души и только тогда успокаивался, когда тайное становилось явным и он, как когда-то в детстве, снова выходил на простор.

— До того как уснуть, — после долгой паузы продолжал свое сообщение полковник, — Журавель был не один. У него находились гости, о чем свидетельствуют остатки угощения на столе в комнате.

Были опрошены некоторые лица, телефоны которых взяли из записной книжки погибшего, а также, и прежде всего, молодая женщина, машинистка института Нина Барвинок — любовница Журавля. Встречались и с соседями погибшего, и с коллегами по институту. Беседовали еще с

некой Килиной Христофоровой, портнихой, тоже приятельницей Журавля. Установили, что в тот вечер у Журавля гостили Нина Барвинок и Вячеслав Павленко.

Особое внимание мы с Виктором Кирилловичем, — кивнул Коваль в сторону молодого офицера милиции, который сидел на стуле и был третьим участником этого небольшого совещания следственно-оперативной группы, — естественно, уделили Нине Барвинок.

Струць, до сих пор ничем не привлекая к себе внимания, следил за суждениями полковника и следователя, готовый включиться в беседу, если обратятся к нему. Но это объяснялось не застенчивостью, от которой старший лейтенант страдал в начале службы, тогда, когда занимался с Дмитрием Ивановичем делом об отравлении пенсионера Залищука, а служебной этичностью. Теперь Струць работал инспектором уголовного розыска в городском управлении, самостоятельно выполнял отдельные задания. Его уже не смущала, как прежде, круглая коричневая родинка над верхней губой, похожая на искусственную мушку. Забывал о ней, так как коллеги перестали подтрунивать, называть его то «красной девицей», то «панночкой Струць», и вспоминал только, когда брился, боясь потревожить. Он отрастил усы, надеясь со временем полностью скрыть ее. Лицо его стало мужественнее и приобрело не напускную, а естественную солидность. Сейчас в ответ на жест полковника он наклонил голову в знак подтверждения его слов.

— Барвинок — женщина с нелегкой личной судьбой, — говорил Коваль, — очень мягкая по натуре. Была по уши влюблена в Журавля и собиралась ради него оставить мужа. Она призналась, что находилась в тот вечер у Журавля, который ужинал в обществе соседа, накрыла на стол, но вскоре ушла, так как спешила домой. Призналась, что сама поставила чайник на плиту, молодые люди хотели кофе.

По ее словам, ничего особенного в тот вечер не произошло. Журавель, правда, был в ударе. Он рассказывал, как удалось ему дать жизнь своей научной идее. Перепечатанную рукопись его работы она как раз и принесла тогда. Но не полностью. На следующее утро допечатала ее и прибежала в обеденный перерыв, но Журавля уже не было в живых. Я приобщил эту рукопись к делу. — Коваль кивнул на папку, лежавшую на столе у следователя. — Однако, думаю, надо будет возвратить ее институту, так как в этой работе содержится нечто полезное для промышленности. Сам я, признаться, Петр Яковлевич, в машиностроении слабоват, мышление не техническое, хотя немного учился. Но тут и зайцу ясно, что изобретение Журавля следует побыстрее внедрять в производство. Заведующий лабораторией НИИ, с которым я беседовал, считает, что это серьезное новшество даст промышленности немалый экономический эффект. Я тоже так думаю.

— Ну, это не только ваша беда, Дмитрий Иванович, — улыбнулся Спивак, — «не техническое мышление». — И чтобы полковник не подумал, что говорит о себе, добавил: — Я разберусь. Я ведь до юридического два года в политехническом учился. И тогда решим, что делать с рукописью. В крайнем случае копию снимем для института.

— Так вот, Петр Яковлевич, повторяю, — сказал Коваль, — по словам

Нины Барвинок, ничего существенного в тот вечер не произошло. Если не считать, что Журавель на радостях пил больше обычного.

— По причине этого самого изобретения?

— В институте мне сказали, что он ездил в Тольятти, на автозавод. Наверное, договорился о внедрении своего детища. Можно запросить Тольятти, но думаю, это сейчас не столь важно.

— А Павленко?

— О Вячеславе Адамовиче Нина мало рассказывала. Ограничилась несколькими фразами. Мол, как обычно молчал. «Выпил, но не закусывал, листал рукопись Журавля. Если раскрывал рот, произносил только: «Поймите меня правильно», а потом снова замолкал или бурчал что-то себе под нос. Его и в институте так называют — «Поймите меня правильно», говорила машинистка. «А я его вообще не замечаю. Он для меня пустое место». Однако призналась, что Павленко за ней пытался ухаживать, хотя и безуспешно.

Когда Павленко ушел от Журавля, мы еще не знаем, так как не беседовали с ним. Утром следующего дня он уехал в командировку в Ереван и возвратится лишь через неделю. Не считая допрос срочным, я не давал отдельного поручения ереванцам. Сам хочу с ним побеседовать. Для полноты дознания... Чтобы если уж закрывать дело, то с полной уверенностью, с полным основанием. — Коваль на несколько секунд умолк. — Понадобится, вызову его раньше. Он, как и Барвинок, для нас важнейший свидетель.

Во всем еще надо хорошенько разобраться, — продолжал Дмитрий Иванович. — Кстати. Их было трое за столом в тот вечер. Журавель, Нина Барвинок, Павленко. При вскрытии квартиры на столе стояли почти пустая бутылка из-под коньяка, рюмки, тарелки с едой, кофейные чашки. Все это, Петр Яковлевич, вы знаете... Стояли три рюмки, три тарелочки, но только две чашки для кофе, обе чистые. Нина Барвинок признает, что кофе только собирались пить.

Почему три, три и... две? Значит, сначала и она ужинала, но потом, когда ждали кофе, точнее кипятка, внезапно ушла... Что же произошло после того, как женщина поставила чайник на плиту, — почему заторопилась домой? Может, обиделась на Журавля — он ведь, судя по рассказам, умел обидеть неожиданной выходкой. Или ее бегство не было внезапным? Не вдруг... А преднамеренно?

— Да, да, это интересно, Дмитрий Иванович, — оживился Спивак. — Деталь существенная. Все там, очевидно, складывалось не просто. Вечный треугольник. Возможно, что-то между мужчинами произошло. А она скрывает. И очень хорошо, что вы обратили внимание на такое обстоятельство, как отсутствие третьей чашки для кофе. Значит, не вдруг заторопилась машинистка домой, а заранее замыслила улизнуть. Наверное, от этого и надо нам танцевать. Гляди, окажется — главная ниточка...

В голосе следователя Ковалю слышались назидательные нотки. Не хватало еще, чтобы он сказал «молодчина».

— Деталь — это важно. Но не в деталях дело в конечном счете. — Коваль пристально посмотрел на Спивака. У него в прошлом были сложные отношения с прокурорскими работниками. Еще не забылась в городе исто-

рия, как Дмитрий Иванович воевал со следователем Тищенко, карьеристом и бюрократом, и добился его увольнения из прокуратуры. Коваль считал, что никто не должен пренебрегать правдой, что справедливость должна соблюдаться прежде всего представителями права, иначе нарушается сам принцип ее. Нашлись и «хранители чести прокурорского мундира», которые упрекали Ковалья в том, что он преследует молодого специалиста, и если не прямо, то косвенно пытались в свою очередь рассчитаться с подполковником. Как известно, это кончилось тем, что Дмитрий Иванович подал рапорт об отставке.

Но потом все образовалось, и уже не подполковник, а полковник милиции Коваль стал работать в своем управлении консультантом. Однако обида не проходила и иногда заставляла подозревать, что прокуратура привлекает его к делам не просто сложным, когда не могут справиться молодые работники, а к заведомо неперспективным, которые рано или поздно все равно придется сдать в архив.

Вот и сейчас у Дмитрия Ивановича мелькнула мысль: а не смотрит ли на него и Спивак, тоже сравнительно молодой следователь прокуратуры, как на человека хотя и уважаемого в правоохранительных органах и пока действующего, но, как ни крути-верти, место которого в почетном строю пенсионеров.

Полковник Коваль ошибался, что по-человечески можно понять, зная, какие подножки в свое время подставляли ему завистники. Следователь Спивак не принадлежал к их числу. И хотя работать с Ковалем ему пришлось только на завершающей стадии расследования дела об отравлении Залищука, он уже тогда проникся к Дмитрию Ивановичу доверием и уважением.

С тех пор Спивак изменился лишь внешне — вернее, другой вид худощавому лицу придали большие очки в роговой оправе, которых следователь раньше не носил, несмотря на предписание врачей. Но глаза его так же дружелюбно, как и раньше, смотрели из-за стекол.

— То, что Барвинок сказала, еще не доказательно, — снова заговорил Коваль. — Вот протокол беседы с другой приятельницей Журавля — портнихой Христофоровой. — Полковник пододвинул к Спиваку бумаги. — Хотя полностью доверять ее словам тоже не следует. Но, скажем, ее толкование отношений Нины Барвинок с Журавлем кажется верным: сначала — служебные, а потом — дружба, дальше близость, надежда молодой женщины изменить свою жизнь. Дома у нее действительно ад, а в обществе Журавля, его знакомых Нина преображалась: исчезала подавленность, робость. Она много читает, у нее еще совсем детские представления о жизни. Несколько романтическая, какая-то послушно-терпеливая, она по настоянию отца очень рано вышла замуж за человека духовно бедного. Хорошей жизни не получилось, и когда Журавель воскресил в ней романтические надежды, слепо доверилась ему. Но... Но покойный все оттягивал женитьбу — свидетельствует портниха, крах взлелеянных надежд оказался для молодой женщины тяжелее всех прежних невзгод. Хотя, замечу, Барвинок утверждает, что сама не решалась бросить семью и уйти к Журавлю. Но в это не очень верится. Как известно, от любви до ненависти один шаг. Да еще у таких экзальтированно-романтических на-

тур, как эта совсем молодая женщина. У них нет полутонов, одни крайности. И о других судят по крайним меркам. Для них тот или иной человек: или — или. Или — великий, благородный, или — негодяй, подонок. Как считает Христофорова, Нина постепенно возненавидела Журавля. Продолжала ходить к нему, но, возможно, только для того, чтобы при случае отомстить. Портниха не исключает, что Барвинок, уходя, специально открыла газ, чтобы уснувший пьяный любовник погиб...

— Гм,— поднялся и, положив очки на стол, прошелся по кабинету высокий и худой, как жердь, Спивак.— И поэтому убрала свою чашку,— проговорил он.— Или, заранее готовясь к преступлению, вовсе не поставила третью на стол? И в этом ее промах? Будучи натурой нервной, пугливой, она поспешила удрать с места преступления. Допускаем это, Дмитрий Иванович?

— Если у Барвинок, предположим, любовь переросла в ненависть к Журавлю и женщина жаждала мести, она в то же время не могла не понимать, что ставит под угрозу жизнь и не виноватого перед ней человека — Павленко,— заметил Коваль.

— А может, у нее и с Павленко были свои счеты? А?.. Или, наоборот, они действовали вместе?

— Женщина — демон,— засмеялся Коваль.— У меня тоже было мелькнула такая мысль, но я ее потом отбросил. На Нину Барвинок не похоже. Не такой характер. Между прочим, Петр Яковлевич, кофе так и не пили.

— Могли передумать. Но в таком случае кто-то должен был снять чайник и выключить газ. Например, сам Журавель. А уж потом лечь спать.

— Экспертиза установила,— напомнил Коваль, кивнув на папку с документами,— что Журавель был в состоянии сильного опьянения.

— И второй человек, оставшийся в квартире, мог выключить. Верно?

— Второй человек оставался, очевидно, недолго. Иначе он почувствовал бы запах газа или сам угорел бы.

Спивак молчал. Коваль ждал, когда следователь выскажется более определенно.

— Очень важно установить, уснул Журавель, когда в квартире еще были гости или уже когда они ушли,— размышлял вслух следователь, поглядывая то на Ковалю, то на Струця.

— Думается, прилег на диван еще при гостях. Во-первых, он был настолько пьян, что вряд ли смог бы пойти закрыть за ними дверь. А сразу ли уснул,— Коваль развел руками,— трудно сказать.

— Замок в двери какой?

— Самозахлопывающийся. Гостей можно не провожать.

— Придется попросить у этой Барвинок отпечатки... И у Павленко, когда возвратится. Хотя отпечатки вряд ли прояснят картину.

— Дактилоскопию уже сделали, Петр Яковлевич,— сказал Коваль.— Виктор Кириллович,— обратился он к старшему лейтенанту,— где выводы?

Инспектор Струць раскрыл папку, вынул оттуда листки и положил их на стол перед следователем.

— На ручках плиты пальцы только самого хозяина — Журавля — и Нины Барвинок. Других нет,— прокомментировал Струць.

— Да она ведь, эта Барвинок, не отрицает, что зажигала газ,— сказал полковник.

Спивак рассматривал снимки.

— А где еще,— спросил он,— эти отпечатки?

— Машинистки и самого Журавля везде. А на входной двери есть и другие — целый букет. Сейчас уточняем, кому принадлежат.

— Возникает еще один вопрос,— словно раздумывая, произнес следователь.— Почему мы все-таки исходим из того, что первой ушла Барвинок? Только из ее показаний? Вы же сами считаете, Дмитрий Иванович, что они не доказательны. А если первым ушел Павленко? Тогда дело принимает совсем другой оборот.

— Установим. Пока же условно, в качестве рабочей гипотезы, допустим, что все было так, как говорит Барвинок: ушла первой, оставив друзей вдвоем.

— И не предупредила остающихся, что чайник на плите?

Коваль пожал плечами:

— Говорит, что предупреждала.

— Как женщина, хозяйка, она должна была знать, сколько времени нужно для кипячения чайника, и могла воды поменьше налить или уж подождать несколько минут. Кстати, кран, как мы уже знаем, был открыт на большой огонь. Значит, имеем основание предполагать, что в тот промежуток времени, когда эта Нина, поставив чайник на огонь, направилась к серванту за чашками и когда неожиданно решила уйти, что-то произошло, что-то вынудило ее покинуть компанию... И об этом она упорно умалчивает. Ведь так, Дмитрий Иванович? Я бы не отбрасывал априори также показания портнихи... этой, как ее...

— Христофоровой,— подсказал Струць.

— Да, Христофоровой,— продолжал следователь.— В них что-то есть, хоть какие-то факты. Да и соображения логичны. Вы же согласны, Дмитрий Иванович, что во имя любви иная женщина, не всякая, конечно, способна на все: и на подвиг, и на самое страшное преступление... А Нина Барвинок, как вы сами говорите, женщина романтическая и экзальтированная, со спрятанными в глубине характера немалыми страстями.

Коваль молча кивал, ибо ни подтверждать, ни опровергать слова следователя у него пока не было оснований. Чтобы не бросаться от одной версии к другой, предпочитал сейчас не иметь никакой.

— Еще один интересный момент, Петр Яковлевич,— сказал он, когда Спивак закончил свой монолог.— Вы обратили внимание на сапожок в передней, сапожные принадлежности в кухне, заготовки? Если бы не знал, что Журавель научный сотрудник, подумал бы — профессионал сапожник.

— Да, странные бывают хобби у людей,— задумчиво проговорил следователь, остановившись у окна, за которым кружила мелким снегом метель.

Полковник это движение отметил, он ведь и сам любил, размышляя,

поглядывать в окно, на не ограниченный стенами служебного кабинета мир, ему казалось, что так лучше думается.

— У людей умственного труда бывают,— бросил Струць, поглаживая короткий ус.

Коваль улыбнулся: старший лейтенант, наверное, не считает себя работником умственного труда.

— В институте об этих его занятиях знали?

— Догадывались.

— Хобби не хобби,— сказал, оторвавшись от окна, Спивак,— а иметь в виду это следует. Но пока у нас с вами, Дмитрий Иванович, только догадки, а не факты,— вздохнул он.— Судя по тому, что мы имеем, мы ничего не имеем,— скаламбурил он.— Никаких доказательств, что в этой трагической истории есть злой умысел, что совершено преступление, что это, наконец, печальный бытовой случай, происшедший по неосторожности и при стечении неблагоприятных обстоятельств. Однако надо еще проверить: не было ли в плите технической неисправности. Возможно, ручка болтается и прокручивается. Могло показаться, что газ перекрыли, а в действительности — нет. Плита-то ведь не новая. Так?

— Да, не новая, Петр Яковлевич, проверим ее. Но газ незачем было закрывать, если чайник еще не закипел. Ведь когда мы вскрыли квартиру, стрелка краника указывала на «открыто» и газ шел.

— А вам известно, что чайник не закипел?

— Наоборот, закипел, в этом все дело, Петр Яковлевич! Вы же сами видели, что в поддоне собралась вода, которая при активном бурлении в чайнике выплеснулась на конфорку, потушила огонь, а затем стекла на поддон... Товарищ Струць,— повернулся к старшему лейтенанту Коваль.— Свяжитесь с газовщиками, пусть повнимательнее осмотрят плиту. Я думаю,— продолжал Коваль, снова обращаясь к следователю,— ничего, что фактов у нас пока нет, здесь дело не в конкретных фактах. Я тоже не стараюсь искать то, чего нет. Я только хочу подчеркнуть, Петр Яковлевич, что случай здесь исключительный, редкий, происшествие, не укладывающееся в обычные рамки... Кроме правды фактов есть еще правда характеров... И именно она нам должна помочь.

— Плохой характер это не преступление — во всяком случае, не доказательство. Если мы будем преследовать за характер...

— Я всегда был против преследования без оснований. Но характер, хотя и не доказательство, тоже объективный факт, который может привести к доказательству. Надеюсь, вы меня понимаете, Петр Яковлевич?

— Только при наличии того или иного противоправного деяния обладателя характера, если мы такое установим и докажем.

— Конечно. При наличии преступного действия или бездействия.

— А этого нет в данном случае? Или есть, Дмитрий Иванович?

— Именно это мы с вами и пытаемся установить, Петр Яковлевич, и изучение характеров лиц, окружавших Журавля, очень важный момент.

— Но не решающий. Вот вы, Дмитрий Иванович, упираете на «характер». Характер, говорите, это тоже — «факт», из которого можно извлечь

доказательство. Вы сейчас, допустим, изучили характер Нины Барвинок. Вы установили, что характер у нее мягкий, спокойный, что она не способна на резкие, грубые и, конечно, противоправные действия. Активного сопротивления в сложных жизненных ситуациях эта женщина в силу своего характера, как вы считаете, оказать не может. На активные и даже преступные действия решится только в состоянии крайнего отчаяния. Значит, подозревать ее вроде бы нелогично... И в то же время вы себе противоречите, не оставляя все-таки мысль о возможности ее противоправных действий. На активные действия, говорите, не способна. А на пассивные? — спрошу я. Просто не снять с плиты чайник и уйти, зная, что может произойти беда, что при бурном кипении вода может залить огонь и в помещение пойдет газ.

Поставить на плиту чайник — это не преступное действие, а вот уйти, не погасив огонь, не сняв полный чайник, не предупредив об этом опьяневших людей, — это уже преступление, совершенное не действием, а бездействием, которое, с умыслом оно или без умысла, так же карается законом. Способен на такое преступное бездействие названный вами мягкий характер, а, Дмитрий Иванович?.. Молчите? Значит, дело не в характере. Разве только что Барвинок просто растяпа, но это тоже не снимает с нее вины... И вообще — изучение характеров это парафия скорее следствия, чем розыска.

— Ну, вы что-то мудрствуете, Петр Яковлевич, — обиделся Коваль. — Мне даже показалось, что хотите возратить нас от признанной и проверенной дедукции к совсем древним, еще дошерлокхолмовским, временам — к отвергнутой индукции как метода.

— Все-таки, Дмитрий Иванович, нужно искать факты, доказательства и танцевать только от них, — убеждал Спивак. — И Шерлок Холмс тут ни при чем!

— Конечно, поищем, — согласился Коваль, — но не будем забывать о характерах, о побудительных мотивах... Думаю, что розыск с этим справится. Иначе мы ничего не найдем, не докажем.

— Так не будем пока закрывать дело? — примирительно спросил следователь, остановившись перед Ковалем.

— Подождем, — ответил полковник. — Я все-таки хочу выяснить все обстоятельства того застолья и роль каждого его участника.

— Я тоже хочу этого, — заметил Спивак.

— И вообще мне очень не нравится этот ужин, — продолжал Коваль. — Но начинать приходится издали. Виктор Кириллович, вы со мной согласны?

Старший лейтенант Струць развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз надо — значит, выясним, и поднялся, поняв, что совещание окончено.

— А самоубийство вы полностью исключаете?

— Да, Петр Яковлевич. Я интересовался в институте: неприятностей, бед, которые могут довести человека до отчаяния, у Журавля не было. Наоборот, все в его служебной и творческой жизни складывалось как нельзя лучше... В личной — тоже. Виктор Кириллович просмотрел в поликлинике его карточку. Никаких тайных болезней или психических

отклонений не обнаружено. Проверка на венболезни также дала отрицательные результаты.

— Ладно. Решено. Коль сомневаемся в том, что гибель Журавля несчастный случай, продолжим нашу работу,— закончил совещание Спивак.— Ведите розыск дальше. Ваше время еще не вышло. И прежде всего установите, кто все-таки последним ушел от Журавля. И почему на столе было три тарелки, а кофе собирались пить только двое... Не было ли здесь определенного умысла у третьего: сделать свое черное дело... и побыстрее смыться?!

9

Утром в квартире Килины Христофоровой прожужжал телефонный звонок.

Хозяйка оторвалась от стола — склонившись над ним, она чертила силуэты платьев и блузочек, готовясь к будущему весеннему сезону и моделируя фасоны, которые должны были понравиться ее постоянным клиентам.

Сняв трубку аппарата, стоявшего на резной деревянной подставке, исполненной в виде большого цветка, она услышала густой мужской голос.

Голос она сразу узнала. Звонил ее одесский приятель Григорий, которого друзья называли «паном», возможно потому, что фамилия у него была как у печально известного когда-то на Украине польского магната Потоцкого, но скорее всего из-за того, что Григорий, несмотря на свою молодость и скромную должность в каком-то управлении, был человеком с деньгами, самоуверенным и брал на себя роль лидера в любых делах.

Постоянно жил в Одессе, но в Киеве бывал часто. А знакомство их состоялось, когда Килина Сергеевна еще жила в солнечном приморском городе вместе с мужем и дочерью. Григорий некоторое время обхаживал молодую портниху, даже добился взаимности, но забрать ее у мужа не решился — уж очень она была независима — и, видя, как легко управляется она со своим мужем, побоялся занять его место. Это Килину Сергеевну не обидело, и они остались добрыми друзьями. Позже дружба окрепла на деловой основе: Григорий был всемогущ. Он мог достать все — от красивой ткани и дефицитной фурнитуры до цемента и труб, которые Христофоровой хотя и не были нужны, зато свидетельствовали о всесии ее друга.

Позже Килина Сергеевна рассталась с мужем и, разменяв квартиру по междугородному обмену, получила большую комнату в центре Киева. Бывший муж перебрался в Кишинев, а дочь Вита осталась с бабушкой в частном домике неподалеку от знаменитого одесского Привоза.

Потоцкий негромко сказал в трубку:

— Мне нужно тебя видеть. Прогуляйся сейчас к почтамту.

К своему удивлению, Килина Сергеевна впервые услышала в его обычно уверенном голосе тревожные нотки.

Она всполошилась: что-нибудь случилось с дочерью? И буквально закричала в трубку:

— Что-то случилось? С Витой что-нибудь?

— С твоей Витой все ол-райт! Передавала привет.

У Килины Сергеевны отлегло от сердца.

— Так в чем же дело? — успокаиваясь, спросила женщина. — Зачем к почтамту? Заходи ко мне.

— Нет, к тебе не смогу. Нет времени.

— Только приехал и уже уезжаешь? Но время есть, ведь поезд вечером.

— Я машиной. Но не в этом дело, Келечка. Так нужно. Необходимо!

Христофорова еще не оправилась после трагедии с Журавлем и была подавлена, однако заставляла себя работать, так как это помогало отвлечься от мрачных дум. Да и время поджимало: пролетит месяц-другой, начнется весенний сезон — и самые состоятельные ее заказчицы потребуют новые платья модных фасонов.

— Пойми, я работаю. Очень занята.

— Нет. Встретимся у почтамта.

— Но зачем? — Килина Сергеевна уже начала сердиться. — Что за фокусы?! Да и погода мерзкая. Чего мне бежать на улицу?

— Погода нормальная, а «чего», объясню при встрече.

— Ладно, — наконец согласилась портниха, понимая, что «пан» не будет так настаивать без причины, но главное — потому, что была заинтригована необычным его поведением. Оправдывая эту уступку Григорию, она говорила себе, что одновременно узнает о дочери, которую две недели не видела и к которой Григорий должен был зайти.

Килина Сергеевна надела элегантное зимнее пальто, сшитое ею самой по своим же выкройкам, украсила голову кокетливой норковой шапкой, составлявшей вместе с таким же темным воротничком приятный ансамбль, и, с сожалением бросив взгляд на рисунки, разбросанные по столу, от которых ей так не хотелось сейчас отрываться, закрыла за собой дверь.

Григорий встретил ее по дороге, когда она еще не дошла до почтамта. Высокий, в длинной дубленке, он как-то сбоку внезапно надвинулся, притерся к ней, и Христофорова от неожиданности испуганно отпрянула в сторону.

— Ты что? — узнав его, возмутилась женщина.

Впрочем, возмущаться она начала еще на пороге своего дома, так как «пан Потоцкий» не только оторвал ее от работы, но и бессовестно обманул, сказав, что на дворе хорошая погода. Дул сильный и какой-то жесткий ветер, гнал поземку, и улицы лежали в тусклом, наводящем тоску свете.

Тоскливо ей было сегодня уже с того момента, как проснулась при сером рассвете и лежала в постели, пытаясь понять, почему ей не хочется подниматься, отчего у нее угнетенное настроение. Видимых причин не было, даже сон не могла вспомнить, и она заставила себя встать и взяться за работу, которая поможет отвлечься от непонятных тяжелых предчувствий.

Выйдя на улицу и уткнувшись носом в меховой воротничок, она не спеша направилась к Крещатику, хотя Григорий, наверное, нетерпеливо ждал ее. На бесцеремонность этого Потоцкого она раньше не обращала внимания, но с некоторых пор она стала ее раздражать. Однако она терпела

«пана», так как это был единственный человек, к которому после смерти бабушки могла обратиться Вита, как к соседу и старому другу семьи. А когда сама она задерживалась в Киеве, то Григорий регулярно сообщал все, что происходило у дочери.

Сейчас, идя по Крещатику, она чувствовала, что стоило оторваться от работы, как на нее снова навалилась утренняя тяжесть и не выходил из головы Антон Журавель. И тусклая серая улица под таким же серым низким небом как-то увязывалась в ее подсознании со смертью Антона Ивановича, с мыслями о неизбежности смерти, о никчемности житейской суеты, о прескверно устроенной жизни. Такое состояние у нее бывало очень редко, и она буквально ненавидела себя, когда наваливалась хандра.

— Ты что! — возмущенно повторила женщина, когда Григорий неожиданно и грубо вывел ее из состояния задумчивости. Она сердито посмотрела на этого обычно спокойного делового человека и вдруг заметила на его круглом, упитанном лице смятение. — Так что же случилось?

— Да ничего особенного, — ответил «пан», идя рядом с ней. — Если не считать, что мной интересуются в милиции.

Килина Сергеевна подняла брови:

— В какой милиции?

— Тебя это удивляет? — язвительно произнес Потоцкий. — Тебе важно в какой? Не в вашей, киевской, а, допустим, в одесской. Это меняет дело?

— А что? — вопросом на вопрос ответила женщина, отворачиваясь от пронзительного ветра, который задул ей в лицо. — Почему милиция?

— Вот и меня интересует: почему? И самое главное: почему в Одессе меня расспрашивали о твоём приятеле Журавле, который живет в Киеве?

Килине Сергеевне хотелось его поправить: не «живет», а «жил», но она сдержалась.

— А-а? — еще больше удивилась Христофорова. — Тебя? О Журавле?

— Да. Все вокруг да около ходили: где познакомился, сколько должен ему, за что, когда виделись, был ли в Киеве двенадцатого числа, и тому подобное. Я им сказал, что когда-то познакомился с ним в баре, но отношения не поддерживал. Ничего не должен, дел с ним не имел, а двенадцатого был в Одессе... Но вот вопрос: откуда им известно, что мы с Антоном знакомы? — уставился Потоцкий на портниху. — Они мне на такой вопрос не ответили бы. Да я их об этом и не спрашивал.

— Почему же меня спрашиваешь?

— Да потому, что цепочка ведет к тебе. Кроме тебя, об этом никто не знал. Ты меня с ним познакомила, и ты все нам устроила.

— Ну и что?

— А то, что милиция стала заходить к тебе на квартиру, как я уже выяснил. И ты к ним бегаешь. Вот меня и интересует, что за новая дружба у тебя! — зло закончил Григорий.

— Дурак, — произнесла женщина, лихорадочно соображая: «Откуда все это известно Потоцкому?» — и вдруг вспомнила, что вечером, после того как с ней беседовал Коваль, звонила Вите и попросила, если придут из милиции, пусть скажет, что в Одессе она не шьет. — Дурак ты, Григорий, — повторила она. — Так поэтому и зайти ко мне побоялся? —

грустно улыбнулась, словно смягчая свою грубость. — Журавель умер... И вообще, что за разговор на ветру, давай хоть за угол спрячемся.

— Да, Антон Иванович умер, — вздохнула портниха, когда зашла в подъезд радиокомитета вместе с оторопевшим Потоцким, покорно следовавшим за ней. — Несчастный случай, отравление газом. Но возможно и убийство. Любовничка у него была, Нинка, ты ее не знаешь, машинистка из института. Дурил ей голову, обнадеживал, а потом разочаровался. Вот и отомстила...

«Пан Потоцкий» не сразу собрался с мыслями.

— Значит, умер, — наконец произнес он голосом, из которого исчезли тревожные нотки. Видимо, его устраивал такой поворот событий. — Значит, в связи с этим вызывали, следствие ведут... — Григорий полной грудью вдохнул холодный воздух и неожиданно закашлялся. — Мне ведь ничего не сказали, — продолжал он через несколько секунд, — и я было подумал... В таком случае все ол-райт! И слава богу, — весело заключил он. — Баба с воза — кобыле легче!..

— Да как ты смеешь! — возмутилась женщина. — Как ты смеешь так! Циник! Он в сто раз благородней тебя был.

Она рванулась было от Потоцкого, но тот силой удержал ее.

— Подожди. Хочу все до конца выяснить. Ты-то, Келя, при чем в таком случае? Почему в милиции тобой заинтересовались? Ты, что ли, его отравила или как? Ведь и ты на него ставку делала.

— Меня он вполне устраивал холостяком.

— Чего же тебя тягают?

— Наверное, допрашивают всех, кто знал Антона.

— Но как они меня вычислили? Откуда взяли, что и я его знал? Я ему писем не писал, он мне тоже. В дом не ходил. Меня там никто не видел. Значит, все-таки ты информатор. От тебя все идет, милая! А я, пожалуй, единственный твой истинный друг, и ты это знаешь. Для меня ты, твоя семья вот уже сколько лет — и моя семья. Ведь другой пока не обзавелся... Я забочусь, когда ты просишь, о твоей Вите как о родной дочери, и ты можешь спокойно жить здесь, устраивать свои дела... А ты затеяла тут какую-то нечестную игру и из-за своей бабской болтливости можешь погубить многих людей...

Всю эту тираду Григорий произнес с болью в голосе.

Килина Сергеевна смотрела на его замерзшее лицо со снежинками на ресницах и думала о том, что за много лет знакомства она так и не узнала этого человека.

— Скажи прямо, Келечка, о модели для сапожек случайно не ляпнула?

— Потоцкий, ты совсем ошалел от страха.

— Ошалеешь с вами! Я не только за себя, я за людей переживаю. Так объясни все же, каким образом у них появился мой адрес и телефон? Как в милиции узнали, что я знаком с Журавлем? Сам же он не мог им этого сказать! В морге!

— Не знаю.

— А то, что мы с тобой, Келя, знакомы, они знают?

Портниха ничего не ответила, только пожала плечами.

Она не хотела ссориться с Потоцким, слишком многое у нее было с ним связано и в прошлом, и в настоящем, и она действительно ничего не сказала в милиции, когда ее расспрашивал полковник. Она не могла понять, откуда Коваль узнал о существовании «пана Потоцкого». Но тогда решила, что, кроме фамилии и клички «пан», полковнику ничего не известно и, конечно, он не догадывается о главном. Поэтому-то и спросил о Григории вскользь.

— Ну вот что, милая Келечка, забудь, что я существую, что есть такой «пан Потоцкий». Не интересуйся мной, не звони... И из записной книжки вымарай... А что касается Журавлевой моделечки, то этого не было и быть не могло... Один раз вообще не считается. Ты поняла?.. Сейчас тебя об этом не спрашивали, а завтра могут и поинтересоваться... Хорошо усекла? Иначе это тебе дорого обойдется! — уже с угрозой в голосе произнес Потоцкий и вдруг, не ожидая ответа, словно отлепился от Килины Сергеевны и исчез среди людей, спешивших по Крещатику.

Расстроенная, не успев расспросить Потоцкого о дочери и волнуясь не за себя, а за нее, портниха глубже спрятала в воротник подбородок и пошла назад, к своим недорисованным модным силуэтам...

Теперь ветер показался ей еще злее, и недобрые предчувствия снова охватили ее.

10

Килина Сергеевна была, как известно, женщиной решительной, но в этот субботний день, постучав в дверь Павленко, она не чувствовала себя уверенно. После странного разговора с Григорием на Крещатике она не могла сосредоточиться на силуэтах мод, работа не клеилась, и Христофорова поехала на Русановку. Стремясь утвердиться в своем подозрении, что в тот вечер у Антона была Нина Барвинок, портниха решила расспросить соседей: а вдруг кто-то подтвердит, что видел ее там.

Только что она вышла от Коляды, который после смерти жены стал совершенно нелюдимым, Килина Сергеевна все-таки сумела расположить его к себе, и старик сообщил ей нечто такое, что вывело ее из равновесия, так как ставило под сомнение подозрение, что в гибели Антона Журавля то ли по преступной халатности, то ли по злему умыслу виновата Барвинок, и направило ее мысли совсем в другое русло.

Коляда рассказал, что в тот вечер, в среду, когда случилось несчастье с Журавлем, ходил в аптеку за лекарством.

Килина Сергеевна, иногда посещавшая этот дом на Русановке, ни разу не видела старика на улице днем. Антон Иванович говорил, что Коляда выходит из дому в сумерках. С вывороченными после давнего ранения ступнями, в громадных протезных ботинках, он при помощи палки неуклюже передвигается мелкими шажками. Боясь, что мальчишки, постоянно бегающие по двору на коньках, гоняющие без оглядки шайбу, собьют его с ног, да и вообще не желая напоминать людям о своем увечье, вызывать жалость, он до сумерек старался не выходить на улицу.

В тот вечер, возвращаясь из аптеки, он столкнулся у парадного с Ниной Барвинок, которая спешила из их дома.

— Стоп,— обрадовалась Килина Сергеевна. Ее подозрение, что в тот вечер у Журавля была машинистка Нина, подтвердилось.— Когда это было? В каком часу?

— Где-то в восемь, может, в начале девятого.

— Вы что, Анатолий Трофимович, смотрели на часы? — удовлетворенно взглянула на старика Килина Сергеевна.

— Нет,— ответил тот.— Да и часы у меня только дома. На руке не ношу. Вот,— он показал на большой круглый будильник, стоявший на старинном «боженковском» буфете, купленном, видно, еще в дни молодости.— Просто лекарство было обещано на семь часов, но я повременил, пошел позже, чтобы, если не готово, не ждать в аптеке, мотаться взад-вперед мне тяжело. Двинулся где-то в половине восьмого, пока доплелся, пока получил, пока вернулся... Я эту дорожку в аптеку теперь часто меряю, знаю, сколько времени надо, чтобы дойти. Так и считайте, минут пятнадцать туда да столько же назад, хожу я медленно. Да минут пять в очереди постоял...

Килина Сергеевна повторила:

— Восемь, начало девятого... А вы не ошиблись, Анатолий Трофимович? Ведь темно уже было на улице. Может, обознались, показалось, что она.

— Нет, нет, та самая женщина Антона, слышал, машинистка. Я ее в лицо хорошо знаю. Потому что часто видел, как она к нему заходила или шла от него к лифту... У меня в двери глазок есть, как загремит лифт, я и гляжу... авось, думаю, ко мне кто пожаловал... Да все не ко мне... Некому, да и нечего... Только раз в месяц пенсию приносят, но я свой день знаю. И не темно было. У парадного лампочка горит. У Журавля тогда еще сосед, Вячеслав, сидел...

— Павленко? И он, значит, в это время был?! — огорченно произнесла портниха. Это разрушало ее предположение, которое несколько минут назад, казалось, подтверждалось, что преступление совершила машинистка.— Откуда вы это знаете, Анатолий Трофимович? — чуть ли не умоляюще, еще надеясь, что старик напутал, спросила она.

— А я отдыхаю на своей площадке. Спешить уже некуда,— грустно произнес он.— Разве что к моей... Стоял и слышал голос Вячеслава. Он что-то выкрикивал, было слышно и в коридоре, а голос его я хорошо знаю...

Коляда еще что-то говорил, что-то о том, какой особый голос у Павленко, поэтому его всегда отличишь, но Килина Сергеевна уже не слушала. Голова ее шла кругом. Если Нина ушла раньше, а в квартире Антона оставался Вячеслав Адамович, то она ошибается и даром грешит на Барвинок. Ох как ей не хотелось встречаться с машинисткой и расспрашивать ее. Уж лучше спросить самого Вячеслава Адамовича. И тогда она решилась поговорить с ним, благо живет рядом! Он-то и сможет ей все объяснить.

И, попрощавшись с больным стариком, Килина Сергеевна покрутилась несколько минут на лестничной площадке, раздумывая, не слишком ли глубоко влезает в чужие дела и не следует ли остановиться. Но желание

разобраться во всем и неистребимая неприязнь к машинистке, в свое время нарушившей их свободный союз с Антоном, победили.

Дверь ей открыл не Вячеслав Адамович, а его жена, которую Христофорова раз или два видела у Антона, когда та заходила забрать мужа домой, и знала о ней со слов Журавля, как о женщине скрытной и не очень любезной.

— Меня зовут Келя Сергеевна,— представилась портниха.— Здравствуйте! Вы меня знаете?

Варвара Алексеевна, подумав, кивнула. Она даже попыталась изобразить на лице доброжелательность, но мешал пустой взгляд ночной птицы, которая днем ничего не видит.

— Вы извините, я хотела побеседовать с вашим мужем,— произнесла портниха, к своему удивлению, не в обычной решительной манере, а тихо, совсем не напористо.

Наступила короткая пауза. Варвара Алексеевна продолжала стоять молча, словно приглядываясь и не до конца узнавая посетительницу.

— Его нет,— наконец проговорила она.

— Как это «нет»? — удивилась Килина Сергеевна, вспомнив о том, что суббота — выходной и люди обычно дома.

— Он в командировке.

— В командировке? — «Вот почему не пришел хоронить приятеля», — подумалось портнихе.— А когда вернется?

Варвара Алексеевна развела руками.

— Тогда я должна с вами побеседовать.— К Килине Сергеевне вдруг вернулась ее обычная решительность, и, наступая на хозяйку, она буквально втиснулась в квартиру. Мигом оглядевшись, не ожидая приглашения, уселась на диван.— Вопрос важный, и нам следует поговорить.

Варвара Алексеевна продолжала стоять рядом, словно ожидая, что непрощенная гостья все-таки уйдет.

— Это касается вашего мужа... и связано с гибелью Антона Ивановича.

Услышав это, Варвара Алексеевна тоже опустилась на краешек дивана. Глаза ее уже не были похожи на глаза слепой птицы, в них зажегся сердитый огонек.

— Что за чепуха!

— Один вопрос: когда ваш муж возвратился от Антона Ивановича в среду, вечером, в котором часу? Не говорил ли он, что там, в квартире, осталась Нина, машинистка из института?

— А вам какое до этого дело?! — вспыхнула Варвара Алексеевна. По выражению ее лица с черными, сдвинутыми, как крылья, бровями можно было предположить, что она сейчас поднимется и вышвырнет из квартиры наглуую посетительницу.

Но она этого не сделала и, сдержавшись, изобразила на своем лице удивление.

Помявшись, подыскивая слова, чтобы как-то помягче выразить свою мысль, и не найдя их, портниха ляпнула:

— Все дело в том, что Антон Иванович не случайно угорел. Там, по моему, произошло убийство.

Павленко вытаращила на портниху глаза и изменившимся вдруг, обес-
силенным голосом произнесла:

— Ну что вы такое говорите! Помилуйте! Это же чепуха! Как вам такое в голову пришло?!

— Понимаете, — уже свободней, горячо заговорила Килина Сергеевна, почувствовав, что заинтересовала Павленко. — Это не случайно Антон Иванович угорел... Я дала себе слово перед его памятью все выяснить...

— Вы кто? Следователь? Прокурор? — снова возмутилась Варвара Алексеевна и потрясла головой так, что ее распущенная коса упала на плечи. — Милиция здесь уже была. Установили, что несчастный случай. Так оно и было. Погубила человека водка... А вам что надо?! И кто вы ему — жена, мать или кто? Ну — любовница, так у него их... не вы были одна, и разве это дает право врываться к посторонним людям и плести всякую чепуху?! Оставьте меня, пожалуйста!.. Упился человек, да и уснул, не выключив газ. Сколько таких несчастных случаев бывает. В прошлом году парочка в гараже угорела в машине, задремали, забыв мотор заглушить, вот и уснули навеки...

Килина Сергеевна не обиделась ни на тон, ни на слова Павленко. Вкрадчиво, словно делясь своими соображениями с соучастницей, она тихо сказала:

— Я думаю все-таки, что это убийство. Я сначала грешила на машинистку, эту самую Нинку. Вы ее знаете. Ваш муж, может, и не рассказывал, но ведь сами видели, она сюда часто шмыгала. Одно время Антон обещал жениться, у нее дома дела плохи, а тут молодой ученый, талантливый, интересный. Работая в институте, она вынюхала, что у него большое будущее, и так далее. Вот и прилипла. А когда Антон Иванович данного обещания не выполнил, когда поняла, что надежды рухнули, решила отомстить. А тут и случай подвернулся. Да такой, что не подкопаешься: нарочно не выключила газ или просто забыла... Сама возилась у плиты или хозяин тоже... Никакая милиция не докажет... Мы с вами женщины — знаем, какой страшной бывает оскорбленная любовница...

Варвара Алексеевна как замороженная слушала портниху. Она уже не порывалась встать с дивана и выпроводить ее.

— Но вот какое дело, — продолжала делиться своими соображениями Христофорова, — я сейчас в растерянности. Беседовала с вашим соседом Анатолием Трофимовичем, стариком с искалеченными ногами. Так он утверждает, что видел, как Нинка ушла из вашего дома в восемь часов вечера тогда, в среду. И вроде бы был у Антона еще и ваш муж. Когда поднялся на лифте, слышал голос его. Это когда Нинка уже ушла. Вот и хотела я с ним повидаться, спросить, действительно ли это так? Как все там было? Когда он ушел от Журавля? Иначе что же получается? — развела руками портниха.

— А вы уверены, что мой Слава был в тот вечер у Антона? Выжившего из ума деда я в расчет не беру, — строго спросила Варвара Алексеевна. — Или вы там тоже гуляли?

— Я-то не была. А Вячеслав Адамович, выходит, был. Но не волнуйтесь, на вашего мужа подозрение не падает. Ваш и Антон Иванович очень дружили, хотя Журавель иногда и подсмеивался над ним, называя его

«размазней» или «гениальным тюфяком». Но, если серьезно, то он всегда говорил, что Вячеслав Адамович талантливый ученый, что у него большое будущее, если преодолеет свою застенчивость и станет более решительным. Они ведь вместе и работали, но это вы, наверное, лучше меня знаете. Мне только иногда казалось, что ваш Вячеслав немного завидует Антону Ивановичу: расторопности и широким жестам, общительному нраву, а главное тому, что все влюблены в него, особенно женщины. Одно время, раскрою вам секрет, Вячеслав Адамович тоже на Нинку глаз положил. Ей, в свою очередь, это нравилось. Эта женщина, забывая, что она лишь машинисточка, старалась форсить — королева общества! Ваш иногда глаз с нее не сводил, так что не заметить нельзя было. А однажды Антон Иванович, подкравшись, надвинул ему шляпу на глаза — мол, не заглядывайся на чужое... Но так или иначе, Антон Иванович очень дорожил вашим мужем, и тот, в свою очередь, старался быть достойным этой дружбы...

— Да, да, конечно, — тяжело вздохнула Варвара Алексеевна. — Ему без друга теперь не сладко будет. Бедняга на следующее утро уехал в командировку и до сих пор не знает о трагедии. Я просила не отзывать его и даже не сообщать о смерти Журавля. Очень будет жалеть, что не смог проводить друга в последний путь... Но что поделаешь. Мне еще предстоит сообщить ему это по возвращении... Ну да ладно... О чем сейчас говорить... Не о чем... А что касается какой-то машинистки, глупости все это. Я за своего Славу спокойна... Он однолюб.

Произносила Варвара Алексеевна фразы с какой-то неохотой, словно каждое слово выталкивала из себя. По тому, как она прятала сердитые огоньки в глазах, ерзала на краешке дивана, видно было, что беседа с непрощеной гостьей ей крайне неприятна и тяжела, и она сдерживает себя из последних сил.

Несколько секунд обе женщины молчали. Послышались чьи-то шаги на лестничной площадке, приглушенный звонок.

— Кто это? — спросила Христофорова.

— Наверное, сосед, офицер, — раздраженно махнула рукой Варвара Алексеевна. Затем раздался скрип двери и радостный женский вскрик. — Вечно по командировкам мотается, недавно возвратился, вот и радуется, когда дома, — буркнула она, имея в виду жену офицера.

Потом дверь еще раз скрипнула — и воцарилась тишина. Снова стало слышно, как внизу перед домом пробегают по бульвару автомобили, их ворчание вместе с морозным воздухом проникало через открытую форточку. Варвара Алексеевна поднялась и, продолжая молчать, заходила по комнате под вопросительным взглядом портнихи.

— Все ваши подозрения, уважаемая, — наконец с трудом заговорила она, — чепуха. Ваша фантазия. Я понимаю, вы тоже удручены гибелью Антона Ивановича, но зачем эта игра в преступление? Погиб человек по глупости своей, по пьянке, я же сказала, что именно это установила милиция. Так зачем ваши домыслы? И без вас тошно. У меня от ваших разговоров, знаете, разболелась голова. — Варвара Алексеевна обеими руками сжала голову. — Извините, но коли вам и вправду нечего делать, то вот вернется Вячеслав, я ему расскажу о вашем посещении. Если у него найдется желание и силы говорить с вами о смерти друга...

Христофорова во время этого монолога Варвары Алексеевны тоже поднялась с дивана, но стояла среди комнаты в нерешительности, словно еще надеялась получить ответ на свои вопросы.

— Вы бы видели, какой он лежал в гробу, наш бедный Антон! Как живой! Только что глаза закрыты... Я поклялась у гроба...

Варвара Алексеевна не дала ей договорить:

— Ну что вам еще, что вы хотите?! Хватит о смерти! О мертвецах! Я не могу больше...

Продолжая держаться за голову, выставив вперед локти, она двигалась на портниху.

— Но вот старик, ваш сосед, мне сказал, — отступая, но не сдаваясь, продолжала Килина Сергеевна, — что слышал с площадки, за дверью Журавля... Но я не собираюсь идти в милицию, впутываться в эту историю, так что не кричите. У меня своих проблем хватает...

— Что «старик»?! Опять «старик»? Этот полоумный калека?! Да что вы тут сплетни собираете?! — окончательно взорвалась Варвара Алексеевна. — Что вы меня пугаете?! Уходите! — закричала она срывающимся на визг голосом. — Вон! — В темных глазах Павленко появилась такая злость, что у Килины Сергеевны побежали мурашки по спине, и она попятилась к двери...

11

Старший лейтенант Струць был на задании, и Коваль, приехав в городское управление внутренних дел, куда он распорядился вызвать Варвару Алексеевну Павленко, намеревался занять его кабинет.

Женщина уже ждала, когда он появился в длинном коридоре старого здания управления.

Дмитрий Иванович обычно старался без нужды не вызывать свидетелей повестками и, не жалея ног, предпочитал приходить сам к необходимым ему людям.

Он быстро вникал в окружающую обстановку подследственных, так как сам прожил на свете немало лет и, хотя поднялся по служебной лестнице до довольно высокого звания в милиции, оставался таким же скромным трудягой, каким был бы, занимаясь любым другим делом. Только, возможно, более, чем кто другой, благодаря своей профессии, был умудрен знанием людей, их интересов, стремлений, мотивов их поступков, не только добрых, но и злых.

Коваль приходил в каждый дом как к себе, и люди быстро признавали его своим человеком. Немолодой полковник, который, несмотря на высокое звание, умел по-простецки потолковать о жизни, о работе, о ценах, посочувствовать по поводу бытовой неустроенности или личных переживаний, незаметно делал свое дело. Расположив к себе, он быстро добивался чего хотел.

Но иногда Дмитрий Иванович считал посещение милиции для опрашиваемых обязательным. Он, конечно, понимал, что беседа в этих строгих кабинетах не очень приятна вызванным, среди которых большинство было свидетелей — непричастных к преступлению людей. Но тем не менее,

как показывали факты, такая практика давала хорошие результаты. По поведению того или иного человека в стенах милиции Коваль почти безошибочно определял его состояние: искреннее волнение невинного или напряженные попытки преступника оставаться спокойным.

Дмитрий Иванович пропустил вперед себя Павленко. И когда та села на предложенный стул, пригладила привычным жестом и без того гладенькую прическу, он, подобравшись, протиснулся между столом и вторым стулом.

Варвара Алексеевна, положив повестку на стол, молча глядела на полковника невидящими глазами ночной птицы.

Коваль долго рылся в ящике, где должны были лежать отпечатанные типографским способом бланки допроса, и никак не находил их. Но он не спешил. Роясь в ящике, он то вздыхал, то поднимал голову и обводил взглядом кабинет, словно чуть ли не на стенах могли оказаться куда-то запропастившиеся бланки. На несколько секунд его взгляд задержался на аккуратной, отливающей синевой вороньего крыла прическе Варвары Алексеевны, терпеливо ожидавшей разговора, на ее ничего не выражавшем сейчас лице. Ему нравились такие строгие прически у женщин, хотя у Ружены были пышно взбитые волосы, а у Наташи на голове вообще какое-то птичье гнездо, что очень возмущало его.

Наконец затерявшиеся среди чистых листов бланки были найдены. Коваль ощупал свои карманы и, обнаружив в одном из них ручку, обратился со стандартной фразой к Павленко:

— Я допрашиваю вас в качестве свидетеля по поводу гибели вашего соседа Антона Ивановича Журавля. Ваши фамилия, имя, отчество?

— Павленко Варвара Алексеевна...

Записав анкетные данные женщины, Дмитрий Иванович на несколько секунд задумался.

Эти данные полковнику давно были известны, и спрашивал о них по формальной необходимости. Знал же он о Варваре Алексеевне, как и о других людях, проходящих по делу, значительно больше, чем могла вместить любая анкета.

Он представил себе сейчас маленькую чернявую девчушку, бегающую босиком в драном коротеньком платьице по пыльным закоулкам Подола, по своей горбатой «Мышеловке», пробраться на которую можно только между тесно сгрудившихся вдоль Нижнего Вала развалюх. С их задворок и начиналась подольская Мышеловка. Название это было неофициальное, так как Мышеловкой уже именовали небольшой район в другом конце города. Но подольяне кусочек холмистой земли, начинавшийся от Нижнего Вала, иначе не называли. И это было оправданно: приземистые глинобитные и деревянные, редко каменные, почерневшие от времени и непогоды домишки лепились как попало, без всякой планировки, налезали друг на друга, и порой невозможно было определить, к какой улочке или переулку относятся. К тому же это прибазарное скопище развалюх привлекало массу крыс и мышей, из-за них, вероятно, и окрестили так забытый богом уголок. У детворы послевоенной подольской Мышеловки, ставшей анахронизмом в большом прекрасном городе, единственным развлечением была игра в прятки на покрытых хилой растительностью холмистых

пустырях да козьих ярах, а зимой — снежки да самодельные санки. Здесь и выросла Варя.

Дмитрий Иванович не поленился и съездил на Подол, побродил среди развалюх Мышеловки. Некоторые уже стояли без окон и ждали экскаватора, отчего и они сами, и дворы их, чуть присыпанные снегом, представляли собой весьма неприглядное зрелище. Коваль впитывал атмосферу этого заброшенного уголка и убеждался, что он не все видел, не все знает в своем городе, в котором прожил большую часть жизни и излазил, как ему раньше казалось, самые глухие места...

Из коридора донесся какой-то шум, громкие голоса. Полковник сделал вид, что прислушивается к ним. В действительности же он прислушивался к другому, уже порядком надоевшему ему писклявому голосу, который время от времени, часто в совсем неподходящий момент, напоминал о себе.

Вот и сейчас в ушах пропищало: «Сколько получил бы? В деньгах? Много, очень много!.. Не подсчитать!»

Самое неприятное, в чем Коваль не хотел и себе признаться, было то, что, вживаясь в окружающую трагическое событие обстановку, представляя себя в роли то Журавля, то Павленко, то Василия Ферапонтовича, он однажды подумал, что тоже не прочь оказаться на месте изобретателя этого нового метода шлифовки.

Ну конечно, слава, сознание, что принес пользу государству. Но ведь он человек скромный, славы не ищет. Тогда что же? А тем временем писклявый голос нашептывал ответ: «Деньги!»

«Сколько получил бы? В деньгах? Много, очень много!.. Не подсчитать!»

Значит, все же деньги?! Но что бы он делал с такими деньгами, если бы вдруг получил? Коваль даже растерялся от этого странного для него вопроса. У него вроде все есть и лишние деньги ни к чему... Вот разве в связи с переездом на новую квартиру? Ружена купила бы не самую простенькую мебель, а резную, под старину, тысяч за восемь, от которой в Доме мебели она сразу отвернулась, чтобы не расстраиваться. И конечно, выбросили бы Наташину старую «Лиру», а приобрели бы ей что-нибудь красивое и современное... Ну а еще что? Куда еще можно потратить кучу денег? Машину? Дачу? Ему достаточно было и служебного транспорта, а с дачей возиться некогда. Хватило бы времени управиться с розысками и дознаниями! А когда уйдет на пенсию, найдется где отдохнуть и порыбачить... Да, безусловно, еще купил бы Ружене роскошную дубленку! Ведь зимнее пальто у нее совсем прохудилось, а надевать в городе старый кожух, в котором ездит в «поле», она, естественно, не хочет... Нет, не одну дубленку, а сразу две! Ей и Наташе...

Дальше дубленок мечты Дмитрия Ивановича не простирались. Он не понимал, зачем некоторые люди, рискуя свободой, так рвутся к большим деньгам. Золото! Брильянты! А зачем они! Для престижа? А кому их показывать? Обычно же их прячут подальше от людских глаз. Любоваться в одиночку их красотой? В одиночку неинтересно. Да и изделия из хорошего чешского стекла ничуть не хуже играют светом. А если и чуточку слабее, то стоит ли из-за этой небольшой разницы идти на преступление?!

Дмитрий Иванович, встряхнув головой, отгонял эти мысли, снова возвращался в реальную жизнь, становился самим собой, и восклицание Василия Ферапонтовича: «В деньгах? Много, очень много... Не подсчитать!» — в очередной раз теряло свою магическую силу и становилось обычными словами, соединенными в фразу, в которой, кроме ее прямого смысла, ничего не находил...

Шум и возгласы в коридоре утихли. «Что ж, возвратимся к нашим баранам», — вспомнилась полковнику любимая поговорка, и он взглянул на Варвару Алексеевну, которая невозмутимо ждала его дальнейших вопросов.

Вдруг Коваль без всякого перехода спросил Павленко:

— Знал ли ваш муж, какое вознаграждение получит Журавель?

Женщина чуть-чуть изменилась в лице, но ответила совершенно спокойно:

— Я ничего не знаю о делах Журавля и его изобретениях.

Коваль нарочно не сказал, в связи с чем Журавель должен был получить деньги. Значит, собеседница знает, о чем идет речь. И кроме того, он спрашивает о муже, знает ли тот, а женщина говорит о себе. Он довольно хмыкнул и этим удивил Павленко, так как та не поняла, чем угодила полковнику.

— Ваш муж говорил, над чем работает его коллега, а возможно, и он вместе с ним?

— Бывало, рассказывал. Но что именно они там в последнее время изобретали, не говорил, да я и не интересовалась. У меня на носу годовой отчет, своих хлопот хватает.

О вознаграждении, что больше всего интересовало Коваля, Варвара Алексеевна ничего не сказала.

— Варвара Алексеевна, а почему вы не сообщили мужу о гибели Антона Ивановича? Ведь он был не просто сосед, а друг, и довольно близкий.

— Да, мой Вячеслав очень дорожил этой дружбой. Но я не хотела срыгивать его работу, он так давно собирался в командировку! Да и успеет узнать, легче будет ему пережить...

— А не было ли у них каких-нибудь стычек, ссор на почве научной или личной?

— Никогда! И если я, признаюсь, ругала соседа, Слава слушать не хотел, всегда становился на его защиту. Вот у нас с мужем бывали стычки из-за Журавля. Из-за того, что Слава пропадал у него целыми вечерами. Я ему говорила, чтобы уж совсем переселялся к своему другу. А то получается: и есть у меня муж, и нет мужа, потому что я его никогда не вижу. Квартирант — и только!

Дмитрий Иванович снова возвратился в мыслях к жизни Варвары Алексеевны.

Шло время, и Варя превратилась в красивую девушку. После школы пыталась поступить в политехнический институт, но не прошла по конкурсу. Однако не сдалась. Снова взялась за книги, понимая, что институт — это прямая дорога из Мышеловки в общество, в более устроенную жизнь. Но и вторая попытка стать студенткой оказалась неудачной.

Тогда Варя с отличием окончила бухгалтерские курсы и начала работать в конторе банно-прачечного комбината. Позже, попав в комбинате под сокращение, устраивалась в разные учреждения, но, несмотря на трудолюбие, нигде не уживалась с начальством и часто меняла место работы. Наконец очутилась в тресте зеленых насаждений — как ей думалось, надолго.

— А двенадцатого декабря он тоже провел вечер у Журавля? — спросил Коваль.

У Варвары Алексеевны еле заметно участилось дыхание, но Коваль обратил внимание на это и понял, что задал тот вопрос, который женщина ждала и все время обдумывала на него ответ.

— В тот вечер? — у Павленко стянулись брови и сразу разошлись на свои места.

— В среду, — помогал ей вспомнить Коваль.

— Да, — ответила спокойно. — Где ему еще быть! Я же говорю, он там дневал и ночевал...

— А в котором часу ваш муж возвратился в свою квартиру?

Варвара Алексеевна чуть переменила положение на стуле, словно ей стало неудобно сидеть. Это был второй вопрос, который она ожидала и к которому готовилась.

— Вы знаете, товарищ полковник, — произнесла она со вздохом, стараясь смотреть Ковалю прямо в глаза, — я не помню. Не обратила внимания. Для меня не существенно было, когда он пришел, я привыкла, что приходит в разное время, иногда и поздно. Я набросилась на него за то, что пьян.

— Ну хотя бы примерно.

— Честное слово, я не помню. Может, часиков в шесть или семь.

— А не раньше?

— Возможно, и раньше, но не позже.

— Как же это получается, Варвара Алексеевна, ведь до шести они еще в институте?

— Вероятно, у них был свободный день.

— А у вас?

— Я только пришла с работы, мы в пять заканчиваем, а скоро и мой герой завалился.

— И уже успел?

— Успел. Дело нехитрое. Хотя на ногах вполне держался.

— А кто еще в тот вечер был у Журавля?

— Я не знаю всех, кто мог быть. Но любовница Антона Ивановича, машинистка, точно была.

— Нина Барвинок?

— Да, она там почти ежедневно торчала, будто своей семьи нет. Короче, женщина непорядочная, таких называют словами не совсем благозвучными.

— Барвинок ушла вместе с вашим мужем?

— Нет конечно. Мой Слава от таких держится подальше.

Варвара Алексеевна не сказала «откуда мне знать», что было бы естественно. И Коваль это отметил. Он продолжал одновременно с расспроса-

ми, как обычно это делал, анализировать жизнь сидящей пред ним свидетельницы.

Со своим будущим мужем Варвара Алексеевна познакомилась, когда сдавала первый раз экзамены в институт. Оба были огорчены неудачей Вари и, бросая вызов судьбе, решили пожениться.

Детей у них не было. Молодые супруги откладывали увеличение семейства на более обеспеченное будущее. Жили они сначала у матери Вари на той же Мышеловке, в боковушке, куда сумели втиснуть железную кровать.

Крутой нрав матери, зарабатывавшей гроши от перепродажи на Житнем рынке зелени, которую она перехватывала у приезжавших спозаранку жителей Куреневки, Приорки и крестьян, столкнулся с твердым характером дочери. Варя с детства ненавидела бедность и свою Мышеловку, на которой еще с довоенного времени из-за близости рынка селился мелкий торговый и ремесленный люд: подпольные кустари, спекулянты и другие личности неопределенных занятий. Варя категорически отказывалась торговать рядом с матерью на рынке, и на этой почве у них вечно вспыхивали скандалы.

Коваль мог понять девушку. Он хорошо знал прижимистых старух-перекупщиц, летом в невообразимого цвета платьях и грязных фартуках, а зимой в таких же замызганных ватниках, в рваных перчатках, закутанных до глаз в платки, — весь этот неугомонный цепкий базарный люд, с утра до ночи торговавший на рынке копеечным товаром: пучком какой-нибудь зелени, кучкой картошки или десятком старых грецких орехов.

В конце концов Вале пришлось уйти из дома. Вячеслав перешел в институтское общежитие, а она устроилась у соседки. И только вступление в кооператив, деньги на который им помогли собрать родители Вячеслава — деревенские учителя, обладающие скромным домашним хозяйством, наконец соединило их под одной крышей.

— А откуда вы знаете, что Барвинок там «точно была», как вы выразились?

— Я же говорю, всегда прибегала. Чуть ли не каждый день. И Слава сказал.

— А когда ушла машинистка?

Вот теперь Варвара Алексеевна пожала плечами: «Откуда мне знать?»

— Ушла она раньше или позже вашего мужа?

— Они еще там гуляли, эта Нинка и Журавель, уже без Славы.

— А это откуда знаете?

— Известное дело.

— Так когда же это все произошло? В котором часу?

— Что «произошло»? — испуганно переспросила женщина.

— Я спрашиваю, когда все-таки появился ваш муж? — уточнил Коваль.

— А-а... Где-то в семь, а может, около семи, я ведь уже сказала! Мы еще ужинали, смотрели телевизор.

Полковник отметил стремление Павленко уверить его, что муж пришел не позже семи часов.

— Что-нибудь интересное?

— Фильм какой-то.

— Название помните?

— Нет. Что-то военное. Я смотрела не очень внимательно, телевизор у нас маленький, черно-белый, да и отвлекалась все время. Славик был выпивши, его надо было как ребенка кормить.

— Понимаю, то к плите бросались, чтобы не пригорело, то от плиты к столу, — согласился Коваль. — Вы не на кухне кушаете?

— На кухне, — деревянным голосом произнесла женщина. — Но не всегда. Слава, когда выпьет, требует подавать ему к телевизору.

— А часы у вас на кухне есть? — полковник никак не мог вспомнить, есть в комнатах у Павленко часы или нет.

— Да, ходики...

— И взглянуть на них некогда было, — поддержал женщину Дмитрий Иванович. Он подумал при этом, что надо будет просмотреть телепрограмму за среду: действительно ли передавали военный фильм. — И хорошо покушал ваш супруг?

Барвару Алексеевну удивил этот странный и, как ей показалось, коварный вопрос.

— Он когда выпьет, ест без аппетита. Я же говорила.

— Но в этот раз хорошо поел?

— Как сказать.

— Что же вы ему приготовили?

Это был второй странный, по мнению Павленко, вопрос.

— Дайте вспомнить. Яичницу, кажется, съел. Чаю выпил.

— Кофе он на ночь не пьет?

— Кофе не держим. Бюджет не позволяет. Да и не очень любим.

«А у Журавля, если верить словам машинистки, просил кофе. Значит, дело не в «любим — не любим», а действительно только в бюджете», — подумал Коваль.

«Бюджет, бюджет...» — повторил мысленно слова Варвары Алексеевны. И снова ему послышался голос заведующего лабораторией: «В деньгах?.. Много, очень много!.. Не подсчитать!»

— А у Журавля он не закусывал? Там была колбаса, голландский сыр.

— Наверное.

— В общем, он был спокоен, уравновешен, когда пришел от соседа?

— Да, — оживилась женщина. — Именно так. Совершенно в норме, если не считать, что чуть-чуть навеселе. А чего ему волноваться? Все у него слава богу. Неприятностей никаких.

Коваль все еще продолжал размышлять о судьбе Варвары Алексеевны.

Успехи Вячеслава в учебе вселили в нее надежду на блестящее будущее. Разве не из их Мышеловки вышел знаменитый профессор-хирург и всемирно известный хоккеист?!

Но вскоре она поняла, что ошиблась, рассчитывая на талант и победы в науке своего мужа. Вячеслав оказался слишком вялым человеком, не умеющим использовать свои способности. Полный интересных идей и за-

мыслов, он не доводил дело до конца и терялся при первых же трудностях. Варвара Алексеевна пыталась встряхнуть его, научить пробиваться в жизни, подталкивала буквально в спину, но от ее упреков и энергичного нажима Павленко еще больше терялся, начинал хныкать и становился таким жалким, что Варвара Алексеевна готова была его возненавидеть...

— О чем у них, у вашего мужа и Журавля, был разговор в тот вечер, вы не знаете?

— Откуда мне знать? — пожала плечами Варвара Алексеевна.

— Значит, он вам ничего не рассказал, — резюмировал Коваль, будто соглашаясь с таким выводом.

— Да я и не интересовалась, — подхватила Павленко. — А что такое, о чем у них был разговор?

— Так в котором, говорите, часу возвратился ваш муж? — снова спросил полковник.

Варвара Алексеевна, видимо, начала терять терпение, но сдерживалась, понимая, где она находится и что с ней не просто беседуют, а допрашивают.

— Я уже какой раз говорю: не помню точно, кажется, в семь.

— Ну хорошо, хорошо, — согласился Коваль. — Семь так семь. Точно вы не знаете. Также вы не знаете, что автор нового изобретения Журавель мог получить крупную сумму денег. А Вячеслав Адамович это знал?

— Его спросите, когда приедет.

— Он вам ничего об этом не говорил?

— Нет.

— Итак, подытожим нашу беседу, — записывая последний ответ Павленко в протокол, сказал полковник. — Вы ничего не знаете о последнем вечере Журавля. Вы были дома, занимались своими делами. Муж пришел где-то в седьмом часу, или около того, навеселе, вы его заставили поесть. И что же дальше? — отложил Коваль ручку.

— Он лег спать, — с удивлением в голосе произнесла женщина. — Что же еще?

— Так, так, — сказал Коваль. Ему было ясно, что Варвара Алексеевна что-то пытается скрыть. Она отрицала все, что хоть немного приближало полковника к уточнению времени, когда разошлись гости Журавля. Что заставляет ее так поступать? Ведь пока ее супруга ни в чем не подозревают. Значит, она сама уже не удовлетворяется версией несчастного случая и решила, что милиция ищет виновных.

— Почему вы все время говорите неправду, Варвара Алексеевна? — в упор спросил Коваль. — Вы за кого-то боитесь? За мужа?

В круглых совиных глазах женщины зажегся тусклый огонь.

— Не провоцируйте меня, товарищ полковник. Я никого не защищаю, ни за кого не боюсь. Будем откровенны: если кто и виноват в том, что не был выключен газ, так это или он сам, или его любовница Нинка, она еще оставалась и ушла позже. У них, знаете, были свои, очень странные отношения.

— Вы же не следили за временем!

— Я слышала через дверь, как она вызвала лифт и поехала. Лифт у

нас так грохочет, что волей-неволей услышишь... Да в конце концов, если бы и Слава оставался, какое же это преступление?! Так что мне нечего скрывать, обманывать... и бояться нечего...

Коваль не мог не согласиться с логикой Варвары Алексеевны. Действительно, нетрезвый Павленко, если и уходил последним, скорее всего не обратил внимание на плиту, тем более что сидели они в комнате, а не на кухне.

Словно проверяя себя, Коваль вытащил из папки, которую принес в кабинет, фотографии квартиры Журавля, сделанные при ее вскрытии. Выбрал одну: из комнаты через дверной проем была снята плита и чайник на ней. Но это ничего не доказывает: чтобы обнаружить какое-нибудь несоответствие, заметить, что огонь не горит, а ручка повернута на газ, нужно было очень внимательно присмотреться.

— А мы никого в преступлении не обвиняем. Вы превратно меня понимаете, Варвара Алексеевна. Моя задача — выяснить обстоятельства смерти Антона Ивановича Журавля, установить истину. А обвинять будет прокурор, если обнаружится преступление...

Однако Коваль чувствовал, что Варвара Алексеевна чего-то боится и не искренна с ним. «И все-таки почему она не сообщила мужу о гибели друга?!» — думал он, пока женщина подписывала листы протокола.

«Почему? Чего она боится?»

Ответа Дмитрий Иванович не находил и, проставив время, размашисто расписался на пропуске.

12

Дмитрий Иванович считал, что хорошо знает свою Наташку, которую, не заметив, как это случилось, давно перестал называть «щучкой», и был уверен, что, живя отдельно от него, в квартире Ружены, она не забудет родительский дом.

Действительно, дочка частенько бежала из института не к себе, а к ним. Иногда усаживалась, как когда-то, в кабинете Дмитрия Ивановича, в его любимое старое кресло, и, благо отец всегда приходил домой поздно, готовилась к занятиям, пользуясь книгами по юриспруденции, которых у самой не было.

Не застав дочь у себя дома, Коваль обычно удовлетворялся сообщением Ружены, что та пообедала или поужинала и уехала.

Единственно, что удивляло Дмитрия Ивановича, так это то, что в последнее время Наталка могла исчезнуть буквально за несколько минут перед его приходом. Она очень переменилась. Казалось, девушка не скулала по отцу, даже избегала его, словно боялась, что он будет расспрашивать о том, о чем не была готова рассказать. Ружена — другое дело. Подружившись с ней, хотя сначала они никак не могли ужиться под одной крышей, Наташа откровенничала, как с подружкой. Дмитрий Иванович радовался, что между дорогими ему людьми установились добрые отношения, и в то же время как-то по-детски обижался, ревновал Наташу к Ружене, считая, что дочь все-таки должна быть ближе к родному отцу, а не к мачехе. В такие минуты ему вспоминалось, как дружно жили они

вдвоем, как хорошо проводили редкие свободные у Дмитрия Ивановича вечера в задушевных беседах на большой, уютной кухне их старого дома.

Да, все это было. И все это в прошлом, как в прошлом и маленькая остроносенькая девочка-щучка с бантами в косичках, завязывать которые он с трудом научился. Теперь она вполне самостоятельный человек. Два года тому назад оставила филологический факультет и решила стать юристом — как он думал, под влиянием его рассказов. Не жалеет ли теперь об этом решении? Вроде бы нет. Но разве признается, если думает иначе! Очевидно, так и должно быть, а он — старый брюзга и не понимает молодежь?..

В это воскресенье, как очень часто в выходной, Коваль был на работе. Позвонив под вечер домой, полковник узнал у Ружены, что Наташа снова, какой уже день, не показывалась.

В голосе Ружены ему слышались тревожные нотки. Он спросил, не случилось ли чего-нибудь непредвиденного. «По-моему, у нее все в порядке», — ответила жена, но это странное, неуверенное «по-моему» усилило его беспокойство. Тогда он сказал, что поедет не домой, а к Наташе. Ружена в ответ не только не возразила, а как будто обрадовалась, что также было необычно и еще больше встревожило его.

У Наташи сидели друзья.

Дмитрий Иванович одним взглядом охватил знакомую обстановку комнаты, где словно невидимо еще присутствовала Ружена. Скромные обои, казалось, еще хранили тепло ее дыхания, небольшой стол под окном и круглый журнальный столик посреди комнаты, два кресла, занимавшие много места, и удобный диван «Лира». Все это осталось от Ружены. Наташин был только туалетный столик с зеркалом, так как свой Ружена забрала. На журнальном столике сейчас стояли четыре кофейные чашечки и вазочка с карамелью. Девушку по имени Рита, худую, долговязую и большеглазую, с постоянным, будто застывшим выражением удивления в глазах, с распущенными золотистыми локонами, которые двумя ручьями низвергались на плечи, Коваль знал; коренастого же парня со включенными волосами, видно не очень дружившими с гребнем, сидевшего на диване рядом с Ритой, Дмитрий Иванович видел впервые.

У Коваля был свой ключ от квартиры, поэтому он неожиданно появился на пороге. Рита кивнула в ответ на «здравствуйте», а парень, увидев полковника милиции, медленно поднявшись, произнес с улыбкой «...уже» и назвался Афанасием Потушняком. Улыбка у парня была добродушной и приветливой. Коваль тоже, находясь в хорошем расположении духа, потому что снова увидел свою Наташку, принял шутку и ответил в тон «...пока еще» и добавил: «Дмитрий Иванович».

«Три и четыре. Трое людей и четыре чашечки», — вспомнив совет Спивака обратить внимание на то, что в квартире Журавля в трагический вечер на столе стояло три тарелочки и только две кофейные чашечки, Коваль мысленно улыбнулся. Он уже заметил в плохо освещенном углу комнаты, у окна, еще одного юношу. При появлении Коваля тот поднялся с кресла, доставая головой чуть ли не до потолка, и так застыл в почтительной позе.

Полковник его, так же как и Афанасия, видел впервые, но каким-то особым чутьем понял, что именно этот смуглый, как Ковалю вначале показалось — черный, юноша с пышной гривой волос и огромными, широко расставленными глазами будет интересовать его больше всего.

— Не пугай людей своей формой,— засмеялась Наташа, бросаясь навстречу отцу,— давай шинель, повешу. И знакомься,— добавила, кивнув в сторону смуглого юноши: — Хосе. С Кубы. Учится у нас, в университете.

Хосе, услышав свое имя, вежливо наклонил голову и, четко выговаривая каждый слог, произнес по-русски:

— Здравствуйте!

Коваль невольно дольше, чем следовало, задержал взгляд на приятном мужественном лице молодого кубинца, и тревожный голос Ружены зазвучал в ушах.

— Хосе — физик, учится вместе с Афанасием,— протараторила тем временем Наташа, забрав шинель у отца, и, наклонив голову, чтобы скрыть румянец, побежала с шинелью в коридор.

Коваль проводил Наташу взглядом. Смущение дочери, которая долго возилась в коридорчике и не спешила возвратиться в комнату, многое сказало Дмитрию Ивановичу.

Постепенно разговор завязался и даже приобрел некоторую остроту. Афанасий, терпеливо молчавший, пока Дмитрий Иванович интересовался учебой Риты, вдруг в ответ на вопрос Ковалья, что думают молодые физики о перспективах своей науки, почему-то взорвался. Он сказал, что предшественники, открывшие деление ядра, не сумели справиться с джинном из бутылки, и теперь молодое поколение не столько думает о том, как глубже внедриться в неведомое, сколько о том, как загнать джинна назад и спасти себя. Он предъявил целую кучу претензий «отцам», словно давно ждал удобного случая, и улыбка теперь, с которой он это сделал, показалась Ковалю обидно ядовитой.

Почувствовав, что атмосфера накаляется, Наташа постаралась шуткой разрядить ее.

— Стоп, стоп, Афанас, ответь прежде всего на такой вопрос: «Почему ты вздрогнул, когда вошел папа?» — спросила девушка, ставя перед отцом чашечку кофе.— Ведь так? Форма испугала?

Все засмеялись. Афанасий тоже растерянно улыбнулся, не понимая, к чему клонит хозяйка. А Коваль решил, что дочь старается отвлечь его внимание от молча сидевшего в углу Хосе.

— Наверное, наверное,— согласился юноша,— ведь в каждом человеке живет неосознанное чувство вины.

— Даже если ни в чем не виноват?

— Чувство это необъяснимое, может появиться даже у невинного. Оно врожденное.

— Откуда же это чувство, от первого греха Адама, что ли?

— И Евы,— засмеялась Рита.

— Ты еретик, Афанасий,— воскликнула Наташа.— Откуда может быть чувство вины, если человек твердо знает, что он не виновен!.. Ты мелешь чепуху.

— Вот-вот,— сказал Афанасий.— Вот-вот,— повторил он,— если «твердо знает», а если не «твердо»? Вижу, ты хоть и третьекурсница юрфака, но уже мыслишь, так сказать, в строго очерченных рамках закона, не забывая о презумпции невиновности и не допуская никаких вариаций...

— Ты говоришь глупости, Афанасий. Это — софистика. Лучше ответь, налить еще кофе?

Юноша отмахнулся от Наташи и, слегка повернув голову в сторону Ковалья, произнес:

— А что об этом скажет Дмитрий Иванович? Если разрешено спросить.

Коваль не спеша сделал глоток из чашечки и поставил ее на стол.

— Знаете, Афанасий, я с вами согласен.

Наташа удивленно взглянула на отца. Парень, не ожидая такого ответа, несколько растерялся.

— Да, да,— подтвердил Коваль.— Встречаются люди с ущемленной психикой. Они чувствуют себя виноватыми не в чем-то конкретном, а, так сказать, вообще.— Дмитрию Ивановичу вспомнился художник Сосновский, взявший на себя чужое преступление.— Такие люди,— продолжал он,— постоянно смущены, зажаты и в определенных ситуациях готовы без сопротивления признаться в том, чего в действительности не сделали. Говорят то, что им подсказывают. Возможно, это тянется еще с дореволюционных времен как психологический атавизм. В течение ряда веков в старой России царствовало беззаконие. Только в ней могла появиться такая страшная пословица: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Перед богом и царем все были рабами, все виновными. И это чувство передавалось из поколения в поколение...

— Оттуда, вы считаете, и нынешний страх перед беззаконием закона? — с иронией спросил юноша.

— Ну, в общем-то, страх в социальном масштабе мы преодолели еще в семнадцатом году. Позже, правда, были серьезные ошибки — например, трагедия так называемого культа личности. И вот у некоторых людей, особенно у молодых, как вы, еще ничего не испытавших, появляется недоверие к закону, к его исполнителям... Такое представление хотя и тянется, так сказать, издалека, но со временем пройдет. Процесс, конечно, длительный и во многом зависит от воспитания.

— Вряд ли пройдет,— буркнул Афанасий.— Не исчезнет. Неуверенность и страх сидят прежде всего в вас, в старших, сидят очень глубоко, не выковырнешь. Страх накапливался у вас годами, как стронций в костях, — дальше бычился парень.

Коваль чувствовал, что во многом Афанасий прав. Ведь это разные вещи: смелость в дни революции, ярость против настоящего врага и страх в годы террора, обращенного внутрь революции, против всех и каждого. Страх этот потому и возник, что ясный ум людей не мог постичь коварства «отца народов», который самые гнусные поступки умело маскировал светлыми одеждами идеалов.

— У нас этого меньше,— продолжал Афанасий,— и это, тут я согласен, наследственное. Но есть еще и другой страх. Не по вине когдатош-

него царя. Вот я — физик. Что мои отцы-физики оставляют мне в наследство? Атомную, ядерную, нейтронную, и так далее, и тому подобное, в космосе — лазер, на земле — чумные бактерии. Веселенькая перспектива... Вы все это создали и уйдете, а нам разбираться, жить с этим...

Коваль понимал Афанасия и мысленно во многом соглашался с ним. Но было нечто мешающее ему сейчас откровенно заявить об этом. Ему не хотелось при Наташе признавать крушение своих идеалов. Он не был готов к этому и потому даже обозлился на хлопца.

— Вам легко говорить, — вздохнул он, — а побывали бы вы в шкуре отцов в те суровые времена!

Дмитрия Ивановича очень задевала та легкость, с которой молодые люди критикуют отцов, и огорчало сознание того, что судьбу не переиграешь и время назад не повернешь.

— И все же надо не разбираться, а искать выход, — продолжил разговор Коваль. — Вы же, надеюсь, не ретроград, сами будущий ученый и прекрасно понимаете, что открытие деления ядра — величайшее достижение человеческого ума. Но использовать это открытие можно и во вред людям. Фашизм, как явление глобального преступления, тоже пытался использовать достижения науки в варварских целях. Сегодня бомба снова стала материальным выражением возрождающегося на Западе фашизма. Эта чума двадцатого века начала распространяться уже с того момента, когда американский президент приказал применить бомбу против Хиросимы и Нагасаки. Теперь вы — молодые люди — будущие ученые, должны еще глубже проникнуть в тайны материи и найти способы исключить возможность применения в военных целях своих открытий. Старшее поколение, которое вы обвиняете в теперешних трудностях, спасло мир от коричневой чумы в сороковых годах. Сейчас ваша задача — не дать разгореться войне. Это стремление молодежи всего мира, не только нашей.

— А вы что, самоустраняетесь?

— Нет, мы тоже не складываем оружие... А что думает об этом наш молодой друг? — обратился Коваль к кубинцу, который, пытаясь разобраться, что говорят, не вмешивался в спор и послушно улыбался, когда улыбались другие. У Дмитрия Ивановича, о чем бы сейчас ни говорили, гвоздем сидел в голове этот новый приятель Наташи.

— Хосе еще не настолько овладел языком, чтобы рассуждать на отвлеченные темы, — бросилась на его защиту Наташа.

«Как не овладел?! — хотел спросить Коваль. — Как же учится, не зная языка?» — но не успел сказать это, как гость заговорил:

— Я все понял, Наташенька, твой папá хочет знать мое мнение, — выразительно произнес он.

Коваль заметил, что имя его дочери молодой кубинец произносит как-то по-особому — мягко и нежно, но это вовсе не порадовало его.

— Я думаю, — продолжал Хосе, — война это плохо, очень плохо. У меня дома тоже так думают папá и мамá.

— У Хосе отец — коммунист, — поспешила сообщить Наташа.

— Это хорошо, что коммунист. — Коваль понимал: дочь старается, чтобы Хосе понравился ему. «Впрочем, чего беспокоиться, если Наташа

подружится с парнем из другой страны? Во-первых, человек он, может, действительно хороший, во всяком случае сразу заметно, что воспитанный, интеллигентный, — успокаивал себя Дмитрий Иванович. — И потом, знакомство, даже дружба, — это еще не любовь!» — Коваль, преодолевая отцовский эгоизм, тоже старался проникнуться симпатией к скромному парню. — Вот в борьбе против войны исчезнет и чувство неуверенности в будущем, у кого оно появилось... — продолжал он. — Мы в вас верим, верим в молодежь. Мне приходится сталкиваться с разными людьми, частенько, как вы понимаете, не с лучшими. Однако свое мнение я не меняю. При ближайшем знакомстве и среди них оказываются люди только случайно оступившиеся. Главным образом из-за того, что их приучили потреблять, а не создавать. И не столько карать их нужно, сколько помочь взглянуть на себя со стороны и стать на ноги. В общей массе молодежь у нас хорошая. Только достоинства ее не очень заметны поверхностному взгляду и проявляются обычно в экстремальных ситуациях...

— Ну, Дик, ты отличный пропагандист! — воскликнула Наташа. — «Дик» — это Дмитрий Иванович Коваль, сокращенно, — объяснила она Хосе и Афанасию.

Дмитрий Иванович с теплотой подумал, что дочь давным-давно не называла его так. Неужели в их отношения возвращается прежняя душевность?

— По-моему, тоже все правильно, — подала голос Рита. — И ты, Афанасий, не возникай, смолкни.

— Хорошо бы, чтобы наш молодой друг не просто замолчал, а понял...

— Может, и так... — наконец согласился парень, и дискуссия свернулась.

Наташа подошла к форточке и чуть приоткрыла ее. В комнату ворвался холодный воздух.

Дмитрий Иванович с удовольствием вдохнул его и отвел взгляд от Хосе, которого до сих пор не выпускал из поля зрения. Его взгляд, блуждая по квартире, внезапно упал на коричневые сапожки, стоявшие в глубине коридора. «Наташины?.. Чьи же еще!» — подумал он, видя, что Рита свои не сняла и словно демонстрирует их, забросив ногу на ногу.

Коваль обрадовался: таки нашла! Не будет больше мерзнуть в старой, чиненой и перечиненной обуви.

Это была целая проблема: зимние сапоги для Наташи. Хорошие хозяева, как известно, готовят сани летом, а телегу зимой. У Ковалей так не получилось. Летом Ружена все время была «в поле», а Наташа тоже находилась в глуши, в стройотряде, и поздней осенью, когда возвратилась на занятия, купить сапоги в городе стало уже невозможно.

Конечно, грубые, тупоносые, на тяжелой платформе, производства местных фабрик, попадались в магазинах. Но ведь девушки и даром не соглашались их надеть.

Сколько раз обсуждался дома вопрос, где купить импортные сапожки! Полковник не умел заводить нужные знакомства. Домашние в этом его не упрекали, но он сам казнился тем, что чем ближе к зиме, тем меньше у Наташи надежды купить то, что ей хочется, хотя деньги на покупку она постоянно носила с собой и ныряла во все попадавшиеся на глаза обувные

магазины. Уже и зима наступила, приближался Новый год, а сапог у девушки так и не было.

Но эти сапоги в коридоре после минутного чувства облегчения вызвали вдруг у Дмитрия Ивановича какое-то непонятное ощущение тревоги. Что-то очень знакомое почудилось ему в них. Что именно, сразу не мог сообразить.

— Наташа, — сказал полковник, — тебя, значит, с обновкой! — кивнул на сапоги. — Что же молчишь?

— Да, па! А разве Ружена тебе не сказала?.. Уже две недели, как ношу...

Коваль покачал головой.

— Говорила, наверное! Только ты, как обычно о наших делах, одним ухом слушал, а...

Это было несправедливо. Разве мало тревожило его, что дочь без зимней обуви! Но, видно, такова участь отцов.

С некоторых пор Дмитрий Иванович стал замечать, что он не то чтобы заискивает перед повзрослевшей дочерью, а как-то очень предупредительно старается угодить ей и переживает, когда та не считается с его мнением, возражает или, еще хуже, просто не замечает его. Не имея сил с собой справиться, Коваль иногда говорил с ней более резко, категорично, чем следовало и чем ему самому хотелось...

Во время дискуссии, оттого что Наташа оказалась на его стороне, он буквально расцвел, а вот сейчас, когда несправедливо упрекнула в невнимании, обида больно кольнула сердце, и он сухо произнес:

— Ну, покажи обнову. Похвались.

Дмитрий Иванович вдруг подумал: «А почему Ружена не предложила поехать к Наташе вместе?!» Впрочем, вспомнил он, у нее много дел по хозяйству. Как у каждой работающей женщины, на домашние дела у нее остаются только суббота или воскресенье. А недавно им предложили квартиру в новом жилом массиве Оболонь. И хотя еще нет ордера, но все равно следует готовиться к переезду...

Наташа направилась в коридор.

— Я их сейчас протру.

— Они что у тебя, грязные? — удивился Коваль, зная, какая дочь чистюля.

— Да нет. Помыла — пришла. Но все-таки брать в руки...

Дмитрий Иванович с любопытством рассматривал сапожки. Из коричневой мягкой кожи, на высокой каучуковой платформе, они производили приятное впечатление. Почему же смущает его их необычная форма? И тут Коваль вспомнил: такую же оригинальную модель сапожка, только сделанного еще более изящно, он уже видел в домашней мастерской погибшего ученого. Как сапоги от него могли попасть к Наташе?! Неужели и она стала заказчицей Журавля?!

Пытливо взглянув на дочь, стоявшую перед ним с довольным, даже чуть торжественным выражением лица, словно сапожки были ее великой победой, полковник ничего не сказал и снова принялся рассматривать обувь.

Да, конечно, Журавель тут ни при чем! Как могло такое в голову

прийти! Сапожки имели продолговатую фабричную наклейку, прикрепленную с внутренней стороны голенища.

— «Саламандра», — прочитал он вслух.

«Не кубинец ли ей достал?! Этого еще не хватало!»

— Это немецкие, западные, — подсказала Наташа.

— В каком магазине купила?

— Достанешь такие в магазине! Держи карман шире! Оксана с филологического уступила. Они ей тесноваты. В общем, мне здорово повезло!

Коваль помнил крупную голубоглазую девушку с большой ржаной косой. Раньше она частенько забегала к ним.

— А она где взяла?

Наташа пожала плечами: какое, мол, это имеет значение.

Дмитрий Иванович решил не расспрашивать дочь в присутствии посторонних и подождать, пока гости уйдут.

А гости, и больше всех, наверное, Наташа, надеялись, что Дмитрий Иванович сам вот-вот оставит их. Поэтому новые дискуссии не вспыхивали: ждали, кто кого пересидит.

Наташа в душе начинала сердиться на отца: чего это засиделся, ведь у него всегда дел по горло — и днем, и ночью. Может быть, ему не понравился Хосе и он выпроваживает его из дома? Она то возилась на кухне, то вбегала с чайником и снова предлагала кофе. Пробовала начать разговор, но его не поддержали, и она не знала, что делать дальше: компания явно распадалась.

Вдруг молодые люди, словно по команде, подхватились и стали прощаться.

Наташа попыталась задержать их, бросала умоляющие взгляды на отца — неужели не понимает, что его присутствие сковывает молодежь? Но Дмитрий Иванович продолжал сидеть с невозмутимым видом. Он как взял, так и не выпускал обувь из рук, рассматривая штамп на подошвах и наклейки на бортиках голенищ.

Проводив гостей, Наташа вернулась в комнату злая и принялась демонстративно греметь чашками, собираясь отнести их на кухню. На отца не смотрела.

Коваль спокойно повторил:

— А Оксана где взяла их?

Наташа не поняла его — она была в плену горьких мыслей об испорченном вечере.

— Оксана не знакома с неким Журавлем, Антоном Ивановичем, молодым ученым? — продолжал расспрашивать Коваль.

— Не знаю.

— А ты?

Девушка не сразу ответила, соображая, чем вызван этот вопрос и как он связан с сапожками.

— Первый раз слышу. А что такое? Зачем тебе? — буркнула она.

С еле скрываемым волнением Дмитрий Иванович ждал, что ответит дочь. Действительно, что ему известно сейчас о ее жизни, кроме того, что она учится? Не рано ли получила полную самостоятельность? Но, черт возьми, в двадцать лет человек не только не нуждается, но и не терпит

родительской опеки, если речь идет о настоящем человеке! А как живут вдалеке от родных приезжие студенты вузов, да и техникумов, юноши и девушки пятнадцати-шестнадцати лет, впервые попавшие в большой город?.. Он сам с четырнадцати в людях... Слишком уж затягивается теперь детство у молодых людей, многих из них до седой бороды опекают родители.

Но так же, как один из супругов обычно последним узнает об измене другого, так и родителям частенько позже всех становится известно о тайных увлечениях и необдуманных поступках ускользающих из-под их моральной опеки детей. Как ни странно, просчеты воспитания обнаруживаются и в так называемых благополучных семьях, и у педагогов, успешно формирующих хорошие душевные качества у подопечных и не замечающих недостатков у собственных детей. Коваль не раз задумывался над этим парадоксом, особенно после смерти Наташиной матери, когда воспитание девочки полностью легло на его плечи. Поразмыслив, он пришел к выводу, что люди у себя дома привыкли не замечать того, что есть, а видят то, что хотелось бы видеть. Ведь дети являются продолжением их самих, вот и попробуй разглядеть то плохое в своих детях, что свойственно и тебе!..

Он очень боялся в свое время за Наташу, которой из-за вечной служебной занятости не мог уделять достаточно внимания. Но возможно, именно то, что она понимала, как занят отец, а также совместный труд в доме, решение всех семейных проблем сообща воспитывало лучше всяких назиданий, помогло ей в переломном возрасте избежать соблазнов, влияющих на неокрепший характер и юный ум.

Все это промелькнуло в голове Ковалья.

— Первый раз слышу о каком-то Журавле,— повторила девушка.— А что такое? Чем тебе не понравились они? — Наташа сердито кивнула на сапожки, которые Коваль все еще вертел в руках.

Полковник облегченно вздохнул.

— А где твои старые?

— В кладовке.

— Могла бы обойтись ими еще некоторое время? А эти я возьму? С возвратом,— пытаюсь шутить, улыбнулся Дмитрий Иванович.

— Зачем?! — удивилась Наташа.— Ворованные они, что ли, или убийца их продал? — девушка уже начала возмущаться. На языке у нее крутилось: сам не смог купить, а когда я достала... Но вслух это не произнесла.

— Наташа! — остановил ее отец.— Впрочем, пока обойдусь,— решил он.— Надевай их — и проведем Оксану. Так будет лучше. Она, как и раньше, в общежитии живет?

— Да, в общежитии,— раздраженно ответила девушка.— Но зачем?

— Мне нужно кое о чем ее расспросить.

— А без меня это невозможно?

— Лучше, если с тобой,— настаивал Коваль. Голос Дмитрия Ивановича был строг, и дочь не посмела больше возражать.

Коваль понимал настроение Наташи, но сейчас ее настроение уже не было для него столь важно, как десять — пятнадцать минут назад, кое-

какие догадки, родившиеся внезапно, стали для него существеннее, и он должен был не откладывая убедиться в их справедливости.

Надо было выяснить у Оксаны, в каком магазине, где, у кого она купила эти сапожки, а заодно и побеседовать с дочерью, но уже не о сапогах, а кое о чем ином, не менее важном...

Выйдя из дома, Коваль и Наташа сели в троллейбус и вскоре очутились на Владимирской улице. Сойдя с троллейбуса возле городского управления внутренних дел, Дмитрий Иванович мог попросить дежурную машину, но отказался от этой мысли, решив пройти пешком до университета, до первой остановки автобуса, идущего на окраину города к общежитию студентов.

Тем более что и говорить на такую щекотливую тему, как девичьи чувства, не удобно в машине при водителе.

После холодных, сырых, с пронизывающим ветром дней установилась прекрасная, словно по заказу, редкая в последние годы в Киеве сухая зима с легким морозцем, который, казалось, не холодил, а грел. Дышалось легко, и ноги сами несли по слегка заснеженным тротуарам. Владимирская улица четко обозначалась пунктиром фонарей, ярко сияющих в прозрачном воздухе, от Софийского собора вниз к университету.

Но ни Дмитрий Иванович, ни Наташа не обращали внимания на красоту вечернего города.

— Кое-что я могу тебе рассказать,— заговорил Коваль, обращаясь к надувшейся дочери.— Я сейчас занимаюсь сложным и, боюсь, бесперспективным делом. Очень трудно в этой истории установить: погиб человек в результате несчастного случая или было совершено преступление. В равной степени возможны обе версии, а доказательств нет ни для одной из них. То есть, по сути, никаких версий. Тебе, как будущему юристу, кем бы ты ни стала — следователем, судьей или адвокатом,— когда-нибудь придется столкнуться с преступным бездействием. Очень трудно доказать, что человек мог протянуть руку другому и спасти от гибели, но не протянул. Мог или не мог? Не мог или не захотел? Вот в чем вопрос. Здесь доказательные факты редко бывают, ибо установить их почти невозможно. В таких случаях, когда это бездействие преступное, правонарушение совершается без видимых внешних проявлений, именно прячется в глубине души человека, куда постороннему трудно заглянуть... Ты, наверное, читала о трагедии под Сочи во время шторма: на рассвете море накрыло и унесло с собой с кемпинга десятки машин со спящими в них людьми. В «Литературной газете» есть чудесные строки о героическом мальчишке из Армении, который два часа боролся с волнами, держа на своей груди маленького братика. И есть строки, читая которые начинаешь терять веру в человека. Находившаяся на берегу некая личность — мне трудно называть его человеком — не захотела протянуть руку этому мальчишке, державшему ребенка, и дала им погибнуть в волнах. А стоило только протянуть руку, помочь! Но тот, что был на суше, и не подумал это сделать — он был занят спасением своей машины!

Вот доказать: мог или не мог, хотел или не хотел — очень сложно... А дело, которым я сейчас занимаюсь, еще сложнее. Приходится прибегать

к исследованию душевного состояния всех лиц, окружавших погибшего в его последний вечер...

Коваль умолк.

Наташа, казалось, не реагировала на слова отца. Как и в троллейбусе, дулась на него, не понимая, зачем он тащит ее в общежитие.

Раньше Дмитрия Ивановича совсем не беспокоили Наташины друзья, даже настойчивое ухаживание молодого следователя Субботы. «Может, потому, — думалось сейчас Ковалю, — что Наташа жила со мной под одной крышей и была совсем молоденькой... Впрочем, пару лет тому назад ее уже нельзя было назвать ребенком...»

Наташа догадывалась о беспокойстве отца и мысленно возмущалась. Но пока она молчала, готовая взорваться, если тот затронет щекотливую тему.

Когда они вышли к Золотоворотскому скверу, Дмитрий Иванович решил кое-что объяснить Наташе.

— Понимаешь, у погибшего было хобби: моделировать и шить красивую обувь. Он был искусник, настоящий художник, и твои сапожки скроены словно по его модели, только почему на них фабричная марка немецкой «Salamander»? Это надо выяснить.

— И что? Оксана поможет твоему розыску? — наконец открыла рот Наташа.

— Капля по капле долбит камень не силой воды, а частым падением, — ответил полковник древней латинской пословицей. — Деталь к детали, и картина вырисовывается...

Он подумал: если окажется, что Оксана, у которой купила сапоги Наташа, каким-то образом была связана с погибшим Журавлем, то ему придется сообщить об этом Спиваку и передать розыск другому оперативному сотруднику.

— Но на них же — фабричная марка, — развела руками девушка. — При чем тут какой-то сапожник?

— Это надо уточнить.

Коваль не знал, как перейти ему к Хосе. Наконец, когда впереди показалось ярко-красное, даже вечером освещенное мощными прожекторами массивное здание университета, осторожно спросил:

— А где ты с ним познакомилась?

Наташа тряхнула головой.

— Что за вопрос?

— А все-таки?

— Дик, ты ведешь себя не по-джентльменски.

— Щучка ты моя, спрячь свой длинный нос в воротник и будь по-вежливей с отцом.

— Я уже достаточно взрослая и...

Коваль перебил ее:

— Для того чтобы грубить?

— Да нет. Ты же все понимаешь!..

— Конечно, — согласился Коваль. — Понимаю. Больше даже, чем ты предполагаешь... И против этого парня ничего не имею. Такой приятный, обходительный. Но что скрывается за внешней вежливостью... Их там

с детства учат хорошим манерам, однако часто это оболочка, скрывающая истинную сущность человека... — «Господи, какую я ересь плету, — с отчаянием подумал Коваль. — Разве об этом надо с Наташей говорить?» Но других слов он не находил. Решительный, сильный в других ситуациях, он сейчас ненавидел себя.

— Почему ты так говоришь? Вот повернись и уйду.

— А я тебя задержу, чтобы произвести официальное дознание, — пошутил Коваль, ибо ничего другого ему не оставалось. — Ну ладно, ладно, — примирительно добавил он, видя, что Наташа действительно готова уйти. — Я знаю, ты у меня умница... Извини.

— Вот и договорились, — перебила его Наташа. — Подходит автобус!

Оксана рассказала, что сапожки она купила не в магазине, а в парикмахерской, у какой-то женщины, которая сидела в очереди и вытащила их из сумки, жалуюсь, что ей велики.

— А где взяла их та женщина? В каком магазине купила?

— Она об этом ничего не говорила.

— И вы, Оксана, взяли не меряя?

— Да. Во-первых, мерить в парикмахерской неудобно, а во-вторых, уже подошла моя очередь и мастер пригласил в кресло. Я посмотрела, вижу — мой размер... Годится!

— И сколько заплатили?

— Сто тридцать! — недоуменно ответила девушка. — Честное слово! Я не обманула Наташу! Копейка в копейку. Да как вы могли такое подумать на меня, или вы меня не знаете, Дмитрий Иванович! — возмущаясь, почти кричала она. — Конечно, дорого, но я же столько уплатила...

— Успокойтесь, Оксаночка, я ни в чем вас не подозреваю... Не в этом дело.

Подружки переглянулись, Наташа незаметно развела руками, показывая, что она ни при чем...

— А деньги у вас с собой были? Сумма ведь приличная.

— Я их уже два месяца ношу с собой, чтобы случай не прозевать. Боже, я так было обрадовалась! А что получилось! Той тетке они большие, а мне маловаты. И размер мой, а почему-то тесны, жмут. А то я их даже Наташе не уступила бы...

— Женщина, что продала вам сапожки, тоже делала прическу?

— Нет, она ждала очередь к маникюру, но не дождалась. Сказала, что у нее нет больше времени, и ушла...

— Так, так... — задумчиво протянул полковник. — Расскажите, Оксана, как она выглядела. Постарайтесь вспомнить, — попросил он. — И скажите, не знаком ли вам человек по имени Антон? Антон Иванович Журавель?

Дмитрий Иванович доехал на троллейбусе до площади Октябрьской революции. Дальше до министерства решил идти пешком. Времени в это раннее морозное утро у него было достаточно, и ему захотелось влиться в бодрый людской поток: видеть свежие, разрумнявшиеся, по-особенно-

му добрые после воскресного отдыха лица, улавливать еле слышный в гуле автомобилей стук каблучков по замерзшему асфальту...

Впрочем, уже несколько дней полковник, находясь на улице, смотрел в основном не на лица, а вниз, на ноги женщин. Точнее — на сапожки. Он дважды встречал на улице модель, похожую на ту, что видел в квартире Журавля. Как удалось позже выяснить, ни одна из обладательниц этой обуви, так же как и Оксана, не была знакома с Журавлем и ни одна из них не приобрела сапожки в магазине — первая купила на улице, у входа в обувной магазин, где женщина продавала «не подошедшую по мерке» обувь, вторая — в переходе, у крытого Бессарабского рынка.

Вечерняя беседа Ковалья с Оксаной практически тоже ничего не дала. Словесный портрет женщины, продавшей сапожки, не совпадал с обликом приятельниц Журавля. Да и, как оказалось, каждая пара сапог, на которые оперативники ОБХСС по поручению Ковалья обратили внимание, так же как и сапоги, купленные Оксаной, в отличие от обнаруженного сапожка на кухне у Журавля, имели на внутренней стороне голенища фирменную наклейку, что свидетельствовало о фабричном производстве.

По самым скромным подсчетам замеченных на улицах сапожек, этой модели было в достаточном количестве в почти трехмиллионном городе, и завезти их мог только Внешторг. Оставалось думать, что Журавель сумел скопировать импортную колодку и сделать для своих поклонниц одну-две пары еще более изящных сапог, чем фабричные. Но почему никто из опрошенных женщин не купил эти сапожки в магазине? Неужели вся партия была продана через черный ход спекулянтам?

В это утро Коваль больше не увидел на улице таких сапожек. Впрочем, поскольку они не давали никаких ниточек к трагической гибели молодого ученого, Коваль перестал внимательно к ним присматриваться. Выяснением обстоятельств продажи в городе женских сапожек фирмы «Salamander» полностью занялось ОБХСС.

Но вот и министерство. Дмитрий Иванович прошел во двор мимо козырнувшего у будки постового и направился по длинной асфальтовой дорожке к массивному зданию. На своем этаже, прежде чем зайти в кабинет, он заглянул к дежурному по Управлению уголовного розыска и, как обычно, попросил суточную сводку происшествий.

— Вас спрашивали, — доложил дежурный, подавая ему журнал. — Из прокуратуры. Следователь Спивак.

Коваль пробежал глазами пару информации в журнале, вдруг наткнулся на поразившую его строчку. Полковник заставил себя сосредоточиться, чтобы еще раз, внимательней, перечитать ее: в своей квартире по улице Ленина, в доме номер... была обнаружена мертвой гражданка Христофорова Килина Сергеевна...

— Кто выезжал? — спросил Коваль.

— Из городского. Старший лейтенант Струць.

— Соедините.

Услышав голос Струця, Дмитрий Иванович спросил:

— Где труп Христофоровой?

— На судмедэкспертизе.

— Обстоятельства обнаружения?

— Позвонила соседка.

Выслушав старшего лейтенанта, Коваль позвонил начальнику управления, попросил у него машину. Через несколько минут Дмитрий Иванович возвращался на ту же окраинную Лукьяновку, откуда только что приехал на троллейбусе и где находился городской морг. Сидя в машине, он вспомнил свой второй разговор с портнихой.

В этот раз Килина Сергеевна нашла его по телефону в городском управлении и, вскоре получив пропуск, буквально ворвалась в кабинет.

«Я все знаю,— заявила она с порога.— Его убили!.. Дмитрий Иванович, я все время думаю над этой страшной историей. У него не было никаких оснований, никаких намерений кончать с жизнью. У него была прекрасная жизнь. Он любил, и его любили. Но он не хотел лезть в кабалу, и она отомстила...»

Коваль еле остановил поток слов, обрушившихся на него.

«Присядьте, Килина Сергеевна,— указал на стул.— И давайте спокойно побеседуем. А то — «она», «он», «она», я плохо понимаю, о ком идет речь».

Полковник, конечно, хитрил, но Христофорова опомнилась и, упав на стул, уже не так быстро, но все же взволнованно продолжала:

«Я все выяснила. Нинка специально открыла газ, чтобы Антон задохнулся. Он был пьян и уснул. Она его для того и напоила, чтобы не заметил... В тот вечер она гуляла у него и, как только он уснул, удрала. Уверяю вас».

«Как вы это выяснили?» — спросил полковник, хотя и без портнихи знал, кто гостил у Журавля в тот его последний вечер.

«Так в доме говорят. Видели, как Нинка в страхе убегала оттуда...»

«Почему «в страхе»? И почему «убегала»?»

«А как же! Натворила, а потом испугалась, наверное. Ничтожная душонка! Она столкнулась в парадном со стариком соседом, чуть не сбила с ног. Столкнуться ведь можно, только когда летишь не чуя под собой ног. И почему она не воспользовалась лифтом, а бежала по лестнице?.. Это тоже неспроста... А что ей помешало сразу же одуматься — вернуться и выключить газ? Но ненависть у нее была сильнее всех других чувств. Вы знаете, нет более лютого существа, чем обманутая женщина...»

«Почему «ненависть»? Почему «обманутая»? И зачем Нине было убивать Журавля, ведь они, насколько я знаю, дружили и, кажется, даже любили друг друга?»

«Любили?» — глаза Килины Сергеевны сузились, темная меховая шапочка, которую она не сняла, сдвинулась, и Ковалю, как и во время первой беседы с портнихой, показалось, что женщина сейчас фыркнет, как дикая кошка.

«Не знаю, как Нинка,— продолжала Христофорова,— но бедный Антон относился к ней без энтузиазма. Я уже это вам рассказывала... Ночами не спала, все думала: как же это могло пройти? Я сначала только чуть-чуть подозревала, но потом пришла к окончательному выводу: только она — машинистка. Тут и котенку понятно».

«Он и другим женщинам обещал жениться?» — спросил Коваль, пропустив мимо ушей замечание о котенке. Полковник мог напомнить

Киiline Сергеевне и о ее отношениях с Журавлем, но тактично воздержался.

Правда, сообразительная женщина сама догадалась об этом.

«О других женщинах не ведаю,— сказала она.— Что же касается меня, если это вас интересует, то мне не обещал, да я и сама не пошла бы. С Антоном дружили, не больше. Иногда он просил какой-нибудь своей пассии, которую туфельками ублажал, сшить в ателье платьице или костюмчик вне очереди. Не отказывала...»

Дмитрий Иванович знал, что это не так, что портниха долгое время была любовницей Журавля, но уточнять не стал.

«Его дом, маленькая квартирка, привлекал меня тем, что в нем встречались интересные люди,— продолжала Килина Сергеевна.— Подумать только, одна комната, теснота, а весело... Какая там непринужденная была обстановка, откровенная, дружеская! Кто бы ни зашел! И это прекрасно! Теперь ведь люди в основном по своим норам сидят. Как кроты. А тут общение. Не будет уже этого больше, бедный Антон! — Женщина приготовилась плакать и вынула из сумочки надушенный батистовый платочек.— Бедный, бедный Антоша!» — И приложила его к сухим глазам.

«А кроме машинистки кто еще бывал у него?»

«Я уже вам назвала, кого знаю».

«А больше некого вспомнить?»

«Нет. Да и зачем? И так все ясно. В тот вечер была у него Нинка и открыла газ...»

«Возможно, она просто грела чай и забыла выключить».

«При всем том она все-таки отличная хозяйка! Нужно отдать ей справедливость. Она и Антона заботой своей пыталась соблазнить... чтобы сделал хозяйкой в доме. Впрочем, она и так голову у него поднимала, словно уже жена. Придет, бывало, и куда подевалась забитая мужем и жизнью машинистка Ниночка?!.. Нет, не могла она забыть выключить... Ее рук дело... — Взглянув на Ковалю, портниха добавила: — Я сама, конечно, там не была. А про машинистку слышала от людей. От того же старого Коляды».

«А не сказал ли вам Коляда, в котором часу он столкнулся с Ниной Барвинок в парадном?»

Христофорова замялась:

«Сказал. Где-то в восемь. Возможно, в начале девятого».

«Умгу», — только и произнес Коваль.

Килина Сергеевна раздумывала: признаться полковнику, что старик слышал в квартире Антона и голос Павленко, или промолчать? Ведь это ничего не меняет. Может, негодяйка готова была и этим ухажером пожертвовать.

Коваль заметил нерешительность посетительницы и ждал, что еще она сообщит.

Наконец Христофорова не выдержала:

«По всей вероятности, там гулял и Вячеслав Адамович, но только я не знаю, не могу утверждать...»

И вдруг, словно испугавшись какой-то мысли, Килина Сергеевна вскочила.

«Разрешите мне идти... Простите, если отняла время. Может, я ошибаюсь в чем-то, наболтала какие-то глупости... Но человек ведь погиб... такой чудесный, добрый человек!»

Дмитрий Иванович проводил портниху до дверей, Килина Сергеевна казалась уже не решительной, а почему-то растерянной. На какую-то секунду даже остановилась в двери, будто хотела возвратиться и продолжить разговор, но потом повернулась и быстрым шагом пошла по коридору.

Не обиделась ли она на полковника за совет не заниматься своим расследованием, а спокойно ждать официальных результатов?

Сейчас в машине, по дороге в морг, вспоминая и это посещение Килины Сергеевны, и все, что знал о ней, Коваль пытался найти объяснение ее гибели... Но не находил...

Войдя в знакомое здание, на первом этаже которого помещалась судмедэкспертиза, Дмитрий Иванович направился в кабинет главного эксперта.

Петр Павлович Адуев, очевидно, только что поднялся из подвального помещения, где находилась анатомка. Он был в белом халате, туго облегавшем его довольно плотную фигуру.

— А, Дмитрий Иванович! — приветствовал он Ковалья. — Догадываюсь, с чем вы... Только что звонил Спивак. Значит, и вы интересуетесь этой женщиной, как ее... Христорадова...

— Христофорова... — подсказал полковник.

— Да, да. Падение и удар головой о ребро отопительной батареи. Глубокая вмятина на виске соответствует конфигурации трубы... Примерно сутки тому назад...

— А точнее, Петр Павлович? Вы же умеете до минуты... — польстил Коваль медику.

— Точнее? — Эксперт задумался. — Если точнее, то в воскресенье, часиков в десять-одиннадцать... Вот сейчас буду писать для Спивака и вас документ... — Судмедэксперт стал развязывать тесемки халата, чтобы снять его.

— Петр Павлович, я бы хотел взглянуть...

Адуев перестал развязывать.

— Хотите?... — он помедлил несколько секунд. — Ладно, пойдемте. Халат вот, на вешалке.

Коваль повесил пальто и шапку на дешевенькую деревянную вешалочку, прибитую к стене кабинета, и надел халат.

В большом подвальном помещении покойницей — и на кафельном полу, и на широких каменных возвышениях — покоилось несколько обнаженных трупов. Возле одного из них — длинного, во весь стол, мужчины — толпились юноши и девушки в белых халатах, и бородатый медик — очевидно, преподаватель, скальпелем что-то показывал им в глубоком разрезе брюшины.

В помещении стоял тяжелый сладковатый запах разложения, формалина и еще каких-то препаратов — запах, который вызывает тошноту и к которому человеку трудно привыкнуть. Недаром студенты, даже девушки, отворачиваясь от преподавателя, втихаря затягивались сигаретой.

Судмедэксперт провел Ковалья в угол зала, где на каменном возвыше-

нии покоилась на спине обнаженная женщина. Несмотря на предсмертную гримасу, исказившую лицо, полковник сразу узнал Килину Сергеевну.

— Она, — подтвердил Коваль. — В страшных мучениях, — не то спросил, не то констатировал он.

— Но недолго. Летальный удар, шок. И не приходя в сознание...

Дмитрий Иванович больше ничего не спросил. Повернувшись, он быстрым шагом двинулся к выходу. Полковник хотя и привык за долгие годы службы в уголовном розыске к разным обличьям смерти, однако ему было неприятно это зрелище. Он всегда приходил в тихую ярость, когда видел, что чья-то злая воля превратила человека в безвольный труп.

При этом мало утешала мысль, что немало смертей ему удалось предотвратить, многих людей он спас, иногда рискуя собой, своей жизнью. Он всегда возмущался циничным рассуждением, что, мол, все люди смертны, все равно раньше или позже умрут.

А в тех случаях, когда погибал человек, так или иначе связанный с делом, которым он занимался, Дмитрий Иванович совсем терял покой и терзался мыслью, что он что-то упустил, где-то недоглядел, не предвидел и что косвенно, но виновен в гибели этого человека, ибо всегда должен все предусмотреть, а если надо, оградить и защитить.

Однако в какой степени судьба Христофоровой могла быть связана с делом, которым он занимается? Или гибель ее была predetermined какими-то предыдущими событиями, о которых он, Коваль, и понятия не имеет, и то, что знает об этой женщине в связи с Журавлем, есть только верхушка айсберга? Быть может, смерть подступала к ней давно и случайно совпала по времени с расследованием гибели молодого ученого?

Кто же поднял на нее руку? Почему? За что? Кому это нужно было? Или это падение тоже несчастный случай?

Ни на один из этих вопросов у Коваля не было ответа. Мозг его, запрограммированный на поиски причины смерти Христофоровой, лихорадочно пытался установить причинно-следственные связи новой человеческой трагедии.

Ожидая, пока Адуев напишет выводы экспертизы, полковник созвонился со следователем Спиваком, чтобы согласовать с ним свои дальнейшие действия.

14

Вторая встреча Коваля с соседкой Христофоровой была значительно продолжительней, чем первая. Тогда полковник не мог и представить себе, что в этот дом его приведут новые трагические обстоятельства. Он приехал сюда в конце дня, после похорон портнихи, на которых была и ее соседка, но беседовать с ней там он посчитал неудобным.

Старуха, открывшая дверь Ковалю, как и в прошлое его посещение, была закутана в шерстяной платок, она покорно впустила его в коридор, а затем в свою комнату. Полковник отметил, что она не так словоохотлива,

как прежде. Устремив на него погасший взгляд, молча ожидала, что скажет. Трагическая смерть Христофоровой повлияла и на нее. Женщина осунулась, еще больше ссутулилась, сразу постарела, словно старость, до сих пор прячась в ней, только и ждала удобного случая, чтобы показать свое обличье, и, когда полковник начал расспрашивать — имя ее он уже уточнил, — подолгу собиралась с ответами. В глазах ее была укоризна, будто и Коваль виноват в гибели Христофоровой. На похоронах они держались вместе, рядом сидели на скамейке в траурном автобусе, но женщина на него ни разу не взглянула.

— Анна Кондратьевна, — обратился к ней полковник, — в прошлый приход я спрашивал о друзьях Килины Сергеевны. Вы сказали, что, кроме заказчиц, никто у нее не бывает, приходил только какой то «пан» — то ли фамилия, то ли кличка. Может, за это время вы еще кого-нибудь вспомнили?

Коваль замолчал, ожидая ответа.

Молчала и старуха.

Наконец скорбно покачала головой. Сегодня она не могла или не хотела с ним говорить... «Определенно считает, — думал полковник, — что своими посещениями я накликал беду на женщину, которая ни с того ни с сего вдруг погибла». Дмитрию Ивановичу казалось смешным верить в наговор, в сглаз и другие подобные глупости. Но что поделаешь со старыми людьми, в глубине души которых еще гнездится первобытный страх перед непонятными явлениями и событиями, необъяснимыми с их точки зрения совпадениями. Да что говорить о старухах! Дмитрий Иванович в последнее время замечал, что суевериями и религией стали увлекаться и молодые. Ведь немало толпится их у Владимирского собора во все-нощную и другие праздники. Ну, ребята, он понимал, проявляют интерес не столько к религии, сколько к внешней обрядности, окутанной таинственностью и торжественностью. Но ведь и далекие от религиозности люди находятся в плену суеверий и почему-то считают, что, например, если черная кошка дорогу перебежит, то будет неудача, что нельзя начинать дело с понедельника или тринадцатого числа... Что же требовать от старой женщины?!

Однако следовало как-то разговорить ее. Коваль делал вид, что не замечает отчужденности старухи.

— Ну а «пана» вы все-таки видели, Анна Кондратьевна? Как он выглядит? — поинтересовался он.

На глазах женщины выст... или слезы.

— Что уж тут говорить, кого искать...

— Да, — вздохнул и полковник. — Очень жаль вашу соседку. Молодая, энергичная. И труженица... Пока в толк не возьму, кому нужно было на нее нападать.

— Нашлись, значит, такие, — старуха встрепелась. — Недаром вы приходили выпрашивать о ней и ее делах. А бандиты следом за вами... — Она горестно покачала головой.

— Вот я и хочу разобраться, — вовлекал ее в разговор Коваль, — кто это мог быть? Чужому человеку, наверное, дверь не открыла бы.

Анна Кондратьевна сбросила с головы платок и осмотрелась, будто

в своей комнате могла что-то новое увидеть, найти ответ на вопросы, которые роились в ее голове.

— Господи, да за что же, за что?! Такая хорошая, добрая была, — тихонько запричитала она. — Даже мне, чужому человеку, на каждый праздник что-нибудь дарила... Всем угождала. А вот провожать никто не пришел... Только я одна... Ох, люди, люди... — Плотину молчания прорвало, и Коваль понял, что Анна Кондратьевна расскажет и все, что знает сама, и то, чего наслушалась из чужих уст. — Кто же мог поднять на нее руку?! Ведь и не приходил-то никто, я почти весь день дома была, никого не видела. — Старушка словно не с Ковалем, а сама с собой разговаривала. — Соседи? Так какие же соседи?! Жильцы, которые ниже, к ней не ходили, дел с ней не имели. А в квартире, кроме меня, никого не было. Сосед, зубной врач, с отпуска еще не вернулся. Не дай бог, не на меня же думать! Да как бы я могла, старая да больная, ее на пол бросить? Да и зачем, почему?! — Она перекрестилась и строго взглянула на полковника.

— Ну вот нам и нужно установить: кто и почему, — сказал Коваль, выслушав старуху. — Поэтому я и пришел, Анна Кондратьевна, и вы мне должны помочь.

Женщина согласно закивала.

— Итак, возвратимся, как говорится, к нашим баранам. То есть к «пану» и другим знакомым погибшей. В прошлый раз, когда я был, вы сказали, что видели этого «пана».

— Да. Разок. Он позвонил к Килине Сергеевне, а ее дома не оказалось. Я открыла дверь, сказала, что соседки нет. Он и ушел. Высокий, одет красиво, в дубленку.

— Какого возраста?

— Не старый. Так, может, тридцать с чем-то. Лицо гладкое, полное, глаза, кажется, светлые, строгие, даже вроде сердитые. Я еще подумала, чего он на меня уставился, не виновата же я, что Кели нет дома.

— Чего-нибудь особенного, приметного не заметили?

— Нет. Человек как человек.

— Когда он заходил?

— Недельки две тому назад.

— А в последние дни? В субботу, воскресенье?

— В субботу не видела, а в воскресенье, говорю же, никто не приходил.

«Две недели тому назад? Это было еще до гибели Журавля». Нет, Дмитрия Ивановича интересовали суббота и воскресенье, да — воскресенье прежде всего.

— И больше из мужчин, говорите, к ней никто не приходил?

— Нет, почему же, заходили. С женой-заказчицей иной и зайдет. А то все женщины. Ну, это ведь не женское дело... убивать... Это только мужик может... Да и то не каждый...

Коваль был согласен с Анной Кондратьевной. Судя по данным экспертизы, портниху сильно толкнули. Женщина она была не из слабеньких, и нападающий скорее всего был мужчина.

— Знаете кого-нибудь из мужей заказчиц?

— Не приглядывалась. Килина Сергеевна их в коридоре не держала.

Сразу к себе заводила. А я на ее звонок обычно и не показывалась. Просто слышала иной раз из коридора разговор. Частенько благодарили за работу.

— А вот в субботу или воскресенье, кто же все-таки к ней заходил? — снова вернулся к этому вопросу Коваль.

Он вспомнил свое воскресное утро в Жашкове, где проверял работу райотдела, не подозревая, что в это время в Киеве убивают свидетельницу по делу, которым он занимается. И оттого, что не мог предвидеть ее смерть, ему становилось больно не только за Христофорову, но неловко и за себя, за свой промах. И он чувствовал, что не успокоится, пока не найдет убийцу, уже не только во имя всеобщей справедливости, но и как своего личного обидчика.

— И в субботу, и в воскресенье, говорю, чужих не было. Только Вита приезжала, дочка. У ней какая-то беда стряслась. Слышно было, как плакала, мать ее ругала, я не поняла — за что. А потом и Килина Сергеевна заплаканная ходила. Перед обедом они куда-то исчезли. А вечером Вита уехала в свою Одессу, хотя мать просила остаться ночевать. Это я слышала... В воскресенье я весь день была дома, — повторила Анна Кондратьевна, — только утром на минутку выскочила в центральный гастроном, здесь рядом, — она показала рукой на стену. — На Крещатике. Там бывает черкасский сыр. В нем ни кислинки, просто сладкий. Его обычно в воскресенье привозят. Постояла в очереди недолго. Правда, заглянула еще в мясной отдел, хотела куру купить, да там очередь, и я пошла домой... Пришла, смотрю: у Килины Сергеевны полуоткрыта дверь. — Старуха вздохнула. — Ну, бывает, вышла женщина на кухню или еще куда-нибудь, дверь не закрыла. Потом гляжу, нет ни на кухне, ни в туалете. Что такое? Подошла к двери — тихо. Заглянула — и сама чуть не потеряла сознание... Не помня себя, выбежала к лифту, стала звать соседей снизу — у нас дом старый, как вам известно, на каждом этаже по одной квартире. От них и позвонила в милицию... У меня ведь нет телефона, только у нее. А зайти в ее комнату я не могла... меня до сих пор трясет как в лихорадке. Даже когда ее увезли, я боялась оставаться одна в квартире. А уж спать совсем не спала. На все замки комнату свою заперла, ночью в туалет, извините, выйти не решалась. И свет всю ночь не гасила. Как погашу, так в темноте ее вижу... Голова и сейчас еще не моя — горшок на плечах, а не голова... И зачем было мне за сыром ходить! — покачала она головой. — И не хотелось идти, как чувствовала...

Впрочем, Коваль сомневался, что присутствие старухи изменило бы ход событий. Здесь, по его мнению, дело было скорее всего не задуманное, и произошло все случайно, неожиданно. Потому что на задуманное дело с оружием идут, с каким-нибудь инструментом, а не толкают жертву на отопительную батарею.

Дмитрий Иванович не присутствовал здесь в тот момент, когда приезжали следователь Спивак, старший лейтенант Струць, судмедэксперт и эксперт-криминалист. Но на фотографиях, уже проявленных и показанных ему, с предельной точностью была зафиксирована картина, увиденная сначала Анной Кондратьевной, а потом оперативной группой, прибывшей по ее звонку.

Килина Сергеевна лежала на полу в большой комнате, уткнувшись

головой в отопительную батарею, под которой на полу расплзлась лужа крови.

Вчера после того, как возвратился из морга, Коваль вместе со Спиваком еще раз осмотрел комнаты погибшей. Дмитрия Ивановича не удивило бедное убранство двух комнат: одной большой, метров тридцати, в которой портниха работала и в которой ее обнаружили мертвой, и маленькой, пятнадцатиметровой спальни.

В большой комнате, если не считать довольно удачной копии картины Айвазовского «Девятый вал», стены были голые. Ни ковра, ни каких-либо украшений. В простенькой горке сиротливо стоял разрисованный японский сервиз. Правда, в спальне лежал толстый в зеленых тонах вьетнамский ковер, удачно гармонируя с двумя импортными креслами и диваном, обтянутыми шелком. В большой же комнате ни стола, ни стульев из гарнитура не было. Кроме журнального столика с газетами — в то время, когда квартиру осматривали, сброшенными на пол, — у широкого окна стоял громадный неполированный рабочий стол, рядом с которым лежал, свалившись, вращающийся стул.

У Христофоровой, считал Коваль, было достаточно средств, чтобы обставить свою квартиру уютней, даже с шиком, — в тумбочке, в спальне, обнаружили крупную сумму денег и несколько сберегательных книжек, валявшихся среди вороха всяких бумаг и квитанций.

Дмитрий Иванович не раз замечал, что люди, занятые любимым делом, чем-то увлеченные, мало уделяют внимания быту. Впрочем, подумал он, рассматривая квартиру погибшей, возможно, Христофорова вила свое гнездо в Одессе, а здесь была только мастерская.

...Время шло, а Коваль все сидел у Анны Кондратьевны, в ее сплошь заставленной рухлядью комнате. Он снова и снова задавал старухе одни и те же вопросы, терпеливо выслушивал однообразные ответы, надеясь, что та вдруг вспомнит какую-нибудь важную для него деталь или обстоятельство. Он мучительно пытался понять: кому нужна была смерть Христофоровой, у кого оказалась на пути эта с виду решительная, настойчивая, но не злая, работающая женщина? Кому портниха настолько мешала, что решили лишить ее жизни?

Пусть смешно думать, что своими посещениями их дома он накликнул беду, как полагает Анна Кондратьевна, но какое-то неопределенное чувство неловкости с того момента, как узнал о гибели портнихи, не оставляло его. Постоянно думал о том, где же сделал неверный шаг, вызвавший огонь на свидетельницу. Какое из его действий вызвало такую страшную реакцию? Кому и как могла угрожать Христофорова? А может, здесь дело не в истории с Журавлем, а в чем-то другом? И произошло случайное совпадение по времени с какими-то ему пока неизвестными событиями?

Ковалю вспомнилась последняя беседа с Христофоровой, ее внезапная растерянность перед уходом. Он ругал себя, что не заинтересовался ее вдруг вспыхнувшим волнением. Перебирал в памяти каждое слово их разговора и не находил ничего, что встревожило бы.

Дмитрий Иванович терялся в догадках. Но он не хотел мириться с неизвестностью. И поэтому с такой дотошностью, чтобы не сказать надоед-

ливо, осаждал старую женщину вопросами. Думалось, что она, и прежде всего она, могла бы пролить хоть какой-нибудь свет на загадочное происшествие, на личность и связи своей соседки.

Он уже отправил старшего лейтенанта Струця в Одессу, чтобы тот с местным уголовным розыском собрал сведения о Христофоровой, встретился с ее дочерью Витой, которая почему-то не приехала на похороны матери, и разыскал некоего одессита «пана Потоцкого». Сегодня вечером он и сам собирался туда выехать.

Коваль посмотрел на часы. Еще было время до отъезда, и он решил немного задержаться у Анны Кондратьевны.

Поскольку старуха ничего добавить к сказанному не могла, Дмитрий Иванович решил снова возвратиться к вопросу о неизвестном мужчине, приходившем к Килине Христофоровой.

— Так вы говорите, Анна Кондратьевна, чернявый, высокий, хорошо одет?

— Это кто? — не сразу поняла женщина.

— Да тот самый, которого Килина Сергеевна «паном» назвала и которому однажды дверь открывали. Вы говорили, несколько раз к вашей соседке заходил. Наверное, ухаживал. Женщина она была интересная, видная... К тому же одинокая...

— Не знаю, — пожала плечами старуха. — Я в такие дела не лезу.

— Ну а что же другое? Не платье же он себе заказывал!

— Да он часто не ходил. Тот раз да как-то еще разок или два, я тогда только чуть-чуть свою дверь приоткрыла да в коридор выглянула. Вижу, она его, как всех, в комнату ведет. Я и не интересовалась больше. Мне-то какое дело!

— А когда Килину Сергеевну спрашивал, в руках что-нибудь держал?.. Ну, цветы, например, коробку какую или еще что-нибудь?..

— Нет, — твердо сказала старуха. — Как сейчас помню. Так стоял, руки в карманы сунул, я еще подумала: наверное, без перчаток шел, а на дворе — мороз...

— Глаза у него светлые?

— Вроде бы... Да не присматривалась я очень, товарищ полковник! Не присматривалась.

— Ну а брови какие, нос, подбородок?

Анна Кондратьевна чуть не возмутилась.

— Стара я стала, товарищ полковник, брови рассматривать. Говорю о том, что заметила. А придумывать не буду.

— Вот вы слышали, Анна Кондратьевна, что соседка его «паном» назвала. Ни с того ни с сего одно это слово обычно не произносят. Что же еще слышали, кроме «пан», о чем они говорили?

— В толк не возьму, что вы от меня хотите, Дмитрий Иванович. Человек он на вид вполне приличный... К чему бы это ему такой ужас сотворять... Ничего у Кели как будто не взято, не украдено...

— Я пока его и не подозреваю. Но и тот, у которого в прошлом году жена в ванне захлебнулась, тоже на вид приличный был...

— Нет, что вы, товарищ полковник, у того на физиономии было написано, что сукин сын...

— А у этого что написано?

Старуха недоуменно взглянула на Ковалья.

— Значит, так ничего и не слышали, кроме слова «пан»?

— Что-то он просил, уходя, какую-то модель, какие-то выкройки, а она сказала: «Теперь сам проси у него. Хватит с меня». Чепуха какая-то... Выкройки, это когда платья шьют... Может, он тоже портной... Ох, Дмитрий Иванович, не могу больше. Извините, голова так разболелась, сил нет.

Коваль уже заметил, что старуха от боли время от времени закрывает глаза, как курица, покачивает головой. Он посмотрел на часы. Да и ему пора. Перед поездом еще заглянет домой.

— До свидания, спасибо, Анна Кондратьевна, за рассказ, — хотя беседа ничего и не дала ему, поблагодарил Коваль, выходя на лестничную площадку. Он подошел к лифту и нажал кнопку.

Старый лифт, затянутый металлической сеткой, со стеклянными дверями, с трудом разминая свои ревматические суставы, стал подниматься на этаж. Анна Кондратьевна, провожая полковника, стояла у открытой двери в квартиру и, когда лифт, добравшись до этажа, в последний раз громыхнул и Коваль взялся за ручку, вдруг бросилась к нему:

— Дмитрий Иванович! Дай бог памяти! Вот что вспомнила: когда шла к лифту, из гастронома, он как раз опускался. Я обрадовалась, слава богу, действует. Этот лифт старше меня, другой раз снизу невозможно вызвать — или дверь кто-нибудь наверху не закроет, или между этажами застрянет. Еще не дошла, как лифт опустил — и из него кто-то выскочил, да так пронесся мимо, чуть с ног не сбил!.. Вдруг это тот самый?.. А?

— Вы хоть увидели его?

— Да как увидишь, когда он как вихрь! Еле пришла в себя. Уж извините, ничего не заметила... А может, это и не с нашего этажа, кто знает... Однако у нас тут все старые люди живут, никто так не бегают. Определенно, чужой был...

Коваль съехал на первый этаж и вышел на улицу. Он шел медленно, не замечая мягкого снега, который хлопьями опускался на дома, тротуары, на людей, и размышлял о трагедии, ставшей для него новой загадкой.

15

И вот они сидят вдруг против друга: полковник и последний, самый главный, как считал Коваль, свидетель, показания которого могут пролить свет на трагическую гибель Антона Журавля. Дмитрий Иванович всматривался в бледного худосочного мужчину лет тридцати. Его широкий и высокий лоб, казавшийся особенно большим из-за преждевременно появившихся залысин, нависая над глазами, носом, словно не дал им вырасти такими же массивными. Длинные пушистые бакенбарды чуть удлиняли лицо, и заметно было, что о них заботятся. Правда, сегодня бакенбарды были непричесаны, что объяснялось волнением их хозяина.

По просьбе Ковалья институт прервал командировку Павленко, и сейчас полковник, пожалуй, впервые за долгие годы службы напряженно задумался, не зная, как лучше построить беседу, чтобы свидетель, а возможно, и подозреваемый дал правдивые ответы.

Дмитрий Иванович готовился к этой встрече. Он тщательно изучал все стороны жизни Павленко. Эпизод за эпизодом. Детство, становление, быт, настроение, мечты... Почему именно его? По той же причине, что и Нины Барвинок. Ведь они последними видели живым Журавля.

За время, что Павленко находился в командировке, Дмитрий Иванович многое узнал о нем в институте, от знакомых по дому, и сейчас, обдумывая все слышанное, но ранее воспринимаемое несколько абстрактно, так как самого Павленко зрительно не представлял, пытался связать эти сведения с человеком, сидевшим напротив. Теперь, знакомясь с Вячеславом Адамовичем ближе, полковник прежде всего стремился понять, какая главная черта этого человека, какой у него характер, какие настроения, чувства, страсти, какие действия от него можно ожидать, окажись он в ситуации экстремальной.

Дмитрию Ивановичу было известно, что Павленко человек не глупый, образованный, как говорили в институте — способный, но застенчивый и поэтому державшийся в тени, очень скрытный, втайне страдающий от своей робости, от загнанных внутрь себя порывов и страстей.

Но вот какие это были страсти, какая из них была главной, Коваль еще не понимал: стремление к научной карьере, жажда женщин, денег или страдал от неудовлетворенности своим положением в обществе, в семейной жизни или еще что-нибудь? Вспоминая беседу с Василием Ферапонтовичем и характеристику, данную младшему научному сотруднику Павленко, Коваль убеждался, что научная среда в некотором смысле стала для Вячеслава Адамовича убежищем в бурлящем современном мире. Сам Павленко, очевидно, понимал, что никакого другого пути — завод, служба в аппарате — для него нет. Он не любил точно очерченных регламентированных обязанностей. Наблюдая, как люди спешат по утрам на работу, как строго расписан их однообразный рабочий день, он приходил в ужас при мысли, что и ему придется влиться в их ряды. Еще в институте, когда сталкивался с каким-нибудь строгим научным правилом, он с трудом заучивал его, словно это было насилие над собственной мыслью. Он был склонен к поиску, фантазии, не скованной рамками твердых установлений, считал, что только наука может дать ему возможность, пусть даже иллюзорно, быть лично независимым. Но тут на его жизненном пути встретился Антон Журавель...

Больше всего Коваль сейчас интересовало: было ли между сотрудниками, так сказать, приятелями, работавшими над общими научными темами, только естественное научное соревнование? Не было ли зависти друг к другу, что, бывает, часто вспыхивает скрытой враждой? Кое-какие основания для таких подозрений у него имелись...

Дмитрий Иванович по обыкновению не спешил. Он видел перед собой человека нервного, настороженного, понимал его состояние и хотел уловить то движение его души, когда она хоть на момент приоткроется и Вячеслав Адамович станет с ним искренним.

Высоко в небе появился одинокий самолет. Коваль решил, что это военная машина, истребитель. Краем глаза наблюдал, как выползает из-за рамы окна тоненькая белая стрелка, постепенно превращаясь в кружевную дорожку — след сгоревших газов — и упорно лезет вверх.

Павленко проследил за его взглядом и поежился в мягком, обтянутом искусственной кожей кресле. Он тоже ловил каждое движение Ковалю. Чувствовалось, что он сейчас очень нервничает, но пытается не показать этого.

Полковник дождался, пока белая стрелочка упрется в верхний угол окна, и спросил:

— Поездка ваша, Вячеслав Адамович, в Ереван была удачной?

— Не совсем.

— Почему?

— Не все успел. Вы же отозвали.

— Ну, пожалуй, не я, институт. В Ереване внедряли новый метод шлифовки?

— Нет. Моя работа связана с увеличением прочности шарнирных соединений.

Дмитрию Ивановичу было известно, что в Ереване Павленко бездельничал. На заводе появился всего пару раз и то на часик-другой, чтобы отметить командировку. Походив немного с мрачным видом по цехам, он незаметно исчезал. Все остальное время провел в гостиничном номере, где запирался наедине с бутылкой. Знал Дмитрий Иванович и то, что на второй день командировки Павленко позвонил домой, но, когда Варвара Алексеевна взяла трубку и несколько раз прокричала в нее «алло», ничего не сказав, положил свою...

— А с новшеством, которое предложил Журавель, вы знакомы?

Павленко помедлил с ответом. Коваль заметил, как изменилось его дыхание.

— Да, знаком, — наконец ответил Вячеслав Адамович. — И более того...

— Что значит «более того»?

— В свое время думал о том же...

— Что значит «в свое время»? Может, это была ваша идея — разнообразное движение абразивов при шлифовке?

Павленко замялся, опустил глаза.

— Какое это имеет значение теперь, — махнул рукой, выпрямившись. — Поймите меня правильно... я считаю, дело прошлое.

— В каком смысле «теперь»? И «дело прошлое»?

— Да в том же смысле, в том же, — вдруг раздраженно ответил Вячеслав Адамович и бросил на Ковалю сердитый взгляд. — То ли я первый придумал, то ли Антон, какая разница, раз его на свете уже нет... Просто так совпало... Стечение обстоятельств... А теперь что же? Антон успел заявить об изобретении, значит, все остальное, извините, пожалуйста, мусор и автоматически отпадает... На фоне этой беды все остальное — мелочи, суэта. Говорить стыдно, кто больше, кто меньше. Высчитывать, мелочиться...

Отвечая, Павленко ерзал в кресле, прятал глаза. Казалось, он стеснялся самого себя, своего голоса, своих слов, старался стать меньше, незаметней, вжаться поглубже в кресло.

— Ну хорошо, — произнес Коваль. Он решил пока не расспрашивать о последнем вечере у Журавля, а ходить вокруг да около этого события. Таким образом вызвать недоумение у Павленко, который, конечно, ждет

от него главных вопросов, и понаблюдать реакцию допрашиваемого на свое странное поведение.

Дмитрий Иванович считал, что в сегодняшнем допросе самым важным является психологический момент. Он задумал провести научный тест, разыграв с двумя другими молодыми учеными ситуацию, в которой оба претендуют на одно и то же изобретение. Но не был уверен, удастся ли добиться полной искренности от участников эксперимента и, главное, даст ли на него согласие следователь Спивак. Поэтому ему оставалось самому находить психологические доказательства поведения людей, связанных с трагическими событиями в квартире Журавля.

— Расскажите, Вячеслав Адамович, о погибшем. Вы были не только коллегами, но, как известно, дружили...

Павленко кивнул.

— Все, что о нем знаете, — уточнил полковник. Он вышел из-за стола, оставив на нем бумагу для протокола и ручку, и сел совсем близко от допрашиваемого, за маленький продолговатый столик, придвинутый в торец к большому.

Вячеслав Адамович провел ладонью по лбу, словно помогая своей памяти, и тихо произнес:

— Это был хороший человек. Хороший, да!

Нервный спазм сжал Павленко горло, и он умолк. На щеке его вдруг мелко запрыгала жилка. Ему было тяжело говорить.

— Я вас понимаю, — Коваль согласно кивнул. Он решил дать успокоиться Павленко, чтобы у того развязался язык. — Но что поделаешь. Мне хочется завершить свой розыск по поводу этой грустной истории вашим подробным рассказом... И надеюсь, вы в этом поможете...

— Дружили. Работали вместе, — продолжил после неловкой паузы Павленко. — Общие интересы, общие темы. Ну и соседи, конечно. — Вячеслав Адамович умолк, потом, вздохнув, добавил: — Поймите меня правильно. Трудно мне сейчас о нем... В институте Антон близко ни с кем не сошелся. Хотя был человеком общительным, располагающим к себе. Возможно, потому, что редко там бывал. Ему это разрешалось. Завлаб у нас строгий, но когда дело касалось Журавля — спускал на тормозах... Ему все сходило... Антону светила сэнээсовская звезда... то есть должность старшего научного сотрудника, хотя еще и не защитился. Плановые работы он сдавал, в общем, вовремя, имел усовершенствования, так что отсиживания в нашем кабинетике от него не очень требовали...

Павленко разговорился, руки его перестали сжимать подлокотники. Коваль уловил новые нотки в голосе Павленко. Какое-то очень сильное чувство вдруг победило и его неловкость, и траурное настроение, и страх, полностью завладело им и прорвалось наружу. Он забыл о контроле над собой и не сумел спрятать его.

Какое же это чувство?

Коваль мысленно повторил только что произнесенные с нотками обиды в голосе слова: «Завлаб у нас строгий, но когда дело касалось Журавля... когда дело касалось Журавля...»

Не главная ли это причина страданий молодого ученого, сидящего

перед ним? Уж не зависть ли? Всепоглощающая, всеразрушающая, страшная?

Коваль должен был убедиться в этом.

— Такой статус благоприятствования, очевидно, был не только у Журавля?

— Не скажите! Должны являться к десяти. Уходить в шесть. Библиотечный день, правда, у всех. У заведующих, докторов наук режим свободней. Конечно, у кого лабораторные работы, без институтской макетной мастерской не обойтись, а кто чистой теорией занимается, те стараются не крутиться в институтских стенах.

— А Журавель, значит, вольным казаком себя чувствовал?

— Для таланта закона нет, — в голосе Павленко одновременно прозвучали и убеждение, и ирония.

— Уж и нет, — покачал головой Коваль. — Вы в той же лаборатории работаете?

— Да. Такой же мэнээс. Но с более строгим режимом. Ежедневное присутствие... Но я — это я, а он был — Журавель. Поймите меня правильно... — Павленко помолчал. — Как говорит древняя пословица: что можно Юпитеру, то нельзя быку... Что поделаешь...

Коваля удивляло, что Павленко не интересуется подробностями гибели соседа.

— Журавель много пил?

— К сожалению. На него водка, как и на всех, свое губительное действие оказывала. Водка не считается с талантом.

Дальше напрашивался вопрос: «А в тот трагический вечер сколько выпил Журавель?» — но Коваль спросил совсем о другом:

— И женщинами увлекался?

— Вот-вот, — подхватил Павленко. — Деньги, водка, женщины! Кого угодно погубят.

— А если точнее?

— Деньги зарабатывал шитьем... Тайным. Он шил только женские туфельки и сапожки. Это было его хобби. Как пошьет — загляденье, конфета, мечта: не на ногу — в музей! И тут бог его не обидел. Художник! Природа иногда бывает очень своенравной: одному — все, другому — ничего. Женщины прямо молились на него. Но шил он редко. Когда в голову взбредет или деньги очень понадобятся. А бывало, увидит какую-нибудь красавицу, понравится ему, — он на этот крючок ее и ловил!.. Ведь что делал! Идет, значит, по улице...

— Редко шил? — переспросил Коваль, думая о том, что модель, созданная Журавлем или скопированная с импортной, довольно часто встречалась в городе. Даже к его Наташе попала. Здесь не один сапожник потрудились, а, гляди, не целый ли цех!

— Да, редко. В основном любовницам.

При обыске в квартире Журавля нашли несколько фотографий голых женщин, возможно подружек погибшего. Однако показывать их Павленко для опознания Дмитрий Иванович пока не считал необходимым.

— Понравится ему вдруг на улице какая-нибудь, — продолжал, разговарившись, Павленко, — Антон подходит: «Такая красивая девушка — и

в таких безобразных кораблях!.. Разве это обувь!» Иная шарахалась в сторону и отходила, не слушая. Но другая проявляла любопытство: обращается вполне приличный, хорошо одетый молодой человек — и прохожая останавливалась:

«У вас есть импорт?»

«Нет,— отвечал Антон,— лучше импорта».

Разговор завязывался. Удивление женщины сменялось недоверием, когда Антон говорил, что сам шьет.

«Вы что — кустарь-одиночка?»

«Модельер-художник», — не стесняясь, рекомендовался он.

«И лучше шьете, чем импортные? Скажем, «саламандра»? Или итальянские?»

«Низкопоклонствуете перед чужим,— строго отвечал Антон.— Нехорошо. Это давно осуждено. У нас могут делать лучше, но ленятся...»

Патриотизм кустаря-одиночки вызывал улыбку, с которой начинался доверительный разговор.

Окончательно покоряло собеседницу обещание, что таких туфелек ни у кого больше не только в городе — на всем свете не будет. Одним словом, хрустальные башмачки Золушки. И когда женщина уже представляла себе, как пройдет в распрекрасных туфельках, как лопнут от зависти соперницы, Антон наносил последний удар, заявляя, что первую пару шьет бесплатно... А уж если понравится, то вторую по заказу... Во всяком случае, говорил он, деньги его не интересуют, ему просто хочется сделать приятное такой красавице, его, мол, эстетическое чувство оскорблено грубыми кандалами на ее прекрасных ножках.

Короче говоря, новая знакомая шла на примерку как замороженная. Антон не обманывал. Он действительно шил оригинальную пару туфель и от денег отказывался...

— На самом деле был таким альтруистом?!

— Да нет. За первую пару он и вправду не брал ни копейки. Особенно если женщина ему понравилась. Но за вторую, третью лупил безбожно... Он ведь разборчивый был. Не только красивую подыскивал, но чтоб и с деньгами. Правда, купюры клиенток в руки принципиально не принимал. Такой каприз у него был. В передней висел женский сапожок. «Туда,— говорил,— и бросайте. Сколько у вас найдется. Но, бога ради, не больше сотни, больше туфельки не стоят...» Ну а если речь шла о сапожках, то намекал уже на две...

Коваль вспомнил, что видел этот сапожок и удивился тогда, почему он не стоит на полу, как положено обуви, а прикреплен к деревянной настенной вешалке, довольно высоко от пола, и почему в нем деньги.

— А мужчинам он шил?

— Никогда. Даже я, все-таки приятель, не просил... Только женщинам.

Полковник понимающе кивнул. В квартире погибшего он обратил внимание, что реклама, проспекты, колодки и заготовки были только женской обуви.

— Некоторые из заказчиц становились его любовницами. Ему все давалось легко и просто... — не сдержавшись, вздохнул Павленко.

— Значит, женщины и деньги,— подытожил Коваль.

— Да, конечно. Его не устраивала зарплата мэнээс. Я тоже младший научный, но... поймите меня правильно... Вы в моей квартире были...

Дмитрий Иванович кивнул.

— А у него? Видели? Но я тачать не умею. Да вряд ли и тратил бы на это время. Время, время, время! Его всегда не хватает — самая большая драгоценность, ведь его нам отпущено по очень строгой норме. Черепахе и ворону по сотне или больше, а человеку в два раза меньше... — Павленко разгорячился. Бледное лицо его порозовело. — Антон время свое, может, и не на то тратил, на что следовало... Но зато жил в полном удовольствии...

— Могли бы вы назвать его приятельниц?

— Если при мне приходили, я, конечно, немедленно исчезал. Иной раз услышу имя, иной раз — нет.

— Например.

— Ну, чаще других забегала портниха со странным именем Келя, Антон ее Клеей называл...

Коваль сделал вид, что впервые слышит это имя. Павленко, он понял, еще не знал, что Христофорова погибла.

— Что вы можете о ней сказать?

— Да ничего особенного. Какая-то авантюристка. Мотается из города в город. Вроде бы искусная портниха, тоже талант, нарасхват, шьет только женам большого начальства,— попробовал улыбнуться Павленко, но улыбка у него не получилась — какая-то гримаса. — Антон туфельки, она — костюмчик. Так одели и обули...

— Значит, на деловой почве дружили.

— Возможно. Но кроме всего, бывало, и ночевать у него оставалась.

— Еще кто?

— Какую-то актрису встречал. То на лестнице, то в квартире. Фамилии не помню и в кино не видел. Антон ей осенью туфельки шил, сказал, что актриса. Научный работник из НИИ физиологии бывала, вот имени тоже не помню. Еще учительница какая-то забегала...

— Вы часто Журавля посещали?

— Соседи же. То мне что-то надо, то сам позвонит: зайди! Случалось, конечно, и по рюмочке опрокидывали. Мне за это от Вари здорово понадало...

— А приятельниц его так и не запомнили,— упрекнул полковник.

— Не следил же я за ним. Мне было без разницы, кто у него ночует. Я — человек женатый, а его дело — холостое... Документы Антон, наверное, ни у кого не спрашивал, а я тем более. Поймите меня правильно. Если заходил, то посижу немного, послушаю, иногда в кинг перекинемся, да и по своим делам...

Коваль чувствовал, что Павленко не договаривает.

— Почему «немного»? Жена ваша, Варвара Алексеевна, рассказывала, что вы частенько у соседа засиживались до позднего времени...

Вячеслав Адамович помолчал, наморщив лоб.

— Да. Еще какая-то женщина,— вспомнил он,— парикмахер, Наташей звали.

Коваль уже знал почти всех, кто посещал Журавля. Со многими из них беседовал. Старший лейтенант Струць по его поручению также знакомился с теми, чьи фамилии или телефоны были в записной книжке погибшего. Сейчас Дмитрий Иванович надеялся получить от Павленко дополнительную информацию, однако тот разочаровал его.

— А некий Григорий его посещал? По кличке «пан Потоцкий»?

— Вот уж не скажу, — удивился вопросу Павленко. — Такой мне неизвестен. Впервые слышу.

— Ладно, — согласился полковник. — Тогда расскажите о вашей институтской машинистке.

— Барвиночек Нине? — с нежностью в голосе переспросил Павленко.

— О ней вы забыли. А Барвинок чаще других у Журавля бывала, — с упреком произнес Коваль.

— Машинистка не высшего класса, — ответил Павленко после неловкой паузы. — Но справляется. Да и жалею все ее. Какая-то она слишком тихая, беззащитная. Жизнь у нее, насколько известно, нелегкая. Отец пьяница, в семнадцать или восемнадцать лет выдал замуж за своего дружка. Ниночка росла девушкой доброй, покорной, возразить не смогла. Не верится, что в наше время такие бывают, уникам какой-то. Она и сейчас не изменилась, в институте сидит за машинкой такая призрачная, словно и нет ее. Положат что-нибудь перепечатать, только молча кивнет. А сама красавица, стройная, как березка. Улыбнется — лунный свет прольется... Находились, конечно, ухажеры, пытались разговорить, она опустит голову виновато, мол, простите, что на ваше ухаживание не отвечаю, и снова стучит.

Болела часто, то одно, то другое. Но не жаловалась. А потом случайно узнали, что муж на нее руку поднимает, да и отец, как напьется, поколачивает. А она все терпит да терпит...

Мальчонка у нее лет пяти. Может, поэтому и терпит. Другая давно плюнула бы да ушла с ребенком. Ведь какой пример малышу, что из него вырастет? А она не смеет, не решается, да и отца жалеет — тот ведь с горя пьет, мать ее очень любил, как похоронил, так и запил. Нина ни с кем своей бедой не делилась, разве что только с Антоном...

Я преклоняюсь перед ее скромностью, долготерпением, с каким она несет свой крест. Да, да, именно крест! — забывшись, воскликнул Павленко. — Я не могу объяснить этот феномен, это истинно ангельское терпение... Я бы назвал ее прямо по-церковному — страсотерпица. Не современно, но правда.

Почему она не порвала с мужем, не удрала куда угодно, на край света, на луну?!

И вот Журавель ее привлек. Так сказать, приподнял до уровня. А женщин, как уже вам известно, у него навалом было, и обращался он с ними не лучшим образом. Поймите меня правильно. Даже мне, постороннему человеку, иной раз было обидно за них. Дуры такие — он на них плюет, извините за выражение, а они все равно липнут. Другой раз, может, жизнь бы отдал за ту или иную красавицу, а он погуляет раз-другой — и вот тебе бог, а вот — порог... Обидно. Кому все в руки плывет, тот никогда не оценит...

В голосе Вячеслава Адамовича слышались горькие нотки.

Полковник все больше убеждался, что не ошибается в своем подозрении: Павленко страстно завидовал соседу.

— Впрочем,— добавил тот,— как говорили древние римляне, а мы повторяем: де мортуис аут бене, аут нихиль,— о мертвых говори только хорошо... Поймите меня правильно. Но есть ведь еще одно древнее выражение: веритас магис амикити — истина выше дружбы... Не так ли? Особенно в делах правосудия?

Коваль согласно кивнул, раздумывая о неожиданных панегириках машинистке и вырвавшихся эмоциях Павленко.

— Так вот,— словно еще больше воодушевившись кивком полковника, продолжал Вячеслав Адамович,— это его и погубило...

— Что именно? — Коваль сделал вид, что не понимает.— В каком смысле «погубило»?

— Я думаю от пресыщения он погиб, от обилия удовольствий, денег, от легкой жизни, в конце концов допился до белой горячки... Но виноват ли он в этом? Такая, значит, была его судьба. А судьба человека определяется не им, а противостоянием Земли и Луны.

— И...— продолжил вместо Павленко Коваль,— спьяну уснул, не выключив газ...

Вячеслав Адамович не возразил против такого окончания фразы.

— Но при чем здесь планеты? — спросил полковник.

— А Ниночку мне от души жаль,— неожиданно сказал Павленко, не отвечая на вопрос Ковалья.— Ведь она могла сделать счастливым другого мужчину, настоящего.

— Не Журавля?

— Нет, почему,— сразу же возразил Павленко,— любого человека. Возможно, и Журавля. Если бы он иначе с ней обращался. А то ведь этот лунный ангел и здесь терпела, молча выносила капризы Антона и все надеялась, что в конце концов тот заберет ее к себе.

— И этот, как вы говорите, «ангел»,— упрекнул полковник,— тайком убегала из дома к вашему другу? Что же в этом от ангела?

Павленко на миг задумался.

— Бегала? Нет. Просто приходила... Даже не так! Спускалась с неба... Поймите меня правильно. Это была единственная отдушина в ее жизни... Может, без нее Нина погибла бы, покончила с собой... И я не знаю, насколько близки были их отношения. Допускаю, что просто заботилась о нем, придет, пуговицу оторванную пришьет, уберет, посидит и уходит... Не знаю... Но дорого дал бы, чтобы узнать.

«Пуговицу пришьет? — хотел возразить Коваль.— Кому? Сапожнику?!» — но передумал и только заметил:

— Теперь уже не узнаете. Да Впрочем, зачем это вам?

— Да, да, конечно, ни к чему,— согласился собеседник.— И потом, она, Нина, здесь, понимаете, на равных была со всеми, кто приходил. Я уже говорил вам, что появлялись иногда заказчицы, становились друзьями, забегали и другие знакомые на огонек. Были и ученая дева, и актриса, и еще бог знает кто. Наша тишайшая машинистка держалась скромно, но с большим достоинством и вызывала уважение. В разговор не вмешива-

лась, но, если спрашивали ее мнение, поражала верным взглядом, словно ей было открыто то, что скрыто от других. Утром увижу ее в институте, в машбюро — глазам не верю. Та ли это Нина?! Мне, знаете, как-то на ум пришел даже рассказ Чехова «Двое в одном». Помните, в трамвае, то есть в конке, мелкий чиновник рассуждал на всякие темы, держался независимо, даже с вызовом, с чувством собственного достоинства, а как увидел начальство, сник, перепугался и снова стал маленьким человечком.

Полковник внимательно слушал. Монолог Павленко о машинистке заинтересовал его. Это была взволнованная история о судьбе человека, тронувшая и самого рассказчика.

— Ну, а враги у Журавля были?

Павленко развел руками:

— Какие враги! У каждого человека, конечно, есть какие-то враги. Всех связей Антона я не знаю. А если говорить о гибели его, то при чем тут враги? Ведь то, что произошло, — несчастный случай. Человек выпил лишнее, уснул, забыл о чайнике на плите... вода залила газ, а горелку закрыть некому... Его ведь никто не убил, не застрелил, не зарезал. Так при чем тут какие-то враги?!

«Вот почему Павленко не поинтересовался обстоятельствами гибели Журавля, — подумал полковник. — Его, очевидно, уже проинформировала обо всем жена. Но ведь и Варвара Алексеевна не все знает. А собеседник рассуждает так уверенно, будто изучил происшествие в малейших деталях...»

— Враги у Журавля если были, — продолжал Павленко, — то теперь возрадуются. А может, и нет. Мертвый перестает быть врагом... С Антоном, кажется, все ясно и вам, в милиции... Все эти беседы, думаю, необходимы вам для протокола. Чтобы закрыть дело.

— Не совсем, — сказал Коваль. — Теперь мы и подошли к самому главному. Расскажите подробно о вашем последнем ужине с Журавлем.

Вячеслав Адамович недоуменно пожал плечами, мол, ну что уж об этом говорить. Словно речь шла о делах давних-предавних, которые вроде бы были, но забылись, а может, и не были вовсе, а только померещились.

— Ну, пожалуйста... Только я почти ничего не помню. Тоже был пьян. — Павленко отвечал спокойно, однако в этом спокойствии улавливалась напряженность.

— Я вам помогу. О чем вы беседовали в тот вечер? По какой причине выпивали?

— Причина была. Антон радовался, что изобретение нового метода шлифовки пробивает себе дорогу. Он тогда даже большую статью для журнала написал.

— Значит, он не только женщинами да туфельками увлекался?

— Его хватало на все.

— Когда он придумал изобретение?

— «Он»... — буркнул Павленко. — Откуда мне знать.

— Разве что-то не так? — спросил Коваль.

— Так-то так...

— Давайте, Вячеслав Адамович, напрямую. Вы тоже участвовали в этом изобретении?

— И «да», и «нет», — медленно произнес допрашиваемый. — Поймите меня правильно. Разработку, конечно, сделал Антон...

Вячеслав Адамович явно не договаривал.

— А идея? Идея чья? — пытался выяснить полковник.

— Что «идея»? — взмахнул рукой молодой ученый. — Идей вокруг сколько угодно! В воздухе витают, под ногами валяются. Бери — не хочу!

— Когда вы с Журавлем разрабатывали какую-нибудь тему, то «идею» подавали обычно вы — «голова», так сказать; далее работали вместе, а пробивал ее потом Журавель, или как? И авторами считались оба.

Павленко удивился осведомленности полковника, но не подал вида.

— И в этот раз так произошло? Или автором нового метода шлифовки стал только Журавель?

— Да, идея хаотического движения абразивов сначала была моей, — наконец решился на объяснения Павленко. — Мне это в голову пришло, когда ставил иголку на граммпластинку. Антон любил слушать свой старый горластый граммофон, который купил где-то на толкучке. У Антона было много странностей! Вот и этот граммофон с трубой. Имеет прекрасный японский «Шарп», интересные кассеты, а прицепился к рухляди — звук, говорил, у граммофона приятней, чем у мага... Так вот, опуская иглу на бороздку, по которой она все время идет по одному и тому же следу и в конце концов стирает пластинку, я вдруг подумал, что на свете существует не только симметрия, но и асимметрия: и правое — левое у человека не одинаково, тысячи примеров есть, даже магнитное поле Земли тоже асимметрично, вспомнил, что в природе не все прямолинейно и наряду со строго упорядоченным движением существует и хаотическое, взять, к примеру, броуновское, открытое ботаником Броуном и теоретически обоснованное Альбертом Эйнштейном и Марианом Смолуховским...

— Ну, ну, — подбодрил Павленко Коваль, когда тот на миг умолк.

— И тут моя мысль соотнеслась с проблемой трущихся пар, над которой давно бьются машиностроители.

Павленко увлекся и уже не останавливался. Глаза его вспыхивали, щеки покрыл румянец. Это уже был не тот человек, который раньше сидел перед Ковалем.

— Я вскрикнул: «Эврика!» И сказал Антону, что у меня появилась интересная мысль. Вы, конечно, не знакомы с этой проблемой...

— Немного знаком. Течь в сальнике, — ответил полковник, чем снова удивил Павленко. — Но вы в это время работали над другой темой, плановой. Так ведь?

— Да, над другой... Но вопрос идеальной шлифовки трущихся поверхностей меня давно занимал.

— А Журавель ею интересовался ранее, этой шлифовкой? До вашего возгласа «эврика»?

— По-моему, нет. Но он сразу все понял — он человек был талантливый и, самое главное, очень хваткий, оборотистый.

— И тут же предложил вам разработать это изобретение?

— Да нет. Во-первых, это еще не было изобретением. Только мысль, идея. Сначала Антон и не проявил к ней интерес.

— А вы?

— Да и я. Ну, поговорили, удивляясь, что все так просто, и занялись своей плановой темой.

— И больше не возвращались к этому?

— Нет. Я же говорю, у нас были другие проблемы.

— Значит, и вас свое открытие не увлекло?

— В то время — нет. Видя, что Антон не зажегся, я тоже остыл. Поймите меня правильно. Когда мысли заняты одним, все другое отодвигаешь в дальний уголок памяти. Пока не освободишься.

— Когда это было?

— Давно. Еще весной... Потом я закрутился. Даже забыл о шлифовке.

— Не придали значения своей находке?

— Возможно. Идей много. Да все не ухватишь.

— А Журавель ухватил.

— Главное, что молча, втихаря разрабатывал. Поймите меня правильно. Мог бы и сказать, посоветоваться... Я что, я ничего... Работай... Только по-честному...

— Вы обиделись на него, когда узнали, что он сам разрабатывает?

— Было. — Павленко словно забыл, что не собирался откровенничать на допросе.

Коваль уже включил записывающее устройство и стал задавать вопросы быстро, требуя такого же быстрого ответа.

— Заявку Журавель подал только от своего имени?

— Да.

— Значит, теперь вы к изобретению имеете только косвенное отношение?

Павленко чуть приподнял брови.

— Как сказать... Вы, наверное, думаете, что гений, то есть Антон, позаимствовал малость у посредственности и потом самостоятельно сделал открытие. А я за это обозлился на него?

— Но нигде ведь не записано, что идея принадлежала вам?

— Почему? Записано. Как-то мы вернулись к этой идее и собирались вдвоем разработать ее, даже заявку совместную написали. Это уже была не просто голая мысль, а кое-что решенное. Но потом я, говорю, закрутился, да и он занялся другим, а я понимал, что без него не пробьюсь... А он тем временем, как оказалось, ухватился за идею серьезно, но решил действовать без меня...

— У вас есть эта совместная заявка? Вы куда-нибудь подавали ее?

— Теперь вижу, что — никуда, хотя Антон намеревался и забрал первый экземпляр. Но копия у меня есть.

— Будете претендовать на то, чтобы довести дело до конца?

Павленко задумался и провел по голове ладонью.

— Даже не знаю. Теперь я не претендую. Поймите меня правильно. Будем доводить всей лабораторией. Я еще не знаю точно, насколько Анто-

ну удалось продвинуться в Госкомизобретений как автору, еще нужно макетный экземпляр сделать, потом найти завод...

— О чем вы беседовали в тот вечер с Журавлем?

— Обо всем и ни о чем.

— Кто, кроме вас, был в квартире?

— Ну, Нина...

— Какую работу она принесла?..

Вячеслав Адамович замялся.

— Об этом самом новом методе шлифовки?

— Да.

— Вы тогда впервые познакомились с работой Журавля? В тот вечер?

— Частично. Нина еще не все перепечатала.

— Значит, разговор у вас был не только «обо всем и ни о чем», но и об этом изобретении?

— Касались.

— И вы очень рассердились на Антона Ивановича, что отстранил вас от этого дела? Высказывали ему претензии?

— Допустим, товарищ полковник. Но что вы хотите этим сказать, к чему ведете? Меня в чем-то подозреваете? В его враги записали? Поймите меня правильно...

— В котором часу вы ушли от Журавля?

— Не помню. Я на часы не смотрел. Говорю же, пьян был.

— Не очень. Экспертиза показала, что большую часть бутылки выпил погибший.

— Однако я быстро пьянею.

— Вы были очень возбуждены. Медицине известно, что при нервном возбуждении алкоголь не сразу действует. Так что полностью были вменяемы.

Павленко пропустил мимо ушей замечание полковника.

— Когда Нина Барвинок ушла, вы еще оставались у Журавля?

— Наоборот. Я ушел первым. Антон хотел ее оставить, и я боялся оказаться третьим лишним.

— Это вы хорошо помните?

— Да.

— Но вы же утверждаете, что были пьяны и ничего не помните. Как же вам удалось запомнить такую деталь, как желание Журавля. Или он открыто высказал его?

Павленко молчал. Жилочка сильнее задергалась на щеке, с которой уже сошел румянец.

— Итак, вы ушли, а Барвинок осталась наедине с пьяным хозяином. В котором часу это было? В шесть, семь, восемь или девять вечера?

— Кажется, в семь или восемь.

— Не позднее?

— Нет.

— У нас есть несколько иные данные,— вздохнул Коваль, раздосадованный упорством Павленко. Но именно то, что молодой ученый скрывал правду, о многом говорило полковнику.— Тогда объясните, почему вас видели у квартиры Журавля в начале двенадцатого. Что вы делали

под его дверь? Только что вышли от него? Или, наоборот, возвратились и пытались пробраться в квартиру. Объясните: зачем?

Павленко молчал, опустив голову. Видно было, что он очень испуган и старается это скрыть.

Вячеслав Адамович, конечно, догадался, что милиции удалось получить эти сведения от соседа, офицера, возвращавшегося ночью из командировки. Капитан был удивлен, когда, поднимаясь по лестнице, так как лифт не работал, заметил под дверью Журавля Павленко в халате, из-под которого виднелось нижнее белье. Услышав, что кто-то идет, Вячеслав Адамович, как рассказал офицер, бросился в полуоткрытую дверь своей квартиры...

— Тоже не помните?

Павленко, казалось, оглох.

— Так было это или не было? — строго спросил Коваль.

— Вы что же, товарищ полковник, — вдруг взорвался допрашиваемый, — все-таки меня подозреваете?! В чем же? Поймите меня правильно: я ему не враг был, а друг!..

Коваль вспомнил старую поговорку: «Спаси меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь».

— И все-таки? — настаивал полковник.

— Я сейчас ничего не могу сказать, — упрямо ответил Павленко.

— Ну что ж, — отступил Коваль. — Подумайте. Вспомните. Мы еще побеседуем. А пока попрошу вас никуда из Киева не уезжать. — И, взяв у Павленко, находящегося в полном смятении, подписку о невыезде, Дмитрий Иванович отпустил его.

16

...А вот и Одесса. Уютно-великолепный, предприимчивый и бесшабашный город. Город, который начинается для приезжего с задиристой самостоятельности трамвайной кондукторши, написавшей мелом внутри своего вагона во всю его длину дружеское обращение к «зайцу» — «чтоб ты так доехал, как взял билет!», и кончается на пляже заботливым плакатом: «Граждане, осторожней обращайтесь с солнцем!» Одесса — героическая, прославившаяся храбростью в войну, Одесса — отчаянного презрения к смерти, и — бурливо-веселая, лукавая — все в ней смешалось: и смешное, и трагическое, обыденное и возвышенное, добро и зло, и все было с размахом, широко, как само море у ее ног...

Сотрудники ОБХСС провели в Киеве большую работу, выявляя, по поручению Ковалю, покупателей и продавцов женских сапожек особой модели с кустарно наклеенным фирменным ярлыком «Salamander». Им удалось выйти на некоего Григория Потоцкого, часто приезжавшего из Одессы.

Одесситы, в свою очередь, занялись наблюдением за Григорием Владимировичем Потоцким — инженером небольшой проектной организации, подчиненной непосредственно республиканскому министерству. И вскоре они задержали инженера на вокзале с двумя большими чемоданами, в которые уместилось почти сорок пар сапожек. Дознание одесситы долж-

ны были проводить вместе с уголовным розыском столицы, и поэтому Коваль сам отправился в командировку...

Фирменный поезд плавно подкатывал к перрону. Дмитрий Иванович через чистое окно сразу заметил старшего лейтенанта Струця, встречавшего его.

Струць уже два дня находился в Одессе. Следственно-оперативной группе, возглавляемой Спиваком, поручили также расследовать и гибель Килины Христофоровой. Поэтому Виктор Кириллович выехал в Одессу, чтобы на месте изучить образ жизни портнихи, ее знакомства, обстановку в семье...

Ночью, лежа без сна на полке, Дмитрий Иванович вспоминал похороны Христофоровой.

...После морозов вдруг наступила оттепель. Снег посерел, захлюпало под колесами машин и ногами пешеходов. Христофорову решено было захоронить в Киеве. На окраинное кладбище ее провожало трое: официальный представитель конторы ритуальных обрядов, старуха соседка Анна Кондратьевна да полковник Коваль, надеявшийся встретить на похоронах кого-нибудь из приятелей или заказчиц погибшей. Однако никто не стоял у морга, из которого выносили Килину Сергеевну, на миг задерживались только случайные прохожие, и Коваль неожиданно для самого себя решил проводить Христофорову на кладбище.

Не приехала из Одессы и дочь Вита, которая накануне появилась у матери и, побыв всего день, снова укатила домой. Как установили коллеги полковника, дочь Христофоровой была снята в Одессе с поезда с сильным кровотечением и отвезена на «скорой помощи» в гинекологическое отделение больницы. В день похорон матери она еще была там и приходила в себя после неудачного подпольного аборта...

Анна Кондратьевна в черном платочке со скорбным выражением лица сидела рядом с Дмитрием Ивановичем в похоронном автобусе и печально глядела на грубо выструганную крышку, закрывавшую гроб.

Живых цветов и венков не было. Время зимнее, да и кто мог их принести! Анна Кондратьевна смастерила из черного лоскутка нечто похожее на цветок. И теперь это единственное приношение лежало на крышке гроба, покачиваясь вместе с ним, и старуха время от времени вскакивала, поправляла цветок, чтобы от тряски не свалился на пол.

Дмитрий Иванович не любил срезанных цветов. Ружене он как-то сказал, что при виде букетов его не оставляет мысль, что красота и нежность их скоро пропадет, они завянут и превратятся в прах, и женщина, зная эту странность Коваля, никогда не требовала от него таких подарков. Он и в своем саду не срезал цветы, оставляя их засыхать на корню. Обычай провожать усопших цветами напоминал ему древний ритуал, когда в могилу воина-вождя отправляли и его жену, рабов, коня... Теперь же, в наш гуманный век, всех их заменили цветами, но и цветы казались ему беззащитными жертвами древнего обычая... И в то далекое время, и сейчас ни у жены, ни у рабов, ни у цветов не было вины, а раз нет вины, то не должно быть и кары...

За окнами автобуса падал мокрый тоскливый снег, лепился к стеклам и превращался в воду, стекавшую струйками... Коваль размышлял о том, что произошло между дочерью и матерью в субботу, что вызвало их ссору, почему оказалась в больнице Вита, кто виновен в этом и нет ли какой-нибудь связи между этими событиями и неожиданной гибелью Кирины Сергеевны?

«Двое похорон в течение нескольких дней на моих плечах, — с горечью думал полковник, наблюдая, как покачивается гроб из-за быстрой езды водителя, спешившего отделаться от «невыгодных» похорон, — не много ли?»

Уютный одесский перрон тихо придвинулся к вагону, двери отворились, и Дмитрий Иванович с удовольствием вдохнул свежий воздух, напоенный запахом моря.

В машине, которая ждала Ковалья у вокзала, Струць спросил:

— В гостиницу?

— Оформимся позже, — ответил Коваль. — Я не устал. Поедем в управление...

— Вита Христофорова вчера выписалась из больницы, — докладывал по дороге старший лейтенант. — Живет она в домике бабушки, возле рынка. Домик, в котором девушка прописана с прошлого года, старый, на две жилые комнатухи с кухней. После смерти бабушки Вита ведет уединенный, скрытый образ жизни, подружек не имеет. Характер независимый, капризный, занятия в институте частенько пропускает, оценки невысокие. В общественной жизни института участия не принимает. Мать мало занималась ею, так как была поглощена своими заботами, погоней за длинным рублем. Есть две портнихи-надомницы, которые по ее выкройкам шьют платья.

Единственный здесь близкий Христофоровой человек — инженер Потоцкий. Когда портниха уезжала в Киев, он посещал Виту, заботился о девушке, вплоть до снабжения продуктами.

Слушая Струця, полковник Коваль удовлетворенно кивал.

— Кстати, никаких данных, кто несостоявшийся отец ребенка? — спросил он.

Старший лейтенант развел руками.

Дмитрий Иванович понимал, что не так просто это выяснить.

Если эта деталь не будет существенной в деле о гибели Христофоровой, ею можно будет и пренебречь.

— С Витой я сам побеседую, — сказал полковник, выслушав Струця. — Коль врачи разрешат, вызовем завтра повесткой, а нет — то сам подъеду. Может, со мной, стариком, откровеннее будет...

...Майор, начальник отдела БХСС — толстяк с бархатными глазами и фамилией такой длинной и непривычной, что Коваль при первом знакомстве не стал трудиться, чтобы запомнить ее, — уже ждал Ковалья в своем кабинете. После краткого обсуждения задачи майор распорядился привести задержанного Григория Потоцкого.

Пока это приказание выполнялось, Дмитрий Иванович с интересом рассматривал сапожки, лежавшие тут же в раскрытых чемоданах. Как капли воды, они походили друг на друга, а также на те, которые были кон-

фискованы у подпольных продавцов, и на те, которые Коваль видел у своей Наташи.

И вдруг у него мелькнула мысль: «А имела бы Наташа сапожки, если бы не одесская подпольная артель? — И сразу испугался этой мысли, обозлился на себя, на Наташку, на весь свет за то, что такая мысль могла у него появиться. — В конце концов, носила бы обычные, местной фабрики, как все люди! И ничего не случилось бы! А то капризы, капризы!.. В мое время...»

Эти мысли Дмитрия Ивановича оборвались, ибо в дверях в сопровождении конвоира показался хорошо сложенный молодой мужчина со сбившейся в пряди густой черной шевелюрой и выразительным лицом. Он брезгливо покосился на конвоира и, устремив на Ковалья светлые, словно прозрачные глаза, произнес:

— Здравствуйте! — И тут же добавил: — Несмотря на ваше несправедливое ко мне отношение, я вам желаю здоровья...

— Садитесь, — остановил его майор, указывая на стул.

Коваль почувствовал в браваре Потоцкого попытку скрыть волнение и уже понял, как будет вести себя задержанный и как следует с ним разговаривать.

Майор, записав необходимые анкетные данные, стал дотошно расспрашивать Потоцкого, откуда у него сапоги, кто изготовил, напомнил о статье уголовного кодекса, которая обещает смягчение наказания за чистосердечное признание.

Однако брюнет эту статью хорошо знал и без майора и не собирался ею воспользоваться. На все вопросы отвечал отрицательно или уклончиво. Появление у него такого количества сапог объяснял смехотворно: да, скупил сапоги на рынке у разных людей; да, не запомнил продавцов, может спутать одного с другим, поэтому не берется дать их словесный портрет; да, признается — скупил не для себя, видимое дело — сапожки женские...

Зачем столько? Конечно, не жене или сестрам: у него жены нет, а сестра одна — в другом городе... Нет, не в Киеве, в Херсоне. Конечно, собирался махнуть куда-нибудь на Север, перепродать и заработать. Впервые в жизни. Теперь кается, задумка была плохой; сразу и передумал, но еще не решил, что с ними делать, куда отнести... А тут милиция!.. Так что преступления не совершил! Думать-то думал, собирался, планировал, но не совершил же — и привлекать не за что... Вот если бы начал продавать, да по спекулятивной цене, тогда бы конечно... А так... За несовершенноку не судят...

— «Куда отнести»? — язвительно повторил майор. — Сюда, к нам. И тогда никаких претензий. Помогли бы найти этих продавцов, они бы и деньги вам возвратили.

Потоцкий развел руками.

— Не сообразил. Да и где их теперь найдешь — спутались их обличья, ведь только промелькнули перед глазами. Да и неудивительно: у кого-то пару купил, у другого — две... Не упомнишь. Сами знаете, как из-под полы продают, друг другу в глаза не смотрят, все мигом. Вышло

бы у меня как у Гоголя: одному приставил бы нос другого, уши — третьего... Чепуха получилась бы...

— Да, чепуха,— согласился майор.— Но попытайтесь объяснить, как это разные люди сумели произвести такие одинаковые сапожки, на одну колодку, да и сшить одинаковыми нитками, приделать одинаковые подметки, одинаковые прилепить наклейки? Птички, конечно, из одного гнезда, от одних родителей. Из какого же это гнезда, гражданин Потоцкий?

Подозреваемый вдруг ударил себя ладонью по лбу.

— Конечно, из одного! Верно! С одной фабрики. Там же написано: «Саламандра». Нечего и думать. И как это я так опростоволосился! — Потоцкий даже зубами заскрипел.— Сапожки, оказывается, из магазинов, где импортом торгуют или с базы... значит, ворованные... Мне бы, дураку, сразу догадаться!..

Майор перебил Потоцкого:

— Успокойтесь. Не ворованные они. И не импортные, не саламандровские, а наши, одесские, кустарные. Есть заключение экспертизы... А насчет того, что одумались и состава преступления нет, несовершенно, ошибаетесь. Не одумались вы, не отказались от преступного намерения, не сами вы остановились, а мы прервали на вокзале вашу деятельность. Непосредственно перед посадкой в поезд.

Майор сердился, в его голосе появились раздраженные нотки. Подозреваемый, конечно, плел чепуху и все время увиливал от прямых ответов на вопросы. Однако голос майор не повышал, считаясь с тем, что в допросе участвует полковник из министерства, и продолжал повторять свои вопросы.

Впрочем, результаты были те же, и наконец майор не выдержал.

— Что ты мне икру мечешь,— раздраженно бросил он, незаметно для самого себя обращаясь к Потоцкому уже на «ты».— В другом месте тюльку за бычка выдавай. У тебя есть подпольная фабричка, и не малая, а ты — экспедитор. Я ее раскрою, будь уверен. И тогда тебе не поздоровится... Так что лучше не тани и выкладывай: где, кто, откуда сырье?.. Ворованное ведь!

В ответ Потоцкий молча чесал в затылке.

— Разрешите,— обратился к майору Коваль. Тот с облегчением кивнул.— Скажите, гражданин Потоцкий, когда вы в последний раз виделись с Христофоровой? — спросил полковник.

Подозреваемый на миг задержал дыхание, потом глубоко вдохнул. Коваль заметил, что его настроение стало иным. Изменение темы, кажется, принесло ему облегчение, и это удивило Дмитрия Ивановича.

— С Христофоровой? — Потоцкий чуть прищурил глаз, словно силился вспомнить, но никак не мог.— Христофоровой, Христофоровой...— повторил он, не отвечая прямо на вопрос.

«Да, не такой он простак, этот «пан»,— подумал Коваль.— Но причастен ли он к убийству портнихи? Какие интересы объединяли их, на чем держалась дружба? На обоюдном увлечении, на любви? То, что Потоцкий на пару лет моложе погибшей — не препятствие чувству. Но почему тогда не создали семью? И почему Потоцкий все же проявляет заботу

о Вите? Пожалуй, здесь скорее деловые интересы, чем матримониальные...»

А что могло породить такой конфликт между ними, который привел к убийству портнихи? Никаких оснований подозревать Потоцкого в убийстве Христофоровой сейчас нет. Прежде следовало установить по крайней мере два обстоятельства: имел ли Потоцкий для преступления побудительные причины и, во-вторых, реальную возможность совершить его. Пока полковник это только допускал как одну из рабочих версий. Настораживало, однако, то, что во время предыдущей беседы в здешней милиции Потоцкий пытался скрыть свою недавнюю поездку в Киев.

— Где вы были в это воскресенье?

— Здесь, конечно, в Одессе.

— А почему «конечно»? Вы могли быть где угодно: и здесь, в Одессе, и в Харькове, в Москве и Киеве... — Коваль нарочно поставил Киев в конце списка городов. — И я вас не спрашиваю, в каком городе, — продолжал полковник. — Почему же вы сразу подумали, что я имею в виду другой город, не Одессу?

— Ах так, — не успев спрятать свое смущение, протянул Потоцкий. — Конечно, я мог бы быть в любом городе, но я находился в Одессе.

— Есть люди, которые это подтвердят?

Допрашиваемый замялся.

— Это надо подумать... конечно, есть... Но зачем вам мое алиби? Вы меня еще в чем-то подозреваете? Вам этого мало? — кивнул на чемоданы с сапожками.

— Кто же подтвердит?

— Мне не хотелось бы их называть.

— Почему?

— Чтобы не оставлять их имена в протоколе.

— Ну а если без протокола?

Молодой человек некоторое время молчал. Майор тоскливо посматривал на раскрытые на полу чемоданы. Ему казалось, что полковник из министерства уводит допрос в сторону и задает вопросы не по существу.

— Я не вижу в этом необходимости, — наконец решительно произнес инженер.

Коваль продолжал мысленно анализировать доклад Струця, в котором упоминалось, что Потоцкий частенько проводит время в домике Виты Христофоровой.

— Не дочь ли Килины Сергеевны имеете в виду?

Теперь подследственный был явно обескуражен. Откуда это известно милиции? Уж не следили ли за ним?.. Естественно, следили. Иначе не застукали бы на вокзале. Да неужели они и за квартирой Витки наблюдали?

— Нет, — процедил он сквозь зубы. — Но что из этого следует?

— Во-первых, не нужно говорить неправду. Христофорову и ее дочь Виту вы хорошо знаете. Не так ли?.. Но вернемся к нашим баранам, — продолжил Коваль после короткой паузы. — Итак, кто может подтвердить, что в воскресенье вы были в Одессе?

— Нет, — повторил Потоцкий. — Я свое алиби буду доказывать только после того, как предъявите обвинение.

Секунду они смотрели друг другу в глаза, и за это короткое время Коваль понял, что ошибался в своем подозрении.

«Конечно, — подумал он, — если у него алиби, то еле наметившуюся версию о причастности Потоцкого к гибели Христофоровой следует отбросить. Но неужели он не знает от Виты о смерти и похоронах Кирины Сергеевны? Странно! Неужели девушка ничего не сказала? И зачем ему теперь скрывать это?»

Хотя участие инженера в убийстве портнихи могло быть и не прямым, Дмитрий Иванович понимал, что его предположение дало трещину. Значит, узел еще больше запутывается. Медэксперты до сих пор не пришли к определенному выводу о событиях, предшествовавших гибели Христофоровой. Установлено, что смерть наступила в результате падения и удара головой об отопительную батарею. Но что было причиной падения? Поскользнулась в комнате и сама упала или кто-то толкнул женщину, сбил с ног? Первое предположение не имело достаточных оснований: трудно поверить, что сравнительно молодая, крепкая Кирина Сергеевна ни с того ни с сего вдруг упала в комнате. Эпилепсией она не страдала. Правда, ковра на покрытом лаком полу не было, так как сметать мельчайшие лоскутки ткани, обрезки бумаги с пола легче, чем счищать их с ковра. На лоскутках шелка, разбросанных по гладкому паркету, наверное, так можно поскользнуться. Но все же это не апельсиновые или, скажем, арбузные корки, на которых падение почти неизбежно. За второе предположение говорили странные следы на теле портнихи, как установила экспертиза, прижизненные повреждения, которые появляются, если ущипнуть человека. Кроме того, платье Христофоровой было слегка надорвано на груди, что могло свидетельствовать о борьбе. Но не будет тот же Потоцкий в драке щипать женщину, уж очень это не по-мужски. Кроме того, на полу было найдено несколько выдернутых женских волос, не принадлежавших, как установила экспертиза, погибшей портнихе. Хотя это могла причесываться какая-нибудь из заказчиц...

Да, если и было нападение на Христофорову, то маловероятно, что это совершил инженер, пусть даже у него и не окажется алиби.

А ведь он, Коваль, увидев сейчас сапоги в чемоданах Потоцкого и зная от Струця, что инженер связан с семьей Христофоровой, путем простой логической выкладки соединил звенья в одну цепь: кустарные, но очень изящные сапожки пошиты в Одессе по модели Журавля. Антон Журавель дружил с Христофоровой, и она могла свести Потоцкого с ним и упросить сделать модель для своего одесского приятеля. Что потом, после гибели Журавля, произошло между Кириной Сергеевной и Потоцким, он не знал, но допускал, что подпольный артельщик, побаиваясь разоблачения, готов был пойти на все, лишь бы портниха не разоблачила его.

Теперь эти выкладки Дмитрий Иванович признал беспочвенными. Полковник тяжело вздохнул. И конечно, не потому, что Потоцкий, вероятно, не причастен к убийству и алиби инженера снова поставит розыск в тупик. Ему вдруг показалось, что он, Коваль, вообще не может ни в чем разобраться, что простейшее уголовное дело видится ему невероятно слож-

ным. Наверное, действительно пришло время складывать паруса и двигаться в спокойную гавань заслуженного отдыха.

Майор, почувствовав, что пауза затягивается, уже готов был задать свой вопрос, как Коваль строго сказал Потоцкому:

— Вы уже не впервые отказываетесь от своих друзей. В прошлый раз, когда с вами беседовали здесь, вы заявляли, что не знаете никакого Журавля. А ведь соврали.

В светлые глаза инженера Дмитрию Ивановичу не удалось заглянуть, потому что Потоцкий старался спрятать взгляд.

— За сколько же купили эту модель? — кивнул полковник на сапожки.

Теперь неожиданная догадка — запись в блокноте Журавля: «Пан — 300» — снова возвратила его к цепочке: Потоцкий — Христофорова — протекция портнихи Потоцкому — недостающее звено: деньги Журавлю за модель — подпольная одесская артель — тайная торговля сапожками в подворотнях, парикмахерских, у магазинов в Киеве, а возможно, и в других городах. Догадка подкрепила его предыдущие соображения. Полковник уже уверенней произнес:

— К тому же не отдали ему небольших для вас денег, каких-то три сотни! Ведь у вас настоящее производство, хотя и подпольное, и вы много заработали на этой модели. Стыдно, гражданин Потоцкий! Вы же, наверное, считаете себя солидным деловым человеком! — не удержался от злой иронии Коваль. — Кстати, знала ли Килина Сергеевна, для чего вы купили модель у Журавля? — спросил он, пытаясь до конца выяснить причину гибели портнихи.

— Не понимаю вашего вопроса, — мрачно ответил инженер.

— Можно и уточнить: знала ли Христофорова о существовании вашей подпольной артели?

— Я не знаю никакой артели, — зло взглянул Потоцкий на Ковалю. — С артелями, по-моему, у нас давно покончено...

Коваль решил больше не мешать майору ОБХСС. Алиби Потоцкого в связи со смертью портнихи, если оно есть, можно установить и потом. Полковник хотел до возвращения в Киев, где ждала дальнейшая работа с Павленко, отозванным из командировки, встретиться с дочерью Килины Сергеевны Витой...

— Поинтересуйтесь, кстати, — посоветовал он майору, — где они доставали фирменные наклейки «Salamander», не морячки ли из загранки привозили?..

С этими словами, кивнув на прощание коллеге, Дмитрий Иванович вышел из кабинета.

* * *

Девушка сидела перед полковником в большом мягком кресле и казалась облезлым, одичавшим котенком, забившимся в угол. Это впечатление создавали и не соответствовавшая ее болезненному виду какая-то взъерошенная — Коваль подумал: «сумасшедшая» — прическа, и настороженный блеск глаз. Она была бледной после большой потери крови и не переставая терла пальцы, словно и в теплой комнате они зябли.

Старый, какой-то облезлый снаружи, домик внутри оказался очень уютным. Все в нем говорило о достатке, даже с оттенком излишества. В комнатах стояла резная румынская мебель, в горке красовался фарфор, везде были расставлены старинные статуэтки и цветное стекло, а в обеих комнатах лежали пушистые китайские ковры. Коваль вспомнил спартанскую обстановку киевской квартиры портнихи. Да, действительно, гнездо Христофоровой было здесь.

На пальце левой руки Виты, одетой в простенький, хлопчатобумажный халатик, Дмитрий Иванович заметил гравированное колечко с небольшим брильянтиком, в ушах девушки висели золотые сережки с россыпью осколков драгоценного камня.

Несмотря на то, что Вита неприязненно смотрела на неожиданного визитера, Дмитрию Ивановичу было ее искренне жаль. Он понимал ее состояние и пришел не допрашивать, а узнать о ее жизни и, возможно, помочь осиротевшей девушке.

Коваль объяснил Вите, что привело его к ней, посочувствовал ее горю и, для того чтобы отвлечь от тяжелых мыслей, завел разговор на весьма прозаические темы.

Он расспрашивал Виту, останется ли она теперь в Одессе или переедет к отцу в Кишинев, интересовался ее учебой и только в самом конце беседы затронул болезненную для нее тему: кто теперь самый близкий ей человек и кто виноват в том, что она попала в больницу? Вита поняла Ковалья, заерзала в кресле и устремила на него злой взгляд.

— Это вас не касается!

— Да,— согласился Дмитрий Иванович,— смотря с какой стороны, но...— И, повинувшись какому-то наитию, он вдруг произнес: — Впрочем, я знаю. Григорий. Верно ведь, Григорий Потоцкий? Он сейчас нами задержан и допрошен.— Коваль специально не сказал, по какому поводу задержан инженер.

Решив, что самая большая тайна ее жизни раскрыта, что в милиции Потоцкий все рассказал, потрясенная девушка на миг застыла, потом разрыдалась. Плакала она как-то очень жалко, по-детски, со всхлипываниями и икотой, и Коваль пошел на кухню за водой. На кухне Дмитрий Иванович почувствовал запах кожи и увидел дверцы в кладовку, которые, как и стены кухни, были оклеены обоями «под дуб».

Коваль отодвинул задвижку. В нос ударил резкий запах. В большой кладовке от пола до потолка лежали штабеля кожи. Дмитрий Иванович несколько секунд рассматривал их, потом закрыл дверцы, набрал в чашку воды и возвратился в комнату.

Вита уже начала успокаиваться и выпила воды. Рыдая, она еще глубже забилась в огромное кресло. Краска с ресниц, смытая слезами, делала ее миловидное личико отталкивающим. Когда слезы унялись, девушка выпрямилась и с вызовом бросила полковнику:

— Ну и что! Он меня любит, и я имею право любить кого хочу!

— Конечно, конечно,— успокаивал ее Коваль. Ему теперь стала понятна тяжелая обстановка, сложившаяся в семье Христофоровой. Вита, которая только что, захлебываясь, рыдала из-за Потоцкого, при рассказе о гибели матери не проронила и слезинки.

То ли освободившись от необходимости сохранять свою тайну, то ли почувствовав в полковнике не врага, а доброжелателя — Дмитрий Иванович умел расположить к себе, — сильнее ощутив свое одиночество и не имея никого, перед кем могла бы облегчить душу, а может, просто ища поддержку и сочувствие у этого седого человека, Вита вдруг обрушила гнев на предавшего ее Григория. И тогда с нее сразу слетело позерство и она стала обыкновенной обиженной девчонкой.

Она рассказала, что Григорий должен был жениться на ней — разница в возрасте десять, даже пятнадцать лет не имеет значения, — но они скрывали свои отношения от матери. Когда же Вита узнала, что сама будет матерью, то решила открыться Килине Сергеевне. В субботу приехала в Киев и обо всем поведала ей. Мать очень ругала ее, плакала, пыталась побить. Но в конце концов, когда Вита пообещала не выходить замуж за этого, по словам матери, «проходимца и развратника», они помирились и Килина Сергеевна повела ее к знакомой акушерке. Мать настаивала, чтобы Вита после операции пару дней полежала у нее, но девушка не согласилась и отправилась домой. Ночью, в поезде, ей стало худо, и в Одессе ее прямо с вокзала увезли в больницу... Теперь она знает, что бедная мама была права. Григорий — подлый человек, негодяй — и никогда больше не переступит порог ее дома.

Коваль, слушая Виту, сочувственно кивал. Отцовским сердцем он понимал, какую трагедию переживает сейчас юная Христофорова. В какое-то мгновение ему показалось, что в кресле, плача и задыхаясь от негодования, сидит не щуплая ершистая девчонка по имени Вита, а ее киевская сверстница. Его терзала мысль: могло бы такое случиться с его Наташей? Или нет? Раньше он смело дал бы отрицательный ответ на этот вопрос. Но теперь, когда появился Хосе?!

Что касается Виты, то, наверное, и лучше, что не будет рожать. Что бы делала эта беспомощная, растерявшаяся в жизни девчонка с ребенком, что могла дать будущему человеку, кого бы воспитала?! Слишком распространилась сейчас безотцовщина, и малолетки матери не знают, что делать со свалившейся на их плечи заботой. И в конечном счете за ошибки юных родителей потом расплачиваются без вины виноватые дети, попадающие в поле зрения его коллег...

Но как он смел подумать в этой связи о Наташе?! Нет, его дочь совсем не похожа на эту несчастную девушку! Но все же откуда он взялся, этот Хосе?!

Пользуясь тем, что Вита разговорилась, Дмитрий Иванович спросил ее, что она знает о другой стороне жизни Потоцкого, о его деловых связях и коммерции. В ответ девушка только покачала головой. Коваль понял, что «пан Потоцкий» в свои дела Виту не посвящал.

Однако девушка, к разочарованию Коваля, о кожах не заикнулась, и Дмитрий Иванович подумал, что нужно будет подсказать майору; пусть попросит постановление на обыск у Христофоровой, так как здесь оказался какой-то склад сырья. Все больше убеждаясь, что Потоцкий не имеет отношения к убийству Килины Сергеевны, Коваль спросил Виту, что она делала в воскресенье.

— Вы уже были дома?

— Нет, в больнице.

— Вас кто-нибудь проводывал?

Девушка удивилась:

— А как же! Конечно же, он, этот тип! Как я его теперь ненавижу!

— Потоцкий?

— Он.

— И долго был?

— Весь день и вечер. Он даже на работу не пошел в понедельник, когда забирал меня. Но я о нем слышать больше не хочу!

Полковник окончательно убедился, что версия об участии Потоцкого в убийстве Христофоровой не подтвердилась.

17

Это оперативное совещание, которое должно было кое-что подытожить, не подытожило ничего. И не потому, что у его участников не было новых данных о гибели Антона Журавля и Христофоровой, новых наблюдений, соображений, фактов, а потому, что эти наблюдения, соображения или отдельные детали ничего не добавляли к тому, что уже было известно, или даже противоречили друг другу.

На этот раз собрались в прокуратуре, в кабинете Спивака. Длинная узкая комната заканчивалась окном, к которому между столами и кожаным диванчиком нелегко было пройти. Еще в кабинете стоял простой неполированный шкаф и небольшой сейф — вот и вся меблировка. Следователь, занимавший второй стол, был в командировке, и Спивак мог располагать всем этим небольшим кабинетом. Коваль и Струць вчера возвратились из Одессы, до поездки полковник успел побеседовать с Павленко, которого, по его просьбе, институт отозвал из Еревана, и следователь ждал обстоятельного доклада о проделанной работе.

Когда Дмитрий Иванович и старший лейтенант уселись на диванчик, Петр Яковлевич, сумевший втолкнуть свое отнюдь не массивное тело между столом и стулом, с нетерпением взглянул на Ковалья.

Полковник, как всегда, не спешил. Бумаг с собой на это совещание он не принес — у Струця был «дипломат», из которого тот вынул тоненькую папочку, — и всем своим видом словно говорил, что, мол, совещаться не о чем, новостей серьезных нет, а те, что есть, нужно как следует взвесить, прежде чем делать выводы.

— Так что, Дмитрий Иванович? — не выдержал наконец следователь. — Что Одесса?

— Одесса как Одесса, — вздохнул Коваль. — На этот раз она нас не очень обрадовала и вперед не продвинула.

— Что Потоцкий?

— Потоцкий задержан одесситами по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. У него, очевидно, будет и статья о скупке краденого сырья, ведь не из воздуха изготавлила сапожки — да еще в таком количестве! — подпольная артель. Но им занимается сейчас одесский обэхаэсэс... Что же касается наших дел, то прямого отношения к ним он не имеет. Действительно, инженер был другом семьи Христофоровых, да-

же больше... Но в день убийства Килины Сергеевны находился в Одессе.

— Это установлено?

— Да. Если бы у него даже не было алиби, то достаточно веских доводов о мотивах такого преступления с его стороны у нас нет. Весьма возможно, что портниха знала о его подпольной деятельности и он, естественно, мог побаиваться, что нам, поскольку занялись ею в связи с Журавлем, удастся кое-что от нее узнать. Однако идти на мокрое дело, без самой крайней необходимости?.. Нет, это не в стиле Потоцкого — тихого комбинатора, подпольного дельца, который больше всего боится попасть в поле зрения милиции... А коль убьешь, то не просто спрятаться... И кроме того... — Коваль на несколько секунд умолк, словно раздумывая, стоит ли об этом говорить. — Тут еще один момент, признаюсь, совсем неожиданный для меня, я бы сказал, в наше время редкостный... Дело в том, что когда-то «пан Потоцкий» ухаживал за Килиной Сергеевной, чуть ли не вскоре после того, как она вышла замуж за школьного учителя Христофорова, был любовником и, кажется, собирался увести ее от мужа... Потом любовный угар развеялся, они остались друзьями, и Потоцкий даже сумел подружиться с самим Христофоровым.

Когда Килина Сергеевна стала свободной после развода с мужем, инженер уже не заговаривал о женитьбе, он начал присматриваться к ее подрастающей хорошенькой дочери — Вите... И вот в минувшую субботу Вита приехала в Киев и призналась матери, что беременна и что отец ее будущего ребенка Григорий Потоцкий...

Представляете себе, Петр Яковлевич, состояние матери!.. Одним словом, после крупного скандала, моря слез Килина Сергеевна простила дочь, но с условием, что она сделает аборт и выбросит из головы негодяя Потоцкого... Не исключено, что в понедельник портниха пришла бы к нам и разоблачила «пана»-махинатора... Но увы, в воскресенье, как известно, некто появился у нее в квартире и после короткой борьбы, о чем свидетельствуют прижизненные кровоподтеки и надорванное платье, сбил ее с ног...

Потоцкий это утро и почти весь день провел в больнице у младшей Христофоровой. Есть не только заявление самой Виты, но и показания обслуживающего персонала больницы... Они у Виктора Кирилловича, — полковник посмотрел на Струця.

Тот кивнул и, раскрыв папку, вытащил пару листков...

— Вита после аборта не захотела остаться ночевать у матери, — продолжал Коваль. — И в тот же день, в субботу, Килина Сергеевна вынуждена была посадить ее в поезд. Ночью Вита почувствовала себя плохо из-за большой потери крови, и в Одессе с поезда ее сняла «скорая помощь»... Все! — после короткой паузы резюмировал полковник. — Одесса и Потоцкий нас больше не интересуют.

— А как же получается с возрастом? — недоумевал Спивак. — Мать и дочь...

— Килина Сергеевна по окончании десятилетки вышла замуж за своего школьного учителя, который имел неприятности, так как девушке не было восемнадцати... Вита сейчас уже есть восемнадцать. Значит, Килине Сергеевне тридцать шесть. Так и по паспорту, хотя выглядела она моложе... А Григорию Потоцкому, кстати, всего тридцать три. Возраст

Иисуса Христа... Что же, всякое бывает. Одним словом, древнегреческая трагедия...

-- А версия Потоцкий — Журавель? Запись Журавля о долге «пана Потоцкого»? Как с этим...

— Я думаю, Петр Яковлевич, связь тут простая... Еще не доказано, но и так ясно, что по протекции Христофоровой Потоцкий купил для своей артели оригинальную модель, придуманную Журавлем. Погибший был, как вам известно, и талантливым модельером обуви. Кто знает, возможно, на этом поприще он преуспел бы даже больше, чем в науке. Мы с вами видели сапожки этой модели у него на кухне. Потоцкий, очевидно, не полностью рассчитался, и Журавель записал его долг в свою книжку... Мы еще проверим этот эпизод при помощи одесситов, хотя он для нас теперь не столь важен...

— Что же получается, дорогие товарищи,— вздохнул Спивак, обращаясь одновременно и к Ковалю, и к старшему лейтенанту.— Носили мы воду в решете? Так, что ли?.. Узнавали, дознавались, шукали-искали и ничего не нашли... А ведь наши сроки заканчиваются, они не резиновые, не растягиваются... Так и доложим, значит, прокурору, что оба убийства нераскрываемы?.. Никаких зацепок...

Наступила тягостная тишина. Ох как не хотелось Дмитрию Ивановичу возражать Спиваку. Ведь следовательно, в общем-то, был прав. Но играть в молчанку тоже не годилось.

— Цыплят-то по осени считают, Петр Яковлевич.

— До осени далековато, Дмитрий Иванович. Ждать не можем.

— Не очень далеко, хотя на дворе пока зима... И зацепочки есть... Прежде всего привлекает внимание неординарная фигура Павленко. Уже в первом разговоре с ним я почувствовал, что он человек непростой и отношение его к соседу и коллеге не вполне ясное. В оценке Журавля Павленко противоречив, то он хвалит его, то вдруг начинает осуждать за жажду денег, увлечение женщинами... так сказать, во вред науке. Павленко представлялось завидным положение Журавля в институте. Он, мол, баловень, ему все с рук сходило...

— Но ведь у Журавля там, вы выяснили, действительно были успехи. Важное изобретение...

— Вот-вот, Петр Яковлевич... Это изобретение, очевидно, и было яблоком раздора, хотя Павленко свои чувства по этому поводу скрывает. Мысль-то подал он, а приятель воспользовался ею и довел дело почти до конца. Но уже только как свое изобретение,— Коваль выделил слово «свое». — Тут есть причина обижаться и негодовать... И то, что Павленко старается это скрыть, наводит на размышления...

— А с портнихой Христофоровой какие у него были отношения?

— Да никаких. Он с ней не встречался. Его другие женщины интересовали...

— Нина Барвинок?

— Машинистка — другое дело. Покойная Христофорова первое время только ее и обвиняла, думаю, это ересь. Нина Васильевна в обществе Журавля преображалась, вы же знаете ее домашние условия. И верится, что

она ушла первой в тот трагический вечер, оставив Журавля с Павленко вдвоем, хотя тот это отрицает. Но мы все еще уточним.

Самолюбивый Павленко, очутившись под пятой волевой жены, не нашел семейного счастья. И он, конечно, завидовал вольной казацкой жизни Журавля, его общению с красивыми женщинами, которые легко к тому шли... Но Барвинок, Ниночка Барвинок — другое дело, — повторил полковник. — Будучи человеком болезненно застенчивым, некрасивым внешне и при этом любвеобильным, Павленко бешено страдал от ущемленного самолюбия... Ему бы женщину мягкую, уступчивую, преданную, даже покорную... к тому же хорошенькую... О такой он, очевидно, мечтал всегда. Именно такой он и видел Барвинок и без памяти влюбился. Но уже был женат на Варваре Алексеевне, а Ниночка принадлежала его приятелю Антону Журавлю... Скрытые терзания Павленко можно понять, Петр Яковлевич, в таких случаях до безумия доходят... Однако это только наши соображения, доказательств его вины нет... Правда, одна зацепка появилась... А Нина, думаю, сильно любила Журавля, хотя Христофорова отказывала ей в искренности и считала первое время, что именно машинистка, мстя любовнику за обманутые надежды, оставила газовую горелку открытой... Но вернемся, как говорят, к нашим баранам. Насчет зацепочки...

— Да, да, давайте вашу зацепочку, — нетерпеливо произнес следователь.

— Виктор Кириллович, — обратился Коваль к Струцю, — доложите о поручении, которое вам дали в прошлый раз: встретиться с газовщиками, попросить их проверить исправность, особенно герметичность, кухонной плиты Журавля.

Старший лейтенант снова полез в свою папку.

— Я встретился с газовщиками, которые были при вскрытии дверей Журавля, — перебирая бумаги, начал Струць. — Проверили техническую исправность плиты, есть заключение: плита исправная. При закрытой заслонке на подводящей трубе, а также при закрытых горелках газ не пропускает. Беседовал и с диспетчерами. И вот что обнаружилось. — Струць еще раз раскрыл «дипломат», вытащил магнитофонную кассету и положил на стол следователя. — В диспетчерской мне сообщили, что поздно вечером двенадцатого декабря, точнее в двадцать два сорок семь минут, был странный звонок. Мужской голос спросил: как перекрыть газ в квартире, не входя в нее, где находится вентиль всего дома? И потом спросил: через сколько времени человек угорает?

Дежурившая в тот вечер в диспетчерской женщина возмутилась, но адрес спросила.

В ответ мужчина повесил трубку... У них записываются переговоры с клиентами. Я снял копию, — кивнул Струць на кассету, лежавшую перед следователем.

Спивак покрутил в руках кассету, еще не понимая до конца, что все это дает следствию.

— Давайте и вторую, — распорядился Коваль.

Старший лейтенант в третий раз полез в свой «дипломат» и вынул оттуда еще одну кассету.

— Это запись голоса Павленко во время моей беседы с ним, — объяснил Коваль. — Прослушаем. Мне думается, это один и тот же голос.

Спивак вынул из ящика стола портативный магнитофон, раскрыл его.

— Сначала Павленко, — подсказал Коваль.

— Я так и делаю, — кивнул следователь, вставляя кассету.

После короткой паузы послышался спокойный голос полковника:

«Поездка ваша, Вячеслав Адамович, в Ереван была удачной?»

«Не совсем», — ответил более высокий мужской голос.

«Почему?» — снова Коваль.

«Не все успел, вы же отозвали», — в голосе чувствовалось раздражение.

«Ну, пожалуй, не я, институт. В Ереване внедряли новый метод шлифовки?»

Каждый человек воспринимает свой голос иначе, чем слышат его другие, и поэтому с трудом узнает его, когда он звучит записанный на пленку. Дмитрий Иванович всю жизнь не мог привыкнуть к этому акустическому явлению, и поэтому с каким-то недоверием вслушивался сейчас в свою речь: вроде он и в то же время не он, голос какой-то чужой. А вот Павленко он сразу узнал. Хорошо запомнился этот сравнительно высокий, неровный, иногда срывающийся и очень нудный голос.

Тем временем лента в кассете продолжала двигаться.

«А с новшеством, которое предложил Журавель, вы знакомы?» — спрашивал полковник.

Секунда молчания.

«Да, знаком, — после паузы ответил Павленко. — И более того...»

«Что значит «более того»?» — строго спросил Коваль.

«В свое время думал о том же...»

«Что значит «в свое время»? Может, это была ваша идея — разнообразное движение абразивов при шлифовке?»

Снова тихо. И вдруг с жалобными нотками:

«Какое это имеет значение теперь... Поймите меня правильно...»

После этих слов Коваль потянулся к столу и нажал на кнопку выключателя. Спивак вопросительно посмотрел на полковника.

— «Поймите меня правильно» — его любимое выражение. Сейчас мы услышим эти же слова на другой ленте. Сравнить голоса лучше всего, когда произносится одно и то же. Поставьте, пожалуйста, Петр Яковлевич, вторую кассету.

Через несколько секунд присутствующие в кабинете слышали, казалось, тот же голос, но уже не такой спокойный, а взвинченный, дрожащий, срывающийся на крик:

«Алло, алло, диспетчерская...»

«Диспетчер слушает».

«Скажите, пожалуйста, как перекрыть газ в квартире, не входя в нее?.. Где находится вентиль всего дома?.. — И потом тише: — Скажите, если в квартиру проникает газ, через сколько времени человек угорает?»

«Вы что, пьяны?! Не хулиганьте! — послышался из магнитофона строгий женский голос. — Говорите, что случилось? Ваш адрес?»

Секунда молчания — хлопок и сигнал отбоя в телефоне. На другом конце провода положили трубку. Прошло еще несколько секунд, и телефон

в диспетчерской зазвонил снова. Снова слышался уже знакомый просящий и плачущий голос:

«Поймите меня правильно...» И снова сигнал отбоя...

Больше этот голос на ленте диспетчера Киевгаза не появлялся.

Спивак менял кассеты и прокручивал только эту фразу: «Поймите меня правильно...» В обоих случаях голос, без сомнения, принадлежал одному и тому же человеку.

— Пригласим специалистов, — сказал следователь, — и проверим наше наблюдение, чтобы оно стало доказательным... Долгое время магнитофонные записи не признавали вещественными доказательствами. Вы, наверное, и раньше сталкивались с этим, Дмитрий Иванович. Но теперь появились новые — последнее слово техники — высокоточные анализаторы речи, и это дало толчок судебной фоноскопии — самой молодой отрасли криминалистики... Тем временем подумаем: что нам предпринять, если эксперты установят, что звонил в Киевгаз именно Павленко? — закончил Спивак, передавая кассеты назад Струцю, который спрятал их в «дипломат».

— Да, — спохватился следователь, — нужно снять в Киевгазе еще одну копию с соблюдением всех процессуальных правил, или изъять оригинал...

Коваль кивнул.

— Так почему все-таки он звонил в диспетчерскую? Зачем ему это было надо? Связано ли это с Журавлем или просто пьяная выходка? Хотя почему звонил именно в Киевгаз, спрашивал, как отключить газ и когда угорает человек? — вслух размышлял Спивак. — Соображения и версии могут быть всякие... Как вы считаете, Дмитрий Иванович?

Коваль так же раздумчиво произнес:

— Безусловно, это не просто пьяная выходка. Чего это вдруг звонил бы? Эпизод этот вписывается в события. Ведь через несколько минут, в начале двенадцатого, поднимавшийся по лестнице сосед-офицер застал Павленко у двери Журавля в очень непривлекательном виде: взъерошенного, в тапочках и наброшенном на плечи халате, из-под которого виднелось белье... Что он делал под дверью Журавля после звонка в Киевгаз — вернее, что пытался делать? И второй вопрос: откуда он звонил, из своей квартиры или от Журавля? Из своей, думаю... Ибо вряд ли ему нужно было бы спрашивать диспетчера, где наружный вентиль, если находился в квартире соседа и хотел остановить утечку газа и этим скрыть следы преступления... Взял бы и закрыл...

— А отпечатки пальцев? — спросил Струць. — На плите. Может, побоялся касаться ручки.

— Да, все это следует еще продумать, — согласился Коваль. — У меня нет сомнений, что звонил Павленко. Но вот его вопрос диспетчеру: «Через сколько времени человек угорает от газа?» — меня крайне удивляет. Это же выдать себя с головой! Не такой он дурак...

— Вот вы говорили, Дмитрий Иванович, — довольно произнес Спивак, — что ничего нового, существенного по делу Журавля нет, а разве этот эпизод с Киевгазом не существенен?! Думаю, мы на прямой дороге. Хотя по одному эпизоду обвинения не составишь. Тем более что доказательство это

не прямое, а косвенное, устанавливающее только промежуточный факт... Звонил, а не убил. И что вода погасила огонь в горелке, не видел... Видел или не видел, сообразил выключить газ или не сообразил?.. Доказать такое преступление не просто. Итак, Дмитрий Иванович, полностью подтверждается моя мысль, что любые логические построения без твердых, неопровержимых фактов стоят на песке. В общем, сомнения есть, — продолжал Спивак, — но знаете, товарищи, контуры обвинения вырисовываются... Уточните детали, о которых мы говорили, и прокуратура закончит следствие по обвинению Павленко. Я же говорил и снова повторяю: факты, факты и только факты! На них все и строится... Появился эпизод с Киевгазом — и кое-что стало проясняться...

— Особенно возражать не буду, — вынужден был согласиться Коваль. — Но мне еще нужно многое выяснить у самого подозреваемого. Ведь по-настоящему с ним до сих пор не беседовали.

— Допросим, — хлопнул ладонью по столу Спивак и поднялся, давая понять, что оперативка окончена.

— Хорошо, Петр Яковлевич. Я вызвал Павленко на утро..

18

Коваль очутился у своего дома ночью. Теперь уже, правда, не у своего, потому что в силу обстоятельств со вчерашнего дня его новый дом — квартира в одном из многоэтажных зданий — оказался в другом конце города, на массиве Оболонь, протянувшемся на север вдоль правого берега Днепра.

Дмитрию Ивановичу долго удавалось отказываться от новой квартиры. Он настолько привык к своему одноэтажному домику, в котором прожил большую часть жизни, в котором умерла его первая жена Зина и выросла Наташа, что не представлял себя без этой обветшавшей с годами обители, и даже не столько вне стен ее, сколько без небольшого садика, окружавшего домик с трех сторон и прятавшего его летом под зеленой листвой яблонь и старого ореха, да так, что с улицы не было видно даже крыши, без садика, в котором почти каждое дерево, каждый куст роз был выращен им. В доме же он знал, как собственную ладонь, любой уголок, каждую щербинку на полу или на подоконнике, и все здесь напоминало о радостных и тревожных минутах его жизни.

Город постепенно подступал к этому уютному зеленому островку на старой Лукьяновке. С годами вокруг поднялись высокие дома, но его подворье, зажатое этими строениями, казавшимися ему небоскребами, не потеряло для Дмитрия Ивановича своего очарования, он в свободную минуту по-прежнему погружался в атмосферу уединения, которая часто помогала ему собраться с мыслями.

В этом доме, а иногда и в саду, под шелест листьев, под жужжание пчел, ему лучше думалось, и не раз его уставший мозг озарялся такими открытиями, которые никогда не родились бы среди заседаний, перезвона кабинетных телефонов, в суете повседневных хлопот.

Сегодня поздно вечером шофер горотделовской «Волги» по привычке повез полковника на Лукьяновку. Дмитрий Иванович, забыв предупредить

его о своем новом адресе, спокойно поглядывал сквозь ветровое стекло на слабо освещенные улицы, по которым возвращался домой, и не подумал, что сегодня ему следует ехать совсем в другой район. Спихватился, когда увидел переулок, через который он попадал к своему дому. Хотел приказать шоферу повернуть на Оболонь, потом передумал, вышел из машины и, разрешив ему ехать в гараж, прошел знакомой дорогой: через переулок к небольшой калитке.

Двор встретил его отчужденно и обиженно — темнотой и тишиной. На снег падал рассеянный свет из ближайшего высотного дома — в некоторых квартирах его еще не спали. Черными расплывчатыми силуэтами виднелись голые деревья. Неясными очертаниями в конце песчаной дорожки, припорошенной снегом, обрисовался домик, показавшийся сейчас Дмитрию Ивановичу мертвым, отчего у него сжалось сердце.

Стараясь ступать осторожно, легко, словно боясь, что кто-нибудь услышит скрип снега под его ботинками, Коваль прошел мимо засохших, наполовину занесенных снегом кустов и по-зимнему съезжившихся под холодным ветром черных деревьев, у которых прекрасные летом ветви сейчас были безобразно тонкими и кривыми.

Деревья стояли молча, но ему слышался сквозь завывания ветра их тяжелый вздох. Они молчали — ему казалось, что это друзья, которые отвернулись, обвинив его в предательстве. Ведь через несколько дней их спилят, вывернут с корнями, освобождая место для нового строительства.

Он походил так некоторое время, принимая на аллеях сада при рассеянном свете их мрачный парад, потом направился к любимой скамейке под орехом и, расстегнув пальто — уже стал полнеть, несмотря на ежедневную зарядку и физические тренировки, — сел на нее.

Сколько важных решений принял он здесь, размышляя часами о загадочных поступках и скрытой стороне жизни людей, о тайных замыслах и уловках преступников, о том, что часто истина, как луковица в кожурках, прячется в многочисленных одежках лжи. Сколько сомнений поселялось в его душе при этих раздумьях, и сколько сомнений он разрешил, перебирая в уме десятки версий и выстраивая одну-единственную — истинную.

Вот и завтра ему и Сливаку предстоит трудная беседа с Павленко. Трудная потому, что в трагической истории с Журавлем граница между преступным умыслом и неосторожностью, забывчивостью очень зыбкая.

Прежде всего он должен окончательно уяснить себе, объясняется ли гибель молодого ученого преступным действием или таким же преступным бездействием людей, которые провели с ним тот последний вечер. И дальше: было ли это задумано или случилось спонтанно, неожиданно, в результате внезапного стечения обстоятельств, которые натолкнули на мысль о возможности недоказуемого бездействия, однако имевшего преступную цель и трагические результаты?

Или это просто несчастный случай?

Как проникнуть в душу, в сознание человека, увидевшего, что газовая горелка плиты открыта, и не закрывшего ее? Понимал ли этот человек, что в результате его бездействия другой погибнет, или не понимал?

Считал ли он, что никто никогда не узнает об этом, и поэтому не побоялся?

Если он так поступил, то зачем? Что было в этот момент в его душе, какие мысли возникали, какие чувства охватывали его, что стало толчком?

Чувство вражды было настолько сильное, что оно заглушило все остальное, все человеческое?

Кто мог так ненавидеть Журавля?

Нина Барвинок?

Кирина Сергеевна сначала считала, что именно она.

Но все говорит за то, что Нина искренне любила Антона Ивановича. Угнетенная тяжелым положением в своей семье, она тем не менее сохранила душевную мягкость, доброту, проявляющуюся во всем ее облике.

Это — по логике. А что касается фактов, то установлено, что Нина возвратилась домой в тот вечер не позже девяти часов.

Теперь у Дмитрия Ивановича на подозрении оставался Павленко.

Когда ушел из квартиры Журавля Вячеслав Адамович?

До сих пор это не установлено. Если верить показаниям жены, то примерно в то же время, что и машинистка, или даже раньше. Но можно ли принимать на веру эти показания?..

Сейчас в свете новых фактов вызывало удивление то, что раньше казалось естественным: внезапный отъезд Павленко в командировку.

Так получилось, что в тот вечер из командировки возвращался сосед Павленко — капитан, снимавший квартиру на этом же этаже. Офицер и стал свидетелем странной сцены на лестничной площадке.

Не придавая никакого значения увиденному, решив, что сосед просто пьян, даже не успев поздороваться, так как тот моментально исчез с площадки, капитан зашел в свою квартиру.

А для Коваля этот эпизод имел теперь немаловажное значение. Что же делал Вячеслав Адамович в начале двенадцатого, как утверждает офицер, под дверью Журавля?

Уходил ли он из квартиры соседа или возвращался в нее? Если уходил, то почему оказался в нижнем белье и халате? В таком виде в гости не ходят. И Барвинок свидетельствует, что Павленко в тот вечер был одет как обычно, в свой неизменный кримпленовый костюм коричневатобурого цвета. Кто знает, возможно, он что-то забыл у Журавля и, вспомнив, хотел забрать, но пьяный хозяин квартиры уже спал и не впустил его.

Многое позволяет допустить последний факт, установленный розыском, — звонок Павленко в аварийную Киевгаза. Но это еще не прямое доказательство преднамеренного убийства. Ведь Павленко может заявить, что это у него, в его квартире, просачивался газ, и поэтому решил позвонить в аварийку...

«Кстати, тут и наша недоработка, — подумал полковник, — нужно было проверить техническое состояние газовой плиты и на кухне у Павленко, чтобы лишить его возможности такого заявления. Но так или иначе — факт многозначительный и послужит отправной точкой для следствия...»

Однако никто не знает, что происходило у Журавля после ухода

Нины Барвинок... И очень важно, когда же все-таки ушел Павленко и в каком состоянии был в это время Журавель.

Мог ли Павленко находиться у своего соседа до того времени, когда его увидел у двери капитан, если Нина ушла в восьмом или в начале девятого?

По словам машинистки, она поставила полный чайник на плиту, принесла чашки на стол, но не стала ждать, пока вода закипит, и ушла домой. Журавель и Павленко, по ее свидетельству, пили коньяк, которым угощал Антон Иванович. Журавель пил много и пьянел. Павленко пил мало, был мрачен и молчалив, листал рукопись своего коллеги о новом открытии, которое тот собирался опубликовать в журнале и представить ученому совету института.

Сколько времени мог кипеть чайник, сколько времени собеседники могли ждать кофе? Коваль провел небольшой эксперимент. Чайник на небольшом огне закипал за одиннадцать минут, выкипал полностью за тридцать — тридцать пять, на сильном же огне кипел бурно, и вода, выплескиваясь, заливала горелку.

Оставил ли Павленко квартиру до того, как вода залила горелку и в помещение пошел газ, или позже, уже почувствовав запах газа?

Барвинок определенно ушла раньше.

Свалился ли пьяный Журавель на диван и уснул еще при Павленко или после его ухода?

Но как это все установить?

Да, зыбко, все очень зыбко. Мысли Ковалья были сумбурными, и завтрашняя беседа с Павленко представлялась ему самым трудным вопросом за многие годы службы. Он всегда исходил из того, что человек по природе своей добр, и злая воля в нем пробуждается под действием сложных, часто противоречивых, иногда непредвиденных обстоятельств, с которыми один справляется, а другой безвольно подчиняется им, не препятствуя поднимающимся в его душе, с самого ее донимая, неизменным инстинктам: жадности, зависти, ненависти.

Завидовал ли Антон Журавель Павленко?

Вряд ли. Чему он мог завидовать? Неожиданным идеям, которыми, казалось была полна голова Вячеслава Адамовича, но которые, не получив конкретного выражения, так же неожиданно и быстро угасали?

Эта одаренность не приносила Павленко практически никакой пользы, так как Вячеслав Адамович не умел реализовывать идеи. Скорее она служила Журавлю, человеку, тоже не лишенному способностей, но, главное, умевшему подхватить идею, развить ее и не только представить окружающим как ценную, но и вжиться в нее, как в произведение собственного ума. Так человек, любящий фантазировать, со временем, при частом повторении какой-нибудь придуманной истории, начинает сам верить в нее, как в настоящее событие. И верит так горячо, так искренне, что истинный, скажем, автор может и сам засомневаться: его ли это была идея?

Чему еще мог завидовать Журавель? Деньгам? Павленко жил значительно скромнее. Возможно, даже занимал у него — ведь Журавель всегда имел свежую копейку.

Семейной жизни? У Павленко она не была такой безоблачной, как казалось со стороны: материальные трудности, соединение под одной крышей двух несхожих характеров — мягкий, вечно колеблющийся, слабый Павленко и волевая, энергичная, болеющая за мужа, вечно толкающая его в спину Варвара Алексеевна, уже понявшая, что если не принять решительных мер, то лучшие годы пройдут в серых буднях.

А Павленко мог завидовать Журавлю?

Безусловно. Во всем! Начиная с внешности. Завидовать умению привлекать к себе людей, обаянию, которому и сам Вячеслав Адамович был не в силах сопротивляться даже тогда, когда злился на соседа.

Павленко все свое свободное время проводил у Журавля, где отдыхал душой в какой-то легкой, ни к чему не обязывающей атмосфере и где сам себе казался более значительной личностью, чем обычно, и где наконец, самое главное, — мог видеть Нину и самоистязаться, наблюдая за проявлением ее чувства к счастливчику Антону.

Он очень страдал, когда Варвара Алексеевна, не ходившая в квартиру Журавля, пыталась воспрепятствовать и его посещениям. Жена точными словами разрушала его настроение, заявляя, что он, как побирушка, бежит за самоутверждением к Журавлю, который его мизинца не стоит, но зато преуспевает и на лучшем счету в институте, чем ее растяпа муж, чьими идеями часто кормится тот же Журавель. Довольно прозорливо она замечала, что он, Славик, скорее шут при короле Журавле и его подружках, чем сам король, и этим больно ранила обостренное самолюбие Вячеслава Адамовича. В таком случае вспыхивал скандал, и Павленко, хотя ему в тот момент уже не хотелось бежать к соседу, все же уходил назло жене и старался в этот вечер возвратиться домой как можно позднее.

Варвара Алексеевна не ревновала своего мужа к женщинам, которые крутились в квартире холостого соседа. В этом отношении она была спокойна, потому что только ей, единственной в мире женщине, Вячеслав мог доверительно исповедаться, выплакать обиду, поделиться душевными страданиями. А для такой откровенности, она знала, мужу не нужна никакая другая женщина.

Еще не имея сведений о взаимоотношениях в семье Павленко, Коваль догадывался, что в жизни этой четы бывали горькие и трогательные минуты, когда Вячеслав Адамович раскрывался жене и, ища сочувствия и поддержки у самого близкого человека, изливал душу, полную обид на Журавля, полную зависти к этому баловню судьбы. Тогда Варвара Алексеевна особенно жалела мужа. Но когда она пыталась использовать эту беззащитность и откровенность, чтобы уколоть его самолюбие, Вячеслав Адамович очень обижался и даже готов был возненавидеть ее.

Так в чем же главная страсть Павленко?

Не в зависти ли таки к Журавлю?

Зависть!

Страшное, многоликое, как мифическая гидра, чувство, разделяющее людей, подавляющее естественную человеческую радость за успех другого, за похвалу в чей-нибудь адрес. Змеей вползает в душу это чувство, сперва незаметно, не вызывая душевного дискомфорта, и так же незаметно выпускает свой яд... Но иногда это страшное чувство вспыхивает сразу,

вдруг, и поражает человека как удар молнии. В нем — едином ужасном сплаве — могут соединиться и ревность, и самолюбие, и обида, и самоунижение, и унижение другими. Как ржавчина разъедает металл, так и это ужасное чувство исподволь губит душу человека, подавляет все другие чувства, настроения, желания, все доброе и светлое в нем.

Дмитрию Ивановичу уже приходилось сталкиваться со случаями, когда зависть становилась мотивом недобрых поступков. Ему даже казалось, что в последнее время это пагубное чувство, как проникающая радиация, все увеличивает радиус своего действия, охватывает все больший круг людей. Потеряв свои классовые границы, когда она бушевала внутри определенного сословия, зависть угнездилась в некоторых людях без оглядки на то, кто своим трудом или талантом, своей отдачей на общее благо заслужил для себя лучшую жизнь, а кто — нет. Скрытым лозунгом завистников стало: «мне — все!», а открытым, для внешней благопристойности: «всем — все!», причем в понятии «всем» на равной ноге должны были оказаться и труженики, и тунеядцы, даже тунеядцы побольше. И причин этого Коваль не мог понять.

Чувство зависти!

Когда Дмитрий Иванович обнаруживал его в людях, то воспринимал это чуть ли не как личное оскорбление: ведь человек завидует не потому, что чего-либо лишается. В результате успехов другого он ничего не лишается, все остается при нем, но завистник не может вынести, что другому, пусть и не за его счет, но все-таки достается больше, лучшее, и поэтому не терпит его и страстно желает ему зла.

Желал ли зла Журавлю Павленко?

Завидовал ли ему?

Там была дружба? Сомнительно. Наверное, Вячеслав Адамович во многом чувствовал превосходство Журавля. Там была тяжелая как свинец, горькая как полынь зависть, разевшая душу. Павленко сам страдал от нее, вынужден был улыбаться, притворяться. Но можно ли из-за этого желать смерти другому?!

Достаточно ли этого, чтобы проявить такую жестокость, не сделать движения рукой, закрыть кран и отогнать смерть? Какой же сильной, нечеловеческой должна быть зависть, чтобы под влиянием ее пойти на убийство?!

Дмитрий Иванович видел, что Павленко был человеком слабым, всем недовольным, всегда чувствовал себя обиженным. Полковник знал, что люди, обиженные жизнью, подчас бывают неожиданно злыми и опасными.

Но можно ли подозревать человека в тяжелом преступлении только по таким отвлеченным соображениям? Не попирается ли в таком случае презумпция невиновности? Имеет ли он, полковник Коваль, моральное право видеть в Павленко убийцу?! Ведь вполне возможно, что Вячеслав Адамович, сам будучи не трезвым, не вспомнил, уходя, о чайнике, не заглянул на кухню и спокойно отправился к себе спать...

Ковалю не хотелось плохо думать о людях, которые сейчас попали в круг его наблюдений — о том же Вячеславе Павленко, Нине Барвинок, — но он был обязан ответить Закону на все вопросы, возникшие со смертью

Журавля, а теперь и в связи с гибелью Килины Христофоровой, оказавшейся при жизни в том же довольно точно, хотя, вероятно, и не полностью еще, очерченном им круге, в котором находились Журавель, супруги Павленко, Нина Барвинок, Христофоровы, «пан Потоцкий», да еще, может, кто-нибудь, пока неизвестный.

Ну что ж, завтра при допросе Павленко многое прояснится!..

Дмитрию Ивановичу стало холодно, несмотря на теплое ратиновое пальто и меховую шапку — забота Ружены. Он поднялся со скамьи, запахнул пальто и прогулочным шагом направился к дому.

Только вчера они отсюда выехали налегке, как молодожены. Часть **старой** мебели, хорошо сохранившейся, Ружена сдала в комиссионный магазин, а рухлядь — такую, как протертый диван в кабинете да продавленное, когда-то любимое кресло хозяина, — оставили здесь.

Дом стоял **пустой**, **нахохлевшись**, но Дмитрию Ивановичу, когда он вошел, закрыв по привычке за собой дверь, словно боялся впустить холод, неожиданно показался полным жизни.

Пустой для него **была** новая трехкомнатная квартира там, на Оболони, и не потому, что в ней еще не было мебели, — в ней еще не было жизни — того запаха жизни, который не сразу выветривается из старого дома и не сразу заполняет новый.

Полковник прошел по комнатам. Электрик, обслуживающий их участок, уже отключил свет, так как утром должен был приехать бульдозер, но Дмитрий Иванович и в темноте, при слабых отсветах снега со двора, легко ориентировался. Он постоял в спальне, закрытой долгие годы после смерти Зины — Наташиной матери, и только теперь открытой. Сейчас спальня, как и все комнаты, выглядела необычно большой, просторной, и даже не верилось, что когда-то им было тесновато в маленьких комнатках-клетушках этого домика старой постройки. В спальне вместе с холодным ветром блуждали тени прошлой жизни. Ему даже почудились голоса Зины и других близких людей, **быстро** таявшие, уносимые навсегда вольно гуляющим по комнатам ветром.

Он **прошел** в свой кабинет и снова удивился, обнаружив, что это **большая** комната, а ведь раньше почему-то было тесно и ему, и столу, и **полкам** с книгами.

Оставленное кресло стояло на своем месте. Дмитрий Иванович коснулся рукой потрескавшейся лидериновой спинки и грузно опустился в него. Теперь перед ним не было стола, на который он мог облокотиться, и он положил руки на колени.

Сколько лет просидел в нем, сколько дум передумал, сколько раз чуть не плакал от сознания своего бессилия, когда истина пряталась от него, но сколько раз она открывала ему здесь свое правдивое лицо!

Вереницей пробежали в его памяти дела, над которыми он сидел ночами, без конца вычерчивая свои графики, время от времени вытягивая под столом затекшие ноги. Дела, дела, дела... Нет, не дела, а люди, люди добрые и люди злые, идущие на жертву ради близких и охваченные лютой ненавистью к ближнему, сострадающие чужой боли и спокойно вонзающие нож в другого, готовые поделиться куском хлеба и угощающие от-

равленным питьем, невинно пострадавшие и уходящие от возмездия, отмывая руки от крови...

Ему вспомнились и художник Сосновский, ожидающий расстрела за чужое преступление, и убийца Петров-Семенов, и эсер Козуб, и англичанка Джейн с матерью, фашист Карл Локкер и своеправная девушка Таня из Закарпатья, капитан Бреус и сектант Лагута, Даниловна из гостиницы в Лиманском и убийца Чемодуров, и многие, многие другие. Люди, люди, люди, море чувств, страстей, страданий и вспышек счастья...

Много он думал о них в этом доме, все они прошли через него самого, через его чувства, душу. Он, как мог, восстанавливал поправную справедливость, старался защитить невинного и обезвредить преступника. В этом был его служебный долг и смысл жизни.

Может, поэтому ему так трудно уходить из этого дома. Казалось, что вместе с этими стенами, обреченными на слом, уйдет в безвозвратное прошлое все, чем он жил.

Но уходить надо. Завтра его ждут новые заботы, новые дела, и Дмитрий Иванович, с трудом высвобождаясь в пальто из тесного кресла, поднялся.

Он приблизился к калитке, еще раз окинул прощальным взглядом затаившийся в ночи домик, и вдруг, неожиданно для себя, возвратился к нему. Стал по-хозяйски закрывать ставнями зияющие чернотой окна, о которых впопыхах при выезде забыли, закрывать — словно глаза погибшего друга.

Потом снова быстро двинулся к калитке и плотно затворил ее за собой, чтобы больше никогда сюда не возвращаться...

19

Это был второй допрос Павленко. Уже в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Вячеслав Адамович за эти несколько дней очень изменился. Хотя и при первой беседе Коваль отметил про себя, что имеет дело с человеком нервным, издерганным, лицо, взгляд и жесты которого свидетельствовали, что Павленко очень тяжело переживает события последних дней, тем не менее он еще мог связно отвечать на вопросы полковника и в какую-то минуту, увлекшись, даже поведал целую историю жизни Нины Барвинок.

Сейчас же Павленко было трудно узнать. Лицо его еще больше вытянулось и побледнело, отчего черты заострились, жесты стали резче, нервной, но отвечал он вяло и в потускневшем взгляде появилась какая-то отрешенность.

— В прошлую нашу беседу вы не ответили, почему очутились у двери Журавля в начале двенадцатого в неприглядном виде, в ночном белье?.. Как вы объясните этот эпизод сегодня? — спросил Коваль.

— Я и сам не знаю, — развел руками Павленко. — Если в ту ночь

светила луна, то, возможно, я вышел из своей квартиры, сам того не сознавая... Поймите меня правильно, в ней что-то есть непознанное, в луне, трансцендентальное и волшебное.. И я думаю, она обладает энергией большего порядка, чем магнитная... Если магнитное поле Земли и остальные виды энергии, связанные с Землей, формируют наше тело, то дух создается под влиянием Луны... Поймите меня правильно. Это не все знают, но это факт... Поэтому многие народы своей богиней считают Луну...

Коваль пристально взглянул на Павленко. Не издевается ли тот над ним? Трансцендентальные силы! Дмитрию Ивановичу вдруг вспомнился Наташкин онус, сочиненный в Закарпатье, когда он расследовал там убийство венгерки Каталины Иллиш и ее дочерей.

«НА ПУТИ К НИРИАПУСУ

(Запутанное дело)

Часть I

От трупa пахло винным перегаром.

— Это мартель,— сказал детектив Гопкинс, нюхая бледный нос покойника.

— Это не мартель,— возразила собака, развалившаяся в кресле, и лениво свернулась калачиком.

— Мартель! — заметил покойник. — Мартель.

В окно врывался аспараголовый ветер. Небо испуганно трепетало оттенками подштанников убийцы. Пахло мятой — непорочный запах смерти исходил от покойника и легкой дымкой окутывал присутствующих.

В это время Гопкинс ощутил острую боль в желудке. А левое ухо его помощника аскаридозно зачесалось.

— Атмосфера отравлена! — догадалась собака.

По комнате все плыли и плыли куда-то неясные гидронические волны.

Помощник и «третья рука» Гопкинса — Поня Хлюстович (серб по национальности, американец по происхождению, хунвейбин по убеждениям) — вытащил из кармана обломок летающей тарелки.

— Это они! — с несравненным волжским оканьем произнес Поня, задрав голову, и вздрогнул при этом ущемленным седалищным нервом.

— Они и никак не могли этого сделать, потому что они не могли этого сделать никак! — с раздражением, достойным его авторитета, заявил Гопкинс. — Но...

Однако фразу он не закончил, потому что концентрированные телепатические поля вынесли его через окно в вечернее суперпространство.

Дело прояснилось.

Стало ясно, что очень...

Часть 2

Нежные морские волны ласкали ялтинское побережье.

Полковник уголовного розыска Водопьянский утомленно почесал затылок...

Продолжение следует (во 2-м томе)».

Но то был дружеский шарж, в котором дочка иронизировала над Ковалем и его коллегами, а сейчас Павленко говорит о таких вещах на полном серьезе. Вячеслав Адамович даже как-то выпрямился в кресле в эту минуту.

— Луны не было. Снег, тучи,— сердито сказал полковник.— И не уходите от ответа.

— Вообще-то она может посылать свои призывы при любой погоде, и они проникают к людям не только сквозь тучи, но и сквозь стены...— назидательно заметил Павленко.— А почему я вышел в коридор, не знаю... Поймите меня правильно: вы говорите, что я стоял в белье и что было начало двенадцатого, а я этого не помню... Значит, это все происходило вне моего сознания, под влиянием какой-то высшей силы, я склонен думать, моей богини — Луны.

— Вы что — лунатик? Или хотите представиться невменяемым? — прищурил глаз полковник.— Можем провести экспертизу вашего психического состояния. Но это ничего не изменит для вас, вы вполне вменяемы, Вячеслав Адамович, и должны отвечать на наши вопросы.

— Кстати, это нехорошее слово — «лунатик». Вернее будет — сын Луны.

— Кстати, Вячеслав Адамович,— в тон ему заметил Спивак, который сидел за столом и писал протокол,— «сын Луны» не лучше звучит. В народе — может, вы не знаете — говорят, что луна бывает красной оттого, что на ней Каин убил Авеля...

Павленко вскинул на следователя испуганные глаза и ничего не ответил.

Дмитрий Иванович не спеша обвел взглядом свой хорошо ему знакомый кабинет: высокие белые стены с коричневым бордюром, дверь и короткий ряд стульев, столик, приткнувшийся к большому столу, и два уютных кресла, в одном из которых сидел, нахохлившись, Павленко, задержал взгляд на нем и вдруг решил не играть в кошки-мышки, а пойти ва-банк.

— Я уверен, что Журавля погубили вы, гражданин Павленко,— как можно спокойнее, но твердо произнес полковник.— И постараюсь это доказать.

— Как же я мог убить? — так же тихо, словно боясь, что их подслушают, ответил подозреваемый.— Я на него руку не поднял... Поймите меня правильно, я не мог это сделать. Это был мой друг... Теперь, без него, я лечу, как в песне поется, с одним крылом...

Павленко переводил растерянный взгляд с Коваля на Спивака.

— Я сказал не «убил», а «погубил»,— заметил полковник.

Ковалья несколько озадачили искренние нотки в голосе Павленко. Кажется, тот уже понял, что ссылаться на Луну или другую высшую силу нелепо. Однако полковник продолжал развивать свою мысль, обращаясь то к Спиваку, то к подозреваемому.

— Это был исключительный случай, когда вопрос о выгоде, в прямом смысле, для вас, Павленко, не был важен. Древнее римское правило «куи продест» в вашем случае не сработало... Нет, здесь не сработало... Здесь не то, Вячеслав Адамович, — отчетливо произносил Коваль каждое слово, не отводя взгляда от допрашиваемого, — ни денежки, ни иное вознаграждение за новшество вас не интересовали. Это могло интересовать, допустим, вашу жену, если бы она была в курсе дела. Вам покоя кое-что другое не давало. И не день, не два, может, всю жизнь, может, с детства, когда Журавля вы и знать не знали, когда другие журавли у вас перед глазами были: и в школе, и во время учебы в институте, и вот теперь, в науке. Те журавли, которые, как вам казалось, успевали в жизни больше, чем вы, которым, по вашим представлениям, матушка-судьба ковры под ноги стелила, в то время как вас по ярам да колдобинам гоняла...

И с девушками вам в юности, наверное, не везло, и вы обижались, завидовали счастливым, и это было очень горько, потому что с розового детства вы уверовали в свою исключительность.

А ведь к вам судьба была благосклонной. Родители — учителя — души в вас не чаяли, с молодых ногтей и до казацких усов пеленали, уверяли, что в сорочке родились, предрекали успех в жизни. Вы уверовали в это потому, что сами труда не узнали, прыг-скок — и школа позади, прыг-скок — и институтский диплом в кармане... А стоило шагнуть из благостной атмосферы отчего дома в настоящую жизнь, как все пошло кувырком и мелкие детские обиды стали сливаться в душе в одну горькую злость.

Павленко не мог не подивиться прозорливости седого мужчины с полковничьими погонами, который так больно касался самых чувствительных точек души. Невольно мысль его перенеслась в далекое прошлое, и он увидел себя долговым, худющим и очень стеснительным юношей. Он сам себя ненавидел за эту нескладность, неловкость, некрупные черты лица под широким лбом, за свою стеснительность, за то, что избегал девчонок, хотя душа тянулась к ним. Он боялся, что за его внешним безразличием и даже грубостью они догадаются об истинных его порывах, которых и сам стыдился. Рано развившись по сравнению со сверстниками, чувствуя себя в чем-то выше их, он тянулся к девчонкам постарше, и когда те отталкивали, писал им трагические письма со стихами о смерти из маленького томика Надсона. В памяти Павленко всплыла картина, как он подкараулил у клуба понравившуюся девушку и, заметив, что она уходит с другим, возвратился домой, бросился на кровать и горько зарыдал в подушку...

— Так ведь, Вячеслав Адамович? — спрашивал тем временем полковник. — Теперь-то родители постарели, ушли на пенсию, самому нужно пробиваться, себя утверждать. Человек вы способный, понимаете это, а вверх пробиться не можете. Трудно и обидно. А рядом этот оборотистый Журавель, тоже человек способный, но не больше вашего, как вы считаете,

а ему судьба все подбрасывает щедрее: и деньги, и женщин, и признание. Он это не ценит: швыряется, ногами топчет. А когда топчет дорогое вам, то, что вы втайне обожаете, обиднее во сто крат. Будто вас самого топчут. Не так ли, Вячеслав Адамович? И сказать ему ничего не можете, нужен он вам. И Нину простить не можете, завидуете, терзаетесь... Думаю, жену свою не любите, а мечтаете только о Нине — и вам невыносимо было видеть ее у Журавля. Однако все свои чувства вы в себе прячете, и от этого вы все время словно в адском огне. Невыносимая мука!.. Я не ошибаюсь, Вячеслав Адамович?

— Ну и что? — сухими губами еле произнес подавленный Павленко, когда полковник сделал паузу, чтобы передохнуть.

— А то, что в страшный момент вы думали только о том, что этот человек снова перешел вам дорогу, что капризная фортуна вместо того, чтобы благоприятствовать, повернулась к вам спиной, собравшаяся обида черной петлей захлестнула вас, воздуха лишила, ум затмила — и все... Оставили вы ему открытую горелку и убежали!.. Не так ли? — спросил Коваль, выдержав паузу. — А, Вячеслав Адамович? Я понимаю, не легко вам было на это решиться, да и жить дальше с обидчиком, улыбаться ему, дружбу показывать еще горше... Так что вы не были его другом... И поднимать руку не надо было. Ножом вы бы не ударили, из пистолета не выстрелили бы... На это не способны... А вот не вмешаться, не предотвратить беду, а закрыть на нее глаза и выйти сухим из воды — это вы смогли... Руки тонущему не подали бы. Нет... Но только в том случае, если поблизости свидетелей не было бы... Если бы не случай, внезапно представившийся, Журавель и сегодня был бы жив и вы, снедаемый завистью, продолжали бы общаться с ним, как вы говорите, дружить... Но случай покончить с Журавлем, рассчитаться, подвернулся, и вы решили, что сама судьба его подарила...

— Я никого не убивал, — медленно выговорил Павленко, бросив на Ковалья умоляющий взгляд.

— Когда Журавель уснул, вы ушли, не выключив огонь, на котором стоял полный чайник, прекрасно понимая, что вода может выплеснуться, огонь погаснет и газ пойдет в комнату, — продолжал полковник. — А возможно, огонь уже был залит и в квартиру начал идти газ... Этого я действительно не знаю... Не могу утверждать. Однако закон судит не только за действие, но и за преступное бездействие.

— Бездействие — это просто невмешательство, — мрачно процедил Павленко. — И каждый человек имеет право вмешиваться или не вмешиваться во что-либо.

— Невмешательство, если из-за него гибнут люди, самый подлый вид преступления, потому что преступник не только предвидит последствия его, но и знает о своей безнаказанности... — заметил Спивак. — Ну ладно, продолжим, Дмитрий Иванович, — обратился он к Ковалю.

— Во-первых, — сказал полковник, — вы, Павленко, ушли от соседа после Нины Барвинок, которая оставила ваше общество в восемь часов вечера. Есть свидетели, подтверждающие это.

Во-вторых, в начале двенадцатого вы копались у двери Журавля.

Вы можете объяснить, что происходило? Луна и трансцендентальные силы, которые вы приплели, здесь ни при чем.

Павленко кусал губы. Лицо его было белое как мел, и тик щеки усилился. Казалось, в его душе происходит какая-то борьба и он хочет что-то сказать, но не решается. Коваль, наблюдая за ним, подумал, что действительно человек не может бежать от самого себя. Несмотря на любые ухищрения, он под кожей остается самим собой.

Следователь Спивак не спешил, предоставляя Павленко время «созреть». Однако тот так и не ответил на последний вопрос Ковалья.

— Хорошо, — сказал Спивак, видя, что допрашиваемый не может решиться на открытый разговор. — Рассмотрим пока следующий факт.

Дмитрий Иванович подумал, что следователь будет интересоваться: почему на столе было не три, а только две кофейные чашечки, веря, что эта деталь немаловажная и подскажет путь к истине. Полковник же полагал, что эта деталь не столь существенная. Конечно, он тоже был не против мелочей, попадающих при розыске и следствии на глаза. Он тоже внимательно изучал все подробности событий, факты и фактики, которые потом могли помочь нащупать путь к доказательству. Но он считал, что факты без характеров — голые, а характеры без фактов — пустой звон. Если же при изучении характеров обнаруживаются факты, дело иное — они помогают угадывать дорогу к истине. Только тогда, когда детали оказываются вплетенными в события, как тончайшие ответвления в общий корень, питающий все дерево, их следует принимать во внимание. В ином случае они уведут мысль в сторону. Поэтому главным, по мнению Дмитрия Ивановича, всегда и во всех случаях все-таки оставалась общая концепция явления. А изучение характеров действующих лиц трагедии — единственный путь выявления тех фактов, которые могут стать доказательствами. Деталь — чашки, — от которой советовал танцевать Спивак, по его мнению, таковой не была.

Во время прошлой дискуссии со следователем на эту тему он не хотел обострять разговор и ссылаться на авторитеты, хотя хорошо помнил мнение академика Ивана Петровича Павлова, который говорил: «Когда в голове нет идеи, глаза не видят фактов».

Коваль не ошибся в своем предположении.

— Кстати, почему Нина Барвинок поставила на стол только две чашки? — спросил Спивак. — Вы захотели кофе? Так? А кроме вас кто еще собирался пить? Нина или Журавель?

— Не знаю, — пожал плечами Павленко. — Возможно, себе не поставила.

— Не собиралась пить?

Вячеслав Адамович пристально посмотрел на следователя. Выражение его лица говорило о том, что он удивляется такому глупому вопросу и что, если бы и хотел, не смог бы на него ответить: откуда ему знать, собиралась Нина пить кофе или нет!

— Потому что спешила домой, — сам ответил Спивак. — Поставив чайник на плиту, а чашки на стол, Барвинок сразу же ушла. И наверное, в спешке забыла предупредить вас о чайнике? Не так ли?

Павленко молчал.

— Ведь она сразу же ушла? И вы остались вдвоем с хозяином квартиры.

— Это не доказано, кто раньше ушел,— сказал Павленко.— И вообще вы ничего не знаете! — плачущим голосом добавил он.— Поймите меня правильно. Я не знал, что чайник на плите, я в кухню не заходил...

— Неправда, знали,— вмешался Коваль.— Это вы попросили кофе? Вы. Нина Барвинок пошла на кухню, набрала в чайник воду и зажгла газ, а на стол перед вами и Журавлем поставила чашки...

— Я тоже был выпивши. Не так, как Журавель, но все же... И ушел не заглядывая в кухню...

— Вы сидели в кресле?

— Да.

— При вашем участии мы провели следственный эксперимент и убедились, как вам известно, что с того места, где вы сидели, прекрасно видно плиту.

— Я не смотрел на нее тогда, пропади она пропадом!

— Вы ждали кофе. И вас должно было интересовать, скоро ли закипит чайник.

— У человека, когда выпьет, быстро меняются желания.

— Совершенно верно. Кроме жажды...

Да, и Ковалю, и Спиваку было трудно без веских доказательств. Это понимали и они сами, и, очевидно, подозреваемый.

— У вас нет и не может быть никаких доказательств,— произнес Павленко.— И все ваши домыслы — чепуха на постном масле. Да, да!

— Да,— неожиданно согласился Коваль, крайне удивив и обрадовав этим подозреваемого.— Прямых доказательств у нас нет. И даже ваше признание не приведет вас на скамью подсудимых, если мы не найдем подтверждения вашей вины.

И Спивак, и полковник понимали, что признание не есть «царица доказательств», однако в данном случае они не могли без него обойтись и стремились его получить.

— Вот именно,— удовлетворенно кивнул Павленко.— Вот именно,— повторил он уже чуть ли не с издевкой, и еле заметная судорога пробежала по его щеке.— Если бы вы и обнаружили на ручке плиты или на чайнике отпечатки моих пальцев, так это тоже не доказательство. Я не раз и не два бывал у Антона... Мог когда-нибудь и помочь по хозяйству...

— Да,— согласился полковник,— пока только мы вдвоем знаем, что вы не захотели выключить газ, когда выплеснувшаяся из чайника вода залила огонь. Вы прекрасно понимаете, что сейчас вас нельзя официально обвинить,— честно признался Коваль.— Без веских доказательств мы бессильны. Как известно, согласно закону, все сомнения трактуются в пользу подозреваемого. Но хочу, чтобы вы знали и не обманывались: я не успокоюсь, пока не найду доказательства. Если я не ошибся в своем предположении, если вы действительно виновны, то я должен доказать вашу вину во имя справедливости — высшего закона человеческого общежития.

— Вряд ли вы их когда-нибудь найдете, такие доказательства.—

Тусклый взгляд Павленко оживился. — Их невозможно найти. Поймите меня правильно: я ни в чем не виноват.

— Если ошибаюсь, приму любое наказание. Но я уверен, что это не произойдет, так как у нас, кроме фактов, есть еще два серьезных союзника.

Павленко удивленно посмотрел на полковника.

— Нина?

— Нет, не Нина. После преступления всегда остаются следы. Даже после преступного бездействия. И мы найдем эти следы, которые станут доказательствами, а второй, — Коваль сделал паузу, — ваша совесть.

Не ожидая такое услышать, Павленко растерялся.

— Совесть? — пробормотал он. — А какая же может быть совесть у меня, у убийцы, как вы считаете?! Но я не убийца, поймите меня...

— Справедливость сегодня еще не торжествует и зло пока не наказано. Но всю жизнь вас будет преследовать воспоминание о преступлении и страх. И раньше или позже ваша совесть победит трусость и заставит прийти с повинной.

— Мне не в чем виниться.

— Ну тогда объясните, почему в тот трагический вечер в десять сорок семь вы звонили в Киевгаз и расспрашивали, как отключить газ... — вдруг сказал полковник. — Для чего вы это делали?

Павленко, казалось, был сражен наповал. Он начал что-то бормотать, Коваль смог разобрать только отдельные слова: «Я не знаю... не звонил... Киевгаз? Какой Киевгаз...» — но потом и этот шепот перестал срываться с дрожащих губ подследственного.

Тем временем Спйвак вставил в магнитофон кассету. В кабинете зазвучали голоса. Сначала женский: «Диспетчер слушает», — потом после короткой паузы — взволнованный мужской — голос Павленко. Запинаясь, голос спросил: «Скажите, пожалуйста, как перекрыть газ в квартире, не входя в нее?.. Где находится вентиль всего дома?.. Скажите, если в квартиру проникает газ, через сколько времени человек угорает?»

«Вы что, пьяны? Не хулиганьте! — строго произнесла женщина. — Говорите, что случилось? Ваш адрес?»

Послышались короткие гудки.

Снова звонок. Плачущий голос Павленко произнес: «Поймите меня правильно...»

Следователь выключил магнитофон.

— Это — копия. Экспертиза установила, что голос, записанный во время нашей первой беседы в горотделе, — Коваль жестом показал на магнитофон на столе, — и голос, записанный на диспетчерской пленке Киевгаза, принадлежит одному и тому же лицу, то есть вам...

Теперь при наличии у нас точных анализаторов речи, осциллографов, новых ЭВМ такое сличение голосов не представило трудностей. Вы, как инженер, должны это понимать... Итак, почему вы звонили в Киевгаз, что значит ваш вопрос: «Через сколько времени человек угорает?» Отвечайте.

— Клянусь, это не я... — шептал Павленко. Казалось, он совсем потерял голос. — Не я погубил Антона... Поймите меня правильно..

Сейчас подследственный представлял собой жалкое зрелище: бледное

лицо покрылось красными пятнами, зрачки расширились, губы тряслись. Руками он вцепился в кресло, словно боялся, что выпадет из него. Для него, очевидно, вся комната наполнилась страхом.

— Можете посадить меня,— продолжал он шептать,— но не я, не я... Нет, нет!..

— А кто же? Скажите.

— Я не знаю... не знаю... не знаю...

Коваль отвел взгляд от Павленко, уж очень ничтожным показался ему этот человек.

Вспомнился разговор у дочери со студентом-физиком Афанасием о чувстве вины, присущем некоторым людям с психическими отклонениями. В сложных ситуациях такие люди могут приписать себе то, чего в действительности не сделали, взять на себя чужую вину, как это произошло с растерявшимся, слабовольным художником Сосновским, признавшимся в убийстве, которое не совершал...

Здесь же было все наоборот. У Павленко — человека тоже неуравновешенного — не хватало, по мнению Ковалья, мужества сказать правду.

Дмитрий Иванович сейчас не жаловал в мыслях этого молодого человека, и все же какое-то шестое чувство не давало Ковалю до конца поверить, что перед ним сидит настоящий убийца. Вероятно, такое чувство появилось оттого, что понимал шаткость обвинительной позиции: если даже будет установлено, что Павленко ушел из квартиры Журавля последним, это еще ничего не доказывает. Доказать же, что он оставил горелку открытой преднамеренно, невозможно, так же как и то, что, уходя из квартиры, подозреваемый вообще не обратил внимания на горелку.

Единственным доказательным фактом, хотя и косвенным, является звонок в Киевгаз. Но подозреваемый всегда может сказать, что он пошутил спьяну или даже похулиганил.

Дмитрию Ивановичу вдруг снова вспомнился лес его детства, таинственная Колесниковая роща, в зарослях которой он заблудился ребенком, смятение, охватывавшее его в ней. Наверное, потому вспомнилось, что он и теперь пытается заглянуть в самые сокровенные уголки, только уже человеческой души, пытается понять самые необъяснимые поступки, чтобы тайное стало явным, и, как всегда, переживает сомнение, удастся ли с чувством исполненного долга выйти из темного леса неизвестности на свободный простор истины.

Спивак тоже видел, что у подследственного нарушено душевное равновесие.

— Так что, Павленко, может, все-таки расскажете правду? — спросил он.— Я же вижу, в вас борются противоположные чувства... Облегчите душу честным рассказом.

— Борьба духа в человеке непостижимое таинство его...

Недовольно ворча себе под нос, полковник подписал пропуск. Спивак напомнил подследственному, что тот не должен никуда выезжать без разрешения.

Вячеслав Адамович кивнул и, сутулясь, тяжело ступая и пошатываясь, словно на него давил непомерный груз, вышел из кабинета.

Через несколько дней после допроса Павленко обнаружилось, что Вячеслав Адамович исчез: не показался больше в институте, не было его и дома, и Варвара Алексеевна, встревоженная отсутствием мужа, прибежала в милицию выяснить, не арестовали ли его.

Подошел Новый год, подарил киевлянам обилие снега, елочные базары, плановые хлопоты, новогодние вечера и вечную надежду на то, что новый год будет лучше старого. Потом пролетел «старый Новый год», закончились школьные каникулы, во дворах появились выброшенные из квартир осыпавшиеся елки.

Ковали уже освоились в своей новой квартире, в их семью пришли другие волнения и заботы. Предчувствия не обманули Дмитрия Ивановича — Наташа влюбилась в Хосе и весной следовало готовиться к свадьбе. Коваль и рад был и не рад решению молодых людей. Рад тому, что Наташа, наконец, сделала свой выбор. Но волновался, не зная, как поступят после свадьбы молодожены: останутся в Союзе или уедут на родину Хосе. Если уедут — удастся ли Наташе завершить образование, как ей там будет, вдали от Родины. Но самое главное, при мысли о том, что Наташа решится так далеко и, возможно, навсегда уехать, его охватывала гнетущая тоска, словно его маленькая «щучка» увезла бы с собой всю его прошлую жизнь и ему пришлось бы доживать свои дни в одиночестве. Дмитрий Иванович боялся признаться себе в этом, так как это было нечестно по отношению к Ружене, которую он по-своему тоже любил, но у которой, кроме него, была и своя жизнь.

Дмитрию Ивановичу было обидно, что дочь, принимая такое важное решение, не посоветовалась с ним, а поставила перед фактом. Но он быстро простил ее. Только теперь по-настоящему понял, что сердце всегда будет болеть за дочь, где бы она ни оказалась и что бы с ней ни произошло, и что все ей простит.

Стараясь забыть эти тревоги, полковник все больше времени отдавал работе. Завершить начатые еще в прошлом году уголовные дела по поводу смерти Килины Сергеевны Христофоровой и гибели молодого ученого Антона Журавля не удалось. Папки с документами этих дел не сдали в архив, и полковник Коваль иногда, отложив текущие дела, возвращался к ним.

На Вячеслава Павленко был объявлен всесоюзный розыск.

Коваля не оставляла мысль: почему он сбежал? Чем бы ни занимался полковник, этот вопрос постоянно мучил его. Почему удрал? Ведь прекрасно понимал, что вину его невозможно доказать на основании собранных розыском фактов! Или, может, действительно прав был тот юноша — Афанасий, — может, и вправду страх помимо воли присутствует в нас даже тогда, когда знаем, что невиноваты?.. Или что-то другое толкнуло Павленко на уход — конфликт с женой, разочарование в работе?.. Так все же: «Почему он удрал?»

Не закрыто было и дело о смерти Христофоровой. В комнате портнихи судмедэксперты скрупулезно изучили все подозрительные следы, которые могли бы помочь определить направление поиска убийцы. Обнаружили от-

печатки пальцев на ручке двери, ведущей в комнату Килины Сергеевны, те же самые на платье погибшей, образовавшиеся, когда убийца рванул его, но особенно внимание привлекло несколько волосинок, снятых с платья портнихи и найденных на полу. Они принадлежали не Христофоровой.

Еще несколько лет назад эта находка вряд ли помогла бы розыску. Но теперь, когда судебно-медицинская экспертиза может проводиться на молекулярном уровне, тайн больше не было.

Лабораторный анализ этих волос дал возможность установить их генетическую структуру и сделать вывод, что они были **вырваны**, а не упали сами. Носители генетической информации — хромосомы, наблюдаемые под микроскопом, засвидетельствовали, кроме того, что волосы принадлежали женщине выше среднего роста, чернявой, обладающей повышенной агрессивностью.

Ковалю следовало сначала максимально расширить круг лиц, которые общались с портнихой, а потом сузить его до такой степени, чтобы в нем остался только один человек, только та женщина, которая напала на Килину Сергеевну.

Это оказалось нелегкой задачей и потребовало много времени.

Дмитрий Иванович старательно разыскивал заказчиц портнихи и неожиданно выходил на женщин столь высокого общественного положения, что взять у них показания стоило определенных трудов. Все в один голос заявляли, что Килина Сергеевна была настоящей художницей, что они уважали и ценили ее. Клиентки ахали по поводу ее нелепой гибели, и в их сочувственных излияниях явственно слышалось недовольство из-за появившейся необходимости искать новую портниху.

В конце концов в кругу у Ковалю никого не осталось. Или он не в ту сторону забрасывал свою сеть, или она была рваной и в последнюю минуту улов уходил из нее.

А время шло. Уже прозвенела первая капель. У метро, в подземных переходах города появились женщины и подростки с охапками ивовых прутьев, первыми подснежниками за полтинник, и люди, истомившись по весне, покупали их, хотя знали, что не следует поощрять губителей природы.

В один из таких первых весенних дней, когда в воздухе еще только чуть-чуть ощущается дыхание приближающегося обновления, когда особенно чувствуется противостояние зимы и весны, Дмитрия Ивановича вызвал к себе начальник управления.

Пригласив полковника сесть, он положил перед ним грязный, весь в пятнах, мятый и надорванный почтовый конверт с письмом и небольшую сопроводительную записку. На конверте было написано: «Полковнику милиции Д. Ковалю».

Дмитрий Иванович прежде всего прочел сопроводилку. В ней Управление внутренних дел на транспорте сообщало из Якутска, что возле станции, в старом сарае, был найден замерзший неизвестный, в рваном узбекском халате. «При осмотре никаких документов не было обнаружено... Под широким кожаным поясом, надетым на голое тело, был небольшой холщовый мешочек, в котором лежало данное письмо... Управление внут-

ренных дел считает, что, возможно, это письмо адресовано полковнику милиции Д. И. Ковалю, сотруднику МВД Украины, и содержит некоторые важные сведения.

Просим подтвердить получение письма и правильность установления адресата».

— Ваша популярность, Дмитрий Иванович, — произнес с одобрительной улыбкой генерал, — распространяется на всю страну. Скоро достаточно будет сказать: «Инспектор Коваль» — и все будут знать, о ком говорится.

Дмитрий Иванович хорошо знал своего начальника. Это был тот молодой генерал, который, сменив предшественника, постарался вернуть на службу Ковалю, необоснованно уволенного в отставку. Правда, Дмитрий Иванович получил не прежнюю должность, а стал консультантом в управлении, но тем не менее это было возвращение к активной жизни.

Генерал был строг и требователен. Улыбался подчиненному он редко, деловые отношения, сама служба не способствовали благодушию, и сейчас дружеское замечание начальника, чего скрывать, было по-человечески приятно Дмитрию Ивановичу, хотя — черт возьми! — Ковалю слышались в голосе генерала и нотки зависти. Неужели это страшное чувство не щадит даже таких людей?! Впрочем, может, это ему показалось — занимаясь делом Павленко, он уже у всех подозревает этот порок.

Однако в данную минуту ему было не до этих тонкостей, и с разрешения генерала он взял с зеркально-полированной поверхности стола письмо.

«Я не убийца, хочу, чтобы вы это знали, и поэтому пишу. Думаю, вы сейчас ищете меня по всей стране... Не ищите! Поймите меня правильно, я не боюсь, что найдете и арестуете, не боюсь потому, что я не совершал преступления.

Во время последнего допроса вы говорили о справедливости. И если бы дал вам себя арестовать и судить, вы сами совершили бы большую несправедливость, осудив невинного. Мой дух, моя лунная богиня, унося меня в свои необозримые призрачные поля, спасла не меня, она удержала вас от совершения преступной ошибки. Вы боретесь против несправедливости?.. А разве все справедливо было вокруг нас? Разве существует абсолютная справедливость? Разве справедливо поступил Антон, украв у меня идею изобретения; разве справедливо поступала судьба, осыпая его своими дарами, в то время как я, лишенный их, страдал; разве справедливо, что Нину она отдала сначала пьянице, а потом бросила в объятия пресыщенного Антона, хотя я исстрадался, мечтая о ней всю жизнь, ждал, искал и готов был служить ей как богине?! Да еще много и много такого...

Вы хотели знать правду о смерти Журавля, я вам ее расскажу, но зло, вернее, то, что вы считаете злом, наказано не будет.

В тот вечер я узнал о нечестном поступке Антона, и меня потрясло его предательство. Нисколько не стесняясь своего поступка и, очевидно, считая меня ничтожеством, перед которым нечего стесняться, он дал мне читать рукопись, которую принесла Нина и в которой моя идея излагалась

как его собственная находка. Он уже подал, оказывается, заявку в Госкомизобретений. Мое имя даже не упоминалось...

Нина тогда еще не все напечатала. Но и того, что я прочел, было достаточно. Душа моя горела, мне не было жалко изобретения, на нем не заканчивались мои идеи, знания, но было больно, что Нина, мой нежный лунный свет, моя богиня, печатая эти страницы, снова восхищалась тем, как талантлив ее избранник. Поймите меня правильно: этого я не мог вынести. Я весь как в огне горел...

Потом Нина ушла домой...

Однако ни при ней, ни без нее я не сказал Антону ни слова, ничем не выразил своего страдания.

Вы все добивались от меня, кто раньше ушел, кто оставался с Антоном, почему две, а не три чашки для кофе стояли на столе, видел ли я плиту и чайник из комнаты, и о прочей чепухе спрашивали.

Я слушал вас и думал, как трудно пробираться истине и справедливости сквозь дебри всей этой муры. В какую-то минуту я даже пожалел вас, немолодого человека, пытающегося доказать недоказуемое... И то, что я звонил ночью в Киевгаз, не смогло помочь вам обвинить меня.

Но сейчас все расскажу по порядку.

После того как Нина ушла, мы еще выпили с Антоном. Он все больше пьянел, все сильнее бахвалился, а я молчал и трезвел. Я не высказал ему своей обиды, мне не хотелось получить от него еще один щелчок по носу, вызвать насмешку над собой, а он, видя мою робость и, очевидно, понимая мою боль, все больше хорохорился, вызывая меня на скандал.

Но я молчал.

Вскоре Антон устал и уgomонился. Он только глядел на меня ошоловелыми глазами, пытался даже поцеловать, просил прощения и бормотал что-то вроде сакраментального «ты меня уважаешь?».

Я же сидел, терпя ужасные душевные муки. Поймите меня правильно! Я думал о том, что мир соткан из несправедливостей... О кофе я, конечно, забыл... Мне было не до него...

На последнем допросе вы говорили о совести. Мне горько и смешно было вас слушать. Вы же неглупый человек, знаете жизнь, неужели действительно считаете, что следует жить по совести?! Совесть теперь только мешает человеку. Она не в почете. Совестьливые голышом ходят, а бессовестные... Ближайший пример: хват Антон и я — щепетильный заяц...

Прочитав мое письмо, вы, наверное, подумаете, что оно есть результат пробудившейся совести. Но это не так... Я просто хотел объяснить вам, что в смерти Антона никто не виноват, кроме него. Такие люди не имеют права на жизнь...

Но идемте дальше...

Вскоре Антон повалился на диван, на котором сидел, и захрапел. Я не уходил, обуреваемый горестными мыслями. Сколько времени просидел — не знаю.

Потом услышал стук в дверь и пошел открывать. Это была моя Варя, она заждалась и пришла забрать меня домой. Так она иногда поступала, когда я очень задерживался.

Увидев ее, я вдруг расплакался. Не скажу, что любил ее,— любил и люблю я на всем свете только Нину,— но Варя была единственным близким человеком, с которым я мог поделиться своей обидой.

Подвел ее к столу, на котором среди тарелок и чашек лежала рукопись Антона. Не сдерживая рыданий, я опустился на стул и рассказал ей все. Она стояла рядом, прижав мою голову к своей груди, и гладила меня. Наша общая обида родила в ней гнев, она не знала, чем утешить меня, но вдруг сказала: «Идем домой... не переживай, все будет хорошо...» Я поднялся и послушно пошел за ней.

Дома она помогла мне раздеться, потушила свет и легла рядом.

Я прижался к ней, и она продолжала меня успокаивать. Мне показалось, что это не Варвара, а лунная богиня Нина обняла меня. Мои страдания, мои душевные боли и обиды, преследовавшие меня с детства, опалили в те минуты душу очистительным огнем, и я вдруг понял высший смысл человеческого существования. Он заключается в отказе от себя, от своих ничтожно-мелких земных претензий, от своего самолюбия, гордыни, от «я». Нужно раствориться в вечности, решил тогда я. Поймите только меня правильно. Это не значит убить себя — у меня не хватило бы духу. Вы верно меня обозвали трусом, я не спорю. А сейчас я решил, что нужно раствориться в отказе от себя.

Однако в тот момент я еще не был готов, меня продолжали мучить приступы слабости, жалости к себе и беспричинной тоски, и я снова начинал плакать.

Так мы лежали долго. Я все время просил у Вари холодной воды, и она несколько раз безропотно вставала. Она переживала за меня, тоже нервничала, гладила и повторяла, что любит меня, что я самый дорогой человек, что для меня готова на все...

Потом вдруг сказала: «Перестань наконец терзаться. Журавель больше не встанет у нас на пути»,— и сама заплакала.

Я сначала не понял ее, растерялся — я никогда не видел, чтобы Варвара плакала, как другие женщины, и в свою очередь принялся утешать ее...

Она сказала: «Журавля уже нет на свете. Он умер».

«Как умер?! — удивился я. — Почему это умер? Он просто уснул».

«Да, уснул,— сказала она. — Навсегда. Он отравился газом, который идет в комнату из кухни. Я чувствовала запах газа».

«Это, наверное, Нина забыла закрыть горелку! — вскричал я. — Боже мой!»

«Не знаю, кто забыл закрыть, но, почувствовав запах, я заглянула в кухню и увидела, что горелка плиты открыта».

«И ты ее не закрыла?»

«Нет,— твердо ответила Варвара.— Не я ее открывала, не мне ее закрывать. Не моими руками послано это ему... А у нас теперь наконец будет человеческая жизнь.— Она прошептала: — Мы будем богаты, Слава, богаты, богаты... И счастливы! Никто тебя теперь не обидит...»

И я понял все.

Варя росла в послевоенной нищете, на своей Мышеловке. Всю жизнь она рвалась в более обеспеченное общество, но образование сумела полу-

чить только среднее. Этого ей было мало. Наконец стала бухгалтером, но цели своей все равно не достигла и считала, что не «вышла в люди». Потом она вышла замуж за меня, молодого, перспективного, как она надеялась, ученого. Я, правда, тогда еще студентом был.

Но и здесь ее ждало разочарование. Я не смог избавить ее от серого прозябания, не смог создать ей легкую, красивую жизнь, о которой она мечтала с детства.

Я не дал ей закончить. «Как ты могла! — испуганно закричал. — Ты же убийца!»

Я вскочил с кровати, включил свет и стал лихорадочно искать одежду. Варя сидела на постели в нижней сорочке, обхватив голову голыми руками. Взгляд ее был устремлен не на меня, а куда-то в пространство, волосы были распущены, она не двигалась и походила на ведьму.

Потом она опустила руки и совсем спокойно произнесла:

«Не суетись... Все равно уже поздно. Он мертв... И это не я, а бог наказал его за воровство, за тебя...»

И тогда я бросился к телефону... Дальнейшее вам удалось пронюхать: как я звонил и что говорил... Но и это вам не помогло посадить меня в тюрьму, теперь вы знаете, я ни в чем не виноват, и любые попытки доказать мою вину никогда не привели бы к успеху...

Слушая мой разговор по телефону с диспетчером Киевгаза, Варя сказала:

«Не нужно поднимать шум. Он все равно уже мертв, и в убийстве обвинят тебя».

Она приблизилась ко мне и попыталась, утешая, обнять. Но я оттолкнул ее. Мне показалось, что это тянутся ко мне костлявые руки скелета. Я проклинал ее. Она ответила: «Не ври, ты доволен. Я сделала это вместо тебя. Ты сам хотел этого, ты страстно завидовал Антону и ненавидел его. Я же знаю. Но ты не смог бы воспользоваться случаем, своим единственным шансом, у тебя не хватило бы решимости, ибо ты трус. Я понимала это и взяла все на себя».

Тогда я ее ударил, впервые в жизни. Она опустилась на пол, обняла меня за колени и снова заплакала. Но я вырвался, набросил на себя халат и вышел в коридор, надеясь своими ключами открыть дверь Антона. Я утешал себя надеждой, что Антон еще жив, я закрою газ и вытащу беднягу на воздух...

Но ключи не подходили, а стучать я боялся, чтобы люди не услышали и потом не обвинили меня. Как бы я объяснил им, почему рвался ночью в квартиру Антона!..

В этот момент я услышал шаги на лестнице и бросился в свою дверь. И тогда, не имея возможности изменить ход событий, скрепя сердце я примирился со случившимся. Меня терзали противоречивые чувства: я и страдал за Антона, и радовался, что это сделал не я, и оправдывал себя тем, что хотел его спасти, хотя и не смог.

Я всю жизнь страдал от духовной дисгармонии, от разрыва между мечтой и действительностью, от смутного ощущения несправедливости по отношению ко мне со стороны судьбы и людей. И я часто приходил в отчаяние из-за того, что я никогда ничего не мог изменить.

И вот теперь я получил не только физическое, но и духовное освобождение. Меня нет, меня не стало. Я ушел от всего этого и растворился в вечности... Я стал сыном богини Луны, которая дает серебряное сияние, Мужскую и Женскую силу. Я буду бродить по миру, пока не найду ту точку на Земле, куда опускается прямой луч лунной богини и по которому к нам нисходят ее посланцы... Силой своего притяжения моя богиня из космических далей двигает на Земле воды морей и океанов... Ее сила безгранична и питает меня...

До сих пор в моей жизни были только смешные мелкие заботы и хлопоты. Теперь же, когда я сделал наконец великое открытие — нет, не какой-то там шлифовки! — когда узнал, что не солнце властвует над землей, а Луна, ибо недаром сказано, что живем мы в «подлунном мире», я получил новую жизнь. Я верю, что когда все люди признают истинную мать и придут вместе со мной поклониться богине Луне, на мир опустится благоденствие и счастье...»

— Гм,— произнес Коваль, читая дальше приписку:

«Я не предаю свою жену, как вам, наверное, кажется при чтении моего письма. Поймите меня правильно. Я знаю, что это письмо не может служить доказательством преступления Варвары, и поэтому смело пишу правду. Вы никогда не докажете ее вину, не докажете, что она видела открытую горелку и не захотела закрыть газ, ибо это доказать невозможно... Вы были уверены, что я погубил Антона, что я сбежал от кары, потому что очень хочу жить. Это все не так. Я понял, что Нина для меня навеки потеряна, и не смог больше жить ни с Варей, ни в том доме, ни в вашем городе, я не смог больше жить среди вас!»

Письмо Павленко не подписал и даты не поставил.

— Ваше мнение, Дмитрий Иванович? — спросил генерал, когда Коваль дочитал письмо до конца.— Достаточно ли этого,— он кивнул на мятые листки,— для обвинения Варвары Павленко? У автора письма, боюсь, не совсем ладно с психикой.

— Очень все сложно, товарищ генерал,— ответил Коваль, медленно потирая затылок, словно у него разболелась голова.— Он и на допросе пытался изобразить себя невменяемым. А что касается Варвары Павленко...— Коваль на миг замялся. Он никак не мог собраться с мыслями. Где-то глубоко в его сознании, еще в дни активного розыска, рождалась догадка о причастности Варвары Алексеевны к трагической гибели Журавля. Такой догадке способствовало изучение образа жизни этой женщины, ее интересов, характера. Но почему же он не дал этой догадке созреть? Что ему помешало? Конечно, отсутствие фактов, которые могли бы привести к доказательствам. Он вспомнил, как настоятельно требовал фактов и только фактов следователь Спивак. Впрочем, факты нужны были и ему, но он должен был поверить своей интуиции и больше заинтересоваться Варварой Павленко.— Надо посоветоваться в прокуратуре, товарищ генерал. Да и я еще раз попробую найти доказательное подтверждение этому,— он положил листки на стол.— Письмо не подписано, но, сличив почерк с почерком замерзшего Павленко, легко убедиться, что писал именно он... Завтра я вызову его жену...

— Добро,— согласился генерал.— И посоветуйтесь в прокуратуре... А письмо присоедините к делу... Надеюсь, теперь у нас одним нераскрытым будет меньше...

21

День выдался по-весеннему теплым. Варвара Алексеевна пришла в милицию без пальто, в платье, на плечи была наброшена далеко не новая кофта со множеством затяжек.

На кофточке, словно свидетельство безмятежного состояния души, был приколот маленький голубой подснежник. Волосы ее были как всегда гладко зачесаны назад и перевязаны лентой.

Поздоровавшись, Варвара Алексеевна положила на стол перед Ковалем повестку, принесенную ей участковым, и вопросительно посмотрела на полковника.

Дмитрий Иванович в свою очередь внимательно оглядел женщину, как будто впервые увидел и хотел сразу определить, что за человек перед ним, как с ним разговаривать и что от него можно ожидать. Он сразу заметил, что со времени их первой встречи на Русановке она очень похудела, словно перенесла тяжелую болезнь.

— Вы не имеете никаких сведений о муже? — спросил он, когда женщина опустилась на стул.

Варвара Алексеевна покачала головой.

— Хорошо,— сказал полковник, заполняя бланк допроса.— Должен допросить вас, гражданка Павленко, как подозреваемую по делу о гибели гражданина Журавля Антона Ивановича.

Женщина не шелохнулась, только чуть напряглась, в темных глазах ее появилась настороженность да едва заметно затрепетали ресницы.

Видя, что Павленко особо не реагирует на его слова, Коваль решил начать с главного.

— Зачем вы так поступили?

— Вы о чем? — с напускной беспечностью спросила женщина, хотя ей явно стало не по себе.

— Почему не перекрыли газ в тот вечер у Журавля?

Коваль произнес это спокойно, будто говорил о чем-то простом и незначительном. Он понимал, что нельзя однозначно ответить на его вопрос о причинах, толкнувших на преступление. Их много, осознанных и неосознанных. Но среди них была главная, стержневая. Это — **зависть**. Патологическая зависть не только к Журавлю, которая жила в душе постоянно и наплевала все существо, зависть ко всем: к сотруднице, сшившей новое платье и доставшей французскую помаду, к знакомой, удачно вышедшей замуж, к соседям, купившим машину, даже к случайно встреченной на улице женщине с красивой фигурой... Зависть с молодых ногтей ко всем, всем, всем, кто не жил на Мышеловке, не страдал от чувства неполноценности, ко всем, кто, по ее мнению, принадлежал к верхушке общества...

Коваль не знал, откуда берется в человеке это немилосердное, мерзкое чувство. Что питает его? У Варвары Павленко оно зародилось, возможно,

еще на Мышеловке с ее старой прибазарной моралью, за много лет не вытравленной новой жизнью.

Зависть разъедала ее душу, как и душу Вячеслава, и они жили в ней будто в ядовитом тумане. Удачи, легкая, как им казалось, жизнь Журавля, проходившая на их глазах, постоянно раздражали, создавали дискомфорт в их повседневной жизни... Нужен был толчок, чтобы все взорвалось...

— Я не понимаю вас, — сердито произнесла Варвара Алексеевна. — Какой газ? При чем тут я?

Дмитрий Иванович с грустью смотрел на сидящую перед ним женщину. Он понимал, что пробиться к ее душе, вызвать на откровенность будет нелегко. Но он так же знал, что должен это сделать.

— Говорю об убийстве Журавля. Да, именно убийстве... — твердо сказал, словно о факте доказанном. — Нет, не ваш муж, который был пьян и не заметил открытого крана, повинен в этом. Это **вы** увидели плиту, чайник на ней, открытую, без огня, горелку и почувствовали запах газа. И тогда быстрее увели мужа из квартиры, зная, что Журавель уже не проснется... **Вы** сами в этом признались мужу, когда уже было поздно что-либо предпринимать... **Ваше** преступление особенно безнравственное и тяжкое потому, что вы были уверены в своей безнаказанности...

Женщина была потрясена. Она застыла на стуле, не сводя с полковника остановившегося взгляда. Он увидел, как раскрываются черные омуты ее глаз, и словно обжегся бешеным огнем. Какие страсти бушуют в этой женщине, какая сила злой воли спрятана в глубине ее души!

— А вы ведь еще могли спасти человека, когда только почувствовали запах газа, — с горечью добавил полковник. — Вы не только Журавля погубили, но и мужа, и себя...

Павленко прикрыла рукой глаза. Перед ней с грохотом обрушивались стены воздушных замков, превращались в пыль высокие башни, и она снова копалась в этой пыли, как когда-то девчушкой на своей запущенной Мышеловке среди старых облупившихся и покосившихся домишек, полных тараканов, клопов и всякой рухляди.

Она хорошо помнила тот миг, когда почувствовала запах газа и увидела открытую горелку плиты. Она тогда сразу все поняла. Но не сразу решилась. В сердце ее кипела обида за мужа, который, обняв ее за талию, пьяно жаловался на судьбу, на обидчика, отнявшего у него так много и сейчас безмятежно храпевшего на тахте. А Вячеслав продолжал оправдываться, что не может принести ей счастья потому, что его всегда унижают и грабят.

Она хорошо помнила тот миг. Словно что-то толкнуло ее в сердце, оно забилось чаще, и обида стала горькой как полынь. Стоило только не прореагировать на запах, не заметить маленькую черненькую ручку крана на плите, не заметить, что она повернута... Только и всего... Да и вообще, как ее заметить, эту маленькую пластмассовую черную ручку на черном фоне кружка крана?!

Сердце ее чуть не разрывалось в груди от сильных ударов, кровь билась в висках, комок подкатил к горлу, в глазах потемнело, и она действительно ничего не видела... Она схватила мужа за руку и почти вслепую потянула

к двери... Да, да! Она ничего, ничего не видела!.. И ничего не было... Сон, мираж — и только...

Варвара Алексеевна отняла руку от глаз и посмотрела на Ковалю. Он тоже был еще не реальным, расплывчатым и призрачным.

Она покачнулась на стуле, нашла прежнее устойчивое положение и сказала:

— Я? Почему я? Откуда вы это взяли?

— В таком случае, напомним все, как было.

И Коваль не спеша, методически, словно вбивая гвоздь за гвоздем в сооружаемое им здание обвинения, начал излагать события того вечера. Павленко слушала его, отведя взгляд, и с каждой новой деталью, с каждым новым фактом скрупулезно восстанавливаемых событий все ниже опускала голову.

Дмитрий Иванович дошел до эпизода, когда она ночью, признавшись мужу, успокаивала его, а потом, сидя на полу, и сама разрыдалась.

— Почему вы плакали тогда? — спросил полковник. И тут же ответил. — Вы оплакивали Журавля и саму себя.

Павленко, которая только что, казалось, была раздавлена неоспоримыми фактами, вдруг выпрямилась и, бросив на Коваль тяжелый взгляд, сказала:

— Теперь все ясно. Вы посадили моего мужа и выбили из него признание. И он наплел вам все, что вы хотели... Бедный Славик! Держите его в тюрьме, а всем морочите голову, что он сбежал!

— Нет, — сказал Коваль. — Не посадили, не выбивали, не морочим голову. Ваш муж погиб в Якутии, замерз... Вот его последнее письмо. — Полковник вынул из ящика мятые грязные листки и один из них подал Павленко.

Варвара Алексеевна недоверчиво взяла его в руки, но, узнав почерк мужа, жадно пробежала глазами несколько строк. Потом брезгливо отложила бумажку в сторону.

— Ну и что! Барвинок?.. Может, и так... — Она помолчала. — Но этот бред еще не доказательство. Это писал больной человек, который искалечил себе и мне жизнь... — Павленко говорила уже не с вызовом, а удрученно, как-то обиженно. — Всю нашу жизнь я тянула его на своих плечах. Заставила пойти в аспирантуру, все время толкала его, толкала, толкала... Все за него пробивала... Все на себя привыкла брать! Все его заботы, всю его боль... И вот... Разве вы знаете что-нибудь о моей жизни?!

Варвара Алексеевна не могла успокоиться. Она потянулась за письмом, но полковник уже положил его в ящик.

— Все там неправда, — брезгливо произнесла Варвара Алексеевна. — Да, неправда! — повторила, словно утверждаясь сама в этом выводе. — И про любовь тоже. Ему только казалось, что влюблен в эту самую... Нет, он только со мной был одним целым, только я была его опорой... Только я! Я это знаю, я это чувствовала, потому что я — женщина, потому что я любила... Да, да, очень любила!.. Его боль была моей болью, — с горечью говорила женщина. — А теперь что же?.. Какая-то Нина?.. Ничего не понимаю... Он никогда не давал мне повода... — бормотала она в глубокой растерянности, потом наконец умолкла.

Коваль также какое-то мгновение, словно физически ощутив силу любви и обиды этой женщины, не знал, что сказать.

Павленко вдруг поднялась со стула:

— У вас нет никаких оснований меня задерживать. Я могу быть свободна?

Коваль остановил ее:

— Садитесь, гражданка Павленко.

Она продолжала стоять.

— Вы действительно хотите меня арестовать? Я же сказала: все, что написано, неправда. Он всю жизнь обманывал меня, а теперь обманул и вас. И вы не имеете права...

— Значит, это он отомстил Журавлю?

— Нет. И он ни в чем не виноват.

Полковник смотрел на Варвару Алексеевну оценивающим взглядом. Поникший подснежник на кофточке женщины его раздражал.

Действительно, кроме письма Вячеслава Адамовича, доказательств у него не было. Да и доказательство ли это письмо? И он, Коваль, должен сейчас отпустить эту женщину и на этом закончить свои поиски...

Он это понимал. Но чувствовал, что нельзя оборвать на этом вопрос. Мучительно пытался понять, почему, собственно, так тревожит его эта женщина, почему так не хочется ее отпускать.

И вдруг... Ему стало трудно дышать. Он не мог отвести глаз от черных, блестящих, туго затянутых волос Павленко. Да, она выше среднего роста, чернявая, у нее волевой, решительный, даже агрессивный характер! Если только экспертиза не ошиблась... Да не могут же они ошибиться!

То, что пришло к Дмитрию Ивановичу, было не просто вдохновением. Вдохновение, как известно, это особый, длительный по времени, настрой души, который вызывается желанием творить, что-то сделать, найти. А это было озарение, стремительное как удар молнии — невероятная мысль, которая возникает неожиданно для самого себя, непонятно как, почему, откуда и вдруг за короткий миг освещает совершенно новым и сильным светом все, что ранее пряталось в глубокой тени. Эта мысль давно рождалась в подсознании, накапливалась из мельчайших крупинок, обрывистых, незначительных сведений, которые варились там, словно в котле, соединяясь в самые причудливые сочетания, распадаясь и снова соединяясь, пока не выстроились в единственно верную догадку и решительно ворвались в сознание.

Он сказал уже уверенным тоном:

— У нас впереди большой разговор. Садитесь и расскажите теперь, почему напали на Христофорову в ее квартире?

Если бы упал потолок на голову Варваре Алексеевне, ей было бы легче. Она как-то боком опустилась на стул, едва не упав. Ее лицо стало серым и безжизненным. Женщина сразу потускнела и постарела.

Но в этом состоянии Павленко находилась недолго. Овладев собой, она подняла на Ковалья уже не злой, а растерянный и даже умоляющий взгляд, и Дмитрий Иванович понял, что попал в точку, что сопротивление сломлено и женщина сейчас все расскажет.

Он не ошибся.

— Вы что, — продолжил свой допрос полковник, — враждовали с Христофоровой? Какие были причины?

— Я не хотела ей сделать больно, — запинаясь, начала отвечать Павленко. — Я не виновата. Я пришла просить, чтобы не наговаривала на Вячеслава, будто он хотел смерти Журавля и ушел в тот вечер после машинистки. Она ведь ходила по всему дому, все вынюхивала, всех расспрашивала, и я боялась, что принесет нам беду...

Павленко умолкла, собираясь с мыслями, и тяжело вздохнула.

— Вы убили ее, — сказал Коваль.

— Нет, нет! — закричала Павленко так, что ее услышали в коридоре и в кабинет заглянул проходивший мимо офицер. Коваль жестом приказал ему закрыть дверь.

— От вашего толчка Килина Сергеевна упала и умерла.

Павленко рыдала, положив голову на стол. Сквозь отчаянные всхлипывания слышна была отрывистая речь, но Коваль разбирал только отдельные слова: «Я не хотела... она сама... она поскользнулась».

Полковник налил в стакан воду и попытался напоить женщину. Павленко не могла пить, голова ее тряслась, стакан ударялся о зубы, и неловкий Коваль облил ей платье.

Он возвратился на свое место и терпеливо ждал, пока женщина выплачется. Смотрел на ее вздрагивающие плечи, на опущенную голову и почему-то думал сейчас не о преступлении, а о том, как аккуратно затянуты ее волосы, как чернота их отликает синевой, словно воронье крыло. И не о погибшей Христофоровой, не о допросе были его мысли, а о том, как далеко ушла наука, как помогает она находить истину, и что когда-нибудь, возможно скоро, неотвратимость разоблачения и наказания станет всем очевидной и люди покончат с преступлениями. Ведь если уже сейчас по расположению, количеству и состоянию хромосом в клетке можно определить, кому принадлежит волос: мужчине или женщине, рост человека, с длинными он или короткими руками, с высоким или низким интеллектом, то недалек и час, когда уличить в преступлении будет весьма несложным делом.

Более того, уже установлено, что существуют и генетические «отпечатки» личности, которые абсолютно точно определяют конкретного человека. Доказано, что в молекуле ДНК есть участки, характерные исключительно для того или иного индивидуума. Таким образом, можно установить личность подозреваемого, сравнивая спектр полос, полученных на основании молекул его ДНК, со спектром полос, которые находятся, например, в волосе, кусочке ногтя, кожи, обнаруженных на месте преступления.

Но преклоняясь перед наукой, Коваль, думая о преступниках, все-таки возлагал надежды не на страх человеческий, а на душевную доброту. Ему не однажды приходилось сталкиваться с людьми, потерявшими человеческий облик, но он всегда надеялся и ждал, что эти люди со временем приподнимут голову, взглянут на преступление его глазами, ужаснутся — и этим очистятся, и душа их возвратится к изначальному состоянию.

Когда прошел нервный спазм, Павленко сказала:

— Поверьте мне... Я не виновата. Я ничего не знала. Она упала, а я

убежала, я боялась, она сильнее меня... Я пришла не ссориться. Поверьте мне. Я ее убеждала, что Вячеслав не виноват, что он ушел домой ничего не заметив... Я просила ее не ходить в наш дом. А она закричала: «Вы все там виноваты! Вы и ваш муж убили Антона!»

И тогда я не выдержала и ударила. Она вцепилась мне в волосы, и я оттолкнула ее изо всех сил... Я не знаю, почему она упала, наверное, поскользнулась на лоскутках, валявшихся на полу. А я не оглядываясь бросилась наутек... Боже мой, боже мой,— простонала Павленко.— Как же это так получилось?

В памяти Ковалья неожиданно всплыл последний разговор с Христофоровой. Теперь он понял причину растерянности портнихи в конце той беседы. Килина Сергеевна начинала понимать, что дело не в Нинке, на которую она все время грешила, а в Павленко, но постеснялась тогда сразу отказаться от своего укоренившегося убеждения. Прозрение и стоило ей жизни...

Полковник снял трубку и позвонил Струцю.

— Виктор Кириллович, зайдите.

Когда старший лейтенант вошел в кабинет, Коваль указал на Варвару Алексеевну, молча вытиравшую платочком мокрое от слез лицо.

— Отведите гражданку Павленко на экспертизу волос и заодно снимите отпечатки пальцев...

Женщина тяжело поднялась со стула и, не взглянув на Ковалья, всем своим видом показывая, что ей теперь все равно, покорно пошла впереди старшего лейтенанта.

Когда за ними закрылась дверь, полковник некоторое время сидел, устремив взгляд в пространство. Он тяжело дышал, словно в комнате не хватало воздуха: сказывалась возрастная стенокардия, которой Коваль боялся больше всего. Потом его взгляд упал на пол, и он увидел увядший цветок, голубой каплей лежавший у ножки стула.

Дмитрий Иванович поднял его, сделал несколько бесцельных шагов по кабинету и решительно приблизился к окну. Резким движением открыл фрамугу. В кабинет ворвался свежий весенний ветерок — ворвалась весна — и Коваль облегченно вздохнул...

Киев,

1984—1986



ГОТОВИТСЯ УБИЙСТВО

ПОВЕСТЬ



В мире есть две вещи, изумляющие тем больше, чем больше о них думаешь, это — небо над нами, полное звезд, и моральный закон внутри нас.

Иммануил Кант

Ворскла річка невеличка, береги ламає.

*Украинская
народная присказка*

1

По случаю приезда в Выселки Ковалья ужин Пидпригорщуки накрывали рано, на воздухе, на деревянном столике под старой ветвистой акацией. С этого двора начинался обрывистый спуск к Ворскле и открывался прекрасный вид: желто-зеленая долина, простиравшаяся до горизонта, где ее пересекала темная гребенчатая полоска бора; белые облака над ней — отсюда, сверху — казались рядышком — рукой дотянуться; и бескрайнее, еще хранящее румяные отблески солнца небо.

После дневной жары здесь можно было прийти в себя: от заречной долины веяло легкой прохладой. Дмитрий Иванович с горечью подумал, как задыхаются сейчас его друзья киевляне среди нагретых каменных зданий, испарений асфальта.

Он осматривался. Большой одноэтажный дом Пидпригорщуков стоял на просторном дворе, на взгорье, испещренном тропинками, которые вели вниз к реке. На холмистых склонах приткнулось еще несколько домов на довольно большом расстоянии друг от друга, окруженных садами и огородами.

В доме Пидпригорщуков, который делился на равные половины, имевшие отдельные входы, жили два брата со своими семьями: старший — Василь и младший — Петро. Сейчас их жены хлопотали, накрывая стол, и полковник Коваль с интересом наблюдал за ними. Быстрая, порывистая в движениях чернявая Лида, жена младшего Пидпригорщука — Петра, быстро расставляла тарелки, гремела вилками и ножами, и Дмитрию Ивановичу казалось, что вилки и ножи чем-то рассержены. В это же время миловидная толстушка, жена Василя, — Оля, которая приезжала к полковнику в Киев и позвала в гости, переваливаясь как уточка, сновала между хатой и столом и каждый раз что-нибудь приносила из хаты: то тарелку с нарезанным хлебом, то помидоры и огурцы, то холодец или курятину... Когда полковнику надоедало наблюдать за женщинами, он отводил от них взгляд и снова любовался приятным пейзажем, открывавшимся со взгорка.

Он чувствовал себя немного неловко из-за того, что вся эта суэта вызвана его приездом.

Ждали с работы мужчин. Они вот-вот должны были приехать, но все не появлялись, и с каждой минутой у Дмитрия Ивановича это чувство неловкости нарастало, он думал: так ли необходимо здесь его присутствие, может, зря поспешил в Выселки?

Несколько дней тому назад в его квартиру позвонили. Ружены не было дома, и он сам пошел открывать дверь. На пороге стояли миловидная женщина и невысокий коренастый мужчина лет тридцати пяти, темные от загара, с выгоревшими на солнце бровями.

Убедившись, что они ищут именно его, Коваль пригласил их в квартиру.

В гостиной посетители назвались Пидпригорщуками, сказали, что они из деревни Выселки, из-под Кобеляк, и что привело их к полковнику неотложное дело. Мужчина вынул из кармана тетрадный листок, на котором косо, задираясь в правый угол, были наклеены буковки, вырезанные, очевидно, из какого-то журнала, и протянул его полковнику.

Коваль прочитал: «Убирайся отсюда навсегда, иначе тебя ждет смерть!»

«Подбросили прямо в дом,— произнес мужчина, и уголки его губ обиженно поджались.— Не мне,— ответил он на вопросительный взгляд Ковалья.— Нас двое братьев Пидпригорщуков,— объяснял он, пока полковник рассматривал листок,— я — Петро и старший — Василь, а это Оля — жена Василя, а мою зовут Лидой. Живем двумя семьями в отцовском доме, у каждого своя половина. У меня с Лидой двое детишек: Верунька и младший — Мишка, у Оли,— кивнул на женщину,— тоже двое: Андрейка и Парасочка. Живем дружно... И вот такая напасть... Оля нашла у себя, на своей половине, кто-то подбросил — ясно, что Василь, у него врагов хватает, а он смеется, дешевка, говорит, чепуха, и в милицию заявить отказался... Мы и к вам тайно поехали. Он ничего не знает... Но Оля сама не решилась, упросила меня...»

На глазах женщины выступили слезы. Губы ее что-то прошептали. Коваль догадался — просила прощения за беспокойство.

«Заходил в тот день в дом кто-нибудь чужой?» — спросил Олю.

Женщина смахнула с ресниц слезы. «Не знаю. Не видела. Мы, когда на работу уходим, двери только на защелку закрываем, да и детишки целыми днями по двору носятся. И я в тот день на работу поздно ушла. С утра постирушкой занялась».

«Конечно, заходил,— уверенно сказал Петро Пидпригорщук,— когда тебя дома не было. Иначе как это можно подбросить... Вот без замков теперь живем, товарищ Коваль, хотя слава о наших Выселках когда-то худая была, бандитским селом называли и даже девчат наших замуж не брали, хотя какие красавицы! Вы это, наверное, тоже помните, ведь земляк наш... Но выходит, не исчезли у нас еще всякие пережитки да недожитки!» — горько закончил он.

Пидпригорщук говорил правду.

Когда-то, еще до революции, на холмах, у широкой наезженной дороги, которая вела от уездного городка к железнодорожной станции Лещиновка, поселились два цыгана, слепили с грехом пополам неказистые мазанки, потом возле них построились еще несколько пришлых,

уже не цыган, людей без роду-племени, которых пригнало в эти теплые края несчастье. Сюда, на плодородные черноземные просторы над Ворсклой, приходили горемыки и споткнувшиеся в жизни удальцы, энергичные и смелые ловкачи. Люди считали, что высельчане потому и облюбовали место возле большого Полтавского шляха, по которому на базарку со всей губернии ездят, чтобы грабить проезжих купцов. Да и до станции тут дорога — каких-то двенадцать верст. С того времени и повелось: когда речь шла о каком-нибудь наглеце, прохвосте или невежде, говаривали, что он, наверное, из Выселок.

Дмитрию Ивановичу вспомнилось детство, как пугали этими Выселками: не будешь слушаться, отдадим в Выселки, а там одни разбойники да цыгане, там, если ослушаешься, церемониться не будут: или убьют, или ноги вывернут назад, глаза выколуют да и посадят на базаре милостыню просить. И дети утихали, услышав такую угрозу. Коваль и сам, когда мальчишкой ходил на станцию мимо Выселок, оглядывался настороженно и старался побыстрее миновать это страшное место, знаменитое резней, убийствами и безумной гульбой.

Однако не все отрекались от Выселок. Вскоре после войны, будучи еще не женатым, Дмитрий Коваль встретил в Харькове земляка — молодого художника, который поспешил жениться и взял девушку из этих самых Выселок. Удивленно переспросил: «Из Выселок?» А тот улыбнулся в ответ: «Только там теперь чистую девушку и найдешь. Они ведь гордые, берегут себя!»

Все эти воспоминания промелькнули в голове полковника, и ему приятно было услышать от гостя: «Теперь без замков живем».

«Очень просим вас, Дмитрий Иванович, приезжайте к нам и разберитесь! Какой это мерзавец Василю угрожает? Ведь действительно может пролиться кровь... Я его расспрашивал, кого он подозревает, а он только отмахивается, глушости, говорит, все это, некогда над этим голову ломать». — Пидпригорщук сомкнул губы уголками вниз.

Женщина снова вытерла глаза.

«А «итальянец»? — говорю ему. — Которого ты весной дважды поймал с ворованными кормами. А сынок его, Грицько? — спрашиваю дальше. — Да разве только они. Вспомни, сколько самогонных аппаратов ты позабирал?!»

«Василя, конечно, это тоже беспокоит, но вида не подает, — вставила женщина. — Мы приехали к вам без его ведома... Конечно, влетит мне по первое число, ну да пусть...» — с отчаянием в голосе произнесла она.

«Я не могу этим заняться, — отказывался Коваль, продолжая вспоминать, что он знает о Выселках, расположенных всего в трех-четырех километрах от его родных Кобеяк. Недобрая слава разбойницкого гнезда шла о хуторе еще некоторое время после революции, а в тридцатые годы там образовался колхоз и школьников уже не пугали Выселками, а посылали туда собирать овощи. Сейчас от рассказа земляков на Дмитрия Ивановича словно повеяло ветром родины. — Я уже на пенсии, отставник», — продолжал, однако, он отказываться.

«Вот, вот, — схватился младший Пидпригорщук за его слова, — значит, со временем у вас проще да и можно без всяких официальныхностей.

Просто погостите у нас по-земляцки, не спеша разберетесь. Знаем, слышали о вас... И именно как земляка осмелились побеспокоить. Увидите, наши Выселки уже совсем не те, какими вы их помните. Это только один такой бандит,— кивнул Пидпригорщук на бумажку, лежавшую перед ними на столике,— сохранился, пережиток какой-то... Ну да вы с ним справитесь!.. Знаем и о том, Дмитрий Иванович, что вы рыбалку любите. Здесь, в Днепре, я думаю, пока он не очистился от всяких стронциев, не очень-то половишь, а наша Ворскла чистехонькая, и рыба тоже, вода как слеза. Поживете у нас, в нашей хате. Места хватит. Так, Оля? — обратился он к женщине.— У нас с ними дом большой. Половина их, половина — моя. А дети в пионерлагерь собираются, совсем свободно станет, у вас будет отдельная комната... А о Василе,— вздохнул он,— мы очень беспокоимся... Он у нас старший, значит, за отца...»

«Вам следует обратиться в милицию. Покажите это,— Коваль снова взял тетрадный листок в руки,— вашему участковому».

«В том-то и дело, что не хочет Василь связываться с милицией. Он и сам немножко милиционер... То есть командир сельской дружины, и ему неловко обращаться за помощью... И вообще, Дмитрий Иванович, кто будет с этим возиться?! Кому нужно?! Положат под сукно, или, если шум поднимут, этот,— Пидпригорщук кивнул на бумажку,— сначала притихнет, а потом, когда все забудется, отомстит Василю... Или хуже того — найти не найдут, а люди Василя обсмеют, с нашими выселчанами держи ухо востро!» Он замолчал, по привычке обиженно сжав губы уголками вниз.

«Василь не обратится в милицию,— подтвердила женщина.— Очень просим вас, Дмитрий Иванович, приезжайте, помогите... Вы же наших людей знаете, сами на Ворскле выросли, быстро разберетесь... Отец мой, Порохня Андрей, с вами в одном классе учился, в первой школе. Не помните?»

«Почему же, Порохню помню. Да и всех наших. Как он?»

«Погиб на фронте»,— вздохнула Оля.

Несколько секунд помолчали. Дмитрий Иванович из семнадцати соучеников предвоенного выпуска нашел только пятерых.

«Да ведь в милиции вашей люди тоже местные, обстановку знают, найдут этого автора».

«Дмитрий Иванович! — Оля, казалось, готова была разрыдаться.— Дмитрий Иванович!..»

Петро Пидпригорщук, уже потеряв надежду привезти полковника в Выселки, сидел молча.

«Чем занимается в колхозе ваш брат?» — вдруг спросил его Коваль.

«Механизатор. Передовик соцсоревнования... Но не в этом дело. Он во все нос сует. Любит правду-матку в глаза резать. А бывает, и меры принимает... Ну конечно, добровольная дружина, так что многим залил за воротник горячего... Вот и боимся за него... Хотя народ у нас уже не тот, что раньше, но, видите, находятся еще выродки... Может, от какой-то яблони яблоко недалеко откатилось...»

«Значит, такой правдолюбец ваш брат не по служебным обязанностям?»

«На общественных началах,— подтвердил Пидпригорщук.— По совести... И вы, Дмитрий Иванович, тоже ведь на общественных началах могли бы помочь,— вдруг, обрадовавшись своей изобретательности, заблестел глазами гость.— Тем более что вся эта беда у Василя из-за того, что он ваш помощник, то есть я имею в виду милицию».

«О, вы хитрец»,— улыбнулся Коваль.

Пидпригорщук, чувствуя, что полковник заколебался, заговорил быстро, взволнованно:

«И я вас, Дмитрий Иванович, не как полковника, а просто как дорогого земляка приглашаю погостить... Наверное, давненько на родине не бывали... В райцентре, на том месте, где ваша хата стояла, на горе, теперь гостиница, но все равно люди говорят не «там, где гостиница», а «там, где Ковали жили».

С того пригорка, самого высокого в местечке, малому Митюхе когда-то открывался мир, необъятный и необозримый, как мощеная улица, которая вела в долину и казалась ему бесконечной. Там был дивный мир — в нем пыхканье молотилки было дыханием невидимого дракона, а за горизонтом, в который упиралась улица, жили таинственные сказочные чудовища. Интересно, какой увидится сейчас ему, поседевшему, потрепанному жизнью, эта долина, где каждую осень стучала молотилка, вызывая в нем безудержное стремление проникнуть в неизвестный и, может быть, опасный, но такой привлекательный взрослый мир. Или навсегда исчез для него тот дивный загадочный мир, который окружал его в детстве, исчезло очарование родного края?

Оставив беспокойную службу, Коваль терзался безделием. Мерил широкими шагами новую квартиру или часами сидел на балконе: перед ним вдалеке синел могучий Днепр и расстилались заднепровские дали. Когда работал, не находил времени посидеть за книгой, читал урывками. Теперь времени было с лихвой, а к книгам не тянуло. Все вспоминались ему прежние розыскные дела, снова переживал их перипетии, а иногда по-новому осмысливал их, делал, как шахматист, новые ходы, радуясь, что и они ведут, как и раньше, к тем же выводам.

В душе он обрадовался этому неожиданному случаю, позволяющему ему еще раз встретиться с тайной и погрузиться в исследование глубинных человеческих страстей. В конце концов он не имеет права прятаться со своим опытом. Понимал справедливость слов Пидпригорщука о том, что в районе не будут заниматься такой мелочью, как этот подброшенный листок. Разговор в милиции о профилактике правонарушений, предупреждении трагедий много, но все равно продолжают жить по пословице «пока гром не грянет...». И шевелятся обычно, когда предупреждать уже становится поздно... Поэтому, если говорить честно... А там видно будет, следует ли обращаться в официальном порядке, поставить в известность райотдел милиции... Впрочем, это он уже сам начал уговаривать себя принять предложение Пидпригорщук.

Но вот издали послышался все усиливающийся треск. Во двор вкатился мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел Василь Пидпригорщук, а в коляске — его брат.

Дети гурьбой побежали им навстречу. Лида воскликнула:

— Наконец-то! Умывайтесь быстрее, голубцы остывают!

Василь Пидпригорщук подошел к Ковалю знакомиться. Поприветствовал, протянул крепкую руку:

— Василь Кириллович.

Полковник одним взглядом охватил его фигуру, словно сделал моментальный снимок. Перед ним, обнимая прильнувших детей и неловко улыбаясь, стоял коренастый мужчина лет под сорок. Коваль подумал: «Как он похож на брата!» От старшего Пидпригорщука веяло здоровьем и каким-то теплом, которое будто окутывало собеседника. «Удивительно, — подумал дальше полковник, — чтобы кто-нибудь желал смерти такому славному человеку».

Женщины позвали к столу. Василь бросился к рукомойничку, прибитому к отвесной доске в углу двора, потом, вытирая руки и приглашая вперед себя Ковалья, направился с ним к столу.

Стол был богатый: жареная рыба, холодец, сало, голубцы с кашей и мясом, куры. Оля сварила картошку, посыпала ее укропчиком. Посредине стола красовались твердые соленые и свежие огурцы, тугие помидоры. Дмитрию Ивановичу вдруг вспомнились голодные годы в этих краях. О двадцать первом он знал из рассказов родителей, а вот зиму тридцать второго — тридцать третьего, когда из-за неурожая и преступлений начался голод, когда отец и мать опухли и еле выжили, он вовек не забудет. Не забудет и следующую весну. Он с меньшим братиком, презрев все страхи, ходил в совхоз возле Выселок прорывать свеклу за мучную затируху, которой там кормили полольщиков. Бывали и счастливые дни, когда кухарка, сочувствуя ребятам, наливала в банку еще и второй черпак и они несли его домой.

Как богато стали жить сейчас! Но почему так получилось, что хлеб на столе, благосостояние в доме не смирило у людей злых порывов, а, наоборот, словно усилило их?! Может, потому, что, заботясь о хлебе, забывали о душе?

От водки Дмитрий Иванович отказался, выпил стакан холодного пива и теперь ругал себя, что не удержался и не поберег горло, в котором частенько поселялась ангина. Но целодневная жара, пока добирался сюда из Киева, так изнурила его, что страшно хотелось чего-нибудь холодного. То, что Коваль отказался от водки, сдерживало и хозяев — они тоже ограничились пивом, хотя запотевшая бутылка «Столичной», поставленная на стол «для порядка», все время притягивала взор младшего Пидпригорщука — Петра, который, поглядывая на нее, сглатывал слюну.

Беседовали за столом главным образом о новой экономической политике, о семейном подряде в сельских условиях. Коваль узнал, что Петро Кириллович со своим огородным звеном в прошлом году на Выставке народного хозяйства получил медаль и в этом году также готовит экспонаты, что жена Василя Оля вместе с ним трудится в звене овощеводов, а Лида — в бухгалтерии колхоза, что Василь Кириллович — депутат сельсовета и только его, командира добровольной дружины, побаиваются выселчанские нарушители порядка.

Эти разговоры мало интересовали Олю. Она не отводила взгляда от

полковника, каждую минуту ожидая, что он заговорит о деле, ради которого приехал. Однако Коваль пока не затрагивал эту тему.

— Дмитрий Иванович, что же нам делать? — наконец не выдержала она. — Василию прямо хоть из дома не выходи... А он еще рейдует в поле по ночам, ловит воришек! Да когда он и дома, все равно на душе неспокойно. Я теперь и сплю чутко, все прислушиваюсь: мышь зашуршит под полом — просыпаюсь, ветер в окно стукнет — мне чудится, будто кто-то лезет в хату. Пока вы не узнаете, кто это грозитя Василию, мне покоя не будет».

— Ой, Оля, Оля, не знал я, что ты у меня такая трусиха, — белозубо засмеялся муж. — Очень хорошо, что вы приехали к нам, своим землякам, — обратился он к полковнику. — Мы рады вам и гордимся, что именно у нас остановились, — продолжал он несколько велеречиво и, наверное, пряча при помощи этого тона свою неловкость, — но та бумажка — Олин перепуг — просто глупая шутка, не больше, подбросил кто-то, чтобы посмеяться надо мной, не обращайтесь на это внимания, отдыхайте у нас, купайтесь, рыбачьте, подышите чистым родным воздухом. Вот на днях откроется сезон, поедem на уток... Я даже рад, что подбросили эту дурость, иначе разве увидели бы вас здесь, — улыбнулся он.

— Нет, нет, Василь! — вспыхнула Оля. — Это нешуточное дело. Так и товарищ полковник считает, раз согласился приехать. Так ведь, Дмитрий Иванович? — умоляюще взглянула женщина на Ковалья.

Тот молча кивнул, не вмешиваясь в беседу и давая возможность всем высказаться.

— Я тоже так думаю, — решительно поддержала Лида жену Василя. — Это не шутки, Василек, — обратилась она к деверю. — Врагов у тебя достаточно. — Она нежно и грустно взглянула на него, словно уже хоронила. — Берегись, Василь... Подумай хотя бы о Ковтуне, об «итальянце», и его Грицьке. Они на все способны! А Бондарь, у которого мать осудили за самогон тоже не без твоей помощи? А Барсуки? Ты у них дважды отбирал незарегистрированные ружья; а они еще где-нибудь раздобудут... А воровство в поле?.. Переехал бы ты лучше в другое село. Как говорится, дальше очи — дальше сердце... А то, гляди, действительно подстрелят! — Она вдруг засмеялась, совсем не к месту, чем удивила Ковалья. — Зовут же тебя в «Завет Ильича», дом обещают поставить, что тебе еще нужно?! — Голос женщины снова стал жалобным, Лида словно умоляла деверя не рисковать жизнью. Дмитрию Ивановичу подумалось, как прекрасно, когда близкие люди так любят и тревожатся друг за друга. — Нам однажды уже пробовали красного петуха подпустить, — объяснила Лидия Антоновна Ковалю. — Угол до сих пор стоит обгоревший, некогда побелить. Только счастливый случай спас, а то ведь и хата сгорела бы, и мы с ней. Ты, Василек, таки хочешь дожидаться, когда еще раз подпалят? — снова с осуждением в голосе обратилась женщина к деверю.

— Я никого не боюсь! — вспыхнул Василь Кириллович. — И вам не советую. Глупости все это! И новой хаты в «Завете» не хочу, мне и половины нашей достаточно. А поджигателя я найду, раньше или позже...

При этих словах мужа Оля только вздохнула. Она привыкла подчиняться его воле, и решительный ответ его не оставлял надежд, что с

бедой, которая вдруг свалилась на их семью, будет покончено. Лида тоже словно увяла, услышав ответ деверя.

«Вот еще одна проблема,— подумалось Дмитрию Ивановичу,— отцовский дом. Не земля, не груша на меже, а дом. В двадцатом столетии крыша над головой стала основной проблемой... Действительно, братьям тесновато на своих половинах когда-то просторного отчего дома.— Коваль уже знал, что на долю каждого из них приходится по две комнаты с боковушкой.— Пока детишки были маленькими, обе семьи это вполне устраивало, но время идет, дети растут... Впрочем,— рассуждал далее полковник,— вряд ли это обстоятельство имеет какое-либо отношение к угрожающей записке».

— Все же хорошо, Дмитрий Иванович, что вы приехали,— задумчиво произнесла Лида.— Это таки не шутка... Может, хоть вы спасете этого упрямца.— Она почти ничего не ела и, как и все, время от времени с интересом поглядывала на Ковалья. Да и неудивительно. Кого не интересует личность известного на всю страну сыщика, к тому же земляка? — Ведь и вы так считаете, как и Оля, если приехали... Но, честно говоря,— вдруг оживилась женщина и почему-то улыбнулась,— не представляю, как можно найти виноватого?

— Не очень сложно,— так же улыбнулся в ответ полковник.— Все обычно устанавливается либо по почерку подозреваемого, либо по отпечаткам пальцев. Да и другие есть возможности: по идентичности бумаги, чернил, клея и тому подобное. Существуют различные криминалистические экспертизы, при помощи которых не трудно раскрыть любую тайну.

— А-а-а,— протянула Лида,— выходит, у вас под руками целая наука... Я слышала, что вы действительно распутывали очень таинственные дела. Конечно, наука плюс ваш личный талант,— подлизывалась женщина.— А тут еще и доказательство есть — записка... Кстати, где она сейчас? У кого? — Лида обвела всех взглядом.— Дайте посмотреть, если можно,— это она уже обращалась к Ковалю,— а то говорим, говорим, а я ее еще и в глаза не видела.

Полковник вынул из нагрудного кармана белой чесучовой куртки небольшой бумажник, раскрыл его и протянул женщине сложенный вчетверо тетрадный листок.

Та взяла его осторожно, будто боялась запачкаться или того, что он выстрелит.

— Здесь не написано, а печатные буквы наклеены! — воскликнула она.— По почерку не докопаться!

— Для розыска это не составит трудности,— успокоил ее полковник.— Я уже объяснял.

Петра Пидпригорщука листок совсем не интересовал. Говорил он за столом мало, словно полностью выговорился в Киеве, когда убеждал Ковалья приехать в Выселки, бросил лишь несколько фраз, поджимая после каждой губы, от чего уголки рта обиженно опускались. Если бы Петро Кириллович не добивался бы так приезда Ковалья, можно было бы заподозрить, что он чем-то недоволен.

— Я уже видел,— буркнул Лиде, протянувшей ему гадкий листок,

еще раз печально взглянул на бутылку водки, которая отпотела, и, вздохнув, принялся снова ковырять вилкой в тарелке.

— Хотелось, чтобы каждый из вас подробно рассказал об односельчанах,— попросил Коваль.— Что за люди живут рядом, какие у вас взаимоотношения, особенно у Василя Кирилловича,— кивнул на старшего Пидпригорщук.— Вот вы, Лидия Антоновна, какого-то «итальянца» вспомнили. Что за личность? И кого еще есть основание подозревать?.. Да и вы сами, Василь Кириллович, не должны отмахиваться, если хотим установить истину... Кого, например, вы подозреваете?

Пидпригорщук пожал плечами.

— А бог его знает! Ой, Оля, Оля,— покачал он головой, посмотрев на жену,— подняла ты бучу!

— Тебе всегда все безразлично! — рассердилась женщина.— А о детях ты подумал?

Лида еще некоторое время повертела в руках тетрадный листок и, видя, что Петро совершенно не интересуется им, а Оля отмахивается от него, словно от гадюки, вдруг испуганно оглянувшись, потом бросила тревожный взгляд на Василя, будто кто-то уже изготовился стрелять в него, неожиданно негромко вскрикнула, швырнула бумажку с угрозой на стол, вскочила и, всхлипнув, бросилась к дому.

Все посмотрели ей вслед.

— Что с ней? — спросил Коваль.

— Нервы,— буркнул Петро.— Не в порядке... Не обращайтесь внимания, это у нее бывает: то смеется, то плачет. Извините, я сейчас.

Он не спеша поднялся и пошел за женой. За столом воцарилась тишина.

— Это она, бедняжка, за Василя переживает...— вставила Оля.

— Мы уж ее лечили. Из райбольницы не вылезала,— сокрушенно сказал старший Пидпригорщук.— Петро собирается в Полтаву, к профессору. Есть в Полтаве такой. Знаменитый невропатолог. Тоже, кстати, земляк. Правда, к нему не просто попасть. В райбольнице обещали дать направление. Да все руки у нас с Петром не доходят, жатва, работы по горло, скоро и зябь поднимать, вот проведем обжинки... тогда уже...

— Он, Третьяк, вроде тоже с моим отцом учился в одной школе и с вами, Дмитрий Иванович,— сказала Оля.

— Какой это Третьяк?

— Андрей Семенович, теперь профессор.

— Если это тот самый Андрей, то мы с ним договоримся,— пообещал Коваль.

Вскоре возвратились к столу Петро и Лида. У Лиды были красные заплаканные глаза, но она, казалось, полностью успокоилась и даже пробовала улыбаться.

— Извините,— обратилась она к Ковалю,— мне почему-то вдруг стало страшно, очень страшно! — Женщина передернула плечами, словно озябла.— Но уже все в порядке.

Она снова села за стол и начала задорно смеяться, будто хотела подчеркнутой веселостью возместить свою истерику.

— Я могу вам, Дмитрий Иванович, обо всех рассказать. Потому

что Петро мой — молчун, а милая Оля, кроме мужа, детей да своих овощей, мало что знает... А я целый день в конторе, все толкутся. Байки и выселчанские сплетни мимо меня не проходят.

Оля, обидевшись на Лидины слова, занялась детьми, позвав их к столу ужинать, а Дмитрий Иванович устроился с Лидой на скамейке у спуска к реке и, поглядывая то на чернявую собеседницу, то на реку, поблекшую долину за ней и низкое седеющее небо, внимательно слушал рассказ о сегодняшних Выселках и взаимоотношениях выселчан. Лидия Антоновна нравилась ему какой-то воинственной женственностью — во время беседы черные цыганские глаза ее то и дело поблескивали — и тем, как интересно рассказывала об односельчанах, которых характеризовала образно, с многочисленными подробностями.

Слушая Лиду, Коваль поймал себя на мысли: «Что этой женщине нужно в жизни? Что недостает ей, чтобы быть уравновешенной и здоровой? Но человеку, — думал он дальше, — всегда чего-то не хватает, на то он и человек... И так должно быть. Очевидно, и этой чернявой, с несколькими коричневыми родинками на лице, экспансивной женщине чего-то не хватает в жизни. Но, с другой стороны, что ей еще желать: крепкая семья, любящий муж, милые детишки? Возможно, работа не удовлетворяет или мучает какая-то тайна, о которой знает только она?»

Ответа на этот вопрос Дмитрий Иванович не имел, да в конце концов и не собирался его искать...

2

Старый Ковтун — «итальянец», как его дразнили в Выселках, — жил недалеко от Пидпригорщук, на соседнем холме, ближе к Полтавской дороге.

Дмитрий Иванович решил с ним познакомиться и, поразмыслив, нашел для этого предлог. Коровы у Пидпригорщук не было — молоко для детей брали в колхозе, и Коваль подумал, что проще всего пойти к Ковтунам за молоком, ведь дачники, которые селились с детьми вблизи Ворсклы, покупали именно у них. Да и правду сказать, Дмитрий Иванович любил перед сном выпить стакан свежего молока, которого последнее время был лишен. Несмотря на заверения газет, что в Киеве и теперь, спустя год после черныбыльской трагедии, молоко проверяют и в магазин попадает только чистое, годное к употреблению, Ружена не покупала его.

До дома Ковтунов добраться было не просто. Идти вокруг далековато, а напрямик, по пригорку, который круто обрывался у реки, миновав небольшой овражек, можно было сразу вскарабкаться к подворью и зайти, так сказать, с тыла. С трех сторон от асфальтированного большака и соседей старый Ковтун отгородился высоким забором, и калитка открывалась не сразу. Сначала чужак должен нажать кнопку на косяке. Тогда в хате хозяев слышался звон и Иван Ковтун не спеша выходил во двор и, с подозрением поглядывая на свою же калитку, гадая, кто же там стоит, крадучись шел к ней.

Полковник преодолел овражек и вдруг обнаружил, что от реки Ковтун

тоже отгородился. Пожалев досок на четвертую сторону двора, он натянул над самой кромкой обрыва, на двух столбцах, не сразу заметную глазу проволоку и насадил кусты колючего боярышника. «Настоящая крепость!» — подумалось Дмитрию Ивановичу.

Ковалю пришлось возвратиться и идти к калитке вдоль забора по нетоптаному, достигавшему пояса бурьяну.

Старый Ковтун встретил его неприветливо, бросил из-под бровей настороженный взгляд: кто такой? и что нужно? Но не успел это сказать, так как полковник молча поднял бидончик. Жест был достаточно выразительным. Взгляд хозяина немного смягчился.

— Мне бы молочка,— произнес Дмитрий Иванович.

Весь вид немолодого, седовласого добродушного мужчины, одетого в старенькие вельветовые брюки, с которых Коваль еще не собрал весь чертополох, нацепившийся по дороге, успокаивал, и покрытое морщинами лицо Ковтуна прояснилось.

— Да не знаю,— сказал дед, поглаживая затылок,— у меня люди все забирают... А вы кто будете? Тоже дачник?

— Как сказать,— доверительно улыбаясь, ответил Коваль. — Можно и так считать. Решил пожить здесь у вас: чистый воздух, река близехонько... В нашем с вами возрасте ох как он необходим — чистый воздух.

— «Близехонько»! — хмыкнул Ковтун. — По таким обрывам спускаться! И у кого же вы остановились? — допрашивал он, все еще не расставаясь со своей подозрительностью.

Полковник помедлил с ответом. Он разглядывал старого Ковтуна, у которого был очень неряшливый вид: расстегнутая, давно не стиранная, черная от грязи рубашка тряпкой висела на его плечах, голые, тоже черные, ноги виднелись из-под коротких измятых штанов, державшихся на теле при помощи старого скрученного пояска. Дмитрий Иванович понял, что «итальянец» не просто экономный, а крайне жадный человек. Разглядывая Ковтуна, полковник словно примерялся к нему: способен ли этот человек на такой агрессивный поступок, как убийство. Положительный ответ он пока дать не мог.

Впрочем, здесь больше всего его интересовал сын Ивана Ковтуна — Грицько, который работал шофером в Кобеляках и домой приезжал не ежедневно. Больше всего потому, что именно он, как рассказала Оля, не только частенько угрожал Василю, а даже пытался побить. Перед тем как нашли в хате Пидпригорщуков угрожающее послание, Василь поймал обоих Ковтунов с ворованным на току зерном. Это было вечером, когда уже совсем стемнело. Ковтуны везли на тачке два мешка с зерном. На дороге, кроме них, никого не было, и, пользуясь тем, что свидетелей нет, Грицько набросился на Пидпригорщука. Наверное, раскроил бы палкой голову, если бы тот вовремя не отклонился...

Сына Ковтуна на дворе не было, и Коваль не решился спросить о нем, боясь вызвать подозрение. Пока приходилось довольствоваться беседой со стариком, придумывая, как раздобыть оттиски пальцев на бидончике не только отца, но и сына.

— Вы здесь один живете? — все-таки не удержался полковник. — Жены нет?

Дмитрий Иванович задал этот вопрос, чтобы как-то продолжить разговор — нестираная одежда хозяина была для него и так достаточным свидетельством отсутствия в доме женской руки.

— Да, жены нет. Живем вдвоем с сыном... Так вы у кого поселились? — повторил свой вопрос «итальянец».

«Настоящий допрос!» — улыбнулся про себя Коваль и решил ничего не скрывать.

— У Пидпригорщук, — махнул рукой вбок, куда-то в направлении реки.

— У этих чертовых мафиози?! — глаза Ковтуна вспыхнули огнем, лицо скривилось. — Друзья они ваши или родственнички? Нет, нет, — он отпрянул от Ковалья, — я с ними дела не имею.

— Но не им же молоко, а мне, — запротестовал полковник. — И не родственники они мне. Ни то, ни другое. Просто снял комнатку, искал поближе к реке.

— Так вы у Петра или у того вредного карабинера Василя?

— У Петра Кирилловича. А что это вы их так не любите, своих соседей? — поинтересовался Коваль.

— Да Петро еще так-сяк, но Василь! — Ковтун аж скрипнул зубами. — Жестокий человек, жандарм настоящий, карабинер!

Но ответ полковника, казалось, немного успокоил деда.

— Люди обычно здесь, возле меня, селятся, на пригорке, — буркнул он, — а не над обрывом.

— Шумно здесь, у дороги, а я тишину люблю. Живу в Киеве. Грохот уши набил.

— Да и ходить вам за молоком ко мне не очень удобно, нужно карабкаться через овражек, — отговаривал Ковтун.

Коваль только вздохнул.

— Ну да ладно, — наконец смиростивился «итальянец». — Если по рублю, то как-нибудь литр найду. Будете брать вечернее. Молоко у меня жирное, постоит — сливок полбанки будет, — добавил он и, когда полковник в знак согласия кивнул: «Мне больше и не нужно», отошел от калитки, открывая гостю дорогу во двор. Там он наконец забрал из рук неожиданного посетителя алюминиевый бидончик и, указав Ковалю на скамейку, поставленную под ивой, направился к хате.

Дмитрий Иванович внимательно осматривался. Подворье было по-хозяйски обустроено. В глубине его виднелся часток, за которым стояли два бычка, где-то за хатой, в хлеву, хрюкала свинья, копались в пыли куры. Цепной пес, все время беспокойно бегавший по длинной проволоке вдоль хаты, стоило хозяину скрыться в ней, снова начал рычать и бесноваться, как и в те первые минуты, когда полковник только подошел к калитке.

— Доброе у вас хозяйство, — сказал Коваль Ковтуну, вынесшему ему бидончик с молоком.

— Стараемся, а как же, — обрадовался старик похвале столичного гостя, — теперь выполняем продовольственную программу. Взяли с сыном бычков на откорм, имеем коровку, свинку. Оно выгодно и нам, и колхозу. Только вот с кормами беда, животину людям раздали, а корма — ищите

сами. Где их искать-то? На асфальте не лежат. Хорошо, что сын в районе, на колесах... Может достать...

— Ну, сейчас, летом, очевидно, нет проблем,— заметил Коваль, забирая бидончик и подавая хозяину новенький металлический рубль.

«Итальянец», схватив рубль, протер его рукавом рубашки, словно хотел, чтобы он заблестел еще больше, потом быстро спрятал в карман штанов, пощупал их, будто проверяя, надежно ли лег рубль и не вылетит ли через какую-нибудь дыру.

— В этом году трава высокая была,— подчеркнул полковник.

— Говорят, от радиации...

— Ну, у вас на Полтавщине ее упало, кажется, меньше всего.

— Возможно. Но ведь и сушь была. Так что на одной траве скотина не выгуляется. А привесы давай... Да и сколько тех выпасов на наших пригорках и склонах,— еще жаловался Ковтун.— С одной стороны асфальт, за ним колхозные поля, нельзя, пасем на этих склонах да в оврагах,— махнул рукой в сторону Ворсклы.— Либо сам ногу сломаешь, либо животину покалечишь. Раздали людям — выкармливайте, а сами руки умыли...

Дмитрий Иванович затронул наболевшее, и старый Ковтун разговорился.

Уже выходя со двора и напомним, что завтра вечером обязательно придет за своим литром молока, полковник вдруг спросил:

— Охотников в Выселках много? Вот-вот начнется сезон на уток.

— Есть у нас, хватает...— ответил «итальянец».— Сейчас за утками, зимой за зайцем гоняются.

— Вы тоже охотитесь?

Вопрос насторожил собеседника.

— Было бы ружье, может, когда-нибудь и подстрелил бы чирка. Да никак не обзаведусь.хлопот с ним много: разрешение проси, а потом всякие регистрации да перерегистрации. А украдут — с милицией неприятности.

— Жалко,— доверительно произнес полковник,— а то попросил бы у вас посидеть на вечерней тяге...

— Нет,— развел руками «итальянец».— Да зачем вам,— вдруг оживился он,— далеко ходить? У того разбойника, Василя, где вы остановились, есть...

— Спасибо,— искренне поблагодарил Дмитрий Иванович.— Ведь немного умею стрелять, а тут как раз и сезон. Почему бы не пальнуть...

Из рассказов Оли и Лиды Пидпригорщук он уже знал, что Ивана Ковтуна в Выселках называют «итальянцем». Во время войны их односельчанин попал в плен к итальянцам. Случилось так, что в лагерь его не упрятали, а какой-то офицер отправил с солдатом к себе домой. Так Иван Ковтун из Выселок очутился в Калабрии, где до конца войны трудился в хозяйстве этого офицера. Возвратившись домой, Ковтун рассказывал землякам всякую всячину о далекой Италии, о том, что живут люди не такие, как тут, а черноватые, но не очень, особенно хихикал по поводу того, что едят они улиток, которых называют устрицами, а бывает — и жабок, хвалился, что знает много их слов и даже может

чуть-чуть разговаривать. Выселчане подтрунивали над ним, называли «итальянцем» и «жабоедом». На «жабоеда» он очень обижался, а к «итальянцу» привык и откликался.

— Да и я попал бы, если бы стрелял, — похвалился старик.

— А вы, очевидно, тоже фронтовик? — спросил Коваль.

— О! — обрадовался Ковтун догадливости гостя и даже выпятил грудь. — Пришлось повоевать и всякой беды узнать, но, аве Мария, как говорят итальянцы, возвратился живой, с руками-ногами... Я и в плену побывал. Правда, не у немцев, а у итальянцев. Меня ихние солдаты схватили под Ростовом — обстановка была хуже некуда! — и загнали чуть ли не на край света, в свою Калабрию. Там и хозяева жилы тянули, и карабинеры, бывало, лупцевали, и в тюрьме ихней сидел. Зато насмотрелся всякой всячины. Особенно море там красивое, синее-синее, словно в нем всю синьку развели, глаза слепли... Эти здесь, — презрительно кивнул в сторону села, — и представить себе такое не могут... Да-а, попал наш век в эпоху...

Об охоте Коваль заговорил, надеясь узнать, у кого в селе есть огнестрельное оружие, и прежде всего есть ли оно у Ковтунов. Хотя охотничье ружье за Ковтунами не числилось, как сказал ему Пидпригорщук, но из практики полковник знал, что не все обладатели оружия регистрируют его и что чаще всего стреляет в людей именно незарегистрированное, ибо рождает у убийцы обманчивую надежду на то, что его не смогут изобличить. Огнестрельным оружием в селе Коваль интересовался, так как понимал: злоумышленник не бросится на Пидпригорщук с ножом — Василь Кириллович крепкий мужчина и скрутит любого противника, яд преступник также не подсыплет, а вот притаиться ночью с ружьем или обрезом где-нибудь в поле, в хлебах, кукурузе или ивняке у Ворсклы вполне может. А то, что командир добровольной дружины часто рейдует ночью в поле и домой возвращается поздно, это все знали.

И Дмитрий Иванович решил не откладывая выяснить в сельсовете, у кого в Выселках есть огнестрельное оружие. Уже прошло несколько дней, как он находился в Выселках, и его все сильнее беспокоило, что время идет, приближается роковой для Василя Пидпригорщук час, а он ни на йоту не приблизился к разгадке тайны и события все больше становятся неуправляемыми. Эта ежедневная, ежеминутная тревога лишала его удовольствия от рыбной ловли, от купания в Ворскле. Он начал думать, что ест даром чужой хлеб, что переоценил свои силы, терзался, что уступил просьбам Пидпригорщук, взялся за это дело, а не настоял, чтобы они известили об угрозе участкового инспектора милиции или обратились бы прямо в райотдел.

Но всему есть свое объяснение, и Коваль понимал, почему уступил землякам. Он истосковался по работе и, когда приехали Пидпригорщук и рассказали о своей беде, так четко представил себе свои действия, пути раскрытия тайны, так загорелся, что не мог отказать. Мозг его автоматически включился в работу и, как мозг шахматиста во время игры или, скажем, писателя, который пишет детектив, начал варьировать ходы, продумывать версии.

Теперь поздно было отказываться от своего обещания. Он полностью

вошел в дело, ожил после длительной бездеятельности, даже вроде помолодел, ибо уже не пенсионером-отставником чувствовал себя, а солдатом справедливости, с полным набором обязанностей и полной ответственностью за жизнь человека, который ему доверился.

«Что за беспокойная у меня была профессия,— подумалось Дмитрию Ивановичу.— И не в том смысле, что не имел спокойных ни дня, ни ночи, подчиняя свою жизнь всевозможным неожиданностям, предвиденным и непредвиденным обстоятельствам, а в том, что всегда за кого-нибудь тревожился, кого-нибудь оберегал, предчувствуя беду, надвигавшуюся на очередную жертву преступника». Это чувство тревоги за годы службы так въелось в душу Ковалю, что он и теперь, в отставке, не мог от него освободиться, да еще при такой явной угрозе Василю Пидпригорщук.

Они еще какое-то время постояли у калитки, нервируя хозяйского пса, пока Ковтун, который разговорился о Калабрии, не спохватился, вспомнив о делах.

От Ковтунов, механически сжимая ручку бидончика с молоком, Дмитрий Иванович направился домой уже не по крутой тропинке через овражек, а в обход, по улице. Небольшая хитрость полковника — дать Ковтуну бидончик, чтобы иметь отпечатки его пальцев — вполне удалась, и он был доволен. Сейчас размышлял только о том, каким образом получить отпечатки пальцев молодого Ковтуна, Грицька, который, очевидно, более агрессивен, чем отец.

Вечерело. Багровое солнце уходило за Полтавский шлях, кроваво-красные лучи подкрасили землю. Дмитрий Иванович обеспокоенно подумал: «А где сейчас Василь Кириллович? Пойдет ли сегодня в ночной рейд?» Теперь старший Пидпригорщук не оставлял его мыслей, Коваль словно ходил за ним как тень, как охранник, который всегда настороже, чтобы в любой момент предотвратить трагедию.

3

..

Когда полуденная жара спала, Дмитрий Иванович пошел в сельсовет познакомиться с председателем. Хотел, не раскрывая своих карт, вывести, кто из жителей села имеет огнестрельное оружие. Он не знал, что за человек выселчанский председатель сельсовета Полищук и как с ним придется разговаривать, но полагался на свое умение находить общий язык с разными людьми. И в данном случае ему было достаточно того, что немолодого председателя, хотя тот и был человеком пришлым, Пидпригорщук в один голос хвалили.

В дверях невысокого аккуратного домика, обсаженного молодыми липками, Ковалю чуть не сбил с ног шарообразный раскрасневшийся толстяк. Глаза его горели.

— Одна компания! — закричал он, огибая Ковалю, чтобы не столкнуться. — Одна шайка-лейка! Кого хотят — судят, а кого хотят — милуют! Но я выведу их на чистую воду! Запомнят меня, ох как запомнят! — И вдруг, поняв, что апеллирует к чужому, незнакомому человеку, оборвал свои угрозы и бросился на улицу.

Дмитрий Иванович проводил его взглядом и вошел в здание. Увидев в коридоре дверь с табличкой «Председатель сельсовета», постучал.

За полированным столом сидел пожилой — Ковалю показалось, еще более седой, чем он, — мужчина. Он тер ладонью лоб — очевидно, не пришел в себя после бурного разговора с толстяком.

Увидев незнакомого человека, председатель убрал руку со лба и кивнул на стул.

Федор Афанасьевич Полищук, как отрекомендовался выселковский председатель, не знал Дмитрия Ивановича. Однако об инспекторе Ковале он слышал и теперь не мог поверить, что перед ним сидит знаменитый сыщик, о котором среди земляков ходили легенды. Он то с одной стороны, то с другой рассматривал гостя, не решаясь попросить документы. Казалось, он готов был пощупать полковника, чтобы убедиться, что тот действительно находится в его кабинете.

Сначала было встревожился — какое происшествие привело полковника в Выселки, но Коваль сразу заверил, что отдыхает у знакомых и, насколько ему известно, серьезных правонарушений в Выселках не произошло.

— Конечно, — успокоенно подтвердил Полищук. — Но кое-какие нарушения случаются. Еще не покончено с мелким воровством в поле, на фермах, но мы с этим активно боремся. Аппараты тоже обнаруживаем, принимаем воспитательные и административные меры. Самогонование почти полностью ликвидировали. На сходе приняли решение объявить Выселки безалкогольными. Запретили продажу водки и вин в сельпо. Более восьми десятков аппаратов люди добровольно принесли в сельсовет и тут же принародно уничтожили.

— А сколько дворов сейчас в Выселках?

— Сто семнадцать. В большинстве из них гулял зеленый змий, — вздохнул Полищук. — Никак не могли с ним справиться... Но когда появился закон, стало легче бороться. Никто не хочет с законом ссориться. Хотя, правда, нашлось несколько нарушителей, самогонные аппараты умудрялись прятать там, где никогда не додумались бы искать. Да наших дружинников не обведешь вокруг пальца. И в лесу, в копанке, найдут. Механизатор Василь Пидпригорщук, есть такой боевой парень у нас, командует ими. Впрочем, не парень, а мужик солидный, — тут председатель недовольно поморщился и замялся, — но, бывает, перегибает.

— И сам нарушает?

— Да нет! Он не пьет. Но... вот сейчас перед вами прибежал один человек, Бондарь его фамилия, — расстроенно произнес Полищук и на секунду умолк, словно раздумывая, стоит ли занимать внимание такого человека, как полковник Коваль, всякими мелочами. — Мать у него злостная самогонщица. Варила для продажи. Оштрафовали раз, другой, а потом судили, два года дали — правда, без конфискации. Именно командир нашей дружины больше всех их допек. Они было, как и все, принесли аппарат, сдали, а потом Пидпригорщук у них и второй нашел, в подполе мать варила. Сам Бондарь выкрутился, он, мол, знать не знал, в доме мать хозяйничала. Вот баба и загремела... — Полищук на несколько секунд умолк, стянув густые кустистые брови над переносицей. — А теперь этот

Бондарь прибежал ко мне с заявлением: мол, этой ночью, когда дежурил Пидпригорщук, он пришел в сельсовет и сказал, что соседка его Фекла Галушко выгнала самогон. Василь Кириллович взял понятых и отправился к той женщине. Не нашли ничего, ни аппарата, ни самогона... Так Бондарь сегодня примчался, кричит, что бабка Фекла дала Пидпригорщuku взятку, потому что он, Бондарь, точно знает, что у нее есть самогон. Не очень мне в это верится, — покачал головой Полищук. — Понятно, Бондари ненавидят командира дружины и ищут как бы отомстить, но мы проверить заявление обязаны, — вздохнул председатель сельсовета. — Я ему сказал, что проверим, но заметил, что мне уже надоели его постоянные жалобы и доносы на Пидпригорщука, и если окажется, что он снова соврал, то придется заняться не Пидпригорщуком, а им...

— Поэтому Бондарь выбежал от вас как ошпаренный, — улыбнулся полковник. — Чуть с ног меня не сбил.

Председатель засмеялся.

— Я этому правдолюбцу напомнил и про второй аппарат, который у них нашли, и о том, что он с матерью не только Выселки спаивал, но и к поездам на станцию Лещиновка возил свою отраву. Мать посадили, а он вылез только потому, что она его выгородила, все взяла на себя.

— Лютые враги, значит, есть у командира вашей дружины, — подытожил Коваль. — А что же участковый инспектор?

— У него территория — Люксембург плюс Лихтенштейн да еще в придачу княжество Монако — за день не объедешь. За Выселки он спокоен, дружина у нас крепкая... Ну а у командира ее, естественно, враги имеются. Но друзей больше, тех, которые ему помогают. Василию Кирилловичу, понимаем, нелегко, ведь общественную деятельность он совмещает с основной работой. И когда он только успевает? Передовой механизатор, с вымпелом не разлучается... Люди за ним идут, депутатом сельсовета избрали... Ничего, наведем полный порядок. Тяжелее всего с теми, кто на склонах, над Ворсклой, отчужденно живет, словно в крепостях.

— Такие, как Ковтун? — спросил полковник.

— Вы уже и нашего «итальянца» знаете? — удивился Полищук.

— Кое-что слышал. А кстати, как у вас с кормами?

— Колхоз более-менее обеспечен.

— А набеги людей на поля?

— Бывает, — вздохнул председатель сельсовета. — Недоработали этот вопрос. Постановление вышло о раздаче колхозникам молодняка на откорм и одновременно об обеспечении кормами, в том числе комбинированными... Но как колхоз может обеспечить? Ему самому еле хватит до будущей весны. Вот так получилось, что одну часть постановления выполнили, а вторую упустили. Ножницы!

— Воруют и из кормоцеха, и с поля, — заметил Коваль.

— Тащут, тащут, Дмитрий Иванович, — грустно согласился Полищук. — С одной стороны — преступление, а если вдуматься... Конечно, и наш просчет, колхоза да и сельсовета. Воспитываем плохо, больше на административные меры налагаем. Да и что против правды скажешь. Обращаюсь к людям, объясняю, мол, трудности, объективные причины, очень сухое лето, комбикормов мало дали, а они мне: «Федор Афа-

насьевич, если бы вы лично откармливали животину, то голодной держали бы?» — «Не брался бы за это дело... Во всяком случае, колхозное не тянул бы себе во двор». — «Да вам бы и так дали!.. И мы не брались бы, если бы знали... Но вы же, Федор Афанасьевич, постановление читали, чтобы люди брали молодняк? И сами агитировали... Вот и получается по поговорке: хоть круть-верть, хоть верть-круть». Ну что на это скажешь, — развел руками Полищук. — Мы и в район обращались, а нам в ответ: «У вас не хуже с кормами, чем в целом по району».

Стали свои меры принимать. Незасеянные клочки земли, неудобья на холмах, на склонах Ворсклы пустили под выпасы, разрешили людям выкашивать. Это с одной стороны. Вынуждены искать и ждем каких-то резервов, — продолжал председатель сельсовета, — и с хищениями боремся... Но с другой стороны, не обеспечивать выполнение постановления — тоже преступление. Статьи только такой в кодексе нет. Кстати, — произнес довольный знакомством со знаменитым Ковалем Полищук, — я также юрист, Дмитрий Иванович. Бывший, — вздохнул он. — Было дело... — Он помолчал, подумал о чем-то своем, вспоминая далекие события своей жизни и, возможно, решая, стоит ли ворошить прошлое, но, очевидно, Дмитрий Иванович показался ему человеком, который поймет его, и, поглядывая на Ковалю, терпеливо ждавшего продолжения разговора, повторил: — Да, Дмитрий Иванович, юрист...

Он снова сделал паузу. Потом добавил:

— Окончил юридический техникум. Тогда, после войны, кадров не хватало — выбрали судьей... Горько вспоминать... Случилось это в одном селе Ивано-Франковщины, тогда — Станиславщины... Время было послевоенное, голодное, жестокое. За малейшую провинность карали строго. За горсть колосков с колхозного поля давали восемь лет... Вышел закон в июне сорок седьмого года. Вы, конечно, его знаете. Указ об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества...

— Да, помню, — кивнул Коваль, — он недолго продержался. В пятидесятых годах им уже реже руководствовались, а в начале шестидесятых — кажется, в шестьдесят первом — его отменили.

— А это было в самом начале. В июне закон вышел, а уже в июле я должен был вести процесс.

И вот я — молодой парень, можно сказать мальчишка, исполняю высокую государственную миссию. Подсудимая — немолодая, изможденная женщина, мать троих детей, отец которых погиб на фронте. Ночью она собрала на уже пустом колхозном поле торбочку оставленных колосков. Ее и поймали...

Это был один из первых в моей судебной практике самостоятельных процессов. Начальство требовало, чтобы он стал показательным. Господи, как я волновался! Мой ум, мои чувства протестовали против того, чтобы осудить эту женщину и сделать сиротами ее детей. Помню, чуть не заболел, готовясь к этому процессу. Не знаю, как и высидел его, был словно в тумане... Теперь, Дмитрий Иванович, признаюсь вам как коллеге, вы меня поймете, все же поступил я тогда собственной совестью. Но закон есть закон, вы это тоже хорошо знаете. Каким бы он

ни был, пока не отменили, обязан был руководствоваться им... Чувство, психологическое убеждение — это, конечно, тоже серьезный элемент правосудия. Когда выносишь приговор... Но на первом месте все же закон, каким бы он ни был. Особенно если иметь в виду то нелегкое послевоенное время... — Полищук умолк, на каких-то пару секунд прикрыл рукой свое лицо, испещренное глубокими морщинами, потом продолжил: — И приговорил я эту мать на длительный срок, а малышей отправил в детский дом. Какая это была мука видеть, как отрывают детей от матери!

Вскоре я понял, что не получится из меня судья, и ушел с работы. До сих пор стоит у меня перед глазами вцепившаяся руками в барьер, повязанная темным платком эта скорбная женщина. Я уже не помню ее облик, тогда мне казалось, что, перечеркнутая барьером, она вся состоит только из громадного белого лица, которое расплывается на весь зал, и горького взгляда, прожигающего насквозь...

До техникума я учился в ФЗУ, умел слесарить и пошел в МТС ремонтировать тракторы... Мне еще повезло, могли расценить мой поступок как политическую демонстрацию, и не миновать бы мне далеких лагерей, но в результате нервного стресса после этого судебного заседания я попал в больницу, и от меня отцепились. Правда, еще долго присматривались, но в конце концов все сошло с рук...

Дмитрий Иванович понимал, почему разоткровенничался Полищук. Настало время, когда люди переосмысливают свою жизнь, свои действия, поступки, чувства, дают им новые оценки, словно очищая свою душу, время, когда уже не могут жить дальше без этого переосмысления и без того, чтобы не поделиться своим духовным обновлением с другими людьми, не сказать об этом открыто. Гласность, оказалось, это не только возможность честно, не боясь преследования, открыть свои мысли, но и внутренняя потребность это сделать.

Более удобный случай побеседовать с известным полковником Ковалем вряд ли представился бы Полищуку. И говорил он так откровенно не столько для того, чтобы исповедоваться перед умным и честным человеком, сколько для самого себя, для своего успокоения, чтобы утвердиться в своей правде.

Да и Дмитрий Иванович в свою очередь мог бы многое поведать Полищуку из своей практики. И не о такой давности, как послевоенные перегибы, а о более близких временах, когда, защищая справедливость, он сам восставал против своего начальства или прокурорских работников. Практика свидетельствовала, и Коваль убедился в этом, что тюрьма или лагерь больше портят, чем воспитывают человека, особенно молодого. Коваль очень тонко чувствовал грань, которая отделяет в человеке преступника от непроступника, и в каждом случае, когда, карая, можно было обойтись без лишения свободы, старался этого добиться.

— Я понимаю вас, Федор Афанасьевич, закон не должен быть местью человеку, как в той истории, которую вы рассказали, а только торжеством справедливости.

— Конечно, я мог тогда либо отказаться от процесса, либо оправдать многодетную мать. Но прокуратура все равно опротестовала бы...

И не я, так другой, более сговорчивый судья... все равно... тяжкий приговор был ей запрограммирован. Ведь судья в то время был только механическим исполнителем... Единственно, что было в моих силах, — это проявить заботу об осиротевших после моего приговора детишек, — продолжал Полищук. — Так я и поступил: ездил к ним в детдом, помогал, чем мог... Когда мать отбыла срок — она хорошо работала, и срок ей сократили по амнистии — и забрала детей к себе, я стал инкогнито, без обратного адреса, посылать ей денежные переводы. Может, немного, сколько позволяла моя зарплата. Я долго не женился, и мне нетрудно было выкроить немного из своего бюджета для этих детей. Посылал, пока они не подросли и не встали на ноги... Я постоянно интересовался этой семьей, знал, какие у них доходы, чего им не хватает...

— Это благородно, — сказал полковник. — Хотя все-таки отдает донкихотством, Федор Афанасьевич. Помогли одной семье, а пострадавших и обездоленных из-за излишней жестокости закона много. Маркс говорил, что и историей, и умом в одинаковой мере подтверждается тот факт, что жестокость, которая не считается ни с какими различиями людей, делает наказание абсолютно безрезультатным.

— Да, да, — механически кивал Полищук, находясь еще в плену своих воспоминаний. — Она, наверное, знала или, во всяком случае, догадывалась, кто заботится о ее детях — я ведь не раз навещал их в детдом. Возможно, и вспомнила меня и даже простила... Не знаю. В конце концов это для меня было неважно, я исполнял свой долг... А то, что вы говорите — излишняя жестокость закона приносит только вред, это верно. Ох как верно, Дмитрий Иванович!

— Я думаю, сейчас много статей пересмотрят. А вероятно, и весь уголовный кодекс. Этого требует время. Новая поступь нашего общества к самому высокому человеческому закону — справедливости — требует пересмотреть и устаревшие законы, и точнее определить правомерные и неправомерные поступки человека без лишней предубежденности и жестокости.

Дмитрий Иванович позавидовал сейчас Полищуку. Сам он не был героем, бросившим вызов жестокости, хотя не однажды задумывался над парадоксами жизни, над противоречиями провозглашаемых в обществе лозунгов и ежедневной практикой. Но не разрешал своим мыслям ринуться в омут сомнений, разувериться во всем. Это лишило бы его возможности бороться с несправедливостью на своем пусть ограниченном, но для кого-то из людей жизненно важном поле. В отличие от Полищука он мог поддержать оступившегося и защитить невинного.

Коваль долго сидел у председателя сельсовета. Ему нравился этот умный, честный человек. Захотелось даже рассказать о деле, которое привело его в Выселки, но сдержался: не было у него на это права. Тайна не его, а Пидпригорщук.

Уже совсем стемнело, когда он вышел из сельсовета. По его просьбе Полищук назвал людей, которые имеют зарегистрированные ружья. Держит ли кто-нибудь в селе огнестрельное оружие незаконно, председатель не знал. Ибо если бы знал, то давно изъяс бы... Кроме того, Дмитрий Иванович выяснил, что большинство собственников ружей, среди них и Ва-

силы Пидпригорщук, хранят их в сельсовете, под замком, а патроны в сейфе, и, довольный, сердечно попрощался со своим новым знакомым.

Осторожно спускаясь по тропинке, ведущей к подворью Пидпригорщук, Дмитрий Иванович обдумывал свои дальнейшие действия. Следовало снять отпечатки пальцев с тетрадного листка с угрожающей фразой, а также с вещей, к которым прикасались подозреваемые: бидончика, побывавшего в руках у Ковтуна, а теперь вот и с заявления — его принес в сельсовет Бондарь. В беседе с Полищуком Коваль поинтересовался, ограничился Бондарь устным обвинением командира дружины или оставил письменный донос, и когда председатель сельсовета показал листок, написанный Бондарем, решил, что позже попросит его для экспертизы. Надо еще как-то получить отпечатки пальцев младшего Ковтуна и тогда уже съездить в Полтаву, в областное управление, за следственным чемоданчиком, необходимым для идентификации следов, которого у Коваля здесь не было.

Полковник остановился и залюбовался прозрачным августовским вечером. Звезды, большие и золотые, уже зависли над головой. После второго укуса трав резко пахло свежим сеном и детством. Было тихо, только неистовствовали сверчки. У Дмитрия Ивановича вдруг защемило сердце. Показалось, что время, как в фантастической машине, открылось назад, мигом отлетело полстолетия, что живы еще отец и мать и он снова мальчишкой стоит на высоком отцовском подворье возле кобелякской соборной церкви и, испытывая трепет, пробует осмыслить, что же там, за далекими зорями, и что такое неизмеримая вечность, перед которой все в мире — ничто...

На душе было светло, и Дмитрий Иванович еще четче, чем до сих пор, понял, почему так легко согласился в Киеве на предложение Пидпригорщук.

4

— Вол, а не человек,— сжав уголки губ, сказал Петро Пидпригорщук о старом Ковтуне в ответ на вопрос Коваля. Он в последний раз затянулся, бросил окурок на землю и затер его ногой.— Работать умеет. Поскитался по свету, научился хозяйничать, но вредина, упрямый и цепкий. А скупой — второго такого не найдешь, за копейку повесится!

Они беседовали втроем за столиком под акацией: Коваль и братья Пидпригорщуки, только что возвратившиеся с поля. Лида еще не пришла из своей конторы, а Оля хозяйничала в доме, собирая детей в пионерлагерь. К Петру Кирилловичу подбежала старшенькая, Верунька, прижалась к нему, пожаловалась, что не хочет ехать в лагерь, ей и дома хорошо, а там будет скучать.

— Но ведь ты не одна будешь, а с Мишей, Андрейкой, Парасочкой... А дома что делать? Бегать по двору как одичавшая коза? Меня целый день нет, мамы тоже...

Верунька влезла на колени к отцу, захныкала.

— Любимица отцовская,— улыбнулся Василь Кириллович.— Мои разбойники с радостью едут.

Полковник Коваль делал вид, что не замечает немого вопроса Пидпригорщук, который все время будто висел в воздухе: появились ли какие-нибудь сведения об авторе угрожающего послания?

У Дмитрия Ивановича ответа не было. Пока он ограничивался изучением окружения Пидпригорщук.

— Этого «итальянца» и его Грицька люди стороной обходят. А они, Ковтуны, единственно кого боятся, так это нашего Василя. Правда, на днях он от них добрую шишку на голове заработал.

Василь Кириллович утомленно, словно виновато, улыбнулся:

— Да ну, Петь...

— Мы должны все рассказать Дмитрию Ивановичу без утайки, иначе как же разобраться, кто еще мечтает стать твоим «крестным отцом», — вдруг рассмеялся младший Пидпригорщук — так ему понравилось это «крестным отцом» — и как всегда сжал в паузе уголки рта. — Старый Ковтун, — продолжал он, — какое-то время работал скотником. Исчезли четыре телки. Две обнаружили в «Заповити», а еще двоих словно ветром унесло... Крутили-вертели, дело завели, но доказать не доказали. Решили наказать «итальянца»: перевели в кормоцех. И тогда он вовсе распоясался. Узнал как-то Василь, что Грицько пригонит ночью машину за кормами, взял дружинников и поймал с поличным, когда сбрасывали ворованное на свое подворье. Расскажи, Василь, все как было!

— Да чего говорить, дело известное, — нехотя отозвался тот. — Ну, сказал им: «Тюрьма по вас плачет. На этот раз уж не отвертитесь, будет обоим мир в клеточку». И все же снова отделались товарищеским судом и штрафом... А вот недавно, — продолжил Василь, — поймал их с колхозным зерном — насыпали ночью на току два мешка пшеницы, погрузили на тачку и тянут домой. Перекрыл им дорогу, приказал назад везти. И тогда этот дурной Грицько — в темноте я не заметил, как он подкрался с палкой, — набросился на меня... Скрутил ему руки, отобрал палку, но, вражья душа, успел-таки задеть по голове, — нащупывая ушибленное место, признался Пидпригорщук. — Да ничего, как говорят, до свадьбы заживет... Еле удержался, чтобы ему не накостилять, подумал: ударю — богу душу отдаст, явное превышение необходимой обороны. Тюрьма тогда не ему, а мне светит. Взял только его за шиворот, аж рубаха треснула, поднял и швырнул на землю.

Ковтуны больше всех интересовали полковника.

— И снова угрозы? — спросил, имея в виду их.

— Естественно, — засмеялся механизатор. — И угрозы, и брань. Если бы собирал их всех — большая бы куча получилась. Но, Дмитрий Иванович, не ломайте голову, если обращать внимание на угрозы, то я уже должен был сто раз погибнуть: и подстреленный, и утопленный, и избитый...

— Вот какие, оказывается, ваши выселчане! А рассказывали другое.

— Таких немного — может, трое или пятеро на все село, но канители с ними как с сотней. Ну еще и самогонщики. Сколько аппаратов сами принесли в сельсовет, сколько мы потом еще нашли, а все равно гонят. То в одной хате накроешь, то в другой. А одни додумались в лесу, на

той стороне,— Василь показал рукой за реку.— Старый окоп под землянку приспособили и там по очереди гнали. Вот это настоящая беда! И с кормами у нас неважно. В июне — июле сушь была, травы сгорели, да и яровые не успели хорошо подняться, влагу набрать. Стебель короткий — гляди, и соломы не будет. Кукуруза, правда, более или менее. Выстояла. Так ее еще молочную губят. Ломают бессовестно... Приходится каждую ночь в рейд выходить. Сядешь в ней, притаишься и вскоре слышишь: то где-то дальше, то совсем рядом, справа или слева зашуршало. Ломают! Крикнешь: «Что там делаете?!» — притихнут, а двинешься в кукурузу — выпрыгивают и бежать! Даже мешки с початками бросают. А бывает еще хуже: испугаешь — удирают не по дороге, где видно всех, а через поле. Сколько поломают ее, затопчут! Еще больший урон... Да что, Дмитрий Иванович, на всех оглядываться! Не дело. А угроза — это пустяк. Я их немало уже слышал!..

— Но эта последняя — документальная,— с легкой иронией произнес Петро.— Должен учесть.

— Если устные не действуют, что остается делать моим недоброжелателям? Но думаю, эта в том же плане: чтобы напугать. Чтобы глаза закрывал на всякие трюки. Ничего они угрозами не добьются. Моя Оля и особенно его Лида,— кивнул на Петра Кирилловича,— тоже меня предостерегают, Дмитрий Иванович, удирай, мол, от всей этой банды, от врагов своих. Но это же глупость: бросать свое село, удирасть от каких-то злодеев! Пусть они от меня удирают.— Василь глубоко затянулся, выпустил дым и сплюнул на землю.— Ох и горька! На работе в суматохе кажется слаще, а насосеешься за целый день, придешь домой — гадость!.. Так что не забивайте себе голову, Дмитрий Иванович, нашими делами,— повторил Пидпригорщук.— Пойду, наверное, отдохнуть. Сегодня ночью мне снова в рейд,— вздохнул командир дружины.— Кого-нибудь и поймаем. Председатель ему нагоняй даст либо оштрафует или товарищеский суд устроит... А завтра тот тип снова ночью в поле, в кукурузе, или стожок расшивает... Да и ловишь нарушителя, а сам думаешь: что же ему, бедняге, делать без кормов?! Где их достать или купить? Я и сам взял бы бычка-другого на откорм, вырастили бы с Олей, и детям веселее было бы возле животного... Но ведь на колхозном поле нельзя гайдамачить, тем более мне...

— Вот угайдамачат тебя когда-нибудь в той же кукурузе, не заметишь в темноте и кто,— поджал губы младший брат.

— Не бойся, Петро. Все они,— продолжал Василь о ночных полевых гостях,— трусы. Взять того же «итальянца». Горластый, по всякому поводу криком берет, пугает, угрожает. А все это потому, что труслив как заяц, он криком сам себя подбадривает, мол, глядите, как я страшен, бойтесь меня, люди!

— А что там произошло у вас с Бондарем? — спросил полковник.

— Вам и это известно? — удивился Пидпригорщук.

— Жаловался на вас Бондарь.

— Кому?

— Полищуку.

— Ах, гнида! — вспыхнул мужчина.— Знаете, Дмитрий Иванович,

есть люди, которые не только соседу, но и всему селу хаты готовы поджечь. Такая у них вся семья. Отец, правда, уже помер. Остались вдвоем с матерью. Самогонщики на все Выселки. Это они придумали в старом окопе винокурню устроить. Там, где люди насмерть стояли! Теперь он немного притих, мать в колонии, но и по нему колония плачет... Вчера ночью, когда я дежурил в сельсовете, вдруг вкатился ко мне этот коротышка. Говорит: «Товарищ дежурный, идите к Галушке, она самогон держит для продажи. Вот вы на одних нападаете, а других под носом не видите. Но я человек справедливый, теперь все осознал и, видите, помогаю вам», — и так довольно улыбается, словно уже всех вокруг пальца обвел. Мне сразу не поверилось, что это правда; знаю, что соседка Бондаря, Фекла Галушка, женщина тихая, скромная, самогоном никогда не занималась. Жизнь у нее сложилась нелегкая: отец погиб на фронте, муж — пьяница, сбежал неизвестно куда, а с того времени, как в прошлом году сын погиб в аварии, совсем сникла, сама не своя стала. Не старая женщина, а по виду глубокая старуха. Еще бы, столько бед на нее сразу свалилось.

Спрашиваю этого Бондаря: «А не врешь?» — отвечает: «Заявляю официально!»

Делать нечего, заявление есть, должны проверить. Взял я понятых и — к Галушке. Искали, искали — ничего нет, ни аппарата, ни самогона. С тем и должны были уйти, ну, думаю, коротышка, я с тобой еще разберусь за эту ложную тревогу! Понятые вышли из хаты, закурили во дворе, а я задержался, пить захотелось, взял в сенях кружку на ведре с водой, поднял фанерку, которая прикрывала его. Смотрю, а там, в воде, стоит бутылка... Заглянул я в грустные, покорные глаза женщины, и такая злоба меня охватила и на нее, на ее беззащитность, и на Бондаря за то, что он оказался прав. Галушка стоит ни жива ни мертва.

Спрашиваю: «Выгнала? Где аппарат?»

Она что-то бормочет, еле расслышал:

«Нет, — говорит, — у меня аппарата... Завтра мне уголь со станции привезут на зиму, а без угощения, сказали, ничего не будет. Должна была доставать».

«Где аппарат?» — снова спрашиваю, а сам думаю: «Откуда у нее аппарат! Если бы гнала, дух из хаты еще не выветрился бы, да и не бутылку наварила бы».

Молчит.

«Купила?»

Молчит.

И тут меня осенило. Как ловко рассчитал все коротышка! Нет, думаю, не будет по его.

«У Бондаря?» — говорю.

Молчит.

Слышу, мои понятые, не дождавшись меня, возвращаются.

Накрыл фанеркой ведро.

«Говори быстрее! Иначе сейчас протокол составим. Бондарь?»

Кивнула она наконец, и я вышел из сеней, сказал понятым: «Действительно ничего нет. Ложная тревога».

Утром, после дежурства, пришел к бабке Фекле, сам вылил эту сивуху в выгребную яму, хорошенько поругал хозяйку и объяснил, что ей, как одинокой дочери погибшего на фронте, и без бутылки привезут топливо. Сам позабочусь. Но чтобы никому ни звука об этой бутылке и чтобы никогда больше не держала это зелье в доме... Такое вот дело...

Конечно, это было нарушение с моей стороны: без санкции произвести обыск. Но прокурор далеко в районе, да и даст ли санкцию, а мне очень хотелось уличить Бондаря во вранье! — закончил Пидпригорщук. — Судите, как хотите, а так вышло... И пускай Бондарь жалуется сколько хочет!..

Во время рассказа дядьки Василя маленькая Верунька уснула на отцовской груди. Свет небольшой электрической лампочки над столом, мерцающий и тусклый от мириад ночных букашек и мотыльков, которые облачком вились вокруг этого искусственного солнышка, выхватывал из темноты лица собеседников.

Пришла из конторы Лида — задержалась: отчет, — хотела забрать у отца сонную Веруньку и отнести в дом, Петро не дал: «Тебе будет тяжело, Лидочка», — поднялся и сам понес ребенка. Лида пошла за ним.

— Бедная женщина, — сказал о ней Василь, — никто не догадывается, как нелегко ей живется... С той поры как Петро привел ее в наш дом, она болеет, и дальше — больше. Стала неуравновешенной, иной раз в глаза заглядывает, добрая, нежная, а бывает, как с цепи сорвется — ругается, плачет... Беда, да и только... Не знаю, что с ней делать...

Коваля несколько удивило, что Василь говорил так, словно болезнь невестки касалась только его: не в множественном числе сказал: «не знаем, что с ней делать», а в единственном: «не знаю».

— Может, все это — хата? — осторожно спросил полковник.

— То есть почему «хата»? — не понял Пидпригорщук.

— Все-таки тесновата для двух семей.

— Лида нашу хату возненавидела, как только пришла сюда. Не нужна она ей. Она, наоборот, рвется отсюда.

— Брат ваш мог бы отдельно построиться. Сам не потянул бы, вы, очевидно, помогли бы.

— Конечно. Но он как раз и не хочет уходить из отцовской. И в конце концов, не так уж нам и тесно. На моей половине две комнаты, у Петра — тоже. И еще у каждого по боковушке... — Василь Кириллович словно что-то не договорил, только тяжело вздохнул, и полковник понял, что ему очень жалко невестку, но помочь ей ничем не может. На миг Дмитрию Ивановичу показалось, что старший Пидпригорщук прячет какую-то тайну, но он сразу же отказался от такого подозрения. От него прятать, Ковалья, который приехал устранить смертельную опасность?!

Тем временем к столу возвратился Петр Кириллович. Услышав, что речь идет о его жене, обиженно поджал губы и покачал головой.

— Больная она у меня, Дмитрий Иванович, — наконец произнес он. — И никто не знает, в чем причина, будто кто сглазил. Лежала в райбольнице, одни говорят — печень, другие — сердце, сколько из нее, бедняжки, крови высосали на всякие анализы! Боялись — рак, потому что очень стала

худеть, слава богу — не он... Наконец решили: нервы! Нервы — и только. Нервы, конечно, у каждого человека есть. А как лечить? Глотала всякие таблетки. Потом посоветовали: спокойствие — и все пройдет. Да разве у нее не спокойная жизнь? Взял ей путевку в санаторий. Побывала там несколько дней, все бросила, возвратилась. Соскучилась, сказала, по детям, по дому. И все же ей за эту неделю в санатории легче стало. Повеселела.

Ну а потом снова то же самое... Этой весной хотел еще раз купить ей путевку. Отказалась. К знахаркам зачастила, зелье варила, травы какие-то пила — не помогло. Теперь одна надежда на Третьяка — профессора из Полтавы.

— А может, ей действительно полезно было бы переменить место, — заметил Коваль. — Я вот говорю Василию Кирилловичу, тесновато у вас. Так не постройтесь ли все-таки вам, Петр Кириллович? Новый дом, новая обстановка, новые хлопоты, в чем-то — новая жизнь... Я это по себе хорошо знаю, — улыбнулся он, — недавно из дома, где прошла почти вся жизнь, пришлось переселяться в новую квартиру... Вот от вашего брата слышал, что Лидии Антоновне с первых дней не хотелось здесь жить.

— Не знаю, чем Лидочке наш дом не подошел. Как говорят, хата гдиной пахнет, — сокрушенно произнес младший Пидпригорщук. — Когда познакомился — такой веселой, живой была... А женился, привез ее сюда — словно нечистая сила в нее вселилась. Вскоре сникла, начала ныть: не хочу здесь жить да не хочу! «Идем к моей матери!» А у ее матери на том углу, что к станции поближе, не хата, а курятник под соломенной крышей. Ей любо, а мне-то как?.. Не согласился я. Тогда говорит: «Строимся возле матери!» А у меня денег кот наплакал — только окончил агрошколу. И зачем удирать из большого отцовского дома? Детей не было, свободно, хоть в футбол гоняй! Да и то: когда замуж выходила, никаких условий не выдвигала, а как женой стала — сразу капризы! — губы Петра обиженно сжались. Он немного помолчал, словно обида захлестнула его. — Но увидела, — продолжил, — что привередничать со мной дело пустое — я знаю, с первых дней жене поддашься, всю жизнь на голове сидеть будет, — и притихла! А как Верунька родилась, казалось, совсем успокоилась, только болеть начала... А может, действительно новый дом нужен, — через минуту раздумчиво добавил младший Пидпригорщук, — может, в этом действительно нечистая сила живет? — Он потер лоб. — Говорят же люди, что бывает такое. К нам с Василем она привыкла, мы здесь родились, а вот пришлых мучает... Хотя, впрочем, с его Олей, — кивнул на брата, — как будто бы все нормально...

Василь Кириллович промолчал.

Разговор о доме, о нечистой силе не внес ясности в дело, которое интересовало Коваля. Братья жили в отцовском доме дружно, дружили и их жены, дети. «А Лидии Антоновне, все же, наверное, хочется большей самостоятельности, отдельного хозяйства, — решил он, — потому и стремится отделиться от семьи старшего брата».

Коваль собирался в Полтаву за следственным чемоданчиком. Дедуктивный метод психологического исследования характеров, которого придерживался в своей сыщицкой практике Дмитрий Иванович, в этот раз без дополнения его конкретными деталями не оправдывал надежд. Опи-

раясь только на психологическое изучение окружения Пидпригорщук, он должен был прожить в Выселках длительное время, которое ему не давало ежедневно ожидаемое трагическое событие. Одним махом понять все переплетения взаимоотношений сельчан, вылущить из этих взаимоотношений те, что могли быть связаны с угрозой Василию Пидпригорщуку, было нелегко. Поэтому придется исходить не только из дедуктивных размышлений, но также и из материально-оперативных деталей, которые будут подпирать эти размышления, в данном случае отталкиваться от впечатков пальцев на угрожающем послании. В Кобелякский райотдел обращаться за чемоданчиком Коваль не хотел, хотя это было рядом: не знали его там молодые сотрудники, в то время как в областном управлении уголовного розыска еще есть люди, с которыми он раньше работал.

— Поеду завтра в Полтаву,— сказал Коваль Петру Кирилловичу.— Если этот профессор тот самый Андрей Третьяк, с которым я учился,— он собирался-таки после школы в мединститут,— то проблемы нет,— напомнил о своем обещании полковник.

— Только покамест Лидочке не нужно об этом знать,— попросил Петр Кириллович.— Не любит она, когда о ее болезни распространяются... Да еще, простите, при постороннем человеке...

Коваль кивнул:

— Я понимаю.

Оля позвала со двора мужа. Все поднялись со скамеек и направились в дом.

5

Когда Дмитрий Иванович, постучав, решительно вошел в кабинет невропатолога, тот поднял из-под очков удивленный и одновременно сердитый взгляд на посетителя. Время было неприятное, и профессор читал какие-то бумаги. Появление Коваля перебило его мысли, и врач был обескуражен беспардонным вторжением в его крепость незнакомого человека.

— Вам что? — спросил, стянув брови над переносицей. Еще секунда-две — и он попросил бы Коваля выйти.

Дмитрий Иванович в свою очередь не сразу узнал в полном пожилом человеке с обрюзглым лицом, в белом как снег, отглаженном халате и такой же шапочке бывшего отличника их класса стройного Андрея Третьяка. Цепким взглядом окинул профессора. Черные как терн глаза врача, мешки под глазами — почечная болезнь терзала Третьяка смолоду — и еще некоторые мелкие детали: манера сердито вскидывать голову, жесты, — убедили Коваля, что перед ним тот самый Андрей, которого он ищет.

— Вам кого? — повысил голос хозяин кабинета.

— Вас, товарищ Третьяк.

— Ясно, что меня. Кто вы?

— Присмотритесь внимательней.

Профессор все еще с недовольным выражением лица всмотрелся в

посетителя. Видно, что-то знакомое угадывалось ему в чертах Дмитрия Ивановича, взгляд его смягчился. Однако ассоциации, которые вели бы его в далекое детство, еще не появились. Возможно, он узнавал в нем бывшего пациента из числа тех уважаемых людей, которые свободно переступают порог любых кабинетов.

— Не понимаю вас.

— Моя фамилия Коваль.

— Коваль... Коваль... — повторил врач распространенную на Украине фамилию. — Какой Коваль?.. О боже мой! — Лицо его посветлело, он вытаращил глаза, подхватился с кресла. — Димка? — словно еще не веря своим глазам, воскликнул он.

— «Какой», «какой», — передразнил его полковник. — Тот самый Димка, который не раз тебе уши драл. Заважничали вы, товарищ Третьяк. Это и неудивительно: еще в школе вы отличались высокомерием, особенно когда лучше всех отвечали по биологии или когда у вас просили переписать задачку... Ну, здравствуй, профессор, — протянул руку Коваль. — Вспомнил наконец? Полностью?.. А то еще выгонишь из кабинета.

— О боже! — еще раз вскрикнул профессор, и бывшие одноклассники обнялись.

— Ты так удивился моему появлению, — засмеялся Коваль, освобождаясь из объятий профессора, — будто увидел перед собой привидение. Надеюсь, похоронку тебе на меня не присылали?

— Не говори глупости! Я кое-что слышал о тебе, даже интересовался. Знаю, что стал милиционером...

— И еще каким! — шутя задрал нос Коваль.

— Да, да... Ты, рассказывали, кого-то ловко поймал, вспоминаю — что-то очень интересное...

— То ли я ловил, то ли меня поймали. Вижу, ты очень интересовался! Так глубоко интересовался, что узнать никак не мог.

— Прости, но столько лет, столько лет!

— Я неузнаваемо изменился?

— Нет, — отмахнулся Третьяк. — Просто неожиданно...

— А я считал, что невропатологи тренированные люди и не теряются при неожиданностях.

Посмеялись, пошутили, все время присматриваясь друг к другу, словно каждый привыкал к новому облику товарища. Долго вспоминали школьные годы, одноклассников — всех их война или растоптала, или разбросала по свету.

Тем временем начало темнеть, и Дмитрий Иванович перешел к делу, которое привело его в кабинет Третьяка.

— Отдыхаю сейчас в Выселках. Помнишь их? Разбойничье гнездо, как когда-то говорили в Кобеляках. А теперь прекрасное село, богатый колхоз... Прошу тебя, помоги одной нашей землячке, она из Выселок. У нее плохо с нервами. Посмотри ее, возможно, следует положить в больницу. Муж ее очень переживает. Она шастает по всяким знахаркам и гадалкам, детям все меньше внимания уделяет, семья может распасться.

— Из Выселок, говоришь... Врачей игнорирует, только знахарки да гадалки? А как фамилия нашей землячки?

— Підпригорщик Лидія Антонова.

— Знакома мені ця фамилія, знакома, — пробормотав Третяк після невеликої паузи. — Знаю цю жінчину. Консультував. Уже обрещалась ко мені... — Професор пытливо взглянул на Ковалю и вдруг замолчал.

В кабінеті воцарилась тишина.

Дмитрій Іванович вспомнил сьогоднішній день в Полтаві.

В город он приехал, чтобы попросить в отделе уголовного розыска следственный чемоданчик и заодно встретиться, как обещал, с профессором Третяком.

Перед зустрічю з ним блуждал по городу, узнавая и не узнавая его. Радовался, что он снова в Полтаве, в той самой Полтаве, которая хотя и показала себя мачехой в страшную зиму тридцать третьего года, но все-таки была частичкой его детства, Полтаве, где скитался мальчишкой пусть и голодным, но жаждущим познать мир, чувствовавшим в себе неосознанную силу жизни.

Работая в министерстве, Коваль не однажды приезжал в возрожденный после войны город, но, всегда занятый оперативными делами, ограниченный во времени, он не имел ни малейшей возможности оглядеться и предаться воспоминаниям.

Направляясь к профессору, Дмитрий Иванович забрел на улицу, ведущую к городскому саду. И здесь воспоминания о недолгой учебе в Полтаве охватили его.

В тот тридцать третий год, когда больная мать опухла от голода в Кобеляках, его отправили к знакомым в Полтаву, где он поступил в техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Техникум вместе со строительным институтом находился за городским садом в высоком белоколонном здании дореволюционного Института благородных девиц, стоявшем над обрывом, с которого была видна пойма Ворсклы и железнодорожная станция Полтава-Южная.

Идя знакомой дорогой — она словно уводила его в прошлое, — Коваль вспоминал, как пробегал здесь, спеша на занятия, как продавал на рынке, возле тюрьмы, свой студенческий паек хлеба — сто пятьдесят граммов за полтора рубля, потому что за эти деньги мог трижды поесть без хлеба в техникумской столовой горячий рассольник сплошь из гнилых огурцов. Вспоминал, как, живя у знакомой старушки, на всю ночь ставил в горячую печь горшок с кипятком, чтобы в нем к утру хоть немного размягчился плоский квадратик ребристой, как черепица, макухи, спресованной вместе с шерстью в твердый камушек.

Не раз в течение жизни вспоминалось ему это время. Из полтавчан в их группе учились сын городского прокурора по фамилии Арнауты и дочь директора мясокомбината Таня Пащенко. Арнаутова ненавидели. Откормленный, с пухлыми румяными щеками, он в перерыве садился верхом на парту, вынимал из портфеля пачку белого печенья с маслом и уписывал его у всех на глазах. Ребята отворачивались или выходили из класса. Помнил он и толстяка Сриблянского — подростка с маленькими живыми глазками, юного ростовщика, который предлагал изголодавшемуся товарищу свой хлебный паек сегодня, с тем чтобы позже должник отдал два.

У него всегда водились деньги, и он охотно давал их займы сокурсникам, но не «за так», а за проценты.

Интересно, думалось Ковалю, как сложилась судьба этих двух подростков потом, когда война высветила все спрятанное в людях. Именно такие, как Арнаутов и Сриблянский, становились клеветами фашистов и на оккупированных территориях. Бывало, во время расследования дел о стяжательстве, грабеже, убийстве перед ним иногда вдруг тенями проплывали эти личности. И тогда ошарашивал преступника неожиданными вопросами о его детстве.

Из полтавчан на его курсе была еще девочка Таня Пащенко — стройная, миленькая, манящая. По вечерам она приглашала к себе домой готовить уроки то одного, то другого сокурсника или сокурсницу, зная, что мать обязательно накормит голодного гостя ужином. Дмитрий Коваль от Таниных приглашений отказывался. Она была его первым увлечением, а может, и неосознанной любовью, гордой и неприступной...

Таня, чтобы ничем не выделяться среди товарищей, так же как и все, брала паек — кусочек черного хлеба. Большинство студентов, в том числе и Дмитрий Коваль, не получали стипендию и несли хлеб на рынок, надеясь продержаться на обедах в студенческой столовой. Но что такое сто пятьдесят граммов в тот тридцать третий год! Небольшой мякиш непропеченного суррогатного хлеба, который прилипал к рукам и сам тянулся ко рту. Он не имел товарного вида и, пока несли его до рынка, казалось, уменьшался в теплых ладошках голодных подростков. Поэтому студенты обменивались хлебными карточками. Кто-нибудь один брал на семь карточек (шесть чужих и одну свою) сразу кило пятьдесят граммов, довесок съедал сам, а кило — целый килограмм! — нес на рынок, где легко менял его на десятку. Потом всю неделю по его карточке хлеб получали другие.

Тане не было нужды нести на рынок свой паек, но она из чувства товарищества тоже принимала участие в этой горькой игре, в большинстве случаев не требуя взамен чужой карточки.

Весной получилось так: когда Дмитрий Коваль в свою очередь забрал хлеб по Таниной карточке, техникум внезапно расформировали. Третий и четвертый курс перевели в Киев, а студентов первого, на котором он учился, а также и второго отпустили домой. Он не получил больше хлебную карточку и остался должником Тани.

Прошло много лет, отгремела война. Дмитрий Иванович забыл уже об этом эпизоде своей жизни, но сегодня, пройдя по знакомым дорожкам, вдруг вспомнил. До боли в сердце захотелось найти Таню. Да и причина есть — старый должок отдать. Впрочем, где его нынче добыть, черный как земля, клейкий как замазка, хлеб тридцать третьего года! А отдавать сегодняшний, пышный, настоящий хлеб неинтересно. Тот, наполовину с мякиной, был и вкуснее, и дороже. Тому хлебу и цены не было. Его ценой была сама жизнь. Видно, долг этот он, Коваль, уже никогда не отдаст. Да и где ее найдешь сейчас, Таню Пащенко? Кто знает, жива ли, как сложилась ее судьба? И фамилию она, наверное, сменила, не будешь же объявлять всесоюзный розыск!..

Воспоминания промелькнули быстро. Их вытеснила неотвязная мысль:

«Как там в Выселках? Не прогремел ли во время моего отсутствия роковой выстрел, не пролилась ли кровь?»

Нет, полковник не считал, что угрожающее предупреждение — шутка. Так не шутят. Рассматривая наклеенные на листок из школьной тетради буковки, он обратил внимание на то, как неровно они наклеены, как танцуют эти бумажные буковки и налезают друг на друга строки. Дмитрий Иванович понимал, что тот, кто клеил их, находился в состоянии крайнего нервного возбуждения. У Ковалья был большой опыт, и он хорошо знал, что происходит с человеком, когда у него взрываются страсти и он становится способным на поступки неуправляемые...

— Так что же ты хочешь, Дмитрий? — нарушил молчание профессор.

Голос Третьяка вывел полковника из задумчивости.

— Что с ней?

— Действительно нервы не в порядке, — сказал Третьяк. — Боюсь, что в ее случае медицина бессильна.

Коваль в удивлении поднял брови.

— То есть как? Так страшно?

— Да нет, — врач чуть улыбнулся. — Просто нервное расстройство.

— А все-таки? На какой почве? — уже настойчиво начал расспрашивать Дмитрий Иванович. Может быть, он так и не заинтересовался бы этим недугом, если бы лицо Третьяка не приняло странное таинственное выражение.

— Понимаешь, Дима, — замялся тот, и полные губы его снова растянулись в неловкой улыбке. — Профессиональная тайна. Не разглашается.

— Ну, ну! — сердито произнес Коваль, на миг забыв, что он хотя и полковник милиции, но в отставке.

— Только по требованию следствия или суда.

— А-а... да, да, — возвратился на землю Дмитрий Иванович. — Действительно, я уже не имею права официально... Да и за Лидией Антоновной никакого криминала не значит... так что следствие в данном случае ни к чему... Просто, пользуясь нашей давней дружбой, хочу помочь человеку. Поэтому и интересуюсь. Ведь женщина буквально на глазах погибает.

— К сожалению, случай у нее тяжелый, редкий... И я бессилен...

— Я не знал, что она уже обращалась к тебе. Кажется, и близкие об этом не знают...

— Вполне возможно, — согласился Третьяк. — Это ее тайна... — И, посмотрев на полковника, который с обиженным выражением лица скользил рассеянным взглядом по кабинету, добавил: — Человек, надев белый халат, обязывается держать в тайне все, что знает о больном. Так же как и ты, когда работал, держал при себе свои профессиональные секреты.

— Ты прав, — согласился Коваль. — Но я сейчас так расспрашиваю про болезнь Лидии Антоновны потому, что это может оказаться связанным с одним серьезным событием, — на ходу выдумал полковник, чтобы расшевелить профессора.

— Ты серьезно?

— Нет, не подумай, она не замешана ни в каком преступлении и

никакого расследования не ведется... Но... — Коваль помолчал. — Но мне нужно знать... Антр ну¹.

— Да ты, Дмитрий, тоже что-то скрываешь, какой-то секрет. В таком случае выкладывай! — строго произнес врач.

— Да нет же, — засмеялся полковник, — с профессиональными секретами у меня покончено... — развел он руками.

— Но, понимаешь, белый халат...

— Что ты мне все время «халат» да «халат»! Сбрось его в конце концов к черту! — рассердился Коваль. — Ты не на приеме, и я не больной.

— Ну ладно, — вздохнул Третьяк, снимая белую шапочку, которая открыла гладкую как колено голову, и стягивая халат. — Главное, чтобы муж ее не знал. Но все-таки зачем тебе это?.. Болезнь неизлечимая.

— Рак? Опухоль?

— Да нет, — поморщился Третьяк. — Хотя и так можно сказать... Опухоль сердца. Так что зря ты ходатайствуешь.

Коваль уставился на профессора, ожидая объяснений.

— Любовь! — наконец выдохнул из себя Третьяк. — «Амур», как говорили древние... Эту болезнь излечивает только время, и то не всегда... Я эту Лидию Антоновну и гипнозом лечить пробовал...

— Постой, постой! — Дмитрий Иванович был ошеломлен. — Какая еще любовь?! — Он растерянно замолчал и только через несколько секунд снова заговорил. — Разве это болезнь? — наконец собрался с силами спросить.

— Любые чувства, доведенные до предела, не найдя естественного выхода, становятся болезнью. Это когда они предосудительные, сдерживаемые силой воли...

Новость никак не укладывалась в голове Коваля. Лидия Антоновна? Обычная женщина; казалось, совсем не романтическая, заботливая жена и мать, занятая на работе и дома! С мужем живут ладно, мирно. Предосудительная любовь! Из-за кого же она так страдает?! И неужели в современном мире еще сохранились такие романтические души, как в древних песнях и легендах? Или, может, это какое-то нечеловеческое увлечение?

Профессор словно прочел мысли Коваля:

— Действительно редкий случай. Подробности я не знаю, в частности — кто «объект». Не сказала. Не открылась. Хотя просила, молила помочь освободиться от мучившего ее чувства. Я провел несколько сеансов. Но безрезультатно. Мое влияние натолкнулось на ее подсознательное внутреннее сопротивление. Она, так сказать, «не разоружилась» передо мной, не назвала свою страсть, то есть объект страсти, и я был бессилен. Объяснял ей, что если не буду знать, кто «он», кто вызвал такую бурю в ее душе, не смогу излечить. Однако не сказала. Не открылась. С тем и ушла.

— Значит, твой гипноз не спасение?

— Это первый случай в моей практике. Но имей в виду, дело вовсе не во мне, не в моем таланте или бесталанности. Гипноз не может вылечить человека ни от любви, ни от ненависти, если эти чувства глубокие,

¹ Антр ну — между нами (фр.).

рожденные суммой других чувств, таких, как уважение, радость от другого человека, или, наоборот, — неуважение, страх, возмущение, и не в последнюю очередь половое влечение или половое отвращение.

Мы не можем, Дима, — продолжал врач, — при помощи гипноза сломать в психике такой стереотип, не можем нашему больному — назовем его так условно — вместо уважения внушить неуважение к другому человеку, вместо радости от любимого человека заставить чувствовать боль, лишить человека его самых сильных, самых глубоких страстей. Ведь все эти чувства неуправляемы, так сказать, сверху — это сама сущность влюбленного или влюбленной.

Да и зачем это делать? — развел руками Третьяк. — Кто дал право постороннему человеку, в данном случае врачу, соваться в интимные чувства «больного», даже когда этот «больной» обращается с просьбой спасти от тяжелой для него страсти?!

Мы, Дима, можем только помочь человеку мобилизовать свои внутренние силы, если он этого искренне желает. При помощи внушения, бесед, аутотренинга стремимся вызвать у человека веру в себя, в свои силы, привести его в такое состояние, чтобы он сам мог контролировать свои действия и выстоять против болезненного тяготения. Это, правда, не во всех случаях удастся. В конечном счете, повторяю, любовь является чувством, которое рождается глубинными движениями души, и если оно сплетено из естественных, присущих тому или иному человеку особенностей психики, характера, какое право мы имеем насильственным путем уничтожать его? Я тебя спрашиваю.

— Даже спасая человека, скажем, от самоубийства? Ведь и такое случается при отвергнутой любви.

Третьяк помолчал.

— Для этого существуют телефоны доверия, — произнес после паузы. — Что касается конкретно Пидпригорщук, то ее хорошо помню: среднего роста, худощавая женщина. Сначала держалась стыдливо — оно и понятно, — даже всплакнула, но потом проявила характер твердый, запальчивый... О таких древние говаривали: «Кавэ амантен!» Ты, наверное, не очень силен в латыни, — улыбнулся профессор, — это значит: «Берегись любимой!» Я хотел узнать, от кого ее предостеречь или, наоборот, кого от нее, но она не призналась.

Коваль кивнул:

— Да, я действительно не очень силен в древней латыни, я весь во времени настоящем, но, думаю, древних можно трактовать и иначе. Берегись не той, которую ты любишь, а той, которая в тебя влюблена, тебя полюбила, то есть «Берегись полюбившей!». Древние римляне были мудрыми людьми...

Третьяк засмеялся:

— Ну, допустимо и так.

Дмитрий Иванович беседовал с врачом, а в голове все время вертелось: «Кто же этот неизвестный, по которому сохнет Лидия Антоновна? Не чернявый ли красавец Грицько Ковтун?

Он хоть и в Кобеляках работает, но живет в Выселках, по соседству, и частенько топчется недалеко от подворья Пидпригорщук. Или, может,

неженатый, энергичный и статный председатель колхоза? С ним женщина часто видится в конторе, а бывает, и задерживается там допоздна?»

Коваль терялся в догадках. Он понимал, что Лидия Антоновна уже дошла, как говорят, «до ручки», если побежала со своей бедой к врачу. Верно, перед этим ей пришлось испытать полную чашу горечи, раз решилась спастись от нестерпимого чувства.

Впрочем, любовные страсти Пидпригорщук не его забота. Просьбу Петра Кирилловича он исполнил, обратился к профессору, а больше что мог сделать? Да и как объяснить мужу, что за болезнь у его жены? Абсолютно невозможно. Да и зачем ему знать!

— Я просто передам мужу, что был у тебя, но частной практикой ты не занимаешься, — сказал полковник Третьяку, — и если Лидия Антоновна хочет, пусть возьмет направление в райбольнице и записывается в очередь.

— Думаю, у меня она больше не появится, — ответил врач. — Однако, кажется, я тебе лишнего наговорил и нарушил врачебную этику, но, учитывая твоё профессиональное умение держать язык за...

— Не волнуйся, — перебил, не дослушав, Коваль. — История Лидии Антоновны никак не стыкуется с теми делами, что держат меня в деревне.

От ужина, на который Третьяк пригласил Дмитрия Ивановича, полковник отказался, пообещав ещё раз приехать. Он спешил на последний автобус, идущий из Полтавы мимо Выселок.

6

В Выселки Коваль возвратился поздним вечером. В окнах домов вдоль дороги ещё горел свет, да и путь от автобусной остановки до сельсовета и правления колхоза освещали одиночные, уцелевшие от мальчишеских рогаток, фонари. Дальше холмы и дорога сливались с небом. Воздух был прозрачным, небо усыпано звездами. Полковник, несмотря на то что целый день провел в Полтаве на ногах, с следственным чемоданчиком в руках шел бодро, с наслаждением вдыхая запах остывающей после жаркого дня земли. Было тихо, лишь то с одного, то с другого подворья слышалось глухое собачье рычанье или тревожный лай.

С того времени, как Коваль ушел от профессора Третьяка, его не оставляли мысли о Лидии Антоновне. Ему никак не удавалось отвязаться от них. Новая загадка возникла перед Дмитрием Ивановичем — загадка Лиды, — и поскольку она не мешала его главному делу, он уделил и ей внимание. Это, конечно, было не простое мужское любопытство, скорее профессиональная привычка не пропускать ничего мимо своего внимания. Он перебирал в мыслях все, что знал об этой скромной, симпатичной женщине, которая, однако, отличалась странной нервозностью, неуравновешенностью, внезапными изменениями настроения. Больше ничего он не мог бы о ней сказать, разве только то, что с первой встречи каким-то внутренним чувством ощущал к себе ее настороженность и непонятную холодность. «А почему? — задавал себе вопрос полковник. — Ведь не ей пришлось потесниться с мужем, и детьми, отдав ему отдельную комнату». Коваль жил на половине Василя Кирилловича, и заботилась о нем

Оля Пидпригорщук. Детей уже отвезли в пионерлагерь, и теперь на обеих половинах дома было просторно — и на одной, и на другой по две комнаты с боковушкой. Так что особенных неудобств Лидии Антоновне он не доставлял. Но, сталкиваясь с ним на общем дворе, женщина избегала его взгляда, а если была застигнута врасплох, неловко улыбалась. Теперь он вроде понял ее. Коваль допускал, что Лида боится: как бы знаменитый сыщик, разыскивая того, кто угрожает деверю, невольно не раскрыл бы и ее любовную тайну.

«Все же кто так растревожил душу еще молодой, казалось серьезной, женщины?»

Размышляя, Дмитрий Иванович подошел ко двору Пидпригорщуков. Светилась только половина Лиды и Петра, вторая погрузилась в темноту, и Коваль решил, что Василь дежурит в сельсовете или ушел с дружинниками в поле, а Оля, не дождавшись постояльца, легла спать. Не будет он ее беспокоить своей возней и отпечатки пальцев на тетрадном листке снимет завтра утром.

Дмитрий Иванович подошел к скамейке на краю обрыва и опустился на нее. Только сейчас почувствовал, как гудят ноги. Однако не хотелось прятаться в душную комнату, и он еще долго сидел над обрывом, словно вровень со звездами, хрустально мерцавшими в небе. Небо было таким невесомым, словно его вовсе не было, и звезды держались кто знает на чем. Сильно пахло скошенной травой и луговыми цветами. Дышалось и думалось легко...

Утром, когда Пидпригорщуки разошлись на работу, Дмитрий Иванович решил приступить к делу. Он раскрыл свой «дипломат» и вдруг остолбенел: тетрадного листка с угрозой не было! Полковник еще раз просмотрел содержимое «дипломата»: чистая тенниска, майки, трусы, носовые платки... Он хорошо помнил, что положил листок в свободное отделение...

Кто же мог его взять?! Да здесь, оказывается, не все так просто! Не рядовая сельская вражда, здесь все глубже и сложнее, и, наверное, в этой истории запутаны и сами Пидпригорщуки, ибо кто, кроме них, имеет доступ в дом, кто, кроме них, мог раскрыть его «дипломат» и украсть вещественное доказательство? Это его «прокол»: как же он так оплошал со своим опытом, почему не взял из Киева ключи от «дипломата», чтобы при необходимости запереть его?.. «А впрочем,— подумал Коваль через минуту,— это, возможно, и к лучшему». Конечно, теперь ему не удастся пойти прямым путем: сняв отпечатки пальцев с листа, сравнить их с отпечатками пальцев нескольких подозреваемых. Таким образом он мог сразу установить виновника, если, разумеется, он правильно очертил круг подозреваемых. Но нет худа без добра. Это неожиданное событие в свою очередь работает на него. Оно сужает круг поисков. Теперь, во всяком случае, он знает, что далеко ходить не надо, разгадка здесь, в самом доме Пидпригорщуков.

С самого начала он мог действовать иначе, мог бы и не ездить за следственным чемоданчиком и не выпрашивать его. Мог бы отвезти на экспертизу сам листок с угрозой. Но в таком случае ему для идентификации отпечатков пришлось бы везти в Полтаву и бидончик из-под

молока, с которым ходил к «итальянцу», просить у Полищука заявление Бондаря не на пять минут, а на день-два и таким образом волей-неволей открыть тайну Пидпригорщук. А этого ему не хотелось. Да и отпечатков пальцев Грицька Ковтуна у него еще до сих пор не было, а здесь, на месте, он уже как-нибудь ухитрился бы раздобыть и их. А главное — чтобы сдать все в научно-криминалистическую лабораторию, должен был бы придать этой истории официальный ход, что Пидпригорщук просили его не делать.

Коваль все время чувствовал себя в Выселках неловко. И не только потому, что жил у чужих людей, хотя и по их просьбе, и они принимали его со всей сердечностью. Он просто не привык вести розыск неофициально, точно какой-нибудь частный детектив. На душе у него иногда становилось неуютно, так, будто он сам нарушил закон.

Дмитрий Иванович еще раз заглянул в «дипломат», словно не верил своим глазам. Так и не увидев в нем злосчастного листка, застегнул его, положил на старое место, на диван, и вышел из дома. Полковнику вспомнилось где-то прочитанное выражение — кажется, Стендаля: «Чтобы двигаться, необходимо испытывать сопротивление». Теперь он его ощутил.

Во дворе царила тишина, так же тихо было и на соседних подворьях — заканчивалась уборка урожая и люди находились в поле от зари до зари. Косые лучи утреннего солнца вызеленили и позолотили холмы, подкрадывались к ивняку над Ворсклой, к ее серебряной воде. Дмитрий Иванович, размышляя, по привычке ходил по двору. Подумал, что и на этот раз, наверное, не обойдется без своего графика: обычно он расписывает на бумаге все «за» и «против», очерчивает круг действующих лиц. Но пока он выстраивал этот график в голове, решив, что, если так не поможет, тогда уже сядет с бумагой и карандашом в руке. Сейчас он более детально рассматривал факт общего владения обоими Пидпригорщуками отцовского дома — в нем двум разросшимся семьям действительно стало тесновато, раздумывал о возможности скрытого конфликта из-за этого наследства, в результате которого младшие Пидпригорщуки «выталкивали» старших. Но почему в таком случае к нему в Киев приезжала не только испуганная насмерть жена Василя Пидпригорщука, но и Петро? Да и дружеские отношения между родственниками, которые он наблюдал, не давали основания подозревать конфликт. Разве только то, что Лида почему-то избегает деверя, хотя с его женой Олей живет душа в душу.

Дмитрий Иванович возвратился в дом, открыл следственный чемоданчик и начал посыпать порошком следы прикосновений на своем «дипломате». Старался понять «куи продэст», как сказано в праве, то есть «кому это выгодно». Ясно, что тетрадный лист выкрал человек, боявшийся разоблачения: Коваль не скрыл от Пидпригорщук цели своей поездки в Полтаву. Человек, который клеил записку, оставил на ней отпечатки своих пальцев и, естественно, испугался...

Кто же это может быть?

Жена Василя Оля?

Ни в коем случае! Ведь это она, испугавшись за мужа, умоляла его приехать и найти того, кто угрожает ее Василю. Начитавшись книжек

о сыщике Ковале, она уговорила и Петра съездить с ней в Киев и найти его.

Брат Василя Петро? Но он так же, как и Оля, забеспокоился и бросился на помощь... Впрочем, возможно, вдруг изменились какие-то обстоятельства и Петро... Дальше Коваль не развивал своего подозрения — у него на это не было никакого основания.

Но все-таки «куи продэст», все же кому выгодно было, чтобы Василь Пидпригорщук уехал из Выселок? Такого не может быть, чтобы никто не извлекал из этого выгоды, пусть не прямой, материальной, а, скажем, моральной...

Коваль закончил снимать отпечатки пальцев с «дипломата», закрыл следственный чемоданчик и снова вышел во двор. Он опустился на скамейку и, механически оглядывая прекрасный пейзаж, Ворсклу, далекую заречную даль с песками, лугом и сосновым бором, ясное, словно невесомое, прозрачное небо над ней, которого как будто и не было вокруг, вытащил из кармана «Беломор» и закурил, продолжая разгадывать головоломку.

Подойдем, сказал себе, к проблеме еще раз со всех сторон: кому он так мешает здесь, в Выселках, этот Василь Пидпригорщук?

Ну конечно, местным пьяницам, хулиганам и ворам. Он вырос на этих выселчанских холмах, всех знает, его не обманешь, к тому же человек решительный, упорный, от него не отвертишься, не откупишься... Он, Коваль, уже более-менее полно определил круг наиболее «пострадавших» от командира сельской дружины и, казалось, был близок к разгадке тайны тетрадного листка, но неожиданное похищение его смешало ему все карты. Теперь нужно было искать какие-то обходные пути, чтобы найти автора угрожающего послания.

С Грицьком Ковтуном он еще не беседовал, только видел его на улице. Шли мимо Ковтунов, и вдруг Оля с ненавистью взглянула на чернявого, красивого хлопца, который как-то особенно лихо садился в свои «Жигули», словно по-молодецки вскакивал на коня.

«У-у...» — прошипела всегда сдержанная Оля.

«Кто такой?» — спросил Дмитрий Иванович, хотя уже догадался, ибо «Жигули» стояли возле ворот «итальянца».

«Он самый, — тихо ответила женщина. — Бандит. Ковтун».

Дмитрий Иванович понял, что именно в этом парне Оля видит наибольшую угрозу для мужа.

«Я его уже несколько дней замечаю возле нашего двора, видно, высматривает Василя, какую-то новую пакость придумал», — добавила Оля, тяжелым взглядом провожая коричневую машину, которая, будто насмехаясь, пыхнула на них седым дымком, моргнула красным глазом и побежала по дороге...

Мысли Ковалья текли по кругу и, естественно, то и дело возвращались на круги своя. От воспоминания о Грицьке Ковтуне он снова перешел к Пидпригорщукам. Кто-то чужой вряд ли знал, почему Коваль приехал в Выселки. Опять, значит, получается: только свои! «Очуметь можно от этого, — сокрушался Дмитрий Иванович. — Кто же этот «свой»? Кому Василь мешает в своем доме?!»

Младший брат Петро как будто исключается из списка подозреваемых, так же как и жена Василя Оля. Кто же остается? Одна Лида? Только Лида. Ею и заканчивается короткий список обитателей дома на краю обрыва над Ворсклой... Но какие претензии есть у этой женщины к брату мужа? Да еще такие, которые подтолкнули ее к страшной угрозе? Может, Лида на самом деле хочет выжить Василя и его семью из родового дома? С двумя детьми и мужем ей и вправду тесновато в двух комнатах... Другой причины для вражды он не видит. Но действовать таким образом?!

Перед мысленным взором полковника появилась, словно выплыла из кудрявой туманной дали, смуглая женщина с длинной косой, уложенной вокруг головы пышным гнездом, темные глаза ее были подернуты грустью, время от времени в них мелькала то боязнь, то вдруг решительность. О, теперь Дмитрий Иванович знал, чем объясняется нервозность Лидии Антоновны. Муки неразделенной любви, постоянные терзания совести и неистовство неосуществленных желаний, порывов, мечтаний. Самое тяжелое для человека — жить надеждой, а потом тонуть в безнадежности и безысходности, находиться между верой, сладкими мечтаниями и отчаянием, стремиться сбросить тяжкие оковы безответной любви и жадно желать не потерять их, бросаться от любви к ненависти. Может ли сердце такое выдержать?!

Но все же какое отношение имеют эти терзания Лидии Антоновны к делу Василя Пидпригорщука? Абсолютно никакого.

Дмитрий Иванович пожал плечами, сам удивляясь, куда занесло его в мыслях.

«Слушай, — вдруг обратился он сам к себе, — а не Василь ли, которому надоела возня вокруг его особы, тихонько забрал записку?»

Эта мысль сначала показалась нелепой. Тогда напрасен розыск подозреваемых, поездка в Полтаву за следственным чемоданчиком, все хлопоты с дактилоскопией, беспокойство об этом неблагодарном человеке.

Подозрение в неблагодарности падало на того, кого оберегает и к кому привязался, и причинило Дмитрию Ивановичу боль. Значит, нечего ему больше делать в этих Выселках!

Но полковник Коваль не был бы Ковалем, если бы легко отрекался от задуманного. Преграды только разжигали его энергию. Успокоил себя мыслью, что находится здесь, в конце концов, не только ради Пидпригорщука, но и прежде всего во имя справедливости, отвоевывать которую является его долгом, все равно каким: служебным или просто человеческим.

...В этот день за обеденным столом собрались все Пидпригорщуки. Василь Кириллович теперь работал не в поле, а в мастерской, Лиде от конторы колхоза до дома было близехонько, а огородники Оля и Петр Кириллович нашли свободную минутку, чтобы забежать домой.

Все знали, что ночью Коваль возвратился из Полтавы, куда ездил по их делу, и привез с собой туго набитый таинственный чемоданчик. Поэтому, смущенно объясняя друг другу и одновременно Ковалю, почему они оказались днем дома, каждый нашел свою причину.

Дмитрий Иванович понимал их любопытство, и оно его вполне устраивало.

Обед, хотя и собранный на скорую руку на деревянном столике под акацией, оказался неплохим. У Оли нашелся в холодильнике борщ, Лида мигом пожарила на сале яичницу и поставила на стол компот из свежих ягод.

— Как съездили, Дмитрий Иванович? — первым поинтересовался Василь Пидпригорщук, когда уселись за стол. — Все тайны раскрыли? — Он улыбнулся, давая понять, что, как и раньше, возня, которую затеяла Оля вокруг подброшенной записки, его не касается.

Полковнику захотелось в этот миг спросить Василя при всех, не он ли забрал из «дипломата» тетрадный листок, но какое-то внутреннее чувство остановило его от прямого разговора.

Сделал вид, что очень занят не зажаренной как следует яичницей, которая никак не поддается вилкой, и не спешил с ответом. Нет, он не намерен откровенничать о своем просчете и рассказывать об исчезновении вещественного доказательства.

Не торопясь отложил вилку, зачем-то осмотрелся, словно хотел кого-то увидеть.

— Это не так просто, Василь Кириллович, — заметил. — Но скоро все выяснится. Скоро, скоро, — повторил он, мгновенно оглядев присутствующих: кто как реагирует на его слова?

Оля облегченно вздохнула и еле слышно прошептала: «Слава богу!» Голодный Петро хлебал борщ, не поднимая головы, только Лида вопросительно посмотрела на него — очевидно, ее удивил такой категоричный ответ Ковалья. Дмитрий Иванович перехватил этот взгляд. Он и раньше замечал, что его появление в Выселках радости у этой женщины почему-то не вызвало, поэтому и настороженный ее взгляд сейчас не показался неожиданным.

— И на кого же вы думаете? — спросил Петро, отрываясь от тарелки.

— Привет! — буркнула Лида мужу. — Сразу тебе так и скажут, чтобы под рюмку всему свету разболтал.

Задетый ее словами и тоном, Петро вяло огрызнулся:

— Уже и спросить нельзя?

— Конечно, можно, — успокоил его полковник. — Но дело в том, Петро Кириллович, что я и сам пока не знаю.

— Значит, все-таки «долго» еще, а не «скоро, скоро», — вспыхнула Оля, и на лицо ее набежала тучка.

— Нет, не долго, — заверил Коваль. — Не долго... Сегодня не знаю, а завтра, глядишь, и буду знать...

Лида хмыкнула.

— Да не ломайте себе голову, Дмитрий Иванович, — взмолился старший Пидпригорщук. — Ей-богу, мне просто неудобно, что такое закрутилось... А ведь чепуха!

— А если не чепуха? — с вызовом спросила Лидия Антоновна.

— Все равно я никого не боюсь, Лида, — подчеркнуто резко ответил деверь. — А вы, Дмитрий Иванович, отдыхайте, пожалуйста, прошу вас.

Хватит с этим розыском, для нас большая честь, что вы остановились у нас... В Выселках,— улыбнулся он,— как-то уже пронюхали, какого знаменитого гостя принимаем... Пошел слух, что забираете меня в милицию работать на высокую должность... Смех и грех!..

Коваль тоже улыбнулся.

— А чего же!..

— Так что отдыхайте, и все. Вот в субботу открывается охота на уток, я уже вам обещал — попрошу у кого-нибудь, кто не пойдет ночью, ружьишко — и набьем уток... Это дело веселее, чем какие-то дурацкие записки.

— Значит, будете индентен... тьфу! Язык сломать можно! То есть следы искать вот той штукой, что привезли? — Петро кивнул на дом, имея в виду следственный чемоданчик.

— Да,— подтвердил полковник.— Это дело несложное. Сравним отпечатки пальцев на записке с отпечатками тех, кого подозреваем... Это называется идентификацией, а наука — дактилоскопией. На кончиках пальцев, подушечках, у каждого человека есть рисунок рельефных линий, присущий только ему.

— Это известно,— сказала Лида.— И очень просто, если бы вы знали, кого подозревать. А вы говорите, что до сих пор не ведаете... Разве что все Выселки проверять будете... А этого, наверное, делать нельзя...

— Конечно, не будем беспокоить все Выселки, нас интересуют всего несколько человек,— ответил Коваль.— Да и отпечатки их уже есть.

Лида недоверчиво хмыкнула.

— Скажите, сюда, к вам, никто не приходил, какие-нибудь знакомые, по делу или просто так? — обращаясь ко всем, спросил полковник.

— Вроде бы никто,— пожала плечами Лидия Антоновна.

— Как «никто»?! — вскрикнула Оля.— Что ты говоришь, Лида! Ты была в правлении, на работе, и ничего не знаешь. К Василию пожаловал тот разбойник, Грицько Ковтун.

— Ковтун? — Дмитрий Иванович насторожился. Кажется, без постороннего человека дело не обошлось. Он снова представил себе того хваткого чернявого хозяина коричневых «Жигулей». — А зачем приходил? — спросил Пидпригорщука.

— Э! — махнул рукой Василь.— Умолял простить, не передавать участковому протокол о хищении зерна. Извинялся, что ударил...

— Ну а вы?

— Что я? Я, Дмитрий Иванович, не однажды жалел его... А он своих привычек не оставляет... Честно говоря, и на этот раз его жалко стало. Думаю, молодой, угодит за решетку, свяжется с рецидивистами — и пропал парень. Так он мне начал десятки совать. Покупать. «Возьми» да «возьми»! «На дружбу»! Тут я и взвился. Чуть не дал ему в ухо!..

— А я бы дал! — буркнул Петро.— Да так, чтобы надолго запомнил. Это был бы ему и суд и право.

— Он и так с улицы кричал Василию: «Ну подожди!» — защищала мужа Оля, видно было, что молодого Ковтуна она больше всех боялась.

— Когда это случилось? — спросил полковник.— В котором часу?

— Где-то перед обедом. Я была выходная, хозяйничала дома, а он прилепился: дай ему Василя, и все!

— Пьяный?

— Под газом,— подтвердил Пидпригорщук.

— Объясняю: «Василя нет, на работе»,— продолжала Оля.— А ему хоть роди. Уселся вот здесь, на скамье, и не уходит. «Я,— говорит,— подожду».

«Да он,— твержу,— не скоро придет».

«А обедать?»

«На обед он не приходит».

Может, тот разбойник посидел бы, посидел да и ушел, а тут — Василь. Почти никогда домой в обед не появляется, а тут как на-зло! Сначала разговаривали вроде бы тихо, мирно, а потом сцепились...

— Хватит, Оля,— произнес Пидпригорщук,— хватит об этом.— Он поднялся.— Работа ждет.

— А в дом он не заходил, этот Ковтун? — поинтересовался Коваль.— Он долго ждал?

— Нет, недолго. И в дом не заходил, сидел вот здесь на скамейке и что-то бубнил себе под нос.

— Что вы делали тогда?

— Стирала.

— В доме? — «Дипломат», естественно, стоял в комнате старших Пидпригорщук»,— подумал Коваль.

— Почему в доме? Во дворе. Там,— показала Оля в конец двора.

— А грязную воду где выливали?

Удивленная женщина пробормотала:

— С обрыва. Не среди двора же!

Не вбежал ли Ковтун в дом, когда Оля с ведрами ушла к кособору? Так. Но откуда он мог узнать, что записка находится в «дипломате»?

Все новые загадки теснились в голове Ковалья.

Василь Пидпригорщук зажег сигарету и медленно двинулся к дому. Лида проводила его долгим взглядом. От наблюдательного Дмитрия Ивановича не укрылось, что это был странный взгляд: страстный огонь в нем смешивался с горячим злым пламенем. Радостные вспышки и искры ненависти в едином костре! Каждый миг этот взгляд менялся, то казался теплым, ласковым, то взрывался пожаром! Глаза женщины вспыхнули еще раз, второй и вдруг погасли. Лида поднялась и с опущенным взглядом начала собирать посуду.

Все отошли от стола. Куры, которые копошились у ног, словно по команде, одичало попрыгали на скамейки и стол, склевывая крошки.

Петро, улучив минуту, когда возле Ковалья никого не было, быстро подошел и тихо спросил:

— Дмитрий Иванович, ну что там, в Полтаве? Виделись с профессором?

Полковник кивнул.

— Он вылечит Лидочку? Я никаких денег не пожалею.

— Дело не в деньгах,— заметил Коваль.— Не знаю, поможет его лечение или нет, но он попробует...

Дмитрий Иванович не хотел, чтобы Пидпригорщук узнал, какая «хворь» одолела его жену и что Лида уже побывала у Третьяка.

— Большое вам спасибо, Дмитрий Иванович,— с чувством произнес Петро, ища руку Коваля, чтобы пожать ее.— Очень большое... Для меня Лидуся — вся жизнь... А когда? Когда приехать?

— Со временем,— уклончиво ответил полковник, соображая, как выйти из сложившегося положения.— Он сам известит... Однако Лидии Антоновне пока ничего не говорите. Вы были правы. То, что я посетил Третьяка, ей действительно не следует знать. По крайней мере пока.

— Конечно,— ответил Пидпригорщук.— Я не хочу заранее ее волновать, неизвестно, как она к этому отнесется...

7

Данные экспертизы ошеломили Дмитрия Ивановича: «дипломат» его открывала... Лида, дактилоскопия показала, что кроме него к «дипломату» прикасалась только ее рука. Вот те ^и на! Почему Лидия Антоновна? Зачем ей было воровать этот листок? Для кого? Во имя чего? Что-что, а такого поворота событий он никак не ожидал.

Теперь все, что он до сих пор делал в Выселках, как будто теряло всякий смысл: не могла же Лидия Антоновна спасти какого-то самогонщика Бондаря или Ковтунов!

Некоторое время Дмитрий Иванович ходил сам не свой, мысли были беспорядочными, часто обрывались, не имея логического продолжения. Версии рождались одна другой головоломнее, они быстро появлялись и так же молниеносно исчезали.

Вдруг вспыхнула догадка: безумно влюбленная в Грицька Ковтуна, Лида помогала ему выжить Василя Пидпригорщука из Выселок. Это для своего любимого ukrала она записку, боясь, что полковник обнаружит следы его пальцев на бумаге и наклеенных буквах. Затем и прибегал к ним Ковтун будто бы просить извинения у Василя за свой поступок. Лидия Антоновна отдала ему украденную записку, и таким образом они спрятали концы в воду...

Очень хорошо складывалась у Коваля эта версия, но внезапно рассыпалась от единственного вопроса: «Зачем было Ковтуну прибегать к Пидпригорщукам за своей запиской?» Ведь Лида, взяв ее утром тайком, когда дома не было ни Оли, ни Василя, а он, Коваль, уехал в Полтаву, отдала бы по дороге на работу или в правлении колхоза, куда мог заглянуть Грицько... Или просто уничтожила бы!.. Хотя где доказательства, что женщина влюблена именно в молодого Ковтуна? Это его, Коваля, произвольные размышления... Доказательств пока нет никаких...

Дмитрий Иванович очень разволновался от всей этой каши в мыслях. Оказывается, что в ожидаемое преступление замешаны еще и интимные

дела, в которые постороннему человеку, возможно, и не положено соваться...

Но как бы там ни было, полковник должен во всем разобраться. Придется ему еще пристальней приглядеться ко всем Пидпригорщукам, особенно к Лидии Антоновне, познакомиться также с молодым Ковтуном, и, смотри, какая-нибудь капля, какая-то крохотная деталь подтолкнет его интуицию, как это случалось и раньше, и прольет свет на все. Из многолетней своей практики и ряда наблюдений он убедился, что заранее никто не знает, когда сработает интуиция и вспыхнет в сознании открытие, ибо никаких определенных правил проявления интуиции у человека нет. Вся информация зависит от отдельных деталей, незначительных на первый взгляд событий, случайных ассоциаций.

Прошло еще несколько дней. В доме Пидпригорщуків все было как и раньше: работали, встречались вечером, беседовали о том о сем, и все словно забыли, для чего приехал в Выселки полковник Коваль. Да и он никого ни о чем больше не спрашивал, держался как обыкновенный дачник: ходил на Ворсклу, купался на рассвете или вечером, иногда просиживал на берегу с удочкой по несколько часов, и никто не знал, о чем думалось ему в такие часы.

То, что записка исчезла и кто ее забрала Лидия Антоновна, знал лишь он. Женщина в свою очередь держалась так, будто ничего не произошло, и, конечно, не догадывалась, что Коваль снял со своего «дипломата» отпечатки ее пальцев. Как и прежде, была раздражительна, может, даже больше, чем всегда, особенно когда сталкивалась с Василием. С мужем почти не разговаривала, только «да» или «нет». Но вдруг на короткое время резко менялась: начинала ласкаться к своему Петру, словно стремилась загладить постоянную холодность, подходила и неожиданно при всех, не стесняясь ни Василия, ни даже постороннего человека — Дмитрия Ивановича, принималась целовать его.

Стояли жаркие августовские дни. Днем из-за жары все ходили одуревшие, в воздухе было разлито какое-то дурманящее изнеможение, и лишь вечером люди немного приходили в себя. Каждый день ждали, что соберется гроза, но солнце садилось, легкие облачка тонули в небе, гроза не налетала, и землю снова окутывал теплый вечер, который не только не успокаивал, а, пропитанный какой-то неопределенностью, ожиданием, тревогой, казалось, еще больше взвинчивал людей. Достаточно было неосторожного слова, чтобы вспыхнула ссора.

Вот в такой день, когда раскаленное солнце еще полностью не опустилось за асфальтовое шоссе, Василь возвратился с работы пораньше и принес ружье.

— Дмитрий Иванович, — сказал он Ковалю, разводя руками, — извините, но ничего у меня не вышло. Думал, кто-нибудь не пойдет, поленится в ночь, на зорьку, но, видно, жара всех гонит к воде... Так и не нашлось свободного ружья... Но вот мое, хотите — идите, я вам прекрасное место покажу.

Коваль замахал руками:

— Не надо! Не надо! Признаюсь, Василь Кириллович, я никогда не

охотился, хотя стрелять вроде бы умею,— он улыбнулся.— Я только рыбак, чистый рыбак, это — мое... А охота... Нет, нет...

Василь не настаивал.

— Мы установили правило для охотников: ружья хранить в сельсовете, под замком, патроны набиваем дома, а ружья берем только на охоту... Думал, возможно, кто-нибудь сегодня не возьмет,— повторил он, еще раз виновато улыбнувшись.

— Ничего, ничего,— успокоил его Коваль.— Все хорошо. Я на рассвете пойду рыбачить... Если уток не будет,— пошутил,— то хотя бы уху сварим.

— Что же? Соревнование? — спросил Пидпригорщук.

— Пусть и так.

— Однако, Дмитрий Иванович, не советовал бы вам идти на рассвете на Ворсклу,— заметил Василь.

— Почему?

— Всякое случается,— медленно произнес механизатор.— Сезон открывается, на перелете такая стрельба начнется, как на войне. В потемках плохо видно, да еще и азарт, в прошлом году у нас нечаянно учителя подстрелили...

— Да я не очень смахиваю на утку,— засмеялся Коваль и уже строже добавил: — Думаю, вы в большей опасности...— Он имел в виду висевшую над Василем угрозу, и Пидпригорщук его понял.— Не так ли?

— Пустяки! — как всегда махнул тот рукой.

Вдруг полковник заметил, что за ними следят. Невдалеке стояла Лидия Антоновна и, казалось, прислушивалась к их беседе.

Между тем Пидпригорщук понес ружье в дом. Женщина проводила его взглядом, в котором, как и в тот раз, во время обеда, Дмитрий Иванович заметил безумный огонь. Огонь вспыхнул и сразу погас, снова озадачив Ковалья.

Подкрадывались сумерки. Занятый своими мыслями, полковник несколько минут послонялся по двору, опустился на любимую скамейку у обрыва. Посидел, закурил свой «Беломор».

Появился Петро, он еле держался на ногах. Не замечая Ковалья, метнулся в дом, потом вышел и, увидев полковника, придиричиво спросил:

— Где Лидка? Где она?

Удивленный его тоном, Коваль в ответ молча пожал плечами. Петро снова ринулся в дом, и Дмитрий Иванович понял, что младший Пидпригорщук пьян.

Выбросив окурочек и вдохнув посвежевшего к вечеру воздуха, Дмитрий Иванович решил лечь пораньше, чтобы подняться чуть свет на рыбную ловлю. Он думал, что и Василь Пидпригорщук, который собрался на зорьку, уже спит, но двери второй комнаты и боковушки были открыты и помещения пусты.

Дмитрий Иванович обратил внимание на то, что ружья в доме нет.

«Неужели Василь Кириллович не выдержал, до официального откры-

тия охоты побежал на Ворсклу? — промелькнула мысль. Он улыбнулся: вот что значит охотничий азарт! — А может, отправился купаться? Где же, в таком случае, ружье?»

Коваль вышел во двор. Нигде никого. А вдруг он у брата? Дмитрий Иванович постучался к младшим Пидпригорщукам и, не услышав ответа, толкнул дверь.

Пьяного Петра дома не было, Василя и Лиды тоже... Где же все-таки ружье? Эта мысль тревожила Ковалья. Оружие есть оружие!

И тут Дмитрия Ивановича как током ударило. Ему вспомнился взгляд, которым Лидия Антоновна проводила Василя с ружьем. В этот раз в глазах женщины была не растерянность, а отчаянная решительность. Вмиг связались в сознании полковника рассказ Третьяка о болезненной влюбленности Лиды, этот затравленный, отчаянный взгляд и заметка в газете, оказавшая ему помощь при раскрытии преступления Варвары Павленко. Он мог процитировать ее на память: «В какие-то минуты мы ненавидим тех, кого любим. Эти, к счастью, редкие мгновенья пугают нас, мучают и неприятно изумляют, оставаясь загадкой души. «Нет ничего ненормального в том, что мы иногда ненавидим тех, кого больше всех любим,— уверенно заявляет профессор Кеннет.— В этом виноват только механизм человеческой психики, когда мгновенный эмоциональный всплеск опережает умственный процесс. Но не следует пугаться этой нервной вспышки. В конце концов осознанная любовь победит минутное раздражение».

Нет, Дмитрий Иванович не хотел поверить себе, своей новой догадке. Это было невероятным! Ведь Василь — брат ее мужа! Но поступки влюбленных непостижимы!

Все смешалось в голове Ковалья. В миг озарения он понял, что Лида может наделать беды. Он бросился по склону к реке. Где-то на полпути он увидел Лиду. Женщина стояла на крутом берегу, над водой, одетая, освещенная неярким вечерним светом. Длинная тень ее лежала на воде. Василя поблизости не было, и она не держала в руках ружья. Дмитрий Иванович замедлил шаг.

Но вдруг он остолбенел. Оказывается, не Лида взяла ружье, а Петро. Младший Пидпригорщук стоял, пошатываясь, среди кустов ивняка, и ружье, направленное на жену, покачивалось в его руках.

Лида тоже увидела мужа, но не убежала, а, гордо подняв голову, подтягивая за собой свою тень, медленно пошла прямо на него. В этот миг она показалась Ковалю выше ростом и какой-то торжественной...

Предвидя трагедию, он буквально скатился вниз. Задыхаясь, полковник гаркнул на Пидпригорщук и успел толкнуть ствол ружья вверх.

Выстрел прогремел над его головой, заохало эхо над рекой. Дмитрий Иванович увидел, что Лида продолжает стоять — Петро не попал, и Коваль вырвал ружье из его рук. Тогда Пидпригорщук выдернул из-за пазухи какую-то тоненькую тетрадь, швырнул на землю и стал топтать, выкрикивая в бешенстве: «Как она посмела к моему брату! К родному брату! Стерва проклятая! Шлюха!»

Коваль выхватил из-под его ног истерзанную, всю в песке тетрадь. Пидпригорщук упал и, пьяно рыдая, начал биться головой о песок. Дмитрий Иванович еле поднял его. Петро вырвался и снова упал. Вид у него был страшный: шевелюра, полная песка, торчала во все стороны, к мокрому от слез лицу тоже прилип песок, сквозь разодранную рубашку виднелась испачканная грудь. В конце концов, дав Пидпригорщuku хорошенького тумака, полковник заставил его опомниться и погнал впереди себя в гору, к дому.

Навстречу им бежал Василь — он направлялся в сельсовет, но услышал выстрел возле реки.

Дмитрий Иванович отдал Василю ружье, промолчав, почему Петро стрелял над Ворсклой, ибо сам еще не пришел в себя, не мог сообразить, что же в самом деле произошло в семьях Пидпригорщуков.

Вдвоем с Василем они довели Петра, который плакал пьяными слезами, матюгался и все время рвался из их рук, до его комнаты, и он, не раздеваясь, упал на постель.

Лидия Антоновна куда-то исчезла. Василь бросился искать ее, а Дмитрий Иванович, не теряя из виду всхлипывающего и елозившего по кровати Петра, листал исписанную круглым, в ряде мест неровным, женским почерком тоненькую школьную тетрадку, которая случайно оказалась в его руках.

Время от времени он сдувал со страниц песок, разглаживал их и снова читал.

Это была трагическая исповедь о непозволительной любви, в заголовке ее стояло только одно слово: «Ты...»

8

ТЫ...

Когда я выходила замуж, не думала, что твоя жизнь острым клином войдет в мою. Я рада была войти в тихую гавань семейной жизни с добрым, спокойным и милым мужем.

Но не суждено было этому сбыться!

В нашем небольшом, красивом зеленом поселке над Ворсклой, где все знают друг друга, я никогда не встречала и не видела тебя... Хотя мы жили неподалеку, судьба не предоставила нам возможность встретиться. Если бы это случилось раньше, то жизнь моя потекла бы по другому руслу, а может, впрочем, все осталось бы так, как оно есть: кто ведает о том, кроме самой судьбы?

Впервые я увидела тебя, когда мой будущий муж привел меня в свой родной дом для знакомства с твоей семьей. Тогда еще никакие чувства не проснулись в моей душе: ты был братом моего будущего мужа, всего-навсего его старшим братом. Внешне — очень похожим на него, духовно — я не могла сразу понять твою душу, твою натуру.

Прошел год, как мы поженились. И вдруг я обратила внимание на тебя. На тебя, на старшего брата моего мужа, как на человека, который духовно нравится мне больше, нежели муж. Сначала я думала, что это забава, но чем дальше, тем больше ты мне нравился, мои мысли все чаще и чаще возвращались к тебе.

Прошло еще какое-то время, и я наконец поняла, что это любовь.

Я старалась в зародыше убить в себе это недозволенное чувство, но не смогла. Пробовала любить своего мужа, словно тебя, — ведь вы так похожи лицом, я боролась за то, чтобы в моей семье был мир и покой, был лад. Сколько раз ходила я по селу, разыскивала своего мужа, когда он, забыв обо всем на свете, выпивал в кругу друзей, уводила его домой, просила, плакала, чтобы он больше так не поступал. Семейные дразги, особенно когда он являлся выпивши, оставляли в моей душе горькие капли разочарования, они копились годами, мелкие обиды собирались в большой ком отчуждения, и еще много чего я не могла простить мужу, хотя столько раз, ради семьи, ради ребенка, который вскоре появился, я пробовала забыть все и жила с ним дальше.

Мои мысли, мой любимый, все чаще и чаще возвращались к тебе, я невольно сравнивала вас, и пришел тот роковой час, когда чаша весов склонилась в твою сторону, и я пропала, ибо поняла, что уже не в состоянии владеть своими чувствами, что я люблю тебя, а не своего мужа.

Я боялась этого, я не хотела этого, борьба долго продолжалась в моей душе, но это было сильнее меня. О, только мысли о долге, о женской чести и порядочности сдерживали меня!

Годами я боролась с собой... и годами хотела тебя, жаждала тебя с каждым днем все мучительней, все более неудержимо, хотя не имела на это ни малейшего права. Право было у другой — у твоей жены Оли.

Вспомни, любимый, как однажды ты повез меня на мотоцикле в пионерлагерь к моей Веруньке. Когда мы приехали, был тихий час, дети спали, и мы тем временем решили искупаться в реке. В воде ты, шутя, сделал попытку обнять меня, но я отпрянула, и уже через миг пожалела об этом. Однако больше попыток с твоей стороны не было, а я не решилась сделать первый шаг к сближению. И потом, где бы мы ни сталкивались с тобой, при попытке обнять меня я уклонялась и каждый раз ругала себя, потому что очень хотела твоих пусть и случайных, но таких желанных объятий, хотела тебя всего. Останавливал долг...

Каждую минуту я думала о тебе, хотела тебя страстно, жгуче. Я не могла глядеть на тебя без боли в душе, зная, что ты не мой, что не дано мне такого права — права любить тебя.

А я любила...

Каждая встреча с тобой, где бы она ни происходила, в нашем ли доме, на улице или в гостях, куда мы хаживали семьями, приводила мою душу в страшное смятение, волновала мою кровь. Глаза мои смотрели только на тебя, каждое твое вымолвленное слово я ловила, малейшее твое движение запоминала. О, нужно быть великой артисткой, чтобы

этого никто не заметил: ни твоя жена Оля, к которой я чувствую уважение и зависть, ибо она — твоя, ни мой Петро, который очень вспыльчив и несдержан, когда говорится об увлечении женщин чужими мужьями — при малейшем подозрении он наделал бы глупостей, — ни посторонние люди, которые — о! — обычно замечают, даже тогда, когда ближние наши не видят ничего. Я думала о последствиях, что могло произойти, если бы я бросилась в омут своей любви; нет, я знаю, чем это кончается! А у тебя и у меня дети, они не должны расплачиваться за грехи своих родителей.

Каждый раз, услышав вечером треск твоего мотоцикла, я выбегаю во двор встречать тебя. Выбегаю, забыв обо всем на свете, словно меня кто-то гонит. Если ты днем бываешь дома, я придумываю разные причины, чтобы зайти на твою половину взглянуть на тебя, услышать твой голос. И какая это невыносимая мука смотреть на тебя, быть рядом и не сметь даже прикоснуться! Как же мне до исступления хочется прижаться к тебе, почувствовать твое тело, твои объятия! Но этого желать — как солнце с неба достать! Когда тебя обнимает жена, целует, совсем не стесняясь меня (ведь родственница же!), я едва не теряю сознание. В душе моей все начинает дрожать, закрываю глаза, чтобы не видеть этого (забила бы ватой и уши, чтобы ничего не слышать!), и вся, как огнем, охваченная завистью и ревностью, замираю. Я, которая никогда не понимала, что такое ревность, ощущаю в эту минуту, как в моей душе поднимается не изведенное до сих пор завистливое черное чувство. Знаю, что не имею права будить в себе низкие, мерзкие чувства к твоей доброй, хорошей жене. Но ведь ты не мой... ее, и в такие минуты я не могу владеть собой. Должна крепко стиснуть зубы, чтобы не закричать от зависти, от простой физической боли, которая возникает где-то глубоко внутри потому, что не я тебя обнимаю и целую.

Где-то я слышала или, быть может, читала фразу: «Все дороги ведут в Вавилон». Так и мои пути-дороги все ведут к тебе. Где бы я ни была, что бы ни делала, думаю о тебе и каждый удобный случай использую, чтобы забежать на вашу половину, будто бы по «родственным» делам. Лишь бы хоть краешком глаза увидеть тебя. И тогда в моей душе воцаряется покой... А дома опять мысли и мысли, которые будоражат все мое естество, и жгучие желания снова просыпаются во мне, и снова не нахожу себе ни места, ни покоя.

А годы идут. Пролетело двенадцать лет моей глупой, непозволительной любви к тебе. За эти годы выросли и твои и мои дети, домашние хлопоты и болезни все больше одолевают нас, но мои чувства к тебе, мой любимый, не угасают. Твое прикосновение ко мне, даже случайное, бьет меня, как током. По ночам ты снишься мне, волнуя кровь.

А еще нужно смотреть в глаза твоей жене и изображать из себя целомудренную порядочную родственницу. О, если бы она знала, как я люблю тебя! Люблю много лет!.. И как трудно мне жить!..

Две женщины любят тебя: одна открыто, ибо является твоей законной женой, вторая — тайно, ибо не имеет права, не дано ей судьбой такое право!

Сколько раз твоя Оля откровенно признавалась мне: «Как я люблю

его! Сказали бы мне: «Умри — и ему будет хорошо» — умерла бы не задумываясь». Мне в эти минуты хотелось кричать: «Я тоже люблю его, не меньше, чем ты!» — да не имела права... Она ведь не виновата, что и я люблю тебя... Только ее любовь измеряется чем-то большим, какими-то более высокими мерками, нежели моя, потому что я не могу так открыто, во весь голос сказать, что я умру ради тебя... Просто я люблю... страдаю и люблю... и все...

В последнее время я дома часто плачу. Даже мой Петро понимает: со мной что-то происходит. Допрашивает, как средневековый инквизитор, что со мной, почему я так изменилась, отчего часто плачу. Да разве я могу открыть ему свою «причину»...

Нередко думаю: ну какая разница между тобой и моим мужем? Кровь и плоть одна, и похожи вы друг на друга как близнецы, а такие разные... такие разные. И почему к своему мужу я так охладела, потеряла всякий интерес, так в нем разочаровалась, а к тебе тянет каждый час, каждую минуту? Достаточно только подумать о тебе — меня бросает в жар и я вся дрожу!

Сравнивая вас, я не нахожу у тебя ни единой отрицательной черты. Или, может быть, я ослеплена?

Твоя доброта, которая унаследована, очевидно, от матери, чуткость и честность, все человеческие достоинства, собравшиеся в тебе в единый лучезарный лик, давно уже покорили меня. Не хочу сказать, что мой муж полная противоположность тебе, что он соткан из одних только отрицательных черт. Совсем нет. Есть достоинства и у него. В общем, он тоже неплохой человек. Любит меня, любит Веруньку и Мишу, помогает мне по хозяйству, заботится о семье, но... но вот не способен иногда устоять перед рюмкой, что для меня самое страшное — тогда он становится отвратительным, не помнит себя, как всякий пьяный, пристаёт, сыплет грязными ругательствами. Потом, когда отрезвет, снова становится самим собой, но что из этого: душа уже заплевана.

В конце концов все можно было бы перетерпеть, смириться с этим, как это часто бывает в семьях, но я почему-то не в силах — постылый он мне.

Для людей моя любовь к тебе, чужому мужу, очень тяжкий грех, который ничем нельзя ни оправдать, ни искупить. Никто во всем мире не поймет меня, как тяжело и одновременно сладко носить этот грех в себе, жить ради него, ибо в глубине души я не думаю, что это — грех, а лишь любовь вне закона, не нашедшая выхода. Постороннему глазу моя жизнь с Петром видится хорошо налаженной. Если кому-нибудь станет известно о моей любви, о моих муках, скажут: «И что ей нужно было!»

Вспомни, мой любимый, когда мы оба лежали в больнице — я с воспалением легких, ты с язвой на ноге — страшной, незаживающей болячкой, которая принесла много страданий и твоей жене, и мне, потому что твоя боль — моя боль (я уже не говорю о твоей Оле, сколько слез она пролила!).

Я приходила в хирургию, в твою палату. Я не задерживалась у тебя

долго, ибо следовало считаться с правилами приличия (медсестры уже и так косились на меня), но эти короткие минуты моего гостевания были очень счастливыми. Рядом не было твоей жены, я не видела, как она ласкает тебя, и мне чудилось, что ты — мой. Я могла, словно нечаянно, погладить тебя или взять за руку, и мое сердце тогда замирало от счастья.

Однажды ты показал мне на спине следы от банок, которые мы тебе ставили еще дома, вдвоем с Олей, когда у тебя болела спина, и попросил посчитать, сколько их там. Я начала считать, а потом бросила, потому что почувствовала: еще миг — и, не обращая внимания на соседей по палате, припаду к этим следам и буду целовать, целовать, бешено, иступленно... Ты тогда ничегошеньки не понял.

Много думаю о тебе, думаю везде, где бы ни находилась, что бы ни делала. Думаю о смысле жизни, о быстротечности времени, о том, что моя любовь так и остается не целованной тобой.

Сколько раз, еще на старой работе, я бегала в обеденный перерыв к мастерским, высматривая тебя, высчитывая, в какую ты сегодня выйдешь смену. Как хотелось перемолвиться словом, услышать твой голос. Но я сдерживала себя. Когда же выпадало счастье увидеть, то только здоровалась, желала доброго дня и пробегала мимо, словно девчонка. А если ты останавливал каким-нибудь вопросом, что-то отвечала тебе, лепетала, ничего не соображая. А ты, наверное, удивлялся. Или это мне только казалось, что удивлялся! После такой встречи с тобой меня колотило, как в лихорадке, и целый день я была сама не своя. О доля моя! Слово семнадцать лет мне!

А годы идут, годы бегут! Сейчас мне тридцать пять... Гей, гей, летят годы, а буду ли я все-таки твоей? Смогу ли отдаться тебе когда-нибудь, взять из твоего естества радость слияния?! Иногда я падаю на колени и молю бога, чтобы подарил мне такую минуту, но он молчит — нет ему дела до меня и моих терзаний.

Наверно, и ты равнодушен ко мне, потому что когда я забегаю на твою половину хаты, ты даже при жене шутишь обнимаешь меня — а как же: родственница пришла! Я уже не уклоняюсь от твоих рук. Мне хорошо в твоих объятиях! А ты смеешься и обещаешь, что когда-нибудь так обнимешь, что и кости затрещат. Эй, эй, когда же это будет? Скорее всего никогда...

После твоих невинных, кратких объятий меня неделями лихорадит, ночами не могу уснуть, а если и усну, то снишься мне ты, такой же желанный, как и наяву, но и такой же далекий, недостижимый.

Готова забыть все на свете, чтобы только стать твоей, хоть на миг, но глаза Оли останавливают меня. Прикидываюсь добродетельной, порядочной женщиной, хотя каждая клеточка моего существа трепещет при греховой мысли о тебе. О, какая это мука быть рядом с тобой и не иметь на тебя права! Страдаю, терзаюсь, но не каюсь...

Ты в своей жизни никогда не знал другой женщины, кроме Оли. Твоя любовь к жене размеренная, рассудительная, тепло-ласковая, спокойная, как широкая река. И хотя я нравлюсь тебе, прости, я это знаю, чувст-

вую, ты такой рациональный, хладнокровный в своих чувствах, что никакая сила не столкнет тебя с привычного, благоразумного жизненного пути. Из-за своей холодности и рассудительности ты никогда не имел и не будешь иметь другой, вернее — чужой, женщины, не познаешь горячей, безумной любви, из-за которой все на свете забываешь. Если судьба и подтолкнет тебя к другой женщине, то ты возьмешь ее не с горячим чувством, а так себе, из любопытства, и то перед этим еще будешь раздумывать, стоит ли это делать. О твоя холодность и рассудительность! Даже меня она останавливает, не дает первой сделать шаг к тебе... к моему грехопадению.

А годы идут и идут, разрушают тело и душу. Мне — тридцать пять, тебе — сорок, мои философские раздумья о смысле жизни, о праве на чужую любовь, приглушают буйный трепет моей души, замедляют бег крови. Ох, чует мое сердце, что не придет та минута, о которой мечтаю годами. О несчастная мечтательница!

Любимый мой! Я хочу в своей исповеди найти объяснение моей неразумной недозволенной любви. Хочу понять: на какой почве, почему родилась она, такая безрассудная, такая жгучая? Тяжело найти истину, ибо, живя с мужем, я все-таки не решилась переступить ту грань, которая называется изменой. Да и в том, что я раскрыла перед тобой свое сердце, нет и капли ее.

Не могу найти ответ, что заставило меня любить тебя без малейшей надежды. Любить такого, какой ты есть: немного неуклюжего, угловатого, некрасивого, иногда ворчливого, а в последние годы болезненного и постаревшего. Неужели только твои душевные достоинства так всколыхнули мое сердце? Но ведь и мой муж не лишен доброго. А я все-таки ни на миг не забываю тебя, мой любимый! Только изредка домашние заботы приглушают мысли о тебе, словно отдаляют тебя от меня, но потом эти мысли снова одолевают, особенно когда, лежа в постели и исполняя свой супружеский долг, мечтаю: «О, если бы рядом был ты, а не мой муж!» Муж, к которому я охладела и которого должна терпеть ради детей, даже ради его самого, чтобы не причинить ему боль. Пусть я одна страдаю... Одного тебя я желаю в минуты близости с мужем, вижу перед собой твои глаза, твои губы, которые могли бы меня целовать, чувствую твои руки... Куда бы и подевалась тогда та грань, которая названа изменой! Но не судьба нам побыть вместе в жизни... ибо долг перед семьей не позволяет тебе сделать и шага ко мне, ну а меня, ты знаешь, сдерживает твоя рассудочность.

В моей жизни не существует других мужчин, кроме Петра и тебя. Годами принадлежу мужу, годами мечтаю о тебе. Чтобы забыть тебя, должна была бы заинтересоваться кем-нибудь другим. Но никто не привлекает моего внимания, никого так не уважаю, ни в ком не вижу того хорошего, что в тебе. Не хотела и не хочу никого, кроме тебя!.. А до тебя ой как далеко! И рукой можно коснуться, а все равно далеко. Ослепленная тобой, своей любовью, живу будто в тумане. Ничего меня не интересует, ничего не вижу, не слышу, да и не желаю. Домашние хлопоты проходят сквозь меня как сквозь прозрачную призму. Никакие жизненные проблемы не волнуют, не могут вывести из этого сомнамбулического

состояния. Мысли мои кружатся и кружатся вокруг тебя. Окончательно зашла в тупик. В таком состоянии появляется желание, чтобы третья из Парок оборвала мою нить жизни... Все же беру себя в руки, отгоняю эти мысли, потому что нужно жить ради детей. Из-за неразделенной любви еще в Римской империи влюбленные кончали жизнь самоубийством или убивали друг друга, а что же мне делать? Не имею права любить тебя — но люблю, не имею права лишиться себя жизни, но... Как же это, зачем?! Тебя это не заденет, болеть мною твоя душа не будет, а дети мои пострадают из-за неразумного поступка матери...

Осень моей жизни — тридцать пять лет. А я еще не жила, не пригубила из чаши любви и капли счастья. И все-таки в моем сердце теплится огонек надежды... Уповаю на милосердный миг, лелею надежду без надежды.

Одна знакомая женщина в беседе о мужчинах сказала, что уважает их до тех пор, пока они не переступают границы товарищеских отношений. Если у них становятся масляные, плотоядные глаза, она перестает уважать их. О мать божья! Какие же у меня глаза, когда я смотрю на тебя, мой милый! Неужели масляные и плотоядные? О, как это неприятно!

Слушая рассуждения женщин о тех, кто изменяет мужьям, слыша, какие недобрые, злые слова говорят в их адрес, я задумываюсь: а что толкнуло этих женщин на измену? И можно ли сравнивать мою нечеловеческую любовь к тебе с их увлечениями? Стою я на ступень выше их или на одном уровне с ними? А может, еще ниже?

Мне — тридцать пять... Годы разрушают лицо и тело, а я все жду и жду, когда ты первый шагнешь ко мне.

Вспоминая все эти годы, короткие, родственные встречи, жалею, что не решилась овладеть тобой, ибо знаю: никакой мужчина не устоит перед женщиной, если она хоть немного ему нравится. А то, что нравлюсь, это чувствую. Каюсь, что в пору нашей молодости, когда поняла свое сердце, не бросилась очертя голову в безумный омут любви. Возможно, уже давно пришло бы разочарование и перестала бы тебя обожествлять, моя жизнь вошла бы в берега ежедневных забот и в душе воцарился бы покой.

Нанизывая годы на нить воспоминаний, всегда вижу, что моя любовь напрасна для меня. Какой смысл приобрела моя жизнь от того, что так люблю тебя все эти годы, все эти годы надеюсь на нечто нереальное, несбыточное? Невыносимая мука! Так можно и с ума сойти. И кто меня поймет, кто?! Косые взгляды, злые языки...

Не чувствую вины перед твоей женой: мы обе любим тебя. Не собираюсь отбирать тебя ни у нее, ни у твоих детей. Лучшей жены, чем Оля, тебе не найти. Ну а любить тебя она не в силах мне запретить! Я сама в течение многих лет душу это непозволительное, неразумное чувство и ничего не могу с собой поделать. И к цыганкам бегала, и к знахаркам, чтобы отшептали, оттолкнули от меня мою любовь, успокоили, разную гадость пила, и к медикам обращалась, и все впустую... никому не удастся меня спасти, не уходишь ты из моего сердца...

Мы уже в летах, мой милый. Седые стрелы пробиваются в твоих казацких усах, поредела когда-то буйная чуприна, а ты для меня все равно самый милый, самый желанный, любимый мой, неизведанный мой. Молю: о судьба моя, дай же мне минуту радости, минуту единения, минуту счастья! Чтобы потом и умереть можно было, не жалея ни о чем и ни о ком, разве только детей пожалеть, у которых такая неумная, нерассудительная мать!

Но вот нашлась наконец из многих лет ожидания такая минута, когда, забыв обо всем на свете: о женской чести, порядочности, даже о семье, призналась тебе в любви. Сказала, что готова на все, лишь бы почувствовать твои объятия, твои поцелуи, ощутить всего тебя...

Но ты отказал мне... О мать божья, какой страшный удар!

В глазах у меня потемнело от стыда, в ушах перезвон, в висках бухает, словно молотом бьет, вот-вот упаду... Да нет, не нужно падать... не нужно. Нужно выстоять, найти в себе силы и понять тебя... Так вот какая ты, моя вершина грез, вершина вымечтанного годами счастья! Доля моя горькая!..

Но я хорошо знаю, что нравлюсь тебе, ты также мечтаешь обо мне, иначе я не решилась бы на этот шаг.

Однако ты отказал.

О твоя рассудительность! О твое благоразумие, сильная воля! Любимый мой, падаю на колени перед твоей духовной силой, чувством семейного долга, целую землю под твоими ногами... Горько плачу и горько смеюсь над собой...

Развеялся мираж. Тридцать пять лет... Годы мои, годы! Нет сил больше терпеть вас, мои крылатые... Нет сил терпеть дальше жизнь свою, ни себя, ни тебя, мой любимый... Я теряю рассудок и...» — дальше половина страницы была оторвана и страстный рассказ женщины обрывался.

9

Коваль, обхватив голову, читал исповедь Лидии Антоновны, и его душу наполняло щемящее чувство: испытал ли он в своей жизни такую любовь? Зина, Ружена — все это так. Но и так ли?..

Несчастный Петро уже не бормотал что-то несуразное, а спал тяжелым, пьяным сном, храпя и дергаясь на постели.

Дмитрий Иванович с жалостью поглядел на него. Подумал, что Пидпригорщук так и будет спать, как убитый, до самого утра, а ему, Ковалю, пора идти на свою половину... Лиды еще не было. Понятно, что она не спешит домой, где снова встретится с мужем. Испугавшись розысков полковника, Лидия Антоновна чуть ли не ежедневно перепрятывала свою тетрадку. Как кошка котенка, переносила ее из угла в угол, из одного тайника в другой, казавшийся ей в тот момент более надежным. Нервничая и спеша, женщина в конце концов спрятала тетрадь неудачно, и Петро случайно наткнулся на нее.

У реки, увидев в руках мужа ружье, направленное на нее, Лида все поняла...

Возможно, она совсем не придет этой ночью, подумалось Ковалю, переспит где-нибудь у соседей, у матери, а скорее всего, в своей бухгалтерии.

Дмитрий Иванович не мог себе простить, что не разобрался вовремя в обстановке, не предупредил события. Но как бы он поступил, если бы и догадался, что иступленная страсть Лидии Антоновны обращена на ее деверя?! Что бы сделал? Абсолютно ничего. Он спасал бы Василя от нее, а теперь выяснилось, что ее саму нужно спасти от мужа, и больше всего — от самой себя... Да и имел ли он моральное право впутываться в их интимные дела?

Коваль еще полистал страницы тетради. Теперь он обратил внимание, что она в клеточку, как и листок, подброшенный Василю Пидпригорщуку. Одна страничка, из тех, что оставались в тетради чистыми, была вырвана неровно, линия обрыва ее очень напоминала очертание листка с угрозой.

Все встало на свое место, все объяснилось само собой, и Дмитрий Иванович решил, что пора завершать свое пребывание в Выселках.

Вместо эпилога

Ни в ту ночь, ни на следующий день Лидия Антоновна домой не возвратилась. Два дня искали ее в Ворскле — интимнейшая ее тайна была раскрыта, думали — утопилась. Не нашли.

Петра Пидпригорщука судили за покушение на убийство, но, учитывая, что находился он в состоянии аффекта и что на его руках остались малые дети, — свободы не лишили. Он запил еще больше, держался день-два только тогда, когда Верунька и Миша целовали его и, плача, просили больше не пить. Но потом пьянствовал еще сильнее. В конце концов детей забрали к себе Оля и Василь.

Лидины вещи Петро берег — возможно, надеялся на ее возвращение. Иногда часами сидел над Ворсклой, на том месте, где в последний раз видел жену, и кто знает о чем думал, всматриваясь в заворсклянскую даль.

С бригадиров его сняли, и он теперь редко появлялся на работе; неожиданно сдружился со старым Ковтуном, «итальянцем», который рассказывал, что и в Калабрии женщины вертихвостки, мужья у них только для отвода глаз или чтобы деньги давали, а каждая имеет еще и любовника.

Василь Пидпригорщук старался заботиться о брате, но тот все больше сторонился его, словно Василь в чем-то провинился перед ним. И старший Пидпригорщук, без вины виноватый, как будто самим своим существованием накликавший беду, тоже чувствовал себя перед братом неловко и не настаивал на сближении...

А в остальном в Выселках все было как и прежде: люди жили,

работали, выращивали хлеб, картошку, подсолнечник и свеклу, каждый со своими заботами, радостями и бедами, девчата и парни влюблялись, играли свадьбы, рожали детей, росла высокая трава на взгорье, где стояла хата Пидпригорщуков, а у его подножия мирно несла свои тихие воды тысячелетняя Ворскла, словно не на ее берегах вспыхнула неизмеримой силы страсть человеческого духа...

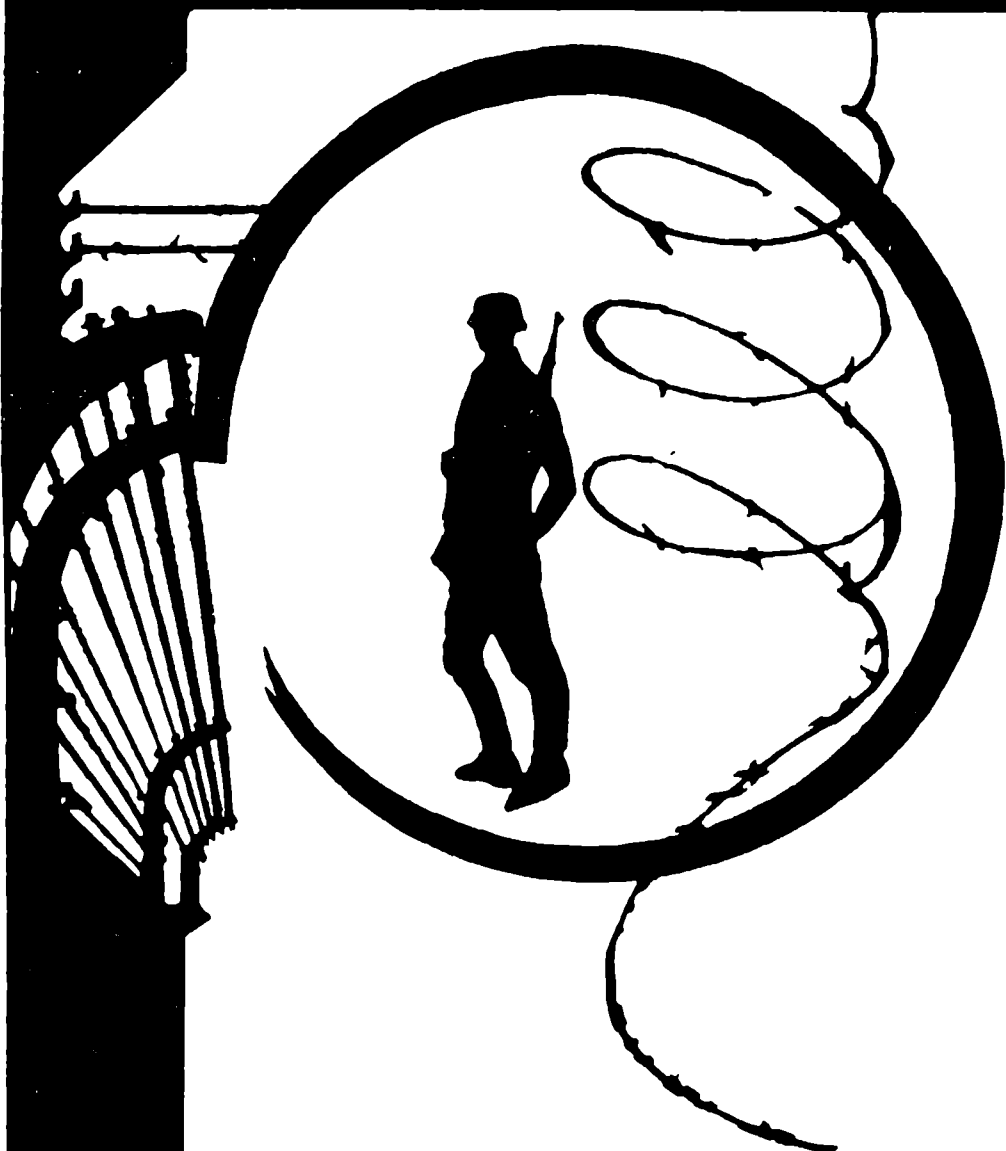
А Лирина тетрадь?

Она стала обычным вещественным доказательством, когда судили Петра Пидпригорщука, а потом покрылась пылью среди документов дела, навек спрятанного в архивном шкафу суда, и это ее касалась бы древняя мудрость: сик транзит глориа мунди!..¹

*Свалява — Киев,
август 1987*

• •

¹ Так проходит земная слава! (лат.)



ВДОГОНКУ ЗА ЖИЗНЬЮ

ПОВЕСТЬ



ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

ОН сидел рядом, но я ЕГО не видел. За окном мерцали далекие звезды, а в комнате все тонуло в густых сумерках.

Свет не включали... Передо мной в темноте бесконечной лентой плыла мрачная Германия военных лет. ОН шел во мраке, который внезапно окутал всю Европу и поглотил миллионы людей, и рассказывал о своей судьбе.

Я знал, что сейчас, вспоминая, ОН невольно сжимает свои большие натруженные руки.

Я слышал ЕГО хриплый от волнения голос.

Когда ОН вдруг умолкал, я догадывался, что это терзают ЕГО душевные раны... Я представлял себе, как подергивается от боли ЕГО лицо и ОН хватается руками за голову.

Я видел на фоне бархатно-черного стекла тень вишни, растущей за окном, крупный угловатый силуэт своего собеседника и шел вместе с НИМ, гонимый безжалостной бурей войны.

1

...Эшелон прибыл на станцию Здолбуново. Заканчивался март. Стояла глубокая ночь и валил мокрый снег. Ночь и снег окутали весь мир!

Гитлеровцы прикладами выгоняли из вагонов пленников, не знавших, куда и зачем их везут. Кто-то выкрикнул в темноту: «Берите котелки, кружки, что есть — возможно, покормят!»

Люди, пошатываясь, тяжело дыша, суетливо спускались — за всю дорогу немцы впервые открыли вагоны. Холодный ночной воздух обжигал легкие, снег и ветер забивал дыхание.

Вагоны были маленькие, но в каждом теснилось полсотни человек. Люди разного возраста, разных взглядов. Друг друга никто из них не знал, друг друга боялись. И все же в эту минуту каждый пододвигался поближе к своему товарищу по несчастью, надеясь найти утешение в общей судьбе.

У самого молодого пленника — Володи — была тайна, которой он ни

с кем не поделился: поняв, что везут в Германию, он собирался удрать, пока эшелон еще катится по родной земле. Но до сих пор осуществить этот замысел ему не удавалось: их везли без остановок...

Сейчас пленников построили около вагонов, и автоматчики, окружив колонну, погнали их через пути за станцию.

Темно. Ни зги не видно. В лицо больно бьет мокрый снег, под ногами чавкает грязь. Идти очень тяжело, а солдаты все время подгоняют: «Шнель! Шнель!»

У Володи перед глазами стоит родной дом, мать, сестра, бабушка, маленький братик, школа. Со слезами вспоминал облаву, во время которой его схватили на улице родного Киева и загнали вместе с другими людьми в этот страшный эшелон.

«Как внезапно все изменилось в жизни! Где я очутился? Куда меня увезут?» — горько думал юный пленник. Он шел, не видя дороги, подчиняясь общему ритму колонны, спотыкаясь и едва не падая.

А ветер безумствовал все больше и больше, налетал то сбоку, то бил в лицо, то пытался закружить его и сбить с ног.

...Наконец колонна миновала станцию и приблизилась к какому-то длинному, низкому строению у дороги. Из четырех открытых окон пленникам, которые двигались чередой, наливали по черпаку баланды. Люди выпивали ее на ходу и сразу же возвращались в колонну. Потом так же колонной солдаты погнали их назад, на вокзал.

Снова вышли на железнодорожные пути. Ноги у Володи промокли, холодный ветер добрался уже до костей. В это время от длинных сараев, которые вырисовались неподалеку от станции, перед вагонами медленно катился какой-то состав. Пронзительно кричал маневровый паровозик, неумолимо надвигались на людей вагоны.

Колонна сломалась. Поднялась суматоха. Гитлеровцы, ругаясь, набросились на пленников.

Состав перерезал колонну пополам. Некоторая часть людей успела перебежать через рельсы, другие остались на месте. Растерянные люди, спасаясь от колес вагонов, наталкивались в темноте друг на друга, падали, подхватывались и снова бежали. Фашисты били их прикладами автоматов, пытаясь согнать всех в кучу.

Несколько человек побежало вперед вдоль железнодорожного полотна. Кто-то сзади выкрикивал: «Не туда, бегите к эшелону, в обратную сторону!»

Володя бросился бежать и оказался возле какого-то мостика — через глубокую яму были переброшены две доски. Неподалеку лежал опрокинутый пассажирский вагон.

На мостике паренек подскользнулся и вместе с досками полетел в яму. Это была воронка от какой-то большой бомбы. На дне ее лежали щепки от разбитых вагонов, стояла вода, а под ней чувствовалось что-то твердое и скользкое, наверное лед, который еще не растаял в глубине холодной ямы.

Володя закричал: «Помогите!»

Никто не откликнулся. Паренек попытался было самостоятельно подняться и не смог: острая боль пронзила колено.

...Он долго лежал в холодной грязи. Тело ныло; казалось, каждая жилочка, каждая клеточка в нем дрожит. И все время он со страхом ждал,

что вот-вот подбежит немецкий конвоир и направит на него луч фонарика...

Но никто не приходил. Откуда-то издалека доносились крики гитлеровцев, стук вагонов, гудки паровозов. Прошел еще, наверное, час, а возможно, и больше. «Какая нескончаемая страшная ночь, темно и темно, и снег валит», — думал Володя. Он окоченел, руки, ноги задубели, только левое колено было горячим как огонь и нестерпимо ныло.

Попробовал пошевелить ногой. Кажется, можно... Повременив еще немного, он стал подниматься, но от резкой боли в колене сразу же сел. Наконец ему удалось встать, и он начал карабкаться по мокрой, скользкой земляной стенке. Влезал чуть-чуть и снова сползал назад. Потом он догадался подложить доски, которые упали, когда бежал через мостик.

В конце концов Володя вылез из воронки и, лежа на земле, осмотрелся. Слева от него змеились рельсы, уходящие, очевидно, в тупик, к каким-то строениям.

Вокруг было тихо, очень тихо. Даже паровозы на станции перестали гудеть. Не стучали вагоны. Ветер утих, снег уже не бил в лицо, мягко падали редкие снежинки.

Еле передвигая ногами, прихрамывая, направился вдоль путей до строений, которые в темноте Володя определил как склады, оставалось недалеко, как вдруг из-за угла, пригибаясь, вышел человек.

Володя замер. Друг или враг? Возможно, такой же беглец с эшелона. Недолго раздумывая, крикнул: «Эй!» — но незнакомец прыгнул, как заяц, в сторону и вмиг исчез в темноте.

Эта неожиданная встреча хотя и напугала сначала Володю, но потом подбодрила его. Кажется, он не один такой беглец. Мелькнула мысль: «А не спрятаться ли? Может, эшелон уже двинулся? А если еще стоит на станции? Должны всех пересчитать и, наверное, меня давно ищут вокруг. Если поймают — убьют».

Мысли у хлюпца путались, спорили одна с другой. А тем временем он потихоньку все больше и больше удалялся от станции. Неужели эшелона уже нет, неужели так легко ему удалось бежать? Появилось такое чувство, словно он неожиданно снова перешагнул через какую-то межу и попал в другую жизнь, и теперь все то страшное, что ему пришлось пережить, вместе с эшелоном ушло от него. Но так могло казаться только четырнадцатилетнему пареньку, который еще и не подозревал о тех ужасах, что ожидали его.

Он шел медленно, останавливаясь и оглядываясь. Думал о незнакомце, который удрал от него. Кто он? Почему испугался? А как ладно было бы иметь рядом товарища по несчастью!

Вскоре приблизился к высокому и длинному строению... Это был склад, к которому вел подъездной путь — крыша сорвана, стены разбиты, в проломах гуляет ветер.

От этой картины стало еще жутче. Все сильнее ныла нога, тело было непослушным, как чужое, нервы напряжены, взвинчены, казалось, не хватает воздуха и он вот-вот задохнется...

Тем временем начало светать. Небо посерело, поблекло. Володя со страхом подумал: «Станет светло — где тогда спрятаться?»

Он опустился у ramпы, к которой впритык подходили рельсы. Ramпа

тоже была разбита — торчали черные обгоревшие доски. Осматриваясь, он заметил дыру под складом и полез в нее. Там неожиданно натолкнулся на кирпичную перегородку. Тогда забился в самый дальний угол. С боков — деревянные стены, сзади — кирпичная, спереди, между досок, зияют большие щели. Спрятавшись здесь, Володя мог видеть все, что происходило снаружи.

Было влажно и холодно. Худое пальтецо не согревало Володю. Удивленно увидел, что держит в руках солдатский котелок. Он ведь потерял его, падая в яму, и вот потом механически подобрал. Котелок был погнут, пробит пулями, дырки заткнуты тряпицами, и все-таки это необходимая вещь.

Рассвело. Володя дрожал, как в лихорадке. Снял ботинки, стянул грязные, мокрые носки и, чтобы как-нибудь подсушить, положил их под рубашку на голое тело. Ноги обернул пальто, поджал их под себя. Хотел укрыться с головой — не получилось. Но все равно стало теплее...

Чуть-чуть согревшись, он задремал. Очнулся, услышав крики, которые, как ему показалось, доносились от тупика:

Голоса приближались...

Через щель он увидел группу гитлеровцев. Те шли напрямик к его укрытию. Володя вздрогнул. В один миг его из холода бросило в жар. Успела пронестись в голове мысль: «Как же они узнали, кто им донес, что я здесь?!»

Немцы приблизились, и теперь Володя видел, что они ведут людей. Двое пленных были в гражданской одежде, а третий — в форме командира Красной Армии. Гимнастерка без пояса висела на нем балахоном, на ногах — растоптанные незашнурованные ботинки, галифе внизу подвязано веревочками. Военный был без шапки, лицо заросшее, с сединой. У одного из гражданских лицо было разбито, глаз заплыл большим черным синяком. Немцы же были тепло одеты, их бритые лица лоснились, они курили, смеялись, что-то выкрикивали, подталкивая автоматами измученных, с вывернутыми назад руками пленных, связанных друг с другом одной толстой веревкой.

Володя уже понял, что фашисты направляются не к нему, а идут вдоль ramпы к станции. Ему стало до боли жаль пленных, и он долго с щемящим сердцем смотрел им вслед.

Кто эти бедняги, он не знал, но это были люди советские, родные, и сейчас они беспомощны, в плену у врага. Как хотелось ему в те минуты выбежать из своего укрытия с оружием в руках, уничтожить конвоиров и освободить своих. Но так бывает только в приключенческих книжках и в смелых мальчишеских мечтах...

Потом солдаты прогнали мимо него гурьбу женщин с кирками и лопатами. По шпалам проходило много людей. Были и хорошо одетые, довольные на вид, которых немецкая оккупация, очевидно, вполне устраивала. А Володя все еще боялся, что его ищут, и при виде каждого гитлеровца, который появлялся вблизи складов, его бросало в дрожь.

Так прошел день. Станция продолжала жить своей обычной жизнью.

Приходили и уходили поезда, маневрировали паровозы... Но постепенно день угасал и исчезала дневная суэта. Опустились сумерки. Только теперь Володя почувствовал, как он голоден. Натянул на ноги высохшие носки, оторвал от пальто полотняные карманы и постелил их в мокрые ботинки. Нужно было что-то предпринимать...

В полночь, оглядываясь, Володя выполз из своего убежища. Нога у него еще ныла, но не так сильно, как раньше.

Он постоял возле склада... Вокруг было тихо, все поглотила темнота. Казалось, и война, и весь мир отодвинулись от него куда-то далеко, а он один стоит среди замерзшей планеты, на которой царствуют мрак, опасности и тревоги. Только от станции время от времени доносились звуки, свидетельствовавшие, что там есть жизнь.

Какую-то минуту беглец размышлял: куда идти, в какую сторону? Быть может, ему удастся найти дорогу, ведущую на восток, в родной Киев. Но пока следует уходить подальше от станции! Привязав котелок к поясу под пальто, спрятав руки в дыры, где раньше были карманы, он направился к тупику.

Потом оказалось, что это не тупик — дальше за строениями тянулась улица. Вдоль нее лежали обгоревшие, с корнем вывороченные деревья.

Непогода утихла, снег не падал, только веял свежий порывистый ветер — приносил горький запах сажи от сожженных хат, разрушенных печей. И вскоре Володя действительно справа от себя, метрах в ста от дороги, увидел мертвое пепелище...

Ни одного живого существа, ни единого огонька! Густая темень не позволяла как следует осмотреться, но царившая вокруг тишина красноречиво свидетельствовала, что поселок пуст.

Володя старался держаться подальше от руин. Вскоре улица повернула к полю и оборвалась. Не успел беглец сделать и двух шагов, как услышал голоса. Он испуганно отступил от дороги и лег на землю.

В темноте Володя едва различил две фигуры, которые медленно двигались по дороге ему навстречу. Донеслась гортанная немецкая речь. Патруль! Володя еще больше прижался к земле, пытаясь слиться с ней. Вот солдаты остановились, вспыхнул фонарик. Патрульные рассматривали какие-то бумаги. Потом они чему-то рассмеялись, потушили фонарик и пошли дальше в сторону станции.

Володя поднялся и зашагал в другом направлении. Несколько часов он брел полевой дорогой. Потом впереди, словно из-под земли, выросло большое темное пятно, послышался собачий лай. Деревня! После краткого размышления беглец решил обойти ее.

Идти, когда ноги постоянно разъезжаются, было очень тяжело. Но вот Володя неожиданно набрел на поле, на котором когда-то росла капуста. Из земли торчали кочерыжки. Они всю зиму простояли под дождем и снегом, померзли. Но все это сейчас не имело значения. Володя не раздумывая набросился на них.

Они были твердые и горькие, некоторые уже гнилые, но беглец радовался и таким. В горле у него пересохло, губы распухли, потрескались. Но он ничего не чувствовал, кроме голода.

Не в силах вырвать эти кочерыжки с корнем, он опустился на колени и стал грызть их, как животное. И вдруг словно увидел себя со стороны, ползающим в грязи. Щемящая боль, по-детски горькая обида на судьбу охватила его, да так, что из глаз полились слезы. Рыдания мешали есть, отчего ему становилось еще горше, и он плакал все сильнее.

Где и когда это было? И было ли вообще: щедрые руки матери, незаметно подкладывавшие в его тарелку лучшие кусочки?

Вечные пререкания:

«Наелся. Не хочу!»

«Вовик, прошу тебя... Худоба несчастная!»

Ворчание бабушки:

«Не терзай его, Анна. Грешно принуждать...»

«Человек — это звучит гордо!» А это уже сказала не бабушка, а Горький.

Но если — человек, то ведь не ползает на коленях и не грызет кочерыжки, как скот! Володя чувствовал себя выброшенным из человеческого общества, одичавшим так, словно жестокая судьба отбросила его на тысячи лет назад, когда на земле жили четвероногие предки людей.

Выплакавшись, Володя поднялся. Постояв и горько повздыхав, он наломал капустных кочерыжек, завернул их в полу пальто и, придерживая рукой, пошел дальше.

Шел куда глаза глядят, выбирая дорогу потверже, стараясь попасть на полевую тропинку. Вдалеке вырисовывалась какая-то черная масса, словно ночь там была еще темнее.

Черная стена становилась все ближе, наполнялась каким-то мягким шумом, и Володя понял, что это — лес. Сначала он обрадовался, но потом испугался. Ночной лес сразу навалился на него всем своим мраком. До сих пор, хотя и старался подальше отойти от деревень, все же рядом с людским жильем чувствовал себя как-то спокойнее. Около хат, пусть и безлюдных, тишина и темень не казались такими угрожающими и страшными, как возле незнакомого густого леса.

Приблизившись к нему, Володя остановился, стал прислушиваться, все время осматриваясь. По спине поползли мурашки...

Паренек долго стоял на опушке, размышляя: «Что же делать дальше?» Но, вспомнив эшелон, разрушенный склад на станции, где прятался, гитлеровцев, пересилил свой страх и решительно зашел под деревья. Лес был густой, и паренек сразу потонул в его чаще.

Иногда попадались воронки от снарядов, он натыкался на сваленные деревья, пеньки. «Наверное, здесь шли тяжелые бои», — думал Володя, с удивлением и страхом оглядывая следы боя.

Больше всего он боялся встретить трупы.

Потом Володя очутился в сосновой посадке, тоже изрытой, перекопанной, заваленной деревьями... Идти становилось все тяжелее. Оказавшись у кучи ветвей, Володя решил отдохнуть. Ноги пекло, особенно ныла левая, которой ударился, падая в яму. Когда сел на землю, лес показался ему еще выше и гуще. Деревья стонали под порывами ветра — скрипели старые ветви, тяжело и страшно дышала непроглядная чаща. Всмотривался в нее, и ему в такую минуту виделось, будто бы оттуда что-то дви-

жется все ближе и ближе. Потом ему причудились странные огоньки. «А вдруг это волки?!»

При этой мысли Володя вскочил и, опасливо оглядываясь, двинулся в ту сторону, где, как ему казалось, лес редел...

Снова вспомнился родной дом, бабушка. По вечерам вместе с младшим братишкой слушали они, раскрыв рты, ее страшные сказки и были: о волках и войне, о рыцарях-казаках и турках-басурманах. «Если бы бедная бабушка знала, где я сейчас, — подумалось Володе. — Как я блуждаю в ночи, в непроглядной темноте, в этом диком лесу?!»

Слезы вновь набежали на глаза, и от этого все вокруг стало еще чернее и страшнее.

Так, спотыкаясь и плача, брел он дальше, пока неожиданно не очутился возле какого-то большого темного предмета. Сосновая посадка, по которой он брел, уже расступилась. На краю ее, чуть закопавшись в землю, лежала башня танка. Володя обошел вокруг нее, потрогал руками ее холодные, шершавые бока. Чья она? Не видно было ни надписей, ни каких-либо знаков.

Небо на востоке начало светлеть. Ночь таяла. Тело у паренька ныло, глаза сами закрывались. Если бы было теплее, упал бы на землю и уснул.

2

Уже совсем рассвело, когда Володя набрел на разбитый танк. Танк был наш — советский, Володя узнал это сразу. Ему стало очень горько. Ноги его сами перестали двигаться, и он долго стоял возле машины, думая: «Почему все так получилось?» До войны у них в городе шел фильм «Если завтра война», он смотрел его несколько раз, восхищался, как героически бьется с напавшим врагом Красная Армия. «Что же случилось в самом деле в этой, настоящей, войне?»

Такие вопросы раздавались и раньше, в обществе взрослых, но ответа так никто и не нашел. Не знал этого ответа и он, стоя возле разбитой машины, левая гусеница которой была разорвана, а колеса до половины вдавились в землю. Щитки над гусеницами, цилиндрические бачки — все было смято, скручено. Башни не было, в боку, в толстой броне, зияла большая пробоина, словно какой-то великан разорвал танк руками.

Володя догадался, что башня, которую он встретил раньше, была от этой машины. Но кто же отнес ее так далеко, вон куда отбросил?!

Он влез на машину. Впереди виднелись два люка, один из них был открыт. Заглянул внутрь. Внизу полно земли, много гильз.

Володя заметил угол брезентовой палатки, спустился в машину и попробовал вытащить брезент из-под наваленной земли, но это оказалось не под силу.

Тогда он вылез наружу и еще раз внимательно огляделся. Справа простиралось пахотное поле, слева тянулась узкая полевая дорога, а за ней снова лес. Вокруг стояла тишина, ласковая, мирная тишина. Уже взошло солнце, и засверкало на мокрых ветвях, на прошлогодней листве. Казалось, что и потеплело немного.

Володя наломал ветвей, выстелил ими дно машины. Попытался закрыть

верхний люк, через который очень сквозило, но не получилось, потому что все заржавело. Пришлось закрывать дыру ветками. Пожевал немного капустные кочерыжки, которые принес с собой, закутался в пальто и лег. Сверху, сквозь наваленные на люк ветви, пригревало солнце, и так стало тепло и уютно, что он, забыв обо всем, уснул...

Проснулся от холода, была дрожь, и очень тошнило — наверное, от капустных кочерыжек.

Володя вылез из своего гнездышка. Небо снова затянулось тучами. Было мрачно и вокруг него, и на душе. Паренек еще раз осмотрел подбитый танк и направился к дороге, которая тянулась вдоль леса. Иногда забирался в чащу, отдыхал или искал что-нибудь съестное и, ничего не обнаружив, шел дальше.

Все время он настороженно оглядывался, прислушивался к лесу. Ведь кто-нибудь мог ехать по дороге! Но нигде никого не было.

То обстоятельство, что ни днем ни ночью он никого не встретил, радовало, успокаивало, и все же, не встретив в течение дня ни единой души, начал беспокоиться о предстоящем ночлеге. Впрочем, не столько о ночлеге, сколько о пище: там, где нет людей, там невозможно найти и пищу. А есть хотелось до обморока.

Обшаривал взглядом дорогу, присматривался к сухим корням, ко всякому камню, к упавшим веткам, словно где-то под ними найдется хлеб, такой расчудесный, с гладенькой отполированной корочкой, — пеклеванный или «докторский», — который покупали в магазине до войны.

Он все время боролся с собой, стараясь не думать о пище. При мысли о ней перед глазами появлялись картины, наполнявшие болью все его существо. Но и о чем-либо другом он не мог думать. И, уже не соображая, что делает, Володя вдруг прислонился к высокому дереву, обнял его, как близкого друга, прижался щекой к шероховатой коре и со слезами на глазах повторял: «Хлеба... хлеба...»

3

Заканчивался второй день блужданий Володи. В предвечерних сумерках паренек заметил в глубине леса множество вывороченных с корнями деревьев. Земля вокруг изрыта снарядами, всюду тянулись траншеи и окопы. Ясно было, что фашисты шли здесь отнюдь не столь любимым ими парадным шагом. Невдалеке, на опушке, Володя увидел две хаты: одна совершенно разбитая, вторая — более целая. Обычная сельская хата под соломенной кровлей, от старости в разных местах поросшая мхом. Вход в помещение был разрушен, подслеповатые окошечки выбиты, внутри все засыпано обломками сухой глины.

Небольшой дворик когда-то ограждал невысокий плетень, теперь он свален и вдавлен в землю, очевидно, тяжелыми машинами. За хатой Володя увидел длинный сарай с разбитой крышей.

Он смело направился через двор к хате: в таком разваленном помещении вряд ли кто-нибудь живет.

Зашел внутрь. Весь дом — одна большая комната. Мебели нет. По уцелевшим стенам змеились трещины, с потолка свисали доски. Слева

была еще маленькая боковушка с прямоугольным отверстием вместо двери.

Володя жадно обшаривал взглядом обломки на полу, надеясь обнаружить какую-нибудь еду. Но — безрезультатно...

Уже начало темнеть, и пареньку стало жутко в этом разрушенном жилище, где еще недавно обитали люди.

Он снова вышел на воздух. Перекошенная, почти оторванная дверь сарая висела на верхней петле. Володя слегка потянул к себе дверь. Она скрипнула. От неожиданности Володя испугался: показалось, что звук этот слышен за десятки километров.

Успокоившись, он прошмыгнул в сарай. Пробираясь, за что-то зацепился ногой в темноте и почувствовал, как на ноги полилась вода. Мигом наклонился. У ног покачивалась железная каска с водой. «Видно, во время дождя набралась», — подумал и, подняв ее, с удовольствием напился. Стало так легко, приятно, словно поел.

Держась рукой за стенку, прошел вдоль нее и натолкнулся на перегородку. Нащупал еще одну дверь, которая легко поддавалась.

В этой половине сарая стоял удушливый запах навоза. «Наверное, здесь когда-то держали корову», — подумал Володя. В углу он обнаружил большую кучу сена. «Все-таки, бывает, и повезет, — подумал он дальше. — Здесь и переночевать можно!»

Паренек лег, прижался к стене и нагреб на себя немного сена, несмотря на то, что от него несло гнилью.

Даже здесь, в уютном для него уголке, чувствовалось, что на улице стало холоднее. Гудел ветер. Что-то прошуршало в сарае — возможно, пробежала мышь. Несмотря на усталость, спать не хотелось, только бы полежать, вытянуть ноги.

Он ворочался в своей барской постели. Снова терзал голод. Жалко, что совсем стемнело, еще искал бы какую-нибудь еду. Теперь, устремив взгляд в темноту, мечтал о завтрашнем дне, когда осмотрит каждый уголок сарая и разбитых хат.

Постепенно усталость победила его, и он задремал тревожным сном. И вдруг словно электрическим током ударило его: громко скрипнула наружная дверь. А может, это только показалось ему?

Стал прислушиваться. И замер от страха.

В первой половине сарая от стен до пола пробежал слабенький лучик фонарика. Слышно было, как кто-то вошел, что-то тяжелое опустил на пол и воскликнул на украинском языке с заметным акцентом: «Що за холера?!»

Потом Володя услышал глухое звяканье металла и понял, что пришелец брал в руки каску и бросил ее назад на землю. Воды в каске не было — часть ее Володя разлил, когда наткнулся в темноте, остальную воду выпил и умылся. Наверное, неизвестный человек знал об этой каске и воде в ней.

Открылась вторая дверь и, светя фонариком, человек направился в угол, где лежало сено.

Володя притаился. Ему казалось, что стук его сердца раздается на весь сарай. Свет погас, и неизвестный начал в темноте брать сено из кучи и откладывать в сторону. «Очевидно, не в первый раз укладывается тут, —

подумал паренек, — потому что света не зажигает, действует в темноте».

А мужчина тем временем все брал и брал сено, и Володя со страхом ждал, что неизвестный вот-вот доберется до него.

«Что же делать? Зачем он перекладывает сено? А вдруг здесь что-то спрятано? — Володя в душе ругал себя: — Какой же я дурак, почему не разгреб сено!.. Но ведь его много! Откуда мог я знать, что надо было пошарить в нем. И зачем я полез сюда, в этот сарай?! Почему не заночевал в хате?!»

Немного не дотянувшись до паренька, может быть на расстояние руки, неизвестный встал на колени и начал что-то поднимать. Потом зажег фонарик; следя за лучом, Володя увидел, что мужчина спускается в подвал. Было хорошо слышно, как он возился под полом сарая.

Через несколько минут неизвестный снова появился и, посвечивая, направился к выходу. Вернулся с большим мешком, который легко нес одной рукой.

Насколько Володя мог рассмотреть, это был высокий, широкоплечий, богатырского сложения мужчина. Лица его Володя не видел, потому что неизвестный все делал в темноте, а когда включал фонарик, то направлял свет под ноги. Двигался он медленно, как человек, который никуда не спешит.

Мужчина спустился с мешком в подвал, оставил его там и вылез обратно. Потом опустил крышку и вышел из сарая.

Как только скрипнула наружная дверь, Володя не раздумывая выполз из сена и, осторожно, на цыпочках, стал пробираться к выходу.

Открыл дверь во вторую половину сарая, притаился и только собрался выскочить во двор, как снова услышал шаги.

Паренек прижался к стене, не зная, что делать. Понимал, что перебежать в противоположный конец сарая он не успеет, да и неизвестно, не загремит ли что-нибудь под ногами. Ругал себя за нерешительность и медлительность — слишком долго колебался, вылезать из сена или нет, долго пробирался к выходу...

Но страх перед незнакомцем почему-то постепенно проходил. При первом появлении этого человека, когда Володя еще лежал в сене, он очень испугался. Потом подумал: «Кто может прийти ночью в лес, в полуразрушенное жилище? Кого-то ловить?.. Нет, не похоже... Кто бы ни был этот человек, если он тоже скрывается от немцев, значит, это друг, а не враг... А если это злодей или убийца, — родилась другая мысль, — и тут находится какой-то воровской притон?..» Впрочем, эта мысль не вызывала у Володи обычного страха. Любой преступник казался бы ему сейчас ангелом в сравнении с фашистами.

Снова скрипнула дверь, и луч света упал сначала на пол прямо перед дверью, а потом пополз в сторону и... скользнул по ногам Володи. Паренек похолодел — все произошло так быстро, внезапно, что он опомниться не успел.

Неизвестный нес воду в той самой железной каске. Когда луч света высветил ноги Володи, он бросил каску на пол — вода расплескалась, — а сам отскочил к противоположной стене и, вмиг погасив фонарик, крикнул:

— Кто ты?

Володя не мог прийти в себя. Из темноты снова донеслось:

— Что ты тут делаешь?

Блуждая по лесу, паренек всегда был готов к неожиданностям: «Если поймают,— думал,— скажу, что отстал от поезда и добираюсь до дома». И вот когда прозвучал этот вопрос, он, едва шевеля языком, произнес:

— Я... я с поезда.

Вспыхнул луч фонарика, осветив Володины лицо, руки, ноги, потом снова лицо. Володя весь съежился и закрыл на миг глаза.

Прошло несколько минут. Володя молчал. Неизвестный тоже ничего не спрашивал. Стоял и с подозрением рассматривал его. Убедившись наконец, что это подросток, мужчина приблизился. И только теперь Володя заметил у него в руке большой длинный нож, который тот не спеша засунул за пояс.

— Ну, рассказывай, как ты сюда попал. Говори смело, тебя тут никто не услышит. Немцы далеко.

В голосе незнакомца прозвучали дружелюбные нотки, и Володя немного успокоился. «Немцы далеко!» Эти слова ободрили его.

И все же паренек тревожился: откуда этот мужик знает, что он боится немцев? Почему вдруг сказал, что немцы далеко? Не провокация ли это?

Торопливо начал рассказывать о себе. Путал, повторялся и никак не мог объяснить, как он оказался здесь.

— Только не брешь, говори правду, я не враг тебе. Должен понимать, что не от хорошей жизни шляюсь ночью по лесу. Я слышал, что иногда убегают с поездов люди, которых везут в Германию. Ты, наверно, тоже из этих. Вид у тебя такой, что не знаю, как ты еще на ногах держишься... Правда, беглецам не удавалось убежать дальше станции. Их сразу же ловили и расстреливали. А как ты оказался чуть ли не в шестидесяти километрах от железной дороги?

Володя действительно уже не мог стоять на ногах. От всего пережитого за короткое время, от нервного напряжения тело стало тяжелым, ноги подкашивались, до потери сознания хотелось есть. На вопрос мужчины ничего не ответил, а только прошептал из последних сил:

— Дядя, дайте что-нибудь поесть...

Сказал это и, опираясь спиной о стену, чтобы не упасть, опустился на пол.

— Ой, ой, старый я дурак, не догадался, стою да расспрашиваю. Он подошел, поднял Володю — пареньку показалось, что его сжали крепкими клещами, такие сильные были у мужчины руки.

— Пойдем на воздух, там тебе станет легче.

Поддерживая, неизвестный вывел Володю во двор. Принес небольшой пенек.

— Посиди тут. Я быстро.— И вмиг скрылся в темноте.

Через некоторое время он вернулся с каской, полной воды.

— Жив еще?— спросил он, и пареньку показалось, что мужчина улыбнулся.— Это из-за тебя пришлось дважды ходить за водой. Когда ты меня напугал, я бросил каску...

Он поставил каску, взял Володю под руку и, фонариком освещая доро-

гу, повел его во вторую половину сарая, к куче сена. Там быстро отгреб сено в сторону, приоткрыл дверцу подвала, поставил под нее палку.

— Лезь, там лестница.

Володя полез и оказался в полной темноте. Мужчина, неся воду, осторожно спускался следом за ним. Он не спеша убрал палку, и дверца вместе с сеном на ней опустилась.

— Вот мы и дома...

Посвечивая фонариком, мужчина нашел небольшую жестянку с фитильком, наполненную густой массой.

— Очень удобная игрушка, — промолвил, зажигая этот светильник. — Не коптит и долго горит. Специальная блиндажная лампадка. Конечно, немецкая. Что файно — то файно. Немец не с голыми руками лез к нам — как видно, долго готовился, пся крев, все учел...

Когда лампадка разгорелась, Володя осмотрелся. Они находились в подвале, стены которого были обшиты досками, а щели заделаны мхом. С одной стороны землянки — большая ниша, а в ней — нары. Свободно могут разместиться два или три человека. Постель, свернутая рулоном, уложена под стенкой. Посреди землянки стояла железная печка, рядом — две небольшие скамейки причудливой формы, сбитые на скорую руку из молодых березок.

— Как тебя зовут? — спросил хозяин убежища.

— Владимир.

— Владимеж, — повторил он по-польски. — А меня при поляках называли и Яном, и Иоганом. А когда пришли Советы — стали звать Иваном. Ведь я и есть Иван. И ты зови меня Иваном. погоди минутку, печь разожгу.

У стены лежала куча дров — сухие ветки, обгорелые доски, видно, из разрушенных хат.

— Тут все предусмотрено, — продолжал Иван, разжигая печку. — Дымовая труба выведена далеко, замаскирована, искры из нее не вылетают, дым, особенно когда ветрено, быстро рассеивается. Люди живут отсюда далеко, немцам тут тоже делать нечего. Вот и живу барзо добже, как пан Потоцкий...

Вскоре печь загудела, тепло быстро распространилось по подвалу, но дышать стало труднее, потому что влажный воздух, нагреваясь, становился удушливым.

Иван полез по лестнице, приподнял дверцу и подложил под нее кирпич.

Володя молча следил за ним. Хозяин взял большой глиняный горшок, налил в него воды, развязал мешок, который принес, и начал наполнять горшок картошкой. Она была нечищена, но уже кем-то помыта.

Поставив горшок на печь, Иван сказал:

— Слава богу, нашлись добрые люди, а то мне было бы вельми кепсько, еще хуже, чем тебе.

Пока варилась картошка, он посоветовал гостю:

— Тут есть еще одна каска, немецкая, я держу ее для ног. И каждый раз, когда мою ноги, испытываю удовлетворение, словно я этим причиняю фрицам зло. Ну, пока сварится ужин, снимай пальто, обувь, мой ноги.

Он говорил, а Володя молча слушал — его внимание приковывал к себе горшок с картошкой. Он не понимал, что ему говорят, ибо думал только об одном: «Почему так медленно варится картошка?»

Потом Володя умылся, помыл ноги. На душе становилось как-то легко, когда он смотрел на своего нового, неожиданного друга. «Как хорошо, что он повстречался на моем пути! Что было бы со мной, если бы не он?!» — растроганно думал Володя.

Иван вытащил из сумки еще один горшок:

— Вот простокваша, хлеб... Хороший он человек.

Кто это — «он», Володя не знал, но спрашивать было неудобно. Наконец хозяин взял в углу две колоды, положил на них доску. Потом поставил сваренную картошку, горшок простокваши, буханку хлеба, насыпал на бумажку щепотку темной соли.

— Ну, гость, садись поближе. По такому случаю и чарку не грех бы выпить, но... — с горечью поджал губы мужчина, вытащил из-за пояса тот самый длинный нож, который испугал Володю при их неожиданной встрече, и начал резать хлеб. Это был хорошо наточенный и немного укороченный штык от немецкой винтовки.

— Ешь потихоньку, не торопись. — Иван чистил картошку и клал возле него. — Я себе не заберу... Но и не позволю, чтобы ты съел все, потому что и я тоже когда-то вот так ел-ел и чуть было не отдал богу душу.

Поев немного, Володя почувствовал такую слабость во всем теле, что попросил разрешения лечь. Хозяин развязал постель, постлал на доски толстое суконное одеяло, еще одним дал укрыться, под голову положил свернутое пальто, и парнишка лег.

Трудно передать, как хорошо ему стало. Иван еще что-то рассказывал, но Володя уже ничего не слышал...

4

Он проснулся, наверное, в полдень. Чувствовал себя как-то странно: болел живот, но хотелось есть.

Заметив, что парень открыл глаза, хозяин землянки улыбнулся:

— Добрый день, пан!

Володя поднялся.

— Пошли наверх, — предложил Иван. — Подышишь свежим воздухом, покажу свое хозяйство.

Они вышли во двор. Погода не изменилась, было холодно, небо затянулось тучами, и казалось, наступал вечер.

— Думаю, что тебе придется некоторое время пожить у меня. Поэтому ты должен знать, как вести себя, когда я куда-нибудь отлучусь. Дверь в сарай открывай осторожно, смотри не сорви с верхней петли, пусть так и висит. Вот под ногами доска — кто-то бросил небрежно, ты и ее не тронь. И не разгуливай там, где тебя могут увидеть.

Володя внимательно слушал, кивая.

— Идем покажу, где вода.

Они пошли в конец двора, где паренек увидел четырехугольный сруб и рядом — яму, очевидно от снаряда. Колодец был неглубокий, почти

весь заваленный землей, обломками досок, щепками. Только в уголке чуть поблескивала вода.

— Колодец виден издалека, поэтому днем воду можно брать только в крайнем случае.

Вернулись к сараю. Под стеной была выкопана дыра, в которой Иван прятал брезентовое ведро с веревкой.

— Пока что — все, пойдем, а то обед наш давно остыл.

Снова пристроили стол, нарезали хлеба, поставили простоквашу. Иван очистил картошку и разогрел ее в горшке. Глядя, с какой жадностью ест паренек, он спросил:

— Вкусно?

— Еще бы, — ответил тот с полным ртом.

— Люди, с которыми я завел дружбу, бедные, но они делятся со мной последним. С хлебом и картошкой нынче трудно.

— Вчера я вообще не соображал, что ел... Казалось, что никогда не наемся.

— Мне это знакомо. Порой и похуже бывало.

После обеда Иван сказал:

— Полежай на нары. Если не хочешь спать, расскажи, как ты здесь оказался. Думаю, что сейчас ты лучше себя чувствуешь...

Володя начал рассказывать, как попал в эшелон, как счастливый случай помог ему убежать.

— Ты, вижу, молодой, да ранний, — похвалил Иван. — Смекнул... Многие бежали, но их тут же и ловили. Выходит, когда немцы искали тебя за станцией, ты сидел у них под самым носом.

— Но я тогда еще и не мечтал о бегстве, просто некуда было деваться.

— Это и помогло тебе. Слышал я, что из того поезда много людей убежало, очень много. Почти всех поймали, избивали прикладами чуть не до смерти.

— Откуда вы об этом узнали, ведь до станции и города отсюда не близко?

— О таких ужасах слух далеко идет. Человека, который приютил меня и выходил, немцы заставили возить лес, здесь где-то будут строить мост через реку. В дороге тот человек и слышал о событиях в Здолбуново.

Постепенно, слово за словом, Иван тоже разговорился.

— Родом я из Коломыи, — рассказывал он о себе. — При поляках работал у пана кузнецом. Мы с родителями жили бедно. Когда пришли Советы, я одним из первых записался в артель. Сначала не умели хозяйничать сообща, а потом постепенно все наладилось. Стали жить файно, особенно бывшие бедняки. Я женился. Мечтал о хорошем будущем, но не так получилось, как мечталось: нагрянула война. Советы начали удирать...

Я очень переживал, меня разбирала злость, когда некоторые из нашего села радовались тому, что Советы уходят. Были и такие, что прямо говорили: «Ну то как, Янош, нахозяйничался в колхозе, пся крев?!»

Я все же не верил, что придут немцы. Но вот позвали меня в правление и сказали, что надо гнать скот на восток. Тогда я понял, что все гибнет. Бил себя по голове — такое со мной творилось! Я ведь так надеялся на новую жизнь! «Неужели Красная Армия настолько слабая, — думал я, —

что не в силах побить врага?!» Но больше всего досаждали мне насмешки кулаков, что притаились, ожидая своего часа; не знал я, как заткнуть им глотку.

Попрощался я с семьей и погнал скот на Киев...

Володя слушал этого душевного человека, боясь пошевелинуться. А Иван, устремив взор в одну точку, не спеша продолжал:

— Далеко уйти не посчастливилось. Много раз стадо бомбили, скотина гибла, разбегалась. Нас, погонщиков, было десять человек. Некоторых убило, другие убежали, бросив все на произвол судьбы. В конце концов я остался один... Ты еще молод, Владимир, да и паренек ты городской, не понимаешь, как я страдал. А я-то крестьянин с деда-прадеда, всю жизнь связан с хозяйством, хорошо понимал, какое богатство гибнет. Понимал, но ничего поделать не мог. Стояла жара, скота много, он голодный, не напоен, ревет днем и ночью... Да еще и бомбят. Ой, лучше не вспоминать!..

Иван умолк на минутку.

— Вот так...— продолжал он после паузы.— Немцы наступали быстрее, чем мы уходили. Разнесся слух, что нас окружают. Оказался я где-то за Киевом, но дальше идти было некуда. Потеряв все, уже при фашистах, оборванный, босой, голодный, я пробирался назад, в родные края.

Неподалеку от своего села встретил родственницу, которая сказала мне, что...— Тут Иван поднялся, отвернулся, сглотнул слезы, вздохнув, продолжал:— Как только пришли фашисты, в первую же ночь бандиты растерзали мою семью. Меня тоже надеялись поймать и порезать на куски за то, что при Советах я был в артели, а главное, за скот, который я угнал на восток.

В село, разумеется, не пошел. Отправился в лес, сам не зная почему. И вот там, в лесу, меня чуть живого, опухшего от голода, подобрал лесник и выходил... Гляжу я на тебя, Владимир: кожа да кости, ты и сам себя не узнал бы, если бы посмотрел в зеркало. Таким был и я... Вот видишь, если бы я не помог, плохо пришлось бы тебе; если бы мне не помогли, я тоже был бы уже на том свете... О чем все это говорит? А о том, что брешет немец, не удастся ему натравить людей друг на друга и нацию на нацию. Все равно мы, и украинцы, и русские, и все другие народы, объединимся и будем бить гада... Это я говорю не своими словами. Сначала я жил в этом лесу как зверь в берлоге и думал, что все на свете погибло. Но потом лесник познакомил меня с советским пленным. О, это — настоящий человек! Он сказал, что рано или поздно, но немцев будем бить и гнать с нашей земли. И я дождусь этого! А тогда вернусь в Коломыю...

За время своего длинного рассказа Иван сменил несколько светильников — один за другим они выгорали, и Иван менял их на новые.

— Ой, запас мой уменьшился,— вдруг забеспокоился он,— надо экономить. Без света плохо. Керосин достать невозможно. Выйдем, Владимир, наверх.

Они поднялись по лестнице и вышли во двор. Было темно. Где-то высоко, еле заметная в набегавших тучах, пряталась луна.

— Подышим немного свежим воздухом, разговаривать не надо,— промолвил Иван.— Постой тут, а я принесу на ночь воды.

Володя прижался спиной к стене сарая, озираясь по сторонам. В хате

ветер раскачивал оторванные доски, которые пугающе скрипели. У паренька мурашки побежали по спине, когда вспомнил, как вчера блуждал тут один. Сейчас казалось еще страшнее. Хотелось поскорее спрятаться в подвале и не видеть этого жуткого двора. Успокаивало лишь то, что где-то поблизости есть Иван. «Какое счастье, что я встретил его!» — повторял он про себя как молитву.

Наконец Иван вернулся. Володе хотелось броситься к нему и расцеловать, он готов был сделать что угодно для этого человека. Но сказать об этом Ивану было неловко.

Они снова спустились в убежище. Здесь было тепло и уютно...

Иван стал возиться у печи, а Володя разгуливал по подвалу, присматриваясь к каждой щели.

— Иван, — впервые обратился Володя по имени к своему старшему товарищу, — давайте приделаем крючок к дверце, а то уснем и кто-нибудь залезет к нам.

— Сюда никто не придет. За все время немцы были только один раз. Однажды возвращаясь вечером, я услышал шум в хате, немецкий говор. Пришлось спрятаться в кустах, выждать. Когда непрошенные гости уехали, я хорошенько осмотрел двор и хату. Очевидно, случайно пожаловали. Правда, всюду шарили, заходили и в сарай, но сено не трогали, подвал не обнаружили.

Позже наведались местные мужики с двумя подводами. Я сидел в подвале, когда услышал голоса во дворе. Наломали досок от хаты, заглянули в сарай — слышал, как ворошили сено, как один из них сказал, что, мол, гнилое, брать не стоит. После этого больше никто не заявлялся... Давай ложиться спать, мне до рассвета надо сходить к леснику. На весь день останешься один. Поменьше выходи наверх, печурку не топи. Озябнешь — укройся двумя одеялами. Ну хорошо, отдыхай...

Володя лег, прижался к широкой, теплой спине своего старшего товарища, согрелся и уснул. Так закончился еще один день его горьких скитаний.

5

Проснувшись утром, Володя увидел, что кузнеца уже нет. Поднялся наверх, обошел двор и заглянул в разрушенную хату. Когда-то тут жили люди, было здесь радостно и тепло, а теперь все мертво. Надо будет расспросить у Ивана, чья это хата, кто в ней жил, кто построил такое убежище в сарае.

Он все рассматривал вокруг, и ему было не по себе среди этих обвалившихся стен. Будто он прикасался к чему-то запретному. Казалось, что кто-то вдруг окликнет его и скажет: «Что ты тут делаешь?! Это мое, не трожь. Не ходи по моей хате. Я не звал тебя сюда. Ты ходишь и хозяйничаешь здесь только потому, что я мертв...»

Володя замирал, прислушивался. Но голосов не слышал — лишь шум леса, шорох ветра в выбитых окнах и проломах в потолке и стенах.

Наконец, удовлетворив свое любопытство, он вышел во двор...

Заканчивался день. Иван не возвращался. Володя терпеливо сидел в подвале.

Потом наступила ночь. Поднявшись на лестницу, паренек уперся головой в дверцу и, приоткрыв ее так, стоял и прислушивался, не идет ли кузнец. Долго так стоял, пока не заболела голова, не заныли ноги. Что же могло случиться? Ведь кузнец сказал, что вечером вернется.

Прошла и ночь, страшная, тревожная. Закутавшись в одеяло, Володя без сна сидел на нарах. В землянке еще была картошка. Надо было только сварить ее. Но он не решился разжечь печку. Съел кусок хлеба, запил водой и полез наверх. Настороженно осмотрел двор, принес свежей воды. Потом, сидя в сарае, на сене, раздумывал, что же могло случиться с Иваном.

На месте долго не сиделось, и паренек снова вышел во двор. Вдруг издалека донесся гул моторов. Володя спрятался за дверь, тревожно прислушивался. Когда гул приблизился, он вскочил во вторую половину сарая, приподнял дверцу погреба, готовый при малейшей опасности прыгнуть вниз.

Немного не доехав до разбитых хат, машины остановились в ложбине. Спустя минут тридцать там прогремели автоматные выстрелы: одна очередь, вторая, третья.

Володя шмыгнул в свое убежище, закрыл дверцу. Сердце чуть не выскакивало из груди.

Через некоторое время снова долетел приглушенный гул моторов. Потом стало совсем тихо. Решив, что машины уехали, паренек вылез наверх и вышел из сарая.

Вокруг — звонкая, нестерпимая тишина, нигде — ни души: коварная тишина, в которой кроется опасность. Наступивший покой был обманчив, ибо на самом деле таил в себе невидимую угрозу.

Очень хотелось пойти к ложбине, посмотреть, что там творится, кто стрелял, почему? Неужели поймали Ивана и расстреляли?! «Ох, какие глупые мысли лезут в голову! Вот пойду и посмотрю!» — решил паренек.

Но, сделав несколько шагов, Володя остановился. «А если засада?!» Вернулся и стал обдумывать, что же делать дальше. «Завтра утром сварю всю картошку, погляжу, что там, в ложбине, и буду готовиться к походу».

Володю перестали терзать сомнения, он немного успокоился. Намеченный план казался вполне осуществимым. Выберется из леса и будет пробираться домой в Киев.

Время шло. Закончился и второй день, стемнело, а Иван все не возвращался. И Володя с грустью думал, что его старший друг попался в руки фашистов и погиб в неравном бою.

В этот день паренек почти ничего не ел: душа не принимала. Вот он снова полез на лестницу, приподнял дверцу и долго прислушивался. И вдруг что-то глухо ударилось о землю, потом скрипнула дверь сарая. Вмиг соскочил вниз и притаился в углу под лестницей. «Иван или, может, кто-нибудь другой?» — испуганно думал он.

Дверца погреба поднялась, и одновременно с упавшим вниз лучом света раздался голос:

— Это я, Иван.

Володя бросился навстречу. Они крепко обнялись, словно после долгой разлуки.

— Владимир, ни о чем не расспрашивай, сам знаю, как ты ждал... К леснику добрался благополучно. Он снова приготовил для меня продукты. Я рассказал ему о тебе. Все шло хорошо. Но потом лесник сказал, что в селе поговаривают об этих разрушенных домах бывшего лесного управления, теперь нашего с тобой убежища. Кто-то из крестьян видел дым во дворе. Теперь староста вроде бы собирается прислать сюда людей, чтобы проследили.

Лесник не отпустил меня в ту ночь, хотя я порывался уйти. Знал, что будешь беспокоиться и бояться больше, чем если бы всегда был здесь один. Семья лесника убедила меня, мол, такой парень, который дошел сюда от Здолбуново, не растеряется... И вот, Владимир, именно прошлой ночью, как узнал лесник, сюда уже присылали трех мужиков, которые следили за усадьбой. Ждали, не сверкнут ли где-нибудь искры от горящего очага и не поднимется ли поутру дымок. Я там больше переволновался, чем ты. Но внутренний голос подсказывал мне, что ты не выдашь себя.

— А сегодня? — с испугом спросил Володя. — Ведь они и сегодня могли следить.

— Нет, лесник с собакой прошел впереди меня, так что все в порядке.

— А если позже придут?

— Не придут, у лесника тоже есть свои люди, которые сообщают ему кое-что, даже не зная, зачем ему это. Вода есть? Сейчас будем ужинать, — переменял тему Иван и занялся приготовлением еды.

Володя в это время рассказал ему о стрельбе в лесу.

— Сколько их было? Кого они привезли? — кузнец засыпал Володю вопросами. — Как жаль, что ты ничего не видел.

Паренек развел руками. Он только слышал шум машин и стрельбу, а увидеть ничего не смог.

— Ну хорошо, после ужина посидишь, а я схожу, это близко.

От этих слов Володю бросило в жар. Он стал просить, чтобы Иван не ходил ночью. Вдруг там засада?

— Ты прав, — согласился кузнец.

Приготовили ужин. За много дней Володя впервые поел горячего домашнего супа. Лег на нары и тотчас уснул.

— Ну, как спалось? — спросил утром Иван, улыбаясь.

— Снились какие-то кошмары.

— Верно. Ты все время вскрикивал, ворочался, стонал. Я уж принес воды, приготовил завтрак, побывал в ложбине... — Лицо Ивана омрачилось. — Фашисты расстреляли в яру семь человек. Это работа их наймитов — украинских националистов. С их помощью немчура и чинит расправу. Убитые лежат чуть присыпанные землей и прикрытые сухими ветками. Незнакомые люди, никогда их не видел, а все равно жаль. Двое совсем юноши. К сожалению, нет лопаты — похоронили бы по-человечески... Ну что же, давай завтракать, потому что времени у нас мало.

— Почему мало?

— Садись ешь, расскажу.

Иван поставил на стол небольшую глиняную миску, полную кар-

тофельных оладий, нажаренных где-то в другом месте, а сейчас только подогретых, отрезал кусочек старого пожелтевшего сала. Все съели вмиг, выпили чашку молока на двоих.

— Наелся?

Володя ответил, что чувствует себя как когда-то, до войны, как на курорте, хотя на курортах он не бывал, а ездил только в пионерские лагеря.

— Вот и хорошо, теперь слушай. Лесник познакомил меня с одним советским офицером. Он убежал из лагеря военнопленных, что где-то в районе Славуты. Мы теперь с ним хорошие друзья. Он не знал, где сесть, что сказать, так обрадовался, когда узнал о тебе. Это ведь твой земляк, из Киева.

— Какой он, как зовут, как его увидеть?

— Не спеши, все узнаешь. Там, где он скрывался раньше, теперь опасно — соседи что-то заподозрили и стали следить за той хатой. Очень трудно было переправить пленного к леснику. Но и там оставаться ему нельзя — людное место. Да и вообще прятаться тут тяжело, все друг друга знают, новый человек сразустораживает... Сегодня ночью лесник должен привести его к нам, а в следующую втроем двинемся отсюда. Этим лесом тоже начали интересоваться, гляди, еще обнаружат нас.

— Куда же мы пойдем?

— Свояк лесника приготовил место, километрах в тридцати отсюда. Там побудем, пока деревья покроются листьями, оживут поля. Тогда легче будет идти дальше, легче прятаться. Да и вообще в этом краю что-то очень оживились полицаи из местных, иногда и немцы приезжают. Почему — никто не знает... Какое-то время пересидим, а потом посмотрим. Твой земляк — человек грамотный, знает, куда вести.

— Хорошо, — радостно согласился Володя.

Теперь он с нетерпением ждал вечера. Время словно остановилось, и день показался особенно длинным. Володя думал о том, что, когда человек в тяжелой обстановке одинок, другие люди представляются ему чужими, даже врагами. Но если глубже взглядеться, то всегда найдутся среди них друзья. Хотя местные жители не очень гостеприимны, особенно к тем, кого называют москалями, но и среди них есть хорошие люди.

— Иди, Владимеж, наверх, но не разгуливай по двору, спрячься возле сарая и наблюдай. Я затоплю печь, надо готовиться в дорогу, сварить картошку.

— Если бы вы задержались у лесника и не пришли бы вечером, я сам сварил бы ее. Решил пробираться в Киев.

— Но уж этого я от тебя не ожидал! Такой глупости! — сердито ответил Иван. — Один далеко не уйдешь.

Устыдившись, не найдя что ответить, Володя молча полез наверх. В этот раз двор не показался ему таким мрачным, как всегда. Все вокруг словно улыбалось ему, на душе стало легко. Паренек чувствовал себя так, будто у него появилась необыкновенная сила. Догадывался, что причиной этому были новые товарищи — двое хороших людей. Второго он пока еще не видел, но уже представлял его рядом с собой. Теперь он никого не боялся, и порой казалось, что их много на свете, его знакомых и незнакомых друзей.

Прислонившись к сараю, он внимательно вглядывался в лес. Как ему хотелось, чтобы осуществилось все, о чем говорил Иван.

В стороне от сарая лежала куча веток, из-под которых вился дымок. Теперь Володя и сам убедился, что дым замечен; если бы сейчас кто-нибудь находился возле двора, сразу понял бы, откуда этот дым. Он подошел к подвалу, поднял дверцу и сказал об этом Ивану.

— Знаю, — ответил тот, — но не думаю, чтобы с самого утра кто-нибудь болтался тут... Впрочем, ты прав, не следует рисковать в последний день, придется залить огонь и оставить это дело до ночи.

Володя снова вышел во двор. Дым постепенно рассеивался. Ветки, которыми была прикрыта труба, закоптились, почернели. Кузнец разбросал на всякий случай в разных местах такие же обгоревшие ветки, но смогло ли это спасти?

Небо было чистое, по-весеннему голубое и такое прозрачное и высокое, что в него хотелось смотреть и смотреть, пока не закружится голова. Но все же еще было холодно. Подождав, пока дым рассеялся, Володя спустился в подвал.

Кузнец собирал вещи. В уголки мешка положил по небольшой картофелине, обвязал каждый угол веревкой. Потом принялся шить. Володя рассказывал ему о своей школе, о пионерских лагерях, как учились дети на Украине, как отдыхали. Иван внимательно слушал и сожалел, что в свое время не поехал на восток.

— Вскоре после освобождения у нас набирали рабочих на рудники или шахты, и я мог бы поехать в город, не помню его названия.

— Может, Донбасс? Но это не город, а целый угольный край.

— Да, да. Говорили, что не очень далеко... Возможно, иначе сложилась бы моя жизнь. А во всем виноваты родители. Не пускали: там, мол, москалей много. Хотя при Советах жизнь полегчала, а вот боялись, чтобы я уехал из дому. Так и остался. Начал хозяйничать. Потом родители умерли, сначала отец, следом и мать. Из рода Остапюков теперь я один. Были, правда, еще дальние родственники, но они чурались меня за то, что я сразу же пошел в колхоз...

Так в беседах и сборах прошел наконец этот длинный, как год, день. На дворе начало темнеть.

— Пойдем еще раз все проверим.

Они поднялись и тихо вышли из сарая.

— Стой и посматривай, а я обойду вокруг, на всякий случай. Не готовят ли нам какую-нибудь беду.

Иван скрылся в лесу. Время тянулось медленно. Около часа простоял Володя на одном месте, и ему уже начинало казаться, что Ивана поймали. Наконец вдали, за деревьями, треснула веточка. Он быстро взглянул в ту сторону. Кто-то шел. Это был кузнец.

— Ну что? — спросил паренек. — Как там, в лесу, хотя, впрочем, что можно увидеть в темноте!

— Ну, друже! Во-первых, я мог заметить или машину, которая приехала днем и осталась в лесу, или еще что-нибудь. Конечно, мог бы! Особенно ночью, когда не все видно, но особенно отчетливо слышен малейший звук... По дороге я заглянул в ложбину. Посмотрел на несчастных,

которые там лежат. Не побывал ли кто-нибудь на этом месте после меня? Но, очевидно, никого не было, все осталось на месте так, как я обозначил.

Друзья спустились в свой подвал.

— Я скоро снова уйду, — сказал кузнец. — Леснику нельзя далеко уходить от своего жилища, да еще и ночью. Он укажет дорогу тому человеку, а сам вернется домой. Нужно встретить парня и привести сюда.

Володе тоже хотелось пойти вместе с кузнецом, но он не осмелился попросить об этом. Подумав, он и сам пришел к выводу: это не прогулка в лесу и надо быть осторожным.

Когда Иван ушел, взяв с собой нож, веревку и мешок, Володя погасил свет и лег на нары. Стало холодно, давала знать о себе сырость в подвале. Потом укутался в одеяло, согрелся и задремал.

Вдруг вздрогнул — в сарай вошли. Дверца погреба поднялась, и донесся знакомый голос:

— Наверное, спит.

Володя вскочил, зажег лампадку.

Перед ним стоял невысокого роста белокурый парень, лет двадцати четырех, очень худой, и приветливо улыбался. Был он в гражданской одежде — старая спецовка, почти белая от стирки, поверх нее — защитного цвета телогрейка, латаная-перелатаная, грязная, засаленная. За плечами вещевой мешок.

Молча смотрели друг на друга, улыбались и не знали, что сказать.

— Ну, братцы, вы тут знакомьтесь файно, а я пойду и посмотрю, что делается на дворе.

Володя бросился к парню, обнялись. Потом помог земляку снять мешок.

Сели...

Тем временем возвратился кузнец, сказал, что вокруг все спокойно. Есть никому не хотелось — так увлеклись беседой. Гость много не расспрашивал, потому что все о Володе знал со слов Ивана, а больше рассказывал о себе.

— Зовут меня Анатолием. Служил на границе, старший лейтенант... Наша застава находилась в Волынской области, в местечке Устилуг. Мы приняли на себя удар фашистов в первый же день войны. Сражались до последнего, почти все погибли, а я оказался в плену, будучи раненным... Но пусть не думают гады, что мы уже сложили руки. Мы еще им покажем, постоем за себя и за свою землю!..

Володе приятно было слышать эти слова, с таким товарищем он почувствовал себя сильнее. Казалось, что вот вылезут они из этого подвала и тотчас набросятся на врага. Иван, добродушно улыбаясь, посматривал на ребят.

Незаметно шло время.

Ночь уходила.

Теперь у друзей были часы: их дал Анатолию товарищ по лагерю, у которого чудом они сохранились. Тяжело раненный, он умирал. Знал, что Анатолий собирается бежать, вот и подарил ему на прощанье: «Часы тебе пригодятся в пути, а я уже не выйду отсюда, не суждено мне больше

увидеть родных и друзей». Рассказав эту грустную историю, Анатолий тяжело вздохнул:

— Скоро будет четыре, давайте отдохнем немного.

Парни улеглись. Иван еще несколько раз выходил, проверял, не следят ли за ними. Но на дворе все было как и раньше: темно, тихо, спокойно...

6

Проснулись довольно поздно.

— Я уже давно сижу возле вас, жаль было будить. Давайте поедим да будем готовиться к ночному походу,— сказал Иван.

Завтракая, Анатолий рассказывал:

— Для нас соорудили в лесу, возле местечка или села Уездцы, шалаш, под ним такой же подвал. Там пересидим какое-то время, а потом увидим, что делать дальше.

Когда Володя сказал, что хочет идти в Киев, старший лейтенант покачал головой: «До Киева, дружок, отсюда далеко». Что он имел в виду, Володя так и не понял. Решил, что земляк не раскрывает до конца своих планов. Или не хочет загадывать далеко вперед, или, может быть, и сам не знает, что делать дальше. Но, наверное, и его тянет домой. Куда же еще?!

Друзья все время вспоминали родной Киев. Приятно было говорить о каком-нибудь обыкновенном доме, известном обоим, о той или иной окраине, об улице, площади, стадионе, о Днепре. Володя подумал: как плохо люди ценят то, что имеют! В прошлой привычной жизни все казалось будничным и не вызывало особой радости, но вот, потеряв все, поняли, как хорошо жилось накануне войны.

К вечеру товарищи были готовы. Анатолий еще раз вытащил листок бумаги, на котором был начертан их маршрут. В пяти километрах отсюда, на опушке леса, их будет ждать подвода. Человек, который должен ехать за досками, подвезет их. На подводе, под сеном, будет лежать мешок картошки, свеклы, немного сухарей.

Хотя Анатолий сдержанно говорил о дальнейших планах, Володя не унимался: а что же дальше, потом?

— Время покажет,— коротко ответил старший лейтенант.— Пока что надо выбраться отсюда.

— Тут я изучил каждую веточку на дереве,— сказал Иван Остапюк.— Сначала я поведу вас, а потом уж пускай офицер ведет по-научному, по своей бумаге.

Парни рассмеялись...

* * *

В десять часов вечера покинули убежище. Взяли с собой почти все: остатки продуктов, два одеяла, котелки, бутылки с водой. Кузнец аккуратно закрыл дверцу подвала, словно собирался вскоре вернуться, забросал ее сеном, перекрестился, и друзья двинулись в путь.

Вечер был тихий, небо затянулось тучами, потеплело, чувствовалось,

что вот-вот начнет накрапывать весенний дождик. Шагали молча, друг за другом. Идти по лесу было тяжело: всюду воронки, окопы, поваленные деревья.

Володе казалось, что он уже проходил эти места. Сказал об этом товарищам.

— Я знаю, откуда ты шел,— ответил Иван.— Не может быть, чтобы мы возвращались назад.

— Провожая меня, лесник,— вмешался Анатолий,— несколько раз показывал на эту дорогу. Идем правильно.

Действительно, вскоре в лесу стало светлее — беглецы пересекли широкую полосу леса. Впереди виднелась дорога, дальше — неглубокий яр. Так было обозначено и на схеме у Анатолия.

— Где-то здесь должен быть подбитый самолет,— сказал старший лейтенант.— Но его не видно. Мы, вероятно, забрали в сторону и немного сбились с пути. Кажется, вышли не туда, куда надо.

— Я по бумаге не понимаю,— заметил Иван.— Но что-то уж очень долго мы бредем!

— Действительно долго! — покачал головой Анатолий.— Отправились в десять вечера. В час ночи должны были выйти к яру, а сейчас уже три.

Наконец, километра через полтора они набрали на сгоревший самолет, о котором говорил Анатолию лесник. Большой двухмоторный бомбардировщик — покореженный, помятый, обгорелый — одним крылом врезался в землю. Со слов лесника знали, что этот фашистский самолет упал тут на второй или третий день войны.

Анатолий обошел вокруг него:

— Нашел-таки, паразит, смерть на нашей земле!

От самолета взяли направление через поле к лесу. Вдоль леса тянулась наезженная подводами узкая дорога. Видно было, что машины по ней не проходили.

— Где-то тут по прямой от самолета к лесу,— сказал Анатолий,— должна быть телега, которая давно ждет нас.

Володя обрадовался: у него болели ноги и все тело. «Вот сейчас сядем,— думал он.— Зароюсь в сено и буду спать».

Но возле леса телеги не оказалось.

— Ничего удивительного,— заметил Иван.— Не могли же мы выйти прямо к телеге, она где-то впереди или позади нас...

Около двух часов ходили по полю, возвращались к самолету, снова и снова определяли направление по прямой к лесу, но подводу не нашли. Анатолий сердился:

— Что могло помешать?! А может... Нет, нет, о плохом и думать противно, это честные, наши люди. Что-то, значит, помешало.

Уже на рассвете старший лейтенант снова послал Володю к самолету и приказал хорошо осмотреть все вокруг. Ивана направил прямо вдоль леса, сам пошел влево по дороге.

Володя приблизился к самолету. Чудовищными казались в темноте ребра этой огромной машины, но паренек переборол страх: его послали выполнять задание, от которого зависела жизнь товарищей. Обошел вокруг

самолета, потом прошел от него по прямой в одну и другую стороны. В лес вернулся он последним.

— Ну что?

— Ничего и никого нет.

— Произошла какая-то ошибка, — решил старший лейтенант. — Придется ждать следующей ночи.

Остапюк предложил вернуться обратно в убежище.

— Но и там опасно, да и далеко идти обратно, — печально заметил Володя.

— Ты прав, друг, — поддержал его Анатолий. — За тем местом будут следить, пока наконец не выследят. Да и до каких пор люди могут кормить нас? Спасибо и за то, что сделали. И сами небогаты.

Заканчивалась ночь, надо было искать убежище, и друзья направились в глубь леса.

Теперь их снова окружал лес. Черный, молчаливый, с голыми костлявыми ветвями, торчавшими над головами.

Когда луна на миг выглядывала из-за туч, острые тени ветвей, словно руки причудливых существ, тянулись к Володе. Было страшно. Лес — неверный друг. Он может укрыть от врага и в то же время таит в своей черноте любую неожиданность...

Вскоре погода испортилась, стал накрапывать дождик. Беглецы нашли воронку, в которой сохранились старые сухие листья. Наломали веток, улеглись внизу, плотно прижавшись друг к другу, и накрылись одеялами. Понемногу светало. Начинался новый день.

Володя лежал посредине, он быстро согрелся и уснул. Проснулся, почувствовав, что коленки мокрые. Дождь хотя и небольшой, но промочил одеяла. Товарищи уже не спали, и паренек слышал голос Анатолия.

— В этих местах, — говорил старший лейтенант, — немецкое командование запрещает людям ездить и ходить.

— Да-да, — ответил кузнец. — И я об этом слышал. Говорят, что немцы ждут приезда сюда какого-то помещика.

— Думаю, — продолжал Анатолий, — что по лесу нам можно идти и днем, вряд ли кто-нибудь из местных жителей решится нарушить этот запрет.

Дождь не утихал. Одеяла совсем намокли, стали тяжелыми.

— Надо что-то предпринимать, — предложил Иван. — Сложив руки ничего не дождемся.

Съели по две картофелины из своего запаса, запили водой и направились назад, к тому месту, где их должна была ждать телега. Ночью они отметили его — положили сломанные ветви, чтобы и в темноте могли найти. Но и сейчас, днем, никаких следов подводы не обнаружили...

Спустя некоторое время вышли к поляне. Почти вся она была изрыта, изъезжена колесами телег — на земле следы больших лошадиных копыт. Всюду лежали кучи строительного леса, очищенного от коры. Вокруг поляны — ямки, несколько столбов уже были врыты.

— Да-а-а! — протянул Анатолий. — Тут что-то будут строить, и материал привозной, в этом лесу деревьев не пилили.

— И привезли недавно, — заметил Иван. — Интересно, почему никого не видно, где рабочие?

Друзья сели на колоду и стали осматриваться.

— Может быть, из-за этих работ и наша телега не приехала, — задумчиво произнес Анатолий.

— Могли и ее мобилизовать, — сказал Володя.

— Нет, — возразил Иван. — Бревна возят не на наших заезженных лошадях, а на битюгах.

Дождь перестал, но одежда у беглецов уже насквозь промокла.

— Разжечь бы костер да согреться, — вздохнул кузнец.

— Вы посидите, — вскочил Володя, — а я пройдусь вокруг поляны, посмотрю, что там делается, наберу щепок.

Он миновал большую кучу бревен и пошел вдоль поляны, прячась за стволами деревьев. Возле самого леса, с противоположной стороны, лежала еще одна куча бревен, за которой Володя увидел сбитую из досок будку. На миг остановился, но потом, настороженно озираясь, направился к ней.

Дверей в будке не было. Внутри, под стеной, стояли пилы, топоры, лопаты. В углу лежали грязно-зеленые маскировочные плащ-палатки. Володя развернул их: одна была рваная, другие могли защитить от дождя. Решил позвать друзей. Вышел из будки, снова прошел мимо бревен и увидел, что Иван и Анатолий сами идут ему навстречу.

Остановился, помахал им рукой. В это время за будкой что-то треснуло, словно сломалась сухая ветка. Володя оглянулся и замер на месте. Без единого звука на него мчалась огромная собака, а возможно, и волк — от страха не сообразил. Все произошло, как в кошмарном сне, где нет никаких звуков, а только ужас, где летит на тебя серое чудовище с огромной клыкастой красной пастью и ты — беспомощный, беззащитный — понимаешь, что это конец.

Володя бросился к ближайшему дереву, закричал: «Анатолий!» — и в этот миг свалился от сильного удара. Увидел над собой разинутую пасть пса, который рвал на нем одежду. Закрывал лицо, пытался подняться, но собака снова валила его на землю.

Первым подбежал Иван. Он не успел помочь, потому что появилась еще одна собака и прыгнула на него. Кузнец своими большими руками схватил ее за шею и начал прижимать к земле. Но даже ему нелегко было справиться с огромным псом — он люто рычал и рыл землю лапами. Володя лежал ничком, скорчившись и прикрыв руками голову, — клочья от его пальтишка летели во все стороны.

Когда подоспел Анатолий, со стороны будки грохнула автоматная очередь. Оттуда бежали немецкие солдаты. Двое из них были лишь в нательных рубахах. Они прицелились в беглецов и что-то крикнули. Один из гитлеровцев подбежал к Ивану, изо всей силы ударил его железной рукояткой автомата, что-то выкрикивая и показывая на шею.

Собаки оставили свои жертвы и, хищно поглядывая на них, отошли в сторону.

Пока двое держали пленников под дулами, остальные обыскивали их. К Володе подошел рыжий верзила с красноватыми пятнами на лице.

Хотел вывернуть карманы, но паренек давно вырвал их; тогда ощупал спину, ноги и, не найдя ничего, толкнул к дереву. У Анатолия увидели часы, повалили его на землю и стали бить ногами, показывая на часы и выкрикивая: «Немецкий солдат!.. Немецкий солдат!..»

Все произошло так неожиданно, в течение нескольких минут, что беглецы не успели опомниться и что-либо предпринять.

Под охраной собак их повели к будке. Метрах в трехстах от нее лежала еще одна куча бревен, далее была вырыта огромная квадратная яма с пологим спуском в нее. Возле ямы стояла большая автомашина, покрытая темно-серым брезентом.

Немцы велели пленникам сесть под деревом, а сами пошли к машине, о чем-то громко рассказывая друг другу. Собаки вертелись возле ямы и, повизгивая, заглядывали в машину. Из нее вышел солдат в белом переднике. Бросил собакам по куску мяса, погладил их, потом подошел к пленникам. Молча рассматривал каждого из них, потом вытащил сигарету, закурил и, сказав по-немецки: «Свиньи!» — ушел.

Под деревом пленники просидели около двух часов. Сначала у Володи все тело горело огнем, потом ему стало холодно, начало трясти. Анатолий пододвинулся поближе к нему, накрыл паренька телогрейкой. За все время никто не проронил ни слова. Старший лейтенант незаметно разжевал клочок бумаги с планом, проглотил его и теперь упорно смотрел в землю, о чем-то сосредоточенно думая. У него был рассечен правый висок — очевидно, подковой сапога, глаз заплыл. Иван тяжело вздыхал. Володя боялся взглянуть в глаза друзей, ему казалось, что во всем виновен он. «Зачем я пошел к будке?!» — горько думал он.

Каждый из них собирал в своей душе обломки разбитых надежд, каждому по-своему рисовались картины ада, который ждал их в плену, и никто из них не мог угадать, что будет завтра, даже сегодня.

Из машины доносились выкрики, галдеж, звуки губных гармошек. Время от времени из машины выходил солдат и, приласкав собак, снова приказывал им улечься возле пленников.

Хотелось пить. Иван повернулся к Анатолию, чтобы удобнее сесть. Лежавший поблизости пес поднялся и зарычал.

Потом в машине стали обедать — слышен был стук котелков, доносился приятный запах вареного гороха с мясом. После обеда немцы занялись своими делами, не обращая внимания на пленных. Рыжий немец, который обыскивал Володю, полез с мотком проволоки на дерево, где было гнездо, похожее на треугольник.

Когда из машины вышел повар, Володя почувствовал, что больше не может терпеть жажды и знаками попросил воды. Немец подошел к нему с котелком, показал на руки, чтобы паренек сложил их, и налил ему в горсть воды. Володя с жадностью хлебнул... Оставшуюся воду солдат вылил на землю...

Перед вечером появилась еще одна машина с солдатами, тоже покрытая брезентом. Пленных посадили в кузов, у кабины сели солдаты с автоматами. Ехали долго, машина двигалась медленно, ее бросало из стороны в сторону, чувствовалось, что дорога плохая.

Глубокой ночью приехали в какое-то селение. Гитлеровцы столкнули

задержанных на землю и повели через большой двор, похожий на заводской. Приблизились к зданию, у которого стоял часовой и освещал каждого фонариком. По его сигналу из помещения вышел второй солдат и повел пленных дальше. Наконец оказались возле похожего на цех строения. Гитлеровец что-то выкрикнул, показывая на дверь. Осторожно ступая, они вошли в помещение.

Дверь закрылась, и стало темно. Постояли молча. Когда глаза привыкли к темноте, начали осматриваться.

Под ногами было много кирпича, разного мусора, согнутые железные трубы большого диаметра.

— Тут была кочегарка,— сказал Иван.— Я заметил разрушенные печи.

Товарищи сели, прижавшись друг к другу.

— Я увидел собаку раньше, чем ты, Владимир,— промолвил кузнец.— Она большими прыжками мчалась к тебе, и, когда ты крикнул, я уже бежал с ножом. Но неожиданно мне преградил путь другой волкодав. Я не успел помочь тебе: нож я отбросил в сторону и, отбиваясь, поймал пса руками за шею. Если бы не начали стрелять, я задушил бы его.

— Вряд ли,— заметил Анатолий.— Не так просто задушить такого зверя. А что выбросил нож, правильно поступил. Он ведь сделан из немецкого штыка, попало бы тебе еще больше, чем мне за часы.

Володя стал рассказывать, как увидел будку, зашел в нее, как обрадовался плащ-палаткам. Ждал, что товарищи будут обвинять его. В конце чуть слышно произнес, что чувствует вину перед ними.

— Не говори глупостей,— перебил Анатолий.— Если кто и виноват, так это я. Не надо было уходить так далеко от нашего места... Правда, и там долго не усидели бы — дождь, перемерзли. А ночью бродить по лесу еще опаснее. Если бы немцы поймали нас ночью, сразу убили бы.

— И так еще неизвестно, чем все кончится,— пробурчал Иван.— Надо что-то предпринимать. Давайте выясним, куда нас загнали.

Володя вспомнил о вещах, оставшихся в лесной яме, где они отдыхали. Жаль! Ведь там и продукты!

А старший лейтенант никак не мог успокоиться:

— Почему немцы в лесу? Что они тут строят? Если бы не напоролись на них, все было бы хорошо, а теперь...

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

...ОН сидел рядом со мной, но я ЕГО снова не видел. Только за окном, как и в прошлый вечер, мерцали далекие звезды.

Я был ЕГО тенью и шел рядом с НИМ.

А потом ОН становился МОЕЙ тенью — и уже не ОН, а Я падал обессиленный на землю лагеря... не ОН, а Я лежал окровавленный на каменном полу тюрьмы... не у НЕГО, а у МЕНЯ ласковые сестрицы забирали кровь для своих солдат, и Я сам кричал от боли и смертельного отчаяния...

Голос ЕГО и сейчас был хриплым от волнения.

Но это уже был и МОЙ голос, и МОИ мучения, а ОН будто бы исчез в темной комнате, потому что наши тусклые тени слились в одну...

1

Рано утром пленников выгнали во двор. Солдат подвел их к большому длинному столу, стоявшему посреди двора, и, размахивая руками, показал, что надо отнести его в сторону. Анатолий и Иван взяли стол и пошли следом за немцем. Поднесли стол к небольшому дому и по приказу солдата поставили возле двери.

Потом немец повел всех к кухне, откуда доносились дразнящие запахи варившейся пищи. Из двери вышел верзила в грязном, покрытом жирными пятнами переднике. Взглянув на пленников, принес пилу, топор и молча указал на большую кучу бревен.

Почти два часа пленники пилили и кололи дрова. Иван рассказал, что когда они спали, он осмотрел помещение и, только когда убедился, что другого выхода из него нет, кроме как через двор, задремал и сам.

Вскоре Анатолий перестал пилить, вытер рукавом вспотевший лоб.

— Черт возьми, почему нас держат тут, что это значит?! — Он едва стоял на ногах, ныла рана над глазом, болела голова, но он тем не менее подбадривал друзей — ничего, мол, хлопцы, что-нибудь придумаем.

В открытое окно повар увидел, что пленные не работают, закричал: «Шнель, шнель!» — и погрозил кулаком.

Снова принялись за работу. Но вот появился вооруженный солдат и сказал, чтобы они следовали за ним. Немец привел их к тому дому, куда они незадолго до этого принесли стол. Толкнул в помещение. Пленники догадались, что их будут допрашивать...

За столом сидел высокий, худой, лысый немец. Лицо его словно было обтянуто желтоватой кожей, и Володе невольно вспомнился череп из школьного биологического кабинета. Перед офицером на столе лежала высокая черная фуражка, много бумаг, сигареты, стояли две бутылки с каким-то напитком и узкий высокий бокал. Судя по виду гитлеровца, по его черному мундиру с серебряными квадратами в левой петлице и повязке со свастикой на рукаве, можно было догадаться, что это какой-то чин у фашистов. Слева сидел второй такой же гитлеровец. Когда пленников ввели в комнату, он поднялся, заложил руки за спину и стал по очереди рассматривать каждого из них.

С правой стороны стола стояли еще двое: солдат и человек в гражданской одежде. Солдат знал польский язык, а тот, что в гражданском, — местный полицейский, хорошо владел немецким языком.

Офицер, рассматривавший пленных, заговорил первым. Он спросил, кто их послал в расположение немецкой части, туда, куда ходить строго запрещено, и, не дожидаясь ответа, заорал:

— С какого эшелона удрали?!

Друзья стояли молча. Иван, запинаясь, начал бормотать что-то о Донбассе, о тюрьме...

Немец подскочил к нему:

— Папир, документ?!

Где же Иван мог его взять!

Анатолий сказал, что его, как больного, отпустили с мальчиком домой, что у них и в мыслях не было идти в расположение немецких частей, а добирались они в Киев.

Офицер снова кричал: «Папир, документ!»

Похожий на скелет гитлеровец что-то быстро проговорил, и переводчик, ехидно улыбаясь, спросил:

— Где вы взяли одеяла немецких солдат?

Пленники сразу поняли: нашли их сумки. Анатолий ответил, что это им дали на дорогу немецкие солдаты. Солдат, стоявший возле стола, подскочил к нему и, размахивая перед лицом кулаками, закричал сначала по-немецки, потом по-польски:

— Вы — бандиты и воры! Немецкие солдаты ничего не могли вам дать! Вы украли!

В это время к дому подъехал мотоцикл, и в комнату вошли еще двое офицеров. Костлявый гитлеровец поднялся и, вытянув руку вперед, вышел из-за стола им навстречу.

Поприветствовав гостей, он что-то буркнул полицейскому. Тот вмиг вытолкнул пленных на улицу и снова повел их на кухню. А по дороге сказал: если бы не сумки, найденные на лужайке, не миновать бы им виселицы. В них была одежда, вареная картошка в мундире, оладьи, два мокрых одеяла... Поэтому немцы считают их обыкновенными ворами.

— Но это еще не все,— добавил полицейский.— Помешали гости. Но вами еще займутся!..— И он грязно выругался. Видно было, что предатель пьян.

— Ты,— сказал Иван,— лучше раздобудь что-нибудь поесть, видишь, малый едва ноги тащит.

Приведя пленных на кухню, полицейский, пошатываясь, ушел, а они снова начали колоть дрова. Обсуждали незаконченный допрос, удивляясь, что у них не спросили ни фамилий, ни национальности. Впрочем, полицейский ведь сказал, что это еще не все и, возможно, сегодня за них снова возьмутся.

— Итак,— произнес Анатолий,— надо подготовиться, чтобы не говорить вразнобой. Они нам, конечно, не верят, но мы будем придерживаться первой версии.

Володя работал и думал: «Как все в мире изменилось! Всегда люди презирали и строго судили воров... А немцы готовы им многое простить! Сказал же полицейский: если бы не сумки, которые, мол, свидетельствуют, что мы воры, нас сразу бы повесили...»

И тут паренек вспомнил, как и сам, оказавшись ночью в полуразрушенном сарае, испугался человеческих шагов и предпочел бы в тот момент лучше встретиться с вором, чем с гитлеровцем.

В это время к задержанным подошел толстый пожилой офицер с небольшой книжечкой в руке. Путая русские слова с немецкими, спросил, кто они по национальности.

— Украинцы!— ответил Володя.

— Гут, гут,— довольным тоном произнес толстяк.— Я хочу спросить,

как правильно произносятся славянские слова. Здесь нет людей, которые знают русский язык, а я изучаю его.

Он показывал на разные предметы и спрашивал, как они называются. Володя отвечал.

Потом офицер стал рассказывать о себе. Паренек только и понял, что в мирное время он был школьным учителем. На родине изучал русский язык, но только с помощью учебников, и у него это плохо получалось.

Офицер вытащил пачку сигарет, предложил закурить. Володя отрицательно покачал головой. Заметив, что немец будто бы благосклонен к нему, решил попытать счастья:

— Я и мои друзья два дня ничего не ели. Может быть, у вас найдется что-нибудь поесть.

Минут десять растолковывал это, пока немец наконец понял. Тогда он спрятал словарь в карман, подошел к окну кухни и крикнул так, что повар сразу выбежал на крыльцо.

Офицер бросил Володе: «Сейчас вас накормят» — и ушел. По дороге остановился, оглянулся и крикнул:

— Завтра снова будем учиться!

Когда он исчез из виду, толстый солдат в грязном переднике принес полведра горохового супа. У пленников не было ни ложек, ни какой-либо посуды.

— Было бы что есть, — успокоил Иван.

Ведро освободили быстро. Друзья поблагодарили за обед, конечно, не немца, а Володю. Он ответил, что и до сих пор не может понять, как это произошло. Возможно, подтолкнуло то, что собеседник назвался учителем. Слово «учитель» много значило для бывшего школьника... Учитель! Может, он не такой, как другие немцы...

— А тот жирный пес, что на кухне, законченный негодяй, — сказал Анатолий. — Весь день рубим для него дрова, а не покормил!

— Хорошо, если этот учитель придет и завтра. Тогда, может быть, еще раз пообедаем...

Ну что с этого? Володя ел и все думал о том, как несправедливо обошлась с ним судьба. Да и не только с ним, но и с его друзьями...

Когда солнце село, появился солдат и отвел их на ночлег. По дороге Володя попросил воды, но в ответ солдат только крикнул: «Шнель!»

* * *

Дверь закрылась. Друзья соорудили из разных обломков что-то похожее на кровать. Лежали, а сон не приходил. Почему их больше не допрашивали? И почему, когда допрашивали, говорили об одеялах, а о часах Анатолия никто не спросил? Может быть, какой-нибудь солдат взял их себе и скрыл от начальства?

Очень хотелось пить. Очевидно, повар со злости бросил в ведро много соли. С голоду пленники не заметили, что суп пересолен.

Наконец умолкли. Володя начал дремать, и ему все казалось, что где-то рядом капает вода.

Поднялся, ощупал стены, все уголки, но воды не нашел.

Шла вторая половина ночи, когда вдруг стукнула дверь. Четыре солдата, освещая пленников фонариками, с криком: «Шнель, шнель!» — выгнали их на улицу.

Володя не успел опомниться, как его втокнули в машину. «Неужели везут на расстрел?» — подумал он в ужасе.

Ехали минут сорок. Машина остановилась, и пленников так же мгновенно высадили из нее.

Вокруг было темно, но перестук колес о рельсы, шипенье пара, гудки паровозов подсказывали, что они находятся на железной дороге. Вскоре к пленникам подошли два гитлеровца с собаками и повели их дальше. Машина, разворачиваясь, осветила новых конвоиров — местных жандармов.

Миновали какой-то двор, потом вышли на железнодорожную колею и остановились. Спустя некоторое время из темноты стали выходить люди. Когда они приблизились, товарищи увидели, что это военнопленные. Володю, Ивана и Анатолия пристроили к концу колонны и погнали со всеми.

...На рассвете к станции подали длинный состав, и гитлеровцы стали загонять людей в вагоны. Такой охраны Володя еще не видел. Примерно на расстоянии метра друг от друга стояли жандармы с собаками. Эшелон загружали быстро, подгоняя пленных резиновыми дубинками.

Уже совсем рассвело, когда поезд тронулся. «Прощай, родная земля. Увижу ли я тебя?» — с горечью подумал Володя.

В колонне, до самой посадки, друзья держались буквально за руки. И все же, когда поезд двинулся, оказалось, что Ивана с ними нет. Володя и Анатолий до малейших подробностей помнили, как их загоняли в вагон, но когда потерялся Иван, не заметили. Возле эшелона в результате спешки поднялась такая кутерьма, что неизвестно, как они очутились в вагоне.

В первый день поезд ехал без остановок. У военнопленных имелись бутылки и баклаги с водой, и они поделились с новенькими. Расспрашивали, кто они, откуда, как оказались в плену.

Чем дальше ехали, тем тяжелее делалось на душе у Володи. Боялся, что завезут так далеко, откуда и убежать не сможет.

А потом эшелон останавливался все чаще и подолгу стоял на станциях. Иногда и посреди поля. Тогда охрана открывала двери, пленных выстраивали у вагонов, считали, давали в бумажных ведерках баланду из брюквы.

Только в конце апреля эшелон дополз до Люблина. Тут простояли чуть не целый день, и пленных все время пересчитывали, выгоняя из вагонов.

...День был солнечный, теплый. Удивительным казался окружающий мир. Вокзал в Люблине находится вблизи города, и пленные видели очень красивые и неразрушенные дома. Складывалось впечатление, что здесь или не было войны, или была совсем иная, не похожая на ту, что огнем прошла по советской земле...

Что там, за стенами и проволочным заграждением, отделявшими эшелон от города, Володя не знал. Но апрельское солнце щедро освещало островерхие крыши, слепило, отражаясь в стеклах верхних этажей, и он,

словно в машине времени, возвращался и возвращался в мыслях к мирной жизни, в которой люди свободно ходят по улицам, посещают кино, развлекаются и ничего не боятся... А когда весенний ветер донес далекие звуки музыки, он не то чтобы позавидовал тем, кто в это время был по ту сторону железнодорожной стены, ему просто стало до слез горько, и камень, лежавший на сердце, заметно потяжелел.

В Люблине встретились с Иваном. Точнее, кузнец сам нашел друзей. Была такая бурная встреча, что охранники набросились на них с прикладами. И все же Остапюку удалось залезть к ним в вагон. Теперь друзья снова были вместе.

В Кракове пленников перегнали в другой поезд. Двери вагонов закрутили проволокой. Приближались к границе, въезжали на территорию Германии.

В середине мая эшелон подошел к Нюрнбергу. Вдоль железной дороги все чаще встречались длинные бараки, обнесенные в несколько рядов колючей проволокой. Жутко было смотреть на эти постройки, где страдали люди. Володя стал понимать, что гитлеровцы не только его землю, а всю, где ступала их нога, даже свой дом, превратили в огромную тюрьму.

Когда наконец пленных выгрузили из эшелона, паренек испугался — так много полицейских встречало их. Все в желтых мундирах и в черных галстуках, все с собаками, у каждого на голове металлическая каска. Смотрел и вспоминал, что в школьном учебнике немецкого языка были нарисованы точно такие. Теперь пришлось увидеть настоящих, живых...

Часть пленных немцы оставили в Нюрнберге, а остальных еще с километр гнали пешком на другую станцию, потом заперли в вагонах и повезли дальше.

2

Володю и его друзей привезли в баварский городок Ансбах, на юге Германии, недалеко от Нюрнберга.

Бывшие конюшни, куда загнали пленников, были разделены на стойла, каждое на пару лошадей. Теперь в такие стойла немцы заталкивали по десять — пятнадцать человек.

Неизвестность томила Володю. Что будет с ним завтра, послезавтра, вообще доживет ли он до следующего дня, и какие пытки ждут его... Куда делись люди, которые мучились тут до него, что с ними...

Он, как и его друзья, был обречен жить в неизвестности, которая иссушала мозг, угнетала и убивала душу.

Через три дня Володю и его друзей перевели на окраину городка, где на ровной площади, обнесенной колючей проволокой, стояли низкие длинные деревянные бараки. В углах ограждения торчали наблюдательные вышки с прожекторами, направленными во все стороны, а на каждой вышке — по два часовых с пулеметом. Вплотную к площади подходили крайние дома городка, высокие, многоэтажные — очевидно, военные казармы.

В лагерь немцы натолкали несколько тысяч военнопленных — все советские люди. Новеньких сначала держали прямо под открытым небом.

Каждое утро приходили солдаты и группами угоняли узников на работы. Тут ни у кого не было ни фамилий, ни имен. Людей считали поштучно.

Кормили раз в сутки: пол-литра какой-то баланды. На такую огромную массу людей — одна кухня. Только в сумерках, вернувшись с работы, пленные, постояв в очереди, получали еду.

Это был не лагерь тотального уничтожения людей с душегубками, замаскированными под бани, с печами для сжигания трупов, как Треблинка, Освенцим или Майданек. Это был так называемый трудовой лагерь, где расчетливые немцы старались выжать из дармовых работников все силы. Впрочем, он тоже являлся лагерем уничтожения, потому что долго никто не мог выдержать установленного гитлеровцами режима. Очевидно, это входило в их планы.

Охрана состояла из солдат, раненных на фронте, настоящих зверей, которые отыгрывались сейчас на беззащитных людях. Каждый из них на всю жизнь запомнил город или деревню, где ему всыпали, и горе было пленному, оказавшемуся «земляком» — человеком из той местности. Их забивали до смерти.

Однажды два гитлеровца, разговаривая, остановились недалеко от Володи. Паренек решил, что немцы не заметили его или не обратили внимания. Не все разобрал он из их разговора, но услышал, как один пожаловался, что потерял сон.

— Каждую ночь, — исповедовался немец, — вижу во сне русских солдат, которые стреляют в меня... А тут и днем приходится смотреть на этих проклятых свиней!

Заканчивая фразу, со словами «этих проклятых свиней», он неожиданно повернулся к Володе и изо всей силы ударил его ногой в живот.

Паренек и так едва ходил. Теперь, скорчившись от боли, он извивался на земле. Когда фашист отошел, к Володе подбежал Иван Остапюк, поднял его и на руках отнес в барак.

Немца, который ударил, Володя запомнил так же, как тот запомнил город или деревню на советской земле, где был ранен.

Позже Володя присмотрелся к нему. Это был старший офицер, долговязый, с круглой откормленной рожей и стеклянными глазами. Высокая фуражка с фашистской кокардой подчеркивала его злобный вид. На боку, слева, висел пистолет. На мундире — бронзовый знак за ранения. В правой руке он всегда держал длинную плетку и кожаную перчатку. Левая у него была в перчатке и висела безжизненно. Володя заметил, что с левой руки перчатку он никогда не снимает и ничего в эту руку не берет.

Целый день фашист неторопливо прогуливался по лагерю. Подойдет к какому-нибудь пленному и молча начнет бить его перчаткой по лицу или ударит плетью. Для развлечения...

Прошел месяц с того дня, как Володя вместе со своими друзьями оказался в Ансбахе. Работали в основном в лагере. Носили колючую проволоку, раскручивали ее — расширяли территорию своей тюрьмы. Только иногда их гоняли на станцию.

Изможденные, всегда голодные, они едва таскали ноги. Однажды, в день какого-то фашистского праздника — на улицах городка были вы-

вешены флаги, — в лагерь впервые привезли хлеб. Буханку в пятьсот граммов давали на трех человек. На каждую сотню пленных назначили двух старших, которые должны были делить хлеб.

Люди не могли дождаться, пока хлеб разделят. Образовалась свалка. Охранники вызвали себе подмогу. Многие заключенные в тот день не поднялись с земли. Хлеб, который не успели раздать, немцы забрали назад.

Каждый человек по-своему переносил голод. Были такие, для которых он являлся нестерпимой мукой. От голода они становились сами не свои, падали духом, постепенно теряли и достоинство, и волю, и чувства, кроме одного — желания есть. Эти люди и не выдерживали. А возможно, драку организовали сами охранники с помощью провокаторов.

Так или иначе, но многим хлеба не досталось, в том числе Володе и Анатолию, они только видели хлеб. В руки Ивана попал кусочек, да и тот у него вырвали.

Иван Остапюк мучительно страдал от голода, очень похудел — остались кожа да кости. Друзья добавляли ему немного от своего пайка, но это не спасало. С каждым днем кузнец становился все молчаливее, выражение лица его стало странным, взгляд каким-то отсутствующим. Он уже не верил в спасение, о котором говорил Анатолий.

Однажды вечером группу пленных, среди них и Володю, погнали на станцию: надо было спешно разгрузить вагоны. Уже стемнело, когда пленные добрались до места работы. В вагонах находилась морковь, частью подгнившая. Невольники работали до полуночи. Володя наелся, набрал морковь за пазуху и в карманы для своих друзей, которые в этот раз не были на станции. Но у входа в лагерь его обыскали, все отобрали и отдубасили дубинками. Избили так, что, отойдя шагов десять от ворот, паренек упал. Пленные подняли его и отнесли в барак.

Володя не так мучился от боли, как переживал из-за того, что ничего не принес Анатолию и Ивану, о которых думал всю дорогу.

* * *

В июле друзей постигло большое горе.

Однажды вечером, как обычно, они получали свою порцию баланды. Иван стоял на несколько человек впереди Володи. Взяв суп, выпил его одним духом за кучей бревен и снова встал в очередь возле друга.

Фашист, который ходил с плетью и кожаной перчаткой, заметил, что Иван пристроился к очереди второй раз. Видимо, следил за ним, потому что часто бил Остапюка без всякой причины, выкрикивая: «Ты большой, тебе много надо еды, нам не выгодны такие работники!»

Увидев Ивана снова в очереди, фашист начал потихоньку к нему подкрадываться. Потом, подскочив к кузнецу, заорал во весь голос, требуя от Ивана показать ему посуду. На дне коробки еще были следы жидкости...

Гитлеровец остервенело начал бить Остапюка перчаткой по лицу, потом ударил плетью Володю, наказывая за то, что тот пустил его впереди себя.

Иван стоял молча, закрыв лицо руками. Тогда немец ударил его кулаком под ложечку. Иван застонал и скорчился.

Пленные сломали очередь и со сжатыми кулаками подступили к офицеру. Немец что-то кричал, брызжа слюной, потом вытащил свисток и засвистел. Дальше все произошло в течение нескольких секунд.

Разогнувшись, Иван ударил фашиста с отчаянной силой. Видно, всю энергию, которая в нем еще оставалась, он вложил в этот удар. Немец перелетел через бревна и упал как сноп.

Подбежали солдаты, подняли его — все лицо у него было залито кровью. Шестеро немцев связали Ивану руки, молотя прикладами. Потом его куда-то потащили. Офицер, которого повели под руки солдаты, что-то крикнул раздатчику супа. Конечно, супа больше никому не дали, всех загнали в бараки.

С тех пор Ивана не видели. Вскоре немцы объявили, что его расстреляли...

А гитлеровский офицер превратился в настоящего зверя. Особенно он стал следить за Володей, хорошо запомнив его.

* * *

Был август сорок второго года.

За время своих блужданий и плена Володя очень изменился. Тяжелые переживания, особенно трагическая судьба Ивана, наложили на него свой отпечаток, он повзрослел, стал собраннее, смелее и тверже. Нечеловеческие мытарства резко оборвали его детство, лишили юности, в пятнадцать лет сделали зрелым человеком. Теперь вряд ли он испугался бы волков, как когда-то в лесу под Здолбуновом.

Но на вид оставался все таким же: щупленьким, истощенным парнишкой — кожа да кости. Пленные сочувствовали ему и уважали, потому что наравне со всеми Володя безропотно переносил лишения, выпадавшие на их долю.

В конце лагеря, возле уборной, рос терн. И Володя решил прорыть там лазейку. По вечерам, спрятавшись в кустах, он делал под ограждением подкоп. Анатолий в это время издали следил за двором. Несмотря на твердую, каменистую почву, Володя за три дня вырыл лаз, через который мог пролезть за ограду.

В Володином бараке находилось около двухсот пленных, и каждый помогал подготовить паренька, чтобы он имел возможность ночью пробраться в город.

Но сколько было споров: идти или не идти! Как волновались все, ожидая его возвращения!

Попытка оказалась удачной, и Володе несколько раз удалось побывать в городе. Вскоре он изучил расположение ансбахских улиц, знал, где стоят мусорные ящики, и всегда что-нибудь приносил с собой в лагерь. Особенно нетерпеливо ждали его курящие — он снабжал их окурками.

Ансбах поразил парня чистотой и аккуратностью. Этот небольшой баварский городок утопал в зелени садов. Островерхие крыши домов были покрыты фигурной цветной черепицей, которая днем под лучами

солнца переливалась всеми цветами радуги и живописно отсвечивала. Ночью город купался в лунном сиянии и казался таинственно-сказочным.

На окраине его возвышался памятник немецким солдатам, погибшим во время первой мировой войны. Высокий, плоский, похожий на спичечный коробок, он был увенчан огромным черным орлом, хищно распростершим крылья...

Побывал Володя и возле железнодорожных станций — пассажирской и товарной. Удивился, что пассажирский вокзал огорожен высокой металлической сеткой. Потом понял — без билета выйти на перрон невозможно, ибо сетками ограждено также и железнодорожное полотно, — вход в здание станции и выход из него открывались только к поездам.

Неподалеку от станции увидел кладбище. Возле него кёрка, такая же, как в центре города, с высоким шпилем. Часы на башне разными по тону мелодичными звуками регулярно отбивали время.

Кладбище тоже было в немецком духе: детей хоронили отдельно, самоубийц — тоже, и памятники или кресты им не ставили, а клали на могилу.

Но рядом с аккуратными домами Володя видел неприглядные бараки, огороженные колючей проволокой, где погибали его соотечественники; по этим чистым улицам гоняли на каторжные работы худых, изможденных людей.

Любуясь этим красивым, тихим городком, Володя думал о разрушенных, почерневших советских городах, сожженных селах. Это его мучило, в нем закипала злость, хотелось, чтобы в небе вдруг появились краснозвездные самолеты и начали бы бомбить этот уютный немецкий городок, рушить его дома, чтобы и на эту оскорбительную своей несправедливостью красоту посыпались бомбы. Он показал бы пилотам самые красивые дома, куда следует бросить самые большие бомбы, чтобы и немцы почувствовали то, что переживают советские люди. Своими горькими мечтами, родившимися в еще детской, но уже огрубевшей, потрясенной, израненной душе, Володя делился с Анатолием, который успокаивал его и уверял, что время расплаты обязательно придет.

* * *

Однажды днем Володя пробрался на колбасную фабрику, которая находилась на противоположном конце городка, познакомился с работавшими там русскими людьми — невольниками и даже принес в лагерь большой круг колбасы.

Фабрика охранялась солдатами, но все же Володя проскользнул на ее двор. Притаившись под забором, он увидел, как колбасник-немец, оглядываясь, побежал по двору. Потом вытащил что-то из-за пазухи и спрятал под большим баком. Когда немец ушел, Володя тотчас бросился туда и взял сверток с колбасой...

Володя и дальше продолжал бы свои походы, но как-то раз, возвращаясь в лагерь, услышал, как недалеко от лазейки взад и вперед ходит часовая. Подождав, пока солдат отойдет подальше, он полез под ограду. Дыру с обеих сторон закрывали кусты терна. Но едва Володя ступил

на территорию лагеря, как снова услышал тяжелые шаги. Кто идет, разглядеть не мог. Стемнело, а прожектора на вышках немцы не включали, соблюдая светомаскировку.

Володя притаился за кустом, но солдат шел прямо на него! Паренек лишь услышал ругательства: «Сакраменто!» Потом гитлеровец выкрикнул: «Гунд! Собака!» — и стал бить его прикладом по спине, голове...

Сначала Володя чувствовал острую боль, потом она будто бы расплылась по всему телу, исчезла, а вместе с нею исчез и солдат, и кусты, и весь окружающий мир...

* * *

Шесть дней пролежал Володя на спине, не мог повернуться. Все тело сплошь было покрыто черными пятнами. Пленные сразу сообразили, что это кто-то из Володиного барака донес на него. В один голос заявили: во что бы то ни стало найдут предателя и устроят ему самосуд. Нигде, мол, не спрячется.

Анатолий ни днем ни ночью не отходил от своего юного друга. Когда старшего лейтенанта гнали на работу, сиделкой оставался кто-нибудь из узников. Среди пленных отыскался врач, он помогал больному чем мог, но всегда прописывал одно и то же лекарство, которое называлось «вода» — ничего другого у него не было.

Молодой организм все-таки выдержал, и Володя начал поправляться. Анатолий рассказал, что предателем оказался Костя, который спал на соседних нарах, но выяснить отношения с ним не успели, потому что повар-немец Ганс Трешер в тот же день взял этого негодяя к себе домой. Так и не удалось поговорить с предателем по душам.

Друзьям было тяжело вспоминать Ивана Остапюка. Не проходило дня, чтобы не думали о нем — не верилось, что его уже нет в живых, казалось, что он вот-вот появится.

Однажды перед вечером, дней через десять после сообщения о расстреле Остапюка, в барак зашел «убийца Ивана» — так начали называть пленные ненавистного фашиста. Подошел к Володе, забавляясь толстой плетью.

Володя, беспомощно лежавший на нарах, со страхом смотрел в стеклянные, словно мертвые, глаза, впившиеся в него из-под высокой черной фуражки.

Всякие глаза видел Володя за свою короткую жизнь! И добрые, и злые, и ласковые, и грозные, и хитрые, и коварные. Но таких пустых, бездумных не встречал ни у кого...

Гитлеровец долго смотрел на паренька, потом погрозил ему плетью и сказал, что в следующий раз с ним будет покончено, и жестом показал на шею.

Когда явился офицер, все, кто был в бараке, замерли и напряженно поглядывали на этого палача, думая, что он идет бить парня. Но на этот раз все отделались легким испугом...

Спустя некоторое время Володя начал выходить из барака. В голове еще шумело, все кружилось перед глазами, но он уже мог кое-как стоять на ногах и выдерживать изнурительные проверки...

Постепенно Володя поправлялся. Иногда посматривал на кусты, где была когда-то лазейка, хотя друзья запретили даже думать о ней.

Однажды, во второй половине дня, выбрав удобный момент, когда вблизи не было солдат, он прокрался к проволочному ограждению. По ту сторону, на дорожке, лежал большой окурок сигары.

Володя взял палку и попытался достать его, но ничего не получалось, палка была короткой. Неподалеку от ограждения в это время проходил мальчишка лет семи.

Поманив его пальцем и показав на сигару, Володя тихо попросил, чтобы тот подал ее.

Мальчишка ответил, что так делать нехорошо, повернулся и ушел.

Володе стало обидно до слез. Он снова почувствовал себя ребенком: взрослые немцы схватили его, увезли в неволю, терзают голодом и непосильной работой, издеваются как хотят, и этот малец тоже унижает и отчитывает, как взрослый. Не выдержал и бросил вслед: «Фашисты чертов!»

Прошло с полчаса. Собравшись уходить, пока не появились солдаты, Володя снова увидел того же маленького немца. Теперь мальчуган бежал прямо к заграждению. Он приблизился к пленнику и протянул через проволоку пачечку сигарет и три кусочка сахара. К сердцу Володи подкатила теплая волна: «Ах ты малец! — пробормотал. — Да ты же славный».

Поблагодарив и спрятав подарок, Володя быстро проскользнул в барак. Его чуть ли не качали на руках. Сигареты тут же поделили: каждому курящему одна затяжка. Сахар оставили Володе.

Когда начали курить, только тогда лишь спохватились: где он добыл сигареты! — значит, снова раскопал ход и среди бела дня лазил в город! Начали ругать — мол, так можно и головы лишиться.

Прошло еще несколько дней, и снова на том же самом месте Володя увидел малыша. Когда подполз к ограде, немчик сказал: «Здравствуйте!» — и протянул ему сахар. Он был влажный, — наверное, мальчишка долго ждал Володю — и ладонь его вспотела. Прощаясь, мальчик обещал прийти и завтра.

На следующий день Володю вместе со всеми погнали на станцию выгружать из вагонов угольный брикет. Вечером он высматривал мальчика, но не дождался. То ли не появлялся вовсе, то ли приходил раньше. Так и вернулся в барак с пустыми руками. Анатолий сердился на Володю и сказал ему, что когда тот пробирался к ограждению, за ним следил «убийца Ивана». «Худо было бы тебе, если бы гитлеровца в это время не позвали на проходную...»

* * *

Через несколько дней Володя снова проскользнул к ограде. Решил подойти к «своему» месту в то время, когда обычно приходил малыш... Немчика там не было.

Пришлось отказаться от этих «походов», тем более что однорукий палач стал бдительно следить за ним.

Но однажды Анатолий позвал Володю и сказал, что возле входа в лагерь слоняется какой-то малыш. Володя пробрался к воротам и, не увидев там мальчика, решил направиться к прежнему месту встречи. Сначала пошел к баракам, быстро обогнул их и шмыгнул к кустам.

За проволочной оградой стоял знакомый мальчик с какой-то женщиной — невысокого роста, лет тридцати, смуглой и довольно красивой. Густые черные волосы собраны в пучок на затылке и заколоты белой шпилькой, похожей на гребешок. На ногах — лаковые туфли на тонкой деревянной подошве.

Как только Володя появился у ограждения, малыш потащил ее за руку.

Женщина подошла ближе и заговорила:

— Здравствуйте. Меня зовут фрау Рита, это мой сын Вилли. Он рассказал мне о вас. Я давно гуляю тут с ним, — продолжала женщина, — даже посылала его пройтись вокруг ограждения, чтобы он поискал вас.

Именно там, возле ворот, Анатолий и заметил малыша.

Володя в школе изучал немецкий язык, который давался ему легко. Здесь, в лагере, паренек часто слышал немецкую речь и почти все понимал. Но женщина говорила с ним на каком-то диалекте, и он с трудом догадывался, о чем идет речь.

Она спросила:

— Как тебя зовут?

— Владимир.

Женщина несколько раз пыталась произнести это имя — у нее ничего не получалось.

— Это тебе, — протянула она сверток. Потом добавила: — Уходи, здесь нельзя долго задерживаться.

Володя поблагодарил и отошел.

Мать и сын стояли и через проволочное ограждение смотрели ему вслед. Когда Володя оглянулся, женщина рукой поманила его.

Рискуя, он вернулся назад.

— Ах, я совсем забыла, приходи на это место в воскресенье вечером.

Развернув в бараке сверток, Володя увидел буханку хлеба, разрезанную пополам, кружочки колбасы, положенные в середину, пять кусочков сахара и пачку сигарет.

...До воскресенья оставалось три дня. Володя не спал по ночам — все думал об этом дне.

Встреча с фрау Ритой перевернула его душу. Измученный и озлобленный, он начинал убеждать себя, что не все немцы одинаковые, что среди них есть и хорошие люди. Это не укладывалось в голове после того, что испытал на себе... Фрау Рита со своим малышом казалась Володе настоящей, неправдоподобной, выдуманной, и ему хотелось еще раз увидеть ее. Даже не ради хлеба, а чтобы убедиться, что эта немка не привидение и не приснилась во сне.

Как никогда долго тянулось время.

Наконец пришло долгожданное воскресенье. С утра до ночи, прячась за баракom, Володя не сводил глаз с проволочной ограды. Но зря! Женщина не пришла.

Что же могло случиться? Ведь сказала, что придет! Могла, наконец, прислать Вилли и передать, что сегодня ее не будет.

Советовался с Анатолием, но и товарищ не мог это объяснить. Коварная неизвестность снова мучила Володю...

Прошла еще одна неделя. Трудно передать, какой тяжелой была она для Володи. Как снова заковывалось в броню ненависти оскорбленное сердце юноши, на мгновение оттаявшее от человеческой доброты...

Все эти дни пленные работали на станции. Володя и там отличился. Солдат, охранявший невольников, сказал, что за такую работу, как Володина, есть не дают и он не получит супа. Но Володю это не больно огорчило.

В субботу, перед вечером, в барак неожиданно зашел громила охранник, который поймал Володю возле лазейки и сильно избил. Сейчас охранник искал кого-то, выкрикивая: «Клейн, клейн»... И Володя, находившийся в это время в противоположном конце барака, понял, что тот разыскивает его.

Пленные позвали Володю. С опаской он приблизился к гитлеровцу, лихорадочно стараясь вспомнить, в чем еще проштрафился.

Охранник поманил его рукой и повел во двор.

Анатолия в это время не было в бараке. Узники молча проводили паренька встревоженными взглядами.

Немец погнал его к уборной. Из двери барака за ними наблюдали пленные, стараясь хоть издали увидеть, куда ведут их юного товарища.

Солдат остановился, погрозил им огромным кулаком и крикнул:

— Сейчас же закройте дверь!

Люди скрылись в бараке.

Володе стало не по себе. «И надо же такому случиться, когда Анатолия нет поблизости».

Солдат привел паренька к лазейке, приказал освободить ее от камней, которыми она была завалена.

Володя не сразу понял его.

— Сакраменто! — со злостью прошипел немец и, опустившись на колени, показал, что надо вытащить камни, потом поднялся и отошел в сторону.

Растерянный, терзаемый противоречивыми чувствами, Володя освобождал лазейку.

Неужели не закончились его пытки?!

Неужели снова повторится острая боль в груди, в голове, во всем теле — и черный мрак беспомощности...

А может, немцы ищут повод, чтобы убить его?!

Володя боязливо съежился и оглянулся. Гитлеровец следил за ним, заложив руки за спину. На дворе понемногу темнело.

Но зачем им искать повод — они и так могут убить кого угодно...

Вытаскивая последний камень, Володя почувствовал, что с противоположной стороны кто-то подходит к ограде. Он поднялся и, посмотрев

через проволоку, замер от удивления. Не знал, что сказать, что подумать!

— Добрый вечер! — произнесла мать Вилли. И протянула ему большой пакет. — Снимай свою одежду и надень это.

Володя смутился. Как же снимать при ней, ведь на нем только одни штаны, больше ничего, как же при женщине сбросить их?

Фрау Рита, наверно, поняла его смущение и, отвернувшись, сказала: — Я пришла к тебе не на свидание. Быстрее!

Володя вмиг переоделся, — рубашка, штаны, башмаки! — правда, немного большие, ничего — пиджак...

Солдат стоял в стороне и наблюдал за ним. Когда Володя оделся, подошел ближе, указал на лазейку под проволокой и сказал:

— Вон отсюда!!!

Оказавшись за проволочной оградой и отойдя немного, Володя оглянулся. Немец закладывал камнями дыру. Фрау Рита взяла парня под руку, и они пошли в город.

Шли молча. Володя никак не мог прийти в себя: что все это значит?

При встрече с солдатами чувствовал, как Рита сжимает его руку выше локтя. Будто он собирается убежать, а она его придерживает.

Володя еще раз оглянулся, лагерь остался позади в непроглядной тьме...

* * *

Они прошли через весь город. На улицах не горели фонари, окна в домах были завешены черной тканью так, чтобы наружу не пробивался ни один лучик. Но и в темноте Володя узнавал улицы, площади, ибо, разыскивая по ночам мусорные ящики, облазил все вокруг.

Миновали площадь Альтенгоф и зашагали по узкой улице.

За все время пути фрау Рита впервые заговорила: «Вот наш дом» — и, отпустив Володину руку, позвонила.

Вошли в темный коридор, повернули в дверь направо и очутились в большой светлой комнате.

Володя спросил:

— Здесь живет и маленький Вилли?

— Да, — ответила фрау Рита, — у него еще есть сестрички, но они в своей комнате, уже поздно.

Потом мать Вилли повела юношу в ванную комнату, дала войлочные тапочки, белье, мыло, полотенце, велела хорошо помыться.

Через некоторое время женщина крикнула, чтобы он шел в ту комнату, куда они заходили вдвоем. Но Володя заблудился и не знал, как попасть в нее. Пришлось ждать хозяйку в коридоре.

— Почему ты не идешь? — спросила она, выглянув из-за двери.

— Я не мог найти эту комнату.

Фрау рассмеялась.

Ужинали вдвоем. На столе красовалась полная тарелка жаренной на сале картошки, нарезанной длинными дольками, и дымился высокий кофейник.

В комнате, при свете, женщина выглядела еще красивее, чем тогда, когда он впервые увидел ее возле лагерной ограды. И показать ей сейчас, какой он голодный и несчастный, Володя почему-то стеснялся. Фрау заметила его смущение и, не спрашивая, все время подкладывала в тарелку картошку и доливала в чашку кофе.

Одновременно засыпала его вопросами: «Откуда ты? Кто твои родители? Большое ли у них хозяйство? Сколько земли, коров, батраков?»

Володя кратко объяснил, что у него на Родине все иначе, чем в Германии: жил он в городе, учился в школе. Правда, не все он мог втолковать немке, потому что они не очень хорошо понимали друг друга.

Потом фрау Рита сказала:

— Побудешь у нас несколько дней. Возможно, тебя снова придется вернуть в лагерь. Но если все будет спокойно, тебя отвезут в село Каульсдорф. Там живет мой отец Карл Оршман. Поработаешь у него, тебе там будет неплохо. В прошлую войну отец был в плену и много доброго рассказывал о своей жизни в России. Хорошо помнит гостеприимство ваших людей. Долгое время он состоял в одной партии... — почти шепотом промолвила она, — впрочем, тебе это не следует знать... Когда отец гостил у нас в Ансбахе, я рассказала, что Вилли познакомился с пленным мальчиком. Вот отец и захотел забрать тебя к себе. Это удалось сделать за деньги, на которые очень жаден тот высокий солдат. Его знает моя соседка Лина. Она все и устроила. Через пару дней Лина придет посмотреть на тебя.

В тот вечер они долго разговаривали, не замечая разницу в годах и в положении. Время от времени фрау Рита умолкала и спрашивала Володю, все ли он понимает. Если паренек не все понимал, снова и снова повторяла, помогая жестами.

— Муж мой родился в этом городе, дом принадлежит ему, — рассказывала женщина. — До войны их семья держала магазин одежды. Теперь торговать нечем, магазин закрыли. Закрыли еще и потому, что мужа забрали в Нюрнберг на работу, на военный завод, а я сама не могу торговать.

Володя перебил ее:

— Как понимать: забрали на работу?

— У нас такой порядок: где люди нужны, туда их и посылают, не спрашивая, хотят они или нет. Муж приезжает домой только на выходные дни, вот и сегодня ночью приедет, а завтра вечером должен вернуться в Нюрнберг... Ну хорошо, пора спать, уже около часа ночи...

Фрау Рита повела Володю на второй этаж, открыла небольшую комнату.

— Вот тут ты будешь спать. Спокойной ночи.

В комнатке было одно окошко, стены наклонные — настоящий чердак. Посредине стояла застеленная деревянная кровать: простыня, одеяло, подушки — все клетчатое, темного цвета. Возле кровати — небольшой столик, два деревянных стула с резными спинками, наверное сделанные очень давно...

Проснулся Володя поздно. Открыл глаза и не сразу понял, где он. Невероятная перемена в его жизни казалась сказочной. Чуть приподнялся на локтях, огляделся. Еще не осознал, как все это случилось: под головой — подушка, лежит на простыне, под одеялом... Тихо...

Где-то далеко-далеко остался барак, грязные нары, солдаты, «убийца Ивана»... От одной только мысли, что его могут снова отвести туда, стало страшно.

В сомнениях и тревоге он оделся и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, Володя встретил фрау Риту, которая улыбнулась ему: — Доброе утро. Как спалось?

Ответил, что спал как король.

— Заметно, — согласилась она. — У тебя и настроение, и вид совсем другой. А мы еще не завтракали, ждали тебя.

Он зашел с хозяйкой в ту самую комнату, где вчера ужинал. В ней сидело много детей. Маленький Вилли сразу подбежал к нему и взял за руку.

Мать знакомила:

— Это — Софи, это — Ахнес, это — Марие-Бриките, ну а Вилли ты знаешь. — Потом добавила: — Софи — тринадцать лет, Ахнес скоро будет девять, Марие-Бриките — четыре.

Так, чтобы дети не слышали, тихонько сказала:

— Муж у меня строгий, но ты не бойся, не обращай внимания. Мы с отцом делаем все, что нам надо. Муж хотя и ворчит часто, но в мои дела не вмешивается.

Володя сел к столу. Начали садиться и дети. Маленькая Марие-Бриките хотела залезть ему на колени. Он испытывал странное чувство. Не столько из-за необычной обстановки в немецкой семье: убранство комнат, мебель, одежда, — как из-за непонятного для него поведения этих людей. Казалось, что попал в одну из старых сказок братьев Гримм, перелетел на ковре-самолете в те далекие времена, когда люди не делились на арийцев и неарийцев, а только на хороших и плохих, добрых и злых, и добрые были такими сильными, что всегда побеждали.

Минутами едва не срывался с губ вопрос к фрау Рите: действительно ли они — немцы или совсем другие люди, случайно попавшие в Германию?..

Мрачная неизвестность сейчас отступила, открывая дорогу надежде на лучшее будущее.

Но вот распахнулась дверь, и над его неожиданно расцветшей надеждой снова нависла туча. В комнату вошел очень высокий мужчина лет пятидесяти. Переступив порог, протянул вперед руку и громко произнес:

— Хайль Гитлер!

Володя так растерялся, что машинально кивнул.

Фрау Рита налила всем кофе, каждому отрезала по кусочку белого хлеба, остальное отнесла на кухню.

За столом паренек хорошо рассмотрел хозяина дома. Он был такой

высокий, что жена едва доставала ему до плеча. «Вот так пара!» — удивленно подумал Володя. Голова у мужа лысая, лицо старое, в морщинах, под носом двумя кустиками торчат небольшие усики. На нем добротный коричневый костюм, черные туфли. К пиджаку прикреплен фашистский значок. Выражение лица злое, недовольное.

Завтракал он молча. Только спросил детей, как они проводят летние каникулы, готовятся ли к занятиям в школе. Поев, он так же молча поднялся и ушел в свою комнату. На Володю даже не взглянул, будто его и не было в комнате.

Фрау Рита сказала Володе, чтобы он во двор не выходил, а на улицу тем более.

Дети повели Володю в свою комнату, показывали ему книги, цветные карандаши, рисунки. Когда-то, дома, и он любил рисовать, даже посещал кружок при Доме пионеров, мечтал стать художником. И вот после долгого перерыва снова взял в руки карандаш.

Руки отвыкли! И не только руки... Теперь уже не наслаждался, не развлекал себя игрой света и красок — все ушло в безвозвратное прошлое, все было растоптано. Рисовал с равнодушием взрослого, много пережившего человека, который забавляет детей. Нарисовал им дом, кур, уток.

Дети с шумом побежали показать рисунок матери. Потом Володя услышал, как Вилли спрашивал в коридоре:

— Папа, к тебе можно?

Отец сам зашел, остановился на пороге детской комнаты и уставился на Володю. Медленно подошел к нему, взял его руку, поглядел на кровавые мозоли и, ничего не сказав, вернулся в свою комнату.

Вскоре пришла фрау Рита, удивленно рассматривала рисунки Володи. Сказала, что у нее был брат, который любил рисовать детям. Он погиб во Франции.

— А что говорил муж?

Володя пожал плечами:

— Ничего...

Она повторила:

— Не бойся его... — И с улыбкой добавила: — Когда мой муж встречается с отцом, они подолгу спорят о политике и всегда расходятся как враги, даже не попрощавшись...

* * *

Через день заглянула Лина, которая выполняла поручение отца фрау Риты — Карла Оршмана: худенькая девушка лет семнадцати. Увидев Володю, она смутилась, но подошла к нему.

— Меня зовут Лина.

Володя назвал себя. Лина промолчала с таким видом, словно она не поняла, что он сказал.

Дети ни на минуту не отходили от Володи, висли на нем — казалось, что он тут давно живет. Фрау Рита покрикивала на них, запрещала надоедать, но они все время просили: рисуй да рисуй.

Володе в этой семье было и хорошо и одновременно как-то неловко: ведь люди получали нормированные продукты по карточкам. От этой нормы теперь приходилось отрывать что-то и для него. Он часто спрашивал: когда наконец поедут в село? Спросил об этом и Лину. Девушка ответила, что в Каульдсдорф они поедут, наверное, в пятницу.

Пока фрау Рита готовила обед на кухне, Лина рассказывала о Карле Оршмане:

— Почти все жители нашей улицы знают его и часто навещают, особенно во время жатвы помогают старику. А он продает им продукты, иногда и без денег дает... А это у нас запрещено, — объясняла девушка. — Потому что хозяева обязаны излишки сдавать государству. А Карл Оршман отдает их людям, чаще всего тем, у кого есть дети. Жена его постоянно болеет, старику приходится очень много работать. Теперь у него будет хороший работник, — довольно улыбнулась Лина, и Володя почему-то почувствовал себя так, будто окунулся в холодную воду. «Работник! Значит, нужен только как работник!!!»

Но тут же отбросил свои подозрения. Ведь фрау Рита и ее отец очень рисковали, спасая его из лагеря. А работника могли получить и другим путем. Он знал, что в Ансбахе есть еще один лагерь, куда привозят с востока юношей и девушек и отдают за деньги бауэрам.

А тем временем дети еще больше привязались к Володе, ходили за ним следом. Софи учила его немецкому языку. Показывала разные предметы и заставляла по несколько раз повторять их названия. Младшие, как и прежде, просили рисовать все, что попадалось им на глаза.

Так прошли эти удивительные для Володи дни в немецкой семье. Накануне отъезда фрау Рита сказала:

— Когда кончится война и ты вернешься домой, чтобы непременно написал нам письмо.

Володя с благодарностью посмотрел на нее и кивнул. Нет, она все же добрая женщина! Она, конечно, не могла так, как его друг Анатолий, верить в победу советских людей над фашистской Германией и, очевидно, не желала этого. Но верила, что, когда кончится война, он возвратится домой.

В четверг вечером пришла Лина.

— Я была, — сказала она, — у деда Карла и предупредила, что в пятницу приедем. Я поеду на своей веломашине, а тебе даст велосипед фрау Рита. До Каульдсдорфа около сорока километров.

Девушка долго объясняла, как вести себя в дороге: поменьше рассматривать встречных, особенно полицейских, ехать быстро и при посторонних делать вид, что увлечен разговором.

Вечером все было приготовлено. В вещевой мешок положили четыре бутылки пива, бутерброды, рабочую одежду Лины. Фрау Рита дала Володе добротные брюки, верхнюю и нижнюю рубашки, туфли...

* * *

В пятницу Лина пришла очень рано. Уже все было готово к отъезду, и они сели завтракать.

— Как только выйдем на улицу, — сказала девушка, — тотчас садись на

велосипед и быстро уезжай подальше от дома. Я буду ехать впереди, ты — за мной.

Поблагодарив фрау Риту, Володя вышел на улицу. Две веломашинны стояли возле двери. Паренек и девушка сели и поехали. Но все равно, пока не миновали ближайших домов, видели, что из многих окон за ними следят.

Володя не интересовался, как потом его представит соседям фрау Рита: родственником или знакомым, — ему все равно, да и обсуждать это не было времени. Лина быстро вырвалась вперед.

У Володи был тоже женский велосипед, ехать на нем парню было не очень удобно: руль находился близко от седла, и он боялся, что наедет на кого-нибудь. Время от времени Лина поджидала его и подгоняла: «Шнель! Шнель!»

Вскоре выехали за город и помчались по лесу. Хорошая дорога, нежаркая погода делали их путешествие приятным. Часто встречались люди, которые знали Лину, здоровались с ней, посматривали на ее спутника.

Ехали молча. Проезжали чудесные, ухоженные как парки участки леса. На перекрестках стояли часовни — небольшие кирпичные будки, закрытые с трех сторон, с крестом-распятием внутри. Возле них всегда текла прохладная вода.

Лина останавливалась возле каждой часовенки, крестилась, отдыхала. Володя смотрел на нее с жалостью и чувством некоторого превосходства.

Дальше дорога делала много поворотов и круто спускалась, затем так же круто поднималась и выходила из леса в поле. Около пяти километров пришлось идти пешком.

По полю ехать было трудно. Донимала жара, ветер, пыль. Даже на небольших подъемах приходилось слезать с велосипеда.

Догнав девушку, Володя спросил:

— Почему ты и фрау Рита взяли меня из лагеря?

Лина помолчала — видимо, не нашлась сразу что ответить. Потом сказала:

— У нас, как, наверное, и у вас, есть люди плохие и хорошие. Семья Оршманов относится к хорошим. Правда, муж фрау Риты — герр Сантерс — очень плохой, но он вынужден слушаться жену.

— Почему вынужден?

Девушка улыбнулась в ответ.

— Подробности я не знаю. Как считают у нас дома, фрау Сантерс красива, а он... — И Лина рассмеялась так громко, что немец, ехавший навстречу, обратил на нее внимание.

— Отец фрау Риты, Карл Оршман, был на подозрении у властей. Вернувшись из России, ругал прошлую войну, богачей, которые затеяли ее. Теперь он очень постарел, и на него не обращают внимания, да и сам он, видимо, забыл о прошлом, но прежде... А герр Сантерс — член нацистской партии и мог, благодаря своему влиянию, избавить семью Оршманов от больших неприятностей. Очевидно, из этих соображений дед Карл и отдал свою дочь в такую семью, как Сантерсы.

Когда маленький Вилли рассказал матери, что незнакомый паренек, находившийся за колючей проволокой, просил подать окурок, мать дала ему сигареты, сахар и послала к ограде лагеря.

Узнав об этом, герр Сантерс очень ругался: «Их надо уничтожать, а не помогать им! Они убивают солдат фюрера, которые и в жару, и в холод, и в дождь воюют за наше с тобой лучшее будущее!!!»

Он кричал, но фрау Сантерс не очень-то слушала его, ибо знала, что муж будет долго долбить одно и то же. Она решила послать меня в Каульдсдорф к отцу, который, недолго думая, сказал, чтобы тебя привезли к нему. Вот мы и едем...

Володя внимательно слушал Лину, стараясь все уяснить себе, однако многих ее слов не понял, и вообще эта история показалась ему очень странной — он по-прежнему подозревал, что у этих, не похожих на других, немцев есть какая-то скрытая цель в отношении его. О, он хорошо знал, какой предательской может быть судьба и какие неожиданности вдруг открываются, когда поднимается тяжелая, до поры непроглядная завеса неизвестности!

Солнце клонилось к западу. Володя почувствовал, что устал.

Но вот Лина улыбнулась и сказала:

— На этом закончим наши беседы, потому что подъезжаем к деревне, там внизу Каульдсдорф. — И она быстро помчалась вперед.

4

Проехав вдоль почти всю деревню, они остановились возле невысокого зеленого забора. Столбики каменные, четырехугольные, соединенные деревянными досками.

Володя заглянул во двор. Там буквой «Г» стояли два больших строения. В одном из них жили люди и был хлев для коров и лошадей. В другом — хранили разный сельскохозяйственный инвентарь, сено. Сено, зерно, солома лежали и на чёрдаке.

Слева, в углу двора, — огород, где росли огурцы, помидоры, широколистный табак. Почти у самого крыльца высилась старая ветвистая груша.

Гости увидели хозяина. Он нес в большой корзине сечку для скота. Открыв калитку, Лина крикнула:

— Добрый вечер, дедушка!

Старик поставил на землю корзину и, улыбнувшись, направился к ним.

— Добрый вечер, — первым сказал он, протягивая руку Владимиру. — Меня зовут Карл Оршман. А тебя?

— Владимир. Добрый вечер!

Старик повторил его имя, потом поморщил лоб.

— Я был в России, — медленно произнес он. — И кажется, слышал это имя... Но сколько лет прошло! — задумчиво почесал он припорошенную сечкой голову.

Володя не сводил глаз со старика. Карл Оршман был приземист, сед, красноватые пятна покрывали его полные щеки, отчего он походил

на румяного ребенка. Но особенно бросались в глаза хотя и небольшие, но пышные усы, подкрученные вниз. Старик стоял без шапки, в коричневых брюках из грубого, похожего на бархат, материала, в синей в белую полоску сорочке, в синем переднике и в сандалиях, надетых на шерстяные, домашней вязки носки, — и улыбался.

Весь облик старика говорил о его доброте и покладистости. Володе приятно было глядеть на него, а когда вспомнил, какую заботу проявил о нем этот чужой человек, почувствовал, как сердце наполняется теплом.

В это время как раз кормили скот и в соседних усадьбах. Каждый — в своем хозяйстве, возле своего дома. Но теперь все бросили работу и поглядывали на гостей Оршмана. Володя вспомнил, как перед войной он гостил в селе и на него с таким же любопытством из всех дверей и из-за плетней смотрели крестьяне.

Чем-то уютным, близким повеяло на него от этой мирной обстановки.

Потом старик повел их в дом. Лине все здесь было хорошо знакомо. Она взяла передник и, ничего не сказав Володе, вышла вслед за стариком.

А Володя не знал, идти за ними или нет. Сел на скамью возле окна и стал рассматривать комнату. В углу — стол с двумя скамьями, в другом — комод. В третьем углу, отгороженном ширмой, стояла кровать. Вблизи ширмы — большая печь, обложенная узорчатым кафелем...

Вбежала Лина:

— Хочешь посмотреть, где будешь работать? Пойдем.

В хлеву стояли десять коров, две лошади. Старик убирал навоз, бросал его на тачку. Лина с ведром пошла доить коров. Оршман спросил:

— У тебя дома есть коровы? Много?

Володя не знал, что сказать, и, немного помявшись, невнятно ответил:

— А как же!..

Справившись с делами, все вернулись в комнату. Лина положила на стол четыре квадратные дубовые дощечки, ножи и вилки. На каждую дощечку отрезала по тоненькому кусочку сала и поставила рядом по бутылке пива.

Когда уселись за стол, в комнату вошла старая женщина, кивнула и молча опустилась на свое место.

Потом немцы поднялись, сложили руки на животах и начали хором читать молитву. Володя тоже поднялся и, чувствуя себя неловко, молча стоял, пока Лина и старики Оршманы молились.

Во время этого скромного ужина, который, однако, тянулся долго, старик без умолку говорил о своем хозяйстве, жаловался, что старуха болеет, а он сам не может справиться. Одновременно расспрашивал Володю, как теперь живут люди в России.

Его интересовало только сельское хозяйство, в котором, к своему сожалению, Володя плохо разбирался. Поэтому говорил то, что слышал от старших или вычитал в книгах. Рассказывал, что в Советской стране хозяйства коллективные, все работают сообща, кто что зарабатывает, то и получает; магазины, фабрики, заводы, транспорт принадлежат рабочим, а земля — крестьянам.

Лина спрашивала, какие нормы продуктов, одежды полагаются на одного человека, и все удивлялись, когда Володя ответил, что никаких норм нет, кто сколько хочет, столько и покупает.

— Да, это очень хорошо, что все работают сообща,— сделал вывод старик.— Но плохо, когда жены общие...

Володя с возмущением опровергнул это ложное мнение. Все посмеялись по поводу таких тревог старого Оршмана.

Рано утром Лина уехала в Ансбах, а Оршман начал знакомить парня со своим хозяйством.

— Это — двор, а за домом есть еще второй, там выкопана большая яма, обложенная камнем. В нее сбрасываем навоз, зимой будем вывозить его на поля и сенокосы... Вот сарай для дров. В полукилометре от Каульдсдорфа у меня имеется участок леса. Во втором сарае — кладовая, где висят косы, стоят лопаты, грабли железные и деревянные, пилы, топоры — в общем, все, что необходимо в хозяйстве.

«Как все-таки мне повезло,— подумал Володя.— И надо же было попасть к такому хорошему, доброжелательному человеку!..»

— Постепенно изучишь мое хозяйство,— говорил Оршман,— и будешь все знать. А сейчас пойдем в поле сгребать и возить солому. Конец августа, работы много. До заморозков надо все убрать.

...День в поле показался Володе годом. Такой работы дома ему не приходилось делать. Жара, пыль, кусали оводы. Пот заливал глаза, руки и спина немели от напряжения. Солнце тяжелым колесом катилось не по белому августовскому небосклону, а прямо по его голове, воздух горячим удушливым клубком застревал в горле, а гоны, будто не такие уж и длинные, казались бесконечными, словно тянулись в раскаленное горнило неба... Володя старался не отставать от старика. Но ни ловкости, ни сил не хватало, сказывалось лагерное истощение. С горем пополам едва дотянул до вечера.

Уже темнело, когда возвращались домой. С большим облегчением Володя вошел во двор Оршмана, поплёлся в дом, мечтая об отдыхе. Но отдохнуть не удалось. Пришлось еще поработать в хлеву.

Зашла соседка Оршманов, уже пожилая женщина, Мина. Оказалась очень словоохотливой и любопытной, все время интересовалась, сколько у Володи дома коров, быков, земли.

Ответил, что жил в городе и с сельским хозяйством не был связан. Тогда женщина сказала, что родители, очевидно, владели магазином.

Володе надоело объяснять всем разницу между частной и общественной собственностью, да и от усталости он едва шевелил языком, потому и решил сделать вид, будто не понимает вопросов.

Мина со стариком доили коров, а он молча вывозил навоз, носил из сарая сечку.

Было половина двенадцатого ночи, когда Оршман позвал его ужинать: тарелка вассерзуппе — залитых горячей водой с молоком тонких кусочков черного хлеба — и все.

Старик объяснил: у них в определенное время все едят одно и то же. Володю давно уже поражало, что в Германии все однообразное, словно

в солдатской казарме. Даже дома как близнецы. Удивлялся: «Как же немцы различают, где чей двор?»

Когда наконец Володя попал в свою комнатку в мансарде, то даже не обратил внимания, какая у него постель, застлана ли. Без сил упал на деревянную кровать и уснул.

Казалось, что спал всего несколько минут, а старик уже будит его... Было пять часов — время кормить скот. И снова целый день дотемна — работа. В поле, в лесу, на усадьбе...

Так прошел месяц...

Когда Володя работал с Оршманом вместе, тот что-нибудь рассказывал. Больше всего о своей жизни, о сельском хозяйстве.

— Эта отрасль очень выгодная, — повторял старик. — Ведь после какой угодно войны, после разрухи, через год или два я снова стану на ноги. Даже если останусь совсем голым, все равно постепенно за продукты куплю все, что мне нужно.

— А если не останетесь в живых после войны?

Оршман вытаращил на него глаза и ничего не ответил. Наверное, считал, что подобное может случиться с кем-нибудь другим, только не с ним. На его розово-детском лице долго еще сохранялось выражение растерянности и удивления.

Володя в свою очередь рассказывал, как организовано коллективное хозяйство в Советской стране, в чем его преимущество, — все, что знал из учебников, из кинофильмов, из рассказов взрослых.

Однажды старик заметил:

— Большие хозяева, гроссбауэры, за кружкой пива в воскресенье тоже заводят разговор о коллективном хозяйстве. Гитлер будто бы сказал, что в Германии земля, фабрики и заводы сначала частично, а потом полностью перейдут в собственность государства. В этих хозяйствах будут работать пленные иностранцы, а наши люди поедут наводить порядок на вашей земле. Я был в России, у вас очень хорошая земля. На ней будет расти зерно без соломы, колос до самой земли.

— Этого никогда не будет! Никогда! — почти выкрикнул Володя и тут же испугался своей горячности. Не собирался спорить с Оршманом — слова вырвались как-то сами.

Старик пристально посмотрел на него и, подумав, заметил:

— Конечно, я и ты в войне неповинны. Мы и прежде жили неплохо, и вы тоже, думаю. Нам с тобой война не нужна.

Оршман умолк. Спустя некоторое время снова начал:

— Посмотри на мои руки. — Руки у него в самом деле были страшные: согнутые от ревматизма пальцы не разгибались, ладони черные, потрескавшиеся, мозоли давно превратились в сплошные твердые бугры. — Мне шестьдесят пять. Всю жизнь копаюсь в земле, работаю днем и ночью, прошел войну, плен. Много испытал. Поэтому после плена боролся за мир, за справедливость...

Он, видимо, хотел еще что-то сказать, но Володя перебил его:

— Как же вы боролись за справедливость, если говорите, что немцы поедут наводить порядок на нашей земле? Где же ваша справедливость?

Старик снова помолчал, набил трубку табаком, затянулся несколько раз и неожиданно заметил:

— Хотя тебе только пятнадцать, все же с тобой интересно беседовать. Но работа стоит на месте. Если бы моя старуха видела, что сделали двое мужчин за такое время, обоих оставила бы без ужина...

* * *

Все чаще и чаще беседовали они с Оршманом обо всем, что волновало обоих. Обычно первым заводил разговор дед. Однажды он начал рассказывать о гибели своего сына Карла, о том, что немцы воюют в очень трудных условиях. Володя ответил, что никто не просил немецких солдат начинать войну.

С каждым днем Володя все смелее высказывал свои мысли, возмущался, что гитлеровцы уничтожают советские города, села, фабрики и заводы, убивают детей, женщин, намеренно истребляют мирное население. Вспоминал лагерь, рассказывал о нечеловеческих условиях, в которых находятся советские военнопленные.

— Надо обладать железным организмом, чтобы все это вытерпеть и не погибнуть! — несколько раз повторил он.

Оршман вынужден был соглашаться.

— Товарищи Карла говорили, — сочувственно произнес он однажды, — что очень легко было вылавливать русских солдат, спасавшихся в селах от плена. Смеялись: «Все они были стрижены. Мы это знали и всюду находили их. Если бы у большевистских солдат имелись волосы на голове, нам трудно было бы распознать, где гражданский человек, а где — военный».

В тот же день перед ужином старик показал подарок друзей сына: папиросную коробку желтого цвета. Наискосок красиво выведенными буквами на ней было написано: «Киев».

Ужинать паренек уже не мог. В это время зашла соседка Мина и вместе со стариком наблюдала, как Володя открывал и закрывал коробку, нюхал папиросы, гладил ее и плакал.

Потом попросил Оршмана отдать ему коробку, когда она освободится. Старик пристально посмотрел на паренька. Казалось, что он не понял его просьбы, но все же кивнул...

5

На следующий день в восемь утра Володю позвали. В это время он, как всегда, чистил в конюшне лошадей.

— Иди в дом! — позвал Оршман.

Едва перешагнул порог, как почувствовал, что у него стали подкашиваться ноги: в комнате сидел полицейский.

Высокий, грузный, он в одной руке держал фуражку, а второй вытирал пот, обильно стекавший по шее, похожей на хорошо обстроганный кругляк. На столе лежал портфель, какие-то бумаги, небольшая коробочка, вроде подушечки для печати.

Полицейский набросился на паренька с бранью:

— Сакраменто! Доннерветтер!

Володя не сводил с него глаз, не понимая, почему он так ругается. Ведь карантин он выдержал еще в доме фрау Сантерс, все прошло благополучно, и его отправили в село. Неужели полицейский приехал, чтобы снова отвезти его в лагерь? В глазах у паренька потемнело.

Но оказалось, что полицейский бесится из-за того, что ему пришлось идти в Каульдсдорф в такой жаркий день. Он стал готовить какие-то бланки, вытащил из портфеля баночку с черной краской, одновременно разговаривая с Оршманом о хозяйстве, погоде, расспрашивая, хорошо ли работает русский. Потом спросил: «Много жрет этот парень?»

Старик ответил, что Володя человек городской, поэтому крестьянская работа у него не очень спорится.

Полицейский погрозил кулаком:

— Ты понал к самому лучшему хозяину в Каульдсдорфе — и не хочешь работать?!

Старик Карл как-то виновато улыбнулся, видимо, и сам не рад был, что проговорился.

Закончив свои приготовления, полицейский подозвал Володю к столу.

Теперь Володя хорошо разглядел этого типа: жирная красная рожа, маленькие уши, почти вросшие в голову, огромный живот, под которым пряталась пряжка от ремня с надписью: «Готт мит унс»¹. На полицейском был костюм защитного цвета, с коричневым воротником на пиджаке, на ногах так называемые «бутылки» — ботинки и краги на кнопках. На животе слева висел небольшой пистолет, справа — резиновая дубинка с металлическим наконечником.

— Фамилия, имя?

Володя ответил.

Полицейский переспросил, потом, немного подумав, дал листок бумаги и ручку Володе, чтобы тот написал сам. Паренек вывел латинскими буквами. Полицейский посмотрел и пробормотал, обращаясь к старику: «Смышленный, сакраменто!»

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — прибавил себе возраст Володя.

— Где работал?

— Учился в школе.

Полицейский удивленно посмотрел на него, перевел взгляд на Оршмана и что-то записал. Потом взял коробочку с подушечкой, намазал краской и начал тыкать в нее сначала один палец Володи, потом — второй. Даже приподнялся, стараясь покрепче прижать палец к краске, и при этом все время ругался, что парень держит руку не так, как надо.

Вскоре на бумаге рядом с фамилией пленника появились отпечатки пальцев.

Когда процедура закончилась, толстяк сказал Оршману, что через несколько дней придет опять и чтобы работник был готов.

¹ С нами бог.

Услышав это, Володя подумал, неужели старик не скажет ему, зачем снова явится полицейский. Мысли его оборвал хриплый голос:

— Ты должен хорошо работать, слышишь?

Володя кивнул.

— Ах, сакраменто! — вдруг воскликнул полицейский. — Снова забыл! Кто твои родители? Ты рус или, может, вайсе рус?¹

— Украинец.

— Русише швайн! — безапелляционно резюмировал блюститель порядка, записывая на бланке ответ паренька.

Когда непрошенный гость ушел, старик сказал, что через несколько дней полицейский поведет Володю к фотографу — нужна карточка для документов.

— А зачем делать отпечатки пальцев? Это унижение, о котором у нас честные люди знают только понаслышке.

Старик Оршман улыбнулся:

— Такой порядок, орднунг.

— Мне говорили, что немцев считают культурной нацией, но эта «культурная нация» оскорбляет и унижает других людей! — не сдавался Володя. — Наша «некультурная» нация никогда бы не делала такой мерзости.

От этих слов лицо старика налилось кровью, щеки стали темно-красными, глаза заблестели, забегали, лицо перекосилось от гнева, какого Володя никогда до сих пор у него не видел.

— Да! — закричал он. — Мы, именно мы — культурная нация! После минувшей войны капиталистические государства-победители предлагали совсем стереть нас с лица земли. Но большинство народов считало, что немцы — культурная и умная, великая нация, а ты, мальчишка, говоришь, что она поступает мерзко! Не вздумай полицейскому такое сказать!

Володя стоял молча и думал, что если бы в самом деле после прошлой войны как-то ограничили немцев, то это было бы правильно. Напрасно позволили им развиться в такую могучую державу. Теперь видно, в какую сторону они развивались!..

Но сказать это старику не решился.

Услышав их спор, старая Оршман стала кричать на старика из своей комнаты, что он лентяй и бездельник.

— Ты старый черт! — визжала она. — Ничего не делаешь, только лясы точишь с дураком таким, как и сам. Столько дел по дому, ах либен готт, либен готт!

После этих слов Оршман сорвался с места и как бешеный помчался по двору, хватая по дороге и бросая тут же все, что попадалось под руку.

* * *

Спустя два дня явился тот самый полицейский. В этот раз он приехал на велосипеде. Вошел в комнату, когда Оршманы завтракали. Выкрикнул: «Хайль Гитлер!» — и сел возле стола.

¹ «Вайсе рус» — белорус.

Хозяева и Володя ели вассерзуппе, а он сидел и смотрел в тарелки. Володя подумал, что на Украине, когда в дом заходит посторонний человек, его приглашают к столу. А у немцев, которые называют себя культурной нацией, такого обычая нет.

Когда съели суп, старик налил жене и Володе кофе и отрезал по тонкому кусочку белого хлеба. Полицейский, обращаясь к невольнику, сказал:

— Видишь, пьешь кофе с молоком, ешь белый хлеб, а многие немцы сегодня пьют кофе без молока, ты грязная собака!

Еще когда Володя ел суп, полицейский все время смотрел в его тарелку. Под таким взглядом кусок не лез в горло, а теперь он прицепился к кофе.

— Ты, свинья, сидишь за одним столом с немцами, ешь их хлеб, а работаешь плохо! — не успокаивался полицейский.

Володя не мог больше сдерживаться, отложил свой кусочек хлеба и отодвинул чашку с недопитым кофе.

У толстяка даже пена выступила на губах.

— Видишь, Карл, он не хочет жрать, он сыт. Значит, ворует!

После завтрака немцы поднялись и помолились. Старик принес полицейскому рюмку вина, которое сам готовил из бузины, росшей за сараем.

Тот выпил, и рожа его просияла.

Оршман дал Володе штаны, сорочку, пиджак, ботинки на деревянной подошве, старуха пришила на сорочку знак «OST» — на клочке белой материи три синие буквы, — и около десяти часов утра Володя вышел из дому в сопровождении полицейского.

Было теплое солнечное утро. Стояла умиротворяющая тишина. Село грелось под теплыми лучами солнца, подставляя ему бока островерхих домов, сараев, огороды и отяжелевшие от груш и яблок кроны деревьев в садах.

Полицейский сказал Володе, чтобы тот шел не рядом, а в двух-трех шагах впереди.

Из всех дворов на них смотрели люди и спрашивали, что сделал этот парень. На улице встретили старика со старухой. Они хором поздоровались с полицейским: «Доброе утро», — и пошли дальше, оглядев Володю с ног до головы. Потом он услышал, как старуха, обращаясь к своему спутнику, спросила: «Что украл этот вор?»

За селом полицейский снова стал пилить Володю, что, мол, из-за него он вынужден в такую жару плестись шесть километров в село Фридрихсталь, где находилась фотография.

Володя отмалчивался.

Какое-то время шли лесом. Невольник — впереди, полицейский, ведя велосипед, сзади. Фуражку он нес в руке, и пот градом катился по яйцевидной лысой голове.

Володя предложил вместе съехать на велосипеде с горы.

Тот гаркнул:

— Нет, нет! И замолчи! Я не хочу слышать твоих глупых шуток!

Дальше шли молча. Пленник слышал, как за его спиной тяжело

сопит полицейский. Не зная почему, но ему стало жаль этого борова. Снова оглянувшись и предложил повести его велосипед.

Толстяк и на это не согласился, приказал не оглядываться. Володя обиделся. «Вот дуб!» — подумал, а вслух произнес:

— Мое дело предложить. Я ведь не для видимости, а искренне хотел помочь, видя, как вы устали.

— Да, да! — закричал полицейский. — Сын моего брата приезжал в отпуск с фронта, он рассказывал, сколько там у вас березовых крестов поставили нашим солдатам! И ты знаешь, свинья, это все от вашей «помощи»!

Последние слова он уже не выговаривал, а выплевывал. Пена брызгла изо рта, глаза стали круглыми словно шары.

Вскоре вышли из леса в поле. Дорога тянулась теперь ровная, без спусков и подъемов. Полицейский сел на велосипед и медленно ехал то впереди Володи, то позади, то рядом, словно исполнял вокруг него какой-то ритуальный танец.

— Шнель! — шипел он. — Нам сегодня надо вернуться обратно, сакраменто!

А идти дальше становилось все труднее: жара, каменистая, пыльная дорога, деревяшки вместо подошв на ботинках больно намяли ноги, очень хотелось пить.

Ни о чем не думая, Володя рассматривал окружающий пейзаж. Лес остался позади: по сторонам дороги тянулись неглубокие кюветы, за которыми росли фруктовые деревья. На ветках и под деревьями на земле лежало много красных яблок. Очень хотелось поднять яблоко, утолить жажду. Но можно было получить удар дубинкой по спине... За деревьями простирались поля с неодинаковыми по размеру полосами. На одних еще зеленело, на других все пожелтело, на третьих росло что-то голубое...

Вдали синим отливали горы, перед ними, слева и справа от дороги, — села с высокими куполами кирок. Дома белые, покрытые цветной черепицей, кое-где поросшей от времени тонким слоем мха, придававшего ей зеленоватый оттенок...

В Каульдсдорфе Володя немного пришел в себя после испытаний в эшелоне и в лагере. Его страдания там, мучительный голод, оуплявший ум и чувства, жестокие побои и ежеминутная угроза смерти будто затягивались зыбким туманом. И хотя у Карла Оршмана он тоже работал до изнеможения и тоже никогда не наедался, но тут была иная жизнь, без постоянных побоев и угрозы смерти. А главное, с ним разговаривали как с человеком, пусть не с равным, но все же как с человеком.

Черная пелена неизвестности, которая долгое время закрывала перед ним грядущий день, словно посветлела, стала прозрачнее, сквозь нее угадывалось в будущем спасение, а когда-нибудь проявится и свобода, ради которой он был готов на все.

К нему возвращалась способность чувствовать красоту, и Володя порой ловил себя на желании взять в свои огрубевшие, побитые руки карандаш...

Вот и сейчас, по пути в Фридрихсталь, залюбовавшись чудесным

пейзажем, он вдруг забыл и о жаре, и о жажде, и даже о полицейском, который тяжело сопел у него за спиной. До боли захотелось сесть в тени и рисовать, рисовать, передать на бумаге все богатство утренних красок, тончайшие оттенки зеленого цвета и удивительную прозрачность воздуха.

Но, опомнившись, посмотрел на своего цербера и, тяжело вздохнув, зашагал дальше.

Наконец пришли в Фридрихсталь — большое село, похожее на все другие в этой местности. Володя подумал о том, как трудно отсюда бежать, если все села одинаковые, попробуй сориентироваться.

Возле фотографии слонялось много полицейских, которые привели иноземных невольников. Как ни старались блюстители порядка отгонять невольников друг от друга, все же людям удавалось переброситься несколькими словами, узнать, кто откуда, где работает.

Очень хотелось пить. Но заходить в пивные невольникам запрещалось. Если у кого-нибудь оказывались деньги, полицейские становились «ласковее», брали у них марки и выносили на улицу кружку пива. Но деньги редко у кого были.

Володе старик Оришман дал полмарки. Пиво стоило семь пфеннигов, на имевшиеся деньги можно было напоить многих страдающих от жажды. Но полицейские больше одной кружки пива не выносили.

Володя отдал свои полмарки толстяку, тот вынес ему кружку крепкого, почти черного баварского пива. Остальные деньги забрал себе, и, когда Володя попытался заговорить о них, полицейский красноречиво показал ему резиновую дубинку.

Часа через полтора-два толпа возле фотографии рассосалась. Подошла очередь и Володи. Поручив его фотографу, полицейский куда-то исчез.

На стенах ателье Володя увидел картины и, забыв обо всем, стал рассматривать их.

Заметив, что паренек увлекся, фотограф спросил, нравятся ли ему картины.

— О!.. — ответил Володя. — Я сам люблю рисовать, особенно пейзажи. А ваши картины очень хорошие... Я думал, — простодушно добавил он после паузы, — что в Германии мало людей, которые знают и любят искусство, но вы, очевидно, хорошо в нем разбираетесь.

Фотограф был польщен. Внимательно посмотрел на паренька, бросил взгляд на его руки — страшные, в мозолях — и вздохнул:

— Ах, война, война!

Володе вспомнился дом фрау Сантерс. Когда он рисовал, все так же с удивлением смотрели на его руки. Всем думалось, что такие руки могут выполнять только тяжелую, грязную работу.

Фотограф, закончив снимать, повел Володю по комнатам, показывая висевшие на стенах живописные пейзажи какой-то горной местности.

Водил и рассказывал, что его сын тоже любит рисовать, правда, это не его работы — он офицер, сейчас на фронте. Некоторые картины он привез из Франции, другие из Польши.

Вдруг у Володи екнуло сердце. Показалось — увидел что-то знакомое,

близкое, взглянул еще раз и от восхищения замер. Это был Айвазовский — «Буря на море». Может, и копия, но в углу на русском языке было выведено: «Айвазовский» — дальше полотно было порвано, и что там еще написано — не видно.

Володя почти выкрикнул:

— Это наша картина!

Фотограф не возражал:

— Да, это единственное полотно из России сын привез, когда приезжал в отпуск. Достал на какой-то разбитой заставе, где жили ваши пограничники.

«Мерзавцы, — подумал Володя, — грабят всюду и вывозят себе!» Впечатление от картины было испорчено. Сухо поблагодарил хозяина и попрощался.

Фотограф сказал:

— Во время войны разрешается делать только маленькие фотографии для документов, на большие нет материала. Но тебе я сделаю. Ты мне нравишься. Приходи еще.

Володя направился к выходу. Дверь открылась ему навстречу, и в павильон, весь вспотевший, размахивая дубинкой, влетел его полицейский.

Рассматривая картины в доме, Володе и в голову не приходило, что толстяк обежал полсела, разыскивая его.

«Где ты был, тварь? Я тебя давно уже ищу!» — выкрикнул он и изо всех сил ударил Володю дубинкой по плечу. Тот упал. Поднявшись, юноша увидел, что рубашка разорвалась, и почувствовал, как быстро распухает плечо.

Когда выходили на улицу, толстяк еще раз огрел его по спине и крикнул, что будет гнать бегом до самого Каульсдорфа. Прохожие останавливались и глядели на эту сцену как на забавное зрелище.

Обратно полицейский все время ехал на велосипеде, а Володя бежал впереди. Толстяк бубнил, что русские — глупый скот, не знают порядка, и потребуется много лет, пока немцы сделают их людьми, что русских свиней наполовину надо уничтожить, потому что они не способны жить в человеческом обществе без дубинки...

— А с этим фотографом, с Альфредом Эфере, я еще поговорю! — орал он.

Когда добрались до Каульсдорфа, Володя сразу побежал на кухню и смочил водой плечо, к которому нельзя было притронуться.

Старика Оршмана не было дома. Полицейский долго вопил в комнате старухи, рассказывая о том, сколько времени пришлось ему разыскивать работника. А Володя все думал о картине Айвазовского. У него было такое чувство, будто он встретил на чужбине кого-то родного, земляка. И хотя это чувство омрачалось тем, что и Айвазовский попал в плен к врагам, все же на душе было светло, — словно свежий ветерок долетел с далекой Родины.

Полицейский наконец ушел, держа под мышкой сверток, — наверно, старик Оршман заранее ему приготовил, — а Володя до самого вечера прикладывал мокрую тряпку к опухшему плечу.

Заканчивался сентябрь. Потянулись долгие осенние вечера. Володя вместе с хозяином допоздна трудился в хлеву — чистил коров, быков, лошадей.

Во время работы Оршман рассказывал, что пишут с фронта его родственники и знакомые. Почти в каждом письме говорилось, что немцы скоро овладеют Москвой и Ленинградом.

При словах «Москва» и «Ленинград» у Володи сжималось сердце и слезы навертывались на глаза. Не верилось, не хотелось верить! Даже старик как-то с недоумением заметил, что, мол, такой большой и сильный Советский Союз, а так быстро покорился. Володя слушал, и ему казалось, будто кто-то шепчет на ухо: «Не бывать тому, что пишут фрицы о Москве и Ленинграде!» Сам себя утешал, и ему становилось легче.

Однажды, когда старика Оршмана не было дома, а старуха спала, Лина, приехав в гости, включила радиоприемник и слушала музыку. Володя попросил, чтобы она поймала Москву.

— Если об этом узнает полиция, меня бросят в тюрьму, — ответила девушка.

Но все же он уговорил и минут двадцать слушал передачу из Москвы.

Лина все время тянула его за рукав и спрашивала, о чем там говорят, почему он так радуется.

Он ответил, улыбаясь:

— Скоро фашистам капут!

Лина сказала:

— Больше слушать нельзя, — и выключила приемник. Но Володя уже знал, что в начале зимы сорок первого года Красная Армия отбросила гитлеровцев от столицы, что Москва — советская и сражается.

Эта радиопередача вселила в Володю надежду. Он рассказал Лине, что слышал из Москвы. И не только ей. Встречаясь в селе с батраками из оккупированных гитлеровцами стран, как мог, сообщал им радостную весть.

В Каульдорфе больше всего работало поляков. Реагировали на его сообщение по-разному. Одни радовались, как и он, другие удивлялись или пожимали плечами.

Нашлись и такие, что говорили, мол, это ложь, немцы подчинили себе уже всю Россию, и провокационно спрашивали: «А вообще откуда ты это знаешь?»

После этого Володя стал осмотрительнее.

Среди поляков, которых он не очень хорошо знал вначале, трудно было найти друзей, потому что некоторые из них служили в немецкой армии, другие сами вербовались на работу в Германию. Но со временем ему все же удалось многих убедить, что не все пропало, и даже по-настоящему подружиться с некоторыми.

С тех пор как Володя стал жить у Карла Оршмана, он все время думал об Ансбахе, лагере, в котором страдают его друзья. Больше всего он переживал за Анатолия.

Иногда его даже охватывало чувство вины перед товарищами за то, что он живет в селе, а они погибают в лагере.

По ночам его мучили кошмары — снова лагерь, колючая проволока, бараки, охрана, «убийца Ивана», с пустыми, словно мертвыми, глазами и с плетью в руке.

Снился и сам Иван, которому Володя протягивал кусок хлеба, спрятанный от Оршмана, но кузнец почему-то отворачивался, будто хлеб уже не интересовал его. Часто приходил во сне и Анатолий, истощенный до крайности — кожа да кости, — печально глядел, но молчал, не жаловался, и Володя догадывался, что дни лейтенанта сочтены... Как сжималось тогда его сердце, как хотелось спасти друга, как старался развеселить его, вызвать знакомую милую улыбку, вернуть надежду на спасение, которая прежде никогда не покидала Анатолия...

Они будто бы снова были вместе в лагере и пытались бежать. Но солдаты всегда догоняли их и избивали дубинками. Володя закрывал руками, прятал от ударов голову, стонал во сне, вертелся и просыпался...

Наконец Володя решил во что бы то ни стало повидаться с друзьями и хоть чем-нибудь помочь им.

В течение трех недель он старательно готовился к поездке в лагерь. По небольшому кусочку отламывал хлеб от своего пайка и прятал, украдкой оставлял ломтики сала. В конюшне были мешки с сушеной свеклой, которой кормили лошадей. Набрал этой свеклы и тоже спрятал. Он часто пробирался на чердак, где дед Оршман хранил табак, — собирал там табачную пыль в небольшой мешочек.

Когда в лесу пилили деревья, женщины заготавливали хворост. Веточки соединяли в пучки и связывали их связями из соломы. Эти пучки складывали в большие кучи, и они сушились почти все лето, а поздней осенью их перевозили домой для растопки печей.

Вот в одной из таких куч Володя и устроил свой склад. Все было аккуратно завернуто в бумагу и перевязано бумажным шнуром. В этом свертке был даже сахар. Однажды дед Оршман насыпал сахар из бумажного мешка в банку. Неожиданно его позвали на улицу. Когда старик вышел, Володя мигом воспользовался случаем и набрал почти полный карман.

Постепенно он добыл всего понемногу и решил, что пора отправляться в путь. Но как это осуществить?

Улучив удобный момент, завел разговор с хозяином о том, что в Ансбахе у него много друзей и хотелось бы навестить их.

— Одновременно мог бы заехать и к ффрау Сантерс и что-нибудь передать от вас, — добавил Володя.

— Нет! — ответил старик. — До Ансбаха сорок километров. Я не могу

отпустить тебя, узнает полиция, и мне влетит. А друзей себе можешь найти и тут.

— Но в Ансбахе друзья, с которыми я много выстрадал и пережил.

— Какая разница, те друзья или эти!

— Вы люди какого-то совсем другого склада! — в сердцах воскликнул Володя. — Почти во всех ваших газетах три-четыре страницы заполнены черными рамочками с крестами, которые обрамляют сообщения о гибели солдат. Число, месяц, год и, конечно, место, где погиб. Этим и ограничивается ваш траур. А вот у нас, когда умирает человек, особенно близкий, его долго оплакивают, поминают, на каждом шагу чтят его память. У вас же, немцев, этого нет. Когда приходит похоронка, вы не плачете, а молитесь и лепечете: «Так нужно во имя гаймат, во имя фюрера!» Это говорит о том, что вы люди черствые, у вас нет души, нет жалости ни к чему и ни к кому, все делаете по правилам, по шаблону. Еще и в бога верите!.. Я сказал так потому, что вы не понимаете, как люди переживают, страдают, голодают... Вот и сейчас не хотите понять, что значит повидаться с другом, с человеком, с которым страдал в лагерях, блуждал ночами, прятался от погони...

Карл Оршман сидел молча, курил, крутил усы и терпеливо слушал этот длинный монолог. Потом сказал:

— Ты говоришь такие слова, за которые, если бы о них узнал полицейский, тебя давно бы повесили.

— Каждый человек по-своему смотрит на мир и понимает жизнь, — ответил Володя. — Я же не выдумываю, а говорю правду, как есть в действительности.

— Ты еще очень молод, тебе рано говорить о том, что не укладывается в голове даже взрослых людей.

— Если бы вы семи лет остались без отца, а в неполные четырнадцать узнали ужасы войны, вы тоже многое назвали бы другими словами. Если бы я рассказал вам все, что мне довелось увидеть, пережить, пройти, вы ужаснулись бы! Знает об этом, наверно, один ваш бог!

— Тише, довольно! Я больше не хочу слушать твою болтовню!.. Через месяц-полтора, когда справимся с работами, поедем в Ансбах вместе. Тогда и увидишь своих товарищей.

На этом разговор закончился. Володя долго не мог уснуть в ту ночь. Ведь в лесу спрятаны продукты. Что с ними будет через месяц-полтора? А если начнут перевозить дрова и хворост домой? Нет, нельзя ждать, надо что-то придумать! Уже засыпая, вспомнил о Лине. Лина Меер! Она должна помочь!

* * *

На следующий день Володя несколько раз спрашивал деда Оршмана, когда приедет Лина.

Старик, улыбаясь, сказал наконец:

— Что, понравилась? Вот этот разговор для тебя, а то вчера вечером ты нехорошо разговаривал со мной... Действительно, Лина чудесная девушка, но тебе нельзя проводить время с нею, потому что ты русский, а

она — немка, это запрещено. Окончится война, тогда будет видно. Ты мог бы остаться у нас, из Лины выйдет неплохая хозяйка... Я тоже, когда был в плену в России, чуть не остался там, но у меня дома уже была семья.

Старик говорил, а Володя думал о своем. Самое главное — добыть веломашину, все остальное как-то устроится.

В субботу вечером Лина приехала. Она приезжала только на воскресенье, потому что всю неделю работала в аптекарском магазине.

— Тебя ждет не дождется один молодой человек, — этими словами, кивнув в сторону Володи, встретил ее дед. — Никогда еще он не ждал тебя так, как в эту неделю.

Лина покраснела.

— Вы, дедуня, всегда что-нибудь придумаете, лучше скажите, что надо делать по хозяйству, я пробуду у вас завтра весь день и понедельник, так что готовьте работу.

— О, об этом не беспокойся, — довольно ответил старик. — Чего-чего, а работы хватит...

* * *

Утром, закончив возиться в хлеву, Оршман вместе с молодыми людьми поехал в поле. Спустя некоторое время пришла и соседка Мина, до позднего вечера все копали картошку.

Старик Карл ехал на картофелекопалке по междурядью. Машина отбрасывала картошку в сторону, ее собирали в корзины, уносили и высыпали в мешки.

Володе не терпелось поговорить с Линой о поездке в Ансбах, но при старой Мине заводить разговор об этом было нельзя. Он нервничал, боясь, что его план может сорваться. Ведь после тяжелой работы в поле Лина уйдет спать — и он не успеет поговорить с ней.

Уже совсем стемнело, когда вернулись с поля. Ревела голодная скотина, коровы были не доены. Володя начал вывозить навоз, кормить скот, дед Карл с Линой доили коров. В одиннадцать часов пошли ужинать.

После ужина Лина мыла на кухне посуду, а Володя вышел во двор. Был настоящий летний вечер. Тихо, тепло, звездно... Сел возле водопроводной колонки на скамейку, куда ставят ведра. После тяжелых мешков с картошкой у него до сих пор дрожали руки и ноги.

Вскоре, как он и надеялся, во двор вышла Лина.

— Почему не ложишься спать? Завтра вставать чуть свет. Пока я тут, надо убрать ранний картофель. Дед говорил, что приходили от старосты и предупредили, чтобы готовились сдавать его.

— Приятно посидеть на дворе, такая прекрасная погода. Садись.

Он поднялся, освобождая место для девушки. Сам взял ведро, перевернул его вверх дном и примостился рядом.

Несколько минут сидели молча. Из соседних дворов доносился шум, голоса — там еще работали в хлевах. Он заговорил первым:

— Так поздно, а люди работают.

— В селе всегда много дел. Тем более сейчас, когда война, мужчины на фронте, работников не хватает...

— Когда сидишь молча, вокруг такая тишина... — сказал Володя. — Забываешь, что в эту минуту идет страшная война, льется кровь... Как хочется встать и крикнуть: «Что вы делаете, палачи, ведь люди созданы для того, чтобы жить, радоваться таким чудесным вечерам, как сегодня!...» А для чего это все? Ваши солдаты, — продолжал он, — ваши солдаты побеждают, чуть ли не всю Европу захватили, а ты вот немка, и у тебя тоже нет отдыха, как и у меня, невольника.

— Да. Я часто слышала от деда, что до войны люди жили неплохо, что простым людям война не нужна. Но нас никто об этом не спрашивает. Значит, так нужно. — Подумав немного, добавила: — Все больше и больше молодежи призывают в армию, говорят, что скоро начнут брать и девушек. Люди с ужасом думают о русском фронте. Сначала все это было как-то незаметно, но старые люди считают, что становится труднее...

Старик Оршман, очевидно уже успевший прилечь, вышел во двор и направился в конюшню подложить лошадям сена.

Возвращаясь, проворчал:

— Уже поздно.

Лина ответила:

— Сейчас, сейчас...

Когда дед ушел, Володя сказал, что хочет проведать товарищей в Ансбахе, увидеть друга, но старик не разрешает.

— Я очень прошу тебя, Лина, — помоги!

— Чем же я могу помочь?

— Во-первых, нужен велосипед. В следующее воскресенье я мог бы выехать очень рано, чтобы к вечеру успеть обратно. Из дома выйду пешком, а за селом сяду на велосипед... Но понимаешь, Лина, в чем еще трудность, я ведь не успею накормить скот! И надо придумать, что сказать деду.

Девушка помолчала. Потом нерешительно ответила:

— В следующее воскресенье я не собиралась приезжать... Но если ты так просишь...

— Очень, Линочка!

— Но как ты их увидишь, они же в лагере?

— Хоть через проволоку посмотрю.

— Тебе нельзя приближаться к лагерю.

— Я буду осторожен.

— Хорошо, я приеду, — согласилась Лина. — Поработаю за тебя, а ты поедешь на моей веломашине... Но куда? Что сказать дедушке Карлу, как объяснить?

Володя вспомнил, что рассказывал Оршману о фотографe Альфреде Эфере.

— Скажем, в Фридрихсталь. Эфере обещал сделать мне фотографию.

— Нам тоже нельзя фотографироваться, — вздохнула Лина. — А он мог бы сделать нам общее фото... Хорошо, завтра вечером я, будто между

прочим, скажу, что в следующую субботу приеду снова... Он начнет насмехаться надо мной, мол, приеду ради тебя... Да, впрочем, это не столь важно... О том, что ты поедешь к фотографу в Фридрихсталь, скажешь дедушке только в субботу вечером.

— Значит, договорились?

— В Ансбахе не заходи к фрау Сантерс, потому что дедушка узнает, и получится нехорошо.

— Поступлю так, как ты хочешь. Спасибо, Лина!..

Молодые люди тихо вошли в дом. Володя закрыл дверь. В столовой пробили часы. Девушка прошептала:

— Либер готт, уже два часа!

Держась за Володину руку, она тихо поднималась на второй этаж. У двери своей комнаты сказала:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сердечно ответил ей Володя, оцупью открывая в темноте дверь своей комнатухи.

7

Лина, как и обещала, приехала в следующую субботу.

Старик Оршман встретил ее с большой радостью. Указал на Володю:

— Он парень хороший, вот побудет немного у нас, научится работать. А когда окончится война, сумеете договориться о чем-нибудь. Правда, ты, Лина, немного старше, но я думаю, это ничего не значит. У меня жена тоже на два года старше, а мы с нею неплохо прожили жизнь.

Ничего не ответив, Лина тотчас принялась за работу — делала вид, будто не слышит старика.

Оршман это заметил и позвал ее.

— Лина, я правильно сказал? Почему ты ничего не ответила? — Он засмеялся.

— Вы, дедуня, заставляете меня краснеть и отрываете от работы. Да и вообще, если говорить вашими словами, то мы его враги,— о чем же можно договариваться? Окончится война, и, если будет такая возможность, он меня вместе с вами, несомненно, повесит.

— Ну, Лина! — пробурчал старик. — Откуда у тебя такие мысли? Если он всех нас и будет вешать, тебя все равно помилует.

Оршман снова засмеялся и повернулся к Володе:

— Ты все понял, что сказала Лина?

Парень ответил, что понял, но почему Лина так охарактеризовала его, не знает. На этом разговор оборвался, и все принялись за работу.

После ужина молодые люди снова сидели на дворе до двух часов. Прежде всего Володя спросил девушку, почему она так сказала о нем деду.

— Чтобы отстал.

— Так-то так,— не унимался Володя.— Но почему ты думаешь, что я буду с вами расправляться, и почему сказала именно это, а не что-нибудь другое?

— Просто так. Правда, у нас гостил один знакомый, который на

несколько дней приезжал с фронта. Он говорил, что о победе русских не может быть и речи. Потому что если, не приведет господь, ваши победы, то всех немцев перевешают. Об этом говорили, запомнилось, и, возможно, поэтому я так сказала.

Володя долго беседовал в этот вечер с девушкой. Рассказывал о своем родном крае, объяснял, что советские люди благородные, честные и очень справедливые.

— Вот, например,— говорил Володя,— у вас люди разных национальностей не дружат между собой, их ссорят. В Германии считают, что немец превыше всех на свете. Немцы, мол, хороший народ, а остальные — дрянь. А у нас все национальности живут в мире и дружбе. До войны я знал австрийцев, поляков, чехов, которые когда-то попали в плен, остались у нас, поженились, обзавелись семьями и живут как равноправные среди украинцев и русских.

— Говорят, что русские жестоко сражаются на фронте, и поэтому мы думаем, если они победят, всем нам — капут.

— Неужели, Лина, ты не понимаешь, что на русских, то есть на весь наш народ, напали?! Так как же советские люди должны вести себя? Они вынуждены защищаться!

Володю давно удивляло, что и Лина, и старик Оршман всегда и во всем обвиняют русских. Разве они не понимают, что повинны в войне немецкие фашисты, или просто не хотят понять? Вот и сейчас, когда сказал девушке, что советские люди вынуждены защищаться, она ничего не ответила и переменяла тему разговора.

— У меня в сумке две буханки хлеба. Я привезла с собой. Кроме того, пачка табака, две пачки сигарет. Все это возьми вместе с сумкой и отдашь своему другу. Дедушка сказал, чтобы я дала тебе в Фридрих-сталь твой обед, потому что можешь опоздать...

Володя долго и горячо благодарил девушку. Сказал, что никогда не забудет таких людей, как она, фрау Рита Сантерс и Карл Оршман.

— Вы — хорошие люди, настоящие друзья, мои новые друзья...

— Я одолжила у родственников мужской велосипед,— прервала поток благодарных слов Лина.— На моем тебе трудно было бы ехать.

— Я это заметил, когда ты приехала,— улыбнулся парень.

— Веломашина новая, не подведет в пути. Ты должен ехать в быстром темпе туда и обратно...

Идя в конюшню, старик Оршман снова посмотрел во двор:

— Вы — оба цвай¹, уже поздно!

— Сейчас идем,— ответила Лина.— С велосипедом будь осторожен, не сломай,— наставляла Володю.— В Ансбахе не разгуливай по городу, там много полицейских. Когда дедушка начнет волноваться, почему тебя так долго нет, скажу, что, возможно, ты зашел к кому-нибудь из знакомых. И выйду за село встречать тебя. Но постарайся вернуться как можно быстрее, ведь мне надо ехать домой. И по пути расскажешь, увидел ли друга.

Володя соглашался со всем, что она говорила:

¹ В значении: два сапога — пара.

— Хорошо, хорошо, ладно...

Когда часы пробили дважды, молодые люди тихо поднялись наверх, как всегда, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам.

В половине шестого Лина разбудила его, и они пошли на конюшню работать. В восемь часов сели завтракать.

За столом Карл Оршман сказал:

— Лина приготовила тебе обед, но ты, смотри, долго не задерживайся. В Фридрихстале есть жандармерия, по селу не разгуливай. Постарайся успеть к обеду, потому что одной Лине трудно будет управиться в хлеву.

— Если Альфред Эфере будет дома, я сфотографируюсь и сразу же вернусь.

Лина молчала, все время ерзала на скамье и так таращила глаза на парня, что казалось, вот-вот они вылезут из орбит. Она с трудом переносила эту ложь.

Вскоре старик надел сорочку с бантиком у воротника, черный костюм, взял черную шляпу, сел на велосипед и поехал на противоположный конец села, к кирке.

Лина приготовила свою сумку и сказала, что не будет провожать его за ворота, ей, мол, не следует показываться.

Володя очень спешил: до Ансбаха сорок километров, а он еще должен заехать в лес, взять продукты из своего тайника. Быстро надел темно-фиолетовые штаны, полосатую рубашку. Головного убора у него не было: впрочем, он и не очень-то был нужен — ведь маскировался под немца, а они ходили с непокрытыми головами. Вышел в коридор, взял девушку за руку:

— Еще раз большое-пребольшое тебе спасибо, Лина!

— Счастливого пути, — ответила она. — Я буду встречать тебя возле Гриппа, ты знаешь, это село по дороге на Ансбах, сразу за Каульдсдорфом...

Володя сел на велосипед и помчался.

В лесу оглянулся: нигде никого. Хорошо, что воскресенье: немцы или дома, или в кирке. Быстро сложил свои запасы в бумажный мешок, привязал к багажнику.

Было не жарко, дорога хорошая, и велосипед, казалось, сам катился, легко и быстро. По пути встречались люди, даже мимо полицейского проехал. Но в такой одежде, на таком велосипеде Володя ни у кого не вызывал подозрений. Знак «OST» лежал у него в кармане, привязанный на нитке. В случае необходимости мог быстро вытащить его и прицепить.

Около часу дня он уже подъехал к Ансбаху. Постоял немного, отдохнул, осмотрел велосипед, обдумывая, как незаметно подобраться к лагерю.

Всю дорогу мечтал о встрече с Анатолием. Не ехал, а летел — так хотелось поскорее увидеть его, так о многом хотелось ему рассказать.

Наконец, выбрав удобный путь, он приблизился к лагерю и остановился неподалеку от главного входа. Прятался за близлежащими строениями

и внимательно следил за тем, что происходило в лагере. Через проволоку были видны бараки и пленные. В воскресенье на территории находилось много невольников: одни стирали белье, развешивали его, другие что-то копали, носили. Но, как назло, все происходило в глубине двора, никто не приближался к ограждению.

Почти час бродил Володя вокруг лагеря, надеясь высмотреть хоть кого-нибудь из знакомых. Много раз сжималось, замирало у него сердце, когда казалось, что видит Анатолия... Но пленники были так похожи друг на друга: истощенные, в лохмотьях, едва волочившие ноги!..

А время шло, надо было что-то предпринимать.

И Володя поехал по улице вокруг лагеря, направляясь к той лазейке, через которую когда-то убежал.

Там было все как прежде. Только кусты возле ограды еще больше разрослись. Тогда он зашел в лес: знал, что в воскресенье пленных на работы сюда не посылают, залез в чащу, положил велосипед на землю, прикрыл ветками и снова отправился к лазейке.

Это была единственная возможность попасть в лагерь. От лазейки до бывшего его барака недалеко. Только влететь бы туда, увидеть Анатолия, передать все, что привез!

Охваченный этим стремлением, он забыл об опасности, которой подвергал себя. Вспомнил, как рассказывал в Каульдсдорфе одному поляку о своем побеге из лагеря и тот ответил: «Тебе очень повезло. Есть же на свете везучие люди!»

«Повезет и в этот раз!» — решившись на отчаянный поступок, подумал Володя. Руки и ноги у него чуть дрожали, его даже немного знобило, будто на дворе похолодало. Но не от страха, а от нетерпения. Страх, возможно, не испытывал потому, что путь через лазейку в кустах был ему хорошо знаком — сколько раз пользовался им, пока охранники не завалили дыру камнями. А спешить заставляло еще и чувство вины перед товарищами, которые томятся в лагере, в то время как ему самому посчастливилось спастись. Казалось: Анатолий уже увидел его и волнуется по ту сторону лагерной ограды.

И только на мгновение, уже у самой лазейки, будто остановленный чьей-то рукой, заколебался. Но в тот же момент вспомнил присказку, которую любила повторять бабуся: «Бог не выдаст — свинья не съест!» — он криво улыбнулся, разгреб проход, пролез под проволокой и побежал ко второму барaku.

Возле барака увидел пленных, удивленно смотревших на него. Но боже, что это были за люди! Вблизи они выглядели еще ужаснее: небритые, истощенные, черты лица заострены, как у мертвецов, — живые скелеты, неизвестно как державшиеся на ногах. Сердце у Володи снова больно сжалось. Быстро зашел в барак, по длинному коридору между нарами устремился в угол, где когда-то спал с Анатолием.

По дороге его окликнули. Оглянувшись, юноша увидел изможденного, очень страшного на вид человека с неестественно согнутой рукой. Его лицо, обтянутое тонкой желтой кожей, напоминало голый череп.

Оскалив зубы в какой-то нечеловеческой улыбке, пленный сказал, что

узнал Володю еще во дворе, но боялся остановить, думая, что он стал каким-то управляющим.

Страшный человек говорил, а Володя пытался вспомнить, кто это. Когда сказал, что не знает его, тот несколько раз повторил:

— Гриць! Я — Гриць...

Потом добавил:

— Мы с Анатолием вместе спали, когда ты исчез куда-то.

Только теперь Володя вспомнил. Гриць был офицером, об этом знали только Анатолий и Володя; он попал в плен тяжело раненным в руку и плечо, которое теперь ниже второго.

«За что так страдают люди!» — с горечью думал юноша, поглядывая на измученного пленника.

А тем временем их окружили десятка два таких же скелетов — новых для Володи людей. Старых знакомых осталось немного — некоторые погибли, других куда-то отправили. Увезли и Анатолия. Горькое разочарование лишило Володю речи.

— Бедняга Анатолий, — наконец произнес он. — Так спешил к нему, так хотел увидеть, раньше не мог вырваться... Но ничего, — добавил, вздохнув. — Рад, что хоть кого-нибудь повидал...

Володя отдал Грицю все, что принес. Его забросали вопросами. Больше всего пленных интересовало, не знает ли он, что делается на фронте: «Ведь тут мы в полном неведении!»

Прежде всего Володя рассказал, что зимой гитлеровцы были отброшены от Москвы, что столица живет и борется. Англия и Америка теперь будто бы стали нашими союзниками и обещают большую помощь в войне. А вот японцы пока что бьют американцев.

Володю слушали с таким вниманием, что забыли и о еде, которую он принес. Когда вспомнил о Москве, по бараку прошелестело приглушенное «ура!». Все тянулись к Володе, каждый хотел пожать его руку.

Он помог Грицю развязать мешок. Тот дрожащей рукой брал сухари, сахар и клал обратно. Потом начал делить: каждому по сухарю, по кусочку хлеба и сахара, по сигарете. Кто-то из пленных заплакал: «Никогда еще не было такого праздника!»

Володя радовался, глядя, как светятся глаза на изможденных, но таких родных лицах. Он готов был пойти на любые жертвы, лишь бы помочь этим людям.

Увлечшись беседой и дележом продуктов, никто не заметил, как открылась дверь, на пороге стоял какой-то человек в гражданской одежде и наблюдал за всем, что происходило в бараке...

Вдруг кто-то закричал, Володя не понял, что именно; и вообще, что произошло, почему все бросились врассыпную? В барак вскочили два солдата с автоматами в руках. Только теперь, когда увидел бежавших к нему фашистов, юноша спохватился.

Один из солдат кричал на бегу: «Разойдись!» — потом ударил Володю автоматом в грудь, другой сбросил на пол все, что лежало на столе, и стал топтать ногами.

Выгнав пленных во двор, гитлеровцы схватили Володю за руки и пота-

щили к воротам. Рубашка на нем лопнула, и когда солдат ухватился за нее, осталась в его руках.

Неподалеку от ворот стоял небольшой домик, похожий на будку. Туда и втащили Володю.

В углу комнаты за столом Володя увидел офицера, которого называли «убийцей Ивана», второй гитлеровец находился возле окна. На столе — несколько телефонов, бумаги, сигареты, сифон с газированной водой и хорошо знакомая узникам плетель. На стене — доска с несколькими рубильниками, ниже доски — небольшая пирамида с автоматами.

«Убийца Ивана» поднялся, подошел к Володе, ударил кулаком в лицо: — Как ты попал на территорию лагеря?

Володя лихорадочно соображал: узнал его офицер или нет? Нет, кажется, не узнал! Да и неудивительно, через его руки прошло огромное количество людей, не мог он всех помнить. Да и Володя очень изменился.

— Я пришел повидаться со своими товарищами.

— Как ты пробрался в лагерь? Откуда ты? Где работаешь?

Конечно, юноша мог говорить что угодно, только не это. Страшно даже подумать, что из-за него пострадают люди, которые так много хорошего сделали ему.

А Лиана! Как теперь посмотрит ей в глаза? А велосипед?.. Что он наделал! Почему так безрассудно поступил! Зачем полез на территорию лагеря! Володя молчал и думал только об одном: «Не говорить, ничего не говорить!»

В это время дверь открылась, и появился один из солдат, тащивших его сюда. Солдат положил на стол знак «OST» и сказал:

— Был привязан ниткой к карману рубашки.

Офицер закричал:

— Где, у кого ты украл продукты?!

Потом еще раз ударил. Володя упал, а тот начал пинать его сапогами.

Устав, палач отошел, и солдат поднял парня, поставил на ноги. Один глаз у Володи заплыл, рот был полон крови, тело горело как в огне.

«Убийца Ивана» снова приблизился. Он подкрадывался, будто хищный зверь, мягко, на цыпочках, но глаза у него все равно были пустыми, мертвыми — ни единой искорки!

— Сейчас же говори, у кого украл продукты и кто твои хозяева?!

Ответил, что не понимает по-немецки.

Гитлеровец схватил стоявший в углу металлический прут, ударил Володю по голове и закричал:

— А что делается под Москвой, это ты понимаешь?! — И, придя в ярость, принялся бить паренька куда попало.

Володя снова упал. Он уже и в самом деле не понимал, что выкрикивает, о чем спрашивает этот палач. Стало как-то легче переносить новые удары; казалось, в комнате все больше и больше солдат и офицеров, все двоятся, троится, множится и стены раздвигаются... Потом почувствовал, что его куда-то тащат. Его выволокли во двор, бросили в машину и повезли.

Пришел в сознание, лежа на холодном каменном полу из серых плит в камерке метра два шириной и столько же длиной. Перед глазами — железная дверь с маленьким квадратным глазком вверху. Почти под потолком узкое, зарешеченное окошко, так что можно было видеть только клочок неба. С одной стороны, в специальной нише, — прижатая к стене кровать, похожая на вагонную полку. Понял, что это тюрьма, камера-одиночка.

Было душно, мучила жажда. Паренек хотел повернуться, но не смог. Когда попытался подняться, страшная боль заставила снова лечь. Володя лежал и думал, как все-таки живуч человек, сколько он может вытерпеть! А сколько он, подросток, испытал всяческих издевательств, побоев. И за что? Что плохого он сделал за свою короткую жизнь?!

Хотя юноша страдал от нестерпимой боли, но ему приятно было сознавать, что не выдал лагерным охранникам людей, которые помогали ему, и те не пострададут. Твердо решил: «Пусть делают со мной что угодно, никогда не расскажу ни о Лине, ни о велосипеде, ни о деде Оршмане». Володя понимал: если признаться, что он из Каульсдорфа, то спросят, как он добрался до Ансбаха, а сказать о велосипеде — значит, Лина окажется в концлагере.

Володя даже усмехнулся, так легко стало у него на душе, когда подумал, что этим добрым людям ничто не угрожает. Волновался он только из-за велосипеда...

У него было достаточно времени, чтобы все вспомнить, обдумать. Иногда, обессиленный, он впадал в полузабытье, а очнувшись, снова оказывался в плену тяжелых дум.

Как неожиданно резко — и в какой раз — изменилась его жизнь! Вчера ночевал в Каульсдорфе, сегодня — в тюрьме.

Весь день и всю ночь никто не заходил в камеру, не открывал дверь, даже не заглянул в глазок. Володя не знал, чем это объяснить. На следующий день утром кто-то приоткрыл глазок и снова закрыл его. За дверью слышался топот, похоже, много людей проходило в одну сторону, потом, через некоторое время, — назад.

Страшно хотелось пить. Хотя бы каплю воды! Во рту пересохло, губы распухли, не смыкались и казались не своими...

И вдруг неожиданно бряцнул засов. Вошел худощавый пожилой немец с небольшими усиками под носом. На голове — высокая фуражка. В руке он держал кружку с водой, а на ней — кусочек хлеба и маленький квадратик красного повидла. Он, не сказав ни слова, поставил кружку на стол, привинченный к полу под окном. Потом вышел и запер за собой дверь.

Володя выпил кружку воды одним духом. Снова и снова переворачивал кружку, ему чудилось, что на дне еще есть вода...

Через некоторое время с Володей стало происходить что-то странное... Он начал бояться каждого шороха за стенами камеры. Стоило услышать шаги в коридоре, как начинал трястись от страха. Ему каждый раз казалось, что это его идут допрашивать. До синяков на теле, на лице нельзя

было дотронуться, от одной мысли, что его снова будут бить, раны еще больше болели.

Было такое ощущение, словно «убийца Ивана» содрал с него кожу и от одного только прикосновения к телу брызнет кровь.

О смерти не думал и не боялся ее, смерть представлялась ему как что-то уже пережитое — черные волны от ударов автомата охранника возле лагерной лазейки или от пыток офицера постепенно становились мягкими, неболезненными, убаюкивали и легко уносили в бесчувствие.

В минуту слабости, ежась от страха, однажды подумал: «А что если рассказать все? Ведь они, старик Оршман и Лина, такие же немцы, как и эти, что издеваются надо мной, ну и черт с ними со всеми!.. Нет, нет! — все в нем восстало. — Они не такие». Снова вспомнил лагерь, фрау Сантерс, маленького Вилли, Софи, Ахнес, Марие-Бриките. Нет, это невозможно!

Ругал себя потом за такую гнусную мысль. Как могло это взбрести ему в голову! Неужели он становится похожим на фашистов, для которых важен не сам человек, а его национальность? Пусть приходят самые свирепые палачи, пусть делают с ним что угодно, но друзей он не предаст. В конце концов, во всем виноват он сам. Надо было еще подождать возле лагеря. «Но мне так не терпелось увидеть Анатолия! И хотелось побыстрее уехать из Ансбаха — надо было торопиться в Каульсдорф, вернуть Лине велосипед», — оправдывался он сам перед собой.

Снова припомнилась поговорка: бог не выдаст — свинья не съест! «Ох, бабуся, родненькая. Вот бог и выдал, и свинья почти съела...»

Но что дальше? Почему держат здесь и не допрашивают больше? Надо что-то придумать, чтобы свинья не сожрала совсем. Может быть, передать записку фрау Сантерс? Но как? Да и где взять бумагу, карандаш?

Еще его терзала мысль, что дед Оршман и Лина подумают, будто он позарился на новый велосипед и сбежал. И хотя бы для того, чтобы не подумали так, хотел подать им весточку из тюрьмы.

Вечером пришел тюремщик и поставил на стол глубокую металлическую миску, в которой было около полулитра бурды. Хлеба уже не принес. Володя с трудом проглотил этот суп... Губы распухли, и суп пришлось пить, потому что не дали ложку. Он облился, но все же выпил. На третий день — снова кружка воды и кусочек хлеба с повидлом, а вечером — суп...

Через некоторое время в камеру ввалился огромного роста немецкий офицер: рукава засучены, полный, чисто выбритый — все на нем блестело. А с ним — старичок, маленький, худощавый, с небольшой бородкой, в белом халате, из-под которого виднелся военный мундир. Догадался — это врач.

Старик ощупывал его руки, ноги, заглядывал в рот. Кровоподтеки и раны смазал какой-то жидкостью: от нее холодило и стягивало кожу. Продолговатое лицо старика на первый взгляд казалось добрым, но, когда он осматривал Володю, сжимая своими руками словно железными клещами, это лицо становилось неприятным, даже хищным...

На следующий день парня вывели во двор. Тюремщик сказал, подняв палец, что прогулка будет длиться час, а потом — снова в камеру. Володя сел на цементную дорожку под стеной корпуса и стал осматриваться. Во дворе тюрьмы было много зданий, кухня, сарай. Вокруг — кирпичная стена метра четыре высотой, над нею несколько рядов колючей проволоки.

Как хорошо было на свежем воздухе! Небо чистое, без единого облачка. Тихо, тепло. И хотя болели голова, руки, ноги, ныла каждая клеточка, Володя полной грудью вдыхал воздух и блаженствовал.

В конце двора, возле одноэтажного здания, работало около десяти заключенных. Одеты они были в полосатые пижамы, на ногах — деревянные башмаки, которые гулко стучали по каменным плитам.

Володя смотрел на узников и думал: «Что значит эта прогулка на свежем воздухе? Зачем приходил врач? Кто-то позаботился обо мне? Но кто?.. Нет, не может быть! Ведь друзья не знают, что я здесь... Но все же отношение ко мне изменилось...»

Вдруг к нему подошла низкого роста, худенькая женщина лет тридцати. Была она в таком же полосатом костюме, как и работавшие во дворе заключенные.

— Добрый день! — промолвила женщина, хотя еще было утро. — Меня зовут Мартой, а тебя как?

Володя ничего не ответил, у него не было желания беседовать с этой Мартой.

Но она не отставала:

— Мне сказали, что ты хорошо понимаешь немецкий язык, выслушай меня, пожалуйста. Мне так хочется с кем-нибудь поговорить, поделиться своим горем и разделить горе другого человека, попавшего сюда.

— Что вам нужно от меня? . .

— Меня прислали, чтобы выведать у тебя, откуда ты, где работал. Для них это очень важно. Ты можешь ничего не говорить. Мне приятно будет, даже если ты только выслушаешь меня.

Володя смотрел на нее, все еще не понимая, что нужно от него этой женщине.

А Марта продолжала:

— Я в тюрьме с тех пор, как Гитлер, то есть фашизм, захватил власть. Все годы просидела в одиночной камере. Вначале думала, что сойду с ума, но потом привыкла. В этом году мне впервые разрешили выходить во двор на прогулку. Иногда помогаю на кухне, но разговаривать с кем-либо мне запрещено. Поэтому, когда послали к тебе, я с радостью побежала, тем более что никогда не видела советских братьев.

Она внимательно огляделась.

— Возможно, нас подслушивают, но я их не боюсь, — мы, немецкие коммунисты, верим, что фашизм скоро будет уничтожен.

«Коммунистка! — Сердце Володи забилось чаще. С каким-то особым чувством посмотрел он на эту маленькую смелую женщину. Ведь он тоже

впервые в жизни видел немецкую коммунистку. — Но правду ли она говорит? Почему гитлеровцы подослали заключенную? Да и заключенная ли она? Других женщин во дворе не видно...»

Он спросил:

— Почему их так интересует, где я работал?

— Этого не сказали, но я знаю, что фашисты выискивают и уничтожают своих противников и среди немцев. Для них безразлично, где ты работал, им надо знать фамилию того немца, который тебе чем-то помог, вошел с тобой в контакт. У фашистов есть специальный отдел, который следит, чтобы тыл, с их точки зрения, был чист...

Володя сразу вспомнил о своих страхах и кошмарах, о своей минутной слабости в камере и почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Ах, — добавила женщина, без какой-либо связи с предыдущими словами. — Если б можно было, я бы проговорила с тобой до вечера, я знаю очень много интересного и важного. Если выйдешь отсюда, я дам тебе поручение... Я сделаю все, чтобы меня снова послали к тебе, товарищ, а пока что слушай...

Но слушать ее больше не пришлось. Появился немец-охранник и отвел Володю в камеру.

На следующий день его никуда не выводили, ни воды, ни супа, ни хлеба не принесли. Сначала он не очень верил Марте. Но теперь понял, что тюремщики разъярились на него и что Марта говорила правду. Она ничего им не сказала, ибо и Володя ей ничего не поведал. Да она и не настаивала, а рассказывала только о себе. Поэтому захотелось снова повидаться с этой женщиной, ведь она обещала рассказать ему много интересного, а также дать какое-то важное поручение...

9

В полночь Володю разбудило гроыхание двери. В камеру вошел тюремный надзиратель, с ним жандарм и еще один штатский — низкого роста. Он остался возле двери. Надзиратель и жандарм подошли к парню и осветили его лицо фонариком.

— Вставай, выходи!

Когда-то Володю очень угнетали резкие перемены судьбы: сегодня одно, а завтра вмиг все меняется, в большинстве случаев на худшее. Каждое такое изменение обстановки, неизвестность, которая внезапно накрывала его своим черным плащом, вызывала панический страх, очень волновался, пока не выяснял, что с ним будет дальше. Но постепенно, казалось, свыкся со всем: побои в полиции, допросы — все это стало буднями. Иногда даже радовался, когда за непокорность угрожали тюрьмой. «Пусть тюрьма, — думал. — Но все равно на вас, гадов, работать не буду, а если и буду, не много вы пользы от моей работы получите».

Но в этот раз он неожиданно пережил в тюрьме ужасный приступ страха и малодушия, после чего долго корил себя и мучился. Потом, когда прошел страх и устал от самобичевания, им овладело такое безразличие к себе и своей судьбе, как никогда раньше. Поэтому, когда жандармы сказали: «Вставай, выходи!» — отнесся к этому совершенно спокойно: ни о чем не думая, поднялся и пошел следом за ними.

Побои еще давали о себе знать, и он едва тащился по коридору. Один из конвоиров толкнул в спину: «Шнсль!» У парня потемнело в глазах — мерзавец ударил в правую лопатку, которой очень досталось во время допроса.

Долго шли по коридору, потом спустились по ступенькам в подвал и из этого подземелья вышли во двор.

Ночь была темная, звездная и очень холодная. Возле выхода из корпуса надзиратель стянул с Володи пижаму. Раздетого до пояса, его повели дальше, через весь двор.

У высоких железных ворот стояла крытая брезентом машина. Один из жандармов сел рядом с водителем, которого с трудом разбудили, крича: «Фриц, поехали!» Низенького роста мужчина, сопровождавший Володю, полез вместе с ним в кузов. В кузове вспыхнула маленькая лампочка, и Володя узнал врача, который приходил в камеру и смазывал ему раны.

Как только заработал мотор, кто-то крикнул:

— Самолеты!

Мотор затих, свет погас.

Володя прислушался. Где-то очень высоко гудел самолет. Это удивило. Чей самолет, откуда мог взяться? Да чей бы он ни был, Володя обрадовался, видя, что немцы испугались, как мыши, даже прекратили разговор. Тотчас заревела сирена — ночью она выла особенно громко.

Володя подумал: «Немцев стали беспокоить в таком далеком тылу, это уже хорошо».

Когда сирена завывала еще раз, машина тронулась.

Ехали с большой скоростью, долго. Володю без конца подбрасывало на твердой скамье, толчки болью отдавались во всем теле, будто бы не колеса, а он сам перекатывался через каждый ухаб, цеплялся за каждый камушек.

Он хватался руками за железный каркас, на который был натянут брезент, за скамью, но делал это инстинктивно, потому что мысли кружились вокруг одного: что его ждет, куда и зачем везут.

Через некоторое время, когда выехали на ровную асфальтированную дорогу, врач дал Володе куртку; от нее несло лекарствами.

— Озяб, да? На, надень, — сказал он.

«Догадался наконец, когда я уже промерз до костей...»

Потом врач начал разговор:

— Ты совершил большое преступление. В лагерь военнопленных никто не имеет права заходить. А ты мало того что пробрался, еще и вел враждебную пропаганду, распространял слухи о фронте. Узнать их ты мог только от большевиков, которые разной ложью засоряют эфир. Ты — хороший паренек и должен вспомнить, у кого из немцев слушал радио.

Володя ответил, что нигде ничего не слушал и вообще ничего не помнит.

— Ваши так избили меня, что и сейчас все тело болит, а голова гудит как колокол.

Врач немного помолчал, а потом добавил:

— Ты заслужил расстрел, но я спас тебя. Да, да, именно я, не забывай этого!

Врач говорил ласково, но Володе почему-то неприятно было слушать его и не верилось, что он спас его от расстрела. Юноша уже привык подозрительно встречать каждого нового человека, особенно если это — немец... Но — врач!..

Правда, Володе редко приходилось иметь дело с врачами, и он знал только добродушного усатого толстяка, время от времени проводившего в школе медосмотр, которого все называли не по имени и отчеству, а торжественно — «доктор Иващенко». Дети слышали, что он человек заслуженный, тайком лечил красных, отдавал раненым свою кровь и однажды дал ее столько, что сам едва выжил...

Рассматривая при мерцающем свете тусклой лампочки худощавого старичка, который мирно сидел напротив на бортовой скамейке, Володя мысленно ругал себя:

«А может быть, действительно он хороший человек, пожалел меня и забрал к себе домой. Ведь бывают же порядочные немцы, как Лина, фрау Сантерс, дед Карл. Встречаются даже такие, как Марта! Когда в камере смотрел на него, он показался похожим на хорька, который вот-вот оскалит зубы. Но первое впечатление часто бывает ошибочным...»

Стал вспоминать каждое сказанное им слово. Потом мысли его перенесли в лагерь, к пленным, толпившимся вокруг него в бараке. Очень хорошо сохранился в памяти взгляд стоявшего у двери мужчины, когда передавал беднякам узникам услышанное по радио. Этот человек и донес фашистам. Но кто он? Если бы встретить кого-нибудь из барака и сообщить о нем. Тогда пленные так увлеклись рассказом о новостях с фронта, что, безусловно, не заметили его.

Володя решил, что если действительно будет работать у врача, то через некоторое время попробует выпытать, кто сказал гитлеровцам, что в лагерь пришел посторонний. Интересно, есть ли у этого предателя душа, есть ли у него сердце? Видимо, нет! Надо быть страшнее зверя, чтобы выдавать фашистам своих товарищей по несчастью.

Машина остановилась. Врач спросил, что случилось. Из кабины ответили: «Закрыт переезд».

Двое в кабине закурили, начали разговаривать.

— Куда мы едем, далеко еще? — не выдержал Володя.

— От этого переезда километров около пяти, едем в Фехтванген... Городок поменьше Ансбаха, но красивый, построенный давно. Памятник нашим великим людям...

Володя не спросил, каким именно великим людям, — это его сейчас не интересовало.

— А сколько километров от Ансбаха?

Немец сердито бросил: «Замолчи!»

Прошел скорый поезд. Машина двинулась дальше, но вскоре остановилась.

Врач с Володей сошли. Вокруг темно, холодный влажный ветер пронизывал до костей. Машина развернулась и укатила.

Новый хозяин подвел Володю к двери большого дома и нажал кноп-

ку звонка. Им открыла высокая худощавая женщина. Она поклонилась, здороваясь с врачом.

Вошли в полутемную комнату, освещенную небольшой матовой лампочкой. Женщина была в длинном сером платье, на голове — белый накрахмаленный платок, как у монахини, с красным крестом. Володя понял, что это — медсестра. Войдя в помещение, он определил по запаху, что попал в больницу.

Врач что-то сказал сестре — что именно, Володя не разобрал, — потом ушел.

— Пойдем! — приказала сестра.

Они поднялись по ступенькам и пошли по длинному коридору, тоже едва освещенному. В конце, у стены, стояла железная кровать.

— Это твоя. Ходить ни в коем случае нельзя — больница, понял?

Потом наклонилась и показала плоскую бутылку, которую тут же поставила под кровать.

Матрац был твердый, набитый соломой, такая же подушка, — все какого-то синего цвета. Когда Володя лег, женщина накрыла его простыней из грубого, жесткого полотна.

Володя и раньше плохо себя чувствовал, а после поездки в кузове, где перемерз, ему и совсем стало худо. Поэтому, когда лег, показалось, что в жизни еще не знал такого блаженства, несмотря на голод и жажду, терзавшие его. И в то же время в голове роились тревожные мысли: «Что все это значит? В первые дни, когда меня привезли в тюрьму, я был полумертвым, и никто не позаботился о том, чтобы дать мне хоть каплю воды, а не то что лечить. А сейчас, когда мне лучше, почему-то привезли в больницу!»

Неизвестность, неизвестность... Она, видимо, решила никогда не оставлять парня...

Хотелось верить, что врач действительно взялся поставить его на ноги. «Возможно, за всем этим что-то кроется», — подумал Володя, но как узнать, что именно? С этими мыслями и уснул.

* * *

Проснувшись рано утром, он стал внимательно разглядывать коридор, в котором лежал. Жизнь среди врагов, постоянные опасности, преследования и гонения, когда каждая минута могла стать последней, приучили к наблюдательности — ничто не проходило мимо цепкого взгляда юноши.

С привычной подозрительностью он шарил сейчас глазами по всем углам коридора. Справа и слева было много дверей, которые, очевидно, вели в палаты... Постепенно начали собираться врачи, сестры. Все подходили к Володе, рассматривали, словно какое-то диво, говорили: «Русский!» — и удалялись.

Позже молодая полная женщина, тоже в сером платье и белом накрахмаленном уборе на голове, принесла ему какое-то свернутое тряпье.

— Снимай штаны и надевай это!

Володя сел на кровать и потупился от смущения. Как-то неудобно было раздеваться при ней... Сестра стояла и ждала. Володя поднял голову, посмотрел на нее, а она как закричит:

— Ну, быстрее, я пришла к тебе не на свидание!

Вдруг ему почему-то стало смешно. Вспомнил, что такую же фразу произнесла и фрау Рита Сантерс возле лагерной ограды, когда он стеснялся переодеваться при ней. Вспомнив фрау Сантерс, успокоился и подчинился. Женщина забрала его штаны и унесла. Володя надел длинную, ниже колен, больничную рубашку и лег на свое место.

Весь день он наблюдал, как кипела работа. Бегали по палатам, перевозили больных из одной в другую, разносили завтрак, обед, ужин. Володе почему-то ничего не давали. Вечером к нему наконец подошли, но только для того, чтобы взять кровь на анализ.

Рабочий день закончился. Суeta в коридоре прекратилась. Лишь иногда раздавались приглушенные звонки, и сестры бежали в палаты.

Володя позвал сестру, проходившую мимо, ту, что одевала его:

— Мне хочется есть, я и вчера ничего не ел.

Она молча посмотрела на него. «Сытый голодного не разумеет,— подумал Володя.— Тем более когда сыты такие толстокожие люди...»

— На тебя еще не выписали паек,— ответила женщина. Потом подумала немного и сказала: — Пойдем.

Он поднялся и побрел за нею. Подошли к какой-то палате, сестра открыла дверь.

— Ты не входи.

Володя увидел большую светлую комнату. Пол блестел как зеркало, всюду — белоснежная чистота. В комнате стояло шесть кроватей с выкрашенными в черный цвет табличками, на которых были написаны фамилии больных и, очевидно, делались отметки о температуре; возле каждой койки — тумбочка. Через большие окна виднелся город, шпиль высокой кирки с часами. На постелях лежали больные; двое о чем-то говорили сидя. В углу стояла застеленная кровать, видимо свободная.

Больные тоже были в длинных рубашках. Сестра обратилась к ним: — У кого осталась какая-нибудь еда?

Володя давно заметил, что немцы очень экономят продукты, ничто у них так не контролируется, как съестные припасы.

Он переступил порог палаты, и двое сидевших удивленно посмотрели на него, потом полезли в свои тумбочки. Один вытащил небольшой кусочек домашнего хлеба, второй дал два яблока.

Они что-то спросили на местном диалекте. Володя ничего не понял, разобрал только слово «рус», сказанное сестрой. Тогда тот, который дал два яблока, подошел и забрал их. Юноша стоял, держа хлеб в вытянутой руке, ожидая, что и хлеб отберут. Но второй больной махнул рукой, мол, пускай. Володя поблагодарил и вышел из палаты.

Ночью захотелось пить, и он позвал сестру. Но никто к нему не подошел. Подумал, что дежурная сидит в какой-то комнате и выходит только на звонки из палат. Снова позвал, громче, и снова — напрасно.

Тогда поднялся. Идти было неудобно: одна тапочка спадала с ноги, а вторая едва налезала на пальцы. Взял их в руки и босиком двинулся по коридору. Тихонько заглянул в палаты: все спят, всюду полумрак.

Блуждая, попал в комнату, где стояли ведра и щетки на длинных палках. Тут увидел еще одну дверь. Вышел через нее в другой длинный

коридор. В конце коридора — снова дверь. Он открыл ее, шагнул — и чуть было не упал. Лестница спускалась круто, снизу тянуло сыростью, холодом. Догадался, что это ход в подвал.

В подвале натолкнулся на нары, выложенные кафельными плитками. На некоторых из них что-то лежало, но он не стал рассматривать и пошел дальше. Снова дверь, снова комната, в ней было несколько ванн с кранами. «Наконец,— обрадовался Володя и сам себя похвалил: — Сумел же в темноте, в таких закоулках найти воду!»

Немного приоткрыв кран, испугался: в трубе сильно загудело, открыл больше — гул затих.

Наверное, еще никогда не пил так, как сейчас. Боялся, живот лопнет. «Жаль, что нет посуды,— подумал. — Да ничего, теперь знаю дорогу и в следующий раз дойду быстрее».

Возвращаясь, Володя приоткрыл еще одну дверь и увидел огромное помещение со стеной-воротами. «Значит, сюда заезжают машины», — сделал он вывод. Боясь заблудиться в многочисленных комнатах, в переходах, пошел обратно. Уже в коридоре, где стояла его кровать, встретил сестру, вышедшую из какой-то двери. Очевидно, она была полусонной, потому что ступала неуверенно, пошатывалась. Володю она не заметила.

Он сильно замерз. Забравшись в постель, согрелся и вмиг уснул.

* * *

Утром Володя получил порцию мелко нарезанной вареной зелени и граммов двести хлеба. Вечером принесли суп.

Прошло несколько дней. Юноша никак не мог понять, почему его держат в больнице — ведь его никто не лечит, даже не подходит. Врач, который привез его сюда, тоже не показывался. Поговорить с сестрами, расспросить, зачем он тут, не удалось. Были они какие-то молчаливые и злые, больше походили на ведьм, чем на сестер милосердия.

10

Однажды вечером, когда в больнице утихла дневная суeta, к Володе подошли две сестрички. Обе молоденькие, светлоглазые, миловидные, словно близнецы; в сравнении с теми, которых до сих пор тут видел, они показались очень симпатичными. С ними был и тот самый низенького роста врач. Сестры называли его просто: «Доктор».

Принесли стул. Врач сел возле Володи. Девушки готовили какие-то баночки, пробирки. Называли все какими-то непонятными словами, очевидно по-латыни.

Потом врач открыл небольшой чемоданчик, достал длинный толстый шприц с иглой.

Володя подумал, что ему будут делать укол. Но зачем? Да и шприц очень большой, такой он видел впервые.

Одна из сестер взяла его руку, вторая наложила повыше локтя резиновый жгут — вена на руке сильно вздулась, казалось, вот-вот лопнет.

Врач ввел иглу в вену и стал медленно тянуть на себя поршень. Большой шприц, на котором было много делений, наполнялся кровью.

Потом Володе дали клочок ваты и, взяв свои инструменты, все трое молча ушли.

* * *

Через день они снова пришли и взяли кровь из другой руки. Володя заподозрил, что его держат здесь для того, чтобы брать кровь. Правда, он еще надеялся: возможно, так и нужно. Ведь сначала взяли из одной руки, потом из второй. Но когда стали приходить постоянно, окончательно убедился в том, что из него просто высасывают кровь.

Вскоре он почувствовал себя совсем плохо. Кружилась голова. Володя не смог отойти от кровати, упал.

Одна из сестер стояла в сторонке и наблюдала за ним. Но не подошла. Володя еле влез на кровать, закрыл глаза и долго так лежал, не зная, что предпринять.

* * *

На следующий день, в то же самое время, снова явились миловидные девушки и врач. Когда Володя увидел их идущими по коридору, задрожал так, что кровать заходила ходуном. Ему больше эту процедуру не выдержать. К рукам больно было притронуться, не то что колоть. Едва сестры приблизились, закричал не своим голосом:

— Не дам, у меня болит голова! Можете отправить в тюрьму, можете повесить, но высасывать из меня кровь не дам!

Услышав его крик, больные выглянули из палат. Лицо врача стало страшным, звериным — хорек оскалил зубы! Сильными костлявыми руками он цепко ухватил Володю за плечо, и тот, бессильно перевернувшись на бок, упал с кровати. Немец толкнул его ногой в спину, что-то сказал сестрам — и все ушли.

* * *

Больше они не приходили. Володя чувствовал себя очень плохо. Ночью и днем думал только о том, что делать, как ему быть, что еще могут придумать эти звери в белых халатах.

Оставалось одно — бежать. Но куда, как?.. Вспомнил путь в подвальную комнату, где пил воду. Там непременно должен быть выход на улицу. Но где взять брюки, ведь не только он, но и немцы лежали в больнице в одних сорочках. Что же делать? Остаться тут дольше нельзя. Уже хорошо понимал, что если останется, — то навсегда: на своих ногах отсюда не выйдет. Безразличие, покорность судьбе, овладевшие им после тяжелых побоев в тюрьме, сменились лихорадочным желанием во что бы то ни стало вырваться из рук врагов.

Неделя прошла без перемен. Кусочек хлеба, который ему давали, прятал под подушку. Решил: если благополучно выберется из больницы, направится в Каульдсдорф. Не может быть, чтобы дед Оршман не помог ему еще раз!

По коридору, в котором лежал Володя, днем проходили больные. Кто на костылях, кто с палкой. Стал присматриваться: ведь они как-то выбирались на улицу, но как? Больница была большой: столько палат, дверей, коридоров! Как определить, где выход?!

В субботу утром снова пришел «добрый доктор». Володя не видел его, потому что лежал спиной к проходу, но когда тот взял Володю за руку, повернулся и сжался под его хищным немигающим взглядом...

Врач вытащил из кармана большие часы, держал его руку и смотрел на стрелки. Потом что-то записал на бумажке и ушел. Вскоре сестра принесла термометр.

Володя сказал ей, что болит голова. Сестра пришла вторично, дала квадратную кристаллическую таблетку, приняв ее, он проспал весь день.

Проснувшись вечером, Володя очень сожалел, что пропустил обед, ибо теперь его не накормят.

Почти до полуночи лежал, наблюдал за теми, кто ходил по коридору. Наконец постепенно все затихло. Он остался бы здесь еще на несколько дней, но после сегодняшнего прихода врача заторопился. Был уверен, что этот немец не оставит его в покое.

Глубокой ночью он поднялся с кровати и двинулся по коридору. Решил, что если встретит кого-нибудь, скажет, что ищет воду.

Заглянул в одну из палат — тихо, все спят. Почти под самым потолком горела фиолетовая лампочка. Какой-то больной бормотал во сне. Володя вернулся в коридор.

Подумав, снова вошел в эту палату. Руки и ноги дрожали, стало душно.

Володя сел на стул возле тумбочки. На ней лежали два больших пряника прямоугольной формы, какая-то банка. Недолго думая, взял со спинки кровати пижаму, под кроватью — тапочки. Все это вместе со съестным связал в узелок и вышел в коридор.

В это время в какой-то из палат раздался стук, будто что-то упало. «Что делать?! Сейчас прибежит сестра!» Володя шмыгнул в дверь, ведущую в подвал. Спустился по лестнице, хотел одеться, но передумал: еще встретит кого-нибудь, а может, придется, если не найдет выхода, возвратиться. В таком случае бросит узелок, потому что с пижамой идти к своей кровати нельзя.

В комнате с ваннами, как и в прошлый раз, напился воды и направился к тому помещению, где были ворота для въезда машин. Долго шарил руками по стене. Наконец в углу нащупал небольшую узкую дверь. Да, ему очень повезло — дверь была не заперта! Володя надел пижаму и вышел из больницы.

На дворе его встретила холодная, непроглядная ночь. Сначала растерялся — такая темнота окружила его, но постепенно глаза привыкли к

ней. По бокам увидел бетонные стены метра по три высотой, крутой подъем вел к воротам, стены постепенно снижались. Это был каменный въезд.

Володя вскарабкался на стену и прыгнул на широкий двор, осторожно ступая, миновал небольшие домики, разбросанные по территории больницы.

Вскоре оказался возле ограды: четырехугольные столбы, а между ними железная фигурная сетка. Собрав последние силы, перелез через нее и поспешил как можно дальше уйти от страшного места.

...Брел по городку, куда — и сам не знал.

Фехтванген спал. Тишина, темень, нигде ни души...

Хотелось поскорее выбраться в лес или в поле. Но дома тянулись бесконечно долго. Улицы были такие узенькие, что казалось, крыши соединяются вверху и закрывают небо. Володя старался держаться поближе к стенам. К счастью, пижама была темного цвета и незаметна в ночной мгле.

Вышел на небольшую площадь, в конце которой возвышалась кирка и тянулся белый каменный забор.

Свернул направо и очутился на перекрестке. На столбе четыре больших стрелки. На одной еле прочитал: «Нюрнберг — 180 км». На стрелке, указывавшей в ту сторону, откуда пришел, значилось, что до Ансбаха семьдесят километров. Вот так неожиданность! Оказывается, шел в противоположную сторону, а семьдесят километров — не близко. Как быть, где спрятаться, ведь скоро утро?

Подумав немного, повернул обратно. Знал, что, если возле кирки каменная ограда — значит, есть кладбище. Ничего другого не оставалось, как укрыться там.

Голова у Володи кружилась, ноги дрожали от слабости; если бы поймали, не сопротивлялся бы, так хотелось лечь — упасть и не двигаться. Усилием воли заставил себя перелезть через ворота, зацепился за острый прут и разорвал пижаму.

Вспомнил давние истории бабушки о появлении ночных привидений на кладбищах; прижался спиной к ограде и какое-то время стоял так, издали рассматривая могилы и памятники. Ах, бабуся, бабуся! Думала ли ты, что когда-нибудь твоему внуку придется прятаться на кладбище в далекой чужой Германии?!

Впрочем, ее внук скрывался от более омерзительных и страшных существ, чем сказочные оборотни и упыри...

Не удаляясь от ограды, прошел в дальний угол кладбища, выбрал место позади широкого памятника и сел. Травы нигде не было, чистые дорожки посыпаны белым песком, а могилы — с боков и сверху — сплошные каменные плиты. Пришлось устроиться прямо на земле.

Все было бы хорошо, но Володя стал зябнуть, и вскоре его затрясло от холода...

Светало, занимался день.

Недалеко от кирки ходил возле могил какой-то старик, что-то делал. Володя с тревогой следил за ним. «Еще, гляди, сюда подойдет!»

В кирке зазвонил колокол, начали собираться мужчины и женщины, одетые в черное. Володя совсем разволновался. Воскресенье! Неужели будут ходить по кладбищу?

Он осмотрел свою одежду: пижама серая, с зелеными манжетами из какой-то ворсистой материи. Днем появляться на улице в таком виде, конечно, нельзя. Продукты пока что были. Банка, взятая в палате, оказалась со сгущенным молоком.

Весь день Володя провел на кладбище.

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

ОН сидел рядом, но я ЕГО не видел. Очевидно, и ОН не видел меня.

НАС уже давно не было в этой темной комнате с черными, будто бархатными стеклами, за которыми покачивалась тонкая, оголившаяся к зиме веточка молодой вишни.

Я уже давно вместе с НИМ бежал по ночным улицам Фехтвангена, и за мной охотились жандармы, как за диким зверем, и я, затравленный, гонимый, блуждал среди горных ущелий над бурным Рейном; с больной ногой шел через всю большую Германию...

И голоса ЕГО уже не было. Хриплого от волнения. А был только шепот, шепот ЕГО израненного сердца.

1

Когда часы на кирке пробили двенадцать ночи и на улицах Фехтвангена замерла жизнь, Володя перелез через ограду и направился в сторону Ансбаха.

Вокруг тишина, улицы не освещены. Юноша очень озяб на кладбище, поэтому шагал быстро, чтобы согреться.

Дальше пошли дома одноэтажные, небольшие, стоявшие все реже и реже. Городок кончился...

На окраине заметил посреди улицы двух мужчин. Возвратился к какому-то строению, напоминавшему колодец с журавлем, и спрятался там.

Прошло с полчаса. Когда люди ушли, Володя осторожно двинулся дальше. Вскоре оказался в поле. По обеим сторонам дороги росли фруктовые деревья. В темноте не было видно плодов, но на ощупь нашел несколько груш, подгнивших яблок.

Володя хотел добраться до Ансбаха. Ведь он хорошо спрятал велосипед в лесу. Нужно взять его и доехать на нем к деду Оршману! В этом единственное спасение.

Через несколько километров, недалеко от дороги, Володя увидел дома, к которым вела узкая улочка. Недолго думая, свернул к ним с намерением раздобыть одежду. Понимал, что в больничной пижаме далеко не уйдешь...

Ночная темнота заволокла все вокруг, и Володя смело приблизился к домам. Убедившись, что нет собак, пробрался в какой-то двор, огороженный низеньким заборчиком. В сарае наткнулся на два велосипеда, поднялся на чердак и нашел там штаны, рабочие рубахи, передники, старые фетровую и соломенную шляпы, похожие на брыли. Тут же стояли мешки с сушеной сахарной свеклой. Володя надел штаны, поверх пижа-

мы — две рубашки, взял шляпу, набил карманы свеклой, вывел велосипед, сел и поехал.

Так повезти могло только в сказке! Но это произошло в жизни. Ехал и радовался: если возьмет правильное направление, то, пересидев где-нибудь днем, на следующую ночь будет на месте.

Проехал одно село, второе, не читая названий, — это ему было не нужно. Знал, что по асфальтированному шоссе попадет в Ансбах. Он очень спешил, однако пришлось задержаться в пути на несколько часов: наелся свеклы, его стало тошнить, и вскоре он почувствовал себя совсем плохо. Здесь же, на поле, недалеко от дороги, лег на землю и, когда полегчало, задремал.

Проснулся от холода. Занималась заря. Леса вблизи не видно, у шоссе сидеть нельзя, вскоре немцы будут выезжать в поле. Как же быть? Правда, теперь на нем рабочие штаны с заплатами, синяя в белую полоску рубашка, черная фетровая шляпа с небольшим перышком сзади. Но как плохо, что не догадался взять с собой грабли или косу. Тогда можно было бы спокойно ехать и днем, все думали бы, что человек спешит на работу.

Теперь приходилось рисковать — нужно поскорее добраться до какого-нибудь леса и там спрятаться на день.

Впереди показались постройки, все чаще и чаще стали попадаться люди. Вежливо здоровались ему в ответ, но каждый провожал взглядом.

Подъехал к селу. Навстречу двигались подводы, запряженные и лошадьми, и коровами, и быками. Медленно проехал мимо указательного столба и успел прочитать: «Кенигсгофен — Миттельфранкен».

По селу катил смело, будучи одет как рабочий человек, но снова пожалел, что не захватил какие-нибудь грабли. Правда, он забыл, что в селе хорошо знают друг друга и обращают внимание на каждого незнакомого человека. Тут и грабли не помогли бы.

Потом издали увидел толпу и, подъехав ближе, догадался, что это крестьяне — женщины и старики — толпятся возле молочного завода. У каждого была небольшая повозка, на которой стояло по несколько бидонов с молоком.

Володя поздоровался и поехал дальше; многие ответили ему: «Доброе утро».

Село беглец миновал благополучно. Снова началось поле, и наконец на горизонте узкой лентой зачернел спасительный лес. Но до леса было еще далеко. То, что без приключений проехал по селу, ободрило и придало сил. «В конце концов, — думал Володя, — кому какое дело, кто я и куда спешу! Ехал ведь с Линой сорок километров, и никто не спрашивал».

Когда вблизи не было людей, останавливался и отдыхал. Сидя на земле, словно замороженный не сводил глаз с манящей черной полосы леса. Быстрее бы до него добраться, а потом все время лесом до самого Ансбаха!

Как только на шоссе появлялся кто-нибудь, Володя поднимался и ехал дальше.

Вскоре начался подъем. Пешком, ведя велосипед, он одолел около километра, а когда забрался на гору, увидел внизу большое село с двумя

кирками. Без препятствий проехав Кенигсгофен, теперь уже не очень волновался, как встретят его в следующем селе.

Мог бы свернуть в поле и пешком обойти это большое село, но ведь и по полю идти не так-то просто. Поля изрезаны на отдельные полоски, и на каждой из них работали люди: кто сгребал солому, кто пахал после жатвы, кто косил скоту зеленый корм. Люди обратили бы на него внимание, если бы шел по полю. Но обо всем этом он подумал позже, когда случилось непоправимое.

Не доезжая до села, Володя заметил, что навстречу мчатся два мотоциклиста.

Через несколько минут юноша уже хорошо различал защитного цвета мундиры сельских жандармов. Приблизившись к нему, один из них развернулся и поехал сзади, а второй ударил передним колесом мотоцикла по велосипеду. Володя упал и, выигрывая время, стал медленно подниматься.

Широко расставив ноги, перед ним стояли два огромного роста «блустителя порядка». Красные рожи у них, казалось, вот-вот лопнут от жира.

Один из них заорал:

— А, вот ты где, собака! Пропуск?

Володя молчал.

— Ты слышишь, тварь, пропуск, ты знаешь порядок или тебя еще надо учить?! — И он со всего размаху ударил резиновой дубинкой Володю по лицу.

Володю словно огнем обожгло — прежние раны еще не затянулись, а тут снова по живому...

Мотоциклы жандармов стояли в стороне, велосипед лежал на шоссе, а эти садисты, обыскивая, молотили его кулаками. Немцы, проезжавшие и проходившие мимо, останавливались, наблюдали. Жандармы вежливо здоровались с ними, но говорили: «Не задерживайтесь, тут нет ничего интересного».

К селу, с той стороны, откуда приехал Володя, приближался на велосипеде какой-то мальчик лет девяти-десяти. Когда он подкатил к ним и затормозил, жандарм сказал:

— Ты настоящий немец, Фриц!

— Я его видел, еще когда он въезжал в Кенигсгофен. — И мальчик засмеялся.

«Какой все-таки я дурак, — подумал Володя. — Ехал днем через все село и радовался своей удаче. А за мной давно следили».

Фриц, улыбаясь, рассматривал Володю, словно какого-то заморского зверька. В глазах пылали азартные огоньки, как у охотника, выследившего дичь. И Володя вдруг вспомнил Вилли — сына фрау Сантерс... Двое немецких мальчиков, но какие они разные!

Жандарм положил руку на плечо паренька:

— Поезжай вперед, Фриц.

Мальчишка быстро понесся в село, потому что дорога шла под уклон. За ним — Володя, сопровождаемый жандармами, ехавшими с заглушенными моторами.

По селу двигались как на параде: со всех сторон люди, молодые и старики — все глазели на пленника, на эту процессию, как на представление.

Свернули в один из дворов, на доме Володя прочитал табличку: «Виргемайстер», что значило: «Староста». Уже знал, что село называется «Унтеркенигсгофен», то есть «Нижний Кенигсгофен».

Беглеца ввели в пустую комнату. Туда заглянула хорошенькая белокурая девушка, две толстые косы ее свисали ниже колен.

— Эмма, позови отца, — попросил ее жандарм, — скажи, что поймали.

Девушка приблизилась к Володе, осмотрела его с ног до головы и, плюнув, вышла.

Вскоре появился небольшого роста, щуплый пожилой мужчина, без головного убора, в волосах стебли соломы. Видимо, его оторвали от работы. Зашел усмехаясь — маленькие усики делали его похожим на шута. Произнес «Хайль Гитлер!», посмотрел на задержанного и бросил:

— Сейчас!

Староста вернулся в черном костюме, в желтой сорочке с черным галстуком, с левой стороны на кармане — значок фашистской партии: коричневый кружок с черной свастикой, немногим более двухкопеечной монеты.

Володя спокойно стоял перед своими палачами. Он уже так привык быть пленником, что особенного страха не чувствовал. Единственно, чего боялся, — побоев, от которых до сих пор ныло все тело.

Староста сел за стол. Вынул из ящика бумагу, чернила, ручку. Один из жандармов долго куда-то звонил по телефону.

— Невысокий, тощий, да, да, белокурый, хорошо, сейчас, — сказал жандарм, положил трубку на стол и, подойдя к Володе, вытащил из-под рубашки воротник пижамы, посмотрел и снова произнес в трубку: — Номер сто один... Пожалуйста.

Староста что-то записал. Потом спросил:

— Имя, фамилия, откуда ты? Зачем взял у больного одежду и продукты? Тебя же лечили, а ты — свинья!

Володя рассказал, как его «лечили», — вынужден был бежать, а одежды не было.

— Он врет, чего вы его слушаете? — вмешался жандарм. — Ты скажи, где украл велосипед. Тебе известно, как у нас за это наказывают?

— Я не воровал, а просто взял, потому что чувствовал себя очень плохо и не мог идти. Думал вернуть его хозяину.

— Да, да, — ответил староста. — Мы знаем, как ты вернул бы, ведь это уже вторая машина, да, вторая!

Володю словно кипятком обдали — вторая! Значит, они проведали и о первой?! Неужели ее нашли в лесу? Рой вопросов вихрем закружился в голове. Ни на один из них не находил ответа. Он окончательно растерялся. Немного помолчал и сказал, что ничего не знает.

— Хорошо знаешь! Нам сообщили, что ты работал в Каульсдорфе, там украл веломашину и сбежал, ты — собака! — закричал староста.

— Я никуда не убегал, а поехал навестить товарищей. — Теперь он

понял, что немцам все известно. — Помогите мне добраться до Каульдсдорфа, я снова буду там работать.

— Нет! — закричал староста. — Нет! Мы тебе найдем другую работу! Понял? Другу-у-ю! Немецкие солдаты погибают на фронте для того, чтобы вас, свиней, научить жить на свете, а ты бунтуешь, симулируешь, не хочешь работать! Немецкие солдаты освободили тебя, спасли от большевистского хаоса, а ты, ты!.. — И он обрушил на голову пленника такой поток брани, что даже привыкший к ней Володя на миг оторопел.

Потом не выдержал и ответил, что не просил гитлеровских солдат освобождать его...

Закончить ему не дали — подскочил жандарм и ударил кулаком в лицо.

— Повесить, только повесить! — кричал он.

После этого Володю долго вели по селу, наконец остановились около глухого высокого забора. Дорога показалась знакомой, — видимо, возвращались назад, туда, откуда под конвоем жандармов он въезжал в село.

Крестьяне задерживались возле них и с любопытством осматривали пленника. Он не обращал на них внимания, стоял и читал плакаты, наклеенные на заборе.

На одном была нарисована пушка, стрелявшая куда-то в сторону, от пушки тянулась длинная вереница солдат с засученными рукавами, со страшными лицами и открытыми ртами. Солдаты передавали друг другу снаряды, у последнего руки были пустые, под ним надпись большими черными буквами: «Немец, последнее отдай фронту!»

Второй плакат — узенький, длинный, на нем море огня. На языках пламени написано: «Победа или большевистский хаос!» Володя сразу вспомнил старосту и его слова. «Наверно, читает все эти лозунги», — подумалось.

Ворота открылись. Юноша увидел территорию какой-то фабрики. Буквой «П» стояло три больших здания из красного кирпича, стены — сплошные оконные рамы. В цехах гудели машины, а во дворе — пусто, ни единой живой души.

Пленника вели через весь двор к одному из этих зданий, потом — по длинному темному коридору и в конце его отцерли небольшую дверь. Втолкнули во мрак, и он услышал, как запирают ключом дверь. За дверью жандарм пробасил:

— Сакраменто, скотина, он не просил освобождать!..

Володя уже жалел, что сказал это, но не мог тогда сдержать себя, возмущение вырвалось как-то само собой. Убийцы, палачи, а считают себя чуть ли не ангелами, даже на пряжках ремней написано: «Готт мит унс».

Стоял на узкой площадке, от нее ступеньки уходили вниз. В темноте их не видел, но то, что подвал глубокий, догадался по сырости, тянувшей снизу.

Вспоминая последние события, которые вконец разрушили его планы, погасили слабый проблеск надежды и дали возможность неизвестности снова плотно закрыть перед ним завтрашний день, Володя медленно спускался по ступенькам.

Подвал был большой — в темноте не разглядеть, — да и не возникало такого желания, хотелось лечь и лежать, лежать. Володе показалось, что у пола немного теплее. Лег, согрелся и, ни о чем больше не думая, уснул...

Проснулся от холода — замерз, зуб на зуб не попадал. Обшарил все уголки подвала, но ничего не нашел, в помещении была только куча угольного брикета, сваленного посередине.

Сел возле этой кучи, с горечью думая о том, что ждет его завтра. Раз жандармы заперли здесь, значит, собираются что-то с ним делать.

Вспомнил сказку о двух лягушках, что вскочили в кувшин со сметаной. Одна сразу сдалась — опустила лапки и утонула, а вторая барахталась, барахталась, пока из сметаны не сбилось масло, и она, встав на комок масла, вылезла на свободу.

Да, надо действовать! Володя поднялся по ступенькам, подергал дверь — заперта! Вдруг подумал: «Шли сюда по одному коридору, потом по второму, затем — по ступенькам, как же могли немцы натаскать сюда столько брикета?» Вспомнил, как у старика Оршмана ссыпали картошку в подвал через верхний люк.

Быстро спустился обратно в подвал и начал взбираться на кучу брикета. Брикет осыпался, ранил руки, колени, но Володя не сдавался. Когда влез и поднял руки, оказалось, что потолок совсем близко. В нем был небольшой квадратный люк. Очевидно, через этот люк и насыпали брикет.

Володя стал на колени, попробовал приподнять крышку люка. Она чуть-чуть поддалась, но все же была очень тяжелой.

Когда, напрягшись, приподнял ее, понял, что люк выходит во двор. Значит, машина заезжала во двор фабрики и брикет ссыпали прямо сюда. «Наверное, фрицы забыли об этом люке, когда запирали меня, — подумал Володя. — Или уверены, что куча не достает до потолка».

Собрав все силы, Володя снова стал поднимать крышку люка. Казалось, что руки вот-вот сломаются вместе с шеей, в локти врезались выступы, образующие крест на внутренней стороне крышки люка; все жилы напряглись, кровь ударила в голову, дыхание остановилось... Какое-то мгновение, но нечеловеческое усилие решало его судьбу!.. И он поднял крышку люка!

Но, тяжелая, она вдруг перевалилась на другую сторону и упала. Конечно, Володя не сумел бы придержать ее, если бы и хотел. Но этого он не предвидел, ибо мозг сверлила только одна мысль — открыть, поскорее открыть!

Была уже ночь. Железная крышка люка, упав на камни, потревожила ее грохотом, похожим на взрыв бомбы.

Володя вылез во двор и помчался по нему. Пробежав немного, увидел угол здания, остановился за ним и, не зная, куда деться, стал оглядываться.

Вдруг по двору забежал луч карманного фонарика и раздался крик: «Стой!»

Паренек что есть духу понесся вдоль стены высокого дома. Слева была

особенно густая темень, и он сразу повернул туда. За ним кто-то бежал, стараясь осветить беглеца фонариком, и все время кричал: «Стой!»

Метров через двадцать Володя очутился возле воды. Эту узенькую речушку он видел еще тогда, когда с жандармами въезжал в село. Бросился бежать вдоль нее, но вскоре наткнулся на высокий забор, преградивший путь.

Преследователь быстро приближался. Немец, зная территорию, бежал уверенно, а Володя метался как угорелый.

Недолго думая, паренек прыгнул в воду — так горел весь, что даже не почувствовал, какая она холодная. Речка была неглубокая, дно илистое, засасывало, пришлось плыть; ширина каких-нибудь десять — пятнадцать метров, а казалось, что никогда не доберется до противоположного берега.

Надеялся, что на этом погоня прекратится. Но, подплывая к берегу, услышал, как охранник тоже бросился в воду. Володя вылез на берег и помчался дальше.

Бежать было трудно — всюду ямы, ухабы от колес, какие-то столбы. Возле одной ямы поскользнулся и упал в нее. Хотя она и была неглубокой, выбраться уже не смог. Лежал и тяжело дышал...

Подбежал немец, осветил Володю фонариком и засвистел в свисток. Где-то далеко отозвались. Охранник так запыхался, что казалось, вот-вот задохнется. Пока переводил дух, все время ругался.

Свет фонарика бил в лицо. Володя закрывался рукой и тоже не мог отдышаться. Как всегда в подобной ситуации, снова и снова ругал себя: «Не надо было спешить, следовало сначала все обдумать!» — и каждый раз эта мысль приходила к нему слишком поздно.

Подошел второй немец. Помогли ему вылезти. Гитлеровец, гнавшийся за ним, ругаясь, так ударил Володю, что тот опять полетел в яму. Его снова вытащили и, держа за руки, повели вдоль речушки.

Гитлеровец, что ударил, был огромного роста, широкоплечий, толстый. Второй — пожилой и маленький. Оба в гражданской одежде. Верзила время от времени бил Володю по голове, показывая на свои мокрые штаны.

Старик не позволял ему бить и все повторял:

— Рихард, перестань. Рихард, перестань, прошу тебя.

Володю снова привели во двор. Втолкнули в небольшое помещение, где было светло, очень тепло, стояло несколько стульев и стол.

Рихард куда-то ушел. Старик сел за стол и впился глазами в Володю. Ноги у Володи подкашивались, он опустился на пол и прижался спиной к теплой стене. Стало так хорошо и легко, словно оказался в постели, в родном доме.

Будто сквозь пелену тумана видел старого немца и слышал его голос:

— Зачем ты убегал! Утром собирались отправить тебя на работу, а теперь... — он пожал плечами.

Возвратился Рихард. Он надел другой костюм, на голове — шапка, похожая на пилотку с большим козырьком, которые носят немецкие горные пехотинцы. Долго разговаривал с кем-то по телефону. Володя понял, что рассказывает о случившемся.

Потом верзила пожелал старику спокойной ночи и удалился. Сквозь все ту же пелену тумана Володя слышал гул мотора. Дверь резко открылась, и в комнату, ругаясь, ворвался жандарм.

— Я должен ночь не спать из-за тебя! — он набросился на Володю и принялся лупить его резиновой дубинкой — очевидно, с металлическим наконечником, потому что после каждого удара лопалась не только одежда, но и кожа.

От боли, бессилия и отчаяния Володя плакал, как маленький ребенок. Ему казалось, что он сходит с ума, не в силах был больше терпеть побои, ведь на теле не осталось места, из которого не текла бы кровь.

В голове все смешалось, и он уже не разбирал, кто избивает его. Жандарм или старый немец, сидящий за столом...

Или «убийца Ивана» в лагере...

Или все это происходит в лесу, возле Здолбуново, когда солдаты поймали его вместе с друзьями...

А потом перед ним, одновременно с большими и малыми кругами, завертелся, заплясал цветистый глобус из кабинета директора школы. Глобус подкатился к ногам, и Володя очутился в самом центре его, среди коричневых гор и зеленых долин, там, где маленькой точкой обозначен Унтеркенигсгофен.

На него летели колья — десятки, сотни, тысячи! Вдруг самый большой превратился в гигантский медицинский шприц, высасывающий кровь. Володя вмиг вырос и достал головой до звезд, которые закружились вокруг него...

Он хотел сесть на Большую Медведицу и проехать до самого Каульдсдорфа по Млечному Пути, о котором так интересно рассказывал учитель Федор Иванович. Ведь Большая Медведица не принадлежала немцам, как велосипед!

Но звезды летели все быстрее и быстрее, поднимая такой ветер, такой вихрь, что он не устоял на круглом вертящемся глобусе. Только и успел промолвить: «За что бьете, что я вам сделал?» — и, потеряв равновесие, закружился вместе со звездами в черном омуте...

Его облили холодной водой, и, когда пришел в сознание, открыл глаза, жандарм вынул из кармана железные кольца, которые Володя видел впервые в жизни, и надел ему на обе руки. Щелкнула пружина, и руки оказались на замке.

Старик немец и жандарм потащили его волоком в тот же подвал, откуда он убежал, бросили на ступеньки и заперли дверь. До утра осталось не так много времени. Однако Володя уже не ждал нового дня: дожить до утра не надеялся.

Но наступило утро и застало его живым. Володю втолкнули в машину и повезли...

2

Сколько проехали — не знал. Очевидно, много километров, потому что прибыли на место только в конце дня. Как потом выяснил, он попал в лагерь в городе Тингельшпиль. Больше всего тут было украинцев из западных областей и русских, немало поляков, несколько чехов.

Через неделю всем надели наручники, построили, окружили овчарками и погнали к станции железной дороги, что километрах в пятнадцати от лагеря. После страшных побоев Володя немного пришел в себя, но все равно едва дотянул до станции.

Для пленников подали состав. Вагоны были не товарные, а пассажирские и очень маленькие. В каждое купе посадили по четыре человека и жандарма с собакой.

Ехали дней шесть. Пленников привезли в новый лагерь, находившийся в глухом лесу, неподалеку от города Бинген, на берегу Рейна, на крайнем западе Германии.

Это был не лагерь массового уничтожения, а такой же, как и в Ансбахе. Газовых печей и камер тут тоже не построили... Пленных пугали, что неподалеку расположен другой лагерь и если попадешь туда, то живым не выйдешь. Но режим и в этом лагере не всякий человек выдерживал. Те, что помоложе и поздоровее, кое-как справлялись с работой, а пожилых, обессиленных каждую ночь группами куда-то увозили, и больше никто их не видел.

Не многим посчастливилось выйти из Бингенского лагеря. Оставшиеся в живых рассказали миру о неимоверных зверствах тех, кто называл себя «высшей расой» на планете Земля.

* * *

Старшие по возрасту пленники, которые попали сюда так же, как и Володя, за то, что не хотели работать на фашистов, с уважением относились к непокоренному пареньку. Здесь были такие, что бежали по нескольку раз.

Володе легко давался немецкий язык, он понимал все, что говорили гитлеровцы. И в Бингенском лагере, как и в Ансбахе, он был самым молодым. На мальчишку меньше обращали внимания, и порой ему удавалось подслушать разговоры охранников.

Как только узнавал что-нибудь интересное и важное, собирал вечером в бараке друзей. Несколько человек становилось у двери на страже, а остальные слушали новости — чаще всего сообщения с фронта.

Нельзя передать, с каким волнением пленники ждали этих вечеров, надеясь, что Володя принесет им радостные вести. Малейший успех Красной Армии, название города, которым фашисты не могут овладеть или вынуждены оставить его, — все это придавало сил, подбадривало, и люди мечтали о почти невозможном — об освобождении.

Володя рассказал о том, что слышал по радио из Москвы у Оршмана, о боях под Москвой, о том, что гитлеровцев далеко отбросили от столицы и вряд ли они там снова попытаются наступать. После обнадеживающих сообщений на худых, изможденных, страшных лицах появлялась улыбка. Пленники смотрели на Володю такими глазами, что ему, пареньку, хотелось плакать... Те, кто слушал эти рассказы, затем передавали другим, в соседние бараки. Приятно было, что поляки и чехи с уважением говорят о Красной Армии — армии, первой остановившей фашистов.

Многие спрашивали: почему, мол, такое огромное государство, как

Советский Союз, допустило на своей земле страшное опустошение, позволило фашистам так далеко пройти в глубь своей страны. Этого никто не ведал, а Володя старался объяснить, обвиняя во всем шпионов.

Однажды ему в руки попал немецкий журнал без обложки и многих страниц. Его во время работы на станции нашел один чех и спрятал под одеждой, за поясом. Потом отдал Володе, потому что сам не знал немецкого языка.

Журнал был очень грязный, помятый, но кое-что разобрать удалось. Володя прочитал, что летом сорок первого года Англия, Америка и Советский Союз договорились о совместных действиях в войне против фашистской Германии. В статье отмечалось, что, мол, Англия и Америка обещали открыть второй фронт в Северной Франции, но это им не удастся осуществить, потому что Германия зорко следит за ними, и север Франции превращен в сплошную бетонную стену.

Новость о соглашении облетела весь лагерь. Пленники радовались, но и возмущались тем, что уже пришла зима, начался сорок третий год, а второй фронт не открыт.

Спрашивали, не пишут ли в журнале, почему англичане и американцы медлят. Ведь второй фронт намного бы облегчил положение на востоке и приблизил бы конец войны. Но откуда паренек мог знать, почему медлят союзники. Он тоже считал, что север Франции, как писала фашистская пресса, очень укреплен и союзники просто боятся наступать. Как и многие, он даже не предполагал, что промедление — суть их коварной политики...

Он никогда не забудет об одном позднем вечере той зимы. Все охранники лагеря вдруг обезумели. Будто на пожар бежали они к дому, в котором устроили себе змеиное гнездо. У всех были испуганные лица, и горе тому из пленников, кто попадался им в этот миг по дороге.

Володя заметил панику и хотел во что бы то ни стало узнать, что случилось. Но как это осуществить?

Недолго думая, почти раздетый, пробрался он к дому, залез под высокое деревянное крыльцо и пролежал там около двух часов.

Дул холодный, пронизывающий ветер, крепчал мороз. Ноги так заоченели, что не мог пошевелить ими. Конечно, то, что передавали по радио, сквозь закрытую дверь нельзя было услышать. Но все выходявшие обсуждали события, связанные с Россией, с Волгой... Сталинград!

Володя радовался, что первым принес эту весть товарищам. В Германии объявили траур, а у заключенных был большой праздник, запомнившийся на всю жизнь. Пленники плакали от счастья.

Утром уже весь лагерь знал последние новости. А немцы превратились в настоящих зверей. Двадцать человек они избили чуть ли не до смерти и куда-то отправили.

Гитлеровцы стали присматриваться и к Володе. Товарищи предупредили его, чтобы он остерегался, не собирал вокруг себя людей.

Расправа над двадцатью несчастными пленниками была только началом. С каждым днем фашисты становились свирепее, потом принялись истреблять беззащитных людей. Заключенных оставалось все меньше, ибо гитлеровцы настолько ужесточили режим, что люди гибли как мухи.

Но новые и новые радостные вести просачивались в лагерь. Победа на Волге, под Ленинградом, победа союзных войск в Африке, где немцы были разгромлены вместе с итальянскими фашистами...

Володя снова мечтал о побеге. Удобного случая долго не представлялось, да и суровая зима удерживала. С волнением ждал наступления тепла, чтобы попытаться вырваться на волю.

В начале апреля сорок третьего года, темной ночью, во время ливня колонна пленников возвращалась с работы на станции. Володя тоже шел в этой колонне. И когда переходили железнодорожное полотно, он наклонился и шмыгнул под эшелон, стоявший на пути.

Так удрал он из Бингенского лагеря, в котором остались к тому времени считанные люди.

3

Все было бы хорошо, если бы не нога. Пробираясь под вагоном, Володя повредил правую ногу ниже лодыжки. Сначала не обратил внимания на боль, но через несколько дней нога опухла, и снять ботинок уже не мог.

Беспрерывно шли дожди. Володя промок до нитки, хотелось обсушиться и согреться. Он блуждал по горной местности, селения встречались очень редко. Это уменьшало опасность, но негде было раздобыть еду. Еле переставлял ноги в деревянных башмаках, идти становилось все тяжелее. Сказывались голод, истощение, травма ноги.

Хромая, вначале шел только ночью. Спотыкался в темноте о камни, цеплялся больной ногой за корни деревьев, падал. Потом решил, что в этих глухих горах можно двигаться и днем. Не имея определенного плана, брел куда глаза глядят, только бы подальше от страшного лагеря. Ему никак не удавалось выйти на дорогу — плутал по густому, безлюдному и, казалось, бесконечному лесу, то взбираясь на высокие холмы, то спускаясь с них в ущелья.

Все эти дни его терзала мысль: как быть дальше, куда деться, куда пойти? В конце концов надумал, что остается одно — пробираться на восток, снова в Ансбах...

* * *

Однажды ночью, идя по еловому лесу, который покрывал склон горы, услышал странные звуки. Неожиданные, они сразу его насторожили. Думал, что здесь вообще нет людей, только лес и горы. Кто же мог оказаться в лесу в такой поздний час? И что делать теперь? Возвращаться назад? Но ведь он столько прошел, хотя каждый метр давался ему нелегко. Володя повернул в сторону, чтобы обойти опасное место. Прошел еще немного и услышал те же звуки.

Сел на землю, долго всматривался в темноту и, не заметив ничего подозрительного, снова стал медленно продвигаться вперед.

Вскоре увидел что-то большое и темное. Осторожно приблизился, руки нащупали деревянную загородку. Это была кошара. В ней полно овец.

Спросонья они блеяли, и издали казалось, что разговаривают люди. «Если есть кошара с овцами,— подумал Володя,— значит, должны быть и люди. Но они, конечно, спят. Опасны только собаки. Если они нападут на меня, будет худо».

Он поспешил уйти от овечьей кошары и, обогнув ее, пошел дальше. Позже сожалел, что не поискал там чего-нибудь съестного.

К утру лес поредел. Та едва заметная тропинка, по которой брел Володя, тянулась вверх. Идти все время вверх было тяжело. Володя не мог уже сделать ни шагу и повалился на землю. Отдохнув немного, заставил себя подняться.

Как только кончился еловый лес, начался кустарник. Чем выше поднимался юноша, тем реже встречались кусты. Володя немного подкрепился: нашел какие-то кислые ягоды, правда прошлогодние, почти сухие, многие из них полугнилые лежали на земле.

А подъем становился все круче. Тропинка исчезла. Володе казалось: вот поднимется на эту вершину — и по ту сторону будет спуск с горы. Но так только казалось: за одной вершиной появлялась другая, за ней третья, и снова — холмы, скалы, камни.

Потом увидел талый снег, а поднявшись еще выше, Володя уже шел по колени в снегу. Стало нестерпимо холодно, мучил голод, болела нога. Ветер бросал в глаза мелкий колючий снег, одежда покрылась ледяной коркой.

Володя остановился, осмотрелся. Вокруг, сколько можно было окинуть взором, громоздились скалы, покрытые снегом или льдом, а впереди лежало высокое белое плато, над которым плыли облака, цепляясь за острые выступы скал...

Огромные грозные горы угнетали своей пустынностью, молчаливостью и суровостью. Хотелось закричать изо всех сил, позвать на помощь.

Но кого?!

Как и когда-то в лесу возле Здолбуново после побега из эшелона, снова он обречен на одиночество. На его отчаянный вопль могло откликнуться только эхо из глубоких ущелий... Володя понял, что забрел в такую глушь, из которой выбраться будет не так-то легко.

Пришлось возвращаться в лес. По пути он снова поел ягод и медленно пошел вниз, где было теплее. В лесу насобирал веток, сделал себе гнездышко и, обессиленный, лег спать.

* * *

Весь следующий день он плелся по лесу, не зная, куда держать путь, и боясь только одного: чтобы случайно не выйти к тому месту, откуда убежал, не выйти к лагерю. Там его ждала смерть.

Когда солнце уже садилось, Володя набрел наконец на какую-то дорогу — узкую, полевую, связывающую между собой села. Вскоре за невысоким холмом ему попался столб с указателем, на котором — название села и цифра — 2 км.

Начал подыскивать место, где можно было бы подождать, пока стемнеет, чтобы ночью пробраться в село и раздобыть еду.

Не успел он сойти с дороги, как увидел, что за ним, тоже к селу, едет

на велосипеде какой-то мужчина. Оставалось одно: сделать вид, что это его совсем не встревожило, и идти дальше.

Незнакомец проехал мимо Володи, заглянув ему в лицо. Затем повернул обратно, снова проехал мимо него. «Что ему нужно,— подумал Володя,— неужели следят за мной, как тогда, когда я убежал из больницы?.. Но он не похож на немца, немец непременно сразу поздоровался бы, приняв меня за своего, а потом стал бы рассматривать. А этот молчит и только смотрит. Да и такого возраста немцы все в армии!..»

Занятый этими мыслями, Володя не заметил, что незнакомец уже слез с велосипеда и идет ему навстречу.

Володя остановился. К нему, улыбаясь, подошел юноша и обратился на украинском языке с чуть заметным польским акцентом:

— Добрый день!

Володя ответил.

— Как только увидел тебя, сразу понял, что наш человек, а подъехав ближе, окончательно убедился в этом. У тебя ужасный вид. Откуда идешь?

— Меня отпустили из лагеря из-за больной ноги. Добираюсь в Ансбах к своему хозяину... Послушай, друг,— попросил Володя,— не выручишь ли меня? Много дней у меня во рту не было ни росинки, еле на ногах стою. В дороге заблудился и случайно оказался здесь.

— А документы у тебя есть?

— Нет.

Незнакомец снова улыбнулся, но ничего не сказал. Догадался, видимо, как «отпустили из лагеря»! Володя уже было подумал, что опять попался: «Почему спрашивает о документах?!» — но незнакомец промолвил:

— Я работаю здесь, в селе, куда мы идем, у одного хозяина. Он хороший человек... Немцы в селе очень плохие люди, но мой хозяин не совсем немец, наполовину француз, поэтому даже соседи сторонятся его. Попробую поговорить с ним, чтобы разрешил тебе отдохнуть, переночевать и вообще помог.

— Да не нужно,— ответил Володя.— Я могу спать и под открытым небом, привык, вот только хоть кусочек хлеба достань.

Начало темнеть, когда молодые люди подошли к селу.

— Подожди тут, а я пойду поговорю с хозяевами, потом вернусь к тебе.

Новый Володин знакомый сел на велосипед и поехал. Володя ждал — он до того изголодался и отощал, что пусть бы его резали на куски, он все равно не смог бы сделать больше ни шагу.

Вскоре юноша вернулся и повел Володю к усадьбе своего хозяина.

— Я сказал, что встретил больного товарища, которому далеко добираться домой, и ему надо помочь. Спросил, можно ли тебе переночевать и поесть. Хозяин дал согласие. «Хорошо,— сказал,— пусть зайдет, но чтобы никто не видел».

Володя переступил порог дома, вошел в коридор и остановился, боясь идти дальше.

Юноша открыл дверь:

— Проходи сюда.

В комнате за столом сидел пожилой мужчина, седой, сгорбленный. Лицо худощавое, скуластое, с большим носом; глаза веселые, но оглядывали Володю очень пристально. Рядом с ним стояла молодая полная женщина с чуть выпученными глазами, казалось, она таращится на незваного гостя от страха.

— Добрый вечер!

Ответили дружно. На какое-то время наступила тишина. Володя смотрел на хозяев, а они — на него. Потом старик сказал женщине:

— Я пойду с Михелем работать в конюшню, а ты, Мари, помоги этому парнишке сделать все, что нужно.

Мари повела Володю на кухню. Налила в большой таз воду, дала мыло, полотенце, принесла штаны, рубашку, носки, войлочные тапочки.

— Помоешься, наденешь это, а свою одежду положишь вот там, — и она указала на дверь, за которой был коридор.

Помыться дело несложное, но как снять башмак с больной ноги? Помогать кинулись все: Мари, Михаил, хозяин. Нога так распухла, что башмак пришлось разрезать. В некоторых местах его подкладка прилипла к коже. Тряпки сгнили и врезались в тело — их еле оторвали. Когда отмочили и сняли последние лоскуты, все ахнули. Володя и сам, увидев свою ногу, решил, что уже никогда не будет ходить.

— Либер готт, как ты шел? — удивилась Мари.

— Вот так и шел... Что мне оставалось делать?

Нога давно распухла, но, очевидно, дальше расширяться ей было некуда — не пускал башмак. Так потихоньку и ковылял с этой колодкой вместо ноги. Но теперь, когда башмак сняли, ногу охватила страшная боль. Ступить на нее было невозможно. Возле лодыжки зияла рана, из которой вытекал гной вместе с грязью.

В тот незабываемый для Володи вечер чужие люди на чужой, вражеской земле, рискуя жизнью, мыли украинского паренька-беглеца, чистили, перевязывали рану...

Он надел свежее белье — какое оно было приятное, мягонькое, как пахло по-домашнему, детством!

Во время ужина хозяин спросил:

— Откуда ты?

— Из Киева.

Старик чуть ли не вскочил с места.

— Мой сын в Киеве. Его часть стоит там, он в обозе с лошадьми, почему-то от него давно нет писем... Мари — его жена, живет у нас, а также вот ваш Михель, хороший парень. Правда, жалуется, что много работы. — И обратился к Михаилу: — Видишь, как страдают твои друзья, а ты хорошо ешь, спишь, не так ли, Михель?

Батрак согласился:

— Да, верно. — А потом по-украински добавил Володе: — Зато за десяти-терых работаю, об этом он не сказал!

Старик взглянул на него и спросил гостя:

— Михель снова ругается, да?

После ужина Володе показали комнатку на чердаке, куда его хотели

поместить. Он отказался от нее и попросил разрешения лечь в сарае. Хозяева удивленно переглянулись, но он все-таки пошел спать в сарай. Там от коров было тепло, принесли сена — и постель готова, лучшей и не надо.

Три дня он пролежал в сарае не поднимаясь. На четвертый, вечером, старик позвал его в дом.

— Тебе больше нельзя оставаться у нас.

— Конечно, для меня было бы лучше еще несколько дней... Но если нельзя, я уйду.

— Да, да, уходи, а то, если пронюхает полиция, будет плохо и тебе и нам.

Володя попросил рассказать об окружающей местности, нарисовать хотя бы приблизительно карту.

Старик не очень-то разбирался в географии, но кое-как написал названия ближайших городов. Потом посоветовал пробираться к железной дороге и ехать поездом.

— На расстояние до ста километров билет продают свободно, а на большее — необходим пропуск.

До полуночи Володя лежал и все обдумывал. Пешком он идти не сможет, да и скорее попадет в руки полиции, а поездом как-нибудь ухитрится проскочить. Решил перемещаться от одной небольшой станции к другой; не доезжая до больших городов, будет сходить с поезда и обходить их, а потом снова поездом.

Часа в три ночи старик разбудил Володю:

— Пора отправляться, парень, затемно надо покинуть село.

Михаил уже ждал. Одежду, которая была на Володе, Михайловы хозяева отбирать не стали. Подарили еще и целые ботинки. Теперь он был одет более или менее прилично и мог ехать поездом, не вызывая подозрения. Старик дал на дорогу шесть марок и полбуханки хлеба. Ровно в четыре Володя попрощался, поблагодарил за все и ушел.

Михаил проводил его за село. Крепко пожали друг другу руки. Володя от чистого сердца сказал, что, может, когда-нибудь встретятся. Тогда отблагодарит его за все.

4

Изречение «свет не без добрых людей» — справедливо. Даже если ты в фашистской Германии. Встреча с этими настоящими людьми была вдвойне отрадной: они не только пришли на помощь в трудную минуту, когда его жизнь висела на волоске, а еще и духовно поддерживали загнанного фашистами человека, не дали окончательно потерять веру в людей. «Получается, — рассуждал Володя, двигаясь на восток, — душами не всех немцев сумел завладеть Гитлер, не всех превратил в тупоголовых, забывших о совести зверей».

Вспомнил о том, как недавно ловили его в Кенигсгофене, как душили кошмары лагерей, пугали образы «доброго врача» и красивых «сестер милосердия», и он удивлялся тому, что рядом с такими зверьми сохранились в этом аду добрые и честные люди.

Особенно большую поддержку оказывали друг другу сами невольни-

ки. Германия была забита пленными из разных стран: «третья империя» делилась как бы на две части — немцы и их невольники. Все попытки фашистов посеять рознь, национальную вражду среди своих жертв приводили к обратному результату: поляки и русские, французы и украинцы, итальянцы и югославы, чехи и бельгийцы объединялись для борьбы с общим врагом. Всегда и всюду невольники старались выручать друг друга. Без взаимной помощи они не смогли бы продержаться и дня. Так произошло и с Володей в этот раз. Он отдохнул, получил одежду, продукты, план местности...

Какое-то время Володю спасала больная нога. Заметно хромал и, как инвалид, не привлекал к себе внимания. Поэтому смело шел через населенные пункты. Избегал только больших селений, в которых, конечно, была жандармерия.

Спустя несколько дней, ночью, издалека услышал равномерный сильный гул. Вначале не мог понять, что это за шум, откуда он. Но с каждым часом гул нарастал, расплывался. Одновременно воздух становился влажным, запахло сыростью. Володя догадался, что подошел к Рейну.

Местность здесь была очень гористой. К реке спускался по хорошей, хотя и крутой дороге. С одной стороны возвышались горы, опоясанные ступенчатыми террасами. Дорога плотно прижималась к этим горам. С другой стороны начинался обрыв, поросший кустарниками и лесом. По краям дороги — каменные столбики. Дорога была извилистая, резкие повороты, небольшие площадки для отдыха, короткие подъемы, снова спуски — и так до самого Рейна. Ночью по ней никто не ездил, и Володя шел спокойно.

День пришлось просидеть в кустарнике, на дне обрыва. Как только наступили сумерки, двинулся дальше. Где-то далеко внизу, между горами, словно в корыте, бежала река — очень быстрая и широкая, местами такая, что противоположный берег и днем едва был виден.

Потом дорога, по которой шел Володя, влилась в магистральное шоссе.

Идти было тяжело, болела нога. Начал накрапывать дождь. Укрыться негде. Почти всю ночь брел под дождем вдоль Рейна и все время перед глазами однообразная картина: слева — обрыв, справа — горы и впереди шоссе. Только под утро в серой предрассветной мгле увидел за очередным поворотом будку, сбитую из досок.

Володя осторожно приблизился, осмотрел ее и заглянул в окошко, прорезанное со стороны реки. В будке полно дорожного инструмента: кирки, лопаты, ломы, носилки. Дверь дорожники забили. Володя открыл ее. Только зашел в будку, разразился настоящий ливень, и самое страшное — вскоре донесся рев машин. Вниз, по течению, то есть навстречу беглецу, двигалась воинская часть. Заметив Володю ночью на дороге, солдаты вряд ли пропустили бы его.

Пока проходили машины (а были они с грузом и шли очень медленно, почти не освещая шоссе), Володя сидел как на иголках: а вдруг какой-нибудь солдат вздумает заглянуть в будку! Взял несколько ломов, подпер ими дверь, а сам лег на носилки.

Колонна тянулась около часа, некоторые машины остановились, ревели моторы, потом снова двинулись вперед. Когда наконец грохот в горах

утих, Володя, обессиленный длительным нервным напряжением, вмиг уснул.

Весь следующий день просидел в будке, наблюдая за шоссе и побаиваясь, чтобы кто-нибудь не заглянул в нее, особенно хозяева-дорожники. Движение на автомагистрали было большое, машины проходили преимущественно колоннами, пешком никто не шел. Значит, до населенного пункта не близко.

Вечером, несмотря на морозящий дождь, Володя решил продолжать путь.

Шоссе начало спускаться, и казалось, река поднимается навстречу путнику. Но в действительности до Рейна еще было далеко. К берегу он пробирался очень долго, почти всю ночь, не шел, а полз со своей больной ногой. Уже снова надо было думать о том, где бы спрятаться на день.

Вскоре Володя заметил лестницу из толстых досок, которая вела с обрыва к самой воде. Внизу, на воде, виднелось какое-то огромное сооружение.

Стал медленно спускаться и вскоре увидел нечто похожее на большую баржу, стоявшую на приколе метрах в двадцати от берега. К ней был проложен помост на столбах — шириной около метра, тоже с перилами.

«Может, там нет людей? — подумал Володя, разглядев на палубе надстройки, похожие на обыкновенные будки. — Вот где прекрасно отдохнул бы день!» Осторожно приблизился к барже. С помоста ступеньки вели вниз, и снова — мостик, но уже наплавной, покачивавшийся на воде, привязанный к борту цепями.

Володя уцепился руками за борт и перелез на палубу. В темноте не заметил пустых ведер, вставленных одно в другое, и задел их. Ведра загремели по палубе. От неожиданности сначала замер, а потом, не раздумывая, спустился назад, на шаткий мостик. В окошках одной из будок зажегся свет. Теперь ничего хорошего не жди! Кто-то вышел на палубу и, освещая все вокруг фонариком, спросил:

— Кто тут?

Володя лежал под бортом баржи, боясь пошевелиться. Сторож выругался и возвратился в будку. А Володя через несколько минут снова выходил на шоссе, ругая себя за то, что полез на эту баржу.

Глаза слипались, нестерпимо хотелось спать. Но не находил уголка, где можно спрятаться и отдохнуть. Промок до нитки, озяб — по утрам было очень холодно, — выглядел ужасно, едва волочил ноги. И все-таки, хотя и начинался день, вынужден был идти...

5

Дождь кончился, и перед Володей открылся чудесный пейзаж: справа — горы, поросшие виноградом, от автострады они поднимались крутой стеной, шириной метров десять, взобраться на которую нечего было и думать; слева — защитные белые столбики, за ними кусты в обрыве. А внизу, в живописных гранитных берегах, шумит бурная река.

«Если бы не война, — думал Володя, — если бы люди жили мирно,

как хорошо было бы путешествовать в этих краях, любоваться этой красотой...»

Вместе с рекой повернуло к селу в горах и шоссе. Со стороны казалось, что часть огромной горы вдавила в землю пятка великана или у подножия горы вырезали полумесяц и построили тут жилища. Несколько домов стояло внизу, другие как будто сидели на их крышах, выше — еще дома, и так в четыре яруса. Улицы узенькие, обвитые виноградниками и тянутся от дороги снизу вверх.

Домики лепились к горе, как птичьи гнезда, покрашенные в желтый и белый цвета, покрытые красной и оранжевой черепицей. Возле каждого — низкие зеленые заборчики, много деревьев; стены домов, заборы тоже увиты виноградом.

Возле одного из домов стоял мужчина в черном костюме, в шляпе. Когда Володя поравнялся с ним, он выкрикнул:

— Один момент!

Володя остановился и увидел у него на груди значок старосты.

— Что случилось? — спросил мужчина.

Володя не понял, о чем идет речь, но ответил, что работал на ремонте дороги, повредил ногу и возвращается домой в город Вюрцбург. За кого принял его староста, Володя не знал, а тот снова спросил:

— Где ты работал и почему тебя не посадили на машину, почему идешь пешком? До Вюрцбурга далеко.

Сразу не нашелся что сказать. Но в словах старосты была и подсказка — вспомнил о машине. Недолго думая, соврал: машина там, мол, стоит, сломалась по дороге. А на вопрос: «Где ты работал?» — не ответил. Ждал, что староста спросит вторично. Но того уже интересовало другое:

— Ты долго идешь? Что же ты ешь?

Сказал, что продукты кончились.

— Пойдешь сейчас в центр, на третьей улице вверху находится жандармерия, кого-нибудь спросишь, как туда попасть. Там тебе выдадут продукты и документ, с которым сядешь на машину и поедешь в Вюрцбург. Я бы проводил тебя, но спешу, — и староста показал в противоположную сторону, к реке.

Володя поблагодарил и отошел, молясь всем богам, что так благополучно закончилась эта опасная встреча.

Однако не успел он отправиться дальше, как староста снова окликнул:

— Альо!

«Вот и обошлось!» — с горечью подумал Володя, возвращаясь к нему.

— Деньги у тебя есть?

Володя ответил, что ему дали шесть марок.

— По пути в полицейский участок увидишь магазин. Сможешь купить хлеб.

Староста вынул из кармана бумажник и порылся в нем.

— Вот пункты. Тут на два с половиной килограмма хлеба. — Потом добавил: — Два черного и полкило белого, возможно, ты сегодня и уедешь. После обеда я зайду в жандармерию. Если до тех пор тебя не отправят, что-нибудь придумаем.

Володя взял три бумажных квадратика желтого цвета, на двух было напечатано черным «I», а на третьем просто черточка, и снова поблагодарил.

Пройдя шагов сто, оглянулся и старосты уже не увидел. Шел дальше, не обращая внимания на боль в ноге, и думал: «Быстрее бы найти магазин, а там бежать... Плевать на вашу жандармерию! Староста обещал, что после обеда зайдет туда, но до того времени я уже где-нибудь спрячусь. Ох, если бы не больная нога!»

Так рассуждая, юноша, наконец, оказался возле магазина. Открыл дверь — где-то далеко, в другой комнате, зазвенел колокольчик.

В магазине никого не было. Володя стоял и осматривался. Даже не похоже на магазин! Прилавка нет. На стенах большой комнаты висят полки, на которых лежат конверты, бумага, сигареты, пачки табака; на полу — мешки с сахаром и крупой.

Окна закрыты рекламными надписями, рисунками, восхваляющими порошки для мытья головы.

Из другой комнаты в магазин вошла девушка:

— Доброе утро, что тебе надо?

— Доброе утро, — ответил он, протягивая ей пункты. — Мне хлеба.

Она долго вертела в руках эти «талоны», с какой-то опаской поглядывая на незнакомца. Потом положила их в небольшую металлическую коробочку и исчезла.

Володя ждал, и ему казалось, что проходят не секунды, а целые часы. Безумно хотелось выскочить на улицу и бежать прочь. Но вот вместе с девушкой в магазин вошел пожилой, среднего роста мужчина с очень злым лицом.

— Доброе утро.

Володя ответил.

— Разве ты не знаешь, когда привозят хлеб? Ты не местный...

Володя сказал то же, что и старосте: работал недалеко отсюда на ремонте шоссе, а сейчас заболел и добирается домой.

— Куда тебе ехать?

— В Вюрцбург.

— О, далеко! Ну хорошо, я дам килограмм, а после двенадцати зайдешь за остальным, хорошо? Ведь ты не очень торопишься?

Володя кивнул.

Хозяин магазина дал две небольшие буханки по полкилограмма каждая. Володя поблагодарил и вышел на улицу.

Будто бы посматривая на небо, незаметно бросил взгляд в сторону магазина. Немцы стояли у окна и смотрели ему вслед.

Володя немного походил взад и вперед возле магазина, выждал время и пошел своей дорогой. «Спасибо и за этот хлеб, а остальной пусть остается вам. С паршивой овцы хоть шерсти клок!»

Вскоре он увидел дорожный указатель, на котором было написано: «Бинген — 12 км». Володю охватил страх. Такой путь преодолел, столько натерпелся, и снова Бинген! Тот самый Бинген, где расположен лагерь, из которого убежал. И только теперь понял, как далеко забрался он в горы на юго-запад от Бингена.

Но теперь надо идти в этот Бинген и попытаться сесть на поезд. Поезд может увезти далеко на восток, до самого Нюрнберга. А повезет, так доедет и до станции Ансбах, которая находится недалеко от этого большого города.

Двенадцать километров до Бингена Володя осилил только к вечеру, несмотря на то что его подгонял страх и паренек все время оглядывался: нет ли погони?

На окраине городка увидел девушку. Она шла навстречу с большим кувшином. Худенькая, белокурая, в красном стареньком платице. Судя по ее виду, это была не немка. Поравнявшись с ней, Володя сказал на родном языке:

— Добрыдень!

Девушка растерянно улыбнулась и воскликнула:

— Боже, наш!

Потом поставила кувшин на дорогу и спросила:

— Откуда идете? Что с ногой? Как сюда попали, давно ли из дома? Что слышно о фронте, у нас тут начинают летать какие-то самолеты!

Не успевал отвечать ей. Девушка хотела сразу узнать все, радости ее не было границ, и она засыпала его вопросами.

— Вы, наверно, голодны, вот тут суп, я несу ужин для шестерых.

— А вы как?

— Нам хватит, я обойдусь. Нате, пейте прямо из кувшина, ложки нет.

Володя поднял кувшин, попил суп — теплую воду, в которой изредка попадались крупинки. Был голоден, как волк зимой, но и пить много неудобно, ведь люди ждут ужин.

Потом кратко поведал ей о себе. Не успел рассказать о том, как достал хлеб, — увидел, что к городу подъезжает мотоцикл с коляской.

— Полиция! — испуганно прошептала девушка и, схватив Володю под руку, потащила в ближайший двор. — Какая я глупая! Сколько стоим на улице, уже давно можно было бы спрятаться.

С минуту молчали, сжимая от страха друг другу руки. Потом девушка прошептала:

— Только бы не свернули сюда, только бы пронесло!

Мотоцикл, на котором сидели три жандарма, промчался мимо двора на большой скорости.

Невольники вышли на улицу и, перейдя шоссе, направились к реке.

— Тут возле пристани есть железнодорожная станция, на которой работает много наших военнопленных, — говорила по пути новая Володина знакомая. — Я провожу тебя до полотна, а дальше пойдешь сам. Расскажу, как найти их бараки, там отдохнешь, переночуешь, и люди отправят тебя дальше. Нам, девушкам, не только дружить, но даже подходить к их баракам запрещено. Одна ходила к своему другу, ее поймали и отправили в концлагерь, а остальным пригрозили, пусть, мол, только заметят кого-нибудь у мужских бараков!

Беседуя, они подошли к станции. На улице совсем стемнело.

— Пойдешь через пути вон в ту сторону. Там увидишь водонапорную башню, сразу за ней — бараки. Они не огорожены, смело заходи в

первую попавшуюся дверь. Охраны большой нет, потому что сейчас все работают на станции.

От души поблагодарив девушку, Володя протянул ей буханочку хлеба, что осталась у него.

Она долго не брала:

— Я не могу позволить себе этого, ведь тебе еще столько идти!

Но он не слушал — почти насильно сунул хлеб ей под мышку.

— Если на станции кто-нибудь остановит, смело отвечай, что идешь со смены в барак. Пленные работают круглые сутки, охранники сами не могут разобраться, кто на работе, а кто в бараке.

Прощаясь, спросил девушку, как ее зовут.

Она улыбнулась:

— Мария.

Он шел через железнодорожное полотно и думал: «Бедная девушка... За что мы все так страдаем?.. Почему должны блуждать на чужбине, вдали от родного дома, тяжело работать и голодать?! Почему немцы так ненавидят нас, так мучают?! Почему, за что?!»

На станции кипела работа. Посвистывая, сновали маневровые паровозики, толкали вагоны; проходили поезда. За водонапорной башней начался длинный деревянный барак. Приблизившись к нему, Володя услышал, что где-то тихо поют «Катюшу». На душе сразу стало радостно, на мгновение он забыл обо всем.

Открыл дверь и решительно вошел в барак. После темноты пришлось закрыть глаза. Песня мгновенно оборвалась. Когда открыл глаза — увидел: на него смотрели около двадцати человек. Стоял молча, пока кто-то не сказал:

— Давай, давай, проходи.

Приблизился к длинному столу, который тянулся чуть ли не через весь барак. По обе стороны стола — трехэтажные деревянные нары. На них — соломенная труха, грязные одеяла, набитые соломой подушки.

Володю посадили за стол, помогли раздеться, сняли башмаки и поставили сушить возле печи. Увидели рану на ноге и сразу послали за военнопленным медиком.

Начали расспрашивать Володю, кто он, откуда, как попал в их барак. Кто-то крикнул: «Николай, а ну-ка давай свой запас!» — и один из пленных вытащил из-под соломенного матраца десяток картофелин. Тут же налили в котелок воды, очистили картошку, поставили на плиту. Когда суп сварился, каждый из своего пайка выделил кусочек хлеба, и возле Володи выросла целая кучка.

Пленные, работая на станции, знали о положении на фронте, радовались успехам Красной Армии, и поэтому настроение у них не было таким угнетенным, как у тех, кто находился в лагере. Спрашивали Володю, что слышал нового о Западе. Но все, что он знал, было им известно.

Вдруг кто-то поднялся, воскликнул:

— Немцы!

Николай, который дал картошку, сказал:

— Ешь, не обращай внимания.

Он набросил на плечи Володи свою куртку.

Вошли два гитлеровца. Один остался у двери, а второй приблизился к столу и начал всех считать. Посчитали и Володю. Он сидел и ел, не обращая внимания на солдата; правда, руки у него дрожали, суп разливался. Двое товарищей, которые ели рядом с ним, прошептали:

— Спокойнее, спокойнее, они не знают всех в лицо. Мы со смены, вот и ужинаем.

Немец, считавший пленных, был похож на мертвеца — худущий, страшный: кости да кожа. Закончив подсчет, спросил, сколько человек на работе, записал в блокнот. И гитлеровцы ушли.

Пленные сразу оживились, рассмеялись:

— Вот и все, они больше не придут, это вечерняя проверка.

Потом пришел пленный медик, осмотрел Володину ногу, смазал чем-то и сказал:

— Осторожно, рана открытая, гноится, не загрязни.

После ужина Володя лег, а его все расспрашивали. Он не выдержал и сказал:

— А почему вы не убегаете отсюда? Разве нельзя пробраться на восток, ближе к фронту, и перейти к своим?

Очевидно, этот вопрос давно мучил пленных и не раз обсуждался, потому что все сразу помрачнели и умолкли.

Пауза длилась долго. Наконец один из них заговорил:

— Ты парень толковый, но не все понимаешь. Одно дело — ты, мальчишка, другое — взрослый военнопленный. Не так-то легко пробраться отсюда через всю Германию... Но мы не теряем времени, — он похлопал Володю по плечу. — Не бойся, хлопче, гитлеровцам от нас немного проку, кое-что полезное для Родины и тут делаем...

Все оживились и начали расспрашивать Володю о местах, где он бывал, о лагерях, из которых убежал. Спрашивали, спрашивали, но он уже не мог отвечать. После голодного, долгого странствования под дождем, после холода, от которого, казалось, навсегда одеревенело его тело, было тепло, легко, и он уснул как убитый...

На следующий день рано утром проводить Володю поручили тому самому Николаю, который доставал из-под матраца картошку. Ребята дали ему наказ: любой ценой помочь пареньку уехать. Дорогой Николай рассказал о себе. Родом он из Крыма, попал в плен под Львовом: его ранило.

Так как Николай работал на станции, они смело шагали по путям в сторону пристани. Это была крупная товарная станция, с большим путевым развитием, она вплотную подходила к пристани. Когда Володя шел вдоль Рейна, он обратил внимание на то, что по обоим берегам реки тянется железная дорога. Она плутала где-то в горах, но иногда приближалась к реке, бежала параллельно автомагистрали, потом снова поворачивала в сторону. В районе города Бинген колея подходила прямо к пристани. На этой станции сесть в поезд было невозможно. Поезда шли переполненные, но, самое главное, они усиленно проверялись. Поэтому Володю решили проводить до пристани и переправить на катере на другой берег реки. Там он доберется до Висбадена, а дальше уже попробует поездом. Так советовал ему Николай.

По дороге он рассказывал, что в их бараке около пятидесяти человек, очень дружный коллектив, всегда помогут друг другу в нужную минуту.

— Я видел сам, с такими товарищами легче переносить горе. Мне очень понравились ребята,— признался Володя.— И был бы не против остаться с вами, мне ведь все равно, иду просто лишь бы идти на восток, определенной цели нет.

Николай покачал головой.

— Незамеченным ты не останешься, продукты питания, место в бараке — все это учтено. Так что тебя обнаружат, и тогда будет очень плохо. Работа по разгрузке и погрузке вагонов тяжелая. Кормят всякой дрянью. Если бы хлопцы не доставали кое-чего, может, давно подошли бы.— Подумав немного, он продолжал: — Да и вообще, раз ты бежал, не стоит сразу снова вешать на шею веревку, пробирайся дальше, а там будет видно.

Они подошли к пристани.

— Подожди меня здесь, я быстро,— сказал Николай и исчез в низеньком длинном домике, напоминающем мастерские. Вскоре он вышел в черном пиджаке: на плечах золотые погоны, на петлицах и фуражке эмблема — колея с крылышками. Это была форма немецких железнодорожников. Володя его сразу и не узнал.

— Здесь есть ребята, у которых достаем эту маскировку, когда отправляемся по каким-либо делам,— объяснил он.

Николай был прав: форма помогла. Не прошло и пяти минут, как он уже нес, улыбаясь, билет на катер.

— Все в порядке,— произнес он.— Ты еще подожди меня, а я отнесу ребятам форму.

Потом они пошли на посадочную площадку. Катер еще не причалил. На площадке столпились пассажиры, среди них много солдат, офицеров. Друзья отошли в сторонку, разговаривать нельзя было, изредка перебрасывались отдельными словами. Володя спросил, что это за люди, которые дают пленным форму. Николай ответил:

— В мастерских тоже работают наши пленные, начальник у них — мастер, он наполовину немец — наполовину француз, пожилой человек, антифашист в душе. Он дружно живет с пленными и помогает чем может. Так что, браток, не думай о нас плохо,— закончил Николай.— Кое-что и тут полезное делаем... А то вчера ты чуть было не обидел ребят...

Подошел катер. Они простились как давние друзья. Николай долго стоял на пристани, провожая взглядом судно. Он завидовал Володе, пробивавшемуся на восток, к Родине, и ему было грустно.

Людей на катере набилось битком. Володя оперся спиной об угол надстройки, места на скамье не оказалось. Николай ему говорил, что пристань находится на другой стороне реки не строго напротив этой, а километрах в пяти-шести дальше. Катер вышел почти на середину реки и направился против течения. Вскоре Володя услышал, как рядом стоявший немец сказал своему соседу, что до пристани осталось километра два. И вдруг беглец заметил, как с носовой части судна пробираются два солдата с автоматами, а с ними офицер. Это был военный патруль. Немцы проверяли у пассажиров документы. Володе сразу стало жарко. О многом переговорили они с Николаем, но о такой опасности тот не пре-

дупредил. Возможно, не у всех проверяли, возможно, патруль интересовался только солдатами, но паренек видел, что и гражданские показывают какие-то бумаги. Ему оставалось ждать своей очереди. Как обидно: ведь вот-вот пристань — рукой подать, уже надо сходить, а патрульные все ближе и ближе. Хотел было отойти подальше, но раздумал: во-первых, столько людей — теснота, тяжело пробраться, да и могут обратить на него внимание.

За два человека от него стоял офицер, весь обвешанный сумками, с большими чемоданами возле ног.

Патрульные подошли к нему, стали читать какую-то бумагу, один из автоматчиков предупредил Володю и стоящих за ним:

— Приготовьте документы, пропуска.

Володя полез в карман, но там, кроме билета, ничего не было. Патрульный офицер протянул к нему руку. Володя отдал билет и сказал, что едет в Ансбах, и при этом подумал, что, кажется, уже приехал и вряд ли придется ехать дальше.

Офицер посмотрел на билет и спросил:

— Азбах, да?

Володя ответил:

— Да, в Ансбах.

Офицер вернул ему билет и занялся другими пассажирами.

Володя ничего не понимал. «В чем дело? Ведь Ансбах находится очень далеко, без пропуска туда невозможно пробраться, почему мной не заинтересовались?» Он задавал себе много вопросов, но ответов не находил. Это было похоже на чудо. И хотя ему не раз уже везло или в какой-нибудь последний момент выручала смекалка, но в данном случае это нельзя было назвать даже большим везением. Чудо, да и только!

Вскоре катер причалил к пристани. Некоторые пассажиры сошли, но большинство оставалось на своих местах, видно, катер отправится дальше. Напрасно Володя рассчитывал, когда приближался патруль, перейти на корму, чтобы оттянуть время проверки — он никого не выпускал на берег, не просмотрев документы.

Володя сошел на пристань. Пристань, так же как и вокзал, была огорожена высокой сеткой, так что выйти можно было лишь через калитку, где отбирали билеты. На берегу он догадался, почему на него не обратили внимания. Он сказал офицеру, что едет в Ансбах, а пристань, на которую прибыл, называлась «Азбах». Патруль подумал, что он едет на пристань, находившуюся на противоположном берегу. И по билету было видно, что сел он только что на пристани Бинген.

Перейдя через главную дорогу, Володя, как ему и советовали, направился в горы. На той стороне Рейна, до пристани Бинген, он шел все время вниз, а здесь надо было двигаться вверх. В начале дороги стояло много ларьков, продавали пиво, лимонад, бумагу, карандаши, открытки, конверты, почтовые марки. Пареньку очень хотелось пить, но он решил не задерживаться, ибо невдалеке, заложив руки за спину, прохаживался полицейский.

Дорога была точно такая же, как и на противоположном берегу Рейна — горы, утесы, резкие повороты асфальтированной ленты шоссе. Иной

раз Володе казалось, будто уже проходил эти места. Правда, чем выше он поднимался, тем тяжелее становилось идти. Движения здесь почти не было. Погода улучшилась, приятно грело солнце, красиво освещая причудливые силуэты выветренных скал. А к вечеру оно словно кистью провело от гор тени, прикрыв ими реку, дорогу и скалы...

У Володи появилось удивительное чувство. Он двигался как в тревожном сне. Когда вспоминал Бингенскую пристань, или проверку документов на катере, или славную Марию и пленных в железнодорожных мастерских, или свои ночные странствия над Рейном, возникало ощущение, что вроде и не было ничего этого, просто приснился ему фантастический сон. Даже предвечерний солнечный свет, в котором купались чужие горы и долина бурной немецкой реки, казался ему искусственным, не таким, как обычно. От его мягкого прикосновения вся местность производила впечатление изумительно красивой, разрисованной картинной бутафории.

Маленькая одинокая фигурка Володи, затерявшаяся в чужих враждебных просторах, двигалась как будто не по Земле, а среди розовых скал неизвестной безлюдной планеты.

Чувство одиночества, беспомощности, которое исчезало в кругу товарищей по несчастью, в такие вот минуты охватывало его, сжимая сердце... Под вечер, устав от блужданий, он выбрал поудобнее место и пристроился на ночлег.

Через пару дней перед Володей открылась ровная местность, поля, река осталась далеко позади. Теперь все время встречались люди, идти днем стало опасно, поэтому днем он отдыхал, а шел только ночью. Указатели на столбах помогали определить направление. Несколько ночей пересекал поля и очутился наконец у железной дороги. Проложенная над Рейном железная дорога, сделав большой круг, в этом месте вышла наверх и протянулась на восток, в сторону Висбадена. Железнодорожное полотно с двух сторон было густо обсажено елками, верхушки которых, видно, срезались, отчего с годами получился сплошной забор.

Ветки елок до того переплелись, что перейти пути можно было лишь на переезде.

Однажды ночью Володя подошел к переезду, но он оказался закрытым. Железная сетка на шлагбауме доходила до самой земли. Около переезда стояла высокая квадратная будка, на втором этаже горел темный, какой-то фиолетовый свет.

Постояв немного, не зная, что делать — ждать до утра долго, — он решил отойти в сторону и попробовать продраться через елки. Но только сделал несколько шагов, как шлагбаум открылся — наверное, дежурный увидел его через окно. Когда Володя прошел, шлагбаум за ним сразу же закрылся. «Внимательный человек, — с грустной иронией подумал он о дежурном. — Если бы он знал, кого пропускает!»

На этой стороне автомобильная дорога снова тянулась параллельно железнодорожному пути. Около двенадцати часов дня Володя подошел к станции.

Это была обыкновенная небольшая станция. Беглец обнаружил на маленьком вокзале очень полезную для него вещь: на стене, в рамке под

стеклом, висела карта железных дорог. Володя отыскал на ней станцию, на которой находился, и запомнил название станции под Висбаденом, на которой рассчитывал сойти, чтобы обойти город пешком. Собравшись с духом, Володя шагнул к окошку и сказал кассиру:

— Дайте, пожалуйста, билет.— И назвал станцию.

Кассир, пожилой мужчина в очках, не глядя на него, бросил: «Тридцать пфеннигов»,— и положил на дощечку билет. Володя уплатил и отошел в сторону, так как на вокзале начали собираться люди, через полчаса должен был подойти поезд.

Его опять мучил голод. Купить ничего нельзя, запасы, которые дали пленные, уже давно кончились, хотя беглец так их экономил, что едва не валился от истощения. Оставалась надежда — подъехать ближе к Висбадену, обойти его и в селах раздобыть что-нибудь из еды.

Стоя около стены, Володя заметил, что какой-то хорошо одетый человек все время наблюдает за ним. Сначала подумал, что это показалось, но позже убедился: незнакомец таки следит за ним. Незаметно вышел на улицу, прошелся вдоль здания станции и остановился почти на краю перрона, который был отгорожен от путей сеткой — специальные ворота открывали только тогда, когда поезд уже стоит у платформы.

Не успел Володя осмотреться, как увидел, что незнакомец идет прямо к нему.

— Вы русский или поляк? — спросил тот на немецком языке.

Володю так возмутило это преследование, что он не удержался и грубо ответил:

— А в чем дело, что вам до этого?!

Но тут же сам испугался своих слов. Но незнакомец не смутился. Смешивая русские и украинские слова, он произнес:

— Не надо бояться и волноваться, я тоже русский, вернее, украинец. Живу здесь, недалеко от Висбадена. Меня мой хозяин посылал по делам, и я сейчас еду домой.

Володя ответил, что и он — украинец, работал на дороге и по болезни его отпустили. Говорил он неправду, так как не знал, кто в действительности перед ним. Потом поинтересовался:

— Не сможете помочь с продуктами?

Мужчина немного подумал и сказал:

— Сейчас будет поезд, садись в один вагон со мной, только не обращай ко мне, стой и наблюдай. Где я буду выходить, там сойдешь и ты, а потом помогу тебе.

Володя согласился, несмотря на то что ему не особенно хотелось раньше времени покидать поезд. Когда подали состав, незнакомец сел с одного конца вагона, а он с другого. Вагон делился на отдельные купе. Через перегородку, застекленную до половины, Володин спутник наблюдал за ним.

Ехали около двух часов. Потом мужчина поднялся и приготовился к выходу, поглядывая на Володю, обдумывающего как быть: сойти с этим человеком или нет. Но голод мучил все сильнее, и он решился.

При выходе из вокзала контролер схватил Володю за руку и крикнул:

— Быстрее назад в поезд, тебе еще рано сходить, твоя станция дальше!

В первый момент Володя растерялся, но потом сообразил: билет-то не до этой станции. Пришлось объяснить, что он, мол, решил зайти к товарищу. Контролер отпустил его, вероятно ничего не поняв из путаных объяснений, да и пассажиры торопили железнодорожника, так как он задерживал выход. Володин спутник уже спешил навстречу. Он вышел раньше и видел, что паренька остановили.

Володя рассказал, что произошло, и они зашагали вдоль какого-то забора. От станции начиналась дорога, по обе ее стороны тянулось село. Минут через двадцать зашли во двор. Здесь рос большой сад и стояла будка, похожая на беседку, но закрытая, с одним окном. Далеко в конце сада виднелись дома. Дорогой новый Володин знакомый сообщил, что он тоже из Киева. Трудно передать ту радость, которая охватила паренька. Такая встреча, да еще где?! Они вспоминали все — улицы, дома, даже номера и маршруты трамваев, и это было очень приятно!

Новый знакомый повел Володю к беседке и закрыл его на ключ, пообещав скоро вернуться.

Прошло около двух часов. За это время чего только не передумал Володя. Уже и ругал себя, что поверил незнакомцу, — столько пройти, столько выстрадать — и так глупо самому влезть в клетку.

Он ходил по беседке, нажимал на дверь, пробовал, не поддадутся ли стены. Если бы на улице было темно, выставил бы окно и ушел, но днем... Наконец решил ждать вечера, а там действовать, если, конечно, его раньше не схватят.

Но Володя ошибся. Земляк пришел. Он был одет теперь в рабочую одежду и сказал, что не мог выбраться, пока хозяин не уйдет из дома, потом сбегал к одной украинской девушке, работающей у другого бауэра, и кое-что достал. Он открыл корзину, которую принес с собой, и вынул большую кастрюлю. В ней было всего понемногу: картошка, лапша, какое-то мясо. Кое-что горячее, кое-что холодное, но голодному все было вкусно.

На дорогу он дал два хлебца, спички, нарисованную наскоро карту местности до самого Франкфурта. Но главное, он провел Володю на вокзал, купил билет на прямой поезд до Франкфурта, посадил в этот поезд, и Володя уехал, не успев даже сказать «спасибо» и попрощаться. Все делалось быстро, так как время не ждало. Они впопыхах и имени друг у друга не спросили. И хотя в памяти Володи стерлось его лицо, помощь этого человека в трудную минуту никогда не забудет. Да и тот, наверное, если жив, помнит эту случайную встречу.

Ночью поезд прибыл во Франкфурт. Володя рассчитывал сначала добраться до Висбадена, а получилось, что попал сразу во Франкфурт — крупный железнодорожный узел, с вокзалом под крышей, туда и зашел поезд.

Станция была забита пассажирами, люди бросались во все стороны, каждый разыскивал свой поезд, свое направление. Извивались большие очереди в кассы, а за билетами на Нюрнберг стояла сплошная толпа людей, старики, женщины с детьми. Солдаты и полицейские с трудом наво-

дили порядок. Во всем чувствовалась какая-то паника. Особенно много ехало военных, но лица их уже не сияли так, как в дни наступления и побед. По радио несколько раз объявили, что до Нюрнберга пойдет дополнительный поезд.

Не без удовольствия наблюдал Володя эту картину. «Так где же ваш хваленый порядок, господа немцы? Забегали как тараканы!» — радовался он.

Разобравшись в обстановке, Володя понял, что уехать поездом отсюда не просто, а будет шататься по вокзалу — в конце концов попадется. И, покинув вокзал, он двинулся пешком.

Почти до утра он блуждал около станции, никак не мог найти нужную ему дорогу.

Спрашивать дорогу он не боялся, так как около станции бродило много людей, настоящая каша, и каждый искал то, что его интересовало.

Было уже около полудня, когда Володя зашагал по широкой дороге в сторону Ашаффенбурга. Вскоре шоссе свернуло к реке, к мосту через реку Майн. Мост был большим и совсем не загруженным: пешеходов не видно, только машины. Подойдя ближе, Володя увидел небольшой грибок, под которым стоял часовой с автоматом. Около него — телефон, небольшой прожектор. «Вот это пришел! — подумал паренек. — Как же быть, как пройти на ту сторону? А может, он охраняет мост от самолетов или еще от чего-нибудь? — успокаивал он себя. — Но почему на мосту нет людей? Но ведь мост большой и немцы вообще пешком не ходят».

В конце концов, решившись, он смело направился к часовому и, выставив руку вперед, выкрикнул:

— Хайль Гитлер!

Тот ответил таким же образом. Володя спросил:

— Скажите, пожалуйста, как пройти на ту сторону, мои товарищи поехали ремонтировать дорогу, а я отстал. Зашел на станцию купить конфет, а они уехали. Но они на машине ждут меня на той стороне.

Часовой вытаращил на него глаза и буркнул:

— Иди на ту сторону и ищи свою машину. Правда, это далеко, а ты еще и хромаешь.

— Да, немного ушиб ногу, — ответил Володя и, поблагодарив, пошел по мосту.

Часовому, видно, было не до хромого мальчишки. Перед ним на столике лежала бумага, он что-то писал, и Володя оторвал его от этого занятия. Возможно, поэтому часовой так быстро его отпустил.

На противоположном конце моста находился такой же пост. Там стоял здоровенный часовой, еле помещаясь под деревянным грибком. Володя был еще далеко от него, когда заметил, что тот внимательно наблюдает за ним. «Неужели этот задержит? Но ведь он охраняет вход на мост, а не выход, и раз я уже прошел с той стороны, какой же смысл ему задерживать?»

Володя шел по мосту, словно босиком по горячим углям, и с каждым шагом ему становилось все горячее.

За несколько шагов до этого часового Володя проделал тот же трюк, что и с первым: громко его поприветствовал. Тот ответил, и паренек, еще

больше хромя, прошел мимо. Он не оглядывался, но чувствовал, что солдат провожает его взглядом. Когда сошел с моста, пот градом катился с него, будто вылез из горячей печи.

Несмотря на то что удалялся от западной границы Германии в глубь страны и проверять документы должны были реже, Володя все же придерживался правила: передвигаться ночью. Только иногда, в зависимости от обстоятельств, разрешал себе идти и днем.

Однажды рано утром случилось событие, которое могло закончиться очень печально. Володя миновал небольшое село и вышел на широкую дорогу. Утро было на редкость чудесное. Шоссе все время шло садами, посаженными здесь с двух сторон чуть поодаль от полотна. А ближе, непосредственно у дороги, выстроились в бесконечную шеренгу молодые березки. Вдали под первыми лучами утреннего солнца вспыхивал огнем высокий шпиль кирки большого села или города. Воздух утром был чистый и прозрачный, словно какой-то жидкий. Издалека доносились звуки башенных часов с кирки, у каждого был свой тон, а все вместе создавали необычайно красивую мелодию.

Несчастный беглец забыл об усталости, о боли в ноге, о голоде и своем положении преследуемого охотниками зверя и шел, упиваясь необыкновенной красотой и благостностью утра. Даже не заметил, что навстречу ему едет на велосипеде какой-то человек.

Немного не доехав до паренька, встречный остановился и, улыбаясь, произнес:

— Доброе утро!

Володя ответил и пристально взглянул на него. Одет незнакомец был очень хорошо и аккуратно. Говорил на украинском языке с польским акцентом:

— Кажется, свой?

Володя смотрел на него, не зная, что ответить.

Незнакомец добавил:

— Я — украинец, из Польши, живу здесь недалеко, работаю сапожником, мне очень приятно встретить своего человека. Я сразу догадался, что ты не немец. Немцы не ходят пешком, да и не так выглядят, и вообще мы всех людей в окрестности знаем.

— Вы, наверное, давно здесь работаете?

— Да, я сюда приехал еще перед войной.

Володя понял, что перед ним фольксдойче. Он слышал, что когда фашисты оккупировали Польшу, некоторые поляки и украинцы поехали на работу в Германию и через год-полтора становились фольксдойче, то есть отыскивали в своей родословной какого-нибудь немца и сами записывались немцами. Не зная еще, что это за человек, Володя почувствовал к нему неприязнь. А тот продолжал расспрашивать:

— Откуда родом, откуда идешь и куда, что с ногой?

Конечно, правду он от Володи не услышал. Паренек коротко рассказал, что работал на дороге и по болезни отпущен домой. Ехидно улыбаясь, незнакомец спросил:

— А документы дали тебе в дорогу?

— Они мне не нужны. Я живу здесь недалеко.

Потом Володя в свою очередь поинтересовался: нет ли у него случайно карточек на хлеб, был бы очень благодарен.

В ответ мужчина похвалился, что устроился неплохо, положение его прочное, так что своему человеку поможет с удовольствием.

— Иди по этой дороге прямо к следующему селу, никуда не сворачивай. Я скоро буду ехать обратно и догоню тебя.

Он сел на велосипед и поехал.

Володя долго смотрел ему вслед. Незнакомец часто оглядывался и вскоре исчез за домами.

Паренек шел и размышлял: почему у него сложилось впечатление, что от этого случайного встречного несет подлостью? Ведь он говорил, что они свои люди, обещал помочь. «Да, «свои люди», но своих людей за все время,— думал Володя,— я еще не видел в такой одежде и такими довольными».

Поразмыслив, беглец прошел еще немного и свернул в ближайший сад. При входе в сад, во всю его длину, был вырыт кювет. Володя выбрал место поудобнее и лег так, чтобы из-за кустов просматривалась дорога.

Начал было уже дремать, но его разбудил гул мотора. Из того села, которое он прошел, мчался мотоцикл. Кого-кого, но жандармов Володя узнавал издалека, даже по их позам. Машина пролетела мимо него на большой скорости, но он хорошо различил двух жандармов. Третьим в коляске сидел его недавний встречный. «Сволочь! — подумал Володя.— Привел полицию, но я хитрее тебя, я разгадал тебя сразу!»

Как только жандармы проехали, паренек углубился в сад, нашел там большую кучу сухих веток — очевидно, обрезали деревья — и, забравшись под нее, проспал до позднего вечера. Проснулся, когда уже было совсем темно. Этот негодяй фольксдойче не выходил у него из головы. «Что я ему сделал, зачем он привез полицию?!»

Володя осторожно выбрался из сада и зашагал не по дороге, а полем. Через несколько дней он пришел в город Ашаффенбург. До Ансбаха было еще очень далеко, около трехсот километров, каждый из которых мог стать последним в его жизни.

6

В Ашаффенбург Володя попал вечером. По указательным знакам отыскал дорогу к вокзалу и направился туда. Он не собирался ехать на поезде, ибо не смог бы купить билет. Просто на всякий случай интересовался расписанием и возможно ли вообще отсюда уехать.

Вокзал оказался недалеко от шоссе. По дороге к нему Володя увидел двух женщин, которые тащили три больших чемодана. Ноша для них была тяжела, и женщины часто останавливались, отдыхали и снова поднимали чемоданы. «Конечно,— подумал Володя,— они идут на станцию. Если следовать за ними, то не нужно ни у кого узнавать дорогу».

Володя шел за ними на расстоянии, потом ему стало неудобно: ведь женщины заметили, что он идет следом и наблюдает, с каким трудом тащат они вещи! Он догнал их и спросил:

— Вы на вокзал?

— Да, да.

— Тогда разрешите, я помогу, я тоже направляюсь туда.

Они остановились и молча посмотрели на него. Володя взял два чемодана и, не обращая внимания на боль в ноге, пошел вперед. Теперь женщины вдвоем несли один чемодан.

Это были мать и дочь. Мать — высокая полная женщина, в летнем светло-сером костюме, на ногах — белые туфли, на голове — легкая плоская шляпка. В свободной руке она держала черную лакированную сумку с длинными плетеными из кожи ручками. Дочь — тоже высокая, стройная и очень бледная, с пышными рыжеватыми локонами, спускавшимися ниже плеч. Одета в темный сарафан и прозрачную блузку желтоватого цвета; легкие босоножки на тоненькой деревянной подошве звонко стучали по асфальту.

По всему видно было, что это люди городские. Говорили они на чистом немецком языке, таком, каким изучают его в школах, каждое слово произносили четко и не спеша. С ними легко было общаться, не то что в селах, где люди говорят на диалектах настолько отличных от литературного языка, что человек, изучавший его по учебникам, первое время ничего не может понять.

Девушка оказалась веселой и разговорчивой, расспрашивала Володю, куда он едет, откуда, и, не дождавшись ответа, сказала:

— Мы едем в Нюрнберг — домой.

Тогда он в свою очередь признался, что также едет в сторону этого города, но ему надо чуть дальше, за Нюрнберг.

— Значит, поедем на одном поезде, — обрадовалась мать девушки. — А что у вас с ногой?

— Ушиб на работе.

Сочувственно покачав головой, она сказала:

— Луиза, помоги парню, ему тяжело.

Но чемоданы Володя не отдал — ведь сам напросился помочь. Разговаривая с немками, он думал: «Вот если бы ехать вместе, вряд ли полиция подошла бы ко мне. Такие чемоданы в моих руках — красные, кожаные, с красивыми никелированными уголками, поперек чемоданов скрепляющие их металлические полосы, да плюс к этим чемоданам две дамы!»

От напряжения, от боли несколько раз темнело в глазах, и Володя боялся, что упадет. Каждую минуту мерил взглядом расстояние от дома до дома, от одной улицы до следующей. И, сжав зубы, заставлял себя, преодолевая боль, пройти намеченное расстояние.

Пришли на вокзал. Дежуривший у дверей полицейский выскочил, открыл дверь и застыл в ожидании, когда дамы с «носильщиком» пройдут.

Позже, вспоминая этот случай, Володя смеялся: «Никогда не думал, что так почтительно будут меня встречать на немецкой станции!»

Мать девушки оставила их вдвоем возле чемоданов.

— Отдыхайте, я узнаю, когда будет поезд, о билете не беспокойтесь, — сказала она Володе. — Возьму заодно и вам.

Это ему и надо было! «Вот здорово, — подумал он, — если она действительно достанет мне билет!»

Когда женщина ушла, он спохватился, что забыл дать ей деньги и надо бы отнести.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— остановила девушка,— у нее есть. Садитесь на чемодан и отдыхайте.

Володя с облегчением вздохнул, ведь денег у него не было. Чтобы переменить тему, спросил:

— Откуда вы едете? Были, наверное, в гостях.

— Нет. Еще дома, в Нюрнберге, девушек моего возраста набрали в спецшколу,— ответила Луиза.— Там мы изучали военное дело, а потом послали на месяц в Ашаффенбург проходить практику. Теперь мы настоящие зенитчики, будем бить по вражеским самолетам.

— А почему брали девушек?

— Нам говорили, что на фронт мы не попадем, а будем оберегать тыл,— она засмеялась и добавила:— Нас учили, чтобы ни один вражеский самолет не прорвался в тыл. Это очень важно, тем более что обстановка усложняется.

— А мать почему здесь?

— Мама приехала навестить меня, а в это время нас отпустили. Сказали, пока отдыхайте дома.

Мать Луизы долго не возвращалась. Девушка забеспокоилась.

— Вы посидите, а я пойду ее поищу. Почему так долго?

Володя остался один, его тронула эта доверчивость: впервые встретить человека и, не зная, кто он, оставить ему вещи и уйти.

Его часто поражали контрасты, которые наблюдал в Германии. Безграничная жестокость к человеку, если это не немец, и болезненное сочувствие ближнему; честность по отношению к односельчанам и удивление добротой других народов; всеобщая подозрительность и внезапная трогательная доверчивость; доктор-кровопийца и фрау Сантерс; крестьяне, ловившие его в Унтеркенигсгофене, и незнакомая немецкая семья в селе под Висбаденем, с риском для жизни спасавшая измученного беглеца. Володя не мог этого понять, как-то не укладывалось у него в голове.

Подошла, улыбаясь, Луиза:

— Наш поезд через сорок пять минут, мама скоро возьмет билеты. Все говорят, что сесть будет тяжело, поезд проходящий, в сторону Нюрнберга едет очень много людей.

Володя забеспокоился: а вдруг все сорвется, не будет мест?! Но Луиза уверяла, что мать билеты возьмет.

Несколько раз мимо них проходил полицейский. Медленно шагая, заложив обе руки за спину, он поглядывал на Володю, но не приближался. Был бы юноша один, он определенно проверил бы у него документы! И все же, хотя и под «прикрытием», Володя очень волновался. Ему казалось, что время остановилось. Смотрел на часы в зале и отсчитывал секунды — так хотелось быстрее вырваться отсюда. Наконец возвратилась мать Луизы, и они подтащили чемоданы ближе к выходу на перрон. Женщина довольно улыбалась.

— Теперь все в порядке, билеты есть, скоро будем дома...

Луиза не умолкая рассказывала о своей учебе, о том, что с ними рядом занимались мальчики, совсем еще дети, но их уже готовили в пилоты. Вы-

соко в горах была сделана площадка, с одной ее стороны находился крутой обрыв. С этой площадки запускали макеты самолетов, похожие на планеры. В таком самолете один или два мальчика летели с обрыва и садились внизу на сено. Оттуда их вытягивали наверх, зацепив тросами.

Володя сказал, что видел такие площадки. Он их действительно видел на той стороне Рейна, но не догадался, для чего они предназначены.

Подошел поезд. Едва он остановился и открыли дверь на перрон, началась давка. Вагоны небольшие, без спальных полок, народу много, лезли один на другого. Кто был сильнее, тот и сел. Володя подумал: «Уже здесь, на станции, легко определить, что дела фрицев на фронте плохи, и поэтому пришло в движение такое большое количество людей, гражданских и военных».

Во время посадки паренек чуть не кричал: ногу его топтали кто только мог. Но он старался превозмочь боль, надо было сесть во что бы то ни стало, надо было втянуть чемоданы, которые он уже возненавидел, — и что они везут-то в таких сундуках?

В вагоне на троих им удалось захватить лишь одно место — Володю устроили на скамейке, а женщины сели на свои чемоданы. Правда, он отказывался, но мать Луизы настояла на этом.

Потом попутчицы извлекли из чемодана хлеб с маслом, колбасу, две бутылки пива. Начали ужинать. Ему, конечно, не предложили. Видно, не заведено у них это, с обидой подумалось Володе. Ему противно было наблюдать, что творилось в купе, когда женщины принялись за еду. Человек пять стали заглядывать им в рот, говоря при этом:

— О, вы едите колбасу! Ах, с пивом! О, это замечательно!

Сколько людей проходило через вагон — все засматривались на колбасу и говорили только о ней.

Володя пустился в рассуждения о том, как трудно было сесть, вспоминая разные детали, — неудобно же молчать и смотреть своим попутчицам в рот, как это делали другие.

Луиза рассмеялась:

— Проводницы, стоя на высокой платформе, наталкивали пассажиров в вагон. Впихивали в полный вагон пару человек и трамбовали их, прижимая дверь. Затем — следующую пару...

Постукивали на стыках рельсов колеса, покачивался вагон; за окном проплывали станции, села, небольшие города, через которые Володя собирался идти пешком.

Парень затих в своем углу, желая только, чтобы ничего неожиданного не стряслось по дороге и он благополучно добрался бы до Нюрнберга...

В вагоне было жарко, душно...

Кто-то из пассажиров стал рассказывать, что он ехал по другой дороге и там была такая же посадка, но Володя уже не услышал подробностей, так как начал дремать.

Когда его разбудили, было уже светло, в окна ярко светило солнце. Мать Луизы сказала:

— Подъезжаем к Нюрнбергу.

Луиза смеялась над ним:

— Вот это сон! В Вюрцбурге люди выходили, заходили новые, чуть ли не на голове сидели у вас, а вы спали как дома в постели.

Володя, конечно, улыбался в ответ, думая при этом: «Если бы ты столько шла и так измучилась, то не смеялась бы».

Вскоре сошли с поезда. Вокзал в Нюрнберге был забит людьми, едущими во все концы Германии.

Володя проводил своих попутчиц до привокзальной площади, где они должны были взять машину. Тут же попросил Луизу, чтобы та узнала, с какого вокзала и когда отходит поезд на Ансбах, так как ему тяжело ходить.

Пока Луиза бегала на вокзал, мать сказала, что если Володя будет в Нюрнберге, пусть заходит к ним, и написала адрес, повторяя:

— Заходите обязательно!

Вернулась Луиза и с довольным видом сообщила:

— Поезд ваш отправляется через полтора часа, билет вот,— и протянула его Володе.

Паренек тем временем признался матери, что он из Советского Союза.

Женщина от неожиданности опустилась на чемодан.

— Никогда не пришло бы в голову, с кем мы едем,— растерянно и как-то испуганно пробормотала она, а когда подошла Луиза, сказала:— Либерготт, Луиза, ты знаешь, с кем мы ехали? Он — русский, большевик! — Лицо ее еще сохраняло испуганное выражение, глаза были большие и круглые.

— Что ты, мама, не может быть!

— Да, да, он сам ведь сказал.

Володя уже жалел, что разболтался, но ему очень хотелось есть, поэтому попросил у женщины хлеб и рассказал, кто он.

После паузы мать добавила:

— Луиза, он просит хлеб.

Подошла машина, мать села в нее, Володя молча погрузил чемоданы. Луиза открыла один из них, достала небольшой сверток в прозрачной бумаге, через которую был виден хлеб, и протянула:

— На, возьми, спасибо за помощь, компанию, до свидания.— И она похлопала паренька по лицу, как-то странно улыбаясь.

Когда машина ушла, Володя вспомнил, что женщины не взяли деньги за билеты. Они были так растеряны, что забыли о деньгах. «Вот не повезло им,— с улыбкой подумал паренек.— Мало того что ехали с большевиком, да еще и везли его за свой счет! Наверное, никогда не забудут это удивительное приключение, о котором и рассказать нельзя».

Он снова пошел к вокзалу — искать поезд на Ансбах. Разыскивая его, Володя очутился в каком-то длинном коридоре, по обе стороны которого было много дверей с небольшими дощечками. На этих дощечках написаны правила обращения с автоматом. Оказывается, Володя попал в общественную уборную. «Какой ужас! — удивлялся он.— Надо бросить монету и только тогда откроется дверь. А если нет монеты?! Вот это да! Умно придумала «культурная нация», такого я еще нигде не встречал!..»

К вечеру Володя приехал в Ансбах. Долго бродил возле станции, ра-

довался своему приезду и одновременно думал: «Чего я радуюсь? Зачем я приехал и куда идти теперь?» Очень мучила мысль о велосипеде Лины. Ведь не украл его, как они, наверное, думают. Хотелось зайти к фрау Сантерс и все рассказать, но побоялся ее мужа-фашиста. Пробиравшись дальше на восток, к фронту, не мог — очень беспокоила нога, далеко не ушел бы, тем более что местность здесь густо населенная, не то что в горах, где он до сих пор блуждал. Володя решил дожидаться темноты и держать путь в Каульдсдорф, к Оршману. «Как они поступят со мной, ведь у меня больная нога. Неужели снова будут жилы тянуть?»

По дороге в Каульдсдорф немного отдохнул в лесу и под утро был около дома деда Карла Оршмана.

7

Было еще темно. Он сидел во дворе и ждал, когда в доме проснутся. Перед рассветом ночь дышала покоем.

В садах сонно бормотала листва.

Яркие звезды висели низко над землей, некоторые из них срывались и прочерчивали на небосклоне свой последний полукруг.

Потом небо стало блекнуть, и звезды потухли. Запели петухи в одном, в другом дворе...

Вскоре во двор вышел сам Оршман. Увидев измученного Володю, он долго стоял и молча смотрел на него. Он на Володю, а тот — на хозяина. Дед Карл еще больше постарел, осунулся и уже совсем не был похож на краснощекое дитя. Потом заговорил:

— Кто ты такой и что тебе здесь надо?

— Вы забыли, ведь я у вас работал. Я — Владимир, помните? Лина дала мне веломашину, и я уехал, а приехал только сейчас.

— Да, да, теперь я знаю, — старик подошел к Володе, пощупал его одежду, повернул, осматривая со всех сторон. — На тебе хорошая одежда, ее не стыдно надевать даже в воскресный день.

— Да, — ответил Володя и сделал несколько шагов к скамейке, чтобы сесть. Дед, видно, заметил, что он прихрамывает, и испуганно спросил:

— А как же ты будешь работать, что у тебя с ногой?

— Чепуха, просто ушиб...

— Значит, ты сегодня не будешь работать?

— Попробую.

Но когда снял ботинок, то и Оршман и сам Володя поняли, что работать он сможет не скоро.

Не произнеся больше ни слова, старик направился в конюшню.

Через некоторое время во дворе появились два парня и женщина и тоже, ничего не сказав, уехали работать в поле. «Да, — с горечью думал Володя, — был бы здоров — другое дело, а больной зачем я ему». Он налил в ведро воды из колонки, помыл ноги, пошел в сарай и лег на сено.

Поздно вечером его разбудил Оршман:

— Иди поешь суп, я думал, что ты ушел, а ты еще здесь.

— Мне некуда идти, если только в полицию...

— Где ты был все это время?

— Работал в лагере, около Нюрнберга, потом повредил ногу, и меня освободили, разрешили ехать к своему хозяину.

— Так, так... Но что же ты сможешь делать, ведь сейчас полно работы в поле.

— Через пару дней мне будет лучше.

Тут дед вспомнил о веломашине:

— Ее нашли в Ансбахе, в лесу, и отдали в полицию. А так как Лина мне ничего не сказала, я решил, что ты удрал и украл веломашину.

— А где Лина? — спросил Володя.

— Лину отправили работать далеко. С тех пор она у меня не была.

Пришлось рассказать Оршману, что поехал в Ансбах к товарищам, и в лагере его поймали.

— Разве вам никто не говорил, где я?

— Нет, мы ничего не знали, решили, что ты сбежал.

— А что сказала вам Лина?

— Сначала, что ничего не знает, ведь она боялась признаться, что сама дала велосипед. Потом порывалась ехать тебя выручать, я не пустил, потому что ее могли бы тоже отправить из-за тебя в лагерь. Лина долго со мной спорила, хотела пойти в полицию и рассказать все как было, но я строго-настрого запретил ей это делать. Потом она отправилась в Ансбах к моей дочери, и вскоре они приехали вместе. Рита также просила тебе помочь, но я настоял на своем, тем более что нам никто не сказал, где ты. После этого случая я решил, что русским верить нельзя.

— Мне очень хотелось увидеться с друзьями, поэтому так все и вышло. Разве вы не понимаете, что такое настоящая дружба?

Дед не ответил на Володин вопрос. Помолчав немного, он добавил:

— Моя дочь просила и мужа, чтобы он пошел в лагерь и замолвил за тебя словечко, но получила такой ответ, что больше об этом не заикалась. Сантерс сказал: «Тебя надо посадить в тюрьму. Ты забыла, что являешься немкой. Так, как ты делаешь, поступают только враги фюрера!»

Володя вспомнил, что собирался вчера идти к фрау Сантерс. «Был бы в это время дома ее муж, я снова угодил бы куда-нибудь. Правда, еще и так неизвестно, что со мной будет».

— Моя старуха зимой померла, я остался один. Мне дали двух иностранцев, приходит работать и соседка, вот так... — С этими словами Оршман покинул Володю и ушел распорядиться по хозяйству.

Для беглеца поставили на чердаке деревянную кровать, и Володя там расположился.

На следующий день явился полицей. Володя слышал, как внизу, в коридоре, тот спрашивал: «Где он?» Дед ответил, что, мол, там, наверху.

Полицей позвал:

— Але, слезай вниз, быстро!

Дед заметил, что парень лежит, у него больная нога. Полицей закричал:

— Я ему сейчас покажу ногу, слезай!

Володя начал медленно спускаться, а полицей стоял и кричал:

— Ну что, удираешь, а потом снова приходишь, тебе что, здесь плохо жилось? Ах ты, скотина!

Это был тот самый толстяк, который когда-то гонял Володю в Фридрихсталь фотографироваться. Он, казалось, не изменился, только еще больше заплыл салом.

Володя ответил, что не удирал, а поехал к друзьям. Там поймали и отправили в лагерь.

— Где находится этот лагерь и какой его номер?

— Лагерь около Нюрнберга, а номера его не знаю, мне этого не говорили.

— Что у тебя с ногой, симулируешь?!

— В лагере разгружали большие мотки колючей проволоки и такой моток упал мне на ногу. Меня отпустили обратно к хозяину.

Он закричал:

— Там ты работал, а сюда пришел лежать и есть даром хлеб, да?! — Потом повернулся к деду: — Ты видишь, Карл, там он работал, а ты будешь только кормить! — И снова, обращаясь к невольнику, закричал, водя пальцем у него перед глазами: — У нас такого порядка нет, слышишь, нет! У тебя есть документы? А ну покажи, что они тебе дали!

Володя сказал, что дорогой поменялся с одним товарищем пиджаками и там остался документ. Невольники из других стран в магазине купить ничего не могли, так что часто менялись между собой одеждой. И полицай это знал.

Потом он спросил, щупая его штаны:

— Они совсем новые, где ты их взял?

— Дали друзья.

Он вывернул оба кармана и, не найдя ничего, фыркнул:

— Пошел вон!

Володя повернулся и медленно полез назад на чердак.

Провалился он со своей ногой ровно месяц. Оршман его почти совсем не кормил. Это был тяжелый месяц, особенно вначале. Больной, непригодный для работы, он никому не был нужен, согласно фашистскому «орднунгу» подлежал уничтожению. Володе оставалось только ждать, что решат делать с ним немцы.

* * *

Недалеко от Каульсдорфа, километрах в десяти, было большое село с двумя кирками — Бехгофен. В этом селе находились лагеря советских и польских девушек. В русском лагере томилось несколько человек из Киева. И вот девушки узнали о тяжелом положении своего земляка. Они урезали свой и без того крохотный паек, тайком навещали Володю, кормили и лечили.

За пределы Бехгофена им строго-настрого запрещено было выходить, но смелые девчонки все равно пробирались к земляку. Нескольких поймали, издевались над ними. Одну девушку по имени Катя до того избили, что она две недели лежала при смерти. Но несмотря на все это, друзья продолжали навещать Володю и поддерживать всем, чем могли.

По воскресным дням к Володе приходило столько друзей, что на чердаке становилось тесно. Дед Оршман посмеивался и спрашивал:

— Почему к тебе ходит столько народу?

— Это наши люди, — отвечал паренек. — А мы все — большая сплоченная семья. В хорошей семье всегда друг другу помогают.

— Так, так... Ты каждый раз говоришь такие вещи, что мне интересно послушать, правда, хочется спать, рано надо вставать, — задумчиво произнес Оршман и, пожелав Володе спокойной ночи, уходил.

Нога у парня заживала. Если бы он еще дня два побыл в дороге, могло случиться общее заражение. Но хорошо, что все кончилось благополучно. Володя уже стал ходить, даже на радостях в воскресный день пошел в Бехгофен, в лагерь, навестить своих спасителей. Там его и задержала полиция.

Естественно, парня поколотили, но он уже настолько притерпелся к побоям за время скитаний по Германии, что перенес более-менее легко. А вот бедняге Оршману пришлось уплатить за него двадцать марок штрафа. Так Володя «отметил» свое выздоровление.

Через пару дней явился полицейский, о чем-то долго говорил с хозяином в комнате, а потом вышел от него и сказал Володе:

— Собирайся, пойдешь со мной.

— Как, насовсем? — спросил тот.

— Да, да, насовсем.

Володе нечего было собирать, надел на себя старую рубаху. Ту, что давал ему поносить Оршман, дед забрал обратно. Правда, на чердаке еще сохранилась рубаха, которую когда-то получил от фрау Сантерс. Он завернул в бумагу, сунул под мышку и вышел во двор.

Старик подошел, посмотрел, что у него завернуто, и спросил:

— Это твое?

— Да, мое.

Володе до слез было обидно, что Оршман отказался от него, и он молча пошел со двора в сопровождении полицейского.

Немцы смотрели из-за заборов, что-то обсуждали, кивая на паренька.

Но вот и помещение сельской жандармерии. В голове у Володи гудело — чего только не передумал по дороге. Но особенно не испугался. Он уже привык к резким переменам в жизни, поэтому спокойно ждал, как с ним поступят. Одного боялся — не завезли бы далеко на запад, оттуда не просто будет удрать домой.

Почти сутки пробыл в жандармерии. Конечно, здесь его и не думали кормить. «Какие все же подлые люди, — размышлял Володя. — Ведь дед-то знал, что я уйду насовсем, мог бы дать на дорогу хоть кусок хлеба. А ведь не дал. Теперь я знаю, почему он уплатил за меня в лагере. И на бирже за работника надо платить».

Утром пришла машина, и Володю повезли в город Тиньгельшпиль. В тот город, откуда его уже раз отправили в Бингенский лагерь на Рейне. Теперь паренек по-настоящему испугался: неужели он снова попадет в тот лагерь?

В Тиньгельшпиле оказалось много украинцев из западных областей. Целый состав новых батраков привезли в Ансбах, а потом около ста че-

ловек переправили в Тиньгельшпиль. Здесь находился невольничий рынок. Будут приходить хозяева и выбирать себе работников.

Володю присоединили к этим людям, которых только что привезли в Германию, и они еще не знали, что их тут ожидает. И ни один из них не подозревал, сколько страданий успел пережить Володя на этой земле, а им это только предстоит...

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ

Мы сидели вдвоем. Во всем доме — вдвоем, словно в целом мире нас было только двое.

ЕГО силуэт на фоне окна, казалось, колебался и вздрагивал вместе с веточкой вишни, которая при ветре легонько царапала стекло, расплывался и терялся в темноте.

Потом, будто тени далеких звезд, в комнату вплыли тысячи, сотни тысяч людей, юношей и девушек. ИХ становилось все больше и больше, но все ОНИ вместились в маленькую комнатку.

Я боялся, что стены комнаты, набитой горем, рухнут. Но стены не рушились, они раздвигались и раздвигались, и это уже была не обычная комната, а целая страна, вся Германия, окутанная мраком.

ИХ стало четыре с половиной миллиона! НАС стало четыре с половиной миллиона и еще один. Я был вместе с НИМИ.

НАС ловили, травили, казнили, НАС продавали за марки на невольничьих рынках, НАС били, мучили, старались превратить в животных.

Рассказывал ОН. Но ЕГО голос слился с хором четырех с половиной миллионов. ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА скорбели, стонали, хрипели...

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА СЕРДЕЦ взывали к мести...

1

Это были люди из Владимира-Волынского, Санока, Черткова, Коломы, некоторые из них — поляки.

Часам к двум дня начали сходиться покупатели. Это был настоящий рынок. Невольников выстроили в несколько рядов, и крестьяне осматривали каждого со всех сторон: придиричиво щупали руки, ноги, выспрашивали, не болит ли что-нибудь.

Отобрав себе невольника, бауэр платил за него, подписывал какую-то бумагу и становился его хозяином. Если бы кто-нибудь из древних римлян встал из гроба и взглянул на этот невольничий рынок, то подумал бы, что за две тысячи лет на земле ничего не изменилось.

Во сколько марок оценили его, Володя не знал, но решил, что не очень дорого. Хотя был молод — а молодежь ценилась дороже, так как хозяева покупали себе работника не на год или два, а на всю жизнь, веря, что фашистская империя просуществует, как обещал Гитлер, тысячу лет, — но весь его вид свидетельствовал, что надеть на парня ярмо будет не так-то легко.

Но в конце концов и на него нашелся покупатель. Отобрали человек двадцать, отделили от остальных и повели.

Постепенно группа их редела: некоторые оставались со своими хозяевами в тех селах, через которые проходили, другие сворачивали куда-то. В группе теперь было десять невольников: три девушки и семь парней. Прошли еще километров двадцать. Володя к таким расстояниям уже привык. Он так натренировался в ходьбе, что свободно мог пускаться пешком в кругосветное путешествие.

Под вечер их привели в село Баерберг. Здесь будут работать все, кроме Володи и поляка Тадеуша Вороновича. Их новый хозяин повел километра на два дальше, на хутор Кальтенкрайт. Вышли из Баерберга, прошли немного полем, потом все время спускались с горы. С одной стороны дороги тянулся глубокий зеленый яр, там росла дикая слива и какие-то кусты, ягоды которых созревали и пропадали. Видно, некому здесь собирать ягоды, — все кругом заросло, казалось запущенным. С другой стороны дороги — кладбище солдат, погибших в прошлую войну, такое же Володя уже видел в Ансбахе. На самой вершине горы стоял черный высокий памятник, похожий на артиллерийский снаряд, только с гранями, на нем — большой орел, распластав крылья, держал в когтях круг со свастикой. От памятника вниз шли два ряда могил, обложенных белыми плитками, и у каждой могилы росло какое-нибудь фруктовое дерево. Весь этот склон горы, протяженностью около километра, был превращен в сплошной сад: яблоки, груши, сливы, вишни — все разных сортов.

С горы вокруг далеко было видно. Участки леса, потом поляны, села, снова лес, зеленые холмы, разными цветами переливалась на солнце черепица домов. У подножия горы, с которой они спускались, начинался лес. Около километра шли этим лесом. Дорога имела много поворотов, встречались пруды, заросли камыша, в которых пряталась разная дичь. В лесу целыми семьями бегали дикие козы.

Не впервые уже Володя восхищался райской красотой здешней природы, не вязавшейся с теми дьявольскими издевательствами, адскими муками, которые тут приходилось испытывать человеку. Душа оттаивала среди этой красоты, и тогда человеку становилось еще больней, невыносимей терпеть несправедливость, обиду, надругательства.

Новый хозяин Володи всю дорогу молчал, курил трубку за трубкой. Он шел впереди и катил веломашину. Володя с Тадеушем не спеша следовали за ним, рассматривая окрестность. Только пару раз немец оглянулся и сказал: «Шнель!»

Уже вечерело, когда они дошли до места. Это был хуторок в лесу. С трех сторон к нему вели дороги. Здесь находилось всего два хозяйства: немца, который привел батраков, и еще одного крестьянина. Володин хозяин, среднего роста, черноволосый, худой, выглядел лет на сорок пять. Он носил маленькие усики, и Володя, когда увидел его, подумал: «Если бы на него надеть железную каску и засучить ему рукава, получился бы типичный фашистский солдат».

Ходил он всегда в рабочих штанах, рубахе в полоску, синем переднике и соломенной шляпе с пером. Звали его Фриц Тремель. С ним жил

отец — Георг Тремель, высокий, худой, почти пополам согнутый старик, лет под девяносто. У него была большая, стриженная голова, длинный орлиный нос, черный от нюхательного табака. Старик был очень злой, всегда чем-нибудь недовольный и вымещал злобу на невольниках, бил всем, что держал в ту минуту в руках.

Жене хозяина, полной, с круглым холеным лицом, Володя дал лет тридцать. Свои длинные черные волосы она собирала сзади в пучок. Такая же злая, как и дед, которого сама побаивалась, она кричала на всех, всеми руководила. В семье росли двое мальчиков — Вилий, лет четырех, и Фриц — лет шести. Правая рука и правая нога у старшего мальчика почти не действовали, видно, этот Фриц таким и родился.

По воскресным дням приезжал второй сын деда — Вильгельм. Его послали работать за семьдесят километров на такую же ферму, хозяин которой был на фронте. Вильгельм же в армию не попал из-за какой-то болезни головы. Это был старый холостяк, неразговорчивый и угрюмый. В воскресный день приедет из кирки и в хорошем костюме, при галстукке, в белой рубашке залезет в конюшню и чистит лошадей до самого вечера, а вечером сядет на свой мотоцикл и уедет. И так каждый выходной.

У Тремелей уже работал один невольник — низенький двадцатидвухлетний парень из Польшы. Звали его Владислав Хмельский. Хозяйство у Тремелей было большое, гектаров пятьсот земли, из них половина под лесом, одиннадцать прудов, где разводили рыбу, двадцать пять коров, двадцать быков, десять лошадей, много свиней, до тысячи кур, большой сад; в саду находился домик, в котором помещались около ста ульев. Во дворе было четыре больших здания, пятый дом стоял заколоченный. Две собаки, одна из них охотничья — с ней Вильгельм ходил зимой на охоту, — охраняли усадьбу.

Хотя и хозяева не сидели сложа руки, но на долю невольника всегда выпадала самая тяжелая и грязная работа. Бедняга Владислав с ног валился и никак не мог выполнить все приказания Тремелей.

Метрах в двухстах от усадьбы Тремеля располагалось хозяйство намного меньше и беднее. Там жил Карл Фишер, низенький мужчина лет под шестьдесят, со своими сестрами Миной и Розой, тоже пожилого возраста. Это были неплохие люди, они иногда помогали невольникам Тремеля с одним условием, чтобы об этом не знали их хозяева. Фриц Тремель оставил себе Володю, а поляка отдал своему соседу.

На следующий день на хуторе появился полицейский и снял у невольников отпечатки пальцев. Когда-то, у Карла Оршмана, эта процедура показалась Володе до слез обидной. Теперь же отнесся к ней безразлично.

2

Время шло. Наступила осень 1943 года. Невольники работали с четырех часов утра до одиннадцати-двенадцати ночи. Целый день бегом и бегом, и никак не могли переделать всю работу, которой в огромном хозяйстве Тремелей было предостаточно. И при таком каторжном труде, несмотря на большое и богатое хозяйство, кормили их очень скудно,

даже яблоко, лежавшее под деревом, было на учете и его нельзя было взять.

Владек, который работал с Володей, был из крестьянской семьи, хорошо знал сельское хозяйство и привык в нем трудиться. К тому же он был постарше нового батрака и покрепче, поэтому легче переносил эту каторгу и, будучи набожным человеком, покорно нес свой крест.

Постепенно и Володя втягивался в работу, но все время думал о том, что предпринять и как изменить свою судьбу. Не мог он смириться и трудиться безропотно на благо врагов своей Родины. Работая в лесу или в поле вдвоем с Владеком, он не очень старался и, когда возвращался вечером домой, хозяева его страшно ругали, не давали есть, а дед Георг часто бил.

Володя долго не понимал, каким образом хозяева это узнают, неужели следят за его работой из-за кустов? Но однажды он невольно оказался свидетелем странной беседы: его напарник, не владевший немецким языком, при помощи рук и ног объяснял Тремелю, что Володя ничего не делает. Теперь стало ясно, откуда хозяева все знают.

Как-то в конюшне Владек начал его подгонять, назвал симулянтом и сказал, что ему приходится работать за двоих.

— А ты не особенно старайся, — ответил Володя. — Железный крест не заслужишь. — Он давно хотел высказать Владеку то, что накопилось на душе, но не было подходящего момента.

Когда упомянул о кресте, Владек подскочил и толкнул его:

— Ты — большевик, ты — безбожник, я сейчас расскажу хозяевам, что ты и в конюшне не хочешь работать, останешься и сегодня без ужина.

Володя не мог больше слушать и запустил в него метлу. Тот был сильнее Володи, но менее поворотлив. Все же ему удалось изловчиться и ударить товарища по несчастью черенком. Ничего не помня от обиды, Володя схватил недалеко стоявший топор и бросился на Владека. Владек моментально удрал.

Володя, немного поостыв, вышел во двор. Но там пленники снова сцепились и покатались по земле. На шум выбежала хозяйка и вылила на них ведро холодной воды.

Так закончился этот день. Ужинать Володе не дали.

— Если ты еще раз тронешь Владека, я вызову полицию, — пообещала хозяйка, прогоняя его от стола.

Некоторое время их не посылали работать вместе, но потом все забылось. Володя не оставлял мысли откровенно поговорить с поляком, раскрыть ему глаза на жизнь.

Однажды, работая с Владеком в лесу, он сказал:

— Владек, ты должен хорошо понять обстановку. Зачем ты так верно служишь немцам, ведь они истребляют и мой народ и твой? Это — звери, и с ними надо бороться всевозможными способами. Мы здесь, в их глубоком тылу, тоже должны им вредить. Конечно, наши с тобой силы — это капля в море, но этих капель много.

Владек испуганно взглянул на Володю и ничего не ответил. Но тот не умолкал.

— Перестань мне это говорить,— наконец не выдержал Владек.— Это вы, большевики, звери. Русские ненавидят поляков потому, что поляки верят в бога, а большевики служат черту.— И он при слове «черт» осенил себя крестом.

— Эх ты!..— только и мог произнести Володя.— Темный ты человек!..

Вскоре он снова оставил работу и завел тот же разговор.

— Скажи, Владек, разве большевики напали на Польшу? Нет. Напали немцы со своим Гитлером. Они бомбили ваши города, сжигали села, убивали и сейчас убивают поляков, издеваются над ними. А ты разве по своей воле сюда приехал? Тебя оторвали от родного дома и отдали немцу, который из тебя все жилы вытягивает.— Володя показал на поле, простиравшееся до самого леса: — Разве на своей земле ты трудишься? Это же все — немецкое, собственность Тремеля. А твое хозяйство где?.. Ну, не твое, так твоих родителей, твоих друзей, соседей... Фашисты отобрали? Да?..

— Я не хочу тебя слушать,— не поддавался Владек.

— А что поделявают Иисус Христос и дева Мария, которым ты молишься? Они помогают не тебе, а Тремелям, те тоже им молятся и дома, и в кирке. Попроси своего бога, чтобы он возвратил тебя в Польшу, а Фриц пускай останется без работника.

Владек схватил грабли и замахнулся на Володю.

— Ты бога не тронь! — закричал он.— Замолчи, иначе я проломлю тебе голову!

Володя криво улыбнулся и сделал вид, будто принимается за работу. Хотя напарник и рассвирепел, Володя верил, что такие беседы не пройдут для молодого поляка бесследно. Решил: если Владек сегодня не донесет на него хозяевам — значит, начало положено и бедняга задумался над услышанным.

— Если не веришь мне,— сказал Володя,— познакомлю тебя с Тадеушем, который работает у Фищеров. Я шел с ним от самого Тиньгельшиля. Это образованный и умный человек. Тадеуш тоже поляк и подтвердит мои слова...

Володя не ошибся. В этот раз Владек ничего не рассказал хозяевам, хотя весь ужин хмурился и отворачивался от напарника.

Через несколько дней, снова работая с ним в лесу, Володя поведал о своих злоключениях в лагерях, вспомнил и «доброго доктора», и как его, несчастного мальчишку, ловили в деревнях, пока добирался к своему бывшему хозяину Оршману. Показывал Владеку шрамы на руках, на спине.

Владек уже не перебивал его.

— Я этого фашистам не прощу,— закончил Володя.— И ты их не бойся. Ты, Владек, пойми, гитлеровцев давно отогнали от Москвы, разгромили под Сталинградом. В то время когда меня привели к вам работать, Красная Армия освободила Харьков, ты хоть понимаешь, что все это значит?! Скоро мы будем вешать фашистов на всех телеграфных столбах! Зачем тебе вечная каторга, неужели ты не хочешь

возвратиться домой, жить свободным человеком?! А что касается бога — дело твое. Хочешь — верь, хочешь — не верь.

Поляк забыл о работе и разинув рот слушал. Потом он, чтобы лучше понять, заставил Володю повторить рассказ. Наконец произнес:

— Почему ты мне это никогда раньше не рассказывал? Я не знал, что такое творится вокруг.

— Ты был продажным человеком, — ответил Володя, понимая, что лед сломан. — За лишний кусок хлеба выслуживался, не думая о том, что этот кусок вырываешь изо рта у такого же пленника.

Владек подошел к нему, протянул руку:

— С сегодняшнего дня будем братьями! — Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Из-за кустов вылетел дед Георг.

— Это вы столько дров напилили за полдня?! — и он набросился на Володю. — Это ты виноват! Завтра же тут будет полиция.

В тот вечер оба невольника остались без ужина, но не очень горевали.

Жили они на чердаке, разделенном деревянной перегородкой пополам. С одной стороны ее стояла кровать Владека, с другой — Володина. Раньше, кроме этой стены, между ними была еще и стена непонимания. Теперь она разрушилась. Несмотря на усталость, они долго не спали в ту ночь. Новым друзьям было приятно беседовать. Легче переносить тяготы плена, когда ты не одинок. Позже друг без друга они не съедали ни кусочка хлеба.

Однажды во время работы Володя учил Владека советской песне, в которой были слова: «И врагу никогда не гулять по республикам нашим».

Владек не понимал, что это значит. И когда Володя объяснил, поляк сказал:

— Теперь я совсем ничего не понимаю — в песне говорится одно, а на деле — другое, почему так? Почему вашу большую страну так крепко побили?

Многое Володя мог ему объяснить, но этот вопрос всегда ставил его в тупик. Он не знал, что ответить, и сам задумывался, почему так вышло.

Сейчас ему стало неудобно перед Владеком и он вынужден был схитрить. Сказал, что это очень сложный вопрос, долго надо растолковывать, и поэтому расскажет как-нибудь в следующий раз.

Жена Фрица фрау Тремель была очень разговорчивой и надоедливой. Когда работали все вместе, фрау не закрывала рта. В поле слышен был только ее голос да временами Володин. Паренек, не выдержав ее придилок, начинал огрызаться.

Он уже давно с удивлением заметил, что немцев очень интересуется: а что же представляет собой загадочная большевистская Россия? И хотя геббельсовская пропаганда давала на это однозначный ответ, они стремились узнать побольше и расспрашивали своих невольников.

У фрау Тремель была своя манера переходить на эту тему. Не желая обнаруживать свою заинтересованность, принималась дразнить Володю.

— Мой брат приезжал в отпуск из России,— любила повторять она,— и рассказывал, что у вас все ходят голые, дома покрыты обыкновенной соломой, нет дорог. Во всем мире люди строят дома, где для каждого члена семьи есть отдельная комната, а у вас все снят на одной кровати и в одной комнате! — И после этих слов она обычно разражалась смехом.

Володя отвечал ей без запинки:

— У нас все голые потому, что все забрали ваши жадные солдаты. Она кричала:

— Это неправда! — и замахивалась на него тем, что держала в этот момент в руках.

Парень умолкал. Но однажды решил раз и навсегда прекратить ее издевки. Когда фрау Тремель, как обычно, закричала: «Ты врешь!», он спокойно сказал:

— Нет, это правда. Вы сами показывали резиновые боты и говорили, что прислал брат. У вас такие не носят, это наша вещь, он ее не купил в магазине, потому что там война, значит, у кого-то отобрал. А то, что люди спят в одной комнате и нет у нас дорог, это ваша вина. Мы вас не трогали, а вы пришли к нам и не дали построить жилье и хорошие дороги.

Володе попало граблями по спине, но он все равно торжествовал.

3

Тадеуш, работавший у соседа Карла Фишера, часто приходил к Володе в гости. Это был грамотный и развитый человек, хорошо владеющий немецким языком. Он обычно приносил газету, которую брал у своего хозяина. Вместе читали ее, рассказывали Владеку новости с фронта.

Володя часто слышал, как немцы, говоря между собой, печалились, что дела на фронте плохие, что неутешительные вести шлют солдаты из России. Все новости, услышанные или полученные из газет, он сообщал товарищам, которые по воскресным дням тайком собирались у Тремелей на чердаке. Володю выслушивали с большим вниманием, радовались и плакали от щемящей душу надежды.

Однажды в мансарде собралось около двадцати человек из Баерберга. Владек испугался такого сборища и ушел куда-то. Хозяева смотрели на Володю так, словно хотели разорвать его на части. Но что они могли сделать втроем против двадцати?! А за полицией бежать далеко!

Наконец хозяйка не выдержала:

— Это что за банда здесь собирается? Ты, малый, определенно попадешь на виселицу, как твой коллега Йозеф.

Поляк Йозеф Жембовский работал недалеко, в селе Бурк. Вместе с Николаем — парнем из Западной Украины — приходил в Кальтенкрайт. Тут гости узнавали новости и распространяли их в своем селе. Полицаям донесли на Йозефа и Николая. Их сильно избили, но они от всего отказывались и не сказали, где были. Тогда их отправили работать в другие села.

Йозеф пошел к немке, у которой муж погиб на фронте. Поляк был

интересный, высокий, статный парень, и в него влюбилась немецкая девушка, сирота. Он тоже полюбил обездоленную батрачку. Хозяйка выследила их и сообщила в полицию. Молодую немку отправили куда-то в лагерь, а Йозефа повесили. Бедняга, он долго висел на краю села, на шее была табличка с надписью: «Любого невольника ждет смерть, если он посмеет так же развязно вести себя с немецкими женщинами и девушками».

Володина хозяйка видела, что Йозеф приходил к ее работникам, слышала, что его повесили, но не знала, за какую провинность. Но, видно, догадывалась, чего он мог тут наслушаться. Поэтому и сказала, что Володя тоже попадет на виселицу.

В следующее воскресенье, под вечер, когда Володины друзья уже собирались расходиться, хозяйка позвала:

— Малый, а ну слезай вниз! Быстро!

Около дверей, во дворе, стояли два полицая, один из них ударил Володю по голове и закричал:

— Ты знаешь, что всякие сборища запрещены, ты знаешь, что вам не разрешается выходить из своего села? А ну зови всех вниз, посмотрим, есть ли у них пропуска!

Молодые люди начали спускаться по лестнице. На этот раз на чердаке было одиннадцать человек. Всех повели в Баерберг. Там их переписали, каждый получил резиновой дубинкой по голове или по плечам. Хозяевам же, кому принадлежали эти невольники, пришлось платить штраф на первый раз по пятнадцать марок. Фриц Тремель тоже заплатил, и хозяйка чуть не съела Володю за эти деньги.

Парень сказал:

— А зачем было заявлять в полицию? Разве мы делали что-то плохое? Мы собирались, разговаривали, смотрели друг на друга и расходились по домам.

— Посмей только еще раз собрать у меня эту банду — все будете на виселице, — пригрозила фрау Тремель.

Хутор Кальтенкрайт находился в двух километрах от села Баерберг. В Баерберге было много невольников: поляков, украинцев, русских. Все эти люди днем работали в хозяйствах, а спать их отводили в лагерь. Лагерь представлял собой отгороженный от села двухэтажный дом. Внутри здания были настелены деревянные нары. Тех, кто работал на хуторе Кальтенкрайт, в этот лагерь не загоняли, они ночевали у своих хозяев, так как ходить было далеко и это отразилось бы на работе. Когда фрау Тремель так категорически запретила собираться на хуторе, ее работники решили по воскресеньям, как только хозяева отправятся в Баерберг, в кирку, сразу же идти в это село. Недалеко от лагеря располагался полицейский участок, напротив жил староста, поэтому постоянного у входа в лагерь не ставили и, пока немцы молились, можно было пробраться в него.

Володя, Владек и Тадеуш приносили с собой газеты или журналы. Фриц Тремель получал газету «Абендцайтунг». На пару дней позже, но все же удавалось незаметно взять прочитанный им экземпляр.

На первой и второй страницах писалось о сельском хозяйстве. Статьи эти пленников не интересовали. Их внимание привлекали третья и четвертая страницы, где печатались некрологи. Их жадно прочитывали и радовались, что с каждым днем черных рамок в газете становилось все больше. В некрологах сообщалось и место гибели того или иного гитлеровца. Немцам мало что говорили названия украинских городов и сел. Но пленникам они давали больше информации о передвижении фронта, чем официальные сводки. Иногда фронт так быстро передвигался, что Володя не мог дожидаться воскресного дня, чтобы сообщить друзьям в Баерберге радостные вести. Тогда, после двенадцати ночи, он тихо собирался и отправлялся в лагерь. Иногда ходили вместе с Владском. Шли напрямик через кладбище, где росли фруктовые деревья, так что являлись к друзьям не с пустыми руками.

В Баерберге Володя познакомился с украинской девушкой Наталкой. Она рассказала, что ее хозяин Шлагбаур часто слушает по вечерам радио. Однажды он позвал ее и сказал: «Сейчас я доставлю тебе удовольствие за то, что ты хорошо работаешь. Ты услышишь своих».

Бедная Наташа работала у него как вол. Не всякому мужчине под силу выдержать такую нагрузку, которую выдерживала эта худенькая девушка. Неудивительно, что хозяин решил поощрить ее, хитро рассчитав, что это ему не будет стоить ни пфеннига.

И Шлагбаур настроил приемник на Москву.

«Когда я услышала голос из Москвы,— рассказывала Наталка,— я заплакала от радости. Даже толком не поняла, о чем говорили. Правда, хозяин быстро перестроил приемник на Берлин, так как боялся, что еще кто-нибудь услышит... Но мне и эти две-три минуты принесли очень много радости».

Володя начал мечтать, как бы и ему послушать Москву. Тогда он узнал бы правду, то, что скрывают немецкие газеты.

При следующей встрече с Наталкой он снова затронул эту тему, поведал, как однажды слушал Москву в Каульсдорфе, у Оршмана.

— Это доставило много радости не только мне, но и всему лагерю,— сказал он Наталке.

Тогда эта хрупкая, но мужественная девушка ответила:

— Мой хозяин часто уезжает в город. Уезжает обычно днем, а возвращается на следующее утро. У него две дочки учатся в городе, и он регулярно возит им продукты. Ну а старуха Шлагбаурша такая больная, что с постели не поднимается и лежит в другой комнате.

Володю это устраивало. Наталка обещала сообщить, когда хозяин уедет.

Паренек договорился с девушкой, что ежедневно после полуночи будет дежурить у нее под окном. Узнав, когда старый Шлагбаур собирается ехать в город, она выставит у себя в окне открытки. Если в понедельник — одну, во вторник — две, в среду — три и так далее. Если же он не собирается в поездку — не станет ничего выставлять.

Теперь каждый вечер, когда все спали, Володя тихонько сходил вниз, шел на цыпочках по коридору, потом сквозь конюшню во двор

и бежал через кладбище в Баерберг. Владек тоже не спал. Он спускался вместе с Володей, провожал его до двора и возвращался к себе в комнату. Если бы хозяева слышали шум, Владек сказал бы, что это он выходил во двор.

Больше всего беспокоила мысль: как незаметно оставить работу, чтобы пойти послушать Москву. Ведь чтобы успеть к «Последним известиям», к половине двенадцатого по московскому времени, ему надо быть у Наташи примерно к половине десятого по местному, так как время здесь отстает от московского на два часа. Значит, из хутора ему надо уйти в девять вечера, а в это время он должен работать в конюшне на глазах у хозяина.

Владек предложил договориться с Тадеушем, чтобы тот поработал за него, Карл Фишер, у которого он трудился, мог отпустить его. Но что сказать Тремелю? Как объяснить, куда Володя идет на ночь глядя?

Друзья долго ломали голову над этим, думали, думали, так ничего и не придумали. И наконец Володя решил: когда надо будет, уйду и все, а там хоть трава не расти!

— Я еще подумаю над этим, — пообещал Владек. — Возможно, что-нибудь придумаю.

— Вряд ли, — вздохнул Володя. — Куда я могу идти ночью, когда и днем запрещено ходить?!

— Посмотрим, — неопределенно ответил товарищ.

Всю неделю Володя по ночам ходил в Баерберг. Открытки на окне Наталки не появлялись.

Это была тяжелая неделя, на протяжении которой Володю не покидало чувство опасности, мучило недосыпание, но в то же время появилась надежда и сознание того, что ты не превратился здесь в бессловесный скот, что ты сопротивляешься, борешься...

Тем временем, как позже выяснилось, Фриц Тремель стал следить за пленником. Друзья даже представить себе не могли, что их хозяин окажется таким наблюдательным. Видно, он случайно обнаружил, что Володя куда-то исчезает по ночам.

В воскресенье, при встрече, Наталка предупредила, что на днях ее хозяин уедет в город. Во вторник ночью в окне девушки Володя наконец увидел открытки — пять штук. Значит, в пятницу он должен быть у нее.

В пятницу, около девяти вечера, Володя вышел из конюшни на черный двор. Хозяйка была на кухне, дед Георг, Фриц Тремель, а также Владек — в конюшне. Надел штаны; на них из-за множества разных латок почти не видно было ткани, из которой их когда-то сшили, и такую же рубаху, быстро снял ботинки-деревяшки, обошел двор и бо-сиком во весь опор помчался в Баерберг. На улице было прохладно, но в Баерберг Володя прибежал взмыленный, ноги его горели.

Вошел в село, надел свои деревянные, которые нес в руке, и направился к дому Шлагбаура.

Наталка уже ждала у ворот.

— Ну как, — спросил Володя, — все в порядке?

— Да, иди скорее, только тихо, не разговаривай.

Они зашли в дом, потом осторожно двинулись по коридору, в столовую, где стоял радиоприемник.

Наталка плотно завесила одеялами окна и сказала:

— Я пойду на улицу, сторожить у окна. Если стукну несколько раз в ставню, ты приемник не выключаешь, а переведи на другую волну, а сам иди по коридору и влево — на конюшню.

С этими словами девушка прикрыла за собой дверь. Володя бросился к приемнику. Такой он и раньше видел, так что знал, как с ним обращаться.

Сначала послушал немецкую музыку, потом чье-то выступление, в котором говорилось, что все немцы от малого до старого должны свои силы отдать победе. И не только мужчины, но и женщины. Говорилось еще о том, что Германия мобилизует резервы для пополнения великой армии фюрера. Сообщалось также, что немцы построили на Днепре мощный восточный «Оствал».

«Это непреодолимая стена, — истерически визжал диктор, — о которую разобьются большевистские полчища, а немецкая армия повернет и двинется в новое наступление!»

Володя не стал больше слушать эти бредни, так как приближалось время «Последних известий».

Трудно описать, что чувствовал Володя в ту минуту, когда услышал Москву! Он забыл обо всем на свете, он не верил своим ушам.

— Боже, — шептал он радостно. — Что творится на свете!

Он и не подозревал, что советскими войсками освобожден Смоленск, что капитулировала Италия, но самое главное — он услышал, что бои идут за его родной Киев...

Когда передали о Киеве, нервы не выдержали. Очевидно, сказалось напряжение последних дней. Против воли задрожали ноги и руки, появился нервный озноб, на глаза набежали слезы радости. Он не мог успокоиться и трясся, как в лихорадке...

Наталка вошла, как только выключил приемник. Она так замерзла, что не в силах была и слова вымолвить. Володе тоже было трудно говорить из-за возбуждения, охватившего его.

— Потом все расскажу, — бросил он девушке и выбежал на улицу.

Сделав несколько десятков шагов, увидел, что навстречу идет какой-то человек. По стуку ботинок-деревяшек догадался, что это тоже невольник. Незнакомец окликнул его. Это был Владек.

— Что случилось, в чем дело? — спросил Володя.

Владек тяжело дышал — видно, всю дорогу мчался во весь дух. Еле выговаривая слова, произнес:

— Закончив работу в конюшне, хозяин оделся, сел на велосипед и поехал в сторону Баерберга. Я сразу же побежал тебя предупредить. Он, наверное, здесь, в полиции, надо остерегаться.

— Эх, Владек, — небрежно ответил Володя. — Не особенно уже и боюсь его. Во-первых, меня все равно ждет наказание за уход с работы,

да еще ночью. Не хочется только, чтобы они узнали, где я был. Несдобровать тогда и Наталке.

И молодые люди быстро пошли от дома, где жила девушка.

— А во-вторых,— возбужденно продолжал Володя.— Я их не боюсь, теперь плевать, скоро им полный капут.

— Да скажи ты наконец, что узнал! — не выдержал Владек.— Почему у тебя такое настроение?!

Он собрался еще что-то добавить, но в этот момент прогремел выстрел и послышался крик: «Стой!»

Хлопцы сразу поняли, что это полиция. Как по команде бросились в разные стороны. В это время они проходили мимо пивной, Володя шмыгнул во двор, завернул за длинный сарай, потом перемахнул через забор и оказался в другом дворе. Вслед ему неслись крики: «Стой! Стой! Сакраменто!»

Дворами он вышел на другую улицу. Вокруг было тихо, темно. Пройдя немного, Володя легонько свистнул, надеясь, что Владек недалеко и отзовется. Миновав несколько домов, он снова легонько свистнул.

На этот раз послышался ответный свист. Володя почувствовал облегчение — значит, Владек здесь, а ведь могли его поймать, ему впервые пришлось бегать ночью. Так, тихонько посвистывая, они начали сходитьсь. Свистели уже совсем близко. Володя осторожно выглянул из-за угла дома и сказал:

— Владек, это ты?

В двух метрах от него стоял полицейский. Он заорал во все горло:

— Стой, стой! — и снова выстрелил.

Володя не бежал, а летел, не замечая ничего вокруг, он потерял деревьяшки, и бежать стало удобнее. Снова дворами, потом садом он выскочил за село, на дорогу, которая вела на хутор Кальтенкрайт.

Нужно было еще перебежать открытое место, только потом начиналось кладбище. Недалеко увидел Владека, который стоял на дороге, очевидно, поджидая его.

Володя крикнул ему по-польски:

— Зачекай!

Но Владек вдруг понесся к кладбищу. Володя побежал за ним. «Ведь я узнал его, это же был он, Владек! И он меня, конечно, узнал. Так почему же он бежит от меня?!» Володя звал его снова и снова, но тот быстро отдалялся.

Тяжело дыша и еле держась на ногах, они оба остановились на дороге около дома Тремеля. Немного отдышавшись, Володя спросил:

— Ты что, совсем с ума сошел, почему всю дорогу бежишь и не подождал меня?

— Ты же кричал все время «Тикай!» — я поэтому и удираю.

— Я кричал «Зачекай».

— А мне показалось, что «Тикай».

— Я кричу «Зачекай», а ты бежишь еще быстрее. Тогда я решил, что ты заметил погоню, которую я не вижу, и помчался за тобой изо всех сил.

Они долго не спали в ту ночь — никак не могли успокоиться. Услышали, как приехал Тремель. Хозяйка позвала Владека, который долго не отвечал, делая вид, что спит. Наконец он отозвался, и хозяйка спросила:

— А малый дома?

— Сейчас посмотрю. — Зашел на Володину половину. — Спит, спит! — крикнул он хозяйке.

Внизу, в спальне, Тремель с женой еще долго разговаривали. Но о чем они говорили, разобрать не удалось — дверь была плотно закрыта.

Утром пришел полицай и отвел Володю в Баерберг, в жандармерию. Там его допрашивали, били, требовали ответа на вопрос: где был ночью, почему бросил работу? Уже хотел было сказать, что ходил на кладбище, в сад, потом раздумал: «Устроят жандармы слежку — будет плохо и мне, и остальным нашим, кто туда ходит». В конце концов сказал, что был на хуторе: во время работы поднял тяжелую тачку с навозом, заболел живот, вот и лежал за сараем.

Из жандармерии, весь избитый, еле добрался до дома, лег у себя в комнате и не выходил до вечера. Вечером на чердак поднялся сам хозяин, держа в руке четырехгранную палку, и сказал:

— Если ты сейчас же не пойдешь работать, я снова вызову полицию.

4

К Тремелю приходили работать еще и немцы, большей частью женщины.

Их, бедных людей, кулак Тремель без стеснения эксплуатировал, несмотря на то, что это были арийцы, как и он сам. Они пололи, в страдную пору помогали убирать хлеб, копали картошку. За их тяжелый труд хозяева давали им только дрова, вернее, ветки, по две-три подводы в год.

Однажды из Баерберга приехал за ветками старик сапожник. Его жена вместе с другими немками копала картошку и свеклу у Тремеля. Сапожник был низенький, худой, горбатый, чуть ли не вдвое согнутый человек, звали его Ганс Миллер. Одет он был в штаны не по росту — они казались еще больше из-за того, что были не на ремне, а на подтяжках, — синюю рубаху, передник, черную фетровую шляпу. Он всегда улыбался и, как многие немцы в этих местах, носил маленькие черные усики.

— Иди с ним в лес, за большой пруд, на ту гору, где рубили деревья в прошлом году, — сказал Володе дед Тремель, показывая на сапожника. — Там лежат кучи веток, одну из них пусть берет Миллер. Покажешь ему, а сам пойдешь к зеленому пруду косить камыш.

Климат здесь был мягкий, теплый. Лето и осень продолжительные, ноябрь и даже декабрь часто напоминали украинский сентябрь. Поэтому травы стояли долго, а зеленый камыш косили почти до рождества.

Володя взял косу, сел на подводу, запряженную двумя коровами, и поехал с Миллером. В лесу он нагрузил сапожнику на подводу толстые

метровые колоды, а сверху прикрыл их ветками. Старый Ганс Миллер стоял около подводы и с ужасом шептал:

— Либер готт, что ты делаешь, что ты делаешь! Завтра меня вместе с тобой отправят в тюрьму.

— Ничего, ничего, не отправят, вы скорее кидайте ветки наверх и езжайте домой. Фриц Тремель — свинья, а ваша жена за свой тяжелый труд заслужила хорошие дрова, а не ветки.

Под вечер Ганс еще раз приехал, и Володя снова помог ему погрузить хорошие дрова. Так началось у них знакомство.

Сапожник пригласил Володю к себе домой в Баерберг, и в одно из воскресений тот зашел. Миллеры угостили гостя яблоками, а когда Володя уходил, сапожник сказал, чтобы приносил свою обувь, он починит.

Миллер был мастер своего дела. Он так поправил Володины ботинки-деревяшки, что фрау Тремель все время спрашивала, где он украл такие ботинки, ведь в магазинах обуви не было, да и купить невольник не смог бы. Позже Володя стал носить Миллеру ботинки своих друзей, и тот безотказно чинил их.

* * *

Был сумрачный, теплый осенний день. Тучи низко плыли над полями, над лесом, чуть не цепляясь за верхушки деревьев, готовые вот-вот разрешиться дождем. Володя с Владеком работали в поле вдвоем, вырывали репу и складывали в кучу. Эта часть поля находилась между лесом и дорогой. Вправо и влево тянулись поля. Невольники шли по длинным рядкам, сначала в сторону дороги, а потом по новым рядкам двигались обратно, к лесу.

Вдруг, не дойдя до леса, Володя заметил человека, который стоял в кустах и манил его пальцем.

— Смотри, Владек, кто это? — удивленно произнес он.

Владек остановился и застыл в испуге, не зная, что ответить. Взяв в руки вилы, Володя направился к кустам. Владек издали наблюдал за происходившим.

Возраст незнакомца невозможно было определить. Он был очень обросший, изнуренный, глаза глубоко запали. Одежда на нем — рваная, грязная. Когда Володя подошел ближе, он спросил:

— Кто вы? — И не дожидаясь ответа, сказал: — Я лежу здесь часа два и все время прислушиваюсь, на каком языке вы говорите. Боялся: вдруг немцы?

— Я — украинец, а он — поляк. Мы говорили на польском языке. Мой напарник плохо понимает украинский и совсем не знает русский. А я за короткий период благодаря моим друзьям научился говорить по-польски.

— Друзья, родненькие, — жалобно произнес незнакомец. — Помогите! Хотя бы кусочек хлеба, пару спичек, век не забуду! Я военнопленный, бежал из лагеря с товарищем, который там, в лесу, он болен. Мы уже семь дней скрываемся здесь, голодные, не знаем, куда идти. Нас было семь человек, но когда удирали, охрана подняла стрельбу, и все разбежались.

— Я понимаю, не надо объяснять, — сказал Володя, — надо что-то делать.

Владек подошел к ним, догадываясь, что это за человек.

«Как помочь, что предпринять?» — напряженно размышляли хлопцы. Хлеба у них не было, получали его по маленькому кусочку: во время завтрака и ужина. Если удавалось где-нибудь раздобыть съестное, то сразу съедали сами или другим отдавали, более голодным. Володя обхватил голову, закрыл глаза и думал, думал. Он готов был на все, только бы помочь этим несчастным.

— Так, ребята, — наконец произнес он, — кое-что пришло в голову. Сейчас ничего нельзя сделать, поэтому я покажу вам место, где вы подождете меня до наступления темноты. В полдвенадцатого, а может, и позже, я приду. Днем передвигаться по лесу опасно. Дело идет к зиме, много людей работают здесь в лесах.

Владек пошел снова выдергивать репу, а Володя с беглецом направился в лес.

...Вечером, возвращаясь домой, друзья горячо обсуждали происшествие.

— Конечно, хлеб, который дадут нам, мы незаметно спрячем, — говорил Володя. — Спички достанем, табак у меня есть. Ты же знаешь, я приспособился таскать у Тремеля большие листья табака и развешиваю их далеко в лесу, на дереве, чтобы сохли там. Сам я не курю, но друзей обеспечиваю.

— Но хлеба-то мало, — заметил Владек. — А если и его не дадут, а, как это часто бывает, заменят картошкой в кожуре?

Володя ответил, что у него есть еще кое-что на примете.

По возвращении в усадьбу Володе сразу же повезло. В коридоре увидел бак с только что сваренной картошкой для свиней. Недолго думая, Володя схватил четыре больших картофелины, лежавших сверху, отскочил к дверям конюшни и стал на них дуть. Картофелины были очень горячие — в руках не удержишь. В это время его позвал старый Тремель. «Что делать, куда их деть?» Искать, куда спрятать, было некогда — слышал, как через конюшню шел навстречу дед Георг. Володя бросил картофелины за пазуху в тот момент, когда тот уже входил в коридор.

Старик принялся расспрашивать хлопца:

— Сколько вы сделали рядков? Поместится ли вся репа на одной подводе?.. Завтра рано поедешь за репой, запряжешь лошадей — Фукса и Брауна.

Володя слушал его, но ничего не соображал — картошка обжигала тело. Бедняга чесал голову, тело, руки, переступал с ноги на ногу, а дед повторял все сначала, чтобы работник хорошенько понял. Позже, во дворе, когда Володя вынул картошку, на животе уже появились водяные пузыри, которые потом долго не проходили.

Около двенадцати часов ночи, как только все уснули, друзья тихо спустились с чердака. Направо была дверь в спальню хозяев, нале-

во — в столовую, где за ширмой спал старый Тремель. Около дверей стоял комод, в одном из ящичков которого находилась связка ключей.

Стенные часы отбивали каждый час. В двенадцать часов ночи они били двадцать четыре раза. Во время боя Володя приоткрыл дверь в столовую, выдвинул ящик, взял ключи и тихо возвратился к Владеку, который ждал его на лестнице, еле дыша от страха. План был рискованный, но ничего другого они не придумали.

С ключами снова полезли наверх. Отперев две комнаты, увидели, что в одной весь пол устлан большими яблоками, положенными на зиму. Здесь взяли мыло, чистую бумагу, карандаши. В углу этой комнаты стояло четыре бумажных мешка с сахаром. Потом осмотрели вторую, где хранилась только мука. Мешков было около десяти, длинные, каждый по сто килограммов.

Они сложили в мешок куски хлеба, Володину картошку, кульки с сахаром и мукой, яблоки, мыло, бумагу, карандаши, табак, спички, затем заперли комнаты. Владек помог вынести все во двор. Володя пойдет в лес, а он, как только часы начнут отбивать два часа, должен успеть положить ключи на место.

Утром они вспоминали ночные похождения и радовались успеху. Их новые друзья в лесу получили хорошее подкрепление. Кроме того, Володя отвел их в другое, более безопасное место. В лесу были ямы метров триста — четырехста в ширину и столько же в длину, глубина некоторых доходила до десяти метров. Володе рассказывали, что когда-то, очень давно, здесь вырезали каменные плиты для построек. Потом эти ямы забросили, они заросли кустами. Сюда он и привел беглецов. В эти ямы никто не лазил, там было сыро, стояла вода, много гнездились гадюк, но все это не страшило тех, кто спасал свою жизнь в фашистском аду.

Ни фамилии, ни имени не спрашивали друг у друга, это было не нужно, да и торопился Володя. На прощание сказал, чтобы они подождали пару дней, может, снова принесет им что-нибудь...

В следующую ночь они с Владеком снова отправились на поиски продуктов. Взяли с собой мешок, спички, маленькую керосиновую лампочку и пошли в село Ханердорф. Это было небольшое село, расположенное в лесу в двух с лишним километрах от Кальтенкрайта. Дорогой Владек признался:

— В прошлую ночь, особенно под утро, мне снилось, как жандармы ловят меня, догоняют и вешают. Теперь мы идем на новое опасное дело, а кажется, что идем выполнять обычную свою работу.

— Ты прав,— согласился Володя,— но нам лучше идти тихо, поговорим в другой раз.

Пришли в Ханердорф. В одном из дворов обнаружили длинную доску, опустили через окошко в погреб под домом. Володя спустился по ней, зажег лампочку и стал складывать в мешок продукты. Владек лежал во дворе около окошка и наблюдал за местностью.

Когда Володя все сложил, то увидел, что мешок не пройдет в узкое окно. Пришлось подавать Владеку продукты по частям. Две банки варенья, два куска сала килограмма по три, круглый, как мяч, кусок сливочного масла, буханка домашней выпечки килограммов на шесть, три пачки печенья...

Далеко за селом, в лесу, сели отдохнуть. Были довольны походом, особенно Володя. Он хорошо знал цену продуктам.

— Нашим товарищам этого пока хватит.

— Не успеем сейчас отдать им, скоро ночь кончится,— заметил Владек.

Володя согласился. Ведь до Кальтенкрайта два километра, а потом еще километр до ямы, где сидели беглецы.

Решили спрятать свою добычу в лесу, а отнести в следующую ночь.

Отдохнув, друзья поднялись, чтобы идти дальше, но вдруг обнаружили, что нет лампы и Володиного пиджака. Лампу забыли в подвале, а пиджак во дворе, около окна. Володя его снял, чтобы легче было пролезть.

Что делать? Ведь на лампе написано: «Тремель», как и на всех вещах в хозяйстве.

— Ты понимаешь, Владек, что будет, если утром найдут лампу, на которой стоит фамилия Тремель?!

Владек поругал товарища за рассеянность, но все же вызвался пойти обратно за оставленными вещами.

Прошло какое-то время, из села слышался лай собак. Томительно тянулся час. Володя очень волновался за Владека. Кроме того, им еще далеко идти и где-то по дороге надо спрятать мешок.

Наконец невдалеке треснула сухая веточка — шел Владек.

Всю обратную дорогу они бежали, нитки сухой не осталось на них. Надо было во что бы то ни стало вернуться на хутор до четырех часов. Ведь в четыре хозяйка их будит.

В эту ночь поспать им не удалось. Немного посидели, отдохнули, остыли, и вот уже раздался снизу крик:

— Владек, малый, вставайте! Спускайтесь быстрее!

* * *

Тяжелый труд с утра до позднего вечера, ночные походы в Баерберг в течение целой недели буквально валили Володю с ног. Сказывались и последние две ночи, когда совсем не спал. Владеку тоже нелегко приходилось, и они оба еле передвигали ноги. Но все же надо было беспрестанно тянуть лямку, чтобы хозяева не догадались о их состоянии.

На следующий день после ночного похода в село Ханердорф они с Владеком работали в поле, снова выдергивали репу. Около одиннадцати часов утра увидели полицаю, стоявшего на опушке леса. Владек невольно вскрикнул:

— Смотри, Владимир, неужели кого-то ищут?!

Тот ничего не ответил, схватил вилы и пошел к лесу, в сторону той ямы, где прятались беглецы, чтобы предупредить их.

«Если натолкнусь на полиция,— рассуждал Володя,— скажу, что иду работать. Доказательством будут вилы. Это вполне правдоподобно, потому что окружающий лес принадлежит моему хозяину Фрицу Тремелю».

Но не успел Володя дойти до леса, как его остановил полицай:

— Стой, куда идешь?

— На другое поле.

— Сейчас нельзя, передай своему хозяину, что до завтрашнего утра здесь ходить никому не разрешается.

Расстроившись, Володя побрел назад. Владек встретил его с испуганным видом и сказал, что по выражению лица сразу все понял.

— Да, Владек,— грустно подтвердил товарищ.— В лесу облава, полно жандармов, и если они полезут в яму, то определенно найдут наших. Тем более что немцы с собаками. Я слышал лай.

Ночь прошла в тревоге. Утром друзья осторожно направились к яме. Придя на место, они заглянули под все близко растущие кусты, звали, спускались в яму, но, увы, нигде никого не было.

Назад шли молча. Не знали, что сказать друг другу в утешение. Володя вспомнил пленных на станции возле Бингена, которых он спрашивал, почему не убегают на восток. «Действительно,— теперь подумал он,— мужчинам невозможно пробраться через всю вражескую страну, где на каждом шагу полицейские и жандармы».

В этот же день, во время обеда, хозяйка вдруг сказала мужу:

— Фриц, ты знаешь, что в нашем лесу поймали двух бандитов.— Тремелиха обращалась к мужу, но смотрела на невольников.

Фриц ответил, что ему до этого нет дела, у него и так много забот. Хозяйка подпрыгнула.

— Гросфатер! — позвала она деда, после обеда отдохавшего у себя за ширмой.— Фриц говорит, что ему нет дела! Вы слышали когда-нибудь такое: в его лесу сидит банда, а ему до этого нет дела?!

Володя не вытерпел:

— Это не бандиты, а порядочные люди. Вы их сами сделали бандитами, а теперь еще так говорите о них.

Все сразу перестали есть и посмотрели в его сторону. Стало так тихо, как будто в комнате не было живой души.

Володя повторил:

— Это не бандиты, это — наши советские люди, которые не хотят умирать голодной смертью в лагерях. Они спасали свою жизнь в лесу и никому ничего плохого не сделали.

В это время из-за ширмы вышел старый Тремель и, обращаясь к сыну и невестке, сказал:

— Почему вы оба молчите? Почему только эту скотину и слышно везде — и на работе, и за обедом?! — Он приблизился к Володе и костлявой рукой изо всех сил ударил его в грудь, выталкивая из-за стола.

После обеда Владек очень ругал товарища.

— Ты разве не можешь помолчать, ведь эти разговоры ничего тебе не дадут! Ты пострадаешь ни за что!

— Не могу я, Владек, спокойно слушать такие слова! Ведь ты знаешь,

что они считают себя самой культурной нацией, почему же тогда издеваются над людьми? Я, Владек, когда-то очень боялся их, но сейчас не боюсь. Я дождусь того дня, когда будут вешать этих фашистов.

По воскресеньям невольники, как и прежде, собирались в Баерберге, в лагере. Володя с Тадеушем в течение недели добывали последние новости, которыми делились с товарищами. О трагической судьбе двух советских пленных они также рассказали всем. Было очень жалко этих людей, искренне сочувствовали им, но помочь уже не могли.

Все жадно следили за передвижением линии фронта, но без карты представить, где она проходит, было трудно. Руководил встречами Тадеуш, здесь же, в лагере, находился и его брат — Рихард, который работал в Баерберге. Тадеуш и поручил Володе подумать, где достать географическую карту.

Володя снова проведal сапожника Ганса Миллера.

Теперь, когда час освобождения, как казалось пленнику, был недалек, он чувствовал себя среди немцев уверенно, исчезли остатки страха.

Не как вор, тайком, а открыто вошел во двор Миллера: толкнул калитку, не спеша прикрыл ее за собой и направился к небольшому, с облупившейся краской домику, над дверью которого была прибита вывеска.

Ганс, увидев Володю, поднялся со своей сапожной табуретки, взял его за руку и повел из мастерской в комнаты.

— Имею для тебя очень приятную новость, — сказал он. — В Киеве уже русские... Мой сосед писал, что русские глупый народ, но через Днепр переправились на бочках из-под огурцов. Вот это здорово придумали. Немецкие солдаты совсем не ожидали их там, откуда они появились.

От этой новости у Володи радостно забилося сердце. Киев освобожден! Его милый, родной Киев освобожден! Нет там фашистов и снова, как прежде, светит людям солнце!

Не знал, как благодарить Ганса за такое сообщение, жал ему руку:

— Молодцы наши, дают вам жару!

Сапожник растерянно улыбался и бормотал:

— Да, нашим капут... Но ты меня помилуешь, когда сюда придут русские солдаты?

— Да, Миллер, — успокоил его Володя. — Вы — хороший человек. Но мне интересно, когда вы стали хорошим? Тогда, когда увидели, что вашему рейху приходит конец, или же и раньше были на стороне несчастных людей, которые, как и я, попали к вам в плен?

Миллер замялся, потом улыбнулся и сказал:

— Ведь мы с тобой дружим уже давно, и я всегда понимал, что ваши люди не виноваты, они не по своей воле очутились у нас. Почему же я их должен ненавидеть?.. Да, мы заговорились, — спохватился он, — и вдруг забуду тебе еще кое-что рассказать. Сосед пишет, что ваши партизаны не дают немецким солдатам покоя ни днем, ни ночью, все взрывают. Страшнее, чем на фронте.

— Хорошо делают, — ответил Володя. — Ведь мы не приглашали вас на нашу землю устанавливать порядки.

— Недавно состоялись переговоры между Советским Союзом, Англией и Америкой, союзники договорились о совместных действиях против Германии, так что война скоро закончится и ты поедешь домой, Владимир, — добавил сапожник.

О Тегеранской конференции Володя уже слышал, но что там решили, не знал.

— Да, да, мой сосед служит в конной армии и пишет, что скоро будет дома со своими лошадьми, если останется жив. В плен к русским попадать нельзя, они всех уничтожают... Ты все же, я думаю, защитишь меня, мою жену, детей, когда ваши придут сюда. Мы не хотели войны, ведь мы жили и без нее хорошо.

О положении немецких военнопленных Володе ничего не было известно. «Возможно, и в самом деле, — думал он, — война и зверства фашистов довели наших до такого состояния, что они расправляются с пленными». Но все же ему не верилось в это. Разве советский человек может озвереть как фашист и всех подряд расстреливать? Он запомнил, как читал в газете в начале войны о попавших в плен немецком офицере и двух солдатах. Никто их не убивал, а наоборот, уделили им много внимания, отправили в тыл. Поэтому сейчас заявил Миллеру, что все это ерунда — очевидно, фашистская пропаганда.

— А насчет того, чтобы вас защитить, когда наши придут, — сказал паренек, — то вам бояться нечего. Наша армия не воюет с женщинами и стариками. Это точно. Наша армия воюет только с фашистами.

Сапожник сначала тяжело вздохнул, но потом повеселел.

— Да, мы с тобой приятно побеседовали, — заключил он, а когда Володя собрался уходить, вдруг добавил: — Ведь ты нам напишешь письмо, когда вернешься домой? Нам это будет приятно.

— Обязательно, — пообещал паренек и, попрощавшись, ушел.

По дороге Володя думал над рассказами старого Миллера. Сапожник уверял его, что он скоро будет дома. Нетрудно догадаться: дела у немцев неважные. На встречу с друзьями Володя шел в приподнятом настроении. Он передал им содержание беседы с Миллером. Все очень обрадовались, так как становилось ясно, что фашистам не устоять. Даже в тылу чувствовалось какое-то замешательство. Невольники замечали, что в последнее время одни хозяева притихли, другие стали жестче и злее — вероятно, предвидели поражение.

Однажды Тадеуш сообщил: немцы, отступая, творят расправу над мирным населением. Не исключено, что и тут они захотят уничтожить своих невольников. Пленники договорились внимательно следить за хозяевами, а в случае опасности — всем собираться в одном месте. Все были так оптимистично настроены, что казалось, завтра или на днях советские солдаты будут здесь. Но невольники многого не знали. Враг в то время был еще достаточно силен, и до конца войны было далеко. Мечта, как положено ей, опережала события.

...Вскоре друзья поручили Володе съездить в Ансбах. Тадеушу было известно, что он хорошо ориентируется в этом городе, и поэтому сказал:

— Ты, Владимир, единственный, кто сможет выполнить задание. Во-первых, надо обязательно достать карту, во-вторых, узнать: какие лагеря находятся в районе Ансбаха. Мы должны установить с пленными связь, чтобы при необходимости объединиться. Тогда фашистам труднее будет с нами расправляться. До Тиньгельшпиля тебя проводит мой брат Рихард.

В одно из воскресений, рано утром, Володю приодели: кто дал брюки, кто — рубаху, кто — пиджак. В общем, выглядел он вполне прилично. До Тиньгельшпиля, то есть до железнодорожной станции, ехали на веломашинах. Володя взял машину у сапожника Миллера, а Рихард у своего хозяина. Рихард проводит Володю и будет ждать его до вечера в Тиньгельшпили.

Володя купил билет и уехал. В Ансбахе без особого труда приобрел карту Европы. Правда, толстяк продавец, похожий на откормленную свинью, поинтересовался, откуда он, как зовут и зачем карта. Володя без запинки ответил, что его зовут Вольдемар Тремель, живет в Тиньгельшпили, карта нужна для школы. Не спрашивая больше ничего, продавец, улыбаясь, достал карту Европы. Володя уплатил, попрощался и поскорей отошел от прилавка.

Странно было ему в этот раз ходить по знакомым чистеньким улицам Ансбаха. Аккуратно одетый, он не вызывал у встречных никаких подозрений, и никто не догадывался, что творилось в душе этого русоволосого светлоглазого юноши.

Да, это был другой Володя. Куда и делся тот наивный, откровенно ненавидящий поработителей паренек, который мечтал, чтобы прилетели сюда краснозвездные самолеты и сбросили бомбы.

Теперь, когда повзрослел, ненависть, родившаяся от боли, горькой обиды и безысходного горя, превратилась в другое чувство, не менее сильное, острое, и Володя уже не хотел ни самолетов, ни слепого мщения, а хотел, чтобы с развевающимися знаменами пришли сюда родные солдаты и, сбросив с памятников хищного черного орла, начали всенародно судить немцев...

Конечно, не всех, не таких, как Лина, фрау Сантерс или даже ее отец. А других — старосту и жандармов из Кенигсгофена, Тремелей, «убийцу Ивана», охранников из лагерей и толстомордых полицаев...

В мыслях у него уже давно состоялся этот суд, и он строго спрашивал сморщенного, противного, как червь, старикана с бородкой: «А кто дал вам право называться врачом, если вы способны высасывать кровь из беззащитного человека?!»

Да, им сейчас владело другое чувство, нежели естественная ненависть униженного и измученного. Это была жажда справедливого суда, который неотвратимо приближался, и полный веры в него Володя шел по Ансбаху, словно уже выбирая место, где произойдет этот суд и расправа.

В течение дня Володя побывал около двух лагерей. Пробирались

на их территорию он не стал. Обошел и вокруг лагеря, с которым у него было связано столько тяжелых воспоминаний, побродил возле невольничьей биржи и, никого не встретив, направился к колбасной фабрике.

Около фабрики советские ребята-невольники мостили улицу брусчаткой. Володя выждал удобную минуту, когда надзиратели заговорились, и поманил за угол дома несколько невольников. Поделится с ними новостями, планами на будущее, поведал о своих друзьях в Баерберге. Договорились снова встретиться и поддерживать связь. Ребята рассказали, что теперь в лагерях жизнь стала легче, ибо все сплотились, страдания закалили и сдружили людей. Даже те, кто раньше старался выслужиться перед немцами, увидев настоящее лицо фашизма, переменились. Сейчас уже свободней можно общаться, не боясь доноса.

Володя остался очень доволен этой встречей, особенно понравилось то, что люди не пали духом и готовы к борьбе. Идя на вокзал, он подумал было зайти к фрау Сантерс, очень хотелось повидать эту семью, рассказать о себе. Он до сих пор чувствовал себя неловко из-за истории с велосипедом. Но время поджимало, и он отложил это посещение на потом.

На станции Володино внимание привлекла группа военнопленных-французов. Они отдыхали после выгрузки вагонов. Одеты были в свою военную форму, превратившуюся в грязное, почти черное, сальное тряпье. Работали французы без охраны. Несмотря на то что уже купил билет на поезд, Володя подошел к ним.

Узнав, что Володя из Советского Союза, французы усадили его в центре кружка, начали расспрашивать.

Володя рассказал, откуда родом, где живет сейчас, какие хорошие у него друзья — русские, украинцы, поляки. Все они работают у хозяев по принуждению. Предложил поддерживать связь.

— Хотя вы, французы, и пользуетесь здесь большой свободой, — заметил он, — все же судьба у нас одна.

Говорил Володя по-немецки, а один из французов, понимавший его, переводил для всех.

— Да, ты прав, парень, — согласился француз. — О вашем положении нам известно. У нас в селе тоже есть люди с востока. Им запрещено приближаться к лагерю, где мы находимся. Они работают в хозяйствах. В Ансбахе мы пробудем еще пару дней, потом нас увезут назад в лагерь... Я дружу с одной твоей землячкой, прекрасной, но очень несчастной девушкой из Киева, — неожиданно вздохнул он.

— А где вы живете? — спросил Володя.

— Не так уж далеко, на севере от Ансбаха есть большое село Биркенфельд, за ним Вайсендорф и километров через семь-восемь село Ильфельд. Возле Ильфельда в лесу и стоят бараки нашего лагеря.

— В Ильфельде летом повесили моего товарища, поляка Йозефа, — тихо произнес Володя.

— О, я знаю... мы видели, — грустно подтвердил француз. Он перекрестился и поднял глаза на небо.

Это был высокий кареглазый юноша. Казалось, на его красивом худощавом лице застыло страдальческое выражение. Это впечатление

усиливала и короткая, строгая прическа. Сейчас, когда он умолк, Володе подумалось, что этому французу пришлось хлебнуть в жизни горя.

— Не пройдет им это безнаказанно,— добавил после паузы француз.— Да, да... не пройдет.

— Йозеф был нашим и вашим товарищем по несчастью. Немцы могут расправиться с каждым, если не будем держаться вместе... Недавно у нас в лесу жандармы поймали двух беглецов из лагеря... Какие они были измученные и несчастные! Мы с товарищем хотели им помочь, но не успели... Их тоже где-то повесили или расстреляли...

Володя заговорился с новыми знакомыми и прозевал поезд. Пришлось ждать еще около двух часов. Темнело, когда он выехал из Ансбаха.

Рихард ждал его на станции Тингельшпиль и очень волновался.

— Лезла в голову разная ерунда,— сердился он,— думал, что тебя уже не будет.

В полночь Володя добрался до дома. Владек тихо открыл дверь, покормил его своими запасами и предупредил, что хозяева очень злы.

— Весь день допрашивали, где ты, говорили, что я должен это знать. Хозяйка кричала: «Ты хочешь тоже побывать в полиции?!»

Володя коротко рассказал о своей поездке, и друзья легли спать.

На следующий день Володю снова избили в полиции. Когда его привели на хутор, хозяйка ехидно прошипела:

— Так надо вас учить, русских свиней, полиция еще мало тебе всыпала.

В поезде, по дороге из Ансбаха, Володя познакомился еще с одним невольником. Это был молодой итальянец, лет восемнадцати-девятнадцати. Он жил недалеко, в Ротенгофе, на таком же хуторе, как и Володя. Попал он туда совсем недавно. Рассказал, что работает в большом хозяйстве, которое принадлежит богачам — старику и его старухе. Они хотели купить на невольничьем рынке еще пару работников, но пленников с востока было мало и им дали только его.

Новый знакомый очень плохо говорил по-немецки. Володя несколько раз спрашивал, как он сюда попал, ведь итальянцы и немцы союзники, но ответа так и не добился. Итальянец перемешивал немецкие слова с родными, причем последние преобладали, и ничего нельзя было понять.

Так, случайно встретившись, они и разошлись. Но когда после поездки в Ансбах Володю избили, он решил удрать из Кальтенкрайта. Вечером, тихонько собрав свои немногочисленные вещи, он ушел от Тремелей, как считал, навсегда. Под утро добрался до Ротенгофа и стал работать с тем итальянцем у его хозяев.

Однако не прошло и двух недель, как полиция нашла Володю и привела обратно к Тремелям. Его снова избили, после чего бедный хлопец в течение долгого времени не мог передвигаться даже по двору.

6

Все больше невольников из ближайших сел и хуторов собиралось в Баерберге, в лагере. Ребята регулярно следили за ходом боевых действий, стрелками отмечали движение фронтов на карте, которую

Володя купил в Ансбахе. Кроме того, Володя частенько бывал у Миллера, сообщавшего ему новости. Однажды сапожник рассказал, что скоро в Германии начнут создавать фолькштурм — специальные воинские отряды из стариков, ибо все остальные уже в армии, что усиленно готовят солдат противовоздушной обороны, привлекая к службе девушек. Володе вспомнилось его нюрнбергское приключение, Луиза и ее мать. Уже давно гитлеровцы мобилизуют девушек.

Обо всем этом он рассказал в лагере. В тот раз собралось более тридцати человек. Каждый делился услышанными новостями. Тадеуш с картой в руке выглядел как настоящий докладчик. Потом на радостях завели граммофон — кто-то взял его у своего хозяина в сарае и тайком принес в лагерь. Пластика оказалась с веселым маршем, и все стали хором подпевать. Этот сырой сумрачный февральский день был необычным — первая годовщина разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Такого веселья не видели с начала войны. Особенно Володе было приятно, что все восхищались Красной Армией, ведь именно Красная Армия остановила фашистов. И русские, и украинцы, и поляки, и чехи в один голос заявляли, что сию минуту вступили бы в ее ряды, если бы это было возможно.

Володя радовался. На душе было так хорошо, что даже забыл о рубцах на теле, которые никак не проходили и постоянно ныли.

Никто из ребят не подозревал, что творилось в это время в селе. В Баерберг съехалось много полицаев, к кирке сходились крестьяне из соседних сел и хуторов, одетые в черное. Были там и солдаты, из-за тяжелых ранений находившиеся дома. Собралось человек шестьдесят — семьдесят, построились в четыре колонны и двинулись по селу. Впереди шествовали полицаи. Немцы несли черные знамена и еще какие-то цветные. Вся эта процессия шла на кладбище почтить память тех, кто погиб год назад на Волге.

Дорога к кладбищу проходила мимо невольничьего лагеря, откуда доносились звуки веселого марша. Кто-то из пленников заметил процессию и крикнул: «Полиция!»

Володя выглянул в окно. Так как дом стоял на небольшой возвышенности, колонны было хорошо видно. Полицаи сломали строй и побежали с дубинками в лагерь. Творилось что-то ужасное: крики, стрельба. Полицаи раздавали удары направо и налево. Тадеуша и еще нескольких ребят схватили и поволокли в жандармерию. Из всех только одному удалось спрятаться и остаться незамеченным. Это был Володя. Позже ребята говорили: «Твое счастье, что ты не попался на глаза полицаям. Они тебя уже хорошо знают. Скорее всего, это был бы твой последний день».

* * *

Вскоре Володя с Тадеушем на веломашинах отправились к французам в Ильфельд. Нужно было закрепить знакомство и подружиться с этими пленными. Перед поездкой Володя расспросил о дороге Ганса Миллера. Тот, правда, не знал, где Ильфельд, но в Вайсендорфе, через которое надо ехать, бывал, так что направление указал.

При въезде в Ильфельд — большое, красивое село с двумя кирками — им встретился на дороге старик, он и объяснил, как попасть в лагерь к французам.

Хлопцы проехали мостик, за которым несколько улиц уходили в разные стороны. Слева увидели огромные ворота, то ли фабрики, то ли большого хозяйства. Широкая дорога вела в центр села. Но они повернули вправо, на узкую улицу.

Вскоре за невысоким заборчиком, вытянувшимся вдоль дороги, показалось обнесенное проволокой длинное здание, окна которого находились почти под крышей. Постройка напоминала конюшню.

Еще на улице ребята слышали доносившиеся со двора звуки губной гармошки и песенку на французском языке. Кто-то наигрывал незнакомую грустную мелодию, от которой у Володи сжалось сердце. Володя взглянул на Тадеуша. Тот только вздохнул и кивнул в ответ.

Несмотря на то что заходить в лагерь французов было строго запрещено, ребята, недолго думая, стали искать лазейку, чтобы пробраться туда. Они были настолько взвинчены последними событиями, так отчаянно смелы, что не считались с опасностью!

Оказалось, что часовой стоит только у ворот. В углах двора вышек с охраной не было, проволока же натянута низко, в две линии. Володя и Тадеуш свернули в лес, обошли лагерь и, оставив велосипеды в кустах, без труда пробрались на его территорию.

Володя первым делом принялся искать ребят, что работали на станции в Ансбахе. Сначала нашелся один, а потом сбежались и остальные. Французы встретили ребят радостно, расспрашивали обо всем, показали, как они живут. Двоих военнопленных отправили дежурить около барака, они должны были предупредить об опасности. Новые друзья ребят оказались очень гостеприимными. Принесли посылки, которые получали из дома через Красный Крест, накормили гостей. По этим посылкам можно было определить, у кого как живут родные, ибо содержимым они резко отличались.

Володя подробно рассказал обо всем, что обсуждали у себя в баербергском лагере, и был очень удивлен, узнав, что французы плохо ориентируются в событиях и ждут, когда немцы закончат войну и отпустят их на родину.

Разгорелся жаркий спор. Пленные стали что-то доказывать друг другу на своем языке. Вдруг от группы отделилось человек пять или шесть, и один из них сказал Володе: «Идемте, мы вас проводим». Он повернулся к своим товарищам и тихо бросил несколько слов укоризненным тоном.

Все умолкли. Володя видел, что между французами что-то произошло, но что именно — не понял.

Как только гости вышли из барака, одного пленного сразу послали вперед, на разведку.

Молодого человека, который сказал: «Идемте, мы вас проводим», — Володя уже знал. С ним он беседовал в Ансбахе, на станции.

Паренек заметил, что даже старшие по возрасту пленные относятся к нему с уважением. Говорил этот француз мало, но стоило ему открыть

рот, как самые азартные спорщики умолкали. Володя чувствовал к нему большую симпатию. Возможно, потому, что его звали Виктор. Это было почти по-русски, только ударение ставилось на втором слоге. А возможно, ему понравилось, что этот человек выделялся серьезностью и сдержанностью среди экспансивных соотечественников.

Позже, узнав, что Виктор — бывший священник, Володя очень огорчился, так как не любил попов — обманщиков и лицемеров. Правда, Виктор не был похож на попов из сказок, книжек и кинофильмов, но все же поп есть поп.

Французы объяснили ребятам, что среди них полно пленных, которые получают из дома не сухари и сушеный картофель, а вино, шоколад, разную сдобу. Эти люди многого еще не понимают, и поэтому разговаривать с ними будут сами.

Виктор мягко заметил:

— Никогда не следует горячиться. Человек в запальчивости принимает ошибочные решения.

Гостей проводили до самой ограды, поблагодарили за новости, пригласили приходить еще, но предупредили, что нужно быть поосторожней, чтобы не попасться на глаза охраннику.

Когда сели на велосипеды и поехали, Тадеуш стал укорять Володю:

— Зачем ты им все рассказал? Ведь могли нарваться на неприятности!

— Ничего особенного я не говорил, — буркнул Володя. — Думал, что они так же, как и мы, будут довольны переломом в войне. Я не знал, что среди них есть люди, которые заинтересованы держать товарищей в неизвестности.

В конце концов друзья успокоились и решили чаще бывать в лагере у французов. Им хотелось помочь своим товарищам по несчастью объединиться и взглянуть на мир иными глазами.

Еще несколько раз Володе и Тадеушу удалось побывать в лагере французов. Но как ни соблюдали осторожность, полиция стала следить за ними. Однажды, приближаясь к Ильфельду, ребята заметили, что два полица, тоже на велосипедах, едут за ними. Пришлось повернуть к центру села.

У кирки Володя и Тадеуш остановились, поставили веломашины у забора, а сами зашли внутрь здания. Тадеуш был католиком, так что он не только спрятался, но и удовольствие получил, попав на богослужение. Там, где они жили, немцы исповедовали в основном лютеранство, а немного дальше, около Ансбаха, а также в Ильфельде — католичество.

...Труды Володи и Тадеуша не пропали даром. Как потом выяснилось, во время их первого посещения лагеря некоторые французы хотели сдать ребят в полицию. Из-за этого и разгорелся спор, его прекратил Виктор, сказав, что так делать нехорошо. Теперь эти люди опомнились, просили извинить их и приглашали в гости.

К началу весны 1944 года образовался крепкий союз невольников, объединивший более тридцати человек из Баерберга, два лагеря в Ансбахе, в одном из которых были советские военнопленные, и лагерь французов в Ильфельде. Невольники постоянно держали между собой связь.

Еще раз послушав радио у Шлагбаура, Володя узнал, что гитлеровское командование обещает весной изменить положение на фронтах в свою пользу. Немецкое радио без конца восхищалось каким-то новым грозным оружием. Но как только удалось послушать Москву, стало ясно, что немецкая армия трещит по всем швам, а «грозное оружие» — очередная выдумка геббельсовской пропаганды.

У ребят был еще один замечательный друг и помощник по сбору информации. Это Володина землячка — еврейка из Киева — Дора. Она избежала расстрела и пристала к эшелону батрачек, которых везли в Германию. Друзья, оберегая ее, никому об этом не рассказывали.

Дора работала уборщицей у коменданта ансбахской биржи, лютого фашиста Тильзе. Девушка хорошо владела немецким языком и очень походила на немку. Благодаря этому она везде бывала, слушала и передавала Володе, когда тот приезжал в Ансбах.

Немцы отступали, надо было быть готовым ко всему, тем более что Володина землячка вскоре рассказала о подслушанной беседе двух немецких офицеров. Один говорил: «Если оставим этих людей здесь, в тылу, они же нас потом и повесят». — «Да, да, — согласился второй. — Их надо уничтожить».

Об этой беседе гитлеровцев узнали все в баербергском лагере, в Ансбахе, потом и французы. Это было очень важно. Ведь ночью сонных людей могли захватить врасплох и перебить. Кстати, позже так и случилось с теми, кого не успел предупредить. Особенно немцы следили за невольниками. Отступая по родной земле и чувствуя свою вину, они думали, что обездоленные люди будут им мстить.

Вскоре ребят уведомили, что в одном из лагерей в Ансбахе организована сильная группа, которой руководят бывшие офицеры Красной Армии. Они приглашали ребят приехать и договориться о совместных действиях.

Как и ожидал Володя, ехать в Ансбах поручили ему. Он с нетерпением ждал воскресного дня, чтобы вырваться с хутора. Но этого дня он не дождался...

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

Ветер утих, и веточка вишни за окном еле шевелилась.

Но это было затишье перед бурей. Где-то невдалеке уже вспыхивали зарницы. После декабря снова возвращался май с его громами и грозами.

МЫ брели по пыльным горным дорогам на westval¹. НАС гнали рыть окопы для немецких солдат.

ОН тоже шел со мной. Впрочем, возможно, ЕГО и не было рядом. Я не видел ЕГО в колонне невольников. И все-таки МЫ двигались вдвоем. Просто Я уже давно стал ИМ. У НАС на двоих было одно сердце, полное ненависти, полное тоски по Родине, полное веры и надежды...

ОН продолжал рассказывать, но Я все это уже знал...

¹ Westval — западный вал — немецкая оборонительная линия на западе страны.

Была пятница. День выдался холодным, с самого утра не переставая шел дождь. Работу в поле закончили поздно, потом до начала двенадцатого Фриц Тремель держал Володю в конюшне. Парень еще днем в поле промерз до костей, плохо себя чувствовал и, когда забрался наконец к себе на чердак, сразу лег.

У Владека от последних новостей было хорошее настроение. Устроившись возле Володи, он раз мечтался:

— Скоро вернусь домой! Даже не представляю себе, как буду идти по родному селу! Братишки, сестра уже выросли... Но что я им привезу, какие гостинцы, ведь у меня самого ничего нет, только то, в чем сюда приехал.

— Я слышал, что немцы начинают понемногу стаскивать одежду в погреба, чуют, видно, вину, подготавливаются,— заметил Володя.— Мы, Владек, не должны пропустить этот момент. Сам знаешь, приедем домой голые и босые, там нас никто не оденет, все фашистами разрушено.

— Да, надо будет на следующей неделе сделать проверку в ближайших селах. Согрешим немного, ведь они у нас, в Польше, все забрали и вывезли.

— У нас даже лес пилили, грузили на поезда и отправляли к себе в Германию, а также землю вывозили.

— Скорей бы конец войне, все заберем обратно. Северные наши земли они заселили немцами, а поляков выгнали, но мы их торжественно выпроводим оттуда.

В это время Володю позвал хозяин:

— Малый, слезай быстро!

Володя встал, оделся и сошел вниз. Тремель сказал:

— В своем ряду в конюшне ты не положил подстилку быкам, пойд и положи, и быстро!

Парень ответил на своем, правда, языке:

— Ах ты, собака старая, не мог сам бросить им солому, ведь ты там был!

— Да, да, иди, иди, это твоя работа.

Сделав все, Володя снова поднялся на чердак. Владек долго возмущался:

— После войны я специально останусь здесь и рассчитаюсь с ними.

Вдруг ребята слышали, как внизу в дверь кто-то постучал. На улице был сильный ветер, и они подумали, что это показалось. Но стук повторился.

Дверь открыл сам Фриц и долго разговаривал с кем-то на крыльце почти шепотом. Потом они вместе с гостем пошли в комнату.

Через несколько минут Володю позвала хозяйка:

— Малый, быстро иди сюда!

Он наскоро оделся и вторично спустился с чердака. В столовой сидел полицай, который нашел его у другого хозяина и сопровождал сюда из Ротенгофа. Фрау Тремель сказала:

— Собирай свои вещи, ты от нас уходишь навсегда. Доигрался! — злорадно добавила она.

У Володи как-то сразу опустились руки, он стоял, не зная что делать. Куда же теперь? Дальше — некуда, только «в печь», которой пугали строптивых невольников и в лагерях, и в полиции, и «мирные хозяева»... Выходит, дождался того, чего больше всего боялся. Наивный, глупый, не подумал, что, когда придет критический час, немцы ночью выдернут их всех поодиночке, как репку из влажной земли...

Полицай прорычал:

— Идем! — и они поднялись в Володину комнату.

Володя все еще не мог опомниться, начал собирать кое-какие тряпки, одно берет — другое падает из рук. Пришла хозяйка. Увидев невольника в новом рабочем костюме, вытаращила глаза и закричала:

— Где ты взял этот совсем новый костюм?

— Дали друзья, — ответил Володя. Не мог же он сказать, что подарила жена сапожника Миллера.

Связав вещи в небольшой узелок, Володя спустился в столовую. Владек выбежал следом почти раздетый:

— И я пойду с ним, куда вы его гоните?

— Ты, польская собака, — выхватил из-за ремня резиновую дубинку полицай, — сейчас же иди в свою конуру, завтра и за тобой приду!

Под конвоем Володя вышел на улицу, во дворе стояли двое: еще один полицай и друг Тадеуш с вещами. Тадеуш обнял его:

— Держись, Володя, не падай духом, мы вместе.

— Да, вместе, — тяжело вздохнув, произнес невольник. Присутствие товарища усилило его опасение.

Холодный ветер злым псом вцепился в брюки, рвал рубашку, пробирался к теплему телу, стараясь обнять его холодными лапами. Этот осенний ветер напомнил мартовскую ночь в Здолбуново, когда удрал из эшелона. Тогда ветер был таким же хищным и холодным.

А может, это не ветер такой же, а неизвестность, которая камнем легла на душу, как и в ту ночь?

Уже за воротами их снова догнал Владек. Он по-прежнему был почти раздет и весь дрожал. Попрощался, заплакал и сквозь слезы сказал:

— Берегите друг друга.

Так Володя снова ушел в неизвестность...

По дороге Тадеуш попытался узнать у полицая, куда их ведут, но получил ответ: «Молчать!»

Шли селами, полями, лесом. В каждом селе к ним добавляли и добавляли людей, и вскоре их уже было около ста человек. Появилось много полицаяв.

Так прошли километров двадцать, а то и больше, и наконец пришли на какой-то полустанок. Володя побывал почти во всех окружающих селах, на ближайших железнодорожных станциях, но на этот полустанок попал впервые. На путях стоял пассажирский состав, около него много жандармов, каждый с собакой.

Все повторялось, все было знакомо: и железнодорожные пути, и эшелон, и жандармы с собаками — все стало неотъемлемой частью их жизни.

К концу ночи немцы собрали около тысячи человек и начали погрузку: в купе поместили по шесть человек; на этих шесть невольников — два жандарма и одна собака.

Ни Тадеуш, ни Володя не могли понять, почему их так охраняют, зачем согнали столько людей и куда отправляют и, главное, почему из Баерберга и Кальтенкрайта взяли именно их — самых упрямых и непокорных. Напрашивался единственный вывод, о котором не хотелось думать...

...Через несколько дней их привезли в Нюрнберг. Володя рассказал Тадеушу, что здесь у него есть «знакомые» — Луиза и ее мать. «Сомневаюсь, конечно, чтобы они меня приняли, — пошутил он, — да и удрать с вокзала нет никакой возможности».

Состав с пленниками поставили в тупик, окруженный жандармами и собаками. Потом перегнали на товарную станцию. Площадь возле нее была вся забита людьми, которых вталкивали в товарные вагоны.

В Нюрнберге жандармы с собаками остались. Теперь пленников охраняли солдаты, вооруженные автоматами. Вагоны заперли, на тормозных площадках установили пулеметы и прожектора.

В вагон, где были Володя и Тадеуш, попал один пожилой чех, он и рассказал, что их везут рыть окопы к французской границе. Впрочем, ребята уже и сами начали об этом догадываться, так как состав двигался в западном направлении. «Немцы усиленно укрепляют западные рубежи, — решили они, — значит, вот-вот должно начаться наступление на втором фронте».

Володя снова проезжал знакомые города: Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Бинген.

Как ни тяжело было ему блуждать в этих местах с больной ногой, когда за каждым поворотом, за каждым углом подстерегала опасность, но он все же имел относительную свободу — не был заперт в вагоне, как скот, сам выбирал направление... Теперь мелькали за окном высокие скалы, кручи, обрывы, нес свои воды широкий Рейн и тянулось рядом с железной дорогой измеренное его ногами черное шоссе, но от быстрого движения на душе становилось все тяжелее...

Наконец приехали в город Кобленц. Здесь уже были заметны следы бомбежек, особенно на крупных железнодорожных узлах. Это невольников радовало. Тадеуш, потирая руки, говорил:

— Теперь и в тылу они начинают чувствовать войну. Легко им было соблюдать везде чистоту, наводить порядок, когда их дома никто не разрушал. А что делать нашим после того, что они натворили в Польше!

За эти дни худощавое мужественное лицо Тадеуша еще больше вытянулось, а в глазах, как всегда, горели знакомые решительные огоньки.

— Да, — поддержал его Володя, — где прошли эти гады, везде они после себя оставляли развалины, пепелища, трупы...

— Со всех концов Европы свезли к себе все, что попадало под

руки, и построили у себя свой страшный бюргерский рай,— сказал Тадеуш.

— Ничего, скоро доберутся и до них.

Начиная от Кобленца невольников везли только ночью. Чаше стали появляться американские самолеты с белыми пятиугольными звездами на крыльях. Их ребята видели впервые и, несмотря на то, что самолеты несколько раз обстреляли их состав, радовались. Приятно было наблюдать, как немцы, словно крысы, разбегаются со станции и забиваются в разные дыры. Володе так и хотелось крикнуть: «Хорошо, хорошо! Попробуйте и вы нашей пищи!»

Вскоре невольников привезли в Герольштейн, а оттуда — в Трир, к немецко-французской границе.

Выгрузили на станции несколько тысяч человек. Построили в колонны и под усиленной охраной погнали дальше.

Начиналось лето 1944 года. Стояли жаркие дни. В первый день их гнали километров двадцать, и всю дорогу только и слышно было: «Шнель! Шнель!» Люди задыхались, падали, бросали свои жалкие пожитки. Ночью стало очень холодно. И земля, и деревья, и люди покрылись легким инеем, но все же пленники отдыхали от дневной жары. Здесь же, около дороги, на земле и спали. Местность была неровная, холмистая, с небольшими оврагами, но вся засеяна — вокруг поля и поля. Леса не было видно, только вдоль дороги тянулся ряд деревьев.

Володя с Тадеушем лежали, прижавшись друг к другу, и тихо беседовали. Горько сожалел Володя, что забрали его так неожиданно. Ведь днем и ночью мечтал он дождаться советских солдат! Он надеялся, что будет вместе с ними наводить в Ансбахе и вокруг него порядок — он хорошо знал окрестности и готов был жизнь отдать, только бы помочь своим солдатам. Но это были наивные детские мечты. Жизнь преподнесла ему сюрприз. Теперь придется строить новые планы.

— Время покажет, что делать,— успокаивал его Тадеуш.— Пока еще рано что-либо придумывать, неизвестно, что с нами произойдет дальше. Как нехорошо получилось,— вздыхал он,— столько готовились, объединили невольников — и исчезли неизвестно куда. Я даже с братом не смог проститься... А мы с тобой так мечтали при подходе наших помочь им! Немецкий тыл с каждым днем, конечно, слабел, но нам казалось, что он уже совсем разваливается. А немцы, наверное, знали о наших планах. Ведь они очень следили, чтобы много невольников не собиралось в одном месте, даже на улице если встречали группу более трех человек, то били и разгоняли.

Тадеуш был прав. Не так просто было в немецком тылу что-либо предпринять. Невольники надеялись, что вскоре здесь начнется паника, ведь фронт быстро приближается к Германии. Но, видно, просчитались...

На следующий день конвоиры снова гнали пленников по пыльной дороге все дальше и дальше.

Вихрилась пыль под ногами, не давала дышать, отрывались деревянные подошвы на ботинках, запекались от жары и жажды губы, слезились глаза, немели от усталости ноги.

Шли непрерывно, без отдыха, словно уходили от смерти...

А может, спешили к ней...

Конвоиры беспощадно били тех, кто отставал. А несчастных, которые, упав, не могли подняться, оттаскивали на обочину, и тогда сзади колонны раздавались сухие щелчки выстрелов...

И опять колебался перед глазами горизонт, проплывали в знойном мареве одинокие деревца, лоскуты полей, однообразно покачивались спины и головы измученных, обессиленных пленников, и уходила из-под их ног твердая пыльная дорога...

Этот однообразный ритм движения нарушался при появлении американских самолетов. Они пролетали прямо над головами, но, на счастье, не обстреливали. По команде солдат люди то ложились, то поднимались и чуть ли не бегом двигались дальше, шли, шли и снова падали и поднимались. Местность была открытая, поэтому лежание в пыли помочь не могло. Если бы американцы начали обстреливать, вряд ли кто-либо ушел с той дороги. При каждом появлении самолетов охранники удирали от дороги как от огня, а потом снова сходились.

Володя подумал, что американцам, вероятно, известно о немецких укреплениях у французской границы и кого они гонят рыть окопы. На четвертый день ребята убедились в этом.

Рано утром появилось несколько истребителей. Вскоре за ними прилетели девять четырехмоторных самолетов, недалеко от дороги сбросили бомбы и взяли обратный курс.

За небольшой возвышенностью что-то очень сильно и долго горело. Немцы все время поглядывали в ту сторону, где полыхало, ругались, проклинали американцев.

Но вот истребители появились снова. На этот раз они сбрасывали нечто похожее на ящики, которые в воздухе рассыпались.

Тадеуш и Володя видели, как перед бомбежкой самолеты разбрасывали какие-то длинные узкие бумажки, с одной стороны черные, с другой — серебристые. Они подумали, что и на этот раз летчики сбрасывают такие же бумажки. Когда бумажки опустились на землю, все увидели книжечки, размером с почтовую открытку. Охрана кинулась к колоннам, но Володя успел спрятать такую книжку у себя в ботинке.

Дорого обошлись некоторым его товарищам по несчастью эти книжечки. Немцы выворачивали карманы невольников и, если находили их, беспощадно избивали людей прикладами.

Володя избежал побоев, так как, вывернув его карманы, солдаты ничего не нашли. Позже, рассматривая сброшенную с самолета книжечку, он убедился, что листовки были предназначены именно им — русским, полякам, чехам. Видно, поэтому самолеты и не обстреливали колонны. Тадеуш восхищался и удивлялся: когда это Володя успел разуться и вложить книжку в ботинок? С этой книжечкой у Володи была куча хлопот. Многие видели, как он читал. Вокруг него собирались люди, просили показать, дать почитать. Конечно, прочитав книжку, он отдал ее другим невольникам. Так все узнали ее содержание.

Книжечка, страниц на десять, была напечатана в Англии, текст давался на русском, польском и других славянских языках. Вначале рассказы-

валось, что девянсто дней и девянсто ночей немцы обстреливали Лондон, не щадя детей, женщин, стариков, но скоро их зверствам придет конец, война переместится на территорию Германии, которой придется испытать все то, что испытывали ее жертвы. Далее шло обращение к невольникам — батракам и военнопленным. Их призывали как можно дальше уходить из городов в леса и горы. В книжке было шесть или семь фотографий советских бойцов и генералов, которые сопровождали и допрашивали Паулюса после разгрома его армии под Сталинградом.

Трудно передать, что чувствовал Володя, рассматривая эти фотографии, ведь он впервые за столько лет видел родных советских солдат! На нескольких фотографиях были запечатлены горы трупов, засыпанные снегом, бесчисленное количество могил, поле боя, усеянное разной военной техникой. Под этими фотографиями стояла подпись: «Вот так встретил Сталинград Гитлера».

Книжечка незаметно передавалась по колонне, поляки, чехи иногда выкрикивали: «Братцы, ура! Ура Красной Армии!» Конвоиры, конечно, не догадывались, что творится в колоннах, поднимали крик, стрельбу, бросались от одного пленного к другому и награждали всех зуботычными. И когда проходили мимо водоразборной колонки, не позволили никому к ней приблизиться. Поставили возле нее двух автоматчиков, которые кричали: «Назад, назад!»

Так прошел еще один день. Этот день запомнился каждому пленнику на всю жизнь. Листовки с фотографиями, сброшенные с самолетов, всех взбодрили, прибавили сил. Они были словно глоток воды для измученных невыносимой жаждой людей.

Миновало недели две. Многие невольники не выдерживали такого марша — падали, отставали и в колонны уже не возвращались. Чем ближе подходили к границе поредевшие колонны, тем больше встречалось солдат, разной военной техники.

Однажды их гнали через село, которое было забито обозами, лошадьми, машинами с гитлеровцами. Как стало обидно, когда среди этих палачей ребята увидели власовцев! Русские люди... Впрочем, русские ли, хотя родом из России.

Пленников они сторонились и смотрели на этих несчастных с открытой враждебностью. Два власовца ехали на фуре, полной сена, и повернули лошадей прямо на колонны, которые шли рядом. Покалечили нескольких человек и, заливаясь смехом, поехали дальше.

Володя с Тадеушем с болью в сердце наблюдали эту картину.

— Фашисту я бы еще простил злодеяния, — говорил Володя. — Но такому — никогда и ни за что! Они продали себя, продали Родину, продали человечность, если она когда-нибудь у них была!

— Ты неправ, Владимир, — не согласился с ним Тадеуш. — Люди не виноваты. Солдаты без командира ничего не стоят, а с плохим командиром могут превратиться вообще черт знает во что. Вот всякие власовцы и сделали из этих людей убийц, зверей. Так кого, по-твоему, надо винить прежде всего?

Володя горячо спорил с Тадеушем. Он считал себя правым, а тому казалось, что правда на его стороне.

Они продвигались все дальше и дальше на запад. Гитлеровцы из охраны постоянно менялись, а невольники все шли, шли и шли...

Вскоре начались горы, леса. Шли такими местами, где не пройдет никакая техника: чащобы, обрывы, узенькие лесные дороги. Иногда вынуждены были пробираться через густые заросли. Оказалось, здесь, между Францией и Германией, построена линия укрепления — westval. Когда-то Володя слышал о ней по немецкому радио, а теперь пришлось и увидеть.

Несколько десятков километров пленники двигались вдоль этой линии, так как других дорог не было. Володя с любопытством рассматривал железобетонные сооружения, выглядывавшие из земли. Они представляли собой квадратные коробки, вверху закругленные по углам; все двери, большой толщины, были сделаны со стороны Германии, пушечных стволов нигде не было видно. Наверное, они втягивались внутрь железобетонных сооружений.

Из-под земли доносился гул, там работали какие-то машины. Машины подавали наверх снаряды, солдаты что-то делали с ними и снова опускали.

Пройдя вдоль линии укрепления, пленные пересекли ее и остановились, как потом выяснилось, на самой границе. Здесь территория Германии клином вдавалась во французскую. Здесь же, далеко впереди от немецкой линии укрепления, невольники должны были рыть окопы для отступающих фашистских частей, которые, как говорилось в военных сводках, будут отходить «на заранее приготовленные позиции».

2

Невольников разбили на группы по сто человек. В Володиной больше всех оказалось поляков, остальные — чехи, и один он — из Советского Союза.

На сто человек было два немца-охранника. Один молодой, лет двадцати пяти, невысокого роста, худощавый. Ходил в желтой мадьярской форме, на рукаве — красная повязка со свастикой в белом кругу. На ногах — большие черные ботинки, с железной окантовкой, на голове — нечто похожее на пилотку, только с длинным козырьком — шапка горной пехоты. Звали его Людвигом, был он из Силезии.

Второй — по прозвищу Шеф — высокий, косая сажень в плечах, имел неприятную внешность: большая, круглая как мяч, лысая голова, глаза вылупленные, приплюснутый нос и вечно злое выражение лица. Никто ни разу не видел его улыбающимся. Одевался он так же, как и Людвиг, только брюки заправлял в кожаные ботинки и часто набрасывал на себя короткий зеленый маскировочный плащ. Пистолет он носил прямо в кармане, из рук не выпускал большую, толстую буковую палку, от ударов которой у многих лопалась кожа на теле.

Сначала Володину группу разместили в длинном полуразрушенном сарае на краю какого-то села. Рядом, во дворе, находилась кухня, где солдаты готовили пищу для многочисленных воинских частей, стоявших в селе. Первое время и невольникам давали раз в сутки суп, а потом воинская кухня уехала к границе, пленникам же выделили немного крупы, чтобы варили сами. В иной день перепадало им и по сто граммов хлеба, но чаще всего не получали ничего.

Село было опоясано садами, за садами шла полоса сосновой посадки, а за ней виднелись горы. Почти в центре посадки невольники копали ямы метров до трех глубиной и до десяти в диаметре. От этих ям отходили двухсотметровые узкие ходы в рост человека, которые выводили на край посадки, где также копали небольшой окоп Г-образной формы.

С каждым днем работа продвигалась все хуже, голодные люди быстро уставали, не было такого дня, чтобы не налетали самолеты. Когда гитлеровцы гнали невольников по дороге, самолеты только низко пролетали над колоннами, здесь же, на окопах, они постоянно обстреливали пленников.

Первое время все осматривались, привыкали к новой обстановке. Но вскоре Володя сказал Тадеушу, что нужно что-то предпринимать. «Чего это мы должны рыть им окопы? — возмущался он. — Тем более что за нами надзирают всего два гитлеровца. Я согласен копать для них ямы лишь на кладбище!»

Тадеуш решил обойти всю группу, поговорить с людьми, чтобы работали как можно меньше, а при появлении самолетов, не ожидая команды Шефа, все бросали и спасали свою жизнь.

Агитация Тадеуша дала результаты, так как земляки ему верили. Люди повеселели. Когда рано утром приходили в лесопосадку, каждый усердно рыл окопчик для себя, чтобы было где спрятаться при обстреле. Потом почти весь день ничего не делали. О появлении Шефа сообщали по цепочке, и только тогда начинали копать. А стоило надсмотрщику отлучиться, как все снова бросали работу.

В Кальтенкрайте и Баерберге Володя привык постоянно быть в курсе событий, получать сведения о движении фронта, и первое время здесь ему казалось, что погрузился в непроглядную темень. По ночам не спал, размышляя, как узнать что-нибудь о событиях на войне. Где советские солдаты? Что со вторым фронтом? Где же он? Раз фашисты нагнали сюда столько людей рыть окопы, значит, что-то готовится, но почему так тихо?

Володя часто говорил об этом с Тадеушем. Друзья ломали головы, как и где все это узнать, ведь кругом, кроме невольников, не было никого. Людям, живущим в селе, запретили приближаться к окопам, а через некоторое время они покинули село и ушли в глубь Германии.

Однажды поздно вечером Володя и Тадеуш сидели около сарая во дворе и думали: что будет дальше, как им быть?

Из дома, где жили охранники, вышел Людвиг. Он постоял во дворе, посмотрел на небо, потом сел на бревно около забора и закурил. Тадеуш сказал:

— Скучно, видно, ему с тем толстым дьяволом. Я слышал, что Шеф, как приходит с окопов, сразу заваливается спать... Эх,— добавил без всякой связи с предыдущими словами Володин товарищ.— Закурить бы...

Тадеуш был курильщиком, Володя тоже уже привык курить. Но не страдал без табака так, как его друг.

— А что, если подойти к Людвигу и попросить сигарету? — предложил Володя.

Людвиг был членом нацистской партии, но не зверствовал, как Шеф. Друзья сразу обратили на это внимание. Тадеуш, узнав, что у Людвиг-а мать немка, а отец — поляк, этим и объяснял сравнительно спокойное поведение охранника. Володя же считал, что, возможно, на Людвиг-а действуют последние события, неудачи немцев на фронте. «Теперь,— говорил он,— когда гитлеровцы отступают, они еще больше озверели, но есть такие, которые спохватились и боятся расплаты. К ним, очевидно, относился и Людвиг».

— Попробуй,— согласился, немного поколебавшись, Тадеуш.— Но вряд ли что-нибудь выйдет.

Недолго думая, Володя встал и, делая вид, что прогуливается по двору, приблизился к Людвигу:

— Дайте, пожалуйста, если можно, сигарету.

Охранник поднял голову, посмотрел на него внимательно и сказал:

— Ты хорошо знаешь немецкий язык, где учил?

Володя ответил, что учил в школе, а потом попал в Германию, где и приобрел навыки.

— Садись,— надсмотрщик протянул парню сигарету.

Володя прикурил, несколько раз затянулся и сказал, что сигарета приятно пахнет, табак хороший.

Видно, Людвигу хотелось поболтать с кем-нибудь, и он поинтересовался у пленника, откуда тот родом, где работал в Германии.

Володя тоже стал его расспрашивать, и Людвиг охотно рассказал, что жил в Силезии, там у его родителей небольшое хозяйство. Потом неожиданно вздохнул:

— Эх, надоела война, хочется домой! Меня ждет хорошая девушка, и мы после войны поженимся.

Володя не решился в первый раз задавать много вопросов.

— Пойду спать, уже поздно, может увидеть Шеф,— поднялся он.

— Да, да,— согласился Людвиг.— У него палка тяжелая. Правда, он спит крепко, я часто сижу во дворе и прихожу поздно, ужинаю, ложусь спать, а он ничего не слышит.

Паренек сказал:

— Спокойной ночи, спасибо за сигарету,— и ушел.

Тадеуш встретил его улыбкой:

— За найденный подход тебе можно поставить четыре.— Но когда Володя дал ему больше половины сигареты, он тут же поправился: — Нет, нет, теперь ставлю пять.

Володя пересказал Тадеушу разговор с Людвигом.

— Неужели они не боятся спать без охраны? — удивился Володя.

Тадеуш напомнил ему:

— Всю ночь здесь ходят патрули, на улице никому нельзя показываться.

Поговорив еще немного, друзья пошли спать...

Теперь не только дни, но и ночи становились все более беспокойными. Большими группами летели на восток тяжелые груженные самолеты. От рева моторов дрожала земля, потом — дальше по их курсу — бухали зенитки, метались по небу лучи прожекторов, стоял сплошной гул. Пленные, наблюдая из всех щелей эту огненную поступь войны, радовались, многие восклицали: «Мало, мало, надо больше!» Справедливое возмездие, надвигавшееся на Германию, врачевало их униженные и оскорбленные души.

Через некоторое время самолеты поворачивали обратно, ложились тогда отдыхать и пленные.

* * *

Уже на следующий вечер после разговора с Володей Людвиг зашел в сарай и спросил:

— Где блонд? — так назвал он Володю за светлые волосы и глаза. Володя догадался, кого тот ищет, и отозвался.

— Идем со мной, — велел Людвиг.

Они зашли в комнату, где жили охранники. За столом сидел Шеф и что-то писал. Володя сказал: «Добрый вечер!», но тот не ответил. Тогда Людвиг обратился к нему:

— Шеф, я привел того парня.

Охранник поднял голову от своей писанины и уставился на невольника.

Володя вздрогнул. Не попадет ли ему сейчас за вчерашнюю беседу? Но ведь в словах он был осторожен! Да и Людвиг казался таким добродушным... Впрочем, не раз он сталкивался здесь, в Германии, с неожиданностями и коварством. Он помнил и «доброего доктора», и старосту из городка над Рейном, который дал талоны на хлеб и одновременно послал в полицию...

Затаив дыхание, Володя ждал. Наконец Шеф отвел от него свой тяжелый взгляд, поднялся и сказал:

— Будешь регулярно получать продукты и раздавать остальным, понял?

Володя ответил, что понял. С души упал камень. Пленник с облегчением вздохнул.

Шеф повел его в другую комнату, заставленную ящиками и мешками. В углу, прямо на полу, лежали небольшие кирпичики хлеба.

— Возьми десять штук, — сказал Шеф, — и раздай остальным.

Когда вышли в жилую комнату, он бросил:

— Подожди, получишь сигареты.

Пока Шеф открывал ящик, Володя осмотрелся. В комнате было две кровати, на каждой по две перины, по многу подушек. «Вот это вояки!» — подумал он. Около кроватей — стол, на нем — ручной пулемет стволом в окно, полевой телефон, похожий на небольшой

чемоданчик с ручкой. Рядом со столом, на скамье, стояли стволами кверху два автомата. В углу, у дверей, Володя увидел палку Шефа с ремнем на одном конце, чтобы можно было надевать на руку.

Шеф дал три пачки сигарет, и в сопровождении Людвига Володя вышел. Теперь нужно было поделить паек между всеми поровну. Однажды, по просьбе ребят, он уже делил хлеб и крупу, и до того доделился, что самому ничего не осталось. Правда, ребята это заметили и стали по кусочку отламывать от своего пайка и давать ему. Володя отказывался, но они заставили взять. Но были и такие, что выхватывали из рук хлеб и сразу отправляли в рот.

Володя принес хлеб и сигареты в сарай и сказал:

— Вот я доставил, а кто-нибудь пусть делит.

Он не боялся обделить себя, он боялся, что не рассчитает и кому-нибудь из товарищей не хватит.

Но невольники закричали, чтобы делил именно он. Все страдали от голода, поэтому никто не решался брать в руки чужой кусочек хлеба и не знал, кому можно доверить свой. К русому пареньку с открытым ясным взглядом чувствовали расположение.

Людвиг спросил:

— Почему все так орут, что случилось? — Он немного понимал польский язык, но в поднявшемся шуме трудно было что-либо разобрать.

— Дели, я буду тебе помогать, — решительно сказал Володе Тадеуш.

Людвиг стоял и наблюдал. Володя разрезал каждый кирпичик хлеба на десять частей. Сигареты раздал одну на двоих, остальные спрятал для заядлых курильщиков. Все остались довольны.

Однажды вечером началось большое передвижение солдат и военной техники. Шеф суетился, бегал к окопам, о чем-то совещался с офицерами, чертил им что-то на бумаге, спорил, горячился.

Пленники, делая вид, будто прилежно работают, с тревогой наблюдали за этой суетой. Володя и Тадеуш, как и все, не знали, что и предположить. Это был фронт. А на передовой каждую минуту возможны всякие неожиданности, и любое изменение обстановки обязательно отразится на их судьбе.

Увидев неподалеку Людвига, следившего за работой, Володя выскочил из окопчика.

— Что случилось, герр Людвиг? — спросил охранника. — Вы не можете мне сказать?

— Ла-Манш, — негромко ответил он. — Американцы с англичанами уже дважды высаживались на северный берег Франции. Оба раза были разбиты, так как север Франции сильно укреплен, — продолжал Людвиг. — Между ними произошел конфликт. Англичане обвинили американское командование в том, что вперед посылались только англичане, и когда тех били, американцы без потерь удирали. Последнее время там было тихо. Но вот на этих днях наступление началось снова. Самолеты превратили все на земле в руины и потом высадили десант. Сейчас идут тяжелые бои. — Подумав немного, Людвиг добавил: — Скоро войне конец, — и похлопал Володю по плечу. — Ничего, наш вествал их задержит, — он улыбнулся и ушел.

Не прошло и двух минут, как все пленные знали эту новость. Ночью никто не спал, настроение у всех было приподнятое.

* * *

В течение недели самолеты союзников не давали немцам опомниться. По ночам тысячи тяжелых бомбардировщиков двигались в глубь Германии. На много километров вокруг было видно зарево огня, над землей стоял сплошной гул.

Каждый день пленники наблюдали за полетами самолетов-снарядов. Немцы запускали их по два, иногда по три, в сторону запада. ФАУ-1 шли на небольшой высоте. Когда они проносились над окопами, от гула дрожала земля, из хвостовой части вылетало пламя...

...Вскоре невольников перебросили километров на пятьдесят южнее, в горы. Разместили в разрушенной мельнице, неподалеку от какого-то села. Название его здесь, на границе, узнать было невозможно, все таблички были сняты, а население отправлено в глубь страны. Впрочем, названием села невольники не интересовались.

Теперь они рыли окопы поблизости от места ночлега. Часто их навещали самолеты. Бомбардировщики опускались очень низко, каждый бросал по две бомбы и одновременно обстреливал из пулеметов. В селе увеличилось количество разрушенных домов. Крыши были похожи на решето, ночью ветер врывался в эти дыры и страшно выл.

Появились среди пленников первые убитые и раненые. Осколком снаряда убило одного чеха, на второй день поляка Юзика. Очень жалко было товарищей. Юзик носил на пальце золотое кольцо и мечтал о встрече с любимой. Он часто говорил: «Ребята, коллеги, не беспокойтесь, скоро будем дома».

Шеф снял с пальца убитого кольцо и спрятал в карман. Пленники наскоро простились с другом, положили его в один из сараев, прикрыли камнями и ушли. Закапывать было некогда: и обстреливали все время, и Шеф подгонял палкой, рыча: «Шнель, шнель, шнель!..»

...Первые убитые долго стояли у Володи перед глазами, вызывая чувство горечи. Он видел много смертей, слишком много для неокрепшей юношеской души, да и его самого костлявая подстерегала за каждым углом. Но гибель товарищей перед самым концом войны, когда час освобождения был близко, казалась особенно нелепой и страшной.

Но вскоре стали погибать каждый день, и ощущение горечи исчезло, к смерти словно привыкли.

Как-то под вечер заметили три самолета, которые летели очень низко, над самыми деревьями. Невдалеке от работавших пленников, на полянке, был замаскирован зенитный пулемет. Его обслуживали три или четыре солдата. Самолеты направлялись, видимо, к другой цели, но когда пролетали над поляной, немцы открыли огонь из пулемета. Один из самолетов качнулся и сразу пошел вверх, и вскоре они исчезли из вида.

Зенитчики вылезли из своего укрытия, сняли шапки, сели на землю и закурили. Конечно, никто не ожидал того, что произошло дальше. В один миг из-за горы и леса выскочили эти же три самолета, по очереди

они пикировали, бросали две бомбы, в то же время обстреливая местность из пулемета, потом набрали высоту и скрылись. В момент взрыва одной из бомб Володя заметил, как стальная каска вместе с чьей-то головой, с кусками земли, с камнями отлетела далеко в сторону.

Володя и Тадеуш лежали на дне окопа, сжавшись в комок. Хотелось зарыться в землю, но при каждом взрыве сильная воздушная волна отрывала их от земли, поворачивала, как игрушку, или совсем выталкивала из окопа. Они снова лезли в окоп и снова прижимались к земле.

На полянке, где стоял немецкий зенитный пулемет, образовалась громадная яма. Кроме солдат, было убито семь пленников, многих ранило. Людвиг и Шеф куда-то сбежали.

Когда гул моторов стих, Володя откопал Тадеуша, которого с головой засыпало землей, помог ему выбраться из окопа.

Поляк весело сказал:

— Пусть бьют фашистов, жалко только, что мы погибнем здесь и никто об этом не узнает.

Володя кивнул.

— Теперь ясно, — сказал он Тадеушу, — американцы знают, где находятся окопы, и, конечно, не дадут укрепить эту линию...

3

К концу лета очевидным стал факт, что американцы наступают и постепенно освобождают территорию Франции. Правда, продвигались они очень медленно. Володя и Тадеуш удивлялись, почему они так медлят, какую цель преследуют. Тадеуш считал, что причиной этого является линия укрепления. Она протянулась по горам, по труднопроходимым местам, по бездорожью. Володя же не знал, чем это объяснить... И все же в скором времени они увидели массовое отступление немецкой армии. Начался артиллерийский обстрел линии, где работали ребята. Они поняли, что войска союзников близко.

Им, пленникам, было тяжелее всех. Немцы выжимали из них последние силы, требуя, чтобы они быстрее рыли траншеи и окопы. При обстреле пленники гибли, как мухи. В Володиной группе из ста человек за несколько дней осталось сорок. Гитлеровцы пригнали еще поляков, русских, чехов. Рядом с окопами немецкие солдаты установили минометы.

Однажды Людвиг, смеясь, сказал Володе:

— Недалеко от нас группа англичан, около пятидесяти человек, углубилась в нашу оборону и окопалась. Шесть немецких солдат неожиданно напали на них и выбили оттуда. Англичане — трусливый народ, — продолжал Людвиг, — удирали, побросав даже одежду.

Володя, возмущаясь, рассказал об этом Тадеушу. Впрочем, они и сами видели, что немецких солдат тут совсем мало, считанные единицы, чего же союзники стоят?! Тот же Людвиг признался, что на восточном фронте почти нет солдат, их всех перебросили на восточный фронт, ибо там, как сказал он, «главное сражение, а здесь — война между прочим».

Иногда Володя горячо спорил с Тадеушем. Его друг испытывал особое расположение к союзникам. Конечно, он восхищался Красной

Армией, но все равно чувствовалось, что все его симпатии на стороне союзников. Тадеуш часто говорил, что американцы дали русским танки, машины, одежду, продукты. Володе очень было обидно, когда он сказал:

— У вас ведь ничего не было своего!

— Довольно спорить,— ответил ему Володя, у которого от обиды сжалось сердце.— Мы не дети. Неважно, кто кому что дал, важно, что наши бьют фашистов, проливают кровь за свободу всех народов, ты это сам знаешь... И не о чем больше говорить.

В этот момент его позвал Шеф:

— Возьми с собой человек двадцать и — ко мне. Только быстро!

Ребята мигом организовали группу и подошли к дому Шефа. Там стояли два офицера и человек шесть или семь солдат. Шеф сказал офицерам, показывая на Володю:

— Вот этот парень.

По знаку одного из офицеров все двинулись за ним. Пленники поглядывали друг на друга, не понимая куда и зачем их ведут. Километров через шесть остановились.

Земля вокруг была изрыта воронками, траншеи и окопы осыпались. По овражкам и возвышенностям тянулась сосновая посадка, метрах в ста от нее был высокий бугор, в котором виднелись входы в блиндажи.

Офицер подозвал Володю:

— Объясни своим людям, что надо пойти в эти блиндажи и все, что там есть, принести сюда. Понял? Иди.

Володя переспросил:

— Что именно принести?

Офицер раздраженно выкрикнул:

— Все, что там найдете!

Когда пленники отошли от офицеров, Тадеуш сказал:

— Они легли на землю, мол, сами будем отдыхать, а вы носите.

Ребята приблизились к входам в блиндажи. Внутри было достаточно светло, так как блиндажи имели еще выходы на другую сторону бугра.

Все разбрелись. Пахло сыростью, гарью, порохом, но самым сильным был запах трупного разложения. Тот блиндаж, в котором находился Володя, частично обрушился. Из-под земли виднелись чьи-то ноги в больших ботинках, с подошвой, напоминающей пористую резину. Валялось много гильз, патронов, несколько карабинов с железными, довольно широкими прикладами. Лежали три вещмешка с одеждой, нижним бельем, продуктами.

Голодные пленники набросились на большие белые хлеба, которые напоминали бруски. Ломали их, запихивали в рот, в карманы. Кто-то из ребят сказал, что не прочь хоть каждый день выполнять такие задания.

В плоских овальных коробках, видно, было какое-то мясо или рыба. В одном из мешков Володя нашел пару коробочек с шоколадом. Это были круглые коробочки, внутри которых шоколад лежал в два слоя, переложенный бумажками, поделенный на кусочки-треугольники.

Собрав все мешки, оружие, невольники вылезли из блиндажей. Немцы поднялись и двинулись им навстречу, сложили вещи и продукты в одну кучу, а сами пошли в блиндажи.

Володя и Тадеуш, конечно, уже догадались, что здесь были те англичане, о которых рассказывал Людвиг, но почему немцы взяли с собой пленников, никак не могли понять. Офицер подозвал нескольких человек и сказал, чтобы убитого вытащили наверх.

Он оказался молодым, худым, очень длинным, одетым в куртку, застегнутую на поясе, и брюки со множеством карманов. На правом рукаве его защитного цвета куртки были нашиты знаки различия — две треугольные «птички». Грудь у него была в крови, один глаз выбит пулей.

Офицер достал из заднего кармана его брюк толстый бумажник, долго его рассматривал, потом спрятал к себе в сумку. Снял с руки убитого большие плоские часы, отрезал два пальца с кольцами, потому что руки набухли и кольца не снимались.

Невольников обыскали и, кроме мятых кусков хлеба, отняли все. При этом кричали и грозили кулаками, если что-нибудь находили. Правда, Володе удалось спрятать две пачечки каких-то плоских мятных конфет, но, как позже выяснилось, это были не конфеты, а всего-навсего жевательная резинка.

Поздно вечером Володю разыскал Людвиг, которого в тот день вызывали в штаб, и спросил, где были невольники и что видели. Володя коротко рассказал, а потом поинтересовался, зачем офицеры брали их с собой.

Людвиг помолчал немного.

— Там могли быть мины, — наконец произнес он. — А эти офицеры хотели попасть туда раньше, чем придут солдаты-саперы.

Володя сообщил об этом ребятам. Все очень возмущались.

— Вот шакалы! — сказал Тадеуш. — Им завтра капут, а они все еще стараются захватить побольше всяких тряпок.

* * *

В скором времени на месте окопов появились воронки от снарядов. Володя с Тадеушем стали думать, как быть дальше.

— Не сегодня завтра, — сказал Тадеуш, — нас убьют.

Володя был согласен с ним. Кому хочется умирать, когда фашистам приходит конец!

Они решили: пора отсюда удирать. Но куда? Тадеуш считал, что о немецком тыле и речи быть не может. Оставалось попробовать перейти линию фронта и попасть к союзникам. Договорились в течение нескольких дней изучить расположение немецких войск, их огневых точек, определить место перехода.

Но осуществить свой план им не удалось. Этой же ночью прибыли войска СС и с большой поспешностью погнали невольников в тыл, за реку Мозель. Как было обидно ребятам, как они ругали себя за неповоротливость: ведь могли же спрятаться и остаться на той стороне Мозеля, откуда ушли немцы! Но додумались до этого слишком поздно.

Теперь пленников разместили в деревянных бараках, построенных в старом буковом лесу. В каждый барак затолкнули по двадцать человек. Этот лагерь был обнесен с трех сторон колючей проволокой, по углам

торчали вышки с пулеметами. В лесу находилось несколько глубоких блиндажей, накрытых толстыми буковыми колодами в три ряда, поверх которых был насыпан толстый слой земли и положен дерн. Видно, здесь давно были сделаны эти укрепления. Возле блиндажей стояли бронетранспортеры, мотоциклы с колясками. В лесу расположились воинские части, занимавшие круговую оборону.

Невольников в этом лесу оказалось больше тысячи человек. Многочисленная охрана поселилась в блиндажах. Командовали всеми офицеры и солдаты в черной форме, на петлицах которой была эмблема — человеческий череп и скрещенные кости.

Все свидетельствовало о том, что немцы приготoвились сидеть здесь долго.

Шеф и Людвиг снова набрали себе группу невольников из ста человек. На рассвете группы пленных расходились во всех направлениях. До места, где рыла окопы группа Володи, было восемь километров. Извилистая дорога вела по долине вдоль леса. С одной стороны этой дороги возвышались поросшие кустарником горы, а там, где кончался лес, начиналась молодая посадка, потом шло множество овражков, кое-где встречались болота.

Почти посередине этого пути было село, на краю которого высилась кирка. Но людей в селе не было, и на каждом шагу встречались таблички с надписью: «Гражданскому населению ходить запрещено».

Картошку в поле никто не копал, так как стоило кому-либо появиться на открытом месте, как сразу же сыпались снаряды. Все открытые места были под наблюдением английских и американских войск. Поэтому на окопы шли гуськом и на большом расстоянии друг от друга. Долбили землю кирками, потому что почва была каменистой. Часть людей зачем-то долбила гору.

Первое время на окопах было затишье, лишь изредка обстреливали самолеты, большинство их летело в тыл. Потом пару дней подряд стоял гул по ту сторону реки, и ребята догадывались: союзники перешли в наступление. Позже Людвиг сказал, что окопы, которые пленные раньше рыли, уже заняли американцы.

Очень странно наступали союзники. Сначала подтягивали артиллерию, вызывали авиацию и два-три дня подряд из всех орудий били и били в один квадрат. Когда там все было превращено в развалины, эти вояки не спеша туда ехали, занимали часть территории и снова длительное время бездействовали.

Володя с Тадеушем часто задумывались над этим и пришли к единому мнению: союзники неспроста так поступают, они преследуют определенную цель. Вот и здесь они остановились за рекой и постоянно обстреливали немецкую оборону, но с места не двигались.

Вокруг села немцы расположили артиллерию, которая изредка отвечала на огонь противника. Пушки находились на большом расстоянии друг от друга, и шесть-семь орудий обслуживали всего два солдата. Эти солдаты несколько раз выстреливали из одного орудия и быстро бежали ко второму, потом к третьему... Смешно было наблюдать со стороны, как эти вояки, раздетые до трусов, целый день бегали от пушки к пушке.

Если бы они так воевали на восточном фронте, то вряд ли долго продержались.

Союзники своеобразно обстреливали немцев. Несколько часов, а иногда и полдня стояла такая звенящая тишина, будто и войны нет. Солдаты вылезали из укрытий и развлекались: потом вдруг в течение получаса — сильнейший обстрел тяжелыми снарядами.

В основном от этих обстрелов страдали пленники, так как немцы сидели в блиндажах, а те, которые вылезали наверх, старались держаться поближе к укрытиям.

Пленники привыкли к обстрелам и, когда надо было куда-нибудь сходить, двигались вдоль окопов, и только раздавался первый залп, как все моментально разбегались по укрытиям. Немцы за это били, кричали, что во время обстрела надо оставаться на своих местах, вас, мол, сюда привезли не для того, чтобы бегали по окопам. Но только начинался обстрел, они забивались как мыши поглубже в землю, в это время никто у них не спрашивал разрешения, а каждый спасал свою жизнь.

Шло время... Уже была поздняя осень, а западный фронт почти не двигался...

4

Однажды, на окопах, часа в три дня Володю разыскал Шеф и сказал:

— К нам прибыли шестьдесят военнопленных итальянцев, ты должен отвести их в наш лагерь. Эту лампу и портфель отнесешь в наш блиндаж и отдашь дежурному.

С этими словами Шеф вручил парню настольную электролампу с красивым стеклянным абажуром зеленого цвета и большой кожаный портфель, набитый какими-то бумагами. Потом повел Володю в долину, которой обычно возвращались в лес.

В долине ждали итальянцы. Солдаты, сопровождавшие их сюда, уже ушли.

Пленные были разного возраста, все смуглые, с черными вьющимися волосами. Одеты они были в темно-зеленые, почти новые мундиры, прочные ботинки, из-под ремней торчали пилотки. Около каждого из них лежал большой вещмешок, а у одного солдата к мешку был еще привязан стул, обыкновенный венский стул. Оказалось, что этот солдат парикмахер. В общем, они смахивали на туристов или на людей, которые возвращаются с курорта.

Чуть подальше стояла небольшая группа солдат в грязной, потрепанной одежде табачного цвета. Володя сразу не обратил на них внимания, так как не было времени. Взял из рук Шефа лампу, портфель и махнул итальянцам рукой, мол, пошли. Те надели свои мешки.

К ним снова подошел Шеф и сказал Володе:

— Смотри за этими макаронниками. У дерева не напоритесь на обстрел.

— Хорошо, — ответил Володя. И все двинулись за ним.

Километра полтора брели по долине — по грязи и воде, но зато идти

было безопасно. Выберись из долины хоть на секунду, союзники выпустят в тебя добрую полсотню снарядов.

Но вот долина кончилась, начиналась возвышенность, на которой росли сосенки до метра высотой. Эту посадку длиной метров двести или триста всегда преодолевали ползком, подниматься во весь рост ни в коем случае было нельзя, потому что американцы зорко наблюдали за этим местом. В конце посадки когда-то росло большое буковое дерево около метра в диаметре, его взрывом вывернуло с корнями. Об этом дереве и говорил Шеф.

За деревом был спуск, и дальше дорога шла все время низом, между холмами, она не просматривалась со стороны противника и была безопасной. На спуске, за возвышенностью, вдоль всей сосновой посадки и еще на два-три километра стояли тяжелые немецкие минометы. Около каждого миномета — укрытие, в нем сидели солдаты.

Перед сосновой посадкой Володя остановил свою команду и стал объяснять, что теперь надо ползти. Итальянцы стояли и смотрели на него, как бараны на новые ворота. Они не понимали, что им говорят.

Володя старался: и на русском, и на немецком, и на польском — все равно не понимали. Некоторые садились на землю, снимали мешки, другие сами что-то пытались объяснить парню, махали руками, показывали на ноги. Володя также не понимал, чего хотят эти странные пленные.

Потом он построил гуськом первую партию, человек десять — пятнадцать, и первым пополз на четвереньках в посадку. Прополз немного, оглянулся и поманил их за собой.

Они не двигались с места, а снова принялись митинговать, что-то зло кричали Володе.

«Эх, — подумал он, — подняться бы сейчас во весь рост, союзники в тот же миг перепашут снарядами всю возвышенность вместе с этими упрямыми итальянцами и с немецкими минометами на склоне! А я?.. Ведь я тоже погибну!»

Но он уже был охвачен тем злым и в то же время возвышенным чувством, которое толкает человека к цели, заставляя забыть об опасности. Он собрался подняться во весь рост, когда случилось то, чего Володя меньше всего ожидал. Итальянцы вдруг быстро вскинули на плечи мешки и толпой пошли через посадку. Володя растерялся, ему почему-то стало жалко их, он помчался вперед, жестами поторапливая пленных.

Не добежал метров двадцать — тридцать до поваленного дерева, когда у американцев сильно бабахнуло, раздались звуки, похожие на громкую дробь барабана, и послышался свист снарядов.

Володя упал около дерева в яму от корня. Но его выбросило взрывной волной вверх и перевернуло несколько раз. Опомившись, он снова залез в яму. За воротником, в носу, ушах было полно песка, земли. Сначала в ушах звенело, но потом он ничего уже не слышал, казалось, будто кто-то бьет его по голове тупым предметом.

Он выглянул из ямы — вокруг дым, огонь, глыбы земли вместе с камнями поднимались в воздух и, падая, накрывали итальянцев, бежавших с горы вниз. Многих разорвало снарядами, которые артиллеристы посылали с опережением.

На протяжении пятисот метров все немецкие минометы вместе с солдатами были уничтожены. Как видно, боеприпасы, хранившиеся около минометов, тоже рвались. Вокруг творилось такое, что Володя решил: «Вот теперь — конец!»

Но ему было суждено и на этот раз остаться в живых. Темнело, и обстрел прекратился. Володя, оглушенный, вылез из ямы. Куда делась его команда, понятия не имел. К баракам он пришел, когда уже совсем стемнело. Часа через два-три начали сходиться с окопов невольники, они пережидали этот обстрел в укрытиях.

Около полуночи в барак вбежал Тадеуш, а за ним вся их группа. Тадеуш бросился обнимать приятеля.

— Мы поняли сразу, что вас обнаружили, — взволнованно говорил он. — Мы были в безопасности, снаряды пролетали над нашими головами, но ты... Думал, что больше не увижу тебя. Даже Людвиг вздохнул и сказал: «Война есть война».

Тадеуш расспрашивал, ощупывал Володю, словно проверяя, цел ли он. Тот еле отвечал, так как до сих пор не мог прийти в себя.

Володя решил сходить умыться, но в барак, сшибая всех с ног, влетел Шеф. Паренек только успел подумать: «Все!», как охранник подскочил к нему с криком:

— Где мой портфель, где лампа?!

И лишь сейчас паренек вспомнил, что нес портфель и лампу. Но вот куда они делись... Стал вспоминать, где он мог их бросить, но Шеф ударил его по лицу с такой силой, что бедняга очутился на улице. У него отняло речь, рот был полон крови, с кровью Володя выплюнул и несколько зубов.

Шеф, ругаясь, побежал к своему блиндажу. Тадеуш поднял товарища, кто-то из невольников принес мокрую тряпку и приложил ее к разбитым губам.

Через несколько минут Шеф вернулся. Он держал в одной руке свою палку, в другой — фонарик, схватил Володю за плечо и прорычал:

— Идем. Сейчас же найди мне портфель, или я тебя убью этой палкой. — И он быстро пошел в сторону дороги. Володя поплелся за ним. «Первые снаряды упали, когда я был около старого бука, — вспоминал Володя. — Там, наверное, я и бросил все».

Они еще не дошли до посадки, но уже слышали крики, стоны, ругательства. Вскоре перед ними предстала страшная картина. При свете фонарика было видно убитых, лежавших в разных позах, оторванные руки, ноги. Все вокруг было изрыто снарядами. Около убежищ, где раньше сидели минометчики, стояло два бронетранспортера. Солдаты собирали раненых.

Когда Шеф и Володя приблизились, кто-то из солдат спросил: «Кто идет?» Шеф ответил. Пароль Володя не расслышал, но разобрал, что охранник сказал, показывая на него:

— Эта собака несла мой портфель и лампу и не знает, где бросил!

Они направились к поваленному дереву. Около него лежало трое убитых. Их вещмешки были порваны, вещи раскиданы.

Как и предполагал Володя, у ямы валялась разбитая лампа. Шеф освещал

тил ее фонариком, взял, посмотрел и, ругаясь, запустил в него. С другой стороны ямы нашли портфель. Шеф лихорадочно схватил его, осмотрел замок, что-то пробормотал себе под нос и, не оборачиваясь, пошел обратно. Володя побрел за ним.

Шеф время от времени останавливался, торопил пленника:

— Я тебя сейчас научу, как надо ходить!

Был четвертый час ночи, когда Володя добрался до своего барака. Тадеуш сидел на нарах, ожидая его. Как только товарищ вошел, он метнулся навстречу:

— Ну как, что там?

Володя не мог говорить, рот не открывался, лицо опухло, несмотря на то что всю дорогу он держал у рта мокрую тряпку, которая, правда, быстро высохла.

Но все же он кое-что рассказал Тадеушу. Он и сам хотел о многом расспросить товарища, узнать, что говорили здесь Людвиг и Шеф по поводу обстрела, но уже не было сил. С трудом залез на нары и лег.

Два дня Володя пролежал пластом.

На второй день к вечеру появился Людвиг. Сел на скамью возле нар и долго смотрел на избитого невольника. В глазах его, как показалось Володе, промелькнуло сочувствие.

— На этот раз ты легко отделался,— нарушил он молчание.

Володя спросил Людвига с плохо скрываемым беспокойством:

— Эсэсовцы мною не интересовались?

Людвиг пожал плечами:

— Зачем ты им?

— Будут расспрашивать, как все произошло.

— И так известно, что ты со всей командой напоролся на артобстрел.

У Володи отлегло от сердца.

— А Шеф тебя крепко отдубасил,— заметил Людвиг после паузы.

— За ту проклятую лампу.

— Лампа — мелочь.— Людвиг наклонился к Володе и негромко добавил: — В портфеле лежал важный документ на одного человека, итальянца. Очень нужного человека. Утром его долго разыскивали, но нашли труп — был убит во время обстрела... Имей в виду, ты еще легко отделался,— повторил он.

В барак начали заходить невольники, которых привел с окопов Шеф. Людвиг поднялся, обвел взглядом людей. Все замерли, ожидая распоряжений. Но охранник ничего не сказал и направился к двери.

После того как Людвиг ушел, Володя и Тадеуш долго обсуждали его слова. Со слов Людвига Володя понял, что никто не знает, из-за чего произошел обстрел. Немцы решили, что он со своей командой случайно попал под него. Ребята ломали голову над вопросами: что за человек этот Людвиг? почему он хорошо относится к пленникам? почему не побоялся рассказать Володе секреты немцев?

То, что Людвиг говорил правду, подтвердилось и из других источников. Тадеуш тоже выведал, что на следующий после обстрела день Шеф

и десять солдат с утра до вечера искали кого-то среди убитых. По мнению Тадеуша, это была какая-то очень важная птица, возможно, шпион, которого поместили к итальянцам, чтобы потом перебросить через линию фронта.

...Людвиг оказался замечательным парнем. Позже он сообщил ребятам, что того человека должны были при отступлении оставить в этом районе, чтобы он очутился среди американцев. Для немцев это было почему-то важно, и в лес даже приезжали в связи с этой историей какие-то большие чины. Они обвинили Шефа в том, что он отправил эту группу днем, а не подождал до вечера, и пообещали строго его наказать. Людвиг посоветовал остерегаться Шефа — он стал страшнее зверя. Кроме того, Людвиг рассказал, что в этой группе итальянцев было несколько французов. Они уцелели, поскольку шли в конце колонны и, как только начался обстрел, сразу залегли в долине, не дойдя до сосновой посадки. Американские снаряды перелетали через них и поражали итальянцев, которые бежали по посадке.

Два дня, в течение которых Володя лежал в бараке, немецкие солдаты находили и приводили в лагерь по два-три итальянца из числа тех, что разбежались и поэтому не погибли.

Еще через несколько дней Тадеуш сказал Володе, что итальянцев было убито и ранено почти двадцать человек и что остальных вместе с французами устроили в другом конце леса, куда полякам, чехам и русским не разрешено ходить. Но Тадеушу все-таки удалось поговорить с французами. В эти дни к ним присоединили группу военнопленных, в которой находились и французы из Ильфельда.

Последнее сообщение взбудоражило Володю. Ведь они с Тадеушем бывали в Ильфельде и со многими французами у них установились дружеские отношения. Возможно, среди новеньких есть и знакомые.

Володя был готов на все, только бы увидеться с ильфельдцами, но Тадеуш ответил, что с этим придется подождать.

5

Вскоре ребята узнали, что в разрушенное село, мимо которого они ходили на окопы, немцы пригнали около ста русских девушек. Вокруг села были поля с неубранной картошкой. Поскольку эти поля днем подвергались обстрелу, девушки должны были копать картошку ночью. Их разместили в уцелевшей кирке... Обо всем этом Володе рассказал Людвиг.

На следующий день, когда шли на окопы, Володя отстал от колонны и спрятался. Тадеуш не одобрял его поступок. Но Володя решил выяснить, что это за девушки и откуда, и не хотел думать об опасности.

Когда колонна невольников отошла далеко, он вылез из кустов и направился в село.

Осторожно приблизился к старой кирке. Через дверной проем — дверь оторвало воздушной волной — увидел девушек, которые вповалку лежали на полу — очевидно, спали.

Володя чуть растерялся, не решаясь войти внутрь и разбудить их.

Пока размышлял, как поступить, из кирки вышла невысокая рыжая девушка. Толстая ее коса спускалась чуть ли не до колен.

— Здравствуйте! — обрадованно произнес Володя.

— Здравствуйте! — ответила девушка, казалось ничуть не удивившись, что к ней обращаются на родном языке.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— А ты кто такой? — первой нарушила молчание девушка. — Чего тебе здесь надо?

— Не очень приветливо встречаешь земляков, — улыбнулся парень. — Я — киевлянин, зовут Владимиром. — Он на миг умолк, ожидая, что и девушка назовет свое имя, но та промолчала. — Нас здесь на окопах держат, фрицам роем...

— А-а, — взгляд девушки потеплел. — А я из Смоленска... Как же ты сюда попал?

— Очень просто. Шел, шел и пришел.

— Расшутился! — веснушчатое лицо девушки снова стало строгим. — Что нужно? Говори!

Володя рассмеялся:

— Ну и строга! — Девушка нравилась ему. — Нас водят на работу вон той дорогой, — он показал в сторону леса. — Идем гуськом, на некотором расстоянии друг от друга. Надзиратель засмотрелся, а я шасть в кусты.

— Влетит тебе?

Володя пожал плечами, мол, не беда.

— Увидят немцы, что тебя нет...

Володя перебил ее:

— Я ненадолго, взгляну на вас и уйду. Постараюсь незаметно подойти к окопам. А поймает Шеф — есть у нас такой пес, — скажу, что отстал, живот заболел... Не бойся, выкручусь... не впервой...

— Ладно, посмотри и топай, — сухо ответила девушка, хотя было очевидно, что беседовать ей приятно.

Володя присел на край сваленных ворот:

— Сядь и ты на минутку.

Девушка подозрительно взглянула на него, поджала губы, но подчинилась.

Из-за леса поднималось солнце. Лучи его проникали сквозь ветви деревьев и заливали светом руины домов, кирку, молодых людей.

Володе вдруг вспомнилось, как когда-то утром сидел он вот так в пионерском лагере со своей одноклассницей Зиной и солнце пробивалось сквозь листву. А ребята подсмотрели и дразнили: «Володя плюс Зина!» Где теперь Зина? Что с ней? Куда забросила ее война?..

«Володя плюс Зина!» Он вздохнул. Когда это было? И было ли вообще? Детство, беззаботная жизнь — все это казалось сном.

— Тебя Зиной звать?

— Чего б это... Зиной... Никакая я не Зина, я — Нина... А какую Зину ты разыскиваешь?

— Вы картошку копаете? — вдруг непонятно почему спросил Володя.

— Копаем... — глаза Нины заискрились. — Так ты, собственно, о чем? Говоришь об одном, а думаешь о другом...

— Да,— признался юноша.— Голод не тетка. Фрицы совсем перестали кормить. Говорят, собирайте по дороге на окопы лесные ягоды... А они, сама понимаешь, кислые, невкусные... Да и разве ими наешься? Долго не протянешь.

Пленницы, вероятно, недавно легли после ночной работы, и не все сразу заснули. Услышав разговор, некоторые поднялись и одна за другой вышли из кирки.

— Вот,— Нина кивнула на гостя,— наш земляк. Володя. Ребята на окопах голодают. Нужно что-нибудь придумать.

Все окружили невольника. «Ого, сколько их здесь! — подумал Володя.— Много...»

— Видели снаряды ФАУ, которые запускают немцы? Теперь они часто не летают как положено, а падают на немецкой земле. Правда, они не взрываются, но сносят все на своем пути и уходят в землю,— рассказывал Володя собравшимся.— Такой снаряд упал недавно на железнодорожную станцию и разнес в щепы эшелон с продуктами, который прибыл на эту линию укреплений. То, что удалось спасти, немцы оставили себе, а мы вынуждены голодать... Вся надежда на вашу помощь.

Девушки, у которых Володя вызывал доверие, прониклись сочувствием к таким же, как и они, пленникам.

— Мы копаем ночью,— сказала Нина.— Днем сидим здесь, и нас даже не сторожат — куда уйдешь, когда вокруг солдаты, а мы не знаем окрестности. А только стемнеет, приезжают бронетранспортеры. Выкапываем картошку, наполняем корзины и сразу несем ее в долину. Там высыпаем в бронетранспортеры. На рассвете нас отводят назад, в село, и обыскивают, не взяли ли картошку...— Нина помолчала, и вдруг глаза ее вспыхнули уже знакомыми Володе искорками.— Ладно, немного картофеля будем прятать возле дороги. А вы утром, когда пойдете на окопы, заберете... Ночи темные, солдаты не уследят за нами...

Так началась дружба. Нина часто удирала ночью с поля, около леса ее встречал Володя. Она прибегала, чтобы сообщить, в каком месте спрятан картофель.

Володя передавал ориентиры друзьям, и они утром забирали клубни. Для пленников это было спасением, без такой помощи многие из них не выжили бы...

* * *

Тадеуш очень беспокоился за Володю. Постоянно напоминал об осторожности, считая, что ночные встречи с Ниной крайне рискованны. «Ведь здесь линия фронта,— говорил он.— На каждом шагу часовые, патрули».

Володя и сам это понимал. Но когда хотелось есть, когда от этих встреч зависела и твоя жизнь, и жизнь товарищей, страх пропадал. Счастлив был, что помогает друзьям спастись от голодной смерти.

Иногда Володя не узнавал Тадеуша. Готовый все сделать для друга, он становился очень осторожным и нерешительным, когда речь шла об остальных пленниках. В Кальтенкрайте и Баерберге он был иным, словно подменили парня.

— Слушай, Тадеуш, — сказал Володя, когда ему надоели напоминания об осторожности, — ведь делается это для спасения не только нас с тобой, но и твоих земляков — поляков. Почему же ты меня отговариваешь? — А сам подумал: «Чем ближе час освобождения, тем сильнее хочется человеку выжить. Может, поэтому Тадеуш и стал в последнее время таким осторожным...»

Они шли на окопы. Шефа куда-то вызвали, на работу их вел Людвиг. Вот уже и то поле, на краю которого девушки оставили картошку, присыпав ее землей. Пленные бросились разгребать землю. Делая вид, что ничего не замечает, Людвиг шел впереди колонны.

Пленные собрали спрятанные клубни, нашли в селе маленькую ванночку, в которой купают детей, и, насыпав в нее картошку, разложили костер.

Клубни были еще сырые, когда появились шесть самолетов и сбросили бомбы. Голод оказался сильнее страха. Ни один человек не побежал прятаться, все кинулись к картошке и давай ее, горячую, хватать. Ванночку перевернули, навалились на нее, образовав гору тел.

Прибежал Людвиг, начал всех разгонять — ведь бомбят же! Он крикнул, что два самолета снова пикируют. Тадеуш схватил Володю и потянул к окопу. В это время раздались два сильных взрыва.

Очнувшись, Володя почувствовал, что у него занемела левая нога, а в ботинке мокро. Самолеты уже улетели и бомбили где-то дальше.

Володю лишь легко ранило в ногу, а много невольников погибло. Тадеуш куда-то исчез. К счастью, его скоро обнаружили — он был присыпан землей и лежал без памяти. Володя ничего об этом не знал. Позже Людвиг рассказал, что Тадеуш ранен в грудь и его, как и многих других раненых, отправили в глубь леса.

Из окопа Володю вытащил Людвиг. Он сорвал с рукава повязку и замотал ею раненую ногу хлопца. Под вечер ребята принесли Володю в барак... Да, тяжелый был день, ведь в течение каких-нибудь нескольких минут погибло столько товарищей.

Когда пленники добрались до барачков, то увидели, что самолеты сбросили много бомб и на лес. Невольники были на окопах, а немцы оставались в лесу, вовсе не ожидая, что на них обрушится враг. До сих пор ни самолеты, ни артиллерия не трогали лагерь в лесу, а в этот день фрицам досталось. Была паника. Немцы понесли большие потери.

Немного опомнившись, они начали собирать убитых и раненых, а пленников заставили копать новые блиндажи, пилить лес и делать укрытия. В эту ночь лес походил на муравейник.

6

На следующий день вечером к Володиному бараку подошли два француза. Один был высокий, худой, молодой парень, второй — среднего роста, пожилой. Молодой говорил по-немецки. Войдя в барак, он спросил, где найти Владимира.

Володя не сразу узнал гостя. Но потом закричал:

— Виктór, Виктór! Идите сюда!

Это был тот самый француз, с которым Володя когда-то познакомился в Ансбахе, на станции, который провожал его и Тадеуша до ограды лагеря военнопленных в Ильфельде, который вызывал у него смешанное чувство уважения и какой-то враждебной брезгливости после того как стало известно, что этот юноша — священнослужитель.

Но сейчас Володя совершенно забыл об этом, и если бы не раненая нога, бросился бы навстречу дорогому гостю.

— Виктór! Виктór!

Французы увидели юношу и быстро направились в его сторону.

— Что с вами, Владимир? — участливо спросил Виктор, пожимая ему руку.

— Ерунда, немного задело ногу. А как вы сюда попали?

В ответ молодой француз вздохнул, и взгляд его подернулся грустью.

— Вчера после бомбежки, — помолчав, продолжил он разговор, — мимо наших барачных носили раненых. Я стоял и смотрел. Вдруг меня окликнул какой-то человек, лежавший на носилках, которые поставили на землю, те, кто их нес, ушли с первой партией раненых, остальные ждали, когда придут за ними. Я вспомнил, что этот человек бывал с вами в Ильфельде, в нашем лагере...

Виктор рассказывал, а Володя уже догадался, что речь идет о Тадеуше. Паренек очень волновался за друга. Француз протянул Володе кусочек бумаги:

— Это передал ваш товарищ.

Тадеуш писал на польском языке:

«Дорогой мой брат, ранен выше сердца, осколок вынули, сделана перевязка, не беспокойся, если есть картошка в бараке, дай, французы голодны. Тадеуш».

Володя горячо поблагодарил французов, потом спросил:

— Кто писал? Я почерк Тадеуша знаю, это не его рука.

— Тот поляк, который вытаскивал осколок, — ответил Виктор. — Он, очевидно, врач, потому что ходил к немцам и просил бинты, вату и еще что-то.

— Да, это не Тадеуша почерк. Я так испугался. Теперь немного отлегло от сердца.

Володя и гости разговорились.

— Как же вы пришли сюда, ведь не разрешают? — допытывался юноша.

— После бомбежки солдаты заняты укреплением своих блиндажей, им главное — подготовить себе убежище и нет дела до нас, вот мы с товарищем и решили пробраться к вам. Тем более что надо было отнести записку.

Володя напомнил гостям их первую встречу в ильфельдском лагере, как его и Тадеуша хотели сдать полиции.

— Помню, помню, — улыбнулся Виктор.

— А помните...

...На дворе темнело. Пока Володя и Виктор беседовали, второй француз тревожно посматривал на улицу. Володя предупредил, чтобы были осторожны на обратном пути, посоветовал, где им незаметно пройти. Он достал

из узелка штук семь или восемь картофелин и отдал французам. Те дрожащими руками начали прятать драгоценный подарок за пазухи. Володя спросил у ребят, находившихся в бараке:

— Есть ли у кого картошка? Я вам отдам.

Стало тихо, никто не ответил, но потом многие принесли французам по несколько картофелин. Виктор, растроганный, благодарил, сказал, что в следующий раз расскажет более подробно, как попал сюда, а сейчас уже поздно. Французы попрощались и ушли.

* * *

Эту ночь Володя почти не спал: болела нога. Часов в одиннадцать вечера послали несколько снарядов в сторону американцев. Вскоре оттуда ответили. По разрывам пленные определили, что бьют снарядами крупного калибра. Американские артиллеристы, очевидно, пытались нащупать немецкие позиции: снаряды то не долетали до леса, то рвались где-то дальше. Один пожилой чех, боясь попадания в барак, часто выходил во двор; глядя на него, и другие встали и оделись. Вдруг один из пленников вошел в барак и сказал Володе, что к нему снова гости.

Юноша удивился: кто это может быть ночью, тем более что обстреливают?

— Пусть идут сюда.

Коптилка слабо осветила приблизившуюся к нему фигуру. Это была... Нина! Вся в земле, грязная, в одной нижней рубаше, коса наполовину расплетена, в руках огромный узел, сделанный из платя. Как она только его донесла?!

— Боже мой! — воскликнул Володя. — Моя милая девочка, как ты сюда пробралась? Да еще с таким узлом?!

Нина стояла молча, смотрела на Володю и плакала.

Он рассердился и хотел отругать — ведь ее могли убить, но у Нины был такой жалкий вид, что у Володи не хватило на это духу. Он гладил ее лицо, волосы, руки. Добрая, хорошая, она шла к ним, чтобы помочь, рискуя наткнуться на солдат.

Нина рассказала сквозь слезы, что в тот же вечер узнала о ранении Володи и Тадеуша. Еще днем хотела пройти в лес, но часовой не пропустил. Она плакала, просила: «Ну хоть на пару минут!» — не пропустил. Тогда она решила ночью с узлом в руке ползти через пост — и проползла.

Нина высыпала из узла целую гору картошки. Потом вынула бинт, вату и какой-то порошок. Девушка отмочила тряпки на Володиной ране. Если бы кто-нибудь другой снимал их, Володя кричал бы от боли, но сейчас терпел, всматриваясь в дорогое ему лицо девушки, стараясь запомнить на всю жизнь. Постепенно боль в ноге утихла. После перевязки ему стало намного легче, как-то очень хорошо, и он не заметил, как погрузился в сон.

На следующий день Володе рассказали, что, когда он уснул, Нина еще долго сидела и смотрела на него, потом сказала: «Я знала, что ему будет легче, пусть спит, не будите». Два человека вызвались сопровождать ее и благополучно провели через пост.

Двери барака были открыты настежь, потому что заходили люди, возвратившиеся с окопов. Володя заметил, что вместе с ними вошел посторонний.

Это был Виктор. Он долго и горячо благодарил за картошку.

— Раньше, в Ильфельде, — объяснял он, — многие из нас получали из дома посылки, сейчас немцам не до посылок. А здесь почти ничего не дают, приходится голодать. Мы ведь недавно тут, не знаем, где можно что-нибудь добыть.

— Мы должны заботиться друг о друге, — ответил Володя. — Я, если достану что-нибудь, всегда поделюсь. Плохо, что лежу сейчас, не могу выйти. Но вот друзья не забывают меня.

Володя рассказал Виктору о знакомстве с девушками, о смелой Нине.

У молодого француза как-то странно заблестели глаза, гость низко опустил голову.

— Виктор! Что с вами? — спросил Володя. — Вам нехорошо?

Француз молчал. Потом медленно поднял голову, и Володе показалось, что в глазах его стоят слезы.

— Ничего... — тихо произнес Виктор. После паузы продолжил: — За годы, проведенные в Германии, особенно за последнее время, я хорошо узнал русских людей, полюбил их за доброту, честность, прямоту. Когда-то, еще до войны, мы во Франции со страхом читали и слушали о большевиках, которых не волнует ни религия, ни культура, ничего, кроме работы. Много плохого наслушался и в семинарии от своих наставников. И поначалу мы, пленные, встречая ваших людей здесь, в Германии, сторонились их... Но в Ильфельде я убедился, что мои представления о вас были ошибочными. Я долго работал в деревеньке Руензац, дружил с одной девушкой, киевлянкой, и она на многое открыла мне глаза. Сейчас нас разлучили, но я постоянно думаю о ней, очень тяжело бывает по вечерам, мне кажется, что Надя вот-вот появится передо мной.

Во Франции много красивых и умных девушек, но ни одна из них не заменит мне мою Надю, в которой столько доброты, душевной мягкости, самоотверженности — всего того хорошего, что присуще вашим людям. Наши, если сказать коротко, более жесткие люди...

Забыв обо всем на свете, Володя слушал исповедь француза, который говорил вдохновенно, словно читал стих или молитву. Увлечен его рассказом не он один, почти все невольники, находившиеся в бараке, ловили каждое слово Виктора, хотя не очень хорошо понимали немецкий язык.

А Виктор говорил и говорил о любви к девушке Наде, ставшей для него богом, о своих терзаниях в разлуке, о том, как благодаря ей понял, в чем смысл жизни, понял, как обманывали его в семинарии. Володя теперь уже не презирал молодого француза за то, что тот когда-то был попом...

— Немцы в Руензаце и Ильфельде, несмотря на то что были католиками, — продолжал Виктор, — оказались очень плохими людьми. Наде приходилось терпеть много издевательств, страдать. Ее хозяева знали о нашей дружбе и делали все, чтобы разлучить нас... И я был бессилен

помочь ей. Теперь они добились своего и удалили меня из Ильфельда... Я очень беспокоюсь о Наде... За себя я не боюсь, мне ничего не страшно... Страшно только подумать, что с Надей... Боже, она ведь упала, когда ее ударил солдат... Нас уводили, а она бежала за колонной. Она звала меня: «Виктор! Виктор!» А тот ударил и сбил ее с ног...

Француз умолк, словно у него перехватило дыхание. Володя тоже не нашелся что ответить. Наконец произнес:

— Нужно подумать... Может, и придумаем что-нибудь... Как-то отправим ей весточку от вас.

Виктор безнадежно махнул рукой, и Володя ничего больше не сказал, понимая, что французам тяжело и ничем его горю не поможешь.

Стараясь отвлечь Виктора от грустных мыслей, Володя стал расспрашивать: когда его отправили на окопы, где он побывал по дороге сюда, всех ли французских военнопленных увезли из Ильфельда.

— Нет, не всех, — ответил Виктор. — Выборочно... Я думаю, прежде всего тех, кто чем-то не угодил властям или хозяевам. Обо мне тоже, очевидно, «побеспокоились» хозяева, особенно фрау Эльза, — грустно улыбнулся он. — Вывезли нас из Ильфельда не так давно. Сначала отправили в Нойкирхен, в другой лагерь, потом на окопы в район Люксембурга, потом перебросили южнее, к Саарляутерну. Там мы пробыли одну неделю — и снова в путь. Наш поезд по дороге разбомбили. Вместе с итальянцами нас осталось в живых около двухсот человек. Дальше повезли на машинах. Вскоре сто человек высадили, чуть позже еще сорок, а шестьдесят погнало дальше, то есть сюда. Здесь первая группа французов, которая шла вместе с итальянцами, сразу же попала под обстрел, правда, ни один из моих друзей не пострадал...

Володя рассказал Виктору, что это он вел ту группу и сам чуть не погиб.

В это время в барак вбежал один из пленных и сообщил, что каких-то два офицера вместе с Шефом обходят бараки.

Виктор быстро покинул барак. Володя после очень жалел, что не догадался дать ему картошки.

Через некоторое время в барак зашли гитлеровцы. Шеф, обращаясь к Володе, сказал:

— Слушай и передай всем остальным. За лесом ночью копают картошку, это вы знаете.

Володя кивнул. Шеф сразу же вспыхнул:

— Конечно, о картошке они хорошо знают! Эта картошка заготавливается на зиму для немецкой армии. Вы понимаете, что это значит?! — закричал Шеф. Немного погодя уже тише продолжал: — Если кого увидим на поле или по дороге обнаружим картошку, расстреляем на месте. Найдем в бараке — расстреляем каждого десятого! Ты хорошо понял?

Володя ответил, что понял и передаст всем.

— Сейчас же! — закричал Шеф и принялся бить палкой тех, кто уже спал: — Спите, как дома на перинах, а мы должны ходить всю ночь, сакраменто!

Люди просыпались, сонные, таращились испуганно, не понимая, что случилось. Двое офицеров стояли и наблюдали, как Володя, сидя на нарах,

переводил пленникам слова Шефа. А тот в это время заглядывал под нары. Слева, около стены в углу, лежали в куче несколько котелков, кастрюльки, кружки. Шеф все разбросал палкой и осмотрел.

Володя сидел словно на иголках: в изголовье у него была спрятана картошка, которую принесла Нина. И когда гитлеровцы наконец ушли, ничего не обнаружив, его стало трясти как в лихорадке. «Ведь пронесло же,— успокаивал себя Володя, пытаюсь унять дрожь.— При немцах сидел спокойно, а сейчас вот всего колотит». Но успокоиться не мог.

* * *

Понемногу Володя начал ходить. Фронт стоял на месте, и на линии немецкой обороны все оставалось без изменений, если не считать того, что союзники постоянно обстреливали окопы и пленников погибало все больше и больше.

Володя стал часто видеться с французами. Это были хорошие, дружные парни. С Виктором Володя очень подружился, не было вечера, чтобы они не встречались.

Однажды они все вместе пережили трагедию. Из лесного лагеря сбежали трое поляков. Подробности побега рассказал Володе Виктор, подслушавший беседу немецких солдат. Беглецам удалось уйти в тыл за сто километров от лагеря. Как-то они увидели машину, которая собирала по селам бидоны с молоком и свозила их на молокозавод. Беглецы договорились с шофером, что будут помогать ему грузить на машину бидоны, а потом он подбросит их к железнодорожной станции. Когда сдали молоко на завод, шофер вместо станции привез ребят во двор жандармерии. Беглецы поздно поняли его коварство. Теперь их вернули в лагерь.

В этот день в лес приехали еще около пятидесяти солдат-автоматчиков. Пленников на окопы не погнали, а построили на поляне и сказали, что каждый из них, кто попытается бежать, будет расстрелян. Володю, Виктора, еще человек пять невольников гитлеровцы заставили переводить своим соотечественникам смертный приговор.

В конце леса была выкопана яма, и возле нее поставили обреченных поляков.

Тихо шумел лес. Солнце, не баловавшее землю в эту пору, пробивалось сквозь тучи и заливало поляну мягким светом. У Володи в жилах от ужаса стыла кровь. Перед смертью один из приговоренных, обращаясь к кому-то из пленников, выкрикнул: «Янек, сообщи домой, прощайте все, отомстите за нас...» Он хотел еще что-то сказать, но не успел — застрочили автоматы. Окруженные автоматчиками люди молча смотрели, как погибают их товарищи. Только глаза и сжатые кулаки выдавали их гнев и ненависть.

Деревья и люди вдруг показались Володе черными, словно обугленными. И весь мир почернел. Эти автоматные очереди долго звучали у него в ушах... Не зная, как развеять тоску, сжимавшую сердце, лишенный поддержки Тадеуша, юноша пробрался к Виктору. В бараке французов стояла гнетущая тишина. Пленные разговаривали мало, и то почти шепотом. Каждый думал горькую думу и если открывал рот, то говорил только о трагедии, происшедшей на его глазах.

Взглянув на Виктора, Володя испугался его вида: молодой француз стал как будто ниже ростом и матовое, всегда бледное лицо его почернело. Виктор, сгорбившись и молитвенно сложив руки у груди, сидел на нарах. Володю он словно не заметил.

«Неужели молится?» — с удивлением подумал юноша.

— Виктор! — позвал он.

Тот поднял на гостя отсутствующий взгляд.

— Вы что, молитесь? — тихо спросил Володя.

Француз покачал головой.

— Нет, — грустно ответил он. — Я не молюсь... Мне очень хочется помолиться о душах страдальцев. Но, — Виктор опустил руки, — теперь у меня и этого утешения нет... у меня нет веры...

— Да, — согласился Володя. — Никакими словами, никакими молитвами, ничем уже не сможем помочь тем несчастным... Но мы должны помочь живым, нужно что-то делать, или же все погибнем здесь.

Виктор, взявшись за голову, неожиданно яростно сказал:

— Боже, ведь ты видишь несправедливость, погибают ни в чем не повинные люди!.. Ах ты, боже, боже... — уже тише закончил он.

Несмотря на строгий запрет, Володя принес французам десятка три картофелин и пообещал, что ночью еще раздобудет. Все окружили его, благодарили, жали руку. Только Виктор так и не поднялся с нар...

7

Володя уже кое-как передвигался, но рыть окопы он еще не мог, и поэтому целый день находился в бараке. Спасало то, что хорошо владел немецким языком, и охранники использовали его как переводчика.

Пока товарищи работали на окопах, он, ковыляя, подметал барак, мыл лавки и длинный, сколоченный из досок стол.

В пустом бараке, больной, обессиленный, чувствовал себя одиноким, брошенным, беззащитным и с особым нетерпением, считая часы и минуты, ждал возвращения с окопов товарищей.

Однажды, вернувшись с окопов, один из пленников сказал Володе, что у болота, за лесом, около одиннадцати вечера его будет ждать Нина. Сюда ей не удалось пробраться. Превозмогая боль в ноге, Володя побрел к Виктору, чтобы узнать, не пойдет ли тот с ним в поле. Юноше еще тяжело было ходить без посторонней помощи. Виктор с удовольствием согласился.

В десять часов вечера француз уже был у Володи. Друзья договорились выйти из барака по одному и встретиться на дороге. Поддерживая Володю под руку, Виктор довел его до болота.

Сверху местность выглядела как луг, но при ходьбе проступала вода, и казалось, земля под ногами ходит ходуном. Попадались и трясины, которые могли затянуть. Но Володя и Виктор шли по болоту, чтобы не встретиться с немецкими солдатами, которые избегали гиблого места.

Нина уже ждала. С каждой встречей эта девушка становилась Володе все дороже и дороже. Дружба двух молодых людей, родившаяся на основе общих страданий, общих надежд, общей борьбы, незаметно перешла

в увлечение. Наверное, именно такую дружбу и называют первой, еще не осознанной любовью...

Володя познакомил Нину с Виктором, который долго не выпускал руку девушки из своей.

— Так вот и я, — с горечью произнес француз, — был счастлив, когда видел свою Надю. Так и я, ожидая встречи с ней, сгорал от нетерпения. Душа к работе не лежала, хотелось все бросить и бежать, скорее бежать, чтобы увидеть ее, поговорить, побыть наедине...

Нина рассказала, что южнее от них работает на окопах много русских ребят и что кто-то из них передал: эту оборонительную линию немцы усиленно минируют. Возможно, гитлеровцы собираются отступать, а может быть, наоборот, думают здесь задержаться надолго и пытаются защититься минами.

Володя и Нина оживленно беседовали, а Виктор смотрел на них и улыбался. Ему, видно, приятно было находиться в их обществе, хотя он и не понимал речь русских. Но Володя обещал поделиться новостями позже, так как тут говорить по-немецки нельзя — их могли подслушать.

Нина пожаловалась, что на поле немцы очень следят за девушками, почти каждую из них сопровождают до машины. Володя вспомнил, как обыскивали гитлеровцы бараки, как он дрожал, сидя на постели, в которой была спрятана картошка.

Молодым людям не хотелось заканчивать беседу, но пора было расходиться. Они попрощались и договорились о новой встрече.

Через несколько дней Володя и Виктор снова встретились с Ниной. Девушка опять заговорила о минировании, о том, что немцы сняли мины, потом еще раз поставили, но никто не знает, зачем они это делали. Володю мины не очень интересовали, и, чтобы закончить о них разговор, он сказал, что попытается узнать у Людвига, для чего минируется линия. Потом Володя с Виктором взяли у девушки картошку, поблагодарили и ушли.

Они пробирались по только им известным лесным тропинкам, настороженно вглядываясь в темноту и стараясь двигаться бесшумно. Смерть могла поджидать их за любым деревом, и они должны были во что бы то ни стало проскользнуть мимо нее.

И все же они испытывали радость не только от того, что спасут от голодной смерти и себя, и своих товарищей.

Виктор пытался что-то рассказать по дороге, но, понимая, что не время для этого, на первом же слове умолкал. И когда они проникли в барак и освободились от своей ноши, наконец произнес:

— После каждой нашей встречи с Ниной я все больше думаю о моей русской подруге, все сильнее страдаю. Мне так становится жалко ее, что хочется все бросить и лететь в далекий Руензац... Ах, какой я нехороший человек, какой жестокий!

Володя уже давно заметил, что француза что-то тяготит, о чем-то связанном с Надей он не договаривает. Но спрашивать было неудобно.

— Ах, каким я был жестоким! — сокрушенно повторил француз. — Если бы знал, что нас разлучат, я никогда бы так не поступил!.. Но ведь я думал, что мы всегда будем вместе...

Они вышли из барака и встали у темной стены. Холодный ветер шумел в ветвях, раскачивал верхушки деревьев, в свисте ветра слышались чьи-то стоны, крики...

— Что вы такое сделали, Виктор, почему мучаетесь теперь? — решил-ся на этот раз спросить Володя.

— Я очень любил ее, — вместо ответа на вопрос сказал француз. — А сейчас люблю еще больше. Если смерть обойдет меня и Надю, после войны я найду ее, где бы она ни была! Пусть на небе, пусть под землей, но мы будем вместе! — он сложил руки, словно собрался молиться.

Володя почувствовал, что товарищу сейчас не до него, тихо пожал ему руку у локтя и вошел в свой барак.

Уже лежа на нарах, вспомнил рассуждения Виктора о том, что русские женщины очень добрые, отзывчивые, мягкие по натуре, а мужчины, в отличие от экспансивных французов, итальянцев и других южных народов, сдержанные и легко переносят подобные разлуки.

«Да, — подумалось юноше, — судя по Виктору, французы мягкие люди».

Как-то в полночь в бараке неожиданно появилась Нина. Володе и приятно было ее видеть, и страшно за нее. Он рассердился:

— Ты представляешь себе, где находишься? А если поймают в лесу, да еще с картошкой?!

Но девушка не дала ему поворчать и буркнула с иронией:

— Позже прочитаешь лекцию по технике безопасности.

Она оставила Володе пустую литровую бутылку из-под пива и сказала, что девушкам срочно надо немного бензина.

— Ни о чем не спрашивай, — бросила она на прощание, — позже расскажу все, очень здорово будет! — и исчезла...

На следующий вечер Володя нашел Виктора и сообщил, что Людвиг в откровенной беседе намекнул о планах немцев — они, по-видимому, рассчитывают зазимовать на этой линии.

— Сидеть и ждать, когда нас перебьют, нет никакого смысла, — заключил Володя.

— Что же вы предлагаете?

— Я беседовал с одним итальянцем. Очень интересный человек, хорошо знает русский, еще три или четыре языка. Родом из северной Италии, бывший учитель. Он того же мнения: ждать здесь нечего, надо переходить линию фронта, к союзникам. Очень жаль, что нет среди нас Тадеуша, тот бы сразу придумал, как нам быть.

— Перейти на ту сторону мешает река Мозель, — сказал Виктор. — Правда, километрах в двадцати отсюда я видел какую-то лодочную станцию. Она не работает, но там есть пара лодок, вытянутых на берег. Эти лодки я заметил, когда рыл поблизости окопы. Но река Мозель очень быстрая, может отнести далеко в сторону...

— Не беда, — возразил Володя. — Грести я умею, нет весел — доски найдем... А если чуть отнесет, то все равно высадимся на том берегу, у союзников... Возьмем с собой несколько ребят, да мы с вами...

— Я не пойду с вами,— тихо произнес француз.

Володя удивился:

— Почему?

— Эти места я хорошо знаю,— сказал Виктор.— Район Меца — земля французская, это немцы отобрали ее у нас. Я часто бывал здесь в детстве, на каникулах. Под Мецем жил мой дядя Огюст. Мне легко было бы ориентироваться, но я не смогу бежать, для этого нужна смелость.

— В хорошем коллективе совсем не страшно, один другому поможет,— горячо убеждал Володя.

Виктор колебался:

— Надо поговорить с Оскаром, он старше и имеет большой опыт...

— Уверен, что Оскар нас поддержит. Другого выхода нет, Виктор... Нужно бороться и рисковать... Погибнуть, не пытаясь спастись,— это удел ничтожных людей. А вы ведь не такой, Виктор. У нас есть хорошая сказка о двух лягушках. Мне ее в детстве бабушка рассказывала... Одна не сдавалась и спаслась, другая опустила лапки и погибла... Если бы вы знали, сколько раз я был рядом со смертью! Но никогда не сдавался... Может, поэтому до сих пор жив...

— Я посоветуюсь с Оскаром,— уклончиво ответил француз.

— Хорошо,— согласился Володя.— Только не откладывайте надолго... Теперь второе: приходила Нина, просила помочь...

Услышав имя Нины, Виктор встрепенулся: для этой девушки, напоминавшей ему Надю, он был готов на все.

— Сейчас же пойдем и достанем бензин!

— Не горячитесь, Виктор, это лучше сделать после двух часов ночи, так безопасней.

Друзья еще долго обсуждали, где и как взять бензин. Около блиндажей стояли мотоциклы, бронетранспортеры, но там — часовые. Бронетранспортеры в целях маскировки были накрыты ветками. Виктор предложил подлезть под эти ветки — они скроют их от часовых. Володя согласился. Но как набрать бензин в бутылку? Хорошо, если там есть канистры, а вдруг нет? Придется искать шланг. В конце концов решили оставить эту работу на следующую ночь. Немецкие блиндажи находились недалеко от барачных французских, и Виктор обещал все рассмотреть днем и подготовиться...

На обратном пути Володю заметил патруль. Хорошо, что это случилось рядом с барачным. На окрик патруля юноша остановился и стал объяснять, что ходил к соседям за бинтом, чтобы перевязать ногу...

— Из какого ты барака? — допытывался немец.

— Из крайнего,— ответил Володя.— Вот здесь, сразу за деревьями.

Один из патрульных привел Володю в барак и спросил, откуда ли он и где его место. Убедившись, что юноша сказал правду, он закурил, посидел немного и ушел. Володя вздохнул с облегчением и собрался спать. Но каково же было его удивление, когда через несколько минут ему сообщили, что за барачным ждет Нина! Словно ошпаренный выбежал он из барака.

— Ну знаешь, тебе надо было родиться хлопцем, да и не каждый хлопец такой смелый!

— Комплименты потом. А пока возьми это.— И девушка протянула Володе небольшой кусок резинового шланга.

— Ты будто подслушала нашу беседу с Виктором,— изумился Володя.— Нам как раз шланга не хватало.

— Правда, в двух местах он порван, но что-нибудь придумаєте...

Володя, удобно устроившись с Ниной на упавшем дереве, думал посидеть с ней, поговорить, но Нина сразу поднялась.

— Девушки предупредили, — сказала она, — что немцы стали замечать мои длительные отлучки, так что нельзя мне тут расслаживаться.

Молодые люди простились, и Нина ушла, даже не разрешив Володе вывести ее из леса...

* * *

На следующую ночь, около двух часов, Володя отправился к Виктору. Испугался, увидев его снаружи барака. Молча пожав ему руку, Володя показал шланг, который днем починил. Взяв бутылку, друзья неслышно двинулись к блиндажам. Договорились в случае опасности моментально выбросить бутылку и шланг.

Они осторожно пробирались по лесу, прятались за толстыми буковыми деревьями. И вот уже впереди зачернели машины, блиндажи. Чем ближе подходили, тем сильнее билось сердце. Главное было сейчас — заметить часового, чтобы следить за ним. Друзья остановились метров за десять до цели и присели за кустом.

Долго ждать не пришлось, вскоре появился часовой, медленно шагавший по дороге в нескольких метрах от блиндажей. Как только часовой отдалился, Виктор выхватил у Володи бутылку и шланг и, пригнувшись, побежал к бронемашине. Володя подумал: «Ладно, пусть Виктор первым идет. За ним следом и я. По одному даже лучше...» Но в это время он услышал негромкий разговор, затем смех. Это встретились часовые и теперь вдвоем направлялись в сторону блиндажей. Володя затаился и ждал, что будет дальше.

Часовые приблизились к блиндажам и сели на колоду, о чем-то тихо разговаривая. Володя оцепенел: неужели Виктор не видит их и вылезет из-под маскировки!

Через некоторое время около машин что-то легонько стукнуло. У Володи бешено забилося сердце, и он от ужаса закрыл глаза, ему почудилось, что немцы замолчали и прислушиваются вместе с ним. Но, придя в себя, облегченно вздохнул: они так же, как и раньше, сидели и тихо беседовали.

Минуты казались Володе часами. «Не могут же фрицы сидеть до утра! — думал он.— Но почему они сидят так долго? Ведь часовые должны обходить свои участки?!» Он стал замерзать. Ноги, бок, на котором он лежал, одеревенели.

Наконец немцы встали и разошлись. Володя хотел было бежать к машинам, но Виктор уже спешил ему навстречу. Взяв Володю за руку, он потащил его глубже в лес.

Тихо проникли в барак французов. Все спали, Виктор молча вытирал

лицо рубахой, пот лил с него градом. Володя шепотом спросил, видел ли он часовых.

— Конечно, видел,— ответил француз.— Я ведь был ближе к ним, чем вы, поэтому и услышал их раньше. Шлангом ничего нельзя было сделать, он короткий. Да и не нужен он был, там стояли две канистры. Одну из них я открыл. Крышка отскочила и звякнула. Я уже собрался выскакивать и бежать, но вовремя удержался, они не обратили, видно, внимания.

— Вот видите, Виктор, какой вы смелый! А не были уверены в себе!

Володя, пожав французу руку, вышел из барака. Он взял бутылку, оставленную около двери, и через кустарник направился к себе. Виктор хотел проводить, но Володя не позволил: двоих скорее обнаружат. Уже в своем бараке, лежа на нарах, Володя долго думал о том, зачем девушкам бензин, почему Нина ничего ему не сказала?

На следующее утро, так же как и в тот день, когда узнал о появлении русских девушек, Володя по дороге на окопы отстал от колонны и заскочил в кирку. Некоторые девушки спали, другие стирали. Юноша отдал бутылку Нине. Та улыбнулась благодарно, и Володя убежал, опасаясь, что Шеф заметит его отсутствие...

Прошло два или три дня, и на линии немецкой обороны, казалось, началось светопреставление. «Наконец-то пошли американцы в наступление»,— радостно подумал Володя.

Около десяти часов вечера земля в лесу загудела от охвативших большой участок сильных взрывов. Никто не мог понять, что творится. Среди немцев возникла паника. Вдоль леса по дороге проносились бронемашины в сторону села. Через некоторое время лес был окружен солдатами. Пленные решили, что немцы отступают и готовятся угнать их с собой. Но оказалось другое...

К ночи взрывы прекратились. Земля перестала гудеть и вздрагивать. Однако гитлеровцы не успокаивались. Лес кишел солдатами, гремели транспортеры, ревели на дороге автомашины... В бараках тоже не спали и боялись выглянуть за дверь, хотя немцам, вероятно, было не до пленников.

В конце концов Володя решился и тихонько выскользнул из барака. Он притаился в темноте у стены и прислушался. Ветер доносил рыкающую речь солдат, но слов Володя разобрать не мог, только по интонации догадывался, что немцы очень возбуждены.

Он простоял с полчаса, продрог до костей и уже собирался вернуться в барак, так ничего и не разведав, когда увидел Людвига.

Володя тихонько подошел к нему.

— Скажите, пожалуйста, Людвиг, что случилось? — спросил Володя, когда Людвиг остановился, узнав его.— Отступление?

Людвиг покачал головой:

— Нет. Кто-то поджег будку в селе, в которой лежали мины. От этой будки начали рваться и те мины, которые были установлены на линии. Погибло много солдат, искорежены машины, разрушена главная дорога через село, дома, кирка...

— Там были наши девушки! — вскрикнул Володя.— Что с ними?!

— Не знаю,— ответил Людвиг и, помолчав, добавил: — Наверное,

погибли... Те, кто подорвал эту линию, видно, не знали ее расположения... Приехала специальная комиссия, но толком установить ничего нельзя. Единственное выяснили, что будка была подожжена. От кирки же ничего не осталось...

Володя ощутил, как по его лицу полились слезы, и не мог их сдержать.

«Бедная Нина,— стучало в его голове.— Бедная Нина! Бедные девушки!»

Людвиг, очевидно, понял состояние юноши. Он взял его за плечо и подтолкнул к двери барака...

Девушек на линии обороны больше никто не видел, они почти все сразу погибли, а раненых остервенелые немцы тут же добили.

Подробности этой трагедии пленным не были известны. Людвиг и сам знал только то, что произошло после взрыва. Володя и Виктор, наконец, догадались, зачем был нужен Нине бензин.

Юноша тяжело переживал гибель Нины. Он часто задумывался, разговаривая сам с собой, твердил: «Милая моя, хорошая девочка, я никогда не забуду тебя!» Виктор сочувствовал его горю и однажды сказал:

— Мы отомстим за них. Эта земля, на которой мы стоим, французская земля, немцы здесь убивали наших, выгоняли, расширяя свою территорию. Люди, что лежат в этой земле, также просят, чтобы за них отомстили, и мы это сделаем!

— Да, мы отомстим за тебя, Нина! — произнес Володя.— За тебя и твоих друзей!

Француз протянул ему руку, и Володя крепко пожал ее.

За последнее время Виктор очень изменился. Он уже не был тихим парнем, не способным убить муху, как рассказывал о нем его друг Оскар. Да и сам он признавался:

— Теперь я хорошо понимаю, где справедливость, а где ее нет, где друг, а где враг. Первой открыла мне глаза Надя.

После трагического события немцы водили пленников только строем, приказали из барачных входов не выходить, объявили: если заметят кого-нибудь, будут стрелять без предупреждения.

Итальянцев и французов перевели поближе к славянам, которых уплотнили: к двадцати пленным добавили еще по десять, чтобы в освободившиеся бараки поместить итальянцев и французов. Невольников уведомили об ответственности друг за друга. Тот, кого встретят в лесу или около дороги, будет убит, и отвечать за него придется всему барачнику. Положение облегчалось тем, что на окопы и с окопов пленников гоняли вместе, и Володе не нужно было ходить ночью к Виктору. Он видел его каждый день, говорил с ним, шагая рядом...

Как-то в сумерках пленники возвращались с окопов через горы. Шли гуськом, дорога была узенькой, извилистой, и из-за скал целиком колонна не просматривалась. Впереди ее шел Шеф, а замыкал колонну Людвиг. Так как Володя еще прихрамывал, он ковылял с Виктором в конце колонны. Людвиг закрывал глаза на их отлучки из строя. А друзья время от времени отбегали в сторону и рвали репу, росшую на обочине. Репа уродилась огромной, пленники прятали ее под рубашки и жевали на ходу. Старались идти как можно медленней, чтобы успеть побольше съесть.

Увлечшись репой, они не заметили, как отстали. И тут из-за холмов, как раз напротив болотистой низины, появилась какая-то артиллерийская часть. Немцы двигались почему-то не со стороны главной дороги, а из глубины горного массива. Солдаты были обросшие, грязные, лошади тоже в грязи, видимо, часть преодолела длинный и тяжелый путь. Лошади тянули пять противотанковых пушек и несколько орудий покрупнее. Солдат было много, большинство шло пешком, нагруженные всевозможными узлами.

Один из младших офицеров подбежал к Володе и Виктору и спросил, как ближе пройти — куда именно, Володя не понял.

— Здесь можно? — и офицер кивнул на долину. Друзья, словно сговорившись, одновременно показали на болото, предательски покрытое коричнево-желтой травой. Офицер побежал обратно и крикнул передним:

— Сворачивайте на луг, так ближе, и мы выиграем время для отдыха!

Володя и Виктор опомнились, когда были уже за поворотом дороги: куда же они направили часть, ведь там болото! Они молча смотрели друг на друга, а немцы к тому времени прошли половину долины. Вдруг Виктор схватил Володю за рукав и крикнул:

— Смотри, смотри!

Со стороны реки над самым лесом летели шесть американских самолетов. Немцы принялись бить лошадей, стремясь скорей проехать луг и укрыться в лесу. Но лошади, пушки, повозки стали погружаться в трясины. Офицеры и солдаты метались по предательскому лугу, потом бросили все и побежали к лесу.

Но не суждено им было уйти из этого болота. Самолеты бомбили долину, одновременно обстреливая ее из пулеметов. В небо взлетали куски земли, люди, техника. С болотом творилось что-то ужасное.

Володя и Виктор лежали под горой, прижавшись друг к другу, и наблюдали за происходившим. Самолеты ушли к лесу, и вскоре там раздались взрывы. Колонна пленников еще не успела возвратиться в лагерь, и, как только началась бомбежка, все укрылись за скалами.

Когда развеялся дым, Володя и Виктор увидели, что болота нет: долина почернела, образовались какие-то холмы, ямы, в которых стояла вода... Исчезли и немцы. Целая воинская часть, до последнего солдата, погибла в трясине.

Через некоторое время, вспоминая это событие, Володя сказал Виктору:

— Да, немцы уже не те, что когда-то наступали на нас с закатанными рукавами!

Виктор спросил:

— Скажи, Володя, — после происшествия на болоте они незаметно друг для друга перешли на «ты», — зачем ты показал немцам на болото? А если бы кто-нибудь из них остался в живых?.. Ведь ты не знал, что американцы будут бомбить.

— А почему ты показал туда же? — улыбнулся Володя.

— Я и сейчас не пойму этого, все получилось как-то машинально.

— Ну ладно, чего об этом говорить?

— Но все же зрелище было захватывающим! — заключил Виктор.

Да, я впервые наблюдал такое... Это им за Ниину,— добавил он после паузы,— за Надю, за всех!..

Как выяснилось позже, эти самолеты летели бомбить лес, потому что заметили около леса колонну грузовых машин. Людвиг рассказал, что грузовики везли оружие и продукты. Французы, которые находились в бараках, воспользовались бомбежкой и замешательством немцев и стянули пару мешков какой-то крупы, похожей на рис, несколько автоматов и спрятали в лесу.

8

...И здесь уже, несмотря на мягкий климат, настоящая зима с холодными дождями и сильными порывистыми ветрами. Спасало только то, что ночью топили печку и немного обогревались возле нее. Но дышать в бараке становилось невмоготу — тридцать человек, промокнув за день до нитки, сушили одежду и грелись сами. Когда открывали дверь на улицу, из барака валил пар.

В один из таких студенох дней после долгого отсутствия появился Тадеуш. Володя сидел в бараке на буковой плахе и чинил ботинки. Вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулся и чуть не вскрикнул — от дверей улыбаясь шел к нему... Тадеуш!

Впрочем, не совсем Тадеуш. Это была лишь тень Володиного друга: осунувшийся, похудевший, лицо белое как бумага, скулы и нос заострились. Только глаза — умные, добрые — и остались от прежнего Тадеуша.

Володя бросился ему навстречу.

Друзья не спали до самого утра. Володя подробно изложил события, происшедшие за последнее время. Тадеуш рассказал, что находился недалеко от лагеря, в одном из сел. Там собрали раненых невольников, и они сами за собой смотрели, сами лечились, сами становились на ноги. Немцы каждый день выгоняли их на работы, хотя у многих были еще открытые раны. Тех же, кто не мог двигаться, куда-то увозили и уничтожали.

Володя поделился с другом своими планами:

— Я склонил к побегу уже более двадцати человек. Долго их агитировал, но в конце концов они тоже поняли, что мы в безвыходном положении. Остаться здесь — значит погибнуть.

Молодой поляк обрадовался:

— Это здорово, Володя! Я, конечно, тоже пойду, несмотря на то что не совсем еще окреп.

— На тебя страшно смотреть,— вздохнул Володя.— Много воды утечет, пока окрепнешь.

— Мечта о свободе поможет мне быстрее поправиться... А пока нужно все хорошенько продумать.

Вскоре двадцать четыре пленника стали усиленно готовиться к побегу. К этой группе примкнул еще один человек. Это был итальянец, который когда-то навел Володю на мысль податься к союзникам.

От Людвига Володя знал, что километрах в ста ниже по реке есть участок, считавшийся непроходимым для войск и техники. Там Мозель

течет в высоких берегах, кругом скалы. Немцы полагали, что большую силу держать в этом месте не надо, и ограничились отдельными постами. Пленных это устраивало...

* * *

Однажды Володя и Виктор спрятались по дороге к окопам и пошли в разбитое село. Это было задание Тадеуша, видевшего недавно около одного из уцелевших домов старика. Внешне он походил на немца, но что мог здесь делать гражданский немец? Ведь из местных крестьян в селе никого не осталось.

— Наверное, этот дед жил тут и теперь пришел что-то взять или спрятать, — сказал Виктор.

— Весьма возможно, — согласился Тадеуш. — Хорошо бы осмотреть дом, возле которого стоял старик. Может, найдем что-нибудь пригодное для нашего перехода, продукты например.

Тадеуш отправился со всеми на окопы. Он должен будет предупредить друзей, если немцы обнаружат их отсутствие.

Володя и Виктор долго бродили по разрушенному селу, заходили в отдельные дома. В одном из погребов нашли несколько больших запечатанных стеклянных банок, в которых оказались вареные бобы. Вынесли эти банки и положили около дороги. Позже им попало полмешка муки. Она была испорченной, очень горькой, но пленники забрали и ее.

Наконец подошли к указанному Тадеушем дому, огромному и красивому. Виктор отметил, что он построен во французском стиле. Одна сторона здания завалилась. По пыли возле двери можно было заключить, что она недавно открывалась. Сначала обошли дом, но ничего интересного не увидели. Тогда снова направились к парадной двери. Володя тихонько толкнул ее.

В комнатах, кроме кроватей и пустых шкафов, ничего не было. Видно, сюда уже наведывались и немцы, и пленные, унесли все, что еще оставалось от хозяев. Через другую дверь вышли во двор, окруженный разными пристройками, сараями. Володя заглянул в один из сараев, Виктор — в другой и, отпрянув, как-то испуганно поманил приятеля пальцем. В сарае прямо на полу стояла литровая кружка с молоком, накрытая большим куском хлеба, такой пекли в немецких селах. Друзья в нерешительности смотрели друг на друга. Потом Виктор предложил:

— Давай съедим.

Володя возразил:

— Неизвестно, кому принесена эта еда, и возможно, она отравлена.

Он взял хлеб, посмотрел, понюхал. Хлеб был вчерашней или позавчерашней выпечки.

Друзья долго стояли возле кружки с молоком. Теперь они знали: это дед принес кому-то еду. Но кому?

Виктор предложил хорошенько осмотреть все сарай. Они еще раз обошли двор, обследовали сарай и пристройки. Все вокруг было засыпано обломками черепицы, покрыто нетронутой пылью.

Володе вспомнилась разрушенная сельская хата близ Здолбунова,

где он встретился с Иваном Остапюком. Перед глазами возникли заполненный щепками и землей колодец, разбитый сарай с перекошенной, повисшей на одной петле дверью, немецкая каска с водой. Какими похожими сделала война и далекую украинскую хату и дом немецкого бауэра!

Володя предложил обыскать чердак в сарае, где обнаружили еду, и потом уйти. Друзья снова вошли в тот сарай. Они отсутствовали минут пятнадцать — двадцать, за это время кружка с молоком и хлебом исчезла. Когда и кто успел ее забрать? Друзья удивленно переглянулись.

Вдруг из-за перегородки появился немецкий офицер с пистолетом в руке, направленным на непрошенных гостей. У Володи и Виктора глаза полезли на лоб.

— Что за комедия? — растерянно спросил офицера француз. — Как это понимать?

Немец продолжал стоять молча, не опуская оружия.

Увидев у него на брюках сено, Володя сразу смекнул, в чем дело, и громко сказал:

— Спрячьте оружие, вы нам не нужны. Мы искали еду, потому что голодные.

Офицер спрятал пистолет, приблизился к ребятам и подал руку сначала Володе, потом Виктору. Это был небольшого роста человек, щуплый, черный, давно не бритый, одетый в форму немецкого офицера со знаками ранений, а также косой ленточкой, свидетельствовавшей о награждении Железным крестом.

Он спросил пленников, кто они такие. Володя ответил, что он украинец, а его друг — француз. Офицер предложил подняться с ним на чердак.

За перегородкой оказалась лестница. Наверху было много сена. У окна, в сене, сделано углубление, где находилась постель. Все сели.

— Можете говорить свободно, — сказал хозяин. — Здесь никогда никого не бывает. Я видел, как вы зашли в сарай, как осматривали мою еду. Я наблюдал сверху. Старик — брат моего отца, хороший человек. Он живет недалеко отсюда, вот и кормит меня. Правда, ему трудно сюда добираться, везде посты.

Потом незнакомец рассказал, что он — офицер немецкой армии, понял всю бессмысленность этой войны и решил дезертировать.

— Ведь мы проиграли, — сказал он. — Нас было три сына у отца, два моих брата погибли, а я не хочу умирать. Я из этих мест, но домой мне сейчас нельзя. Нашу часть недавно направили на эту линию обороны, и мы сразу попали под бомбежку. Залезли в болото, а тут американские самолеты. Как остался в живых, и сам не знаю. Возможно, потому, что я местный, быстро понял, что очутился в трясине и давай удирать... А товарищи погибли...

Слушая немца, Володя старался вспомнить, где встречался с этим человеком. И когда тот сказал о бомбежке на болоте, Володю словно кипятком облили — ведь это же был тот самый молодой офицер, который спрашивал у него и Виктора дорогу! Да, это был он! Он не узнал их, и Володя решил промолчать.

— Поздно же вы поняли эту разбойничью войну!

— Я исполнял долг, как и все, — ответил немец.

Потом он попросил у Володи, если есть возможность, добыть ему гражданскую одежду, так как в форме, да еще офицера, очень трудно скрываться, а старику не удастся пронести большой узел. Володя обещал поискать.

Друзья простились с бывшим офицером, взяли по дороге муку, банки и возвратились в лес. Вечером рассказали обо всем Тадеушу. Почти до утра пекли лепешки. Они получились горькими, но другой еды не было.

Одежду офицеру достали: брюки, рубаху, пиджак. Когда-то, еще по пути в Германию, товарищи подарили Володе кепку, простенькую, с латкой впереди, но она была русской, родной. Так кепка и путешествовала с юношей, который хранил ее как память о родине. И вот, когда достали одежду для бывшего офицера, оказалось, что не хватает кепки. Володя долго колебался, но потом отдал свою.

Последнее время пленники усиленно готовились к переходу линии фронта. Володя и Тадеуш были заняты: инструктировали людей, чинили обувь, собирали оружие и продукты. Поэтому одежду в село понес Виктор. Потом он рассказывал, что немец очень обрадовался, долго благодарил. Одежда пришлась ему впору, правда, кепка была мала, сидела на макушке, но это не беда. Немец дал Виктору несколько кусков хлеба и свой пистолет.

Пленникам хотелось поскорей двинуться в путь, ведь впереди их ждала свобода, а если даже и смерть — это их не страшило. И только трезвый разум Тадеуша да советы некоторых старших по возрасту невольников сдерживали особенно нетерпеливых. Но тут случилась беда, заставившая ускорить выход группы. При очередном артобстреле погиб Людвиг.

Людвига тяжело ранило осколком в грудь; от шеи до самого пояса тело у него было разбито. Он пытался что-то произнести, но губы его еле шевелились, смотрел на всех стеклянными глазами и через несколько минут умер. Виктор сказал, что хороших людей всегда погибает больше, чем подлецов.

Людвиг хоть и служил фашистам, но пленники считали, что этот человек случайно оказался среди гитлеровцев. Когда разнеслась весть о его гибели, невольники почти на всем участке побросали работу и побежали к месту трагедии. Только и слышно было в толпе: почему не убило Шефа! Все обступили погибшего, жалея его, ведь немало невольников спас он на окопах, по мере сил помогал несчастным людям...

* * *

Наконец все было готово к переходу. Мука, которую принесли Володя и Виктор, пошла на лепешки. Бобы высыпали из банок и разделили между всеми так же, как и вареную картошку. Кое-что дали Виктору друзья по бараку. Два автомата, пистолет, некоторые вещи были спрятаны в лесу за лагерем. Несмотря на то, что организовали переход к союзникам Володя и Тадеуш, группа старших по возрасту поляков решила назначить руководителем одного из своих, бывалого солдата по имени Франц. Володя и Тадеуш не стали спорить, так как из-за этого все могло сорваться, да и что-нибудь похуже могло случиться. Но Володя все-таки не удержался и сказал:

— Выбирайте руководителем кого хотите, но учтите, что расположение линии и тот участок, где должны переходить, знаю лишь я...

— Ладно, Володя,— перебил его Тадеуш.— Обстановка сама подскажет.

Виктор почти не отходил от Володи. Снова и снова рассказывал о местности, особенно на той стороне Мозеля.

— Возможно, линия фронта идет не по реке, и там окажутся немцы,— предупредил Виктор.— Будьте осторожны. А если встретите французов — не бойтесь, они всегда помогут.

Он снова вспомнил о своей девушке Наде.

— Я с ней больше, намного больше чем дружил,— признался Виктор Володе на прощание.— Мы любили друг друга. Я об этом рассказываю потому, что мне становится легче, когда я поговорю с тобой. Ты хороший человек, такой же как и она. Ты первый и единственный, кому я поведал правду. И тебе не стыжусь рассказывать... Я виноват перед ней: вдруг она ждет ребенка? Я сам не понимал, что со мной происходит, когда встретил и полюбил ее... Мне жалко, Володя, расставаться с тобой, но я не могу идти с вами. Я не могу, не имею права рисковать, я должен, должен найти Надю! Я возвращусь домой вместе с ней. Без нее меня не примет мой дом, моя мать. Без нее я не хочу жить на свете... Мы будем вместе, вечно вместе!..

Тадеуш позвал Володю. Володя встал, поблагодарил Виктора за дружбу, за помощь.

— Останусь в живых,— сказал француз,— буду вечно помнить нашу дружбу, которая родилась в таких тяжелых условиях... Ну, еще завтра увидимся...

Виктор ушел к себе, а Володя направился в другой барак, где его ждали, чтобы уточнить время побега.

ВЕЧЕР ПОСЛЕДНИЙ

ОН, как всегда, был на своем месте, у окна.

Веточка вишни трепетала все сильнее. Она билась о темные стекла, предвещая близкую бурю.

Я и ТАДЕУШ стояли на берегу Мозеля, прощались с дорогими французскими друзьями.

Река грозно ревела в каменных берегах. Мозель нес расстрелянную лодку, и Я плакал над горькой судьбой друзей.

Потом Я ехал к родному Киеву, и МОЕ израненное, измученное сердце обмывала теплая слеза, а губы шептали: «Здравствуй, свобода, здравствуй, родимый край...»

1

Утром следующего дня Володя почувствовал себя плохо. На улице было очень холодно. Володя весь дрожал, болела голова. Тадеуш успокоил, мол, это от нервов. Володя хотел сказать товарищу, что его мучает какое-то неясное предчувствие беды, но постеснялся.

Наконец наступил последний вечер. Все были как пружины, каждый напряженно ждал условленного часа.

Снова пришел Виктор. Печальный, он все время молча смотрел на Володю. Беседовать с ним он не мог, так как Володя был занят — то к нему заходили, спрашивали о чем-то, то вызывали во двор.

Двое пленных, живших в одном бараке с Володей и Тадеушем, должны были уйти первыми. Володя и Тадеуш замыкали группу.

Около десяти часов вечера первая пара покинула лагерь. На дворе была непроглядная темень, дождь, ветер. Когда дверь барака открывалась, казалось, что за ней начинается черная бездна, в которой вместе с дождем вертятся деревья, люди, небо и земля.

Виктор заметил:

— Приятно греет печка, так бы сидеть и мечтать, а люди вынуждены идти неизвестно куда. И сколько еще таких людей бродит по свету!

— Да, Виктор, — ответил Володя, — приятно сидеть около печки, но только дома. А здесь надо подальше уходить от этого «тепла».

Они вышли во двор. Виктор съежился от резкого холодного ветра. Володя пошутил:

— Ты, Виктор, нежный человек.

Посмеялись. Кто-то из барака угостил их картошкой. Время текло очень медленно, с каждой минутой на душе становилось все тревожнее.

Появился Тадеуш и сказал:

— Время! Догоняй!

Простившись с Виктором, он направился в сторону дороги. Потом, согласно плану, они обойдут посты и встретятся со всеми далеко за лесом.

Володя знал, что Тадеуш будет ждать у дороги, что пора идти, но все не мог оставить Виктора. Наконец молча обнялись, и француз, опустив голову, шагнул в темноту.

Володя возвратился в барак, погрел руки около печки. Все уже улеглись, кто-то спросил, почему он не ложится. Володя ответил: «Что-то болит голова, побуду еще на улице, на свежем воздухе». В последний раз взглянул он на нары, на печку и закрыл за собой дверь. Постоял возле барака, пока глаза не привыкли к темноте, и двинулся по направлению к дороге.

В лесу было много опавшего листа — как осторожно ни ступай, он все равно шелестит, хорошо, что шумели ветер и дождь. Володя шел и думал: «Сейчас на деревьях еще есть немного листьев. А если они все осыплются, наши бараки будут видны самолетам. Бедный Виктор!»

Когда добрался до Тадеуша, тот отругал его за задержку. К месту сбора дошли благополучно. Все в один голос хвалили погоду. Была бы ясная ночь, вряд ли двадцать пять человек могли выйти из лагеря незамеченными. Тадеуш посоветовал всем молчать, растянуться в цепочку и осматриваться по сторонам. Правда, от линии укрепления пленные уже отделились и очутились как бы на нейтральной полосе, где не встретишь ни гражданских, ни военных, но все же нельзя было забывать об осторожности.

Несмотря на то, что люди целый день работали на окопах, все шагали бодро. Когда-то Володя и Тадеуш уговаривали их решиться на побег: самое трудное — это сдвинуться с места, а теперь каждый рвался на свободу, каждого вела вперед надежда.

Вскоре беглецы вышли на лесную дорогу. Для Володи и Тадеуша это было неожиданностью. Виктор ничего не говорил о ней. Что же это за дорога?

Думали-гадали, пока не услышали вдали гул моторов. Отбежали в сторону и залегли. Мимо них в сторону линии окопов прошли три тяжело груженные машины.

Беглецы снова посовещались. По мнению Володи, нужно было двигаться в тыл, вдоль дороги. Франц же говорил, что следует как можно дальше уйти от леса, где находится лагерь, во избежание встречи с кем-нибудь. Поэтому лучше пробираться вдоль линии, а потом уже свернуть в тыл. Володя не стал спорить. Идти было легко, вокруг тишина, никого нет. «Может, и здесь пройдем, — подумалось ему. — Франц тоже много шатался по окопам, наверное, бывал и в этих местах». Володе вспомнился тот офицер, которого он и Виктор обнаружили в разрушенном селе.

Володя с Тадеушем замыкали шествие и тихонько беседовали.

— Надо было поговорить с тем немцем-дезертиром, это многое дало бы нам. Он из этих мест, видно, хорошо знает линию. Возможно, даже пошел бы с нами.

— Ну, это еще не известно, — заметил Тадеуш, — пошел бы или нет. Я не очень уверен в его знании местности. Он сказал, что жил недалеко отсюда, почему же в таком случае спрашивал дорогу, когда шел со своей частью? Тем более что у них должны быть карты.

— Хоть он и местный, мог не знать дорогу подробно — видимо, не бывал в этом районе. А что касается карт, то в последнее время им не до них.

— Да как же он здесь жил? — не сдавался Тадеуш. — Ведь до войны это была французская земля.

— Да, — согласился Володя. — Здесь Франция, но Виктор говорил, что совсем недалеко старая граница. Этот немец, скорее всего, с той стороны... Как жаль, что не пришло тогда в голову потолковать с ним. Много полезного могли бы почерпнуть.

Беседуя, друзья не заметили, что отстали от группы, которая миновала небольшую возвышенность и спустилась к какой-то речушке, преграждавшей путь. Ширина реки была метра три, а в некоторых местах и уже.

Начал падать мокрый снег, неприятно облеплявший лицо. Володя и Тадеуш кинулись догонять товарищей. В поисках брода через речушку те повернули немного в сторону.

Берега речушки заросли кустарником, только кое-где остались полянки. Они переходили в возвышенность, поросшую лесом. Беглецы оказались как бы в котловине. Пришлось сделать крюк около километра, пока нашли место, где можно было перепрыгнуть через водную преграду.

Потом, миновав кустарники на правом берегу, снова углубились в лес. И вдруг натолкнулись на какие-то сооружения, напоминавшие доты. Так как они были замаскированы ветками и не видны в темноте, беглецы

обнаружили их только тогда, когда приблизились почти вплотную. Возвращаться было поздно. Возможно, передние и заметили что-то подозрительное, но почему-то шли дальше, не предупредив остальных. Наверное, бдительность беглецов усыпило то, что на протяжении всего пути было тихо, казалось, в этой глуши не ступала нога человека, и нервное напряжение, охватившее людей в момент ухода из лагеря, постепенно слабело, забыли и об осторожности.

Из укрепления раздался окрик:

— Стой! Кто здесь есть?

За машинами, стоявшими около дотов, засуетились, забегали.

Беглецы залегли, готовые к отпору. Это была не маленькая кучка — двадцать пять человек! Имелось и оружие: два автомата и пистолет. А главное, каждый верил, что немцам приходит конец, ведь рядом стоят войска американцев.

Как только из-за машин выскочили солдаты, беглецы ударили по ним из автоматов. Володя и Тадеуш лежали за кустом, оружия у них не было, и они оставались беспомощными наблюдателями.

Со стороны укрепления в ответ застрочили автоматы, потом послышалась какая-то команда. Вскоре один автомат беглецов замолчал — видно, кончились патроны.

Через несколько минут немцы открыли огонь из пулемета. Кто-то из ребят — возможно, и Франц — крикнул: «Разбегайтесь!» Об этом беглецы и сами уже подумывали.

Володя и Тадеуш бросились назад, за ними еще один человек — поляк Казимир. Володя первым достиг речушки и, не задерживаясь, прыгнул в воду, следом — Тадеуш. Казимир почему-то побежал по берегу, наверное, искал более узкое место. Володя позвал его уже с другой стороны, но Казимир не ответил, а продолжал бежать вдоль речки. Из леса открыл огонь еще один пулемет. Поднялась ожесточенная стрельба.

Как только Володя и Тадеуш пересекли дорогу, на которую недавно вышли с группой, на ней остановились три машины. Гитлеровцы прыгнули с них и побежали в ту сторону, откуда слышалась стрельба. Если бы беглецы опоздали на пару минут, то солдаты заметили бы их и схватили. Теперь же, ускользнув от них, друзья во весь опор мчались по лесу, подальше от злополучного места. Несмотря на то, что искупались в холодной воде, им было жарко. Правда, сначала вода хлюпала в ботинках, но позже чавканье прекратилось.

Прогремели автоматные очереди, и совсем близко, сразу за дорогой, беглецы поняли, что это стреляют те солдаты, которые высадились из машин. Но стрельба продолжалась недолго.

Друзья остановились передохнуть. Володя сразу упал на землю — после бега трудно было дышать. Тадеуш, еле выговаривая слова, сказал:

— Где же остальные? Я кричал им, чтобы бежали за нами, но они все помчались в разные стороны. Может, с перепугу не поняли, кто и что кричит?

— Один Казимир следовал за нами, но почему-то побежал вдоль речки, не пойму зачем.

Передохнув немного, друзья пошли дальше. Что теперь делать, куда

идти? Не возвращаться же в лагерь, где их ждет расстрел! Но в лесу долго не проживешь. Зима, холодно. Одежда и запас продуктов, которые захватили с собой, остались возле немецкого дота. Володя не помнил, почему на нем только рубаха, Тадеуш был без шапки, оба мокрые с ног до головы, ветер пронизывал их до костей. К тому же по всей линии с немецкой стороны поднялась тревога, нигде нельзя будет ее перейти. Что делать, куда податься?

Володя предложил некоторое время подождать в лесу, возможно, еще кто-нибудь из беглецов появится. Казимир же видел, куда они побежали!

— Казимир побежал искать переход через речушку, мог натолкнуться на солдат с машин и в таком случае вряд ли придет... — вздохнул Тадеуш.

В конце концов друзья поняли, что остается одно: возвратиться туда, откуда удрали, — на территорию лагеря. Конечно, не для того, чтобы сдать врагу, а за помощью. А ее можно ждать только от Виктора. Это был единственный человек, которому они готовы были вручить свою судьбу.

К лагерю шли быстро. Во-первых, было холодно, а во-вторых, спешили, пока темно, добраться до бараков. Лишь на миг они остановились, разделись, хорошенько отжали одежду. Стало чуть теплее, и одежда показалась не такой тяжелой. Ночь была на исходе, когда беглецы приблизились к территории лагеря...

2

Два дня пролежали беглецы в глубокой мокрой яме под кустами, не решаясь выйти из своего убежища. Днем, а особенно ночью, по лесу двигались отдельные немецкие солдаты, а иногда и целые подразделения. Очевидно, производилась передислокация войск. Положение представлялось безнадежным.

На третью ночь Володя осмелился вылезти. Тадеуш остался в яме, в лесу, а он направился к баракам...

Обходить ночью всю территорию и пробираться со стороны окопов не было времени, поэтому пришлось проползти мимо трех или четырех постов. Володя действовал очень тихо и осторожно. В некоторых местах долго выжидал удобный момент. Иногда Володя в мокрой одежде замерзал так, что думал, уже не сдвинется. Снова и снова возвращался к мысли: «Сколько же испытаний человек может вынести, вытерпеть, из чего сделан человеческий организм? Казалось, железо и то должно было бы сломаться, рассыпаться, а человек тянет».

Наконец Володя достиг цели, проскользнул в барак французов и разбудил Виктора, который, увидев его, по привычке испуганно перекрестился.

Володя молча стоял перед ним. Его так трясло, что не мог слова вымолвить: хочет что-то сказать — и не получается. Придя немного в себя, Володя рассказал о том, что произошло.

— Что-то здесь не так, — сразу ответил Виктор. — Там не было никакого поста. Я прошел по этой линии и знаю, что там нет никаких укреплений.

— Мы переходили дорогу, — рассказывал Володя, — потом узкую речушку.

— Ни дороги, ни речки не должно было быть на вашем пути.

Володя вынужден был признаться в своей оплошности:

— Мы послушали Франца и пошли другой стороной.

Француз широко раскрыл глаза:

— Вот этого я от тебя не ожидал! Я так хотел, чтобы вам повезло! Я долго не мог уснуть: думал о вас, даже пробовал молиться — впервые за долгое время, хотя я уже и не верю в бога... Но чем черт не шутит, когда бог спит... — Виктор чуть-чуть улыбнулся, как-то виновато и грустно, но улыбка сразу же сбежала с его лица.

Володя молчал. Ему нечего было ответить.

Потом Виктор спросил:

— Нам хотя бы во что-нибудь переодеться. Ну и поесть... Теперь мне и Тадеушу остается только одно — идти на ту сторону. Если, конечно, снова не попадемся...

— Сейчас ничего нельзя сделать, придется ждать. Днем что-нибудь придумаем. Я посоветуюсь с Оскаром, как вам помочь.

Володя не успел до рассвета возвратиться в лес к Тадеушу. Пришлось сидеть днем на территории лагеря, в самом гнезде гитлеровцев. Около немецкого блиндажа во рву, наполненном водой, лежала перевернутая грузовая машина. Под этой разбитой машиной, в ледяной воде, он полужелал и ждал наступления темноты. В мирное время после такой ванны человек недолго протянул бы, но тогда никакая болезнь не брала.

В течение дня Виктор обошел почти весь лагерь, достал у своих друзей одежду, взял у одного пару картошин, у другого — сухарь, у третьего — немножко крупы, даже курить принес.

Принимая от бывшего церковнослужителя еду и одежду, Володя невольно вспомнил рассказ Виктора о том, как тот в начале своего пребывания в Германии относился к русским: сам отворачивался и другим советовал подальше держаться от красных безбожников. «Да, жизнь, — подумал Володя, — учит лучше любых наставников. И теперь Виктор не просто товарищ по несчастью, а настоящий друг, родной брат...»

Возвращаясь в лес, Володя боялся, что не застанет товарища в живых. И действительно, нашел его в очень тяжелом состоянии. Тадеуш бессильно лежал в яме на мокрых прелых листьях.

Володя принялся трясти его, долго растирал его тело. Потом помог подняться.

— Всю ночь и весь день я ежился, ворочался, чтобы как-нибудь согреться, — наконец заговорил Тадеуш. — Но мне все тяжелее становилось двигаться, я устал и, потеряв силы, окончательно задубел.

— Дорогой Тадеуш, — ответил Володя, — не лучше чувствовал себя и я. Но теперь мы имеем одежду, пищу на первое время, и следующей ночью Виктор со своим другом проводят нас на ту сторону.

Тадеуш со слезами на глазах обнял юношу.

— Недаром ты — русский, — прошептал он.

...Близились полночь. Погода почти не изменилась. Дул сильный холодный ветер. Верхушки могучих буков раскачивались и грозно гудели. Только в глубокой яме было тише. Ожидая Виктора, Володя рассказал товарищу все, что услышал в лагере.

О неудачном побеге большой группы пленников знали уже все. Многих убили во время перестрелки, шесть человек поймали и казнили на виду у всего лагеря. Только трех или четырех пленников недосчитались немцы и решили, что они тоже погибли в трясинах, встречавшихся в этих местах, или, раненные, скончались в непроходимых зарослях.

В зоне леса немцы установили тюремный режим, усилили охрану. По территории лагеря и вокруг него нельзя было сделать и шагу, все пленные должны были после работы сидеть в бараках.

А в это время двое французов, люди из другого мира, воспитанные совсем иначе, чем Володя, каждую минуту рискуя быть застреленными, где-то ползли по мокрой земле, чтобы помочь друзьям, чье положение было безвыходным.

Виктор не выходил у Володи из головы. Когда-то, сопровождая итальянцев и французов с окопов в лагерь и попав с ними под обстрел, он и не подозревал, что среди них есть такие замечательные люди, как Виктор и Оскар.

С умилением и благодарностью он думал о незнакомой землячке, девушке Наде, которая сумела внушить Виктору уважение и любовь к чуждым для него людям.

— Эти французы, — заметил Тадеуш, — после войны не только сами возвратятся домой другими, но и будут влиять на тех, кому не пришлось общаться с советскими людьми. Думаешь, у нас в Польше лучше было? Тоже на каждом перекрестке ругали большевиков, пугали русскими... Но за войну люди узнали друг друга. И главное то, что именно русские люди, попав в Германию, научили остальных не мириться с фашистами, а бороться с ними... Сколько было побегов, сколько в глубоком тылу фрицев происходило разных выступлений, даже вооруженных, — везде это была работа русских, которых вешали, расстреливали, сжигали, но они все равно не покорялись. А партизанское движение в Италии! Там тоже без русских не обошлось! — Подумав немного, добавил: — Да, Гитлер сделал большую ошибку, что завез к себе советских людей. Не было бы их в Германии, остальных он уничтожил бы без особого труда.

Так беседуя, чтобы заглушить свое волнение, скоротать время, успокоить себя, Володя и Тадеуш дождались наконец своих друзей. Место встречи они выбрали довольно удачно: на небольшой возвышенности заросли, все кругом хорошо просматривалось.

Виктор и Оскар подошли, поздоровались. Оскар обрадовался, что снова видит друзей.

— В нашей зоне, — сказал он, — творится что-то страшное после вашего побега. Отчасти, пожалуй, и хорошо, что вы не откладывая предпримете новую попытку. Немцам и в голову не придет, что именно сейчас, когда проверяется и просматривается все и везде, попытаются еще раз перейти линию фронта. Ну что ж, пошли, — скомандовал он.

— Да,— сказал Виктор.— Надо спешить, предстоит пройти около двадцати километров.

Условились молчать и общаться жестами.

Вначале прошли немного лесом, потом направились к тому болоту, где американские самолеты разбомбили немецкую воинскую часть, и двинулись в сторону села и окопов.

Виктор с Оскаром, видно, заранее наметили себе маршрут и теперь шли молча, не советуясь. Володя и Тадеуш, доверяя им так же, как и себе, беспрекословно подчинились этим людям, взявшимся спасти их.

Идти было тяжело. От непрерывных дождей болото совсем раскисло, пленники все время проваливались, вытаскивали друг друга, но зато это было единственное место, где не встретишь немцев.

Вокруг было тихо, только от ветра шумели верхушки деревьев да изредка союзники посылали снаряды. Володя не мог понять, зачем это делается, все равно же ничего не видно.

Вскоре беглецы спустились к селу. Надо было пересечь его, чтобы не идти по дороге. Не доходя немного до села, Оскар приказал всем остановиться, а сам пошел к домам. Вернувшись, он сказал, что неподалеку на дороге, которую надо перейти, чтобы попасть в село, слышен немецкий разговор. Пленники еще в лагере часто наблюдали, что часовые, чувствуя себя в одиночку неуютно, любили сходиться и подолгу болтать. Так, видно, было и на этот раз.

Беглецы переползли дорогу по одному и очень медленно. Володя хорошо видел на углу четырех солдат, которые тихо разговаривали. Ветер доносил до него отдельные слова.

Миновав дорогу, беглецы встали во весь рост. По селу шли дворами и закоулками. Сколько раз Володя уже бывал тут, но все-таки ему было жутко идти среди разрушенных домов, в которых гудел, словно стонал, ветер, напоминая о том, что когда-то здесь жили люди.

Село кончилось, теперь друзьям предстояло пройти немецкую линию обороны. Это было самым сложным. Там стояли пушки, вкопанные в землю, тяжелые минометы. Но беглецы хорошо знали местность, знали и то, что солдат около этой техники мало, да и вряд ли немцы предполагали, что кто-то пойдет к фронту, в самый котел, через этот участок. И тем не менее беглецы старались двигаться по таким местам, где никого не могло быть.

Пройдя благополучно эту линию, они начали подниматься в гору. Везде натыкались на острые камни, о которые разодрали все ноги и руки, густые колючие заросли исцарапали их лица, но они не замедляли шаг. Нужно было скорее пробраться к Мозелю. На высоких гористых берегах Мозеля невозможно было строить какие-либо укрепления, и немцы не строили их, считая, как когда-то говорил Володе Людвиг, эти места непроходимыми ни для техники, ни для солдат. Но как позже убедился Володя, Людвигу тоже не все было известно: здесь, в горах,— правда, не везде,— но все-таки были отдельные наблюдательные посты.

Вскоре беглецы услышали какой-то странный шум, стало еще свежее и прохладнее. Оказалось, они подходили к реке, это она издавала глухой

шум, который то исчезал, словно растекался,— стоило беглецам немного отойти в сторону или встать за выступ скалы,— то возобновлялся.

Оскар все время торопил, оставалось пройти вдоль реки около четырех километров.

Эти четыре километра были самыми тяжелыми. Много раз приходилось удаляться от берега, чтобы обогнуть глубокие обрывы, карабкаться на скалы, спускаться с них. В темноте это сделать не так-то просто, но чувствовалось, что французы бывали в этих местах, знали их, и это придавало Володе и Тадеушу сил.

Наконец добрались до места, где разлом в скале позволял спуститься к реке. Спустились до небольшого ущелья. Трое остались в ущелье, а Оскар пошел вперед, к реке.

— Здесь никого нет,— шепотом сказал Виктор.— Но все же надо соблюдать осторожность, все может быть.

Володя еще раз попытался уговорить Виктора идти всем вместе к союзникам.

— Я поклялся,— строго ответил француз,— разыскать Надю, без которой не хочу возвращаться домой. Я обещал Наде, что возвращусь, что найду ее. Это мой долг, и я его выполняю. Если я перейду с вами,— продолжал он,— мои соотечественники могут меня задержать, интернировать, или просто отправят в тыл, ведь я долго был в плену у врага! А война тем временем кончится, и мне сложно будет попасть назад, в Германию, к Наде, и я потеряю ее.

— Но вы преодолели столько препятствий! Как вы пойдете обратно? Разве успеете добраться?

— Обратно пойдем более легкой дорогой, с вами рисковать не хотели, так как могли там встретить немецких солдат. А если не успеем в лагерь до рассвета, то останемся в лесу, спрячемся в окопах и будем поджидать своих.

— А если раньше обнаружат, что вас нет?

— Ночи длинные, должны успеть до рассвета. Са ира! — произнес по-французски Виктор и поднял большой палец.— Все будет в порядке, Володя,— добавил он по-немецки, объясняя свой жест.— Так говорят у меня на родине.

Тадеуш, опечалившись, что французы остаются, сказал:

— Все равно союзники скоро будут здесь...

Виктор заверил друзей, что он и Оскар хорошо знают здешние места и в случае наступления американцев спрячутся и дождутся их.

Возвратился Оскар, и все пошли к реке. Вскоре увидели небольшую бухточку, где покачивалось на воде несколько лодок. Недалеко на пригорке возвышалась будка, в которой когда-то сидел сторож. Сейчас в ней никого не было, и лодки были без присмотра.

Вдруг с противоположной стороны реки ударили пушки, снаряды со свистом пронесли над беглецами и разорвались где-то на окопах.

— Начни американцы сейчас наступление,— заметил Виктор,— вы могли бы остаться на этом берегу. Сюда трудно было нам подойти, но тут вполне безопасно.

— Если бы знать, когда эти американцы сдвинутся с места, немцы готовятся просидеть здесь до конца зимы.

Оскар, торопивший их всю дорогу, и сейчас недовольно оборвал разговор:

— Давайте, давайте, время не ждет!

Любопытному Володе все же было интересно, как это сохранились лодки, и он шепотом спросил об этом Виктора.

— Через территорию Франции, — ответил Виктор, — американцы продвигались быстро, особенно в последнее время, когда подходили к границе. Немцы, вероятно, решили, что американцы чуть ли не марш-броском будут форсировать Мозель. Поэтому в срочном порядке население было эвакуировано, наскоро готовилась линия обороны. Нас сюда тоже привозили рыть окопы, но выше, за горами. Потом спешно перебросили дальше в тыл, к вам. Немцы отсюда так быстро ушли, что многое побросали.

Беглецы сели в одну из лодок. Плыли тихо, только было слышно, как о борт бьется волна. Виктор и Оскар старались, чтобы лодку не особенно относило течением, поэтому держали ее бортом против волны. Река была широкая и быстрая, крутые черные берега высились как стены колодца. Вскоре берега стали ниже, а река еще шире.

Плыли долго.

«Оказывается, не слишком приятно на воде ночью», — думал Володя. Во время передышки на берегу тело остыло, и холод пробирал до костей. Пугала окружающая темнота, шум реки, быстрота течения, уносившего утлую лодчонку, которая набирала все больше и больше воды. У Володи возникло ощущение, что вот-вот впереди будет водопад и лодка вместе со всеми пассажирами исчезнет в пучине.

Наконец приблизились к противоположному берегу. Когда лодка стукнулась о что-то твердое, Виктор сказал:

— Хорошо добрались. Правда, далековато отнесло, но ничего, здесь вам лучше будет подниматься в гору, не так круто. Но двигайтесь осторожно, неизвестно, что делается на этой стороне. Тем более что мы очутились недалеко от моста. Мост разрушен, но все же там кто-то может быть. По ту сторону моста, в нескольких километрах, небольшой французский городок, пристань. Но вы идите в обратном направлении.

С немецкого берега доносились короткие пулеметные очереди, раскатисто звучащие в горах.

«Возможно, в горах у немцев все же есть наблюдательные посты, о которых покойный Людвиг не знал», — подумал Володя, прислушиваясь к этой стрельбе.

Беглецы выбрались на твердый каменистый грунт. Оскар посмотрел по сторонам и что-то тихо сказал Виктору.

— Оскар говорит, — перевел Виктор, — что если бы мы проплыли еще немного по течению, то оказались бы у самого моста, а там такой высокий берег и такие заросли, что высадиться невозможно. Так что удачно пристали... До наступления утра, — продолжал он, — вы должны найти какую-нибудь пещеру или другое убежище в горе, чтобы пересидеть день. За день осмотритесь, изучите местность, а потом шагайте дальше. Немцев здесь не должно быть. Но все равно будьте осторожны, старай-

тесь не идти по дорогам и вообще там, где легко передвигаться, все эти места могут быть заминированы.

Виктор говорил и говорил без передышки, пытаясь заглушить волнение и отдалить минуту расставания, хотя и ему самому, и всем остальным было ясно, что время не остановишь, пора прощаться.

Виктор вдруг замолк на полуслове, словно кто-то сдавил ему горло, и все четверо бросились друг другу в объятия. Так, обнявшись, они долго стояли и молчали...

Потом Виктор снял с себя военный ремень и протянул его Володе:

— Возьми это, ты был и мне и всем хорошим другом.

Володя надел ремень и сказал:

— Я тоже хотел бы дать тебе что-нибудь на память, но у меня ничего нет, Виктор.

— Ничего, ничего!.. — утешил француз. — Я и так всегда буду помнить тебя и нашу жизнь в неволе.

Друзья еще раз простились, Виктор и Оскар сели в лодку и отплыли. Через несколько минут их поглотила темнота.

Володя и Тадеуш стояли и смотрели на воду, стараясь разглядеть лодку, но, видно, течением ее быстро отнесло в сторону.

— Ну какой смысл им возвращаться, ведь благополучно добрались, могли бы и остаться с нами, — с сожалением вздохнул Володя. — Я, конечно, понимаю Виктора, понимаю, почему он не хочет уходить с той стороны. Он очень благородный человек, и чувство его к нашей девушке — настоящая любовь... Но так тяжело было с ним расставаться, так тревожно за него...

— А еще они с Оскаром за время войны и плена крепко сдружились и не хотят разлучаться, — заметил Тадеуш. — Да и нечестно было бы с их стороны оставить там друзей, а самим бежать, ведь они вместе держались всю войну, во многих лагерях побывали.

Так и стояли на берегу Володя и Тадеуш, всматриваясь в темноту, не было сил уйти от реки. И вдруг до их слуха донесся звук, будто что-то ударилось о лодку. Сначала подумали, что, возможно, какой-то предмет плыл по реке, и лодка наткнулась на него. Или, может быть, это стукнула железная цепь с большим кольцом, которая лежала на носу лодки. Но через минуту не то от моста, не то из-под берега ударил яркий луч прожектора и как бы перерезал реку пополам. Большой шар света забежал по воде, немного дальше вспыхнул второй, посланный то ли с этого, то ли уже с противоположного берега.

От неожиданности Володя и Тадеуш присели и поползли в заросли.

Лодка была поймана лучом прожектора. Около ближнего прожектора одновременно открыли огонь несколько пулеметов, и вокруг лодки запрыгало множество небольших фонтанчиков. Свет погас, потом снова вспыхнул, и снова стрельба. Где-то в горах глухо, короткими очередями застукал еще один пулемет. Его поддерживали пулеметы на немецком берегу, которые тоже стали стегать по реке. В последний раз вспыхнул прожектор, и беглецы увидели, что в лодке никого нет, ее уносило течением все дальше и дальше...

За ними, далеко за горами, раздалось глухое уханье пушек, и над

Мозелем просвистели снаряды, которые разорвались на той стороне. С немецкого берега посыпались ответные выстрелы. Через несколько минут так же неожиданно, как и началась, перестрелка прекратилась, и снова наступила тишина. Только по-прежнему грозно шумела река.

Убитые горем друзья не двигались с места. Тадеуш угрюмо молчал. Володя плакал...

3

Беглецы шли несколько дней, но потом оказалось, что они крутились почти на одном месте. Путь им преграждали глубокие обрывы и овраги, которые надо было далеко обходить. Так петляя, только на четвертый день они еле выбрались из объятий гор.

Утром пятого дня наткнулись на дорогу, но идти по ней побоялись, так как дорога была вся в ямах, загорожена бревнами, противотанковыми надолбами и, очевидно, заминирована. Шли весь этот день и следующий, но нигде не встретили ни немцев, ни американцев, ни гражданского населения. Без воды и без еды они еле передвигали ноги... И только на седьмой день их подобрала машина, похожая на танк без башни, с колесами вместо гусениц и с белыми пятиугольными звездами в большом кругу по бокам. Это был американский броневик.

Беглецов обыскали и доставили в воинскую часть.

Здесь Володя и Тадеуш встретили русских, поляков, чехов, которые по мере наступления американцев, вливались в ряды их армии. Здесь же Володя впервые в жизни увидел негров. Они составляли значительную часть армии, но были как-то обидно отделены от белых. По Володиным наблюдениям, белые американцы никогда не разговаривали с неграми. Даже кухни у негров были свои.

В штабе Володю и Тадеуша долго расспрашивали о расположении немцев на восточном берегу Мозеля, об укреплениях на линии, о количестве солдат. Кто с ними беседовал, Володя догадаться не мог, так как все ходили без каких-либо знаков различия.

Очень удивила Володю реакция американцев, когда он сообщил им о гибели их самолета и летчика.

Незадолго перед бегством из лагеря Володя стал свидетелем воздушного боя немецких и американских истребителей. Один американский самолет был сбит и упал недалеко от окопов, где находился Володя. Юноша первым подбежал к самолету, летчик — молодой парень — уже был мертв. Володя успел забрать и спрятать документы американца прежде, чем к самолету прибыли немецкие солдаты.

Он хранил на груди удостоверение погибшего летчика — плотную картонную карточку с фотографией и большим номером в углу, чтобы при встрече с американцами отдать ее им. Ведь он был очевидцем героической гибели юноши в бою...

Теперь Володя широко раскрыл глаза от удивления: американцы отнеслись к его рассказу весьма холодно. Один из допрашивавших взял карточку двумя пальцами, пожал плечами и небрежно бросил ее в пыльный шкаф.

Но еще больше обидело друзей презрительное и даже насмешливое отношение американцев к ним. Когда, измученные, изголодавшиеся, они съели порцию каши, принесенную им, их спросили: «Еще?» — «Конечно», — сказали они. «Еще?» Съели и вторую, потом и третью порцию. Солдаты обступили их, смеялись, фотографировали.

Задело Володю и Тадеуша и то, что им отказали в оружии. Когда на допросе они сказали, что хотят сражаться против гитлеровцев и готовы хоть сейчас идти в наступление, американец только улыбнулся иронически и покачал головой.

Находясь некоторое время в этой части то ли в качестве солдат, то ли пленных, друзья поняли, что американцам не до войны. В части была явно не военная обстановка — все занимались лишь футболом и боксом.

— Так можно воевать двадцать лет, — с горечью говорил Володя Тадеушу. — Они совсем не чувствуют, что идет такая тяжелая война. У них первоклассная техника, и много ее, но если бы немцы бросили сюда силы, как на восточный фронт, то американцы одним мигом очутились бы у себя дома!..

Позже, когда советские войска стали с тяжелыми боями продвигаться по Германии, американцы были вынуждены тоже тронуться с места.

Перемещаясь на восток, американцы забрали с собой и друзей. Так как эта часть шла через Баварию, Володя снова побывал в Нюрнберге. Город нельзы было узнать. Авиацией союзников он был превращен в сплошные развалины. Там, где раньше были широкие улицы, теперь вилась узкая дорога, расчищенная от обломков, по которой с трудом проходили машины.

Попал Володя и в Ансбах. Он сразу же направился к ффрау Сантерс, но, увы, не застал ее. Перед приходом американцев семья Сантерс уехала в Мюнхен. Ансбах особо не пострадал. Разрушено было немного — станция, колбасная фабрика, несколько домов.

В одном из бывших лагерей Володя и Тадеуш встретили молодого поляка по имени Винцент, который работал с ними на окопах.

В ответ на вопрос Володи: не встречал ли он в лесном лагере после их бегства французов Виктора и Оскара, Винцент отрицательно покачал головой.

— Впрочем, — добавил он, — я французов мало знал. Может, и были у нас такие. Но все равно, наверное, погибли. При наступлении американцев укрепленная лесная зона, где находился наш лагерь, была стерта с лица земли авиацией и артиллерией. Спаслись считанные люди.

В Ансбахе Володя простился со своим лучшим другом — с Тадеушем. Тадеуш оставался в Ансбахе, а Володю вместе с другими советскими людьми увезли в Чехословакию. В город Пльзень американцы доставили их на машинах. Половина города была занята американцами, а половина советскими войсками. В Пльзене и встретился Володя с советскими воинами. Оттуда уже на поезде он приехал в город Рыбник — небольшой польский городок.

Рыбник Володя сохранит в памяти на всю жизнь. Здесь произошла невообразимая встреча с Анатолием. Сколько раз, вспоминая о нем, Володя с горечью думал, что этот чудесный человек погиб.

Отгремели военные грозы, утихла стрельба на окровавленных полях, в разрушенных городах, погасли печи немецких концлагерей, развеялся дым, и осела сажа пожаров.

Спешили на восток украшенные знаменами эшелоны с демобилизованными солдатами. Постукивали на стыках рельсов вагоны с советскими людьми, возвращавшимися из неволи.

Был август 1945 года.

Поезд, сформированный в чехословацком городе Пльзене, поздней ночью пересек Государственную границу Советского Союза. В одном из вагонов не мог уснуть Володя.

Перед его мысленным взором проплывали не станции и полустанки, освещенные теперь по-мирному, не реки и озера с золотыми лунными дорожками, не темные громадины гор, а картины прошлого. И первые дни его неволи, и последние, и каждый отдельно, и все вместе. То один, то другой, заслоняя предыдущие, вырывался на миг из глубин памяти и снова падал в бездну прошлого.

Поезд мерил километры, пересчитывал мосты и мостики, грохотал мимо разъездов и станций, мчался по родной Володе земле навстречу солнцу, которое вот-вот должно было взойти.

В те минуты, когда начинал дремать, представлялось, что это не вагон бежит, а сам он семимильными шагами отмеривает километр за километром, приближаясь к родному дому. И тогда видел лицо склоненной над ним матери, бабушку, сестричек, но все это смешивалось у него со страшным прошлым — и сон, и явь, и родные лица, и черные фигуры немцев...

Но когда первые лучи солнца погладили землю, он уже не мог усидеть в вагоне, вскочил, вышел в тамбур и открыл дверь.

Вместе с полями и перелесками, еще укрытыми длинными тенями, с отдельными строениями, мимо которых мчался поезд, оставалось на этой земле и страшное Володино прошлое. Все дальше уходили и Ансбах, и Бинген, и лагерь, и врач-кровоопийца... Сейчас при ярком свете появившегося на горизонте солнца все, что произошло с ним, казалось ему удивительным, неправдоподобным, словно такого и быть не могло.

В тамбур кто-то вышел. Володя оглянулся. Сзади него стоял, так же восхищенно любуясь утренним пейзажем, молодой советский солдат в чистой парадной форме. Неподпоясанную гимнастерку надувал залетающий в тамбур ветер. Солдат был, может, на год или два старше Володи, но на его юном лице уже застыло выражение какой-то гордой серьезности и уверенности.

Володя почувствовал, как зависть царапнула сердце: ведь и он мог бы находиться в солдатском строю.

Война перед каждым поставила вопрос: какой ты, на что способен? Володя был спокоен: на Родину он тоже, как и этот солдат, явится с открытым лицом и чистой совестью, хотя и не дано было ему пройти войну с оружием в руках, рядовым воином Великой Расплаты.

Поезд приближался к Здолбунову, где более трех лет назад Володя

удрал из невольничьего эшелона. Вспомнилось бабушкино выражение: «Все возвращается на круги своя».

Хотелось произнести что-то торжественное, праздничное, выражающее те чувства, которые охватили его, заставляя дрожать от волнения. Но он обернулся к солдату и сказал:

— Это Здолбуново. Бывшая граница...— Даже не добавил: «Я удираю здесь от немцев».

Солдат кивнул, и у Володи вдруг сжалось сердце от того, что все трагическое в его жизни становится таким обычным, и он даже не знает, как поделиться с этим юношей в военной форме пережитым.

Он отвернулся и снова стал жадно всматриваться в пейзаж, пытаясь узнать лес, в котором блуждал в те первые страшные ночи после побега. Из вагона леса и перелески виделись одинаковыми, похожими и не похожими на ЕГО лес.

На станции, пока паровоз набирал воду, он так же с жадностью разглядывал разрушенные строения. Но этот вокзал при свете солнечного дня был тоже совсем не похож на ЕГО станцию, на станцию, с которой удирали мартовской ночью.

Когда поезд помчался дальше, Володя продолжал стоять в тамбуре, подставляя лицо ласковому ветру, любясь красотой родной земли.

Враги вывезли его отсюда ребенком, возвращался он юношей, который возмужал в нечеловеческих испытаниях и победил смерть, подстерегавшую его на каждом шагу. На глаза Володи набежали слезы радости, и совсем по-детски защемило сердце, и губы прошептали те слова, которые давно уже рыдали, звенели, гремели в его душе и рвались наружу: «Здравствуй, свобода, здравствуй, родной край!..»

* * *

Последний вечер кончился. Черную ночь за окном разорвала молния. Я увидел Его лицо. Оно было и мрачным, и торжественным, глаза блестели.

Тихо проговорил: «Вот и все...»

Молнии за окном обезумели, гром пронесся по всему свету.

И вдруг все стихло. Веточка вишни замерла, и полил дождь, первый весенний дождь.

ОН поднялся и распахнул окно. В комнату ворвался шум дождя и пьянящий запах весны.

Дождь шел все сильнее и сильнее, пахучий, ласковый, щедрый...

*Киев — Ирпень,
1965—1968*

СОДЕРЖАНИЕ

...И НИКАКИХ ВЕРСИЙ. Роман. .	3
ГОТОВИТСЯ УБИЙСТВО. Повесть. .	157
ВДОГОНКУ ЗА ЖИЗНЬЮ. Повесть. .	213

Кашин В. Л.

К 31 Справедливость — мое ремесло: Роман. Повести.
Кн. III. Пер. с укр.— М.: Советский писатель, 1991.—
416 с.

ISBN 5—265—01404—7

Книга третья цикла «Справедливость — мое ремесло» завершает серию детективных романов об инспекторе уголовного розыска Дмитрие Ковале, изданных в нашем издательстве в 1982—1987 гг.

Книгу дополняет приключенческая повесть «Вдогонку за жизнью» (издание второе, переработанное). Это захватывающая история приключений украинского юноши в Германии во время второй мировой войны. Повесть уже выходила на украинском, татарском, венгерском и французском языках.

4702640201—405

К ————— 342—90
083(02) — 90

ББК 84 Ук 7

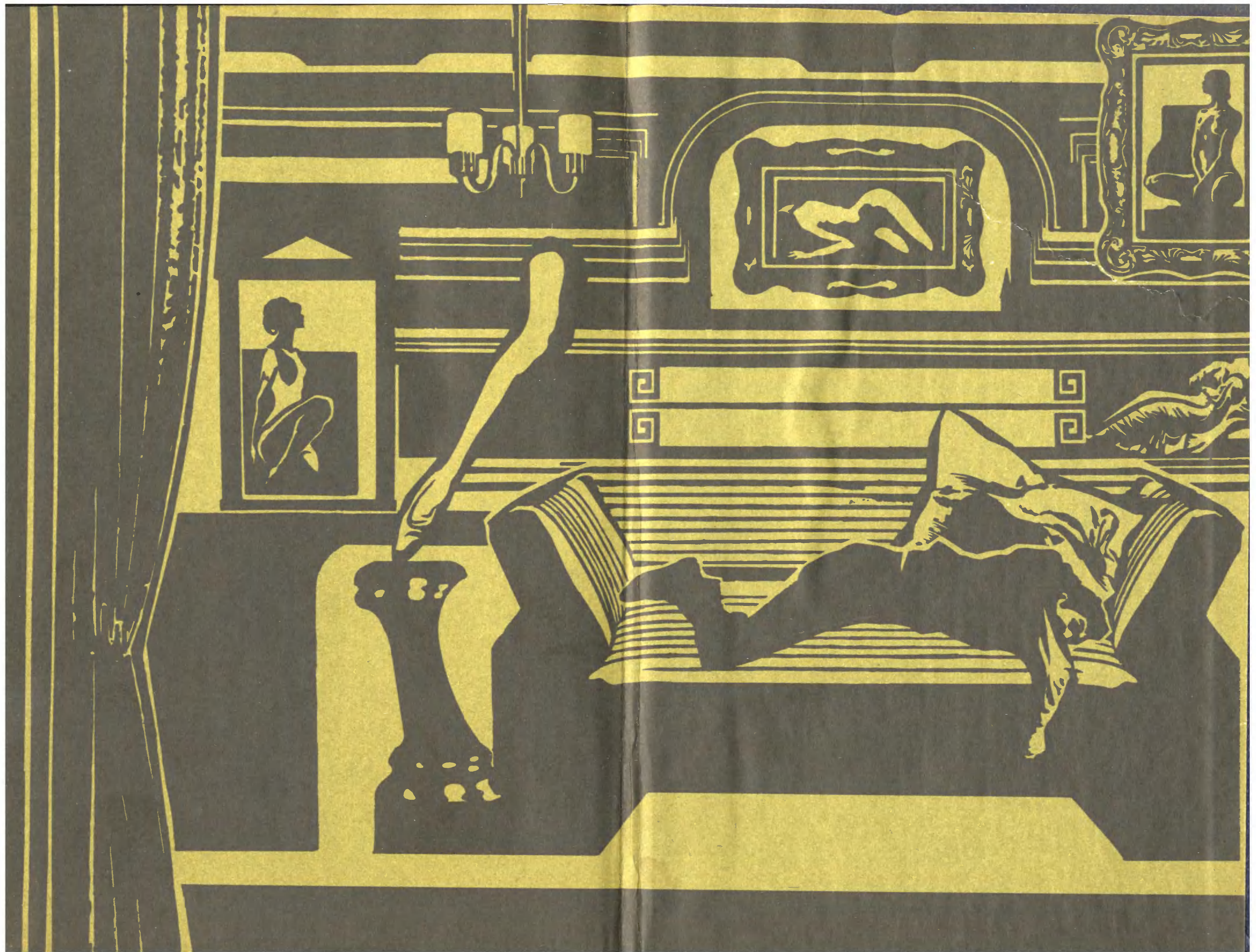
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ КАШИН
СПРАВЕДЛИВОСТЬ — МОЕ РЕМЕСЛО

К н и г а т р е т ь я

Редактор *Т. Е. Сибирякова*
Художественный редактор *А. С. Томилин*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Л. И. Жиронкина*

ИБ № 7587

Сдано в набор 25.04.90. Подписано к печати 16.10.90. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 26. Уч.-изд. л. 33,13. Тираж 100 000 экз. Заказ № 333. Цена 5 р. 50 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109



Op 50r

